ПРАВО НА СОВЕСТЬ

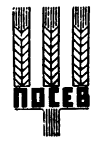
Н. Хохлов

Н. ХОХЛОВ

ПРАВО НА СОВЕСТЬ

1957

Обложка художника А. В. Русак



Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt/Main

Янина (Елена) Хохлова



Янина (Елена) Хохлова

Дорогой друг!

Эта книга написана для тебя.

Ты и я родились и выросли в одной и той же стране. Сегодня нас разделяют тысячи километров и десятки границ.

Зимой 1954 года мне пришлось принять необычное решение. На чашах весов оказались три человеческие жизни против двух человеческих совестей. О решении я не жалею. Оно могло быть только одним. Но дальнейшие события развернулись иначе, чем я ожидал. — Моя семья попала в концлагерь, а я в далекую и чужую страну.

После всего этого мне показалось, что надеяться не на что и писать книгу о случившемся незачем. Пока я не вспомнил, что в моей судьбе могла, как в капле воды, отразиться и твоя. Что ты в любой момент можешь подойти к такому же перекрестку.

Тогда и была написана эта книга.

Может быть, она поможет понять истинное соотношение человеческих ценностей в нашем мире тем, кто еще пытается остаться в стороне.

Может быть горькая правда, которую я узнал столь дорогой ценой, подскажет тебе нужный путь.

В твоих руках ключ к судьбе нашего народа. От судьбы нашего народа зависит свобода и жизнь всего человечества.

Я верю, что ты выберешь и решишь правильно. Верю, что в дни отчаяния, охватившего миллионы людей, ты сумеешь сохранить силу воли и верность голосу совести.

Я знаю, что именно тебе наша Родина будет обязана грядущим освобождением.

Тебе — сегодняшнему гражданину Союза Советских Социалистических Республик.

Автор

«... Вы, наши владыки, более рабы чем мы. Вы порабощены духовно, мы — только физически. Вы не можете отказаться от гнета предубеждений и привычек — гнета, который духовно умертвил вас — нам ничто не мешает быть внутренне свободными, — яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы — не желая — вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они все ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу».

М. Горький, «Мать»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Именем Советского Союза

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В сентябре 1941 года я вернулся в Москву.

За два месяца, что я его не видел, город посуровел и подтянулся. Окраинную улицу, где помещался мой батальон, перегородили ежи из старых рельс, кое-как сваренных в ржавые колючки. Рядом со школьным двором желтели кучи песка из недавно вырытой противотанковой щели.

На заборе, с плаката еще мокрого от клея, солдат-панфиловец в развевающейся шинели поднимал останавливающим жестом высоко вверх винтовку: «Отступать некуда — за нами Москва!»

Школьный двор был почти пуст. В дальнем углу несколько бойцов с походными скатками через плечо грузили в трехтонку зеленые деревянные ящики.

Часовой у бывшей раздевалки, заставленной стойками с оружием, показал мне на дверь с табличкой «учительская». Я постучал.

— Войдите... — ответил знакомый голос комиссара.

Он стоял у длинного черного стола, склонившись над ворохом бумаг. Я одернул свою потрепанную летнюю гимнастерку и отрапортовал:

— Боец Хохлов вернулся из командировки.

Комиссар поднял глаза и одобрительно кивнул:

— Ага... Значит, получили нашу телеграмму. Садитесь. Ну, как киносъемки прошли?

— Ничего. Нормально. Несколько моих эпизодов, правда, не успели доснять, но это неважно. Я очень рад, что вернулся. Неудобно как-то. Все воюют, а я в картине снимаюсь.

— Ну, это не совсем так. Когда мы вас отпускали, мы знали, что делаем. Кинокартина тоже важная вещь. Но обстановка изменилась. Сегодня вы нужны здесь, в Москве.

От волнения я даже встал со стула.

— Я видел на ребятах уже фронтовую зимнюю форму. Значит, на фронт, товарищ комиссар?

— Да, мы уходим на фронт. Но вы зимнего обмундирования не получите. Наоборот, вам наверное вообще придется снять военную форму . . .

Я растерянно молчал. Комиссар подавил мелькнувшую улыбку и стал перелистывать настольный календарь.

— Вот, что, Хохлов. Идите-ка вы домой, отдохните с дороги, а завтра с утра позвоните по этому телефону. Записывайте . . .

Он прижал острие синего карандаша к листочку.

— К-6-42-15. Записали? Звоните лучше из автомата где-нибудь в городе.

Тщательно зачеркивая номер на календаре жирными штрихами, он продолжал:

— Это пока всё. Остальное вам объяснят в свое время. Могу добавить, что волноваться нечего. Вас, по-моему, ждут дела, где вы будете не менее полезны Родине, чем на фронте. Желаю успеха. Можете идти. До свиданья.

Последние слова прозвучали совсем «по-граждански».

На следующий день, из телефона-автомата в соседней булочной, я позвонил по таинственному номеру.

Низкий, как бы простуженный голос ответил не спеша:

— Комаров слушает.

Я запнулся на секунду.

— Мне сказали позвонить по этому номеру . . .

В голосе Комарова послышалась усмешка.

— Кто говорит?

— Хохлов, Николай Хохлов.

— Где вы живете?

— Борисоглебский двенадцать, квартира тридцать один.

— Хорошо. Будьте дома — к вам зайдут.

Комаров не заставил себя долго ждать.

Раздался короткий, уверенный звонок. Открыв дверь, я увидел на пороге плотного молодого человека в темно-синем костюме. На его бледном лице черные тонкие усики казались прилепленными и неуместными.

— Товарищ Хохлов? Здравствуйте. Нет, нет, не через порог.

Он поспешно шагнул в переднюю и только тогда протянул руку:

— Комаров...

Присев на край сундука, он начал спрашивать быстро и вполголоса.

— У вас время есть? Поедемте со мной. Нам нужно поговорить. Удобнее у нас...

— У кого у нас? Мне дали только номер телефона...

Комаров замялся и оглянулся на дверь в столовую.

— Вы один? Нет, все равно, лучше поедем к нам. Вообще-то я сотрудник специальной службы, но ничего не говорите пока даже вашей семье.

Я пожал плечами, сказал, полуоткрыв дверь в столовую — «мам, я скоро вернусь», и мы с Комаровым спустились во двор. Там стояла черная, потертая «Эмка».

Хмурый шофер с деревянным лицом и изрытым оспинами подбородком скользнул по мне равнодушным взглядом, потянулся через мое плечо и рывком прихлопнул дверцу поплотнее.

Машина вывернула на улицу Воровского.

Около Арбатской площади я решился нарушить молчание.

— Куда же мы собственно едем, товарищ Комаров?

Комаров неопределенно улыбнулся и сказал, смотря в пространство перед собой.

— Вообще-то в здание НКВД на Дзержинской. Наша служба там помещается.

Он замолчал на секунду и тут же, почти поспешно, добавил:

— Мы находимся в одном здании с наркоматом внутренних дел из-за секретности нашей работы. А вообще, поговорим, когда приедем.

Комаров показал взглядом на шофера.

Мне стало как-то не по себе.

— НКВД ... — замелькали мысли. — В чем дело? Арестовывать меня, вроде, не за что. И потом, слова комиссара об особых делах ... Хотят завербовать осведомителем? Почему именно меня? И разве для таких вещей снимают с фронта? Нет, здесь что-нибудь другое ... Какая-то секретная служба. Только почему в одном здании с НКВД?

Машина остановилась и качнулась назад на крутом подъеме Кузнецкого Моста. Комаров вытащил из нагрудного кармана красную книжечку с заложенным в нее желтым листком, бойко выскочил на тротуар и кивнул мне: «Пошли».

Перед нами, на другой стороне треугольной площади, высилось серое восьмиэтажное здание. Одна сторона его, закругленная и усеянная тройными окнами, нависла над широким проездом, заставленным автомашинами.

Мощные плиты черного мрамора тянулись вдоль основания и окаймляли высокие подъезды. Мы остановились у одного из них, с высеченной наверху цифрой три. Комаров потянул с трудом за медную ручку и пропустил меня вперед.

В ярко освещенном, просторном вестибюле сверкнуло искоркой острие штыка с винтовки, намертво перехваченной рукой часового. Старшина с петлицами войск НКВД долго рассматривал красную книжечку Комарова и желтый пропуск, поглядывая то на меня, то на моего спутника испытующим взором. Потом вернул документы, козырнул Комарову и махнул рукой вглубь вестибюля: «Проходите, товарищи».

Мы втиснулись в маленькую кабину лифта и понеслись вверх вместе с безмолвной группой людей, опустивших глаза, как бы не решаясь рассматривать друг друга. Не стал их рассматривать и я.

Лифтерша с серым вязаным платком на голове, в черном халате и валенках объявила негромко: «Седьмой».

Мы пошли по зеленому, изогнутому дугой коридору с молочными иллюминаторами ламп на стенах, мимо дубовых дверей с металлическими цифрами.

Комаров остановился и толкнул дверь с номером 740.

— Заходите, Николай.

Небольшая, очень светлая комната. У длинного трехстворчатого окна, за двойным письменным столом сидел незнакомый молодой человек с остреньким личиком. Комаров подошел к стальному шкафу. Порывшись в карманах, вынул связку ключей. Массивная дверь бесшумно открылась. Комаров достал пачку бумаг и положил их на стол.

— Садитесь, Николай. Эти анкеты вам нужно заполнить. Вот ручка и чернила. Не спешите и не пропускайте ни одной графы.

Я был в первый раз в здании НКВД, но чувствовал инстинктивно, что задавать вопросы здесь, видимо, не полагается. Я молча придвинул к себе стопку анкет и обмакнул перо. Комаров запер сейф и ушел.

Анкеты большие, на нескольких страницах, и испещрены перенумерованными вопросами. Нет, не похож мой вызов в НКВД ни на арест, ни на допрос. Что-то подсказывает мне, что причина моего появления здесь иная. Может быть, действительно, хотят сделать из меня осведомителя. Об этом я тоже знаю смутно. Слухи о «сексотах» доходили до меня. Но мысль о какой-либо параллели между самим собой и осведомительством никогда не приходила мне в голову. Конечно, долг каждого комсомольца сообщать о происках врагов. Особенно о шпионах и диверсантах. Но профессиональное сексотство . . . В нем есть что-то отталкивающее, что-то по особому не чистое . . . А как я буду отказываться? И, может быть, все же не осведомительство? Вдруг они собираются сделать из меня сотрудника НКВД? Некоторые из моих школьных друзей отзывались о «чекистах» с восхищением. Я тоже видел кинокартину «Высокая награда», где Абрикосов в роли офицера госбезопасности умело и мужественно боролся со шпионами, похитите-

лями секретных чертежей. В картине все совершаемое НКВД выглядело красиво и благородно. Но, конечно, повседневная работа офицеров НКВД какая-то другая, более прозаичная и наверное более грязная. Я же хорошо знаю, что беспощадная рука этого учреждения прошлась огнем и мечом сквозь тысячи русских семей. Конечно, государство защищать надо. Но все же... Карьера сотрудника НКВД меня совсем не привлекает. Придется что-нибудь придумать и отказаться... Придумать, потому что я и сам не знаю точных причин моей неприязни и смутной тревоги, зарождающейся в душе...

Дверь открылась и в комнату стремительно вошел высокий, полный брюнет в кожаном пальто. Он подошел ко мне крупными, быстрыми шагами и, взглянув в упор, покровительственно улыбнулся. Я встал из-за стола. Незнакомец положил мне руку на плечо и заговорил звучным баритоном:

— Так, так... Молодость, патриотизм, решительность... Добавить немного специальных познаний, будет прекрасное сочетание... Как ваша жизнь, Николай?

Его темперамент, фамильярность и несколько театральная манера говорить удивила меня. Я открыл было рот, чтобы сказать, что собственно не знаю с кем.., но он уже похлопал меня по плечу:

— Понятно, понятно, Николай. Меня зовут Михаилом Борисовичем. Заполните бумажки, что вам подсунул товарищ Комаров и приходите ко мне. Поговорим поподробнее... А бумажки, к сожалению, тоже нужны...

Он поворошил небрежным жестом пачку анкетных листков, окинул рассеянным взглядом стол, молодого человека у окна, смотревшего на него преданными глазами, бросил мне короткое: «пишите, пишите...» и, круто повернувшись, вышел. Тут я только увидел, что в комнату вернулся и Комаров. Он улыбнулся и занялся ключами от сейфа. Мне стало легче на душе и я снова придвинул к себе стопку бумаг.

Легко сказать, не пропускайте ни одной графы. Анкет несколько и вопросы повторяются. Лучше начать с первой попавшейся и двигаться по порядку.

Имя, отчество, фамилия: Хохлов, Николай Евгеньевич. Родился седьмого июня 1922 года в городе... Как же писать? По-новому или по-старому? Напишу по-новому... в городе Горьком. Социальное происхождение... Какое же у меня социальное происхождение? По отцу или по отчиму? Может быть, по матери? И дальше — о родителях. Кем были до революции, кем — после. Разве на нескольких строчках всё расскажешь? Тем более, что не так-то это просто. Отец, например, в моих ранних воспоминаниях не присутствовал. Только лет с десяти, переехав в Москву, я начал постепенно узнавать, как сложилась история моей семьи.

Отец родился под Москвой, в деревне Марьина Роща, в семье сапожника. Успел закончить всего четыре класса начальной школы и, проработав короткое время в типографии, был призван в армию. Попал в Преображенский полк солдатом. Полк одним из первых примкнул к революции и в те же февральские дни отец вступил в партию большевиков. Я любил слушать рассказы отца, как его выбрали в петроградский Совет депутатом от полка, как он ночевал однажды в Смольном на диване, а напротив, на кожаной кушетке спал Ленин, как партия послала отца в Горький для восстановления хозяйства, и о многом другом. Только о встрече с мамой он никогда не рассказывал. Брак Евгения Ивановича Хохлова и Анны Викторовны Михайловской оказался неудачным.

Мама выросла в бедноватой семье нижегородского чиновника. Окончив гимназию собиралась было стать учительницей, но вместо этого вышла замуж. В восемнадцатом году мои родители поженились, в девятнадцатом у них появилась дочь, в двадцать втором — сын, а в двадцать шестом — крупные разногласия. Отец оставил маме, по-джентльменски, квартиру, обстановку и сына, а дочь и пианино увез в Ростов. Больше они никогда не помирились. В моей жизни появился отчим.

По иронии судьбы его тоже звали Евгением Ивановичем, но на отца он не был похож совсем. У него было блестящее образование — Варшавский университет, оконченный с отличием, безукоризненное воспитание и звание адвоката.

Ко мне он относился как к родному сыну, но моя любовь и уважение стали скоро принадлежать только отцу.

В начале тридцатых годов и отчим и отец переехали в Москву.

Моя жизнь окончательно раскололась на два дома и две семьи.

Отца я видел редко. Несмотря на это, мне казалось, что все самое важное, связанное с ним, я хорошо понимаю и чувствую. Более того, отец стал для меня постепенно живым подтверждением правильности и нужности советского государства.

Жизнь в семье отчима была налаженной и ровной. По приезде в Москву он стал членом Московской Коллегии Защитников и зарабатывал неплохо. Но мне, так же, как и многим другим ребятам, казалось, что важно не богатство или бедность людей, а то, во имя чего они живут.

Я понимал, что и отчим и моя мама строили свою жизнь только в плане личных интересов. Я не осуждал их. Я просто думал, что правильнее жить иначе. Основным доказательством к этому был мой отец.

Нельзя сказать, чтобы его жизнь в Москве была необычной или боевой. Отец занимал скромную должность заместителя начальника одного из трестов авиационной промышленности и тратил большую часть рабочего времени на охоту за сырьем для заводов. Но я чувствовал в нем какую-то особенную внутреннюю силу, целеустремленность, умение жить, служа не самому себе, а чему-то высокому и «настоящему». Мне не нужно было долго гадать, чтобы понять этот основной смысл в жизни отца. Его прошлое говорило само за себя. Таким внутренним смыслом могло быть только служение партии, а через нее — Родине. Школа, книги, газеты, радио подтверждали мне, что я был прав, что нет большей чести для человека, чем посвятить свою жизнь построению лучшего, справедливого мира — мира коммунистического.

В 1938 году я вступил в комсомол.

Однако мое участие в комсомольской работе не пошло дальше «общественных нагрузок» в школе. Все большее место в моей жизни стал занимать интерес к

театру и кино. Годам к семнадцати я окончательно решил, что попробую стать кинорежиссером. Случилось это, в основном, под влиянием отца.

Только став постарше, я сумел найти объяснение, почему отец толкал меня на путь служения искусству, а не непосредственно партии.

Мой отец обладал абсолютным музыкальным слухом, тонкой наблюдательностью, врожденным чувством красоты и гармонии. Но ему не удалось ни применить своих способностей, ни получить настоящей культуры. Для своих детей он хотел, очевидно, иной судьбы.

Он возил с собой из города в город пианино и находил учителей музыки для дочери. Мне он старался внушить интерес к театру, музыке, живописи, кино.

Особенных противоречий между этими стараниями отца и его революционным прошлым для меня не было. Я помнил слова Ленина, что искусство является сильнейшим средством воздействия на психологию масс и знал, что будущее коммунизма зависит от битвы за человеческое сознание.

Я поступил в школьный театральный кружок. Потом попал в киностудию Союздетфильм. Роли мои были маленькие, самые второстепенные, но пронзительный свет дуговых ламп и запах горького миндаля, пропитавший киностудию, запомнился мне на всю жизнь. Я стал мечтать о дне, когда смогу создавать кинокартины сам.

Параллельно с девятым классом я начал учиться в театральной студии.

Мама не одобряла моих планов. Она хотела для меня какой-либо более надежной профессии — адвоката, инженера, преподавателя. Конфликт между ней и мной становился всё более острым и достиг высшей точки летом 1940 года. В то лето я закончил школу.

Может быть, по-своему, мама и была права. Я получил «золотой аттестат», мог поступить без экзаменов в любое обычное высшее учебное заведение и, за какие-нибудь четыре-пять лет, стать инженером или научным работником.

Вместо этого, я собирался подать заявление в институт кино, где нужно было держать экзамены по специальным предметам. Мама доказывала мне, что в та-

кой институт попадают лишь люди, обладающие настоящим опытом работы в кино. Было слишком много шансов, что меня не примут.

Мамины доводы не подействовали. Я послал свои документы в Государственный Институт Кинематографии.

В августе меня вызвали для сдачи специальных экзаменов.

Но ни моя режиссерская разработка пьесы Погодина «Кремлевские куранты», ни моя попытка превратить в сценарий отрывок из «Хлеба» А. Толстого не произвели на приемную комиссию нужного впечатления. В списке, вывешенном через две недели на доске около деканата, я своей фамилии не нашел. Мамины пророчества оправдались.

У меня оставался выбор — или поступить поспешно в один из обычных вузов, или попытать свое счастье в киноинституте через год. Я выбрал второе. На этом наши с мамой отношения испортились окончательно. Для сохранения семейного спокойствия я переехал к отцу.

Я знал уже, что вступил на рискованный, ненадежный путь, не хотел быть никому обузой в моих упрямых попытках найти себя в искусстве и стремился как можно скорее стать независимым, даже от отца. Для меня это стало вопросом принципа, вопросом веры в самого себя. Помог мне случай.

Осенью 1940 года в Москве была открыта Студия эстрадного искусства. По замыслу Комитета по Делам Искусств Студия должна была готовить за государственный счет артистов эстрады из молодых, неискушенных кадров. Программа звучала очень соблазнительно. Стипендия, бесплатные костюмы для сцены, выпускной концерт на лучшей эстрадной площадке Москвы, обеспеченный заработок через шесть месяцев учебы. Как раз то, что мне было нужно. Оставался вопрос — как туда попасть? Состязаться с легионом чтецов, декламаторов, профессиональных актеров было бессмысленно. Жонглировать или играть на пилé я не умел. Никакого голоса для пения у меня тоже не было. Но зато я мог свистеть. И я рискнул подать заявление. В октябре того же года Всесоюзная Студия Эстрадного искусства

стала моим первым местом работы и принесла мне мой первый заработок.

Весной 1941 года я принял участие в выпускном концерте и стал затем разъезжать по Советскому Союзу с эстрадным номером художественного свиста. Ужас мамы был неописуем. Мы же с отцом были довольны. Работа на эстраде оставляла мне достаточно времени для киносъемок в студии и для подготовки по теории искусства. От военной службы я был освобожден по зрению. Нам казалось, что мои шансы на поступление в киноинститут становятся с каждым днем все более серьезными.

Но в июне началась война.

В первые же ее дни отец ушел добровольцем на фронт. Его поступок не удивил меня. Жизнь отца была неразрывно связана с коммунистической партией и советским правительством. Он пошел защищать то, за что боролся всю жизнь. Все казалось логичным и правильным. Я был уверен, что хорошо знаю и понимаю своего отца.

Гораздо меньше я ожидал от своего отчима, что он тоже пойдет добровольцем на фронт. Не только потому, что он носил очки еще более сильные, чем мои и был по призванию совершенно штатским человеком. Просто мне всегда казалось, что отчим заботится, в основном, о благополучии своей семьи и о своем положении в Коллегии Защитников. Оказалось, что он думал и о Родине не меньше. В начале июля отчим ушел в народное ополчение. Мне оставалось только позавидовать ему. Мой возраст для народного ополчения не подходил.

Один за другим уезжали на фронт мои сверстники. Дезертиром я себя не чувствовал, но ощущение обидной неполноценности становилось все острее.

Как-то по дороге в киностудию я забрел в переулок недалеко от Садово-Каретного проезда. У ворот перед зданием школы стоял часовой в необычной форме: солдатской, но с треугольными голубыми петличками, — в форме истребительного батальона. Полувоенные части с таким грозным названием были организованы в крупных городах для борьбы с возможными вражескими десантами.

— А что, если попробовать? — мелькнула мысль.

Меня пропустили к комиссару. В тот же день я был зачислен бойцом Истребительного батальона Октябрьского района Москвы.

Через несколько недель, вслед за мной в батальон пришло письмо из Комитета по делам Искусств. Киностудия просила отпустить бойца Хохлова на месяц для съемки в кинофильме «Как закалялась сталь». Особых причин возражать у командования не оказалось. Да и я сам уже успел убедиться, что кроме охраны складов и дежурства на крышах никаким особенным истреблением врагов батальон не занимался.

В первых числах августа я выехал в Ульяновск в составе съемочной группы режиссера Марка Донского.

Но, видимо, нашлись какие-то другие глаза следившие за моей работой в Ульяновске и запланировавшие для меня иную карьеру.

В сентябре, телеграммой, я был отозван назад, в батальон.

Еще в Ульяновске до меня дошли слухи, что истребительные батальоны превращаются в регулярные фронтовые части. Чего я не мог предположить, это того, что возвращение в Москву приведет меня в комнату в здании НКВД.

Хотя последняя мысль к анкетным вопросам, наверное, никакого отношения не имела.

Ну, вот, пожалуй, и вся моя несложная жизнь до 28 сентября 1941 года.

Неотвеченных вопросов осталось уже немного:

Служил ли в Белой армии? Нет, не служил.

Состоял ли в антисоветских партиях? Нет, не состоял.

Есть ли родственники за границей... Родственники за границей...

Я протянул анкету Комарову.

— Не знаю, товарищ Комаров, что писать о родственниках за границей. По-моему, у меня таких нет. Но ручаться не могу. А вдруг есть?

Он засмеялся:

— Ничего, напишите, что нет. Подпишитесь на каждой анкете и пойдемте к Михаилу Борисовичу.

Чуть позже Комаров и я сидели в соседнем кабинете и наблюдали, как Михаил Борисович, склонившись над косо поставленным у окна столом, шуршал анкетами, быстро их просматривая.

Его широкий лоб уходил двумя острыми углами в редкие, темные волосы. Седина на висках. Узкий, плотно сжатый рот. Крутой, упрямый подбородок.

Он поднял глаза и посмотрел на меня умным, пристальным взглядом.

— Ну, что-ж. Перейдем, пожалуй, к разговору по существу. Мы — разведчики, Николай. Вы находитесь в одном из отделов военной разведки. Мы вызвали вас, чтобы поручить важное государственное задание. Если вы захотите, конечно. Мы работаем только на принципе добровольности . . .

Михаил Борисович встал, подошел к окну и побарабанил пальцами по стеклу, как бы давая мне время подумать.

Но обдумывать мне было в сущности нечего. Реальность оказалась такой, о которой в девятнадцать лет и в дни войны можно было лишь мечтать. Разведка! Это действительно может оказаться не менее нужным, чем фронт.

Наверно, Михаил Борисович прочитал все это на моем лице. Может быть, даже выражение моих глаз в тот момент стало похожим на преданный взгляд молодого человека из соседней комнаты, потому что, сев обратно за стол, Михаил Борисович заговорил уже тоном начальника с новоприобретенным сотрудником.

— Обстановка для Москвы складывается плохо, Николай. Город, видимо, придется отдать. На короткое время, конечно. Но все равно — если немцы войдут в Москву, они должны почувствовать себя здесь, как в осином гнезде.

Михаил Борисович помолчал, скрестил пальцы и нахмурил брови. Чувствовалось, однако, что ему нравился ореол значительности и ответственности вокруг затронутой темы. Он продолжал, как бы обдумывая каждое слово.

— Для этого в городе должны остаться боевые группы. Люди, готовые ради борьбы на всё. Но дело не в одной решительности драться. Войти в доверие к нем-

цам не так-то уж просто. Мы подумали о небольших группах артистов эстрады. Немцы любят искусство, в особенности не очень серьезное. Они могли бы использовать такие коллективы для обслуживания своих фронтовых частей. Вы свистеть не разучились? Нет? Ну, и прекрасно. Мы включим вас в одну из таких групп. Если немцы возьмут Москву, они обязательно устроят парад Победы. И пусть устраивают... Может быть, даже Гитлер пожалует. Представьте себе большой концерт для фашистского командования. В зале немецкие генералы, правительственные чиновники, министры всякие... И вдруг — взрыв, один, другой... гранаты. Жив русский народ! Жив и сдаваться не собирается. Понимаете, что это значит?

Я понимал. Даже излишняя театральность тона Михаила Борисовича больше не резала мне уха.

Молчаливый Комаров, совсем утонув в кожаном кресле, упорно покручивал одной рукой телефонный шнур.

— Как ваш немецкий язык? — продолжал Михаил Борисович, усердно разыскивая что-то в пачке бумаг.

— Не ахти как. В школе учил, чуть-чуть дома. В общем, немного разговариваю...

— Внизу подколото, в самом низу, — бросил вполголоса Комаров Михаилу Борисовичу.

— Ага, вот она! — Михаил Борисович вытянул узенькую полоску бумаги и вернулся ко мне взглядом.

— Так что же? Решили?

— Какие уж там решения, Михаил Борисович. Говорите, с чего начинать.

Михаил Борисович протянул мне полоску.

— Начните вот с этого. Перепишите своим почерком.

Бледно отпечатанный на машинке, видимо, стандартный текст:

«...обязуюсь выполнять задания спецслужбы НКВД СССР по борьбе с немецкими захватчиками.

Все, что мне станет известным по ходу этой работы, буду хранить в полной тайне.

За нарушение настоящей подписки буду нести ответственность по всей строгости советских законов.

Подпись...»

— Подождите, — остановил меня Михаил Борисович. Выберите какой-нибудь псевдоним. Так полагается.

Вспомнились рассказы отца о наших дальних предках с Украины. Но «Вольченко» длинновато. Я сократил и написал «Волин».

Подколов подписку обратно к бумагам, Михаил Борисович нажал кнопку на краю стола и сказал сразу и Комарову и мне:

— Теперь поговорим о конкретной работе.

Почти сейчас же раздался стук в дверь и в кабинет вошел человек небольшого роста, лет тридцати, курносый, с широким русским лицом, смеющимися глазами и лохматой головой.

Он не спеша подошел ко мне и переглянулся с Михаилом Борисовичем, как бы ожидая сигнала.

— Вы знакомы? — спросил Михаил Борисович голосом, в котором чувствовалась шутка.

— Конечно, Боже мой, Николай! — воскликнул вошедший. — Как дела? Ты что — в армии? Вот уж не ожидал такой встречи.

Последние слова прозвучали довольно неуверенно. «Значит это он рекомендовал меня разведке» — подумал я.

— Итак вы уже знакомы? — не то вопросительно, не то утвердительно повторил Михаил Борисович.

— Как же, как же, — отозвался я. — Знакомы. Здравствуй, Сергей. Что ты здесь делаешь?

Сергей усмехнулся и сел без приглашения.

— Вероятно то же, что и ты. У нас теперь дела будут общие, как видно.

Наступило короткое, немного неловкое, молчание.

Я разглядывал Сергея с откровенным любопытством и думал, что в самом-то деле мое знакомство с ним было до сих пор только поверхностным.

Примерно за год до начала войны и он и я поступили во Всесоюзную Студию Эстрадного искусства. Оба попали в одну концертную бригаду, но особенной дружбы между нами не завязалось. Наверное из-за разницы в возрасте. Я был новичком на эстраде. Сергей уже много лет работал профессиональным актером. За плечами его было трудное прошлое бывшего беспризорника, затем музыканта в военном духовом оркестре, шофера-

испытателя на автозаводе имени Сталина. Поговаривали, что в армии он вступил в партию. Образования Сергей не имел почти никакого, но несмотря на это выдержал экзамены в Театральный институт и, успешно закончив его, стал актером Театра Красной Армии.

Сергей Пальников обладал острым глазом артиста и большим чувством юмора. Поступив в эстрадную студию, он начал писать фельетоны на бытовые темы и сам читал их со сцены. В короткое время он создал себе известность на концертных площадках Советского Союза.

С началом войны партийная организация поручила ему, как видно, принять участие в артистическо-разведывательных планах НКВД СССР.

Михаил Борисович хитро переводил глаза с одного из нас на другого, явно довольный эффектно устроенной встречей. Потом остановился взглядом на мне.

— Ну, что ж, Николай. Сергей будет вашим старшим товарищем по группе. Он член партии, вы — комсомолец. Будете представлять коммунистическое ядро будущей эстрадной бригады. Партдокументы оставите у нас и свою партийность держите в секрете. В вашу группу мы наметили еще двоих. Двух девушек, Обе они беспартийные. Вы встречались с ними в эстрадной студии. Одна из них певица — Тася Игнатова, как говорят, ваша хорошая знакомая...

Я с укором посмотрел на Сергея, но тут же решил счетов не сводить и ответил, по-возможности, безразлично.

— Да, я знаю ее по студии...

— Ну, и Нину-жонглершу вы тоже должны знать, — продолжал Михаил Борисович. — Не так ли? Коллектив, как видите, набирается интересный. За вашу работу на эстраде я не беспокоюсь, а вот по поводу других вещей давайте поговорим конкретно.

И мы начали разговаривать конкретно.

В начале октября месяца, вместе с потоком «эвакуировавшихся», уехали в Ташкент моя мать и младшая сестра. В квартире отчима, по московским условиям большой и удобной, никого, кроме меня, не осталось. Единогласным мнением «коммунистического ядра» бу-

дущей эстрадно-боевой группы квартиру было решено превратить в штаб для нашей четверки.

Я уже вернулся работать в Эстрадно-концертное объединение, заявив во всеуслышание, что батальон послали на фронт, а меня, как белобилетника, вернули к гражданской деятельности.

Все вчетвером — Тася, Нина, Сергей и я — устроились в одну эстрадную бригаду и начали выезжать на концерты во фронтовые части. Днем выступали у самой линии фронта, а вечером успевали еще вернуться в Москву. Так близко подошел фронт к городу.

Но на концерты старались выезжать не часто. Основное наше время было занято подготовкой для будущей партизанской работы в занятой немцами Москве.

Для большинства москвичей эти зловещие слова — «занятая немцами Москва» — прозвучали бы тогда еще невероятной, невозможной бессмыслицей. Но в высших правительственных кругах уже был отдан приказ — готовить город к эвакуации.

В проходных будках заводов появились первые списки сотрудников, отвечающих за вывоз оборудования. На вокзалах стали скапливаться тысячи людей, которым «по секрету» сообщили, что лучше выехать в тыл. Началось уничтожение документов и важных бумаг в министерствах и учреждениях. Даже в школах спешно сжигали архивы и списки учащихся. К середине октября паника начала медленно расползаться по городу. Слишком многие стали понимать, что судьба столицы висит на волоске.

Улицы по вечерам были безлюдны и мрачны. По главным магистралям, звонко стуча подковами сапог, бродили пары военных патрулей. В темных закоулках время от времени, с неожиданно лиричным звоном, рассыпалась в куски витрина продовольственного магазина, а иногда и ювелирного. Виновников редко ловили, а поймав — расстреливали, не церемонясь. Город был на осадном положении.

Многие покинули Москву в те дни. Но многие и остались. По самым разным причинам. Для четверых артистов Московской эстрады — Игнатовой, Мещеряковой, Пальникова и Хохлова — причина была простой — задание советской разведки.

Идейный автор «артистическо-разведывательной бригады» подполковник госбезопасности Михаил Борисович Маклярский решил, в первую очередь, снабдить нашу четверку следующими, по его мнению самыми необходимыми, вещами: запасом продуктов, как самой сильной валютой военного времени и резервом советских денег, на случай, если они не будут аннулированы.

И то и другое — для оплаты агентуры, взяток чиновникам и прочих повседневных расходов разведработы.

Для выполнения же боевых заданий Михаил Борисович решил создать на нашей штаб-квартире склад оружия и боеприпасов.

В один из октябрьских дней Сергей и я появились на углу Кисельного переулка, наискосок от продуктовой базы НКВД СССР. Наше начальство старалось не вызывать нас в здание НКВД, чтобы мы не примелькались там или не были замечены кем-либо из непосвященных.

С противоположной стороны улицы медленно подошел Комаров, почти сгибаясь под тяжестью двух серых мешков, совсем не гармонировавших с элегантным синим пальто. Он сбросил мешки на тротуар, облегченно вздохнул, поправил сбившийся галстук, шепнул: — «Несите так, чтобы не видели» — и исчез, оставив нас в некотором недоумении по поводу его совета.

Дома, собравшись вчетвером вокруг таинственных мешков, мы развязали первый и с удивлением увидели, как из него посыпалось несметное количество спичечных коробок, затем бульонных кубиков, так на полмешка, и десятки консервных банок одной и той же комбинации — свиного сала с фасолью. Сюрприз другого мешка был бо́льшим — копченое сало и кусковой сахар. Сахар, наколотый большими серыми обломками, лежал внизу. На него были набросаны пласты сала. Кристаллы соли осыпались вниз, сахарная пудра поднялась вверх и в результате, как долгое время потом шутил Сергей, нас торжественно наградили в октябрьские дни соленым сахаром и сладким салом. Но, в самом-то деле, для военного времени, эти мешки были настоящим богатством. После короткого и бурного совещания, богатство было сложено в мамин диван.

Затем Сергей принес туго перевязанные банковским шнурком пачки денег. Место для пачек было найдено легче — они разместились в шкафу между бельем.

Подошла очередь оружия и боеприпасов.

Все в тот же Кисельный переулок, но на этот раз под вечер, Комаров принес два фибровых чемодана. Оглянувшись по сторонам, он заговорил скороговоркой и вполголоса.

— Осторожнее. Чемоданы очень тяжелые. Идите боковыми улицами, старайтесь обходить патрули, чтобы вас не поймали с этим делом. Ночные пропуска с собой?

Мы отнесли чемоданы к себе на квартиру. В них оказались пистолеты, гранаты, кубики взрывчатки и пачки патронов.

Мы разместили «вооружение» в двух тумбочках, ставших сразу такими тяжелыми, что передвигать их можно было только с трудом.

В те же дни Комаров снабдил нас комплектами фальшивых паспортов на другие имена, воинскими «белыми билетами» и наборами продуктовых карточек.

Вид у Комарова был явно замученный. Мы понимали, что кроме нашей четверки, ему, наверное, приходилось разносить такие же вещи и другим группам. Во всяком случае, он всегда куда-то спешил.

Но иметь склад оружия в квартире было мало. Нам предстояло еще научиться обращению с ним. На одну из встреч Комаров принес запечатанный пакет и, вручая его Сергею, подчеркнул ногтем номер на конверте.

— Доедете на электричке до платформы Северной и спросите вот эту воинскую часть.

В воинской части из начальства оказался только комиссар.

Небольшого роста, рябоватый, с рыжими выцветшими бровями, он начал, медленно, высоким голосом читать.

— Просим обучить обращению и стрельбе из личного оружия системы Наган... Так... Это можно... полевого пистолета ТТ... Организуем и это... Иностранных марок: Зауер... Ошибочка.

Комиссар прервал чтение, многозначительно посмотрел на нас и сказал еще раз очень внушительно:

— Ошибочка. Грамотеи! Надо Маузер, а они З а у е р. Ручка есь? Сейчас поправим. Вот тоже, придумали: Зауер. А такой и марки-то нет.

Я покосился на рукоятку пистолета в моем кармане и прочитал про себя четкую надпись: Зауер Германия.

— Ну, ладно, — комиссар отбросил в сторону пакет. — Ближе к делу. С собой оружие какое есь?

Сергей вынул бельгийский пистолет.

— Вот, почистить хотели, да не знаем, как разобрать...

Я удивленно взглянул на него. Ведь только вчера вечером мы нашли секретную кнопку на затылке этого пистолета. Но тут же понял и промолчал.

— Это дело простое, — повертел комиссар в руке изящную машинку. — Мы его сейчас ... — Он потянул за рукоятку, нажал на спуск, подергал ствол и вдруг громко крикнул: «Саш!».

Из двери выглянул Саша, худенький, с бледными веснушками на скучном лице.

— Дай-ка отвертку, — приказал комиссар, и, подумав, добавил нерешительно — и ... молоток.

Учеба не состоялась. Мы сбежали по пути на стрельбище, как только получили обратно, так и оставшийся неразобранным, бельгийский пистолет.

Комаров долго хохотал, слушая наши жалобы, а потом, успокоившись, сказал:

— Ладно, дадим своего человека.

В день встречи со «своим человеком» шел проливной дождь. Сергей с ходу рванул дверцу автомашины, одиноко стоявшей на условленном месте и, протискиваясь к сидению, спросил, больше для формы: — «Товарищ Комаров?»

— Н-е-е-т, — спокойно протянул незнакомый голос, — не Комаров.

В машине одиноко сидел шофер.

— Простите, — выскочил, как ошарашенный, из машины Сергей и, отойдя в сторону, поднял на всякий случай воротник пальто. Дождь не унимался.

Минут через десять шофер вылез, обошел ее неторопясь, постучал носком сапога по задней шине и, не оборачиваясь к Сергею, спросил его вполголоса.

— Может, все же сядете в машину-то?

Сергей уже прошел несколько уроков по конспирации, поэтому он подчеркнуто удивленно посмотрел на незнакомца, пожал плечами и сделал несколько демонстративных шагов в сторону.

— Ну, мокните, мокните, — пробасил шофер и залез обратно. Мокнуть Сергею пришлось довольно долго.

Наконец прибежал запыхавшийся Комаров и потянул Сергея к машине.

— Знакомьтесь, — кивнул он на шофера, ваш инструктор.

— А мы вроде как уже познакомились, — отозвался инструктор из глубины машины. Из соседнего подъезда подошли и мы трое.

— Егор, — отрекомендовался инструктор и аккуратно подал каждому руку лопаточкой.

Поехали недалеко — в соседний переулок, где размещалась воинская часть. Спустились в подвал — длинный, узкий, но сухой и ярко освещенный.

Егор вынул из кармана маленький пистолет с изящной перламутровой ручкой, вставил обойму и протянул Нине.

— Стреляйте. Вон туда.

Он показал на белую мишень, пришпиленную к деревянному щиту в конце подвала.

Нина выстрелила несколько раз и пистолет заело. Мы с Сергеем помчались к мишени. Пуль там не оказалось. Вдруг Нинин пистолет сам собой исправился, хлопнул выстрел и пуля, пробив рукав Сергеева пиджака, шлепнулась в самый центр мишени. Мы переглянулись. Лица у всех были бледные. Но Егор улыбался.

— Осторожнее. Так убить можно . . . — прогудел он своим невозмутимым басом.

Так началась наша боевая тренировка. Уже после нескольких занятий мы привыкли к боевому оружию и правильному обращению с ним. Особенно доволен был Сергей.

Сначала нам показалось было обидным, что для подготовки столь важной группы, какой мы себя считали, выделили обычного шофера. Но потом мы быстро оценили простоту и опытность нашего инструктора. Сергей даже взял в привычку похлопывать Егора по плечу его неизменного синего комбинезона и приговари-

вать покровительственно: — Ну, что ж, Егор, — поехали, популяем, что ли?

Однажды, придя на встречу, мы увидели, что машина завалена деревянными ящиками и мотками разноцветных шнуров.

— Рассаживайтесь, ребята, как можете, поедем за город и там все это барахло нам понадобится, — махнул Егор рукой на ящики.

Выехали к окраине города, на Горьковское шоссе.

Патруль контрольно-пропускного пункта, в желтых овчинных полушубках, с новенькими автоматами и красным флажком в руках, остановил нас для проверки документов. Егор вытащил маленькую красную книжечку. Солдат взглянул в нее, вытянулся и отдал честь: «Проезжайте, товарищ полковник». Когда Егор засовывал книжечку обратно под полушубок, мы увидели в просвет распахнувшегося воротника четыре шпалы полковника. Я взглянул в округлившиеся глаза Сергея и мне стало почему-то дико смешно. Кто же из нас мог тогда предположить, что шофер Егор был не кем иным, как начальником боевой подготовки Партизанского Управления, полковником госбезопасности, мастером парашютного спорта Пожаровым?

В тот солнечный и яркий осенний день мы отъехали от Москвы километров тридцать. В прозрачном уже холодном лесу белели два-три цементных домика.

Егор завел машину прямо в гущу леса и сказал:

— Ну, теперь тащите ящики в траншею, да осторожнее, там взрывчатка.

Мы перетаскали в узкую, кривую щель, вырытую между цепкими корнями сосен, тяжелые ящики с желтыми брусочками, похожими на хозяйственное мыло. Но это был тол — сильнейшее взрывчатое вещество.

Потом Егор показал нам, как отрезать наискось нужный кусок серого Бикфордова шнура, вставлять его в алюминиевую трубочку и зажимать зубами.

Мы узнали, что трубочка эта вставляется в отверстие, просверленное в толовой шашке, и простейшая бомба готова. Мы наделали несколько зарядов, привязали их к деревьям, зажгли шнур плотно прижатой к нему спичечной головкой и с восторгом наблюдали, как

после глухого, теплого взрывного толчка четыре сосновых бревна разлетелись на куски.

Мы познакомились с электрическими взрывателями и с подрывной машинкой с замедленными и мгновенными взрывными шнурами, с магнитными минами и с зарядами «сюрпризного» действия.

Потом Егор вытащил из чемоданчика зеленую гранату с длинной деревянной ручкой и сказал:

— Вон, танк стоит, видите?

Мы давно уже видели этот танк. Обгоревший и полуразбитый он чернел у опушки леса на песчаной площадке, испещренной темными пятнами.

— До него надо добросить. А бросать будете так, — и объяснил.

Тася решительно дернула за маленький глиняный шарик, свисавший из конца ручки и, широко размахнувшись, бросила гранату прямо себе под ноги.

— В щель! — рявкнул Егор и, схватив девушек в охапку, швырнул их в траншею.

Все отделались только испугом.

Время от времени на штаб-квартиру приходил «дядя Петя», пожилой, тихий и скромный человек. Он обстоятельно объяснял нам, как по международным правилам следует надевать пальто и завязывать галстук, обращаться со столовыми приборами, составлять меню обедов и ужинов, рассаживать гостей, подавать к соответствующим блюдам соответствующие вина.

Он, наверное, был старым и опытным разведчиком, этот «дядя Петя». Много интересного рассказал он нам и о том, как работать в условиях подполья, как организовывать тайные встречи и приходить на них незамеченными, как проверять нет ли за тобой слежки, как переносить незаметно оружие и взрывчатку и многое другое, что должно было помочь нам не только работать, но и выжить.

Настоящего имени «дяди Пети» мы никогда не узнали. Он исчез так же внезапно, как появился. Потом, много позже, Михаил Борисович обмолвился случайно, что наш инструктор хороших манер погиб где-то в глубоком немецком тылу при выполнении задания.

Так шли дни за днями и мы все больше привыкали к своему положению полуартистов-полуразведчиков.

Повседневный быт нашей четверки тоже входил постепенно в налаженную колею.

Сначала нам было трудновато с продуктами. Мы крепились и маминого дивана не открывали. Но продуктовых карточек не хватало и жить приходилось впроголодь. Потом нам надоели танталовы муки и, по молчаливому сговору, на нашем столе стали появляться обеды, приправленные сладким салом и чай с соленым сахаром. Мы были слишком голодны, чтобы дожидаться прихода немцев. Но мы были также и полураздеты. Зимние пальто девушек были холодными и поношенными, у нас с Сергеем не было никаких. Единогласным решением четырех голосов было постановлено, что в интересах самой работы, мы должны приодеться потеплее и поприличнее. Так и случилось, что пачки денег были вытащены из шкафа и вся четверка направилась в «закрытый универмаг» на Кузнецкий. В магазин допускались только «избранные», со специальными лимитными книжками, но наша неутомимая Нина — «хозяйственный мотор» группы — раздобыла такую книжку одной ей известными путями.

Наш «оперативный фонд» начал таять.

Зато мы оделись, обулись и по вечерам в теплой, уютной квартире, собираясь вокруг обеденного стола за стаканом солоноватого чая, были по-своему счастливы. Мы ставили в центр стола вазочку с пуговицами и отчаянно сражались на них в покер. Обсуждали наши успехи и неудачи, столкновения с домоуправом и результаты последней стрельбы, сплетничали о знакомых артистах и даже выдумывали анекдоты про наше начальство.

Вот только о будущем, ожидающем нас, мы говорили очень мало. Как-то было ясно и без разговоров, что мы останемся и будем выполнять задания любой ценой.

Странное, какое-то совершенно особое, было тогда время. Не только для нас. Наверное, для всех русских людей. Изменилась система мышления, даже весь смысл жизни. Привычные ценности забылись, отошли на дальние планы, а их место заняли новые, не всегда осознанные чувства и стремления.

Если бы кто-нибудь спросил нас тогда, почему мы согласились стать разведчиками, что именно толкнуло

нас на такой, далеко небезопасный шаг, вряд ли мы сумели бы ответить точно и вразумительно. Мы просто знали, что так надо. Так — правильно. Мы никогда не обсуждали вопроса, стоит ли защищать советскую власть, хороша ли она и почему фашистов надо бить. Зачем? Мы были русскими людьми — этого было достаточно. Защищать мы собирались русскую землю и русскую столицу. Никакого другого места в этой войне мы для себя не видели.

Каждый из нас четверых подписал полоску бумаги с четырьмя буквами: НКВД.

Каждый из нас в довоенной жизни встречался со зловещим значением этого слова.

Тем не менее, все мы хорошо знали, что не по отношению к НКВД взяли на себя обязательства. Конечно, покривил душой Комаров при первом разговоре со мной. Не по простому совпадению помещалась разведка в одном здании с НКВД. Мы постепенно узнали, что наши начальники были офицерами 4-го Партизанского Управления НКВД СССР. Но все равно в наших мыслях никогда не сочетались ни Егор, ни Комаров, ни Михаил Борисович, ни вся их служба, ставшая теперь хозяином нашей судьбы, с «карательным аппаратом пролетарского государства».

Мы жили тогда в каком-то почти праздничном сознании неповторимости происходящего.

Мы понимали, конечно, что за веселыми, забавными эпизодами боевой подготовки, скрывается перспектива реальной борьбы с немцами в оккупированной Москве. Мы знали в глубине души, ч т о ждало нас при первой ошибке. Но ведь другого, не менее честного, пути не было. И мы потихоньку гордились, что никогда не говорили друг с другом о возможном исходе.

Все это было именно так, наверное, потому, что мы чувствовали, как думало в те дни большинство нашего народа. Потому, что миллионы были бы готовы занять наше место. Потому, что вместе с миллионами других русских людей, мы поняли истинные цели нацистского нашествия, остро ощутили опасность, повисшую над Родиной и, в первую очередь, над Москвой.

Особенно ярко и горько почувствовали мы готовность правительства отдать Москву, 15 октября. В этот

день Маклярский вызвал нас к себе, в здание НКВД. Когда мы шли с Сергеем по коридору седьмого этажа, на этот раз полуосвещенному и мрачному, навстречу нам попадались один за другим спешащие, растерянные, изможденные сотрудники. В руках у них были ворохи бумаг. Архивы срочно уничтожались уже и в здании НКВД.

Мы постучались в дверь кабинета Михаила Борисовича. Он стоял за столом и что-то быстро писал, наклонившись над записной книжкой.

Михаил Борисович протянул было руку к креслу, приглашая садиться, как его перебил звонок телефона.

— Алло? — взял он трубку. — Да, да, знаю ее... Что, что? Т-а-а-к... И уже во всем призналась?

Он покосился на нас, секунду помолчал и затем медленно, подчеркивая каждое слово, сказал негромко в трубку.

— Ну, вот что... Немедленно арестовать и на рассвете расстрелять... Да, да... Рапорт пришлете потом.

И бросил трубку.

Мы переглянулись с Сергеем. Вот оно, как бывает...

Михаил Борисович сел в кресло и начал говорить небрежным, но злым тоном.

— Раскололи тут девчонку одну. Успела уже связаться с немецкой разведкой. Ну мы, конечно, немедленно, узнали. У нас же там тоже свои люди есть. Зря поспешила...

Мы подавленно молчали. Откуда нам с Сергеем было тогда знать, что даже НКВД не расстреливает человека по простому приказанию начальника отдела.

— Ну, что же, — поднял Михаил Борисович на нас глаза. — Что я могу вам, ребята, сказать? Ничего хорошего... Москву оставляем... Немецкие танки на окраинах города. Держитесь, и помните, что вы будете защищать... Не горячитесь. Ждите связи и указаний. Но и сами не плошайте. Запомните — жизнь ваша нужна. Если уж и отдавать ее, то во-время и с толком...

Дверь открылась. Вошел Комаров и, поздоровавшись с нами, повернулся к Михаилу Борисовичу.

— Вас ждут, товарищ подполковник.

Михаил Борисович поднялся из-за стола, обошел его кругом и взял нас обоих за плечи.

— Ну, друзья, до свиданья. Помните все, чему мы вас учили. Увидимся в подполье.

Мы торжественно расцеловались и с Михаилом Борисовичем и с Комаровым.

— Еще раз помните — ждите указаний. Постарайтесь сначала войти прочно в доверие к немцам . . . — говорил Михаил Борисович, медленно шагая с нами по коридору.

У поворота к лифту, оглянувшись, мы увидели сзади в коридоре, у двери с номером 736, Михаила Борисовича, задумчиво провожавшего нас взглядом.

Внизу, в вестибюле, нас особенно тщательно проверил часовой и мы побрели на свою штаб-квартиру. Перспектива боевой работы придвинулась совсем вплотную.

Но русский народ не сдал Москвы. Конечно, все мы понимали, что потеря столицы не означала бы проигрыша войны. Мы говорили себе, что пока русский солдат не победит, война не закончится. Но все же в Москве было столько символического и дорогого каждому из нас . . .

В канун Нового года, захлебнувшаяся русскою кровью нацистская армия была отброшена от Москвы. Нам не пришлось встретиться с Михаилом Борисовичем в подполье. Это было счастьем и для Москвы и для нас — четырех артистов эстрады, наскоро приспособленных к разведке.

Уединенная жизнь в штаб-квартире, хотя и сдобренная салом и консервами, надоела нам довольно быстро. Мы не видели особенного зла в том, чтобы выйти немного в свет. Видно, уроки «дяди Пети» не предусмотрели всех случаев, когда конспирация необходима. Мы стали часто посещать ресторан Центрального Дома Работников Искусств, где еще можно было за коммерческие цены не только хорошо пообедать, но даже и прилично выпить. Держались мы, конечно, всегда вместе и вели себя в соответствии с вызубренными правилами конспирации. Наш таинственный и, в сущности, подозрительный вид, был быстро подмечен острыми глазами завсегдатаев ресторана — московскими артистами и художниками. Друзья и знакомые, артисты эстрады все чаще и чаще заходили к нам на штаб-кварти-

ру, посидеть в тепле, поиграть в покер на пуговицы и выпить стакан, немного странного на вкус, но все же не по-военному вкусного, чая.

Разговаривали о том, о сем, и только, когда Нинин друг-саксофонист начинал подтрунивать над нашей таинственной дружбой вчетвером, Нина сурово обрывала его, добавляя неизменно значительным тоном: «Давай, об этом не будем говорить...»

Но «об этом» узнавало все больше людей.

Уже в декабре Михаил Борисович решил принять от нас обратно «оперативный фонд». Когда оставшаяся сумма была подсчитана, он схватился за голову и спросил убитым голосом:

— Куда же вы ухнули такую массу денег?

— Расходы по конспирации, Михаил Борисович, — почтительно ответили мы.

— По к-о-н-с-п-и-р-а-ц-и-и? — расхохотался Михаил Борисович. — Это вы-то — конспираторы? Да вся Москва знала, что вы связаны с разведкой! Ваше счастье, что немцы до Москвы не дошли. Болтались бы вы все четверо в первые же двадцать четыре часа на ближайшем фонаре.

Но группу нашу он пока не распустил. Видно его служба все обдумывала, кого из нас и как можно использовать в изменившейся обстановке.

Наверное именно для этого привез к нам однажды Михаил Борисович своего начальника.

— Познакомьтесь, товарищи, — это Павел Анатольевич!

Михаил Борисович почтительно посмотрел в сторону моложавого темноволосого человека среднего роста с внимательным взглядом больших черных глаз из-под нависших мохнатых бровей.

Мы сразу почувствовали, что речь идет о высоком начальстве. Мы не разбирались в форме и званиях НКВД, но красный ромб на зеленых петличках его гимнастерки внушил нам почтение.

Он умел держать себя и знал, как нужно разговаривать с людьми, чтобы подавить их своей выдержкой, отточенными манерами, тихой, взвешенной речью большого и умного начальника. И он действительно был большим начальником, генерал-майор государственной

безопасности Павел Анатольевич Судоплатов, руководитель Партизанского Управления НКВД СССР, хозяин специальных отрядов в немецком тылу. Он знал цену подчеркнутой простоте, которую могут разрешать себе люди, имеющие силу. Он посмеялся вместе со всеми рассказам Сергея о наших похождениях и о войне с местным домоуправом, посоветовал вести себя поосторожнее, особенно не расконспирироваться и, в основном, больше послушав, чем поговорив, отбыл в ту же неизвестность, откуда появился.

Но не надолго.

В ночь под Новый 1942-ой год, часа в два, раздался звонок и я, не веря своим глазам, впустил в квартиру Михаила Борисовича и Павла Анатольевича.

Михаил Борисович держал подмышкой бутылки с вином, Павел Анатольевич — большой букет цветов.

— С Новым годом, — бодро прокричал Михаил Борисович и направился прямо в кухню. — Вы что, Николай, один дома?

— Н-е-е-т, — запинаясь от неожиданности стал объяснять я. — Сергей и Нина работают на праздничном концерте, а у нас с Тасей свободный вечер. Она, помоему, спит.

— Ничего, разбудите. Кто же спит под Новый год? — веселился Михаил Борисович, выкладывая на сундук бутылки и пакеты из карманов.

Павел Анатольевич, мягко улыбнувшись, прошел в столовую и показал мне на стул рядом.

— Как живете, Николай? Мама пишет вам? Как она там управляется с дочками в Ташкенте?

Пока Тася одевалась, а Михаил Борисович собственноручно откупоривал бутылки, Павел Анатольевич медленно втолковывал мне:

— Знаете, Николай, пожалуй, даже очень удачно, что ваших пока никого нет. Мы посовещались с Михаилом Борисовичем и решили вашу группу распустить. Опасность для Москвы миновала. Надеемся, что навсегда. Кроме того, некоторые ваши коллективные неудачи с конспирацией закрыли путь для дальнейшей работы вчетвером. Но мы подумали о вас лично. О вашем будущем. Как бы вы, например, отнеслись к работе в разведке не потому, что необходимость обязывает, а не-

сколько иначе? Скажем, как к большому, очень серьезному и очень нужному Родине делу. Тут придется и много поучиться и много поработать над собой. А потом, может быть, поехать в дальнюю и ответственную командировку . . .

— А куда? — не удержался я. — Куда поехать?

Павел Анатольевич задумчиво приподнял два пальца, не отрывая всей ладони от скатерти, и вдруг уронив их обратно, сказал решительно:

— Ну, скажем, в Германию . . .

— В Германию? — чуть не вскрикнул я. — Конечно, поеду! Но как? И что я там буду делать?

— Тихо, тихо, Николай, — остановил меня вошедший Михаил Борисович. — Не все сразу . . . Сначала вам нужно стать настоящим профессиональным разведчиком.

Он разлил вино в стаканы, взял один из них и продолжал, смерив меня торжественным взглядом:

— Говорят, вы мечтали когда-то стать актером или режиссером . . . Ну, что ж: теперь ваша мечта может исполниться . . . С той, правда, разницей, что режиссировать вам придется свои собственные шаги, и играть не на сцене. В жизни . . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая роль, которую наметил для меня генерал Судоплатов, оказалась ролью «грузинского немца».

Километрах в пятидесяти к югу от Тбилиси есть небольшой город — Люксембург. Еще со времен Екатерины Великой там жили тысячи колонистов-немцев. За сотни лет их язык потерял связь с западным немецким языком, сами колонисты обрусели, но в принципе попрежнему считали себя немцами. С началом войны им пришлось расплачиваться за свою национальную обособленность. Поезда с тысячами «грузинских немцев» потянулись из Люксембурга на восток в дальние и неизвестные места. Нашлись десятки смельчаков, решившихся бежать к недалекой турецкой границе. Многим удалось попасть на другую сторону. Немецкое посольство в Анкаре переправляло их в Германию, где они восстанавливались в «арийских» правах. Обо всем этом советской разведке было хорошо известно. В феврале 1942 года я получил от генерала Судоплатова задание выехать в Тбилиси, познакомиться с Люксембургом и затем превратиться в немца-колониста. Дело в том, что сотрудникам судоплатовской службы удалось найти среди колонистской молодежи юношу, одного со мною возраста и с внешностью, примерно, похожей на мою. Мне предстояло изучить своего «двойника», запомнить его родственников и знакомых и потом с его документами в кармане бежать через турецкую границу. Судоплатов серьезно верил, что я смогу попасть в Германию.

Он даже назначил мне встречу в Берлине, на одной из аллей Зоологического сада. Предполагалось, что из Германии я буду добиваться зачисления в армию и на фронте установлю связь с партизанской агентурой. Для моих неопытных ушей все звучало как почетное и вполне осуществимое задание. Но мне не пришлось проверить правильности судоплатовских расчетов. Приехав в Грузию, я сразу заболел сыпным тифом и пролежал без сознания двадцать дней. Только в конце мая врачи разрешили мне вставать с постели. Ценное время было потеряно. «Бегство» в Турцию было отменено и в июне я вернулся в Москву. Дебют в роли «грузинского немца» не удался.

Однако моя судьба в разведке была решена. Судоплатов окончательно привык к мысли, что меня надо превратить в немца, одеть в гитлеровскую форму и заслать в тыл фашистским войскам. Разница между грузинским колонистом и офицером немецкой армии с «арийской» родословной была, конечно, огромной.

Для нашего противника такой метод борьбы был не нов. Гитлеровская разведка с первых дней войны начала забрасывать в тыл нашей армии группы фальшивых офицеров, милиционеров и даже дворников, одетых в безупречно советскую одежду и снабженных «железными» документами. В Германии нашлось достаточно бывших русских, готовых выполнить любое поручение иностранных хозяев. Эти люди хорошо ориентировались в советской обстановке. Их сбрасывали на парашютах впереди быстро наступающей фашистской армии и они успевали выполнять сложнейшие задания по диверсии и саботажу.

В советской разведке, людей, способных сыграть роль немца, можно было пересчитать по пальцам еще до войны. Они были в основном иностранцами, политэмигрантами. В условиях же отступающей советской армии вопрос доверия к иностранцам становился особенно острым. Кроме того, в первые месяцы основное внимание уделялось оставлению агентуры под видом советских граждан. Готовить искусственных фашистов для заброски через фронт было некогда.

Так было до начала 1942 года, до психологического перелома в ходе войны. Когда проснулась сила и воля

русской нации, когда гитлеровская армия была остановлена и в тылу ее стало расти партизанское движение — появилась и для советской разведки возможность заброски в тыл противника своей агентуры во вражеской военной форме.

Сначала были подготовлены небольшие «специальные отряды». Они формировались из спортсменов: боксеров, лыжников, бегунов, пловцов. Под Москвой, в военном городке Отдельной Мото-Стрелковой Бригады Особого Назначения, или, как мы все называли ее, «ОМСБОН», эти люди проходили особую тренировку для суровых условий партизанской войны. Там же было собрано разнообразное трофейное оружие, созданы лаборатории диверсионной техники, сосредоточены лучшие инструкторы по боевой подготовке.

Уже в начале 1943 года несколько отрядов «особого назначения» было сброшено в партизанские районы глубокого тыла гитлеровской армии.

Эти отряды обосновались в лесах Украины и Белоруссии, установили радиосвязь с Москвой и начали разведку ближайших городов. Следующим этапом являлась заброска специально подготовленных людей, которые могли бы, с помощью уже устроившихся отрядов, проникнуть в районы, контролируемые гитлеровцами и приступить к диверсиям. Такие люди тоже готовились в Москве, начиная с лета 1942 года. Конечно, не все они предназначались для работы в немецкой военной форме. Многие должны были разыгрывать белых эмигрантов, беженцев из прибалтийских стран, подданных разных государств, воюющих на стороне Германии и так далее.

Но были места в фашистском тылу, куда можно было проникнуть только в форме немецкого офицера. Эти места были особенно интересны для советской разведки.

Летом 1942 года службе генерала Судоплатова — Партизанскому Управлению НКВД СССР — было разрешено подготовить четырех человек для заброски за линию фронта в немецкой военной форме. Трое из намеченных Судоплатовым людей были настоящими немцами. Четвертым «гитлеровским офицером» предстояло стать мне.

Начинать нужно было со шлифовки немецкого языка. Меня поселили на одной квартире вместе с Карлом Кляйнюнгом, немецким коммунистом, одним из остальных трех кандидатов. Разговоры с Карлом давали необходимую практику. Внимательно присматриваясь к нему, я запасался крылатыми словечками, типичными жестами, разными мелочами поведения, деталями воспоминаний о Германии — короче, тем материалом, из которого мне предстояло создать образ немецкого офицера по своей мерке.

Участвовать в войне Карлу приходилось не впервые. Он родился и вырос в Кельне — в одном из промышленных городов Германии. Всю свою молодость Карл отдал «делу рабочего класса». Верил ли он по-настоящему в легенду о Прометее двадцатого века — закованном пролетариате? Наверное — да. Иначе вряд ли хватило бы ему сил для долгих лет подполья в нацистской Германии, выдержки для холодных и жестоких ночей под Гвадалахарой в Испании, упорства для скитаний вдали от родины, захваченной социальными преступниками.

Но и ему предстояло первый раз в жизни надеть на себя мундир фашистского офицера и пойти за линию фронта. Мы быстро сдружились. Он оказался хорошим и верным товарищем. А по идейным вопросам разногласий у нас быть не могло: в 1942 году защита советской власти означала для меня защиту Родины.

Наверное поэтому чувство счастливой гордости все росло и росло в моей душе. Инструкторы, замелькавшие в моей жизни с осени того года, принесли с собой причудливые кусочки романтической мозаики. Из этих кусочков для меня все больше и больше складывались слова: «особое доверие государства».

Так было, например, когда я в первый раз пришел в тир клуба НКВД.

Меня встретил у входа человек в штатском сером костюме и негромко пригласил: — «Пойдемте, Николай».

Мы прошли через большой, пустой и полутемный вестибюль и спустились к железной двери в подвал. Мой спутник вошел первым и зажег свет. Стены, обитые темным мягким материалом, тяжелая плотная занавесь поперек комнаты, кресла, столики.

— Садитесь, Николай. Поговорим... Моя фамилия Годлевский. Я буду тренировать вас в стрельбе из личного оружия. Расскажите, как вы стреляете...

Годлевский говорил медленно, тихо и невидимая улыбка витала вокруг его резко очерченного рта. Он сразу внушил мне доверие к себе. Я поспешил перечислить свои серьезные успехи в стрельбе из разнообразного оружия. Улыбка Годлевского на мгновение стала видимой. Он поднялся с кресла.

— Ну, давайте, попробуем.

Прошуршала отдернутая занавесь, щелкнул выключатель и я увидел длинный прилавок. За ним, как окошко в стене, уходил далеко вперед ярко освещенный туннель с тремя маленькими рельсовыми путями. Годлевский откинул щиток на стальной тележке, пришпилил мишень и нажал рычаг. Тележка плавно поехала вглубь туннеля. Годлевский положил на прилавок немецкий пистолет «Вальтер» и пять патронов.

— Заряжайте.

Я вложил обойму, взвел курок и поднял пистолет.

— О, нет! — остановил меня Годлевский. — Спустите курок. Положите пистолет в карман. По команде, можете стрелять. На скорость. Я засеку время... Внимание... Огонь!

Когда отзвучали выстрелы, Годлевский нажимом рычага вернул мишень к прилавку. Одна пуля попала, примерно, в середину, остальные разбрелись куда попало.

— Может быть пистолет не пристрелян? — смущенно пробормотал я.

Годлевский молча послал мишень вглубь туннеля, зарядил пистолет и выстрелил пять патронов молниеносной серией, почти не целясь.

В подъехавшей мишени пять пуль тесно сжалось в середине черного яблочка. Во внимательном взгляде Годлевского не было ни хвастовства, ни укора. Глаза его, всего-навсего, подчеркивали зазвучавшие слова.

— Примерно так вам нужно стрелять. Даже, если вас разбудят ночью. Скорее всего, именно тогда. В темноте, наощупь, в доли секунд. Над этим мы и будем работать.

Часа через два, когда в моей голове уже звенело от бесчисленных выстрелов, а руки онемели от беспрерывной вскидки пистолета, Годлевский ушел проверить, свободен ли от посторонних людей наш обратный путь через вестибюль.

Оставшись один, я начал рассматривать большую таблицу международных спортивных рекордов в углу тира. В графе «стрельба из боевого оружия» стояла фамилия Годлевского. Мой учитель был, оказывается, многолетним чемпионом СССР. Неудивительно, что все пять пуль так послушно легли в центр . . .

В те же дни я начал учиться радиосвязи.

Сначала пришлось несколько недель выстукивать на телеграфном ключе буквы алфавита. Ключ был привинчен к краю маминого обеденного стола и стука его никто, кроме инструктора и меня не слышал. Потом появился второй ключ и тонко жужжащий зуммер. Инструктор ушел в другую комнату. Начались «радиоразговоры» на интернациональном радиокоде. Если я чего-нибудь не понимал, можно было приоткрыть дверь и переспросить на словах.

Но однажды радиоинструктор принес на урок небольшой, аккуратный чемодан. Три светлокоричневые коробки, каждая с небольшой сигарный ящик, были торжественно вынуты и положены на стол. Инструктор соединил их толстыми, многожильными шнурами и подключил к штепселю. Между верхушкой буфета и гардеробным крючком в передней он развесил белый провод-антенну и вернулся к коробкам.

— Это наша последняя модель портативной радиостанции от переменного тока. Называется «Набла». Надписи сделаны на английском языке для маскировки.

Он передал мне пару наушников, нажал на ключ и стал настраивать передатчик. Вспыхнула розовая неоновая лампочка. Инструктор объявил, что станция готова к передаче и приему. Потом многозначительно взглянул на часы.

— Через двадцать минут у вас будет первый сеанс. Пока я объясню, как составлять позывные.

Позывными называются буквы или цифры, отличающие одну радиостанцию от другой в эфире. Мне предстояло в будущем работать из района, занятого врагом, и я не мог иметь постоянной «фамилии». Каждый раз, появляясь в эфире, я должен был менять свои позывные. Инструктор объяснил систему. Из комбинации месяца, даты и дня недели получалась несложная таблица. После нескольких перестановок оставались три буквы.

У нас получилось две комбинации. ФДК для меня и ЛТР для неизвестного собеседника, с которым я должен был встретиться в эфире через десять минут.

Я надел наушники. Медленно вращая зубчатое колесико, я прослушивал волну, где должен был вынырнуть мой «корреспондент».

Десятки станций пищали и звенели на разные голоса. Где-то вдали шумела эфирная гроза, пропуская время от времени обрывки джазовой музыки. Чей-то надрывный голос кричал что-то непонятное в пространство. Казалось невероятным, что в этой запутанной звуковой сумятице можно услышать три буквы, только что вычисленные на кусочке тетрадной бумаги. Тонкий и чистый голосок новой станции привлек мое внимание. Я никак не мог сообразить, почему задержался на нем. Он упорно отсвистывал одну и ту же фразу. И вдруг, как-то сразу, я прочитал: «ФДК . . . ФДК . . . я ЛТР . . . я ЛТР . . .». Трудно описать эмоции первой радиосвязи с корреспондентом. Они похожи, может быть, на радость, которая охватывает вас, когда в чужом городе, в незнакомом обществе вы встречаете вдруг привычное лицо старого друга. Я схватил ключ и начал отвечать. ЛТР тут же остановил меня протяжным и приветливым свистом и заявил, что всё — «Р» и «КюЭсЭль». В вольном переводе это означало поздравление с первой радиосвязью.

Я никогда не увидел в лицо ни оператора ЛТР, ни всех других, с кем пришлось вести радиосвязи, сначала из Москвы, потом из-за линии фронта. Они так и остались для меня теми или другими «дежурными» буквами — ниточкой между моим радиоключом и центром, Москвой. И я для них был только группой из пяти цифр — 49445. Этот номер обозначал таблицу шифра,

закрепленную за мной. Преподаватель по шифровке показал мне, как превращать слова телеграммы в сочетания цифр.

Мое начальство знало, что, работая в немецком тылу, я смогу оказаться и без радиостанции. Нужен был запасной способ связи. Я стал учиться тайнописи.

Девушка-инструктор вынула из портфеля белый медицинский халат и, расправляя запутавшиеся тесемки, сказала невозмутимо:

— Нет, уколов делать вам я не буду. Но платье жалко портить. Некоторые химикалии оставляют несмываемые пятна.

Она аккуратно расставила на письменном столе склянки и пробирки и приступила к уроку.

— Сначала о чернилах. Наш отдел подобрал для вас водочный раствор глюкозы. Глюкоза продается в большинстве аптек. Покупка ее вас не скомпрометирует. Водка тоже вещество не подозрительное. Если вас и застанут за письмом, вы всегда можете просто выпить «чернила». Некоторым нашим лаборантам они показались даже вкусными.

Я составил раствор. Инструктор продолжал посвящение.

— Писать будете обычной ручкой, но с отожженым пером. Я принесла несколько телеграмм. Они составлены по вашему шифру. Начнем писать. Набирайте немного чернил и выписывайте каждую цифру аккуратно.

Пока я писал цифру она еще была видна мокрыми линиями. Когда «письмо» было закончено «чернила» высохли и исчезли.

— Если вы так его пошлете, — говорила девушка, — то на кварцевом облучении места бумаги, где легли чернила, станут видны. Надо защитить письмо. Намочите вату в водке и быстро протрите листок бумаги с обеих сторон. Сразу после защиты будете сушить листок между промокашками. А то чернила расплывутся. Ничего не поделаешь. Конечно, сложная история. Зато, никакая контрразведка вашего письма не прочитает.

Когда листок был «защищен» и высушен, оказалось, что нужно еще заложить его в толстую книгу для возвращения к прежнему «фабричному» состоянию.

Девушка перешла к рассказу о проявке.

— Проявка делается двумя веществами — ляписом и какой-нибудь сильной щелочью, скажем, натрием. Ляпис легко достать в аптеке. Натрий бывает в химических магазинах.

Девушка бросила в два блюдечка по горошинке каждого вещества и залила водкой. «Письмо» было вытащено из книги. Оно высохло и ничем не отличалось от чистой бумаги.

— Полагалось бы написать какой-либо видимый текст, но это в следующий раз. Давайте проявим.

Девушка намочила в одном из блюдечек ватный тампон и провела по невидимым строчкам моего «письма». Ничего не случилось. Только бумага стала желтеть и коробиться.

— Теперь быстро вторым раствором, — продолжал инструктор.

На этот раз за тампоном потянулся светлокоричневый след и на нем начали проступать темные цифры.

— Вот и все. Текст надо быстро переписать, потому что минут через десять он снова исчезнет. В общем, вы видите, процесс простой.

Из вежливости я согласился с девушкой. Но прошло много недель прежде чем мои письма стали действительно «тайными» и понятными для сотрудников специальной химической лаборатории НКВД СССР в Москве.

Когда я окончательно освоился со способом превращения аптечных средств в тайные чернила, пришло время для следующего шага: познакомиться со способами превращения аптечных средств во взрывчатые, так называемые «боевые вещества».

Мало кому из людей «мирных профессий» известно, что самые банальные «химикалии» могут стать иногда грозными разрушителями. Ацетон продается в аптеках для удаления с ногтей старого лака. Перекись водорода — для корректуры природного цвета женских волос. Соляная кислота идет на балансирование желудка и для пайки металлов. Но не рекомендуется смешивать вместе эти три вещества. Получающийся от смеси белый порошок является сильнейшей взрывчаткой.

Из кинопленки, ацетона и воды опытный разведчик в несколько минут может приготовить пироксили-

новую шашку, раза в два сильнее толовой. Марганцевый калий и глицерин дают опасную зажигательную смесь. Фосфатные удобрения, пропитанные керосином, рвутся от детонации. Алюминиевые опилки и порошок фотовспышки горят с температурой свыше тысячи градусов.

Много таких «самодельных» рецептов пришлось вызубрить мне в те дни. Я познакомился и с готовыми «разрушительными средствами». И, в первую очередь, со знаменитой английской магнитной миной.

Конструкция ее очень проста. Кубик тола, заключенный в коробочку и два небольших магнита по краям. Весь смысл мины заключается в том, что ее можно одним движением руки «прицепить» к любому металлическому предмету. В дни войны таким предметом, чаще всего, были стенки цистерны с бензином, металлические полосы на ящике со снарядами или крышка буксовой коробки у железнодорожного вагона. К минам прилагался «магический карандаш». Он действительно как две капли воды походил на настоящий карандаш. С той разницей, что был сделан из светлой бронзы. На белом ярлычке, прицепленном к середине «карандаша», стояли цифры: два, четыре, двенадцать часов. Карандаш вкладывался в мину. Ярлычок отрывался, и через соответствующее количество часов кубик тола взлетал на воздух.

В середине зимы 42—43 гг. на моем горизонте снова появился Егор Пожаров. На этот раз, как инструктор прыжков с парашютом.

В крошечной кабине учебного самолета У-2 было тесно. Егор взял меня за плечо и закричал в ухо:

— Садись осторожно на край, свесь ноги и по моей команде прыгнешь вниз головой.

Я покосился на дыру без двери и, стараясь не вытолкнуть Егора наружу, стал протискиваться в приказанном направлении. По высунутым ногам ударила плотная струя мчащегося мимо воздуха. Я прижал лицо к краю толстой фанеры и заглянул вниз. Мохнатые черточки деревьев окружали заснеженный аэродром. Тоненькие дороги, рядом с ними — темные полоски домов, пушистый клубок пара от паровоза на соседней станции... Красиво. Но когда мелькнула мысль, что

туда нужно ринуться вниз головой, мурашки пробежали по спине и в желудке засосало.

Егор накрутил на руку белый шнур, привязанный к моему парашюту и наклонился ко мне:

— Приготовиться, — заорал он.

Готовиться было нечего. Казалось совершенно диким, что через несколько секунд я полечу, как камень, туда вниз.

— Пошел! — крикнул Егор и столкнул меня решительным пинком в спину.

В то же мгновение чья-то ледяная рука сдавила сердце. Открывшийся судорожно рот пытался схватить воздух. Но воздуха не было. В ушах свистело. Барахтающиеся движения рук напоминали, наверное, рыбу, выброшенную на песок. Сколько секунд прошло, я не знаю. Резкий толчок встряхнул меня, как куклу, вернул небо наверх, землю вниз, а мне — способность мыслить.

Кругом воцарились тишина и покой. Я неподвижно висел в воздухе. Над головой шуршал гигантский купол парашюта. Мне стало ясно, что произошла техническая ошибка. Парашют был слишком большим для моего веса. Ветер, очевидно, нес меня и не давал падать. Я огляделся по сторонам уже совсем трезво. Земля была по-прежнему далеко внизу, но не казалась больше страшной. Наоборот, вопрос возвращения на нее начинал уже немного беспокоить. И вдруг сразу все изменилось. Извилистые разводы дорог бешено помчались навстречу. Едва успев согнуть, по инструкции, ноги, я повалился в снег. Земля оказалась мягкой и приветливой.

Потом мне пришлось прыгать с транспортного самолета «Дуглас», с высоты и в шестьсот метров и в девятьсот, с прицепленным тросом и с кольцом, но всякий раз, подходя к открытой двери, я задерживался на секунду, вспоминая ледяную руку, сжавшую сердце при первом прыжке. Она никогда больше не вернулась. Человек легко привыкает ко всему.

Но самым главным и самым трудным оставалось другое — образ немецкого офицера. Изучить его было мало — в него нужно было вжиться, привыкнуть к нему, как к самому себе.

Разными путями я пробивался к этой цели. Специальные преподаватели знакомили меня с историей Германии, с ее культурой и экономикой. Чтение нацистских книг и газет открывало мрачные перспективы розенберговской «идеологии». Зубрежка немецкого военного устава учила безошибочно ориентироваться в чинах и позументах гитлеровской армии. Барабаня одним пальцем на мамином пианино я привыкал к звучанию мелодий «Эс-А марширт» и «Унтер дер латерне». Каждый вечер через особый приемник мне приходилось выслушивать очередную трескучую сводку Берлина и «темпераментные» проповеди геббельсовских радиоораторов. Кроме того, Карл и я получили возможность встречаться с настоящими, вернее, бывшими гитлеровскими офицерами, в подмосковном лагере для военнопленных.

Примерно через полгода после начала войны НКВД СССР построило в подмосковном городке Красногорске специальный лагерь. Он был своеобразной лабораторией советской разведки. Сюда со всех фронтов и из всех лагерей присылались пленные гитлеровцы, представлявшие «оперативный интерес». Некоторые из них обрабатывались для сотрудничества, другие были редким источником информации или связей. В эту «лабораторию» мы с Карлом стали регулярно наведываться.

Опрашивая пленных, мы узнавали детали офицерского быта. По нашей просьбе солдаты разыгрывали сценки строевого шага при встрече с генералом, отдачи рапорта офицеру и прочие «проблемы» прусской военной шлифовки. Я фотографировал полагающееся по уставу расстояние локтей от бедер при стойке «смирно» или положение головы при повороте на каблуках. Работа кипела. Нам все больше и больше казалось, что стать немецкими офицерами будет не так уж сложно.

Но у нашего начальства были, по-видимому, серьезные колебания по этому вопросу. В апреле 1943 года Маклярский вызвал меня на одну из квартир, принадлежащих судоплатовской службе, на улице Горького. На таких квартирах офицеры разведки тайно встречались с агентурой и назывались они «конспиративными квартирами» или, проще, «КК».

В кабинете «КК» номер 141, кроме Маклярского, был еще один незнакомый мне человек.

Развалившись в кресле, грузный и неподвижный, он несколько секунд молча сверлил меня маленькими глазками. Потом, не подымаясь, протянул руку и сказал:

— Садитесь. Как ваши парашютные прыжки?

— Ничего, прыгаю...

Видя, что я замялся, незнакомец добавил:

— Леонид Александрович, мое имя. Ну, а к немцам спрыгнете?

— Для этого я и тренируюсь...

— Знаю, знаю. Но вы-то русский. А они — немцы. Не раскусят они вас в два счета? Не повесят на ближайшем фонаре?

— Я не самоубийца...

Тон незнакомца начинал раздражать меня, но притихший Маклярский заставлял подозревать, что передо мной сидит большое начальство. Леонид Александрович продолжал:

— Мы тоже не хотели бы жертвовать вашей жизнью, очертя голову. Надо проверить сначала, чему вы научились. В лагерь немецких военнопленных поедете?

— Мы уже много раз там бывали.

— Я имею в виду поездку под видом пленного. Сумеете прожить в лагере, скажем, месяц? Не догадаются, кто вы такой?

Я задумался. А почему бы и нет? Если под обостренно внимательным взглядом пленных наша немецкая маскировка устоит, то шансы на успех за линией фронта станут реальными.

— Ну, что ж... Поеду, если надо...

Леонид Александрович удовлетворенно взглянул на Маклярского.

— Организуйте это дело. Никакой протекции с нашей стороны. Пусть проверят себя оба по-настоящему.

Но совсем без протекции дело не обошлось. Когда через несколько дней Карл и я сели в купе поезда, направлявшегося на север, вместе с нами было трое сотрудников разведки, назначенных в помощь. Мы ехали в городок Оболовку, километров за четыреста от Москвы.

По дороге выяснилось, что Леонид Александрович был старым знакомым Карла. Кляйнюнг состоял в его

личной охране в Испании и знал, как генерала Котова. Во время испанской войны генерал Котов руководил партизанской деятельностью Интернациональной бригады. Но в те же годы он был и хозяином советской разведки во Франции. Немало сложных разведывательных комбинаций по Европе родилось в свое время в широколобой, лысоватой голове с маленькими буравящими глазками. Настоящая фамилия Котова была — Эйтингон. В 1943 году он, в чине генерал-майора, был заместителем Судоплатова.

Городок Оболовка оказался похожим больше на крупное село. Тем не менее, районное управление НКВД помещалось в каменном доме с несколькими подъездами.

Через черный ход наши спутники провели нас незаметно в кабинет начальника управления. Туда же были принесены два чемодана с военной формой. Начальник перечитал еще раз письмо из Москвы, смерил нас изучающим взглядом и нейтрально предложил «устраиваться, как дома».

Мы с Карлом не заставили себя долго просить и начали облачаться в заношенные, наскоро продезинфицированные трофейные «комплекты». Толстое бумажное белье, узкие трубочки застиранных галифе, шершавый мундир с непослушными, пузатыми пуговицами, закорузлые, тяжелые сапоги . . .

Сопровождавшая нас «переводчица» достала из портфеля привезенные из Москвы погоны. Цокая металлическими подковами, мы с восхищением прошлись по комнате друг перед другом. Начальник управления подписал сопроводительные бумаги, постучал по чернильнице, чтобы прекратить смех, и нажал кнопку звонка.

— Вызовите караул, — сказал он появившемуся секретарю.

Караул состоял из рослого солдата в шинели не лучше наших трофейных и потертой трехлинейки с примкнутым штыком.

— Возьмите вот этих, — ткнул пальцем в нашу сторону начальник, — и доставьте в лагерь.

— Слушаюсь, — отчеканил солдат и зашел нам в спину. — Вперед, фрицы!

«Фрицы» послушно поплелись к двери.

Наши спутники остались в комнате. Теперь они могли следить за нами только издали и тайно.

В тот день в городе Оболовке стояла плохая погода. Моросил мелкий дождик и небо было затянуто ровной, безнадежной пеленой.

На своем пути через город наша унылая группа большой сенсации не произвела. Запахиваясь в намокшие шинели от порывов холодного ветра, стараясь не поскользнуться на размокшей дорожной глине, виновато сгорбившись, как бы под тяжестью всех грехов гитлеровской армии, мы брели тихонько по русской проселочной дороге и чувствовали, как горькое бремя пленного начинает потихоньку давить на нашу душу.

Из-за тревожного ли военного времени, или просто из-за плохой погоды, городок казался безлюдным.

Только на одном перекрестке две девушки в синих ватниках оглянулись с любопытством и задорный голос крикнул в спину: «Фрицев ведуть!!»

Да еще перед самой окраиной, там, где уже стоял первый деревенский колодец срубом, женщина в белом головном платке и мужском осеннем пальто составила ведра на дорогу, проводила нас долгим взглядом и перекрестилась украдкой. Мне стало почему-то теплее на душе и, оглянувшись еще раз, я подмигнул широко раскрытым глазенкам маленькой девочки, уцепившейся за край ведра.

Город кончился. Впереди лежало полотно узкоколейки и вдоль него семь километров до лагеря.

Часа через два нас сдали под расписку дежурному охраннику. В одном из бараков мы получили каждый по полоске деревянных голых нар и были включены в «трудовое расписание» на следующий день.

Тридцать дней и ночей я прожил затем за колючей проволокой под видом младшего офицера немецкого пехотного полка Вальтера Латте, попавшего в плен в одном из боев севернее Сталинграда.

Карл, по совету Эйтингона еще в Москве, удовольствовался званием унтерофицера. В такой комбинации чинов был свой особый смысл, полностью себя потом оправдавший за линией фронта.

Как и следовало ожидать, жизнь в лагере оказалась несладкой. Доля пленного всегда незавидна.

Трудовой день оболовских пленных начинался ранним утром. Для моих товарищей по нарам подъем был труден, как мучительное расставание со сном. Я же скоро начал бояться утреннего подъема по другим причинам.

Когда человек просыпается, первыми включаются наиболее привычные рефлексы. Поэтому слова, в этот момент «смутного сознания», невольно подбираются из родного языка. Родным языком Вальтера Латте был, к сожалению, русский. В первое же утро, пытаясь поднять свое ноющее тело с неудачной комбинации досок и щелей, я преспокойно пробормотал: «который час?» на чистейшем русском языке. Тут же очнувшийся мозг заставил меня с ужасом вскочить. Вблизи никого не было и мой первый провал оказался незамеченным. Но испуг остался. Я стал старательно развивать в себе привычку, проснувшись, держать язык за зубами, пока сознание не прояснится. За линией фронта такая «оговорка» может стоить жизни.

Но не говорить по-русски было мало. Предстояло разучиться понимать родной язык. Это оказалось труднее, чем я думал.

Вместе с остальными пленными нам с Карлом приходилось выполнять самую различную работу. Разгружать бревна из железнодорожных вагонов, разбирать разрушенные дома, возить вагонетки с углем и торфом по местной узкоколейке, копать канавы для осушки торфяных болот и многое другое. Протекцией от центра мы не пользовались. Наши спутники приехали в лагерь под видом офицеров контрразведки и внешне ничего о нас не знали. Один только начальник лагеря был посвящен в тайну двух «искусственных фашистов».

Время от времени, обычно под вечер, Карл или я задерживались по пути в барак в тени одного из недостроенных сараев. Там, в ветреном, темном углу, боязливо оглядываясь по сторонам, мы рапортовали шепотом нашим «наблюдателям» о развитии своей карьеры военнопленных и, в передышках между фразами, наскоро сжевывали кусок колбасы или бутерброд. Девушка приносила даже яблоки и груши. «Для витаминов» —

уговаривала она. Но мы в уговорах не нуждались. Жидкая пшенная кашица и скудный паек черного хлеба заставляли нас ждать «рапорта», как манны небесной.

Однажды нашу рабочую бригаду послали на разработку торфа. Оттопав километров пять, мы добрались до только что осушенного болота. Охранники уселись отдыхать на кочках, а мы приступили к резке торфа и укладке его в кучи для просушки.

Оглядываться по сторонам было некогда. Наверное поэтому раздавшийся вдруг, совсем рядом, женский голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Голос звучал нарочито громко и нескрываемо игриво.

— Эй, Фриц! Не ходи до Машки! Она до мужиков охочая!

Дружный бабий хохот заглушил дальнейшие слова. Я оглянулся. Метрах в десяти от нас, на соседнем участке, работали девчата. Очевидно, поденщицы из соседнего колхоза. Немец, рослый и тощий, старшина из Баварии, забрел неосторожно на их участок. «Машка» молоденькая и пухлая девчонка, красная от смущения, ждала паузы, чтобы выкрикнуть что-нибудь поостроумнее. И выкрикнула. Девчата снова грохнули смехом. Мне стало немного не по себе. Остроту Машки не напечатал бы ни один приличный юмористический журнал. Немцы смотрели на развеселившихся соседок и растерянно улыбались, не понимая ни слова. Охранники сидели далеко и увлеклись собственным разговором. Девчата быстро сообразили, что стесняться в острословии некого. Подзадоривая друг друга, они начали перебирать возможные варианты использования нас, как мужчин, и перешли, не задерживаясь, к личностям. Я невольно прислушивался к необычным женским откровенностям. Карл резко дернул меня за рукав.

— Ты чего покраснел? Слушаешь, что они болтают? С ума сошел, ты же можешь выдать себя так!

Я быстро пригнулся к земле, чтобы скрыть лицо и стал усердно собирать торф. Плохо у меня с выдержкой. Опять чуть не выдал себя.

К счастью такие уроки не проходили даром.

Постепенно я привыкал относиться равнодушно к звучанию русских слов. Мне помогли убедиться в этом два советских контрразведчика.

В оболовском лагере, как во всяком приличном лагере для военнопленных, имелось отделение контрразведки. Два офицера, капитан и лейтенант, «изучали» пленных и вербовали агентуру.

Некоторое время контрразведчики присматривались к Карлу и ко мне, а потом вызвали в маленькую комнатку рядом с санчастью. Карл попал туда первым. Он хмуро и категорически заявил, что никаких разговоров с коммунистами вести не будет. В результате храброго унтерофицера посадили на урезанное питание и стали посылать на тяжелые работы. Карл не горевал: рацион он пополнял лишними порциями колбасы во время «рапортов», а к тяжелым работам привык с детства.

Мое знакомство с контрразведчиками сложилось несколько иначе. Мне казалось, что средний тип пленного должен быть на допросах более уступчивым. Я попытался рассказать им несколько красочных историй о городе Кенигсберге и о фронтовых впечатлениях Вальтера Латте. Часть этих рассказов была почерпнута из Красногорских воспоминаний, часть была создана тут же, в промежутках между вопросами заинтересовавшихся офицеров. К сожалению, мое творчество, разыгравшееся под влиянием лагерной монотонности, получило совершенно неправильную оценку. Контрразведчики решили, что Вальтер Латте мог бы перейти с информации о родном городе на информацию о друзьях по бараку. Прежде чем приступить к «посвящению» в агентурные таинства, офицеры решили проверить, не знает ли Латте русского языка. Я так и не понял, зачем им это было нужно, но после инцидента с развязными девчатами методы контрразведчиков показались тусклыми и ненадежными. Они открывали, например, за моей спиной коробку папирос и предлагали на русском языке закурить. Или вскрикивали неожиданно: «Падает! Лампа падает!» Лейтенанту первому надоело и он заявил скучным голосом:

— Хватит, Саш. Не знает он русского. Давай, вербуй.

Тут я сообразил, какую ловушку приготовил себе. Карьера агента контрразведки была мне ни к чему. Пришлось резко менять курс. Вся история кончилась

тем, что я разделил судьбу Карла. Мы стали приходить одинаково голодными на «рапорта», оказались на одной и той же тяжелой работе и, в конце концов, вместе попали в карцер.

Но одно обстоятельство — радовало. Контрразведчики располагали сетью информаторов среди пленных. Если им никто не донес, что Карл и я не настоящие «фашисты», значит «коллеги» по лагерю ничего не подозревали.

Я почувствовал, как повышаются наши шансы выжить при разыгрывании таких же ролей в немецком тылу.

Тем временем тридцать дней подходили к концу.

В один из вечеров я остановился у колючей проволоки. По дорожке от барака медленно шел старый генерал-немец. Мне не хотелось лишних разговоров и я стал усиленно всматриваться в горящий солнечным отсветом Запад.

Получилась, наверное, классическая картина пленного, тоскующего по Родине, потому что старик подошел ближе и положил руку мне на плечо.

— Не горюйте, молодой человек. Все обойдется. Мы еще вернемся туда.

Я промолчал, но не из-за нехватки немецких слов.

Он почти угадал мои мысли. В них я был уже за линией фронта, бродя по немецкому тылу в форме гитлеровского офицера. Образ этого второго «я», не так давно еще совсем незнакомого, начал приобретать в моем сознании реальные черты. Теперь нужно было вдохнуть жизнь в вымысел, дать ему биографию, документы, место службы, звание и, даже, ордена.

Ждать оставалось недолго.

На следующее утро Карл и я были вызваны к начальнику лагеря. Вместе с нашими спутниками мы отошли километра на три от колючей проволоки, переоделись под откосом узкоколейки в гражданскую одежду и поспешили в Москву.

Через несколько недель, в одну из партизанских землянок в белорусских лесах пришла радиограмма. Командиру спецгруппы Партизанского Управления НКВД СССР полковнику Куцину приказывалось уста-

новить связь с соседним партизанским аэродромом и подготовить приемку самолета . . .

26 августа 1943 года с одного из военных аэродромов вблизи Москвы поднялся самолет. Круто забравшись на головокружительную высоту, он пошел на запад ровной скоростью в 250 километров, характерной для американских «Дугласов». На его птичьем теле не было ни единого светлого пятнышка. Плотная серо-зеленая краска покрывала и те места, где обычно находятся опознавательные знаки. Самолет в них не нуждался. До линии фронта путь ему открывали специальные условные радиосигналы. После линии фронта пилот мог полагаться только на свое мастерство, удачную облачность и большую порцию счастья.

В предыдущую ночь счастья оказалось недостаточно. Серо-зеленая птица вернулась с полпути с пробоинами в крыльях. За день пробоины были залатаны, пассажиры, отдохнув по домам, привели в порядок свои нервы и, пристроившись на узких, волнистых скамейках, готовились снова попытать судьбу.

Их было восемь человек.

Все в одинаковых защитного цвета «десантных» комбинезонах, они дремали, откинувшись назад на угловатые, твердые мешки парашютов, пристегнутые к спинам. В самолете было темно. Вечер уже обогнал его и умчался на запад, оставив за собой мерцание ранних звезд и темную синь неба, заполнившую слюдяные окошечки. Пилот старался идти над облаками.

Пассажиры не разговаривали друг с другом. Не только потому, что рев моторов заглушал голос. Но, направляясь за линию фронта, лучше не заводить новых знакомств и не откровенничать без нужды. Защитные, одинаковые комбинезоны и надвинутые на брови летные шлемы помогали скрыть человека, как раковина закрывает улитку.

У двоих из пассажиров комбинезоны закрывали, кроме того, немецкие военные мундиры. Этими двумя были Карл и я.

Портной спецсклада хорошо подогнал по мне офицерскую форму. Я успел уже привыкнуть к ней. Мне предстояло еще привыкнуть к имени Отто Витген-

штейн. На это имя было выдано небольшое удостоверение, лежавшее в нагрудном кармане моего мундира. Оно было напечатано на особом зеленом материале, похожем на клеенку. Где-то в Германии, какая-то военная типография строго хранила секрет зеленой клеенки. И все же в Москве лаборатория НКВД изготовила бланк, не отличимый от настоящего. Текст, вписанный специальным косым шрифтом, удостоверял, что Отто Витгенштейн является старшим лейтенантом Тайной Полевой Полиции и служит во фронтовом отделении № 49. Я знал, что такое отделение существует, но начальник его вряд ли слышал что-нибудь об Отто Витгенштейне. Зато вид удостоверения был внушительным. На одной его половине Отто снисходительно улыбался с фотокарточки, подтверждающей право старшего лейтенанта носить штатскую одежду. На другой, служебно вытянутое лицо Витгенштейна старалось соответствовать тщательно отглаженному мундиру, блестящим погонам и аккуратно втиснутым в фотографию орденским ленточкам. Я, между прочим, не особенно настаивал, чтобы вышли непременно все ордена, но фотограф спецслужбы заявил категорически, что «в ленточках самая краса».

В том же нагрудном кармане лежали бланки «маршбефелей», то есть командировок. В них старшему лейтенанту приказывалось отправиться из города Орши в город Минск для выполнения задания командира части. Каждый бланк содержал один и тот же приказ, но был датирован на неделю позже. Из Москвы трудно было предвидеть, когда и как Отто Витгенштейн сумеет попасть на удобный участок маршрута, ведущего из Орши в Минск.

Под комбинезоном Карла скрывался мундир унтерофицера той же полицейской части. По мысли Эйтингона, унтерофицер Шульце автоматически обязан был говорить и действовать больше, чем старший лейтенант Витгенштейн. Эйтингон считал, что биография Витгенштейна, как немецкого офицера, слишком коротка и лучше ему первое время держать, в основном, язык за зубами. Несмотря на свое юношеское самолюбие, я в душе соглашался с генералом.

Самолет закачало. Мы поползли по скамейке вниз, к хвосту. Пилот старался набрать высоту. Внизу, в про-

свете облаков, тонкий, бледный луч описал полукруг, чуть касаясь земли, и погас, фиолетовый огонек замигал нервно и быстро, но тут же исчез за краем тучи.

Из летной кабины высунулась фигура в меховой куртке, крикнула нам: «Фронт!» и снова скрылась.

Зенитки молчали. Мы ждали, что с минуты на минуту снова полетят к нам вверх вереницы разноцветных, пылающих штрихов, что снова ослепительные вспышки начнут встряхивать машину и снова безжалостная рука пилота бросит самолет вниз в жутком, захватывающем дыхание уходе от обстрела. Но в эту ночь зенитки молчали. Похоже было, что на этот раз мы долетим.

Я пристроился поудобнее на скамейке и приладил под голову мешок парашюта. Партизанский аэродром обещал принять нас с посадкой. У них есть раненые и они просят отправить их в советский тыл. Удастся ли сесть? Заранее предсказать трудно. Или придется ринуться вниз головой в непроглядную тьму, заполненную невидимыми деревьями и топью болот?

Мы летели уже над землей, занятой гитлеровцами. До рассвета всего несколько часов. Если будем прыгать с парашютом, времени у пилота, чтобы дотянуть обратно до линии фронта, останется в обрез.

Да, нет, все должно обойтись хорошо. Ведь только за час до отлета пришла радиограмма, что Куцин ждет нас на лесной поляне, в 60 километрах к востоку от Минска. Сигнал к посадке — три костра, выложенные условным знаком. Завтра, наверное, я буду уже знать свое первое задание.

Интересно, каков этот Куцин . . .

Самолет резко накренился и меня отбросило к окну. Внизу, в беспросветной темноте, плавали маленькие огненные точки . . . Костры. Мы долетели. Пилот повернул машину еще более круто, описывая узкий круг над сигналом. Внезапно точки вспыхнули яркими пламенными языками. Нас услышали и подбросили дров в костры. Значит, можно садиться.

Уши заложило. Оттого ли, что самолет стремительно ринулся вниз, или от внезапно наступившей тишины. Из крыльев между моторами вырвались ослепи-

тельные снопы света. Странно, никогда не подумал бы, что садясь на партизанский аэродром, пилот осмелится включить фары.

Мягкий, пружинящий толчок, потом резкое торможение и самолет остановился. Снаружи, в фантастических брызгах искр, темные фигурки яростно затаптывали прогоревшие костры.

Летчик отбросил стальную дверь люка. Карл и я одними из первых спрыгнули на землю.

Самолетные фары потухли. Кругом стояла темнота. Только по зубчатым верхушкам деревьев можно было понять, где начинается небо, да тлеющие головешки отбрасывали красноватые отблески на незнакомые силуэты людей. Пахло дымом, осенней сухой травой и лесным пьяным воздухом. В настороженной тишине запиликал бесцеремонно какой-то невидимый сверчок и в душе моей мелькнуло на секунду видение дачного подмосковного участка, самовара на еловых шишках, террасы, озаренной светлым пятнышком керосиновой лампы, белых ночных бабочек, стукающихся о раскаленное стекло и обрывков разговора со скамейки в саду . . .

Но видение тут же рассеялось.

Плотная, коренастая фигура придвинулась решительно и низкий голос спросил по-хозяйски:

— Товарищи Волин и Виктор здесь?

«Волиным» и «Виктором» были мы. Дружеские руки подхватили наши вещевые мешки и потащили вглубь леса. Там пришлось отвечать на чьи-то рукопожатия, рассказывать невидимым людям как долетели, не стреляли ли по нас зенитки и какая в Москве погода.

— Ну, пошли, — скомандовал кто-то.

Рядом взвизгнули несмазанные колеса подводы. Я уцепился за деревянную перекладину и попробовал попасть в ногу с фыркавшей где-то впереди лошадью. Это оказалось удачной находкой. Идти было легко, опираясь на отполированный сотнями прикосновений край телеги. Даже когда посветлело я не отпустил удобной перекладинки.

Мы шли по заброшенной проселочной дороге. Трава, прижимавшаяся к ней, была запорошена густой утренней росой. Сквозь поросли можжевельника виднелись рваные полосы тумана, запутавшегося в темных

стволах деревьев. Рослый, по-осеннему богатый листвой, белорусский лес обступал нас со всех сторон.

Я мог уже рассмотреть своих новых знакомых. Их было человек десять. Все в таких же, как у нас, защитного цвета комбинезонах и с новенькими автоматами в руках. Наверное автоматчики из отряда капитана Козлова. Я слышал от Маклярского, что капитан спрыгнул со своими людьми в расположение группы Куцина несколько недель тому назад.

Начались болота. Вещи были сняты с подводы. По одному, гуськом, балансируя с помощью подобранных палок, мы двинулись вдоль узких жердочек, проложенных с кочки на кочку. Острый запах тины и теплого мха пощипывал ноздри. Ярко-зеленый трясучий покров между кочками напоминал, что оступаться нельзя.

Солнце уже взошло, когда мы снова вышли на твердую землю.

Небольшой партизанский лагерь приютился в низкорослом сосновнике у самого края болота. Мы подошли к одной из покрытых дерном крыш, как бы поставленных прямо на землю. Снизу, из распахнутой маленькой дверки, доносился стук радиоключа. Рослая фигура в венгерском френче песочного цвета и таких же галифе вышла к нам навстречу.

— Привет, привет! С приездом, ребята.

Фигурой во френче был полковник Куцин.

После завтрака из густого партизанского картофельного супа и чая с жестяным привкусом болота, Куцин пригласил меня прогуляться для разговора «по душам».

Первые минуты беседы прошли во взаимном изучении. Куцин выспрашивал меня, а я присматривался к нему. В 1943 году полковнику было лет сорок.

Он шел рядом со мной не спеша и немного вперевалку. Глядя на его круглую, лысую голову, с темной прядкой лихо зачесанной через темя, я вспомнил невольно запорожцев с репинской картины.

Куцин вынул прокуренную трубку из угла рта и постучал ею о дерево.

— Давайте сядем, — показал он широким жестом на два пенька.

Куцин задумался на минуту, глядя на кусты орешника, за которыми скрылся лагерь.

— Хорошо, что вы прилетели сегодня, Николай. Немцы, кажется, собираются блокировать этот район. В ближайших гарнизонах накапливаются войска.

— Что же, драться будете?

— Нет. Зачем? Нам своих людей беречь надо. Побегаем с неделю по болотам, только и всего. Здесь же места для техники непроходимые. А немец тоже человек. Погоняется за нами и устанет. Жаль, конечно, лагерь покидать. Сожгут его. Ничего, построим новый. Но вам обязательно до начала блокады надо вырваться в Минск.

— Раз уж речь зашла, товарищ полковник .. Маклярский говорил, что для нас уже есть конкретное задание. Может быть вы ...

— Конечно. Скрывать мне нечего. Вам с Карлом предстоит ликвидировать гауляйтера Белоруссии Кубе. И как можно скорее. Могила по нему давно скучает.

Мое сердце екнуло. Пробраться в столицу оккупированной Белоруссии и убить человека, имя которого воплощает страх и террор для миллионов. Гитлеровского гауляйтера, на руках которого столько крови русских людей. Ради такого дела стоило готовиться и ждать ...

Куцин заметил, наверное, восхищение, мелькнувшее в моих глазах.

— Тихо, тихо, Николай. Это не так просто, как кажется. Кубе стал за последнее время очень осторожен. Здесь десятки партизанских отрядов и все хотят убить гауляйтера. Нужно было придумать что-то вне конкуренции. Поэтому мы и договаривались с Москвой, что вашей первой работой здесь будет операция по Кубе. В то время он не особенно берегся. Офицеру в форме можно было подойти к нему на улице во время прогулки и застрелить. Местного человека охрана, конечно, и близко не подпустила бы. А офицеру могло удастся. Или зайти в его рабочий кабинет с каким-нибудь «секретным пакетом» и бросить гранату. В общем, возможности были большие. Но пока в Москве, по их привычке, совещались да «утрясали» время ушло. Теперь Кубе на прогулке не увидишь. Ездит в закрытой машине. На работе появляется неожиданно и ненадолго. В общем, поумнел ... Но уничтожить его все равно надо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В тридцати километрах от Минска, рядом с московским шоссе, лежит местечко Смиловичи. С востока край многокилометрового лесного массива подходит узким клином почти вплотную.

В конце августа 1943 года лесная чаща, граничившая с местечком, была удобным местом для выхода на территорию, контролируемую немцами. Партизанские лагеря находились глубже в лесах, у далеких болот. Но по московскому шоссе сновали сотни немецких автомобилей, поддерживавших связь Минска с фронтом. Поэтому в Смиловичах стоял сильный гарнизон, а в окрестных деревнях немцы посадили старост, полицейских и завербовали агентуру на ближних хуторах. Специальные моторизованные отряды держались наготове, чтобы закрыть подходы к шоссе при первом известии о появлении партизан.

Тем не менее, в ночь с 27 на 28 августа, небольшая группа людей подобралась к шоссе, не всполошив окружающих гарнизонов.

Нас было тринадцать человек. Накануне вечером, распрощавшись с Куциным и его штабом, мы выскользнули из неплотного кольца только что начавшейся блокады, обошли деревни и хутора и ранним утром достигли молодого ельника, недалеко от намеченной деревушки. Капитан Козлов, командир сопровождавшей нас охраны, послал четырех своих людей вперед, к краю леса, на разведку. Они бесшумно скользнули в чащу с

автоматами наперевес и их комбинезоны защитного цвета растворились в зелени леса. Мне нравились ребята из отряда капитана. Их дисциплина, выдержка и способность легко переносить трудности партизанской войны были неслучайными. Большинство прошло многолетнюю школу в спортивных обществах. Под зеленоватыми комбинезонами бойцов спецотряда скрывались порой обладатели рекордов по слалому, плаванию, легкой атлетике, мастера ринга и беговой дорожки. Поэтому призывные пункты или комсомольская организация и послали их в свое время в ОМСБОН для выполнения особых заданий в немецком тылу.

Коренастый, плотно сбитый паренек, со светлыми «фронтовыми» усами на мальчишеском лице, ловко закинул деревянное колесико на вершину елки, подергал за конец белого шнура, оставшийся в руке, и елка утвердительно качнула веткой. Антенна для моей радиостанции была натянута. Его товарищ, положив автомат на землю, расставил металлические ножки небольшой скамейки, привинтил сверху цилиндр динамомашины и прикрепил длинную ручку. Все сооружение называлось «солдатиком». Наверное из-за цвета краски, напоминавшей цвет солдатской шинели. Крутить ручку «солдатика» было тяжелой работой. Но в то утро мне предстояло установить радиосвязь с Москвой и передатчику нужна была максимальная мощность.

Тем временем я закончил шифровку телеграмы. Текст был короткий: «Руководству. К переходу на немецкую территорию готовы. Волин».

Паренек, поплевав многозначительно в ладони, налег на ручку и «солдатик» тонко зажужжал. Контрольная лампочка ярко вспыхнула на панели передатчика.

— Стоп, стоп! Хорош, пока.

Теперь можно включать приемник и искать Москву. Она появилась в эфире, как всегда, точно в назначенное время. Голос ее был чистый, звонкий и уверенный. А может быть мне только так казалось, потому что это был голос родной Москвы.

Московский оператор отстучал свое «АР» и «К». Я дал знак пареньку. Теперь мои позывные пошли в эфир и полетели через линию фронта. Москва тут же ответи-

ла «слышу, давайте телеграмму». Через минуту текст моего сообщения лежал на столе в далекой московской радиорубке. Мы попрощались с оператором. Но только для вида. Через тридцать минут нам предстояло встретиться на другой волне. Время, нужное московскому оператору, чтобы расшифровать телеграммы, связаться с генералом Судоплатовым, получить ответ, зашифровать и снова выйти в эфир.

— Коль, дай сводочку послушать, а? — умоляюще обратился ко мне мой помощник по «солдатику».

Правильно. В Москве стрелки подходили к семи и с минуты на минуту голос диктора Левитана должен был провозгласить торжественно: «От Советского Информбюро . . .»

— На, слушай, конечно. Настройка вот здесь.

— Будь спокоен! Поймаю.

Паренек положил наушники в жестяной котелок и через секунду все остальные ребята сгрудились над импровизированным громкоговорителем, затаив дыхание.

Отодвинувшись под елку, я пытался собрать свои мысли.

В двух шагах от меня Карл все еще рассматривал вместе с капитаном разложенные по траве замусоленные кусочки карты-километровки и что-то горячо обсуждал, водя пальцем между жирной линией московского шоссе и квадратиками смиловических домов. Смешной у него язык, но вполне понятный. Они очень подружились — Карл и капитан, как говорят, «с первого взгляда». Пусть обсуждают. Меня лично вопрос «прикрытия автоматным огнем» при выходе в деревушку, не беспокоит. Немцев в ней, видимо, нет и ничего с нами не случится. Самое трудное начнется потом, когда мы пойдем от деревушки к Смиловичам. Там уже никакие автоматы не защитят. Все будет зависеть от счастья и от нас самих. Главное, не струсить при первом препятствии и не побежать обратно. По бегущим стреляют и обычно убивают. За Карла я спокоен. Он-то готов на все. А я? Дело не в страхе. Неизвестно, как я себя буду чувствовать в случае реальной опасности. Но, впереди — убийство Кубе. Настоящее, хладнокровное убийство. Ну, и что же? А Лужица? Накануне, когда Куцин показывал на карте, как выскользнуть из коль-

ца, я спросил его, почему на месте партизанского аэродрома стоит надпись «Лужица».

Он ответил просто.

— Наоборот, Николай. Аэродром на месте Лужицы. Там была деревня. Гитлеровцы в прошлую блокаду сожгли ее начисто и угнали жителей.

Аэродром на месте деревни . . . А школа в Столбцах, ближнем к лагерю селе? Черная запекшаяся масса человеческих тел. Деревянные стены сгорели, а люди, загнанные в школьный зал прикладами, так и остались прижавшимися друг к другу, даже после дикой смерти в огне и дыму. Я же видел все это своими глазами, а не вычитал в газете . . . Да, что там. Какие могут быть колебания . . .

Я подымаюсь и иду обратно к радиостанции. Надо скорее кончать все и двигаться в Минск. Действительно — заждалась Вильгельма Кубе могила.

Тридцать минут на исходе. Москва снова появляется в эфире. Я принимаю короткую телеграмму. Оператор передает: «73» — лучшие пожелания» и мы с ним прощаемся. На этот раз по-настоящему и, наверное, надолго. Моя радиостанция останется на хранение у капитана. Связь из города будет вестись через курьеров. Один из них, Маруся, уже ушла накануне в город. Куцин нашел ее в одной из деревушек вблизи партизанского района. Маруся часто бывала в Минске и имела там много знакомых. В 1943 году ей было лет 20. Хорошенькая, отчаянная по характеру, она умела благополучно проскальзывать через немецкие контроли. Маруся знала, что «немцы», которым ей предстоит помогать — советские разведчики. В руках девушки не раз уже были жизни наших людей и ей можно было довериться. Одна из Марусиных подруг уехала в Киев и позволила ей жить в пустующем домике на окраине Минска. По плану Куцина, этот домик должен был послужить для нас первым пристанищем в городе.

Но до Минска надо еще добраться. Я показываю расшифрованную телеграмму Карлу. Она касается и его.

«Товарищам Волину и Виктору. Выход разрешаю. Счастливого пути. Будьте осторожны. Андрей».

«Андрей» — это Судоплатов.

Ну, вот, кажется и все. Можно снимать комбинезоны и прощаться с охраной. Они останутся на краю леса, под деревьями. Нам с Карлом — дальше.

Радиостанция сложена и передана капитану. Еще раз повторены условия встречи при возвращении. Капитан, опустившись на колено, укладывает наши комбинезоны в вещевой мешок и шопотом рассылает своих ребят на боевые позиции. Под тенью последних деревьев мы с Карлом переводим стрелки часов с московского времени на берлинское и оглядываем друг друга. Все, кажется, в порядке. Погоны на месте, сапоги начищены, орденские ленточки, сбившиеся было под комбинезонами, приведены в порядок. Оба почему-то улыбаемся, не то смущенно, не то счастливо. Капитан дает знак, что путь свободен. Карл протягивает мне руку. Я крепко пожимаю ее и мы одновременно выходим на освещенную солнцем тропинку.

Теперь вперед, не задерживаясь, в тень первого сарая. Оглядываться нельзя и не к чему. Я и так знаю, что сзади, слившись с землей, одиннадцать пар глаз следят за каждым нашим движением. Вот и сарай. Можно отдохнуть секунду и осмотреться.

Следующим этапом была изба, третья с края. Мы присмотрели ее еще из леса. Наши предчувствия оправдались. В избе никого, кроме старухи и маленького пузатого мальчугана в рубашенке, не было. При виде нас старуха не испугалась и не удивилась. Едва я промолвил на своем ломаном русском языке «матка, яйки», а Карл захлопал руками, изображая курицу, как она молча вышла в сени и вернулась с пятком яиц. Мы поделили их соответственно субординации: унтерофицеру два, офицеру три, свернули большие, демонстративные кульки из разорванной пополам немецкой газеты и двинулись не спеша по центральной улице дальше.

Когда мы подошли к околице, в кульках набралось порядочно всякой снеди. На трехстах метрах, остававшихся до окраины Смиловичей, мы могли еще разыгрывать двух проголодавшихся гитлеровцев, возвращавшихся с «продовольственной экспедиции». Но на окраине местечка кульки надо было выбросить и превратиться в двух сотрудников Тайной Полевой Полиции,

задержавшихся в Смиловичах по пути из Орши в Минск.

В то же утро полуторатонный грузовик военной жандармерии остановился на шоссе при выезде из местечка Смиловичи. Шофер грузовика, завидев на краю шоссе двух немецких военнослужащих, резко затормозил. Он обязан был это сделать: я махнул ему рукой с приказом остановиться, а на мне была офицерская форма.

Карл подбежал к кабине шофера.

— Куда едете?

— Минск.

— Мы едем вместе с вами, — категорически заявил Карл.

Ефрейтор рядом с шофером, поспешно соскочил на землю и, отдав положенное приветствие, раскрыл перед офицером дверь кабины. Я отказался.

— Спасибо. Я поеду наверху. В кабине меня укачивает.

Шофер подождал, пока оба попутчика вскарабкались на верх грузовика, отпустил тормоз и помчался дальше, в Минск.

Усевшись рядом с Карлом на скамейке вдоль борта грузовика, я посмотрел на него искоса. Придерживая одной рукой пилотку, чтобы ее не снес ветер, Карл рассматривал осторожно троих жандармов, сидевших на скамейке напротив. Больше на грузовике никого не было. Пустая машина ехала, очевидно, за грузом в город. Я понимал, почему с лица Карла ушло напряжение. Самое трудное осталось позади. Попав на грузовик, мы ехали по маршруту, указанному в наших командировках. Но у меня на душе все еще было не совсем спокойно. Зачем я поблагодарил солдата? Разве настоящий офицер сделал бы это? И еще стал объяснять, что меня укачивает. Хотя, с другой стороны, почему не поблагодарить? Может быть, излишняя вежливость просто в характере Витгенштейна.

Двое из жандармов, склонившись друг к другу, мирно беседовали. Третий, в самом углу кузова, рассеянно разглядывал дорогу. Почувствовав мой взгляд, он встрепенулся, оглядел мельком свой мундир, сапоги, поправил пряжку пояса и вернулся ко мне озабоченными

глазами. Я невольно улыбнулся — до чего же вышколены немецкие солдаты! Лицо жандарма посветлело и он снова уставился на пролетавшие мимо предместья Минска.

Я совсем успокоился. Стало даже немного весело. Своеобразное ощущение задорного торжества забродило в душе. Везут нас в Минск гитлеровские солдаты и, даже, не подозревают кому оказывают помощь. Интересно, чтобы они сделали, если узнали, что перед ними советские разведчики? Стали бы стрелять или выскочили за борт? Наверное, ни то, ни другое. Попытались бы схватить живьем. Но сюрприз был бы не малый.

Карл подмигнул мне украдкой и показал глазом на дорогу. Мы проезжали мимо высоких деревянных ворот. Какой-нибудь, наверное, завод или военный склад. Над воротами, на тонкой, белой мачте развевался черно-красный флаг со свастикой. Внизу, у полосатой будки замер часовой. В серо-зеленой фронтовой форме, с ранцем за плечами и стальным шлемом на голове, он вытянулся, оттопырив по прусскому образцу локоть левой руки. Правая сжимала приклад винтовки, вскинутой на плечо. В первый раз я видел гитлеровский государственный флаг во всем его «величии». И в первый раз почувствовал остро и трезво, что нахожусь уже на земле, занятой сильным и беспощадным врагом.

За несколько кварталов от Марусиного дома мы сошли с грузовика.

Мы шли по шоссе мимо разрушенных домов бывшего рабочего поселка. На обгорелом обломке стены белела надпись: «мама мы ушли к тете ане жорка настя борис» и пониже, очевидно, тем же куском штукатурки: «серегу убило».

Мертвые железобетонные каркасы, пересеченные пролетами расколотых лестниц. Пустыри, где сквозь горки битого кирпича уже проросла жесткая трава. Уцелевшая длинная железная ограда, а за ней — зеленые туловища ремонтирующихся танков.

Прохожие, так же как и на советской стороне, были одеты просто и серо. Но чувствовалось, что жители этого города стараются жить и двигаться как можно незаметнее, не привлекая лишнего внимания. Взгляда их

я поймать не смог. Может быть, из-за моей немецкой формы.

На афишных щитах — чужие плакаты с паучьей свастикой и «арийскими профилями» в стальных шлемах.

За железнодорожным переездом — толпа в проходе между двумя деревянными домами. Рынок. Бросилось в глаза обилие вещей, незнакомых для советского быта. Отрезы шерсти, ситец непривычной расцветки, швейцарские часы, золотые царские монеты, консервы, шоколад, вино с заграничными яркими этикетками. Рядом с «барахолкой» — рынок продуктовый. Много мяса, сала, овощей, всякой всячины. И только зверские цены, да хроническое отсутствие покупателей пояснили, что в Минск пришел не рай земной, а лихорадочная спекуляция в тени оккупационной армии.

Я подтолкнул Карла локтем. Недалеко от нас пожилая крестьянка аккуратно сложила в пачку советские червонцы и бережно убрала их под юбку. Мы переглянулись. Приятно было видеть, что минчане не потеряли веру в возвращение русской армии.

Задерживаться было некогда. Мы двинулись дальше.

Солдаты, попадавшиеся навстречу, лихо салютовали моему офицерскому мундиру. Патруль жандармерии на перекрестке равнодушно скользнул по нас взглядом и отвернулся. Хорошо. Значит, мы ничем особенным не выделялись.

Вот и Марусин дом. Дверь открылась и наша связная бросилась к нам навстречу.

— Отто, либлинг, — порывисто обняла она меня.

Такой встречи не было предусмотрено и я мельком оглянулся. Солдат, остановившийся было на другой стороне улицы, понимающе улыбнулся и скрылся за углом.

Можно было считать, что мы благополучно прибыли в Минск.

Останавливаться в немецкой гостинице нам не советовали еще в Москве. Более безопасным было ночевать на квартирах партизанских связных. Через Марусины знакомства в комиссионном магазине были куплены два заграничных костюма. Один из них, песочного цвета, со спиной перетянутой по-спортивному на резин-

ку, подошел Карлу. Другой, серый с красной «искрой» был подогнан по моей мерке Марусей. В этих костюмах мы выглядели чем-то средним между чиновниками гестапо и «акулами» черного рынка... Теперь, ночуя на квартирах связных, мы не привлекали излишнего внимания соседей.

Но военная форма оставалась главным козырем в планах по выполнению задания. Нам нужно было привыкнуть разыгрывать роль немецких военных в реальной боевой обстановке.

Мы начали регулярные пробные прогулки по Минску в немецких мундирах. И сразу же наша уверенность в себе получила ряд мелких, но неприятных ударов. Однажды, например, мы приняли двух румынских поручиков за генералов. Ошибиться неопытному глазу было легко. Позументы и ордена этих двух офицеров сияли не хуже маршальских регалий. Поручики были приятно поражены, когда мы вытянулись перед ними в стойку «смирно». Но если бы рядом оказался патруль, необычное поведение «представителей высшей расы» могло бы кончиться плохо.

Или в другой раз, возвращаясь с неудачной встречи, я совсем забыл, что старшего офицера нужно приветствовать даже на площадке трамвая. Возмущенный полковник обрушился на меня с нравоучением. Мой растерянный взгляд и «фронтовые награды» на мундире смягчили, к счастью, гнев старика. Патрулю я передан не был, но пережил несколько неприятных минут.

Цепь похожих эпизодов совпала с тем, что на одной из площадей Минска был застрелен советский разведчик в немецкой форме. Погиб он из-за мелочи. Какой-то ротозей, снаряжавший этого разведчика на задание, прицепил ему орден Железного Креста Первой мировой войны. «Офицер» выглядел слишком молодо для такого ордена. Случалось, правда, на фронте, что какой-нибудь генерал снимал с себя железный Крест для отличившегося героя. Поэтому, в вопросе патруля звучало, наверно, любопытство. Но наш коллега растерялся и бросился бежать. На застреленном нашли, по сообщению местного радио, фотоаппарат и поддельные немецкие документы.

Мы вдруг обнаружили, что наша вера в защитную силу немецкой военной формы начала колебаться. Мы стали излишне оглядываться по сторонам и напряженно следить за собой. На актерском языке подобное состояние называется «потерей внутренней свободы». Игра становится фальшивой и зрители свистят. Наши зрители могли поступить значительно хуже.

Надо было срочно что-то предпринимать. Мы решили пойти в немецкий офицерский клуб. Окунувшись в толпу военных, разглядев их как следует и проверив надежность нашей маскировки, мы могли снова обрести веру в себя.

30 августа в столовом зале бывшей фабрики-кухни, превращенной немцами в офицерское казино, Карл и я стояние называется «потерей внутренней свободы». полнено. Старший лейтенант Витгенштейн и унтерофицер Шульце смогли без особого риска пристроиться за одним столиком. Карл быстро втянул в разговор соседа — ефрейтора из Кельна. Я получил возможность спокойно следить за залом.

Крикливый клоун сыпал остротами на непонятном диалекте. Сзади него горели почему-то разноцветные огни. Клоун тряхнул вихром искусственных волос и забарабанил на пианино залихватскую мелодию. Зал немедленно подхватил. С третьего куплета начал подтягивать и я. Никто не обращал на нас особого внимания. Я разглядывал мундиры, погоны, ордена, лица. Эти люди, шумевшие и веселившиеся рядом с нами, не казались уже символами грозной, вражеской армии. Принесли пиво. Мы с Карлом подняли кружки и дружно ответили «Прозит»-ом на «Прозит!» разговорчивого ефрейтора. Ощущение опасности нашего положения поблекло.

Пришла пора заняться изучением подходов к гауляйтеру.

Незадолго до нашего приезда в Минск, Кубе отпраздновал с большим шумом день своего рождения. Верховный Комиссариат Белоруссии «наградил» хозяина солидной суммой в сто тысяч марок. Гости из местной знати целый вечер веселились в дачном имении гауляйтера.

По аллеям этого имения прогуливались и мы с Карлом, в начале сентября. Только ни гостей, ни гауляйтера в тот день на даче не было. Не видно было и охраны, но по рассказам одной из горничных имения, мы могли представить себе, как распределяются сторожевые посты во время визитов Кубе. Соседний глубокий овраг и разросшийся огород обещали неплохой отход после серии выстрелов или брошенной бомбы. Однако Кубе, как бы чувствуя опасность, на дачу упорно не приезжал.

Одновременно мы вели наблюдение за зданием Верховного Комиссариата.

Выяснилось, что гауляйтер перестал пользоваться парадным подъездом. Он жил в небольшом белом доме, в глубине внутреннего двора и по утрам проходил в свой кабинет через заднюю дверь. Двор был закрыт с одной стороны высоким неоштукатуренным зданием Комиссариата, а с трех остальных — плотным деревянным забором. По временам дежурный охранник отводил тяжелые половинки ворот и из них стремительно вылетали три-четыре закрытых машины. По слухам, в одной из них ездил Кубе. Но нам никогда не удавалось убедиться в этом своими глазами.

К середине сентября стало ясно, что единственной возможностью взглянуть на гауляйтера с близкого расстояния было бы попросить у него личной аудиенции. Вариант был несколько рискованный. Кубе мог не принять нас сразу, а пропустить сначала через секретаря. Шансов на то, что тайная полиция подтвердит нашу благонадежность, не было, конечно, никаких.

Во время войны риск является таким же оружием, как и всякое другое. Мы подготовили «прошение» к гауляйтеру и разработали план аудиенции. Кроме того, в письме к полковнику Куцину, посланном через Марусю, мы добавили, что есть и еще один — последний — вариант: проникнуть ранним утром во внутренний двор Комиссариата и подстеречь гауляйтера на пути в кабинет. Ответ Куцина был довольно резким. Он предлагал оставить «приключенчество» и проверить сначала нет ли подходов к «Герцогу» через местных жителей. Мы знали и без Куцина преимущества работы через людей, находившихся вблизи гауляйтера. Весь вопрос был в

том, каким путем заставить этих людей принять участие в убийстве «хозяина» Белоруссии? Так, например, все руководители местных партизанских отрядов знали, что горничная в доме гауляйтера была белоруской, уроженкой Минска, но установить с ней связь не удавалось никому.

Горничная Кубе — Галина Мазаник до войны работала официанткой в городской столовой. Как-то так случилось, что с приходом немцев ей доверили уборку комнат в доме, где жил Кубе. Политических убеждений Галины никто не знал. Не знало их даже, наверное, и гестапо. Но одно было общеизвестно — что она принадлежала к людям, старавшимся остаться «в стороне от ужасов войны». Очень замкнутая в себе, молчаливая и необщительная, Галина упорно избегала встреч с партизанскими связными и всем своим поведением показывала, что не хочет иметь с ними никакого дела.

Центральный партизанский штаб почему-то верил, что Галина не является агентом гестапо, но предупреждал, что в случае сильного давления на нее или прямого предложения убить гауляйтера, она может, в конце концов, донести немцам.

Нам с Карлом все это не нравилось. Слишком много глаз следило за этой женщиной и слишком много было сделано безуспешных попыток. Однако полковник Куцин был другого мнения. Он дал нам в руки карту, которой не было у остальных партизанских отрядов — некоторые, совершенно особые сведения о ее муже. Мы обязаны были проверить эту карту. Было решено организовать встречу с Галиной.

Ее сестра жила в предместье Минска. Нина, дочь одного из наших связных, подстерегла гауляйтеровскую горничную по дороге в деревушку Дрозды и шепнула ей: «Есть новости от вашего мужа. Хотите придти поговорить?» Очень, наверное, одиноко и тоскливо было Галине в те дни, потому что она сразу согласилась.

Нина привела ее в заброшенный дом на окраину города, где в одной из комнат, приведенных нами в более или менее приличный вид, ждал ее я. Карл и наши связные наблюдали за домом из укромных мест, готовые действовать в случае осложнений.

Нина втолкнула Галину в комнату и молча ушла. Горничная Кубе и я остались наедине.

Большие и темные глаза Галины скользнули недоумевающе по моему серому, явно заграничному костюму.

— Здравствуйте, Галина. Садитесь, поговорим, — сказал я ей по-русски.

Тонкая фигурка Галины, казавшаяся высокой из-за худощавости, двинулась к столу и застыла на полпути.

— Спасибо, я лучше постою. Мне сказали, что есть вести о моем муже...

Я медлил с ответом. Честно говоря, я не особенно хорошо знал, как начать. Мне было всего двадцать один год. Психологическая «обработка» человека в таком сложном положении, в каком была Галина, требовала опыта и выдержки, свойственной только пожившим на свете людям. Я инстинктивно боялся лишних «драматических» эффектов и демонстративной откровенности, но образ Маклярского с его любовью к мелодраме присутствовал, очевидно, в моем подсознании.

Я подошел к окну и побарабанил пальцами по стеклу, как бы давая Галине время освоиться с обстановкой. Затем резко повернулся к ней и заговорил подчеркнуто небрежно.

— Я приехал к вам из Москвы. По очень важному делу.

Глаза Галины сузились и она немедленно их опустила.

— Москва очень хорошо знает о вас, товарищ Мазаник. Более того, мое начальство просило передать вам привет от вашего мужа. Он жив, здоров и работает шофером в нашем учреждении.

Многозначительное ударение на слове «нашем» не осталось незамеченным.

Галина подняла голову. Трудно сказать, к кому относилась забота, бросившая морщины на ее лоб, к мужу или себе самой.

— В каком — вашем?

— В управлении НКВД по городу Омску. Сам я никогда в Омске не был... Но организация та же... Вы понимаете...

По лицу Галины было видно, что объяснений не требовалось. Она глубоко вздохнула, крепко уцепилась

пальцами за край стола и голос ее зазвучал демонстративно твердо.

— Зачем вы все это мне говорите? .. Вы же знаете, где я работаю .,. .

— Конечно. Но я приехал к вам за тысячи километров не только для того, чтобы передать слова привета.

— А почему я должна верить вашим словам? Немцы мне доверяют и я не вижу никаких причин ...

— Вы зря страхуетесь, Галина. Меня прислали к вам, как к советскому человеку. Видите, Родина еще доверяет вам ... Но всему есть предел. Долгое время вы избегали смотреть правде в глаза. Теперь придется. Вам кажется, наверное, что мой приход сюда был рискованным. Может быть, вы даже подумываете не выдать ли меня гестапо и потом выдвинуть оправдание, что приняли меня за гестаповского провокатора. Я имею в виду вашу собственную совесть и суд нашего народа. Не обманывайте себя, Галина ... Ваш муж действительно работает в НКВД. Найдутся и после меня люди, которые сумеют сообщить об этом в гестапо. Жалеть вас будет некому и бежать вам будет некуда. В Германию мы тоже когда-нибудь придем. Я не угрожаю вам ... Так, напоминаю о всяких грустных обстоятельствах. Нет, нет, ничего плохого вы мне не сделаете, пока есть хоть ничтожный шанс, что я действительно партизан. Тем более, что и других людей, пытавшихся подойти к вам, вы гестапо не выдали. Но на этот раз вашего молчания будет мало. Необходима ваша помощь.

Каким-то внутренним чувством я понял, что здесь нужно остановиться. Может быть побелевшие пальцы Галины, впившиеся в край стола, подсказали мне это. Лицо ее стало еще более серым. Она прикусила нижнюю губу тонкого рта и напряженно смотрела в угол.

Я снова подошел к окну и осмотрел двор. Лучше всего было теперь дать ей время подумать и понять случившееся.

— Не давайте мне сейчас никакого ответа, Галина. Тем более, что в вашем положении может быть только один ответ. Другого мы не примем. Подумайте, а мы тем временем подготовим задание для вас ... Мы скоро увидимся снова. Может быть здесь, может быть у вас дома ...

Галина усмехнулась язвительно и недружелюбно.

— Ну, домой-то ко мне вы придти не сможете. Я живу рядом с Комиссариатом и весь район под наблюдением гестапо...

Я прервал ее.

— Ничего, в случае надобности мы найдем вас... Только с немцами будьте поосторожнее. Особенно сейчас...

— У меня ни от кого никаких секретов... — начала было Галина и осеклась.

Потом добавила, смотря в сторону.

— Ну, что же... я подумаю... Но я вам ничего не обещала...

— А я ничего и не просил пока.

Галина резко повернулась и пошла к двери. Видимо, нервы ее уже начинали сдавать. Я не задерживал ее и только проговорил вдогонку: «До скорого свиданья».

Она ответила что-то невнятное, не оборачиваясь проскользнула в сенях мимо Нины и исчезла.

Я не смог ответить вошедшему Карлу удачно ли прошла встреча. Я не знал этого сам.

Трудно сказать, кому пришлось тяжелее в последующие сорок восемь часов — нам с Карлом или Галине. Наверное, все же ей. Мы приняли нужные меры безопасности и наши связные готовы были к уходу из города. Если Галина потеряла бы голову и связалась с гестапо, гибли только Карл и я и вместе с нами один из вариантов убийства гауляйтера. Умирать нам не хотелось, но мы знали, что после нас придут другие докончить дело.

На Галину же свалилась тяжесть непреодолимого.

Мы знали, что не в первый раз гауляйтеровской горничной приходилось задумываться о своем положении и о своем долге перед родиной. Но до сих пор у Галины был, очевидно, выбор и возможность отложить решение. Она могла ускользнуть от ответа и скрыться в своем доме недалеко от Комиссариата, как в норе. Теперь же нам предстояло показать ей, что уходить больше некуда и откладывать решение — невозможно. Для этого мне предстояло надеть офицерскую форму и нанести визит Галине на ее собственной квартире.

К субботе было продумано и решено, чего именно мы хотим от Галины.

Маруся принесла из тайника в заброшенном доме две английских мины и карандашные взрыватели. На листке бумаги было написано печатными буквами, как обращаться с миной и взрывателем. Одна из «магниток», на вид поновее, была завернута вместе с двумя «карандашами» в розовую упаковочную бумагу, сохранившуюся от посещения нашими связными комиссионного магазина.

В тот же вечер мы узнали, что один из хороших знакомых Галины Мазаник, повар немецкой столовой, согласился помогать партизанам и ждет наших указаний для совместного давления на горничную.

Повар жил недалеко от Галины и его я навестил первым. Его предупредили, что посетитель будет в немецкой форме и держал он себя очень спокойно. Многого от него не требовалось по нашим планам. Он должен был поддерживать Галину морально, если она пришла бы к нему за советом и гарантировать ей, что я — партизан, а не гестаповец.

Следующим шагом было — посещение Галины.

Часа в четыре дня, в воскресенье, я остановился с розовым пакетом подмышкой и радужными надеждами в душе у группы деревянных флигелей, недалеко от центра Минска.

Наискосок, на другой стороне улицы, кусок крыши гауляйтеровского дома просвечивал сквозь листву деревьев. Кругом, в прилегающих домах, жили в основном люди, работавшие в немецких учреждениях. Я еще раз тщательно осмотрел свой офицерский мундир и поправил Железный Крест на левом кармане.

Флигеля окружали небольшую площадку утрамбованной земли. В глубине этого своеобразного двора виднелось крыльцо с навесом. Двор был пуст и лишь на ступеньках крыльца сидела девушка лет двадцати, в белой спортивной блузке и темной юбке. К деревянной балюстраде крыльца был прислонен велосипед.

Мое приближение не испугало девушку и не заставило ее встать. Она с любопытством изучала мою полевую форму, знаки отличия и ордена.

Я решил обратиться к ней по-русски и прибавил лишь для осторожности «сильный» немецкий акцент. Месяцы работы вместе с Карлом дали мне богатый материал для коверкания родного языка.

— Вы кого ждете? Госпожу Мазаник?

В глазах девушки мелькнуло настороженное выражение.

— Да . . . Она еще не вернулась с работы, наверное.

— Вы что — ее знакомая?

Девушка встала со ступенек и протянула руку к велосипеду. Мои расспросы ей явно не нравились.

— Да, вообще-то знакомая . . . Но меня сестра ее прислала по делу . . .

Девушка запнулась и скользнула взглядом за мою спину. Я обернулся. В просвете домов появилась Галина. Увидев нас двоих она застыла на краю двора.

— Простите . . . — заспешила девушка и покатила велосипед навстречу Галине. Они встретились на полпути и девушка начала что-то горячо объяснять. Галина, оглянувшись на меня, потянула незнакомку на улицу. Я прислонился к балюстраде. Появление на горизонте незнакомой девушки не беспокоило меня. Мало ли у Галины может быть подруг и всяких женских разговоров . . .

Я не подозревал, что еще раз встречусь с этой девушкой года через полтора, и встреча произойдет на ступеньках мраморной лестницы Клуба Железнодорожников в Москве. Народу в клубе было много — предстоял торжественный вечер бывших партизан. Девушка подымалась в зал и на отвороте ее элегантного синего костюма, сшитого, наверное, в каком-нибудь «закрытом» ателье, сверкала золотая звездочка Героя Советского Союза. Я попробовал было проскользнуть незаметно мимо нее вниз, к выходу, но она схватила меня за рукав.

— Здравствуйте, Николай. Куда вы?

— Здравствуйте, Надя. Откуда вы знаете, что меня зовут Николаем?

Она пожала со смехом плечами.

— Хотя бы из Правительственного Указа. Вообще-то мне Маклярский о вас рассказывал. Куда же вы уходите? Вечер еще и не начинался . . .

Но я не смог ни остаться, ни познакомиться с шумной группой Надиных друзей. Ей конспирироваться больше не надо было. Партизанская война кончилась. Имя Нади Трайян стало известно миллионам. А я продолжал работать в разведке. Мне пришлось наскоро распрощаться и исчезнуть в толпе зрителей.

Только потом, много позже, через несколько лет после конца войны, мы сумели с ней рассказать друг другу, какими сложными и запутанными путями попали оба на пустынный двор, наискосок от домика белорусского гауляйтера.

Надя Трайян была москвичкой. Она выросла, между прочим, в том же районе города, где жили мой отец и старшая сестра. И Надя и я часто бывали до войны в доме № 6 по улице Малые Кочки, куда Надя приходила к знакомым, а я в соседнюю квартиру, к отцу. Но до сентября 1943 года нам не пришлось встретиться. Трайян приехала в Минск перед самым началом войны погостить к родственникам. В первые же часы бомбежки она пыталась всеми средствами пробиться обратно в Москву. Разные мелочи, иногда до обиды случайные, заставили ее остаться в Минске. С приходом немцев Надю, как москвичку, стали вызывать в гестапо, мучить подозрениями и расспросами. Вскоре она предпочла уйти в лес, в один из партизанских отрядов севернее Минска. Став партизанским курьером, она часто посещала тайно город, помогая развернуть подпольную сеть агентуры. Когда центральному штабу стало известно о Галине Мазаник, Наде Трайян было поручено связаться с ней. По рассказам самой Нади, она предложила Галине неосторожно большую сумму денег в случае согласия помочь партизанам. Галина наотрез отказалась. На некоторое время Надя оставила Галину в покое. Но в середине сентября знакомые Нади в Минске передали ей, что горничная гауляйтера спрашивала о ней. Трайян немедленно решила приехать прямо на дом к Галине.

Так мы и встретились все втроем у ветхого крыльца Галининого дома. Ни Надя, ни я не знали, что происходило тогда в душе Галины. Мы не подозревали, что горничная Кубе уже почувствовала инстинктивно, как судьба прижимает ее к стенке и металась в отчаянии, запасаясь связями, чтобы найти наименее опасный и

наиболее выгодный выход. Но если бы мы даже и узнали о душевном кризисе Галины, вряд ли бы мы почувствовали угрызения совести. В те дни вся Россия билась насмерть. Неудивительно, что необходимость такого же решения возникла перед белорусской горничной фашистского гауляйтера . . .

Разговор Галины с Надей Трайян не затянулся и через минуту она уже вернулась к крыльцу своего дома. Лишь будучи уже совсем близко Галина, наверное, окончательно узнала меня. Угол ее рта нервно дернулся и, коротко поздоровавшись, она поднялась по ступенькам крыльца. У двери, обитой черной клеенкой, Галина оглянулась назад.

— Вы зайдете?

Я кивнул и двинулся вслед за ней.

Сквозь темные сени мы прошли в большую полупустую комнату. Из мебели был только длинный некрашеный стол и пара табуреток. В углу стояла корзина с цветами прямо на полу. Галина опустилась не спеша на табуретку, скрестила руки на коленях и подняла на меня вопросительно глаза.

Я закрыл поплотнее дверь в сени и вернулся к столу.

— Сегодня вы более спокойны, как я вижу . . .

— А я и в прошлый раз не волновалась, — звучно ответила Галина.

Мое хорошее настроение не исчезало.

— Зря вы меня ненавидите, Галина. Иногда у человека не хватает сил, чтобы прыгнуть с корабля в холодную воду, а потом он вспоминает с благодарностью матроса, толкнувшего его в спину. Вы же сами знаете, что корабль тонет. Кстати, у нас с вами нашелся один общий знакомый — повар Рыбаков . . .

Галина недоверчиво взглянула на меня. Я продолжал.

— Поговорите с ним. Он подтвердит вам, что пришла пора решать с кем вы — с немцами или с народом. Видите, и он и я, мы оба верим, что вы не предатель. Мало ли кто пошел немцам служить, чтобы не умереть с голоду. Тем более, что гестапо вы, например, меня не выдали и, конечно, не выдадите. Но медлить с вашей помощью партизанам больше нельзя. Дело не только в

том, что наша армия не за горами. У вас в руках редкая возможность помочь делу, которое войдет в историю войны, сможет решить все ваше будущее, открыть вам совершенно невиданные перспективы...

По сдвинувшимся бровям Галины видно было, что она боролась сама с собой.

— Я между прочим так и не знаю, чего вы от меня хотите...

— Ой ли? Чего может хотеть партизан от горничной гауляйтера. Конечно, помощи в ликвидации Кубе.

— Как вы можете предлагать мне подобные вещи! Вы же знаете, что я никогда не пойду на это!

— Пойдете, Галина. Пойдете по вашему собственному убеждению и даже желанию. Не старайтесь вести со мной двойную игру. Лучше и для вас и для нас, если гауляйтер будет убит поскорее и нашими общими усилиями.

— Но как? Я же его почти никогда не вижу!

Она тут же оборвала себя, спохватившись, но было уже поздно. Я облегченно рассмеялся и присел на табуретку. Галина и раньше вызывала во мне симпатию, но теперь, после ее внезапной и невольной сдачи, чувство своеобразного сообщничества возникло между нами. Слабая, немного растерянная улыбка скользнула по лицу Галины. Напряжение исчезло и глаза ее стали усталыми, а щеки осунувшимися. Видно нелегко ей было разыгрывать невозмутимость. Я заговорил снова.

— Ну, что же. Если вы, действительно, согласны помочь, то я могу рассказать и о наших планах...

Галина выжидающе молчала и мне оставалось только продолжать.

— Одна из возможностей ликвидировать гауляйтера — это подстеречь его где-нибудь недалеко от дома при выезде или приезде. У нас будут люди, которые смогут близко подойти. Надежнее всего было бы проникнуть во внутренний двор или сад рядом с домом. Спрятаться где-нибудь заранее. В любом случае нам нужны будут сведения о точном времени для действия и, наверное, даже помощь, чтобы проникнуть поближе к дому. Здесь нам без вас не обойтись.

Галина продолжала упорно молчать и избегать моего взгляда, но слушала очень внимательно.

— Это — один план. Есть и другой. На тот случай, если вы захотели бы взять на себя риск побольше... Ваш выходной, кажется, во вторник. В какое время вы уходите с работы?

Галина положила локти на стол и ответила почти по-деловому.

— Часов в пять. Но могу и в четыре...

— Удобное время. Существует особое приспособление, называемое магнитной миной. Маленькая, незаметная коробочка, которая прочно приклеивается ко всему железному, даже к пружинам гауляйтеровской кровати. Когда Кубе ложится спать?

— По-разному...

— Ну, хорошо. В этом пакете есть мина и записка, как с ней обращаться. Если, скажем, замедлительный карандаш в мине будет десятичасовым, то она взорвется после полуночи. К тому времени вы будете уже далеко. Может быть даже на самолете, летящем в Москву.

— Я не одна.

— Знаю. Вашу сестру Валю и ее детишек вывести будет нетрудно. От хутора Дрозды до леса — рукой подать. Мы пошлем наших людей и их проводят в нужное место. Только боюсь, что в этот вторник мы еще не успеем принять вас и вывести Валентину с детьми. Наверное, только к следующему вашему выходному дню...

Галина поднялась решительно со стула и пошла к окну.

— Не знаю, товарищ... Страшновато что-то...

Она в первый раз назвала меня товарищем и на душе у меня стало совсем спокойно. Я подошел к ней.

— Подумайте. Время еще есть. Не очень много, правда, но все же...

Галина повернулась ко мне и твердо ответила.

— Да. Я подумаю.

Я кивнул в сторону розового свертка, лежавшего на столе.

— Пакет пусть пока останется у вас. Лишний раз носить его опасно. У вас вряд ли будут искать такие вещи. Когда решитесь, скажите повару, он вызовет меня. Только очень долго не думайте. До свиданья, товарищ Галина...

Галина снова улыбнулась. На этот раз открыто.

— До скорого . . .

Перед тем как открыть наружную дверь она посмотрела на меня внимательно и, тряхнув головой, повторила как бы больше для себя.

— Я подумаю. Обязательно подумаю . . .

Звучание ее слов было похоже на какое-то уже принятое решение.

Я шагнул через порог в темноту осеннего вечера.

Разведчиков, в первую очередь, учат осторожности. Поэтому письмо, которое Маруся получила из моих рук в понедельник, было в сущности грубым нарушением правил. Ночью, на тонком листке папиросной бумаги, я выписал практически все, о чем разговаривал накануне с Галиной. Имена не упоминались и о многих вещах говорилось условным кодом. Тем не менее, опытный глаз гестапо быстро понял бы суть письма, если бы оно попало к нему в руки.

Трудно сказать точно, что заставило меня пойти на такой риск. Может быть, особое военное время, когда разрешалось больше, чем предусматривали школьные правила. Может быть, необходимость спешки и боязнь, что нервы Галины не выдержат долгого напряжения. А может быть, скорее всего, уверенность, что наша смелая и находчивая связная сумеет обойти контроли и опасности. Поэтому мое обращение к ней звучало немного торжественно.

— Эту записку, Маруся, надо срочно доставить полковнику. Если она попадет в руки немцам — конец делу и всем нам. Действовать нужно наверняка. Берешься пронести?

Маруся повертела задумчиво в пальцах трубочку туго накрученного на спичку листка и, как бы примериваясь к ее размерам, сказала:

— Я пронесу . . .

Вечером того же дня записка была благополучно доставлена Куцину.

Отдыхать в партизанском районе Марусе пришлось всего одну ночь. Полковник немедленно послал ее обратно в город. Записок на этот раз прятать нигде не пришлось, но перед тем как передать нам устное послание Куцина Маруся подавила коварную улыбку.

— Просили передать, что все в порядке. К концу недели будут проводники и для города и для хутора Дрозды. Отдельно же полковник велел сказать, что если еще раз пришлете такое письмо, он все равно оторвет вам по возвращении голову.

— И говориль, верно, еще пара крепкий слов, — засмеялся Карл.

Он не ошибся. Куцин был возмущен откровенностью нашего послания. Полковник не подозревал, что именно это письмо принесет всей оперативной группе правительственные награды, а ему лично — Орден Отечественной Войны первой степени.

Тем временем события начали разворачиваться с головокружительной быстротой.

Около пяти часов, во вторник, Галина пришла к повару Рыбакову. Не снимая пальто и даже не поставив на пол тяжелую по виду корзину, закрытую холщевым полотенцем, она сказала только одну короткую и не совсем понятную повару фразу.

— Передайте срочно вашему знакомому, что обещанный ответ я дам ему сегодня.

— Другими словами, придти ему к вам, что ли, — переспросил Рыбаков.

— Нет, нет, — почти испугалась Галина. — Ни в коем случае. Только так вот, точно, и передайте, — что ответ будет сегодня вечером.

И поспешно ушла.

Во вторник вечером Карл и я вернулись на квартиру одного из наших связных поздно. Связной не спал. Он встретил нас на пороге с озабоченным лицом.

— Приходил сын повара. Ждал вас очень долго. В чем дело не сказал. Зайдет снова завтра утром.

Мы с Карлом переглянулись. Все шло хорошо. Галина, видимо, решилась. Утром можно будет приступить к конкретной работе.

Но решение Галины оказалось гораздо более бескомпромиссным, чем мы могли предполагать.

Рано утром нас разбудил хозяин квартиры.

— Подымайтесь, ребята, к вам гость пришел.

Сын повара стоял в сенях, прислонившись к маленькому, низкому окну. При звуке наших шагов он резко обернулся. Мы увидели, что лицо его было неес-

тественно бледным и только скулы горели лихорадочным румянцем. Он заговорил быстро и возбужденно.

— Я почти бежал к вам . . . Полиции везде полно. Хотел раньше, но никак не мог. Наш район оцеплен. Знаете, что случилось? Кубе убит. Сегодня ночью, в два часа . . . И кровать и Кубе — на мелкие кусочки . . . Что теперь делать-то? Ведь, если ее поймают, дойдут и до нас. Теперь понятно, что она вам вчера передать просила.

— Кто — она? Что — передать?

— Да, Галина же . . .

Через несколько минут мелочи недавних событий собрались в одну, более или менее ясную картину. Галина решила не ждать ни следующего вторника, ни нашей помощи. Мина была заложена под кровать и замедляющий карандаш сработал с английской точностью. Самое главное случилось — гауляйтер был мертв. Гадать — куда и к кому ушла Галина было некогда и не к чему. Нужно было срочно выводить связных и уходить из города самим.

На всех выездах из Минска стояли тройные патрули: войсковой, патруль полевой жандармерии и группа эсесовцев. Нам с Карлом пришлось одеть полную форму и остановить грузовую машину. Она оказалась переполненной эсесовцами. Машина ехала в Тростенец. Нам это было по пути. Я приказал унтерофицеру, старшему в машине, подхватить двух девушек, «из нашей офицерской столовой». Девушки брели вдоль края шоссе метрах в ста от того перекрестка, где я остановил грузовик. Возражений не было. Сквозь патрули грузовик проехал без остановок. Пристроившись на узких скамейках среди эсесовцев, выскользнули из города и мы с нашими партизанскими помощницами.

У развилки шоссе, в нескольких километрах от концлагеря Тростенца, мы слезли с машины карателей и двинулись пешком. До Смиловичей было слишком далеко. Мы переоделись в ближайшем лесу в штатское и двинулись по карте в направлении нашей базы. Уже ночью мы встретились с одним из отрядов, высланных местным партизанским штабом на наши поиски. Я был очень удивлен, услышав вопрос командира отряда: «товарищи Волин и Виктор?» Оказалось, что Москва, уз-

нав из сообщения берлинского радио о смерти Кубе разослала телеграммы партизанским отрядам восточнее Минска с предупреждением, что Виктор, я и наши связные можем выйти в ближайшие часы в партизанский район.

Через сутки мы были уже в лагере Куцина и в Москву полетели телеграммы с описанием того, что нам было известно о смерти гауляйтера Белоруссии.

Губернатор Белоруссии был уничтожен. Илья Эренбург написал торжествующую статью в «Правде» — «Конец Вилли». Останки гауляйтера были отправлены в Германию и Гитлер устроил ему пышные похороны.

А за кулисами советских партизанских служб началась отчаянная борьба за «лавры».

На вопрос — кто же, в конце концов, убил Кубе оказалось не так-то просто ответить.

О гибели гауляйтера Москва узнала сначала из сообщения берлинского радио. Геббельсовские молодчики и тут не удержались, чтобы не приврать. Взрыв мины был превращен в пистолетный выстрел.

Но уже к вечеру того же дня через линию фронта в Москву полетели радиограммы из партизанских отрядов вокруг Минска. Каждый из них заявлял о своей доле участия в уничтожении Кубе. И каждый был по-своему прав.

Решение взорвать гауляйтера было принято Галиной наспех и неожиданно даже для нее самой. До самого последнего момента она никак не могла решить кому из партизанских связей довериться. Она, например, назначила Наде Трайян встречу на границе лесного района, но придти туда не решилась. Нервы Галины были так натянуты, что единственным человеком, кому она в конце концов доверилась полностью, оказалась ее сестра. Буквально за несколько часов до взрыва сестра Галины устроила ей встречу с партизанами так называемой «группы Артура», небольшого отряда севернее Минска. Эти люди были связаны с военной разведкой ближайшего фронта и были, конечно, неописуемо рады «подарку», свалившемуся к ним на голову. Галина и ее сестра были проведены к одному из партизанских

аэродромов и туда же, по молниеносному соглашению с Центральным Штабом Партизанского движения, была послана Надя Трайян.

Затем в поле зрения появилась некая Мария Комарова из отряда минского комитета партии. Было выяснено общими усилиями, что Комарова передала Галине за три дня до взрыва цветочную корзину с зарытой в землю миной.

Когда же в Москву стали поступать телеграммы от Куцина с описанием наших с Карлом похождений, картина всего случившегося окончательно запуталась.

Дело в том, что полковник Куцин подчинялся Четвертому Управлению НКВД СССР и категорически утверждал, что Галина взорвала Кубе по нашему приказу.

У НКВД своих фронтовых самолетов не было. В ответ на попытки генерала Судоплатова срочно вызвать в Москву Карла и меня, партизанские посадочные площадки упорно отнекивались то плохой погодой, то концентрацией немецких войск в соседних гарнизонах. Но ни то, ни другое не помешало немедленно перебросить с лесного аэродрома в Москву девичий «букет» — Галину, ее сестру Валю, Надю Трайян и Комарову.

Наш розовый пакет был окончательно забыт. Прилетев в Москву, Галина заявила, что она его даже не вскрывала. Позиция Четвертого Управления в дележе лавров оказалась слабой.

Но, несмотря на то, что Карл и я застряли в немецком тылу, у НКВД СССР был все же один неоспоримый козырь: мое неосторожное письмо столь удачно пронесенное Марусей. Хотя Куцин и поругал тогда наше легкомыслие, но тем не менее он немедленно отправил содержание письма по радио в Москву. За два дня до взрыва на стол генералу Судоплатову легла телеграмма с подробным описанием, как и кем гауляйтер будет убит. Более того, по ошибке шифровальщика, из текста телеграммы создавалось впечатление, что мина под кровать Кубе будет подложена в ближайший вторник, т. е. в тот самый день, когда и был произведен взрыв. Это удержало НКВД СССР в числе пожинателей лавров.

Точной и полной правды о тонкостях закулисной борьбы я никогда не узнал. Но по рассказам Маклярского длинный список лиц, замешанных в дело Кубе и

пухлые рапорта с противоречивыми версиями попали в конце концов на доклад к Сталину. «Вождь» якобы написал цветным карандашом наискосок заглавного листа короткую резолюцию: «Склоки прекратить. Девушкам — героев. Остальным — ордена».

Правительственный указ в начале 1944 года, распределивший награды по этому рецепту, положил конец спорам. Галина Мазаник, Надя Трайян и Мария Комарова стали Героями Советского Союза.

Телеграмма о награждении, пришедшая в феврале, застала нас с Карлом уже в пути. Мы уходили от Минска в другие районы. Дело Кубе было только первым звеном в цепи наших партизанских приключений.

Вскоре после взрыва в гауляйтеровском домике нам пришлось снова приехать в Минск и воспользоваться немецкой формой. Бывшая дача Кубе на окраине города была выбрана для торжественной встречи двенадцати немецких зондерфюреров оккупированных областей. Встреча, подводящая итоги 1943 года, была назначена на середину декабря. Москва приказала нам организовать взрыв этого совещания. Связи на территории бывшей гауляйтеровской дачи у нас имелись. Наташа Моисеева, уборщица дачи, была нашей помощницей еще со времен подготовки ликвидации Кубе. После обмена длинными телеграммами с Москвой план операции был разработан. Карл и я выехали в Минск. Поскольку подсаживаться на немецкие попутные машины после истории с Кубе было уже небезопасно, мы воспользовались велосипедами.

В городе мы встретились со связными: Наташей, ее мамой, учительницей одной из минских школ, и с подругой Наташи — Лидой Чижевской. Настроение у наших помощников было боевым и всем нам казалось, что успех обеспечен. Было решено, что мина будет заложена Наташей, в день совещания, в одну из бездействующих печек большой столовой в дачном доме. Обусловили план вывода семей и отхода самих исполнителей. Наташина мама наотрез отказалась уходить из города раньше дочери. Но мы очень спорить не стали. Так же, как и в деле Кубе, мина должна была взорваться тогда, когда исполнители были бы уже на пути в партизанский район. Оставалось одно последнее препятствие.

В связи с намеченным совещанием зондерфюреров имение и прилегающая к нему деревушка были объявлены запретной зоной, оцеплены колючей проволокой и у единственного въезда-выезда поставлен патруль. Гражданских лиц тщательно проверяли, а по расчету наших подрывников мине полагалось весить не менее трех килограмм. Стало ясно, что провезти мину на оцепленную территорию лучше всего мне и Карлу.

Мы вернулись в партизанский лагерь. Отойдя подальше в лес, я расплавил на костре толовые шашки и залил коричневую, тошнотворно пахнущую массу взрывчатки в жестяную форму. Форма соответствовала кожаному чемоданчику, прихваченному нами из Минска. Остывший тол был заложен в чемодан и пристроен на багажнике моего велосипеда. Карл повез взрыватели и замедлительные карандаши. На этот раз наша поездка в Минск происходила на медленной скорости и в почтительном расстоянии друг от друга.

У въезда на территорию имения я предъявил патрулю свои документы Тайной Полевой Полиции. Меня пропустили без возражений и вопросов. Через минут пятнадцать подъехал Карл и был так же свободно пропущен. Мы проехали на противоположный конец деревушки, а затем проскользнули понезаметнее к дому нашей другой связной, Ольги. У нее на сеновале и была спрятана мина со взрывателями. В мину был прилажен замедлительный карандаш с ярлычком на шесть часов. Затем весь груз уложен в кошелку с продуктами и бельем. По плану, в день совещания рано утром, Наташа должна была зайти к Ольге за кошелкой. Обратный выезд из имения прошел также без осложнений.

За несколько дней до совещания зондерфюреров семьи связных начали прибывать на условленные пункты. Но вместе с ними прибыли и плохие новости. Наташа и Ольга решили переменить место хранения мины. Они боялись обыска в доме. Мы с Карлом срочно поехали в город. На полпути, в одной из деревушек, мы встретились с телегой, в которой была Ольга и ее семья. Ольга рассказала о случившейся катастрофе. Оказывается, Наташа перенесла мину в одно из подсобных помещений дачи. Там она разыскала печь, которую уже давно не топили. Ей казалось, что в таком месте гестапо ис-

кать не будет. Но другая уборщица дачи случайно натолкнулась на «кошелку». Она немедленно сообщила комендатуре. Весь служебный персонал дачи был арестован. Совещание зондерфюреров — отменено. Ольге удалось уйти и вывести семью. Наташа, мать Наташи и Лида Чижевская попали в руки гестапо.

Помочь им мы были уже бессильны. Следствие было коротким, а суд быстрым. Через несколько дней всех троих казнили публично на центральной улице деревушки, примыкающей к даче гауляйтера. Наш отряд автоматчиков не успел даже подойти к городу. Да и вряд ли он что-либо успел бы сделать. Место казни усиленно охранялось эсэсовским отрядом.

Куцин послал в Москву ходатайство с просьбой наградить трех героинь посмертно. Из ходатайства ничего не вышло. Москва ограничилась молчанием.

Мы с Карлом появились еще раза два в городе для встреч со связными. В начале 1944 года наша группа начала разрабатывать план диверсии в танково-ремонтной мастерской Минска. Я встретился с одним из инженеров мастерской и как-то даже переночевал у него на квартире в городе, положив под подушку пистолет со взведенным курком. Но работать становилось все труднее. Немецкое командование начало систематическую «блокаду» партизанских районов, ближних к Минску. Пересекать границу партизанской территории и превращаться из советского десантника в немецкого офицера стало совсем сложно. В довершение всего карательные операции немцев заставляли нас беспрерывно менять базы.

Однажды, возвращаясь с операции, мы натолкнулись на немецкую засаду. Несколько наших автоматчиков-омсбонцев были тяжело ранены. После этого Куцин, нарушая в некотором роде приказ Москвы о том, чтобы мы не вмешивались в боевые операции, не имеющие прямого отношения к нашим заданиям, разрешил нам принять участие в штурме соседнего жандармского гарнизона. Атака гарнизона проводилась соседним отрядом Героя Советского Союза Воробьева. Он был молодым, талантливым командиром и к нашей группе относился хорошо. Несколько семей наших связных из города, в том числе повара Рыбакова с сыновьями, он да-

же поселил в своем гражданском лагере. Воробьев уходить от блокады не собирался. Наоборот, он принял решение драться с карательными отрядами и врыл несколько трофейных противотанковых пушек перед своим лагерем. Штурм жандармского гарнизона удался нам только частично. Бой был тяжелым и блокгауза комендатуры, укрепленного по всем правилам немецкого полевого искусства, мы не взяли. У Воробьева прибавилось амуниции и оружия. Но были и потери. У нас в отряде были раненые и один убитый. Москва дала Куцину нагоняй и приказала немедленно уйти из зоны блокады. Но зона блокады все расширялась и вскоре мы оказались практически отрезанными от Минска. Кроме того, в лесах вокруг города кишело партизанскими отрядами, базами, лагерями. В отрядах появилась уже серьезная техника, артиллерия, радиостанции и полевые типографии.

Немецкое командование не замедлило об этом узнать и перебросило на подавление партизан специальные воинские части. В ходячей шутке партизан, называвших «блокаду» — «вторым фронтом», была серьезная доля правды.

Восточная Белоруссия перестала походить на глубокий тыл немецкой армии. Она превратилась в поле боя. В этом бою приходилось принимать участие и мне. Сражаться и иногда убивать. Шла тотальная война.

В боях и засадах пули и осколки меня не брали, но в госпиталь я все же попал, по нелепому случаю и собственной неосторожности. На одном из новых мест мы строили землянку. Я неудачно ударил топором по бревну и ручка сломалась. Отлетевшее топорище рассекло мне левую ступню, открыв кость. Швов было накладывать некому и нечем. Пришлось лечь в партизанский госпиталь отряда Королева и ждать, пока подживет само.

В середине февраля Куцин привез мне в госпиталь телеграмму из Москвы.

— Ну, плотник, как дела? — спросил он почти ворчливо. — Видишь, что ты наделал. Зовут тебя на север. Интересное и важное задание. А куда же я тебя хромым отпущу . . .

Телеграмма кратко приказывала Волину и Виктору двинуться на север, в Литву, к озеру Нарочь. Там у хутора, координаты которого прилагались, нас должны были ждать люди судоплатовской службы. Куцину предлагалось обеспечить нас охраной, картами и комплектом питания для моей радиостанции. Встреча у хутора назначалась на середину мая. Однако за кратким текстом телеграммы скрывался большой и тщательно разработанный план.

В начале 1944 года руководителям Четвертого Партизанского Управления НКВД СССР стало ясно, что они не могут больше конкурировать с сетью сильных партизанских отрядов других ведомств, развернувшейся в Белоруссии. Генерал Судоплатов решил переориентировать работу своей службы на города Вильно и Ковно. В прилегающих к этим городам польско-литовских областях партизанское движение было слабым и находилось вне контроля Москвы. Польские партизанские отряды подчинялись, как правило, Армии Людовой и, следовательно, польской эмиграции в западном зарубежье. Балтийские республики дружественного советскому государству партизанского движения тоже не дали. Только в Руденских лесах под самым городом Вильно было несколько мелких литовских отрядов, которые, в принципе, готовы были помочь Москве. В Руденские леса генерал Судоплатов и решил забросить специальный отряд своей службы. Посылать самолет к самому городу Вильно было опасно. Риск потерять и самолет и людей был слишком большим. В начале марта в леса возле озера Нарочь в северной Литве был сброшен на парашютах отряд под командованием майора госбезопасности Сергея Волокитина, сотрудника судоплатовской службы.

Отряд состоял из четырех основных групп, отражавших линии будущей работы.

«Испанская группа» была представлена десятком бывших участников Интернациональной Бригады, ветеранов испанской гражданской войны. Они были снабжены поддельными документами офицеров «Голубой Дивизии», когда-то посланной Франко на помощь Гитлеру. По плану Судоплатова эта группа должна была проникнуть в Вильно и Ковно и оттуда по отпускным

документам поехать через Германию в Испанию. По пути, задерживаясь в крупных городах, они могли проводить диверсии и террористические акты. Испанской группе была придана отдельная переводчица и радист, некая «Симона», русская, участница испанской войны и давний агент НКВД.

Вторая группа была польской. Возглавлял ее «Михаил» — молодой поляк с белокурыми усиками и хмурым лицом. Он и его товарищи попали в советскую разведку из Армии Крайовой во время ее обучения в подмосковье. У «Михаила» был обособленный отряд, состоящий целиком из поляков. У всех имелись «легенды» жителей ближайших городов и соответствующие документы. По плану Четвертого Управления отряд «Михаила» должен был уйти в леса южнее Вильно и образовать «ядро» для объединения просоветских элементов в польском партизанском движении.

Третьей линией работы волокитинского отряда намечалось проникновение во власовскую армию. Для этого, в качестве первой ласточки, вместе с профессиональными военными в литовские леса спрыгнул с парашютом и мой давнишний друг по московскому «подполью» Сергей Пальников.

Он должен был пробраться в Вильно с подложными документами бывшего артиста, какими-то сложными военными путями попавшего в Прибалтику. У Сергея было задание устраиваться в концертный коллектив из тех, что немцы подбирали для обслуживания своих частей. Затем Сергей должен был искать путей для проникновения в среду власовцев. По некоторым данным параллельным заданием Сергея были розыски Блюменталь-Тамарина и ликвидация его.

В Москве, перед отлетом в Литву, Сергею было рассказано о двух девушках, артистках эстрады, тоже подготовленных для последующей заброски с парашютом в Руденские леса, к Волокитину. У одной из них, Татьяны Г., известной танцовщицы, муж попал на немецкую сторону и служил во фронтовой концертной бригаде. Бывший партнер по танцевальному эстрадному номеру другой девушки тоже служил у немцев в артистическом коллективе. Судоплатов рассчитывал сначала на

Пальникова. Устроившись в артистической среде на немецкой стороне, Сергей должен был подсказать каналы для засылки остальной агентуры.

И, наконец, последней линией работы волокитинского отряда была организация диверсий и террористических актов в немецких штабах Вильно и Ковно. В схему террористических актов входили удары по генералитету, взрывы штабных помещений и офицерских клубов и, как одна из наиболее желанных целей, — ликвидация гауляйтера Литвы. Для этой цели отряду Волокитина был придан агент «Валентина», девушка немецкого происхождения, житель Прибалтики. Она должна была поселиться в Вильно и на своей квартире создать базу для двух советских разведчиков в немецкой форме. Этим разведчикам предстояло развернуть в Вильно и Ковно широкую работу по диверсиям на военных объектах и по террористическим актам против высшего офицерского состава гитлеровской армии. На роль этих двух разведчиков в немецкой форме Судоплатов назначил Карла и меня.

Все эти подробности стали мне известны гораздо позже. Находясь в партизанском госпитале отряда Королева под Минском я знал только то, что нам с Карлом нужно двинуться на север, за полторы тысячи километров, по немецким тылам, к хутору на берегу озера Нарочь.

В середине марта партизанский сапожник отряда Королева перешил мой левый сапог так, чтобы его можно было надевать на повязку. В конце марта Виктор и я двинулись на север. Куцин великодушно выделил нам двадцать пять человек охраны, подарил с десяток замусоленных карт и несколько компасов. Кроме того у нас с собой была моя радиостанция, комплект питания и «солдатик». Нужно было спешить. По сведениям из Минска основная фаза блокады должна была начаться в ближайшие недели. Мы проскользнули сквозь сжимающееся кольцо карательных отрядов, обошли Минск с юга и пересекли железную дорогу вблизи Столбцов. Обменявшись пулеметными очередями с немецкими железнодорожными разъездами и лесными засадами, мы проскочили в Беловежскую Пущу и пошли спокойно на север.

Выйдя к селу Красные Волки, мы поблуждали между немецкими гарнизонами и пробились в Литву. В конце мая мы встретились с людьми Волокитина на условленном хуторе у озера Нарочь.

Через несколько дней после нашего прибытия отряд Волокитина двинулся в направлении Руденских лесов. Группа «Михаила» отделилась от нас и ушла на юг, партизанить «самостоятельно».

Мы же пошли прямо на запад. Начались «белые пятна» партизанского движения и скоро нам пришлось очень трудно. Местное население встречало нас выстрелами из обрезов и старалось выгнать на пулеметные гнезда немецких гарнизонов. Мы двигались по картам, без проводников, без знания местности, иногда по нескольку суток без пищи. Шли мы короткими, в основном ночными, переходами. Отстать на марше означало погибнуть. Так мы потеряли нашего повара и его помощника. Они спутали развилку и были тут же схвачены местным населением. Немедленно вернувшись, мы не нашли даже их следов. От боев мы старались уклоняться, чтобы не выдавать нашу огневую силу. И потом стрелять по, теоретически, мирному населению нам было как-то трудно. Но однажды нас зажали в кольцо. Пришлось прорываться с боем. Тогда и я, впервые в жизни, был вынужден стрелять в гражданских людей.

Мы вырвались, но за нами шли по пятам. Волокитин решил, что остается лишь одно: изобразить из себя немецкий карательный отряд. Звездочки с шапок были спрятаны, отряд перестроен по трое, Виктор и я достали из вещевых мешков наши немецкие формы. Днем, при ярком солнечном свете мы вышли на шоссе и замаршировали открыто сквозь деревни и поместья. Наши враги потеряли нас на какое-то время. Мы настолько осмелели от своего успеха, что заглянули в имение одного польского помещика, где «солдат» угостили завтраком в деревне, а «господ офицеров» пригласили в дом самого пана.

На завтраке Волокитин разыгрывал офицера-власовца, Сергей немецкого прихлебалу-артиста, а мы с Виктором немцев — связных от вильнюсского штаба. Как бы хорошо все ни было задумано, к концу завтрака хозяин скис и, вероятно, понял, что его гости не сов-

сем настоящие. Нам пришлось уходить из имения как можно скорее. Прощание с хозяином было все же внешне сердечным. Было сказано даже несколько раз «Хайль Хитлер!» В устах Волокитина это звучало особенно забавно.

Пятого июня мы добрались до Руденских лесов. На следующий день в радиорубке дружественного отряда литовцев узнали об открытии второго фронта. Нам всем стало ясно, что гитлеровская Германия обречена и что крах ее — вопрос ближайшего времени. Но с нас никто не снимал наших заданий и, устроившись под Вильно, мы приступили к работе.

«Валентина» была немедленно послана в Вильно. Ей удалось сравнительно легко устроиться и она посылала нам оптимистические сообщения, обещая организовать базу для приема Виктора и меня в самое ближайшее время.

Однако обстановка на восточном фронте гитлеровской армии менялась так быстро, что комплекты документов, привезенные Волокитиным из Москвы для нас с Виктором и для испанцев, уже устарели. Москва задерживала также и отправку Пальникова в Вильно в связи с какими-то новыми сведениями о власовской армии. Начались короткие летние ночи. Самолет, посланный к нам с документами и боевым снаряжением, вернулся с полдороги с простреленными крыльями. Мы терпеливо ждали, изучая понемногу, через местные связи, обстановку в Вильно и Ковно. Через эти же связи в июле мы получили неожиданные и тревожные сообщения. Наш агент «Валентина» — была замечена на рынке, где она скупала золото. Почти одновременно от нее пришло письмо, в котором она приглашала Виктора и меня приехать в город. За квартирой Валентины в Вильно, через связи соседних отрядов, было установлено наблюдение. Вскоре удалось засечь подозрительные машины, навещавшие по вечерам ту самую квартиру, куда Валентина нас приглашала. Волокитин сообщил Москве, что «Валентина», по-видимому, перевербована гестапо. Москва приказала: связь с «Валентиной» оборвать, весь отряд передислоцировать на территорию Германии. В качестве базы были намечены Августовские леса. Теперь нам нужно было идти на

юго-запад, по местам, где дружественного партизанского движения не было. Однако, за несколько недель до приказа о переброске нашего отряда, Волокитину удалось заключить первое в истории войны соглашение с командованием Армии Людовой. По этому соглашению вражда между польскими и советскими партизанами прекращалась и обе стороны обязывались оказывать друг другу посильную помощь. Наш отряд был первым, который был взят под охрану отрядами Армии Людовой и проведен по польской территории почти до самого Немана. В Августовские леса мы должны были уже пробиваться сами.

Но на самой государственной границе Германии нас обогнала Советская армия, вырвавшаяся вперед в неожиданном прорыве фронта. В течение нескольких часов из тыла немецкой армии мы попали в тыл армии советской. Москва посетовала, но делать было нечего. Мы получили приказ двигаться к Вильно, чтобы распутать историю с «Валентиной».

В Вильно и Ковно наша группа проработала до сентября. Валентина осталась в Вильно и сразу по приезде Волокитина была арестована. Вскоре Волокитин рассказал мне, что по результатам следствия стало ясно: «Валентина» сотрудничала с гестапо и собиралась выдать нашу группу. Я в следственной работе участия не принимал и получил от Москвы разрешение на вылет домой. Волокитин устроил мне место на военном самолете. В конце сентября я был уже в Москве.

Мое участие в партизанской войне закончилось, но время, проведенное в тылу врага, внесло в мою жизнь много нового. Дело было не только в боевых впечатлениях партизанской войны. Новое пришло в мой внутренний мир, в мое отношение к окружающей действительности.

Как и многие мои сверстники, я привык считать советскую власть чем-то безусловно правильным и нужным народу. Я знал, что на моей родине жизнь далеко не райская. Из книг русских классиков, из рассказов старшего поколения мне было известно, что до революции люди лучше ели, лучше одевались и, может

быть, меньше работали. Но я чувствовал себя гражданином государства, где строится будущее для всего человечества. Я верил, что советская система, пока, может быть, и не самая благоустроенная, является, наверняка, самой справедливой. У меня не было ни малейших сомнений, что рядом, в капиталистических странах, рабочие и крестьяне живут в бесправии и нищете, а горстка эксплуататоров творит беззакония. Мне казалось, что все честные люди земного шара только и мечтают о приходе советской власти, об установлении диктатуры пролетариата, государственной собственности и колхозной системы. Весь мир просто и ясно делился на две группы: на защитников советской власти, составлявших большинство человечества, и на кучку ее врагов, оставшихся в незначительном и злобном меньшинстве.

Красок было только две — белая и черная. Заниматься анализом остальных мелочей жизни было не к чему.

Психологи объясняют, что велосипедист удерживает равновесие благодаря особому, выработанному привычкой, рефлексу. При малейшем крене велосипеда, он молниеносно поворачивает руль в противоположную сторону. Что-то похожее выработалось, постепенно, и в моей философии. Повседневная советская жизнь не проходила, конечно, совершенно мимо меня. Но как только встречались какие-нибудь расхождения с моей верой в справедливость советской власти, я инстинктивно отклонял свое объяснение в ту сторону, которая помогала сохранить равновесие.

Мне тем более было легко это делать, поскольку газеты, радио, кино, театр находились в руках государства, а оно тщательно заботилось, чтобы никакие противоречивые сведения о жизни советской страны не смущали налаженную совесть молодежи вроде меня.

Большинство моих сверстников ушло на фронт сразу, с началом войны. В окопах, во время боевых походов, под вражеским огнем впервые по-настоящему встретились друг с другом миллионы советских людей. В такие дни доверие приходит само собой.

Началось великое пробуждение советского народа. Уроки войны усваивались жадно, быстро и накрепко.

Я же запоздал с поступлением в эту школу. Изучая Германию и фашистскую армию, я не подозревал, что все больше и больше отстаю от мыслей и чаяний своего собственного народа.

В первые недели за линией фронта мое внимание было целиком поглощено разыгрыванием роли немецкого офицера.

Потом, когда нервное напряжение первого боевого задания ушло, я стал постепенно прислушиваться к рассказам местных жителей и даже, просматривать немецкие газеты на русском языке.

С антисоветской пропагандой я уже встречался при изучении «трудов» геббельсовского ведомства. Мне было ясно, что фашисты ненавидят, в первую очередь, русский народ, а коммунизм ругают из чисто стратегических соображений.

Слышал я и про некую «Белорусскую Раду», называвшую себя новым правительством. В пропаганде этой марионеточной организации обычно было столько всеотрицающей злобы по отношению ко всему советскому народу, что сомневаться в продажности ее авторов не приходилось.

Знал я и о существовании власовской армии. Власовцы представлялись мне обычными русскими людьми, которые попали в немецкий плен против своей воли и были затем сломлены голодом и пытками в концлагерях. Я считал их предателями, хотя и понимал, что пошли они по этому пути просто не имея сил к дальнейшему сопротивлению.

Но иногда в статьях, подписанных власовцами, попадалось кое-что внушавшее мне смутное чувство неуверенности в моем приговоре.

В привычном для меня упорядоченном мире люди, ненавидящие советскую власть, попадали автоматически в категорию врагов народа. Я был совершенно уверен, что эгоистические и антинародные стремления этих людей отделяли их от миллионов советских граждан барьером взаимной ненависти.

Здесь же, в статьях, русские люди, выросшие в одной стране со мной, рассказывали о стройке рабоче-крестьянского государства, как об этапах подавления народной воли путем обмана и террора. Конечно, ут-

верждение, что интересы советской власти и русского народа противоположны, звучало для меня клеветой, но я не мог отделаться от ощущения, что авторы статей любили оставленную ими Родину не меньше меня. Это чувство витало между строчками, диктовало многие фразы, не укладывавшиеся в стандарты немецкой пропаганды и подсказывало мне, что трагедия власовцев была гораздо сложнее предательства во имя сохранения собственной жизни.

Однако все это были только статьи, слова, безличные и написанные людьми с немецкой стороны. Руль моей философии без труда повернулся в нужном направлении. Я сказал себе, что находясь в фашистских руках нет, очевидно, другого способа выжить, как ругать советскую власть всеми способами. А народ — народ по всей видимости был на стороне советской власти и был готов защищать ее до последней капли крови. Так мне казалось.

Тем временем школа войны продолжала давать мне уроки.

Это были уже не статьи и не пропаганда врага, а встречи с живыми людьми, находившимися на советской стороне, воевавшими против фашистов, но образ которых не укладывался в мои привычные категории.

В партизанских отрядах под Минском я услышал о деревнях, где немецкую армию встречали с хлебом-солью и цветами. Когда настоящее лицо фашистов стало явным, многие жители таких деревень ушли в лес партизанить.

Мне показывали этих людей, которые когда-то приветствовали немцев и я знал, что они не были ни кулаками, ни агентами врага. Начальник контрразведки им не доверял, но рядовые партизаны, за исключением редкого подтрунивания, относились к ним, как к равным. Воевали эти «подозрительные» не хуже других. Мне не удалось поговорить с ними. Контрразведчик заявил, что «нечего им голову мутить. Пусть пока воюют».

Зато мне удалось поговорить с крестьянином с хутора, когда-то бывшего пограничным между Польшей и Советским Союзом. Мы зашли в эту избу потому, что узнали, что хозяин ее был всю жизнь бедняком и партизанам помогал охотно. Рассказав ему последние но-

вости с фронта, я начал было расспрашивать о том счастливом времени, когда в его деревню пришла советская власть. Он отвечал неохотно и путанно, потом вдруг замялся на секунду и спросил решительно:

— А что, неужели когда наши вернутся, опять колхозы будут?

Я не ожидал от него ни такого вопроса, ни откровенной, искренней тревоги в голосе. Мои спутники не казались удивленными. Многие из них были партизанами из Восточной Белоруссии и тоже крестьянами. Один, помоложе, кашлянул значительно и пробормотал:

— А кто его знает . . . Нас не спросят . . .

У меня осталось ощущение, что если бы меня и остальных «москвичей» в комнате не было, обмен мнениями зашел бы значительно дальше.

Вечером, на остановке в лесу перед форсированием шоссе, я присмотрелся повнимательнее к бойцам, собравшимся у костра. Мне все еще верилось, что нас, разведчиков, прилетевших из Москвы, и местных партизан связывает боевая дружба людей, воюющих за одно и то же. Но когда я завел разговор о встрече со «странным поляком» свободной беседы не получилось. Я не мог отделаться от чувства, что симпатии моих партизанских товарищей были на стороне озабоченного крестьянина из пограничной деревушки.

— Ну, что ж . . . Ясно, человек волнуется . . . — сказал один из них негромко.

А другой добавил, откуда-то из темного угла.

— А что? Зря воюем, что ли? По-старому, вроде, не должно больше быть. Времена теперь не те . . .

Дело не пошло дальше отрывочных фраз, процеженных сквозь зубы, полунамеков, брошенных безличным голосом, туманных комментариев, сказанных с оглядкой.

Моя интуиция подсказывала вывод, который эти люди не решались произнести вслух. Фанатическими защитниками советской власти они не были. Более того, у них явно имелись какие-то счеты с властью и тайная надежда, что «по-старому больше не будет».

А ведь этих людей нельзя было назвать врагами народа. Они были самим народом, плотью от плоти его.

Я подумал в тот момент, что будь я на фронте, где-нибудь в землянке, обычным солдатом среди обычных солдат, разговор был бы иным: прямым и беспощадным. Странно, откуда явилась такая мысль, но она пришла.

Здесь же, в тылу врага, будучи разведчиком из Москвы, я не только не мог ожидать откровенности от бойцов, но и даже со своими близкими друзьями не решался поговорить о таких вещах по-душам.

Но все равно — во впечатлениях недостатка не было.

Мелочь за мелочью, встреча за встречей все больше и больше знакомили меня с действительными настроениями народа.

Особенно запомнился мне эпизод с проводником в районе «белых пятен» партизанского движения.

Мы понимали уже, что местное население этих районов поддерживать советскую власть не собирается. Но мы еще не знали границ их решимости.

Предстояло перейти крупную железнодорожную магистраль. Она сильно охранялась. В одной из хат на окраине деревни, соседней с «железкой», мы попросили хозяина провести нас в обход железнодорожных разъездов. Он отказался, сказав, что плохо знает дорогу.

Командир нашего отряда оглядел внимательно избу.

За холщевой занавеской жена хозяина укачивала ребенка. С печки свешивались две детские головы, с любопытством рассматривавших нас.

Командир хлопнул ладонью по столу.

— Поведешь! У нас выхода нет. Ходить по хатам мы не можем. А выведешь не туда, куда надо — погибнешь вместе с нами. Или сами расстреляем.

Крестьянин молча снял шапку с гвоздя и повел нас болотными тропами. По пути ему еще раз напомнили шопотом, что если предаст — расстреляем. Он кивнул головой и ничего не ответил.

К рассвету проводник вывел нас к железной дороге. До насыпи было метров пятьдесят вырубленного леса. Когда мы дошли до середины вырубки, раздалась пулеметная дробь. Прямо перед нами был разъезд и вокруг него огневые точки немцев.

Проводник стоял, сжав в руках шапку и смотрел, не мигая, на нашего командира.

— Ты что наделал, сволочь!? — закричал тот.

— Советским помогать не буду, — тихо ответил крестьянин.

Снова прострочил пулемет. Мы лежали между пней и коряг, заняв оборону. Только проводник стоял во весь рост с непокрытой головой и ждал.

— Чего стоишь? Пошел к . . . Слышишь?! — рявкнул на него командир. Крестьянин очнулся, кинулся обратно в лес и через секунду исчез.

Бросив наших лошадей, открыв ответный огонь по немцам, мы начали обходить разъезд уже при дневном свете. Переправиться нам удалось, хотя и с потерями. Обсуждать поступок проводника никому не хотелось. В том числе и мне. Я давно был знаком с образом Ивана Сусанина, но никогда не мог предположить, что защищая советское государство увижу такого человека своим врагом.

Потом мы пошли по земле, где советской власти никогда не было. Ей полагалось быть населенной теми самыми угнетенными и обездоленными, ради которых строилась крепость мировой революции.

Но на встречи с угнетенными и обездоленными нам не везло.

Дом, в который мы зашли для разведки пути, стоял на отлете. Он ничем не отличался от таких же домов, вытянувшихся в длинную цепочку вдоль проселочной дороги.

Нас никто не встретил. Жители дома бежали через огороды, завидев приближающуюся группу партизан.

Хозяйство выглядело зажиточным и налаженным, хотя и не богатым, судя по сараю, где было стойло только для одной коровы и одной лошади.

Войдя в дом мы поразились изобилию мелочей, непривычных для нашего советского глаза. Кружевные занавески на окнах, коврики на вощеном полу, гнутые стулья, разноцветная и блестящая утварь на кухонных полках и даже горка фарфоровой посуды в застекленном шкафу.

Внезапно один из бойцов шагнул вперед и со всего размаха ударил прикладом по дверкам шкафа. Стекло и осколки фарфора полетели во все стороны.

— Ты что — спятил?! — вырвал у него кто-то винтовку.

Боец опомнился и посмотрел на нас растерянными глазами.

— Ведь как живут, черти . . . — проговорил он, как бы оправдываясь.

Возможно именно тогда в душе этого бойца, так же как и в моей, вместе с фарфоровой посудой, надтреснула вера, навязанная нам, что в западных странах весь народ живет в нищете и грязи.

Многого из «заграницы» я увидеть не успел. С полпути мне пришлось вернуться в Москву. Но миллионы моих соотечественников пошли дальше, вглубь «буржуазных стран», чтобы сделать окончательное сравнение между жизнью на Западе и жизнью в советском государстве. Я опять отстал на какое-то время от бурного духовного роста моих сверстников.

В Москве, осенью 1944 года, под влиянием радостной шумихи возвращения домой, противоречивые впечатления партизанских походов подзабылись. Встречи с родными и друзьями, торжественный вызов в Кремль, где Шверник вручил Карлу и мне золотые звезды ордена Отечественной войны, серебряная медаль — «Партизану», пришпиленная к лацкану моего пиджака Судоплатовым, наконец, счастливое чувство, что самое трудное позади и дело идет к победе — все это помогло мне восстановить прежнее равновесие и выбросить «неразрешимые вопросы» из головы. Но не надолго.

В конце октября Маклярский вызвал меня к себе в здание НКВД.

После обычных расспросов о настроении, о доме, о том, как я провожу отпуск, он задержался на секунду и, внимательно рассматривая выражение моего лица, медленно спросил:

— Коля, что вам известно о вашем отце?

Ничего не подозревая, я ответил коротко.

— Когда я был в тылу пришло извещение, что он погиб в 1942 году.

— И больше вы ничего не знаете?

Я пожал плечами.

— Писем с фронта он не писал. Что мы можем знать еще?

Маклярский вынул из ящика стола небольшую фотокарточку и повернул ее ко мне, не выпуская из пальцев.

— Этого человека вы знаете?

Тон и форма вопроса показались мне странными. С карточки смотрело лицо моего отца.

— Конечно . . . Это — мой отец.

Маклярский отложил карточку и протянул мне лист бумаги.

— Пойдите в соседнюю свободную комнату и напишите объяснение.

— Объяснение? О чем? Мне же ничего неизвестно...

— Так и напишите, что ничего неизвестно. И об извещении с фронта, обязательно.

Дисциплина не разрешала задавать лишних вопросов. По лицу Маклярского было видно, что ни о чем рассказывать он не собирается.

Когда я вернул ему листок с немногочисленными строчками «объяснения», он одобрительно кивнул головой и переменил тему разговора.

Больше я никогда от него об отце ничего не слышал.

Однако от родственников и друзей отца я узнал, при каких обстоятельствах он погиб. Сведения, хотя и были отрывочными, ошеломили меня.

Отец попал на фронт комиссаром батальона. Как мне передавали, он, разговорившись с одним из солдат в конце 1941 года, высказал несколько необычных для комиссара мыслей: что Сталин завел нашу армию в мясорубку, что в разрухе и развале фронта виновато само наше правительство и что вообще теперь пойди разберись, кто хуже из двух зол: Гитлер или Сталин.

Солдат решил, что его провоцируют по заданию Особого отдела. В Особый же отдел он и пошел с доносом.

Полевой трибунал Военной Коллегии разжаловал отца и сослал в штрафной батальон. Вскоре он был убит.

Сначала я отказывался верить. Слишком невероятной казалась мне подобная история в сочетании с образом отца — рыцаря советской власти без страха и упрека. Но от фактов уйти было некуда.

Вот тогда и вспомнились мне снова, и уже навсегда, мои фронтовые впечатления и сомнения.

Выходит, не знал я как следует ни своего народа, ни своего отца. Перебирая в памяти отдельные мелочи разговоров с отцом, его оброненные изредка замечания, вроде: «наши порядочки . . .» или «социалистическая свобода, как же!», я понял вдруг, что не видел и не слышал всего этого просто потому, что хотел видеть и слышать только то, что мне было необходимо для моей «философии». Одна за другой вспоминались детали, подтверждающие явное несогласие отца с тем, что происходило «в государстве рабочих и крестьян».

Но ведь ушел же он на фронт. И добровольно . . . Так же, как отчим . . . А что с отчимом? Знал ли я его по-настоящему? Может и у него были счеты с советской властью? Оказалось, что — были.

Мне стало, наконец, известно, почему последние годы перед войной нам так трудно было жить. Почему отчим терял одну работу за другой и только помощь друзей из Коллегии Защитников дала ему возможность остаться адвокатом в Москве.

В 1938 году отчима вызвали в НКВД и предложили вести «защиту» по делам, связанным с 58-ой статьей. «Привилегию» полагалось совместить с информаторством и сотрудничеством с НКВД при ведении следствия.

Отчим отказался и даже сказал несколько лишних слов. — Недостаточно, чтобы попасть под статью самому, но достаточно, чтобы быть зачисленным в «черный список».

А ведь и он пошел добровольно на фронт . . . В чем же дело?

Мне вспомнилось, как пели мои партизанские друзья у костра: «Дрались по-геройски, по-русски, два друга в пехоте морской . . .»

За что же дрались по-геройски мои друзья в тылу врага, мои сверстники на фронте, мой отец в батальоне и мой отчим в ополчении?

За что отдали свою жизнь Лида Чижевская, Наташа Моисеева и ее мать?

За Родину, конечно. А как же с советской властью?

«Служу Советскому Союзу» — ответил я Швернику, принимая орден.

Конечно, я имел в виду: «Служу Родине». Но получается, что защита Родины и защита советской власти далеко не одно и то же. Получается, что интересы народа и интересы власти в моей стране не всегда совпадают.

Тогда красок в жизни не две, а гораздо больше.

Но как же разобраться, где кончается оттенок «положительный» и начинается оттенок «отрицательный»?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Именем народа

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В узком, прохладном пассаже гулко звучал пьяный разнобой голосов.

Я сидел за столиком, вместе со своим другом Петрикой.

Усеянные трещинами стены пассажа открывали вверху кусок вечернего неба, окаймленный зубчатыми линиями разрушенных этажей. Прошло немного больше года после окончания войны. Следы бомбардировок были еще видны повсюду в Бухаресте.

На столике перед нами стоял графин желтого кислого вина и баллон с содовой водой.

Мой друг стягивал не спеша белую кожицу с мокрого грецкого ореха и посматривал задумчиво на цыгана, остановившегося у соседнего стола. Тот, прижавшись щекой к облупленной, запыленной канифолью скрипке, выводил негромкую и грустную мелодию.

— Кынта мь лаутаре, пентру ультима дата, ун кынтек че штий ту са кынть... — попробовал подтянуть Петрика и повернул голову ко мне.

— Сколько ты уже в Бухаресте, Стани? Почти два года? Так разве ты знаешь настоящую великую Румынию? Вот хозяину подать нам нечего... Вино, да зеленые орехи... Мать моя вернулась сегодня из деревни, привезла мешок малая, да тощего ягненка. И то — спасибо... Когда же это так было, чтобы румын не знал, где достать поесть... Пока не пришли эти...

Он запнулся и оглянулся на столик сзади. Но молчать, видимо, не мог и только понизил голос.

— Да, чорт с ней, в конце-концов, с едой. Можно и поголодать, если есть ради чего . . . А тут . . . Все рушится, все растаскивается, все вывозится в известном направлении . . . Только страха сколько угодно. У каждого честного человека горло перехвачено. В Плоешти вчера еще одна скважина обрушилась. Откуда им знать как нужно вести хозяйство . . . Всякая человеческая дрянь, которая еще вчера славила Гитлера, громила евреев в Вакарешти или просто гуляла по ночам с кистенем, сегодня срочно записывается в коммунисты и ставит тебе сапог на шею . . . И все молчат . . . Молчат . . . Почему? Турки ведь нас тоже убивали и хотели в баранку согнуть. Нашлись тогда и Хореа, и Клошка, и Кришан . . . Техника проще была — сабля да горячее сердце . . . Эх, вот собрать бы радиостанцию, смонтировать ее на машину, да — в Трансильванию. Там, говорят, в горах отряды есть. Стани, а ведь в твоей Польше тоже что-нибудь похожее творится. Будь я на твоем месте, махнул бы я через границу да в партизаны. У вас леса самые подходящие. Я ведь знаю Польшу немного...

Петрика был знаком не только с Польшей. Крупный журналист, известный инженер-химик, он владел несколькими языками, объездил много стран, умел глубоко и объективно мыслить, был, другими словами, одним из лучших представителей румынской интеллигенции.

Я слушал его внимательно и молчал.

Петрика знал меня как Станислава Левандовского, поляка-эмигранта, техника по профессии, собственника магазина электротоваров. Он не в первый раз делился со мной своим недовольством и ждал, наверное, какихнибудь ободряющих слов.

Но в тот вечер отвечать на взволнованный протест Петрики от имени Левандовского, человека в действительности несуществующего, мне показалось кощунством. А рассказать ему, что думал советский разведчик Николай Хохлов я, конечно, не мог.

Оставалось только молчать.

Да и что бы я ответил, если смог стать совсем откровенным?

Николай Хохлов и сам не знал, прав ли Петрика.

За несколько месяцев, прожитых в Румынии, я не успел еще разобраться во всем, что принесла румынскому народу новая власть.

Кроме того для меня проблема была глубже и острее. Решался вопрос не только истинного смысла «народных демократий», решался вопрос «доброго имени» советской власти вообще.

Школа и государство с детства учили меня, что советская власть создана во имя народа и защищает интересы народа. Мы читали в книгах, пели в песнях, декламировали в стихах, что наше пролетарское государство несет свободу и справедливость для угнетенных всех стран.

Ценой крови русского народа советское правительство получило возможность установить новую — демократическую — власть в освобожденных от фашистской армии странах.

Попав в Румынию, я ожидал увидеть великую картину построения нового государства на принципах равенства и справедливости.

Меня послали в Румынию изучать страну и постараться ее понять. Я понял больше, чем предполагали мои начальники.

Моим глазам открылась трагедия румынского народа, приводимого к коммунистическому вероисповеданию.

Но я не знал еще точно и окончательно, почему и откуда появилось у меня это ощущение многомиллионного человеческого несчастья.

И ответить Петрике мне было нечего.

Что же касается моего приезда в Румынию, то рассказ о нем был бы довольно сложным.

В начале 1945 года Маклярский вызвал меня в свой служебный кабинет и спросил, как спрашивают о погоде или здоровье:

— Коля, как у вас с польским языком?

— С польским языком?! — очень удивился я. — Да никак. Знаю две-три общих фразы. Прошем пани, бардзо дзенькую . . . Так, слышал кое-что от братьев-поляков в партизанах.

— Ну, а вообще с Польшей как страной вы знакомы?

— Да что вы, Михаил Борисович, — чуть не возмутился я. — Вы же мою биографию лучше моего знаете . . . Откуда . . .

— Хорошо, хорошо . . . — остановил меня Маклярский. — Все понятно. Дело вот в чем . . . Мы хотим послать вас за границу. Не за линию фронта, а именно за границу. Поживете некоторое время в одной промежуточной стране, привыкнете, наберетесь опыта, а потом будем перебрасывать вас дальше.

— А для чего? — не удержался я.

Маклярский улыбнулся.

— Любите вы задавать вопросы . . . Ну, ладно . . . Скажем так: война может принять любой оборот. Завтра ваши знания могут пригодиться для партизанской борьбы в самом неожиданном месте. В стране, которая сегодня даже кажется дружественной. Кроме немецких захватчиков есть и другие. Будущие . . . Мы должны быть готовы ко всему. Но . . .

Маклярский поднял руку, как бы призывая меня к слепой дисциплине и продолжал:

— Эти вопросы не должны вас беспокоить. Их решаем даже не мы. Ваше задание: выехать за границу, освоиться в новой обстановке и быть готовым в любой момент к движению дальше. Решать нам нужно вот что: по каким документам вы поедете? Немецкую легенду брать нельзя. Может быть, на следующем, дальнейшем этапе. Но не сейчас. В стране, куда вы пока едете, немцев вылавливают изо всех углов. Мы подумали не сделать ли вас поляком . . . Да, да, не делайте удивленного вида . . . Поляком. Вас ждет преподаватель и вы немедленно займетесь польским языком. Времени у вас немного, несколько недель. Но вы справитесь. Почитаете материалы о Польше . . . Все будет хорошо. В этой стране поляков очень мало. Будете избегать их. Кроме того вас примут наши люди и помогут устроиться . . .

Польская «тренировка» продолжалась три недели. Потом на стол передо мной положили искусно подделанный польский паспорт на имя Станислава Левандовского и свеже-отпечатанную на машинке фиктивную биографию. Из нее было видно, что Станислав Леван-

довский родился и вырос в городе Львове, в 1939 году бежал в Трансильванию, перебивался там кое-как до 1945 года случайными заработками и с присоединением трансильванской территории к Румынии, двинулся вместе с потоком других бесподданных в Бухарест. Здесь биография Левандовского обрывалась. Мне предстояло продлить ее прибытием в Бухарест в самое ближайшее время.

Затем мне была подобрана портативная радиостанция из тех, что английская разведка сбрасывала польским партизанам. Я потренировался в работе на ней, и вместе с Годлевским отобрал два пистолета «Вальтер», которые были записаны на мое имя, как «личное оружие». Мне было ясно, что поездка в Румынию скрывает за собой что-то более дальнее и более боевое. Война продолжалась, и все методы борьбы были оправданы. Я постепенно привыкал не задавать вопросов моему начальству.

В конце марта, попрощавшись с семьей, я был отвезен на аэродром и очутился в полупустом военном самолете. Мои спутники улеглись спать. Я занялся зубрежкой пестрой жизни Станислава Левандовского.

В Бухаресте на аэродроме мы подождали наступления темноты, а затем сотрудники судоплатовской службы доставили меня на квартиру румынского агента-коммуниста Южу Петрояну. Только он один и его родственница Дора знали, что я советский разведчик. Для всех остальных мне предстояло разыгрывать роль беженца из Польши. Хотя нет, не для всех. Брату Петрояну, местному коммерсанту электротоварами Йонелю Петрояну, было сообщено по секрету, что я немец, коммунист, которому надо устроиться временно в Румынии под видом поляка. Он должен был взять меня компаньоном в свой магазин и научить торговать.

Смысл всех этих сложных и, на первый взгляд, плохо продуманных комбинаций стал мне ясен в общих чертах через неделю после приезда в Бухарест. Генерал Судоплатов прилетел в Румынию и вызвал меня на встречу в городской сад Чисмиджиу.

— Ваше пребывание здесь затянется, наверное, немного дольше, чем мы предполагали, — сказал он. — Но это даже хорошо. Румыния прекрасная школа для

разведчика. Вы найдете здесь и, надеюсь, сумеете усвоить много таких деталей жизни за границей, которые не описать в учебниках или инструкциях. Не думайте пока о сроках. Вы можете остаться здесь на полгода, а, может быть, и гораздо дольше. Рассматривайте эту страну, как плацдарм. Займитесь как следует румынским языком. Изучите досконально быт и нравы. Встречайтесь пореже с нашими товарищами. Попробуйте жить совершенно самостоятельно. Откройте свой собственный магазин, если вам это поможет. Купите автомашину. Проверьте только позволяет ли вам это легенда. Пусть вам не кажется, что вы бездельничаете. У меня для вас большие планы. Набирайтесь опыта и сил . . .

Ничего более точного генерал не сказал. Но из бесед с другими моими начальниками и, в первую очередь, с майором Коваленко, я постепенно начал понимать смысл моей румынской командировки.

Когда победа над гитлеровской Германией стала близкой и явной, руководители Партизанского Управления МГБ СССР начали задумываться о судьбе своей службы. Генералы Судоплатов и Эйтингон надеялись, что и после окончания войны воспитанные ими кадры разведчиков-партизан не останутся без работы. Люди Партизанского Управления прошли тяжелую школу войны в глубоком тылу противника, но заграницы, западных «буржуазно-капиталистических» стран они не знали. Для обычного советского гражданина понятие «заграница» связано со многими незнакомыми мелочами быта: с другим покроем одежды и другой манерой ее носить, с другим методом заказывать обед в ресторане, с иным отношением к материальным ценностям, с необычным лексиконом собеседника, — короче — с совершенно другим воспитанием и опытом жизни рядового человека.

Для того, чтобы кадры партизанской службы Судоплатова смогли когда-нибудь хорошо ориентироваться на территории «будущих вражеских государств», одного обучения иностранным языкам и знакомства со страной по учебникам было недостаточно. Партизанскому Управлению нужно было найти более эффективный метод создания кадров «дальнего прицела». По всей видимости, горячим желанием Судоплатова и Эйтингона

было получить разрешение правительства на использование их людей в Австрии, Италии, Франции, Швейцарии. Эти страны были хорошо знакомы обоим генералам по их довоенной разведывательной работе, там они хотели создать свою сеть опорных пунктов из агентов, готовых в случае международных осложнений развернуть партизанскую войну против любого противника.

С этой целью, ранней весной 1945 года, Судоплатов послал в Румынию группу своих агентов. Эти люди были снабжены документами соответствующих стран и получили задание вжиться в местную атмосферу, не имея внешне никакого отношения к советскому государству. В число этих первых ласточек попал и я.

В первые месяцы моя жизнь в Румынии походила на своеобразный лабораторный эксперимент. Проверялись не только мои способности ориентироваться в обстановке заграницы. Офицеры судоплатовской службы, работавшие со мной и, вероятно, с другими агентами на таком же положении, тренировались в построении заграничных резидентур, в обхождении всяких полицейских препятствий, в создании человека, могущего слиться с окружающей средой. Тем временем, мое пребывание в Румынии затягивалось, и шаг за шагом возникали всё новые проблемы.

Первой из них было продление моего польского паспорта. Интересы Польши представляло временно швейцарское посольство, но пустить меня туда начальство не решилось. Адвокат Радулеску, тоже агент советской разведки, коммунист, сумевший остаться внешне в стороне от аппарата новой власти, явился вместо меня в швейцарское посольство, сказал, что я болен и получил штамп продления моего паспорта до 1 мая 1946 года.

Теперь на некоторое время я мог избегать своих «соотечественников». К своей автомашине я прикрепил флажок с белым швейцарским крестом на красном фоне. Официально я находился ведь под протекцией швейцарского посольства.

Моя радиостанция и пистолеты продолжали храниться где-то в сейфе на квартире майора Коваленко в Бухаресте. Я занимался делами более мирными. Местная агентура помогла мне стать собственником неболь-

шого магазина «Вальво» на улице Дечебал. Над дверью висела вывеска с именем Левандовского, а в витрине лежали радио- и электротовары. На девятом этаже дома на краю Королевской площади я снял квартиру и скоро совсем перестал нуждаться в помощи советской разведки. Судоплатовские люди приходили на встречу со мной раз в полтора-два месяца.

Изучение румынского языка тоже пошло быстрыми темпами. Разговаривать мне приходилось только на нем. Применения польского я избегал по понятным причинам.

Жизнь моя потекла налаженным ритмом. Слова Судоплатова оправдывались, — она стала походить на безделье. Магазин приносил доходы. У меня было уже гражданское лицо, оправданные средства на жизнь, связи и друзья.

Мне было строжайше приказано держаться в стороне от какой-либо политики и ни в какие внутренние дела Румынии не вмешиваться. Но остаться в стороне от политики оказалось не так-то просто.

Своих друзей и знакомых я подбирал в соответствии с вероятными убеждениями беженца из Польши, Левандовского. Поэтому коммунисты или явные приверженцы новой власти в мой дом не особенно приглашались. Большинство моих новых друзей было недовольно режимом, установившимся в Румынии. Их критику я, сначала, пропускал мимо ушей. Серьезного впечатления она на меня не производила, а заниматься выслеживанием внутренней оппозиции я не собирался. Это не соответствовало ни моему личному характеру, ни цели моей работы. Но, постепенно, в мою квартиру всё чаще стали собираться знакомые, послушать «Голос Америки» или «БиБиСи». Мне приходилось не только слушать эти передачи, но и принимать участие в обсуждении их.

В конце-концов, однажды, я обнаружил, что при защите принципов истинной демократии, мой голос звучит подозрительно естественно и поймал себя на том, что мои симпатии к новым друзьям и их образу мышления перешли границы простой игры.

Я начал чувствовать по-настоящему уважение к этим людям и сочувствие к их проблемам.

Так появились у меня искренние друзья, вроде Петрики и его единомышленников. Так началось мое знакомство с закулисной стороной народной демократии.

Тем временем война кончилась, и Партизанское Управление МГБ СССР было превращено в «Бюро номер один». Надежды Судоплатова не оправдались. Его службу сильно урезали в правах. Часть офицеров забрали в другие управления, часть попросилась сама о переводе, и генерал не стал их удерживать. Оставшаяся кучка людей, с двумя генералами во главе, попала практически в резерв. Разворота агентурной сети в западных странах Судоплатову не разрешили. Его люди оказались «замороженными» в Румынии. За этих агентов шла борьба с соседними разведывательными службами, пытавшимися лишить «Бюро номер один» последних оперативных резервов. Даже визу министра госбезопасности для выезда за границу сотрудники судоплатовской службы стали получать с трудом.

Так и случилось, что майор Коваленко не сумел приехать в Бухарест раньше конца марта 1946 года. Опоздание майора было очень некстати. Срок моего польского паспорта кончался через месяц. В Бухаресте уже было настоящее польское посольство, открывшее кампанию по возвращению поляков на родину. Весть, привезенная Коваленко, что мне надо настраиваться на длительное пребывание в Румынии, прочно осесть и получить гражданство, поставила меня в трудное положение. Я не видел технической возможности обойтись без визита к полякам. Знаний польского языка и Польши у меня не прибавилось. У службы Судоплатова не было достаточных полномочий, чтобы получить помощь через Варшаву. Связываться с польским посольством местными бухарестскими средствами не разрешала конспирация. Коваленко нашел только один выход: оформить фиктивный брак с румынской гражданкой и, тем самым обойти закон, требующий десятилетнего проживания в стране от всех, запрашивающих румынское гражданство. Собственно сама идея не принадлежала Коваленко. Браки такого характера стали в 1946 году массовым явлением. Беженцев, желающих остаться в Румынии, было много. Адвокат Радулеску одобрил план Коваленко. Холостяцкую жизнь Левандовского решено было закончить.

Среди своих румынских знакомств я выбрал девушку, с которой у меня были хорошие, дружественные отношения. Она знала меня как поляка. Я объяснил ей свое положение: срок моего паспорта кончается. Остаться в Румынии мне не разрешат польские власти. Для них я коммерсант, беженец из Польши, в общем — почти враг народа. Я потеряю магазин, средства к жизни и, может быть, даже свободу, если выеду обратно в Польшу. Выход я вижу только в бегстве за границу, на Запад. Но это нужно готовить тщательно и осторожно. Я предлагаю ей джентльменское соглашение: она выходит формально за меня замуж. Я получаю автоматически румынские бумаги. Столько времени сколько я буду еще находиться в Румынии, моя «жена» будет мною материально обеспечена. Когда появится возможность уехать за границу, мы оформляем развод и я обеспечиваю ей будущее на несколько лет вперед. Тем временем, поскольку оба свободны и ни с кем не связаны никакими обязательствами, мы можем поддерживать такие взаимоотношения, какие подсказывает нам наша собственная совесть и право на полную личную независимость.

«Брак по расчету» оказался вполне приемлемым для моей знакомой. В последующие годы ни она, ни я ни разу не жалели о нашем союзе, так и оставшемся «джентльменским соглашением».

В середине апреля наше «бракосочетание» было совершено мэром Бухареста. От церковной свадьбы невеста отказалась. Она была верующей, и так далеко в нашей инсценировке заходить не хотела. Через несколько дней я получил из местной полиции разрешение на дальнейшее проживание в Румынии. Со своим польским прошлым Левандовский мог окончательно порвать.

Но, если моя жизнь снова наладилась, то жизнь народно-демократической Румынии стала ухудшаться не по дням, а по часам.

Продукция фабрик и заводов стала катастрофически падать. Инженерно-техническая интеллигенция и опытные специалисты один за другим исчезали в неизвестном направлении. Их место занимали партийцы и «патриоты» трудового фронта, часто не знавшие с чего начать и уделявшие больше внимания агитсобраниям,

чем организации производства. В обстановке постоянного страха перед арестом и при все уменьшающейся покупательной способности денег, у рабочих и служащих стали опускаться руки. Уровень жизни упал даже ниже военного. Стахановские «движения» и «всенародные субботники» ощутимых результатов не давали.

В довершение всего в стране начался серьезный кризис с продуктами.

Сначала я объяснял себе трудности новой власти сложностью великой народной стройки, пришедшей в Румынию. Но слово «саботаж», всё чаще появлявшееся в печати, дало мне понять, что причины были гораздо сложнее.

Одну из них я почувствовал, когда поехал в Трансильванию, чтобы закупить хоть каких-нибудь продуктов на зиму.

При проезде через деревню, у моего «Опеля» заглох мотор. Машина остановилась недалеко от толпы крестьян, собравшихся вокруг приезжего агитатора. Они стояли полукругом, в своих белых полотняных штанах и длинных рубашках, слушали молча и грустно правительственный указ об образовании колхозов, и сдвигали безнадежным жестом свои высокие бараньи шапки то на глаза, то на затылок. Достаточно было посмотреть на их лица, чтобы понять, как они относятся к коллективизации.

Когда я заменил замаслившиеся свечи и поехал дальше, мне долго попадались понурые белые фигурки, медленно бредущие с собрания к своему, и без того бедному крестьянскому хозяйству, над которым нависла загребущая рука народно-демократического государства.

Со многими такими крестьянами мне удалось впоследствии встретиться и поговорить по-душам. У меня скоро не осталось никакого сомнения, что обычный, рядовой, совсем не богатый крестьянин смотрит на колхоз как на своеобразный трудовой лагерь, где все равны в своем бесправии. Эти меткие и уничтожающие слова мне пришлось услышать в первый раз в жизни. Румынский крестьянин, сказавший их, только что вернулся от своих родственников из соседнего села, где колхоз был организован за несколько месяцев до того.

Мне стало совершенно ясно, что и колхозы и многие другие новшества, диктующиеся программой коммунистической партии, осуществляются силой и вопреки интересам народа.

В моей памяти ожили партизанские впечатления, подсказавшие, что интересы власти и народа не всегда одно и то же в советском государстве. Я все лучше и лучше понимал, что имел в виду Петрика, когда жаловался на произвол и хаос.

И когда газеты объясняли усилившийся в стране голод плохим урожаем, я мысленно видел белые понурые фигурки крестьян, бредущих по полю, которое перестало быть их собственным.

Мои начальники в Москве не имели, конечно, представления о борьбе, которую мне приходилось вести самому с собой. Они были заняты другой борьбой — ведомственной. В начале 1947 года Бюро номер один получило долгожданное разрешение руководства на разворот работы в странах западной Европы. Коваленко привез мне приказ Судоплатова разработать вариант моего переезда во Францию. Румынским гражданином я должен был стать в самое ближайшее время. Радулеску обещал незаметно подтолкнуть через свои связи выдачу мне заграничного паспорта. Оставалось разрешить проблему французской визы. Мне удалось нащупать связи в еврейской колонии Бухареста, ручавшиеся, что они устроят такую визу. Евреи взяли дорого, но не обманули. Скоро в Бухарест пришло из далекой Колумбии официальное разрешение Станиславу Левандовскому иммигрировать в эту заокеанскую страну. Одновременно французское посольство в Румынии получило приказание из Парижа дать Левандовскому транзитную визу на восемь дней для оформления посадки на океанский пароход. В мае я принес Коваленко письмо из французского посольства, извещающее, что Левандовский может выехать во Францию в любое время.

12 июля 1947 года правительственным указом мне было дано румынское подданство. Радулеску внимательно изучил большой диплом, подписанный министрами во главе с Петру Гроза и посоветовал подождать с прошением о заграничном паспорте месяц-другой, для конспирации. Я и не торопился. Мои румынские впе-

чатления и встречи вносили все больше и больше холода в мое отношение к разведке и к моей карьере в ней.

К этим впечатлениям относилась и моя встреча с инспектором Станеску, в конце лета 1947 года. Я окликнул его у одного из столиков в кафе на улице Виктория, и он не сразу нашел мою руку для приветственного пожатия. Он стеснялся своей слепоты и еще не привык к ней.

Станеску сел напротив меня и взял в дрожащие пальцы чашку ячменного кофе. Он рассказал о Маниу, лидере крестьянской партии, сидящем в одиночке и которому не суждено было, повидимому, выйти живым из тюрьмы. О том самом Маниу, который склонил короля порвать с немцами и который первый подписал акт о переходе Румынии на сторону союзников, на сторону советского государства.

О себе Станеску не рассказывал, но мы все знали историю его ареста.

Станеску был много лет главным инспектором префектуры Бухареста. К новой власти он отнесся критически, но, как дисциплинированный полицейский чиновник, сумел сохранить свою выдержку и лояльность по отношению к службе. Однако министр внутренних дел ждал удобного случая, чтобы сломать человека, в котором он видел потенциального врага «демократического» режима. 31 декабря 1945 года такой случай представился. В канун Нового Года, группа высших румынских офицеров, посаженных в тюрьму префектуры по обвинению в былом сотрудничестве с немцами, попросила Станеску отпустить их домой на двадцать четыре часа, попрощаться с семьями. Под честное офицерское слово, что к утру они вернутся. Станеску их отпустил. Первого января все офицеры были обратно на своих местах, в тюрьме, но судьба Станеску была решена. Он был немедленно арестован и проведен через допросы «высших категорий».

Через полтора года, по какой-то иронии «демократического» судопроизводства, он был выпущен — слепой, искалеченный, без шансов найти хоть какую-нибудь работу.

Его сердечное пожатие обожгло мне руку. Я ощущал острый стыд, что был на стороне тех, кто отнял у

него зрение, кто загонял крестьян в колхозы, кто сеял страх и террор в среде простых людей Румынии, кто был ответственен за весь ужас «демократизации», совершающейся на моих глазах.

Хотя, на самом-то деле, продолжал ли я быть на **их** стороне?

Мне вспомнилось 8 ноября 1946 года.

Все утро восьмого ноября я тренировался в приеме радиотелеграмм. Вскоре после денежной реформы, проведенной в Румынии в августе, все более или менее состоятельные граждане поняли, что дни их сочтены. Толпы потенциальных «врагов народа» ринулись в министерство внутренних дел за паспортом для выезда. Но правительство тут же ввело строжайшие ограничения. Заграничный паспорт стали получать лишь единицы: — те, кто был крепко связан с властью и выезжал по ее поручению или те, кто соглашался потерять все свое состояние. Заграничный паспорт стал цениться на вес золота.

В такой обстановке ехать по официальному заграничному паспорту во Францию мне было уже невыгодно. Так решило мое начальство в Москве. В октябре в Бухарест приехал инструктор радиодела. Мне было приказано освоить в срочном порядке специальность судового радиста. Затем я должен был попасть запасным радистом в экипаж румынского парохода «Трансильвания». Этот пароход совершал рейсы за границу и заходил в Марсель. По плану Судоплатова, сойдя с парохода в Марселе, я должен был затеряться в порту. Затем связные, полученные через французскую компартию, подхватывали меня и устраивали нелегально на жительство во Франции. Работа радиооператора не была нова для меня. Но ремесло судового радиста требовало безукоризненного знания морского кода, международных условий связи и даже знакомства с принципами навигации. По вечерам я занимался с инструктором на конспиративной квартире, по утрам ловил в эфире случайные станции и тренировался в приеме телеграмм на слух. В полдень 8 ноября, устав от писка метеорологических радиоавтоматов, я снял наушники и решил выйти на террасу, глотнуть свежего воздуха.

С террасы была видна Королевская площадь, белое крыло дворца и широкая улица Виктории, усеянная массой людей. До высоты моего девятого этажа отдаленно донесся залп, и я увидел, как маленькие фигурки с разбросанными руками распластались на мостовой внизу. Я бросился в комнату за фотоаппаратом и успел еще снять цепь солдат, продвигавшуюся толчками к площади.

Вдали у дворца, там, куда шли солдаты, черный дым расползался все шире, скрывая постепенно от глаз горящую грузовую машину с торчащими кверху пухлыми шинами колес.

Я спустился вниз. Знакомый пехотный лейтенант, один из регулярных слушателей западных радиопередач у меня на дому, попался мне сразу при выходе из боковой улицы. Он схватил меня за руку и потащил вглубь площади, подальше от цепи, остановившейся на краю.

Над толпой, бушующей вокруг машин, над полосами дыма возвышалась невозмутимая каменная фигура всадника.

— Что случилось? — крикнул я лейтенанту в ухо.

— Сегодня день рождения короля, ты знаешь... Вот эти два грузовика подъехали ко дворцу и коммунисты стали орать: — «Долой короля-кровопийцу!» Ну, мы их прогнали... Машины как-то сами-собой перевернулись... А теперь вот, коммунисты солдат прислали...

Я давно понимал, что король, оставшийся без правительства и без власти над армией, все же мешает коммунистическим правителям одним своим существованием, но не думал, что события будут развиваться так бурно. Лейтенант тащил меня дальше, в толпу.

— Всех нас не перестреляют! — кричал он.

Общее возбужденное настроение захватило и меня. Я махал рукой знакомым лицам, орал вместе со всеми: «Тра-йяс-ка ре-дже-ле!» помогал свернуть платок для раненого студента, фотографировал солдат, наставивших на нас автоматы из ограды Министерства Внутренних Дел.

Случилось что-то странное. Мне вдруг показалось на мгновение, что я невольно примкнул к протестую-

щей толпе. Когда снова затрещали выстрелы и солдатская цепь перешла в наступление, я побежал вместе с бунтующими в переулки, через проходные дворы, перетаскиваемый неугомонным лейтенантом от одной группы его друзей к другой.

Ночью, просматривая получившиеся негативы, я пожал плечами и засмеялся. Откуда пришло ко мне это сумасшествие? Что может быть у меня общего с этими людьми? И куда я дену эти случайно снятые фотографии? Но — случайно ли? Подсознание, обычно, бывает более честным и смелым в выводах. Не вырвалось ли оно вперед, в моем процессе прозрения? Не требовалось ли для чаши моих впечатлений еще лишь нескольких капель, чтобы начать переливаться через край? Эти впечатления могли, на первый взгляд, быть незначительными. Но они были тяжелы глубиной творящейся несправедливости.

Первое января 1948 года... Растерянное помятое лицо соседки по этажу, жены стекольщика. По щекам ее текли слезы. Она стояла на пороге моей квартиры и старалась объяснить прерывающимся голосом, что король свергнут. Я знал об этом. Бодрый, по-казенному восторженный голос уже в который раз выкрикивал из радиоаппарата, что «враг народа и агент империализма, король Михай, под давлением народного гнева, отрекся от престола...»

Март 1948 года...

Вариант с «Трансильванией» не ладился. Где-то кто-то с кем-то не мог договориться о включении меня в экипаж. В Москве шли ожесточенные споры что лучше, рисковать ли мной как разведчиком и бросать меня в авантюрный марсельский вариант, или лучше устроить мне бегство через Венгрию в Австрию и помочь осесть там. Меня эти споры уже совсем не трогали. Мне, в сущности, не хотелось ни «Трансильвании», ни Австрии. Мне было необходимо для самого себя найти такой вариант, чтобы голос совести, наконец, умолк...

Я подошел к двери балкона и прислонился к холодному стеклу. Взгляд мой скользнул по фасаду серого здания Министерства Внутренних Дел. На парапете, между шестым и седьмым этажом, стоял человек. Как он попал туда? Я вышел на ветреный балкон. Сухая

снежная пыль ползла по перилам террасы. Такая же пыль сыпалась из-под ног пожилого, сгорбившегося человека в черном костюме, фантастически маячившего на узкой каменной полоске. Он стоял, закрыв глаза руками и медленно покачивался. Вперед, назад, вперед, назад. Я увидел сзади него темный квадрат открытой оконной створки. Неужели он?.. В дверь сзади меня постучали. Лифтер нашего дома выбежал на балкон.

— Вы видите его? — спросил он срывающимся голосом.

Значит это была правда. То, что происходило на каменной полоске, было отчаянной, молчаливой борьбой со страхом перед смертью. Он вылез в окно и у него не хватало сил сделать еще один шаг.

— Что же они-то не видят его? — нервничал лифтер.

Я молчал. Как знать — что было лучше для этого человека: упасть вниз и разом покончить с жизнью или вернуться обратно, в руки народно-демократических следователей.

Сзади бесшумно открылось другое окно и согнутая фигура стала из него выдвигаться вперед. Человек оглянулся и с криком рванулся вниз. Такой же крик вырвался вдруг, как эхо, из сотен уст. Вот, оказывается, сколько глаз следило за ним! Он не успел упасть. Ловкие, натренированные руки схватили его за шиворот и втащили обратно в окно...

Осень 1948 года...

Сотни людей перед домом, где я жил три с лишним года. Они расселись на узлах, ящиках, матрацах. Большинство из них не знало куда теперь идти и где ночевать. По приказу народного правительства целый квартал в центре Бухареста «очищался» под государственные учреждения...

И многое, многое другое...

Я родился и вырос в советском государстве, но, как и большинство моих сверстников, знал только понаслышке о методах, которыми коммунистическая партия строила социализм в моей стране. Многое совершилось, когда я был еще ребенком, об остальном я узнавал случайно и отрывками. Коллективизации я не видел, с колхозниками их проблем не обсуждал, об арестах слышал,

в основном, когда они касались близких или знакомых, о неофициальных событиях в стране, вроде голода на Украине или выселения тысяч «кулаков» в Сибирь узнавал по слухам, искаженным и малопонятным.

Рядом со мной не оказалось никого из старших, кто сумел бы помочь мне окинуть одним взглядом всю историю первого в мире «государства трудящихся» и установить единую связь между отдельными эпизодами построения «нового общества».

Здесь же, в Румынии, на моих глазах, в течение нескольких месяцев жизнь целой страны была уложена на прокрустово ложе коммунистической программы.

Мелочи впечатлений примкнули друг к другу, разрозненные кусочки встреч и наблюдений связались в одну ошеломляющую картину. Эта картина говорила о предательстве интересов и прав народа.

В то же время я читал в коммунистической печати захлебывающиеся от восхищения «отчеты» о победном марше «народной справедливости в Румынии». Они, как две капли воды, напоминали восторженные статьи в «Правде» об «исторических успехах советской власти» в моей стране.

Я начинал понимать, что сходство было не случайным. Совершалось предательство не одного румынского народа. Совершалось предательство миллионов простых людей, поверивших, что советская государственная система несет свободу для народа.

Что же мне оставалось делать после такого вывода?

Не очень многое. Подумать лишь о себе самом и о месте, которое я занимал во всем происходящем. Советская власть была государственной системой на моей Родине. Задумываться о каких-либо изменениях было не моим делом. Я только что убедился, что всю свою предыдущую жизнь жил головой в облаках. Если есть какой-то путь к иной, более справедливой политике, или просто к восстановлению народности власти, поднятой на знамена в 1917 году, то он будет найден людьми более опытными и сведущими, чем я.

Если он вообще есть — такой путь . . .

После семичасового полета земля аэродрома казалась особенно ровной и твердой. В ушах немного шуме-

ло, голова чуть кружилась и ноги не особенно уверенно ступали по осенней высохшей траве, но на душе было радостно и легко от сознания, что я снова в Советском Союзе.

В траве блестит маленький кружок.

— Не подымайте, — послышался сзади меня голос подполковника Коваленко. — Решкой кверху, принесет несчастье.

Несчастье мне совсем некстати. Я находился рядом с родным городом и думать о плохом не хотелось. Я подбросил монету в руке.

— Ничего, Николай Иванович, я не суеверен.

Три копейки чеканки 1948 года. Я не видел еще таких. За год монета совсем не потемнела.

Под крыло самолета медленно вкатилась желтая «Победа». Из машины вышел человек небольшого роста в черном пальто и серой кепке. Он осмотрелся по сторонам. Лицо его мне было незнакомо, но он, увидев меня, улыбнулся и подошел быстрыми шагами.

— С приездом, Николай Евгеньевич. Моя фамилия Обухов. А подполковник где?

Я пожимаю руку незнакомцу. Его фамильярность не удивляет меня. Односторонние знакомства — вещь обычная для разведки.

Человек вытаскивает из внутреннего кармана желтый пакет.

— Прошу . . . Ваш паспорт и деньги на первые расходы. Тысяча рублей. Проверьте, пожалуйста.

Я беру одну за другой незнакомые серые и большие банкноты и раскрываю мой потрепанный паспорт. Сейчас я снова стану Николаем Евгеньевичем Хохловым. Я не был им четыре с половиной года.

Шофер грузит чемоданы. Один мой, остальные Коваленко. Подполковник не любит терять даром время за границей.

Мы с Обуховым устраиваемся на заднем сиденье, Коваленко рядом с шофером, и машина выезжает из ворот аэродрома.

Старые, покосившиеся дома по краям дороги. Узкий переезд через полотно электрички. Дощатый перрон пригородной станции и застывшие на скамейках

плохо одетые люди, провожающие усталым взглядом блистающую лаком столичную автомашину.

Потом высохшие ухабы перед голубым ларьком станционной пивной. Машина выкарабкивается на свеже проложенную полосу гравийки. Мимо плывут большие цементные кольца, улегшиеся вдоль желтого песка еще не закрытых канав. Бабы в синих спецовках разложили на платках, между брошенными кирками и лопатами, черный хлеб и огурцы. Дряхлый мост без перил через сухой овраг. Белая облупившаяся колокольня без креста. Как все это грустно и до боли знакомо.

— Отвыкли? — отрывает меня от стекла шутливый голос Обухова.

— Нет, не отвык. — почему-то очень сухо бросаю я.

Мы выезжаем на трассу. Начинают попадаться каменные дома. Ближе к городу возникают иногда на краю шоссе многоэтажные, совершенно городские здания с балконами и большими магазинами на первом этаже. Это — новые дома, я их не видел раньше. Потом опять — избы, поля, дачные поселки.

Но вот, корпуса зачастили. Появились столичные милиционеры в синей форме и с белыми погонами. Обухов дергает меня за рукав. Справа, у дороги, столб с голубой табличкой и на ней старославянской вызью выведено: «Москва, граница города».

Я все же, действительно, немного отвык от родины. Мне странно смотреть на вывески с русскими буквами и грустно при мысли, что столько лет провел в чужой стране.

Вот и Калужская площадь. Мы пролетаем мимо Парка Культуры, мимо стальных цепей висячего Крымского моста, вверх по Садовому кольцу. Дом уже совсем рядом. Мы заворачиваем мимо «Гастронома» в переулок. Справа мелькает Собачья площадка. У железной двери керосиновой лавки — очередь. Видимо, с керосином по-прежнему туго. А у булочной уже никого. Четыре года мирного времени.

Знакомые, родные места. Я узнаю каждый двор, каждый кирпич зданий.

Впереди возникает высокий, так до сих пор и неоштукатуренный, фасад Музыкального Училища. Не доезжая до угла машина останавливается. Теперь во двор,

в подъезд, по узкой и старой лестнице на самый верх, на пятый этаж. На площадке уже стоят две фигуры, схватывают меня в объятья, тормошат и целуют. Мама и сестра. Мама постарела, у сестры очень больной вид. Я смотрю на их, уже чуть забытые лица, молча улыбаюсь в ответ на сбивчивые вопросы и думаю: «ну, вот я и дома, и теперь все пойдет иначе . . .»

Мама поправляет простынь, сбившуюся с края дивана.

— Ложись-ка ты спать, устал, наверное, с дороги...

Я тушу свет и открываю окно. Ветер свежий осенний, но мне не холодно. Внизу Москва в сотнях огней. Я в первый раз после войны вижу ее освещенной. Прямо передо мной — высокий дом, залитый светом. Слева, у края темного неба виднеются две красные звездочки — Кремль. Снизу, с улицы Воровского доносятся гудки автомобилей, неожиданно ясно слышимое шарканье шагов прохожих, свисток милиционера.

Здесь, в этом городе я вырос. Здесь прошло все мое детство. Здесь же восемь лет тому назад я пришел в разведку. Тогда была война, и другого пути выполнить долг перед Родиной у меня не было. Если бы сегодня моей стране снова угрожала подобная опасность, я, не задумываясь, поступил бы так же, как тогда.

Но война давно кончилась. Я свободен в своем выборе.

Порыв ветра бросает мне в лицо горсть холодных капель. По крыше начинает стучать дождь. Я закрываю окно и ложусь на диван. Одна и та же мысль преследует меня. Ровно восемь лет . . . Хотя, нет. Ровно восемь лет моей работы в разведке исполнилось две недели тому назад, когда я был в Бухаресте и когда написал свой рапорт в Москву. Он был короток:

«Москва, начальнику бюро номер один МГБ СССР, генералу-лейтенанту П. А. Судоплатову. Прошу немедленно вернуть меня в Советский Союз и от дальнейшей работы в разведке освободить. Бухарест, 28 сентября 1949 года. Алексей».

«Алексей» — мой служебный псевдоним. Итак, я решил вырваться из советской разведки, перестать

иметь с ней что-либо общее. Я знаю, что это будет нелегко, может быть, не совсем безопасно. Но так же, как и восемь лет назад, — другого пути у меня нет.

Начавшийся ночью дождь шел все утро и первую половину дня. Серые полоски капель били наотмаш по заплывшим водой окнам троллейбуса. Из кабинки водителя донеслись сухие щелчки. Дверь шипя открылась и я соскочил на тротуар. Троллейбус отъехал, и передо мной открылся знакомый памятник.

Все по-старому на этой каменной площадке. Те же тройные фонари венчиком, как бы снятые с коляски замоскворецкого извозчика. Те же лиловые иван-да-марьи в газонах рядом, и снова чья-то неизвестная рука бережно рассыпала пучок гвоздики на верхней ступеньке темного мрамора. Все так же стоял он на своем постаменте, небрежно заложив руки за спину и задумчиво поглядывал на полнолюдную, беспокойную Москву.

Я смотрю на часы. В ту же минуту Коваленко появляется из-за угла. Мы на ходу здороваемся и поворачиваем на улицу Горького.

Знакомые места. Переулок, проходящий высокой аркой сквозь дом. Выщербленный асфальт внутреннего двора. В угловом подъезде старушка, пригревшаяся на табуретке около батареи, подозрительно косится поверх очков на приветственный жест Коваленко. Нам на третий этаж, в левую дверь. На пороге незнакомая женщина в переднике и накрахмаленной наколке. Я кладу свою шляпу на столик и вижу в зеркале, что Коваленко вновь берется за ручку двери.

— Посидите в кабинете, Николай, я сейчас вернусь.

В угловой комнате, на резном письменном столе все так же одиноко стоит плоский, пожелтевший будильник с пустыми окошками календаря в подставке. Рядом, на тумбочке, испорченный радиоприемник неизвестной марки. Так и простоял он, наверное, непочиненным все восемь лет, как неизбежный придаток казенной квартиры. Ибо «сто сорок первая» — казенная, конспиративная квартира для встречи офицеров судоплатовской службы со своими агентами.

Звонок, торопливые шаги женщины по коридору и голоса в передней. Первым входит Судоплатов. Я не ви-

дел его четыре с лишним года, а он почти не изменился. Может быть только волосы еще больше затянуло сединой. Он подходит ко мне мягкими, уверенными шагами и широким жестом, почти наотмашь, подает руку. Взлет мохнатых бровей подчеркивает дружелюбную улыбку и, как обычно, чуть растягивая ударные гласные, он как бы любуется звуком своего голоса.

— Здравствуйте, здравствуйте. Как долетели?

Я не успеваю ответить. Эйтингон, полный, тяжеловесный, с усталым, обрюзгшим лицом бросает мне свою длинную руку, буркает «с приездом» и садится в свое любимое кресло, рядом с радиоприемником.

Вот они все расселись — мое начальство. Ступеньки, идущие от власти ко мне.

Начальник «Бюро номер один», генерал Судоплатов. Он откинулся назад в кресле, сбросив левую руку свободным жестом вниз, а правую, поставив на ручку кресла, чтобы плавными движениями кисти подчеркивать свою речь. Пока же ее пальцы задумчиво прижаты к углу лба.

Его заместитель, генерал Эйтингон, грузно заполнил кресло своим большим телом, обтянутым зеленым «партийным» кителем и, привалившись плечом к краю письменного стола, скрестил на животе волосатые, большие руки.

Начальник одного из отделений, подполковник Коваленко, вцепился руками в край дивана в неудобной, напряженной позе человека, который не имеет права в присутствии начальства почувствовать себя свободно.

— Садитесь, — бросает Судоплатов кисть в сторону дивана. Как дома? Все в порядке? Мама здорова? Сестренку, наверное, не узнали?

Он спрашивает бегло, равнодушно, не останавливаясь для ответа. Мы все знаем — это его обычное вступление к серьезному разговору.

Мой ответ законно короток — «спасибо, все хорошо». Судоплатов продолжает свое «вступление».

— Как нашли Москву? Большие перемены, правда? Сколько вы отсутствовали? Ну да, ведь уже четыре с лишним года . . . Как время-то летит, а?

Он скользит взглядом по своим подчиненным, как бы ища у них сочувствия и, опустив на секунду глаза, говорит более медленно.

— Да-а... Пора, пора вам уже было и побывать дома. Отдохнуть, набраться сил перед новым этапом...

Все ясно. Он хочет «не заметить» мой рапорт и свести весь инцидент к «короткому отдыху перед новым этапом».

Я стараюсь, чтобы в моем голосе не было слышно никакого волнения.

— Да. Я чудесно чувствую себя дома, Павел Анатольевич и не ощущаю никакой потребности снова покидать Москву...

Получилось что-то слишком явно, потому что углы рта Судоплатова опускаются, а Коваленко вскакивает с дивана.

— Может быть пройдем в столовую, — вмешивается он. — Там уже стол накрыли.

Длинный стол уставлен тарелками с закусками, неизменной московской водкой, узкими бутылками крымского вина.

Эйтингон разливает водку: «Начнем с чистой, так здоровее...» Он поднимает рюмку и щурит на меня левый глаз.

— Ну, Николай, за ваше будущее...

Судоплатов, пригубив рюмку и стряхнув каплю, упавшую на рукав его темносинего костюма, вступает в разговор.

— Я понимаю ваше настроение. Конечно однообразное пребывание в чужой стране может надоесть любому живому и энергичному человеку. Но теперь обстановка изменилась. Нам предстоят дела, реальные и большие дела. Мне уже докладывали, что план вашего выезда в Австрию полностью разработан. А заехать по дороге в Москву вам, конечно, полезно. Что же касается Австрии, то это страна больших возможностей для нашей работы. Дело в том, что в Вене сегодня царит особая обстановка. Там, как в мутной воде...

Я решаюсь прервать своего начальника.

— Павел Анатольевич, простите, мне кажется происходит какое-то недоразумение. Когда я просил, чтобы меня вернули в Москву, я не имел в виду отдых. И

тем более выезд снова за границу. Именно в ответ на план моей переброски в Австрию я написал вам рапорт. Я приехал домой для того, чтобы остаться здесь.

Эйтингон не выдерживает.

— А что вы будете делать дома, на нашей территории? Вы же теперь профессиональный закордонный работник. Самое ценное, что вы приобрели за эти годы, — конечно, европейская шлифовка. Язык можно выучить и в институте. Молодых языковедов у нас много. А попробуйте послать их за границу. За полверсты будет видно, что русский. Вот, помню, ехал я раз в международном вагоне поперек одной европейской страны. Стою ночью в коридоре у окна и вдруг вылезает из купе этакая заспанная фигура в кальсонах с полотенцем. Ну, думаю, наш брат, если в кальсонах. И действительно — служащий торгпредства.

— Но ведь есть же и товарищи в легальных резидентурах, посольствах там, миссиях, — вмешивается Коваленко. Они и одеться и пройтись как следует умеют.

В коротком взгляде Эйтингона в сторону Коваленко мелькает презрение.

— Легальные товарищи? Вы что, смеетесь? Выйдет такой «легальный товарищ» в своем синем бостоновом костюме с горизонтальными плечами, сшитыми специально для него каким-нибудь русским портным из Латинского квартала, пройдется по Елисейским полям на радость французской контрразведке и уже воображает себя вторым Лоуренсом. Впрочем, вы, как разведчик, меня понимаете . . .

Последние слова почему-то обращены ко мне. Эйтингон берет длинную бутылку с коричневой горной цепью на этикетке, медленно читает «Розовый мускат» и, наливая мне рюмку, спрашивает:

— Вы «ерша» не боитесь? Ну, тогда выпьем за разведчиков, а не аппаратчиков.

Судоплатов смеется. Наболевшая тема, зазвучавшая в словах Эйтингона, видимо, ему не нова. Он смотрит на меня полудобродушно, полуукоряюще.

— Перестаньте говорить несерьезные вещи, Николай. Ваша четырехлетняя школа слишком ценна для нас, чтобы зачеркивать ее.

— Я хотел бы закончить какую-нибудь настоящую высшую школу. Мне двадцать семь лет, а профессии, в сущности, никакой нет.

Судоплатов приподнимает пальцы со стола, останавливая меня.

— У вас есть профессия. Почетная и редкая профессия разведчика. Ваша учеба заключается в самой вашей работе. Какую еще профессию вы хотели бы иметь?

Я немного теряюсь. Вопрос поставлен в упор. Как плохо, что мы разговариваем совсем не о том, о чем должны были бы, если б я имел смелость стать откровенным до конца.

— Какую профессию? Н-не знаю, пока. Вспомнить свой актерский опыт, стать кинорежиссером. Может быть, поступить в литературный институт, начать писать...

— Писать?! — Насторожился Эйтингон. — О чем это писать?

— Ну, я мог бы начать с каких-нибудь воспоминаний. Партизанских, например.

Эйтингон насмешливо прищуривается.

— Это что, вроде мемуаров, что ли? Уже наверное и набросали что-нибудь?

— Да, — сознаюсь я. — Общий план, кое-какие заметки.

— Ну, и положите их на полку куда-нибудь подальше, — зло обрывает меня Эйтингон. — Рановато взялись за мемуары. Вот, доживете до моих лет, а может и постарше, уйдете в отставку, тогда и мемуарам пора. Что вы, ей-Богу... Мемуары... Брошюрку для нашего внутреннего пользования, — пожалуйста. Мы сами и напечатаем. А то — мемуары... Скажите лучше, как у вас там с этой девушкой, женой что ли, кончилось. Не пойдет она вас искать по всяким инстанциям?

— Не думаю. Она прекрасно знает в чем дело. И то, что я не вернусь — тоже. Я ей сказал, что бегу через Трансильванию за границу. Об этом она была предупреждена с самого начала нашего знакомства.

— Сколько денег вы ей оставили?

Я называю сумму.

— Ого!! — свистит Эйтингон и поворачивается к Коваленко. — Откуда вы вытащили такую уйму денег?

Я не даю Коваленко ответить:

— Казенных денег там было не так уж много. Я приложил мои собственные. От этого человека я ничего кроме хорошего не видел. Без нее я не получил бы гражданства. И вообще неизвестно, что получилось бы из наших польских легенд. Думаю, что нашей прямой обязанностью...

Эйтингон не слушает и упрямо продолжает, смотря на Судоплатова:

— Влетел нам этот «брак» в копеечку. Я ведь всегда был против него. Зачем ввязывать лишних людей? Не проще было бы нажать на связи в румынском МВД?

— Так получилось более чисто, — примирительно улыбается Коваленко. — Румынское гражданство...

Во второй раз в вечер я решаюсь прервать свое начальство. Голос мой звучит непочтительно и резко, и Судоплатов бросает мне удивленный взгляд. Эйтингон откидывает назад голову и в его маленьких глазках мелькает иронический огонек. Но я уже закусил удила. Смесь водки с мускатом явно придает мне смелости.

— Нет. Дело совсем не в гражданстве. Был нам нужен этот «брак» или нет — вопрос второстепенный. Но вот, если бы десятого мая сорок пятого года, когда кончилась война, кто-нибудь позаботился спросить меня хочу ли я и в мирное время работать в разведке, много лишнего удалось бы избежать... И лишнего брака, и лет, затраченных почти впустую, и сложных разговоров, которые, очевидно, только начинаются...

Пожалуй, лучше остановиться именно на этом. С сорок пятым я, конечно, переборщил. В то время я не стал бы, наверное, так открещиваться от разведки, как пытаюсь это сделать сегодня. Но лучше не уточнять. В конце концов какая разница...

Воцаряется неловкое молчание. Эйтингон нахмурившись постукивает вилкой по краю стакана и глаз его не видно. Только Судоплатову не изменяет выдержка. Голос его ровен и очень тверд:

— Я не понимаю вас. И, в первую очередь, вашего тона, Николай. Насколько я помню, вы поехали в Румынию добровольно.

— Во время войны. Я и к вам пришел во время войны...

Теперь и Судоплатов хмурится.

— Но столько лет учебы, столько средств и времени, затраченных на вас государством. Потом я не вижу причин... В чем дело? Неужели вы серьезно намерены писать?

— А почему бы нет? Я не могу ручаться за свои способности, конечно, но материал у меня есть. Вот, Маклярский написал же сценарий о работе нашей группы в немецком тылу. Сегодня он лауреат Сталинской премии, а картина известна по всему Советскому Союзу. Я на такие высоты забираться не собираюсь, но...

— Не оглядывайся на Маклярского, — вмешивается Эйтингон. — Он сначала перестал работать в разведке, а потом уже решил писать.

— Маклярский? Перестал работать? Вот видите, значит уж мне-то тем более можно...

Опять молчание. Один Судоплатов в раздумье. Остальные просто ждут.

— Я не смогу вам дать ответа сейчас, — Судоплатов говорит очень медленно, как бы колеблясь в чем-то. — Дайте мне время подумать. Во всяком случае волноваться вам не стоит... Отдохните пока. Возьмите путевку в санаторий... Не надо, не объясняйте все снова. Я понял ваше желание. Причины вот только совсем, совсем неясны. Хорошо... Не будем портить нашей встречи после стольких лет. Поставим точку пока. У нас есть еще время поговорить...

Он поднялся из-за стола и застыл на мгновение что-то обдумывая. Потом встряхнул головой, как бы отбросив промелькнувшую мысль, и заговорил своим обычным, подчеркнуто дружелюбным тоном.

— Как ваши домашние дела? Все здоровы? С год тому назад я посылал к вашей маме профессора, она серьезно расхворалась. Как у нее теперь с сердцем?

Мне уже немного совестно за излишнюю резкость.

— Большое спасибо, Павел Анатольевич. Сейчас она чувствует себя хорошо. Мне рассказывали дома, что о них все время тщательно заботились. Я даже знаю, например, что Николай Иванович Коваленко самоотверженно перетаскал на пятый этаж на своих плечах

несколько десятков килограмм кровельного железа, когда крыша начала протекать. Говорят, он даже заграничный костюм свой испортил...

Коваленко краснеет, а все остальные смеются. Судоплатов подымает руку.

— Не благодарите. Это наша общая обязанность. Вы же были на государственном задании... Ну, ладно, отдыхайте. Походите по театрам, кино. Деньги вы получили?

— Еще на аэродроме — отвечает за меня Коваленко.

— Вам достаточно?

— Вполне, — отвечаю я.

— Ну, и прекрасно. Вы устали, мы все это понимаем. Что же касается ваших «наболевших» вопросов, — я подумаю. Такие вещи нельзя решать сгоряча. Передайте привет вашей маме.

И он тем же широким, почти наотмаш, жестом протягивает мне руку.

Минут через пятнадцать после ухода начальства я надеваю пальто и выхожу на улицу Горького. Придется заниматься отдыхом, раз приказано. И вообще... Может быть, действительно, такие вещи нельзя решать сгоряча? И потом, я ведь так и не сумел привести им серьезных причин. Хотя, почему не сумел? А разве желание уйти учиться и приобрести гражданскую профессию не законная причина? Да, конечно, у меня есть другие, более важные мотивы рассказать о которых моему начальству было бы чистейшим безумием, но ведь я мог и без них потерять интерес к работе в разведке. Я же, в самом деле, пришел к ним только из-за того, что была война...

Кстати, почему я так уверен, что никому из них не могу рассказать настоящих причин? В конце концов, что мне известно о них, как о людях? Очень мало. Может быть, кто-нибудь из этих внешне преданных своей службе офицеров уже давно знает истины, открывшиеся мне только недавно. Тот же Судоплатов, например. Ведь он, говорят, вырос в интернате для беспризорников. Он-то наверняка видел своими глазами и коллективизацию, и «чистки» тридцать седьмого года. Или Эйтингон... Он же столько лет был за границей и су-

мел сравнить очень многое. Да и Коваленко. Выражение лица у майора, правда, почти мальчишеское, круглые голубые глаза между широких скул, розовеющих при малейшем смущении. Он старше меня всего года на три. Не был, говорят, ни на фронте, ни в партизанах, а прослужил всю войну в аппарате. Но все равно, в странах народной демократии он же бывал?

Да нет. Мысли такие ни к чему. Если даже у них и есть сомнения в душе, они слишком тесно связали свою жизнь с разведкой, чтобы позволить себе не донести немедленно по начальству, в случае моей неожиданной откровенности. Язык мне нужно держать за зубами и нажимать на тему ухода для учебы.

Посмотрим, что принесет мне следующая встреча с начальством.

А пока, на самом деле, похожу-ка я по театрам и кино и посмотрю Москву, в которой не был столько лет.

В начале ноября меня снова вызвали на сто сорок первую. Как и в прошлый раз, Эйтингон грузно откинулся в кресле к краю письменного стола. Судоплатова не было. Коваленко опять пристроился на диване.

Коротко поздоровавшись со мной, Эйтингон долго молчал, покручивая ручку безмолвствующего приемника и неопределенно улыбаясь. Потом, покровительственно кивнув, начал твердо.

— Так что ж, поговорим о поездке в Австрию. Надеюсь, вы сумели отдохнуть за эти несколько недель.

Коваленко, на этот раз чувствовавший себя более свободно, подбросил:

— Я принес легенду, о которой мы говорили в Бухаресте. Вы ее еще помните?

— Да, помню. Но я хорошо помню и наш последний разговор с Судоплатовым о моем уходе из разведки. Какой же ответ руководства на мою просьбу?

Эйтингон поморщился, неодобрительно, демонстративно, со свистом выдохнул воздух и покачал головой.

— Послушайте, Николай. Не тратьте вы время на пустые разговоры. Всему есть границы. И нашему терпению тоже. Неужели вы не понимаете, что никто из разведки так не уходит?

— Как это — так?

— Ну, вот так — захотел вдруг — и ушел. Мы же не в бирюльки играем... Что у нас, проходной двор, что ли? Только-только выучили вас, а вы в кусты. И, главное, хоть бы причины какие серьезные были... Не пойдем же мы докладывать министру, что, дескать, у Николая всякие душевные разлады. Справимся с вашими капризами и сами...

Я не сразу нашел, что ответить и Коваленко успел вмешаться.

— Не хорошо, Николай Евгеньевич. Создается впечатление, что вы, в некотором роде, себе просто цену поднять хотите. Зачем? Не солидно...

Выбранный им тон оказался самым правильным для того, чтобы заставить меня потерять самообладание. Я вспыхнул и забыл осторожность.

— Вот как? Поднять себе цену? Это все, до чего мы можем договориться? Да, мне, если хотите знать, любой захудалый институт канализации кажется милее ваших заграничных командировок со всей их почестью. Вы правы — я ценю себя достаточно высоко и именно поэтому буду добиваться нормальной человеческой профессии, хотя бы вы еще двадцать пять раз делали вид, что не понимаете меня!

В моем сознании вдруг мелькнуло, что широко раскрывшиеся глаза Коваленко уставились на меня с недоумевающим видом. Я отрезвел, махнул безнадежно рукой, прибавил уже тише: «а-а-а, в общем, что там...» и замолчал.

Я не смотрел на Эйтингона, но чувствовал, что он, наверное, буравит меня своими прищурившимися глазками. Голос его зазвучал зло и угрожающе.

— А у нас, ведь, ваша подписка есть. Помните? За невыполнение буду отвечать по всей строгости закона... Подписывали-то вы ее добровольно...

— Борьба с немецкими захватчиками кончилась пять лет тому назад, значит и подписка — тоже. Да и потом, неужели вы думаете, что заставляя меня силой...

— Хорошо! — резко оборвал меня Эйтингон. — Не разводите пропаганды. Мне все ясно. Учиться хотите!

Последние слова прозвучали как: «Чорт бы вас побрал, с вашим нравом!»

— Да, — торжественно ответил я. — Хочу стать полноценным членом общества.

Для неискреннего объяснения сама собой подвернулась фальшивая газетная фраза.

Коваленко открыл было рот, но Эйтингон махнул на него.

— Оставьте. Здесь, по-видимому, гораздо более сложная история...

Он испытующе вглядывался в меня, и под пристальным взглядом этого опытного разведчика мне становилось не по себе.

Коваленко все же не терпелось сказать свое:

— Вот, вот. Разобраться здесь надо как следует. Настроеньице ваше мне оч-ч-ень не нравится.

— Ладно! — неожиданно легко поднялся из кресла Эйтингон. — Я доложу руководству. Будем решать. Поворот, скажем прямо, неожиданный.

Он пошел к двери, остановился на пороге и полуобернувшись ко мне значительно добавил:

— А вообще знаете что? Не буяньте. Очень советую. Воевать вам здесь не с кем. Все равно сделаем так, как лучше для государства. Подумайте об этом на досуге. До свидания.

Он кивнул и вышел.

Коваленко пожал плечами, покачал укоризненно головой и ушел вслед за генералом.

Ну, что же... Пусть «решают». В конце концов я ведь, наверное, этого и добивался.

Возможно, что мои начальники не были такими уж плохими психологами. Не дав определенного ответа, оборвав разговор на угрожающей ноте, они затем преспокойно предоставили меня самому себе.

За восемь лет работы в разведке я привык к одиночеству. Однако это одиночество всегда ощущалось мной, как только внешнее, временно навязанное спецификой работы.

Уходя с партизанской базы в город, занятый гитлеровцами, уезжая за границу на задание, превращаясь в человека «не знающего» русского языка и оторванного от друзей и близких, я все же чувствовал, как бы рядом с собой, одобрение и поддержку дорогих мне людей. Я

верил, что могу мысленно, в любой момент посмотреть им в глаза и встретить взгляд понимания и дружбы.

Когда-то, среди этих потенциальных единомышленников, я видел отца, отчима, товарищей по разведке, партию, правительство, народ.

Я не был храбрецом, которому было наплевать на свою собственную жизнь, а слово «страх» — незнакомо. Может быть и есть где-нибудь на свете люди, никогда не испытавшие замирания сердца от ощущения опасности. Мне с такими встречаться не привелось.

Я же лично находил силы в критические минуты в ощущении «локтя товарища», так хорошо знакомого всем разведчикам.

Но потом, в Румынии, под влиянием увиденного и понятого, честь служить советской разведке стала для меня весьма сомнительной. Боевые задания перестали быть оправданными интересами моего народа.

Когда я отчаянным рывком вернулся в Москву и потребовал свободы, я фактически противопоставил себя интересам советского государства. В таком рискованном положении мне больше, чем когда-нибудь, нужна была поддержка друга, слово одобрения и понимания, сказанное хотя бы мимоходом человеком, которому я мог бы довериться. Оно оправдало бы мою решимость порвать с разведкой. Найти такого человека оказалось почти невозможно.

Дело было даже не в том, что дисциплина и подписка о сохранении служебной тайны запрещали мне вести откровенные разговоры. Дело было в отношении советских людей к трем словам: «Министерство государственной безопасности».

До войны, когда миллионы молодых советских граждан еще верили в миф о народности советской власти, сотрудники этого учреждения пользовались, в какой-то степени, репутацией «гвардии революции». Это не касалось, конечно, следователей и офицеров карательных служб внутри Советского Союза. Но по отношению к разведке и контрразведке особой враждебности не было. Многие верили, что борьба за установление коммунистической власти во всем мире отвечает интересам всего человечества.

Однако после войны, когда новость о том, что система советской власти — фальшивка и несет трудящимся других стран нищету и рабство, стала известна большинству народа, с «рыцарей пролетарской бдительности» слетели последние остатки маскировки. Служебная связь любого характера с Министерством государственной безопасности превратилась в свидетельство связи с символом бесчеловечности и несправедливости. Будучи сотрудником такого учреждения, я не мог ожидать доверия от своих друзей.

Конечно, оставались мои коллеги по разведке. Но я им сам не мог доверять. Я почувствовал себя внезапно в вакууме. Мои старые друзья, самые близкие мне люди, даже члены моей семьи, слушали меня с интересом, как человека, побывавшего в неведомом им мире. Но когда звучали три зловещих слова, все они так леденели, что дальнейший разговор становился бесполезным.

Ощущение, что в своей борьбе, затеянной столь легкомысленно, я совершенно одинок, все больше овладевало мной. Оно давило на душу, точило нервы и разъедало волю к сопротивлению. Мое поведение начинало мне казаться дон-кихотской борьбой с ветряными мельницами.

Начальство молчало уже подозрительно долго. Или, может быть, время тянулось слишком медленно для моих натянутых нервов? Что они там так долго решают? А может быть, они тем временем разобрались в истинных причинах моего бунта? Как испытующе всматривался Эйтингон, когда бросил свое: «здесь, по-видимому, более сложная история!» Ведь с точки зрения министра я напичкан всякими государственными секретами: агентурными сетями, системами связи, шифрами, кодами, правилами нелегальной работы и прочим, прочим . . . Даже арест мой для них не выход . . . Ведь в лагере я чорт знает чего могу наболтать. Может быть у них есть методы и помимо ареста. Удар ногой в спину, вниз под колеса электрички, или в лесу десять граммов свинца в затылок при «попытке к бегству». А что? Немцы работали так, почему эти не могут?

И главное, не в смерти даже дело. Погибнуть за Родину, защищая что-нибудь настоящее — одно. А здесь... Исчезнуть в неизвестность, оставив за собой слухи: «из-

менник родины»? К чему доводить до этого? Что за мальчишество! Почему я решил, что в разведке нельзя оставаться честным? Работать мне придется только за границей. А заниматься благородством в политике, в моем положении — глупо.

Ну, даже предположим, уйду. Так на мое место придет другой. Может быть, этому, другому, будет весьма наплевать на моральные принципы, из-за которых я упрямо лезу в петлю. Может быть, он сумеет использовать освободившееся место для таких грязных дел, какие мне и не снились?

В Австрии я буду защищать интересы моей страны. А вопросы, что такое советская власть и как к ней относиться — не моего ума дело.

Только вернутся ли они теперь к австрийскому варианту? Должны бы. Лучше не теребить их пока. Моя «законная усталость» после стольких лет за кордоном пройдет, и все само собой обойдется без лишних слов. Не так уж у них много закордонных работников, чтобы разбрасываться ими . . .

Так боролся я сам с собой в ноябре 1949 года. Боролся с собственной человеческой слабостью. Вполне возможно, что мои начальники не были плохими психологами . . . Быть бунтарем-одиночкой, отщепенцем — трудно.

Трудно сказать, что случилось бы, если бы никто не пришел мне на помощь. Вероятнее всего, я убедил бы себя, что мой протест никчемен и нереален. Потом меня послали бы в Австрию. Начались бы долгие годы тщетных попыток остаться честным, работая в советской разведке. Потом я, может быть, превратился во второго Коваленко, для которого вопросы морали являлись непозволительной роскошью.

Очерствев духовно, я мог бы дорасти до эйтингонов и судоплатовых. Искра борьбы за свое человеческое достоинство могла затухнуть во мне навсегда.

Сам того не зная, я подошел к важнейшему перекрестку всей моей жизни. И если меня спросили бы, верю ли я в судьбу, я вспомнил бы, прежде всего, о вечере тринадцатого ноября 1949 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К северу и югу от улицы Арбат десятки неказистых, облупившихся от старости домов прижались друг к другу, образуя запутанную сеть переулков. Среди этих переулков, проездов и площадок растерялись крупинки моего детства.

Вечером тринадцатого ноября я бродил по знакомым местам, без какой-либо определенной цели. Почти каждый поворот за угол вызывал в моей памяти страничку прошлого. Я ощущал тоскливое, но спокойное чувство взрослого человека, перелистывающего свой школьный дневник. Возможно, что подсознательно я старался найти точку опоры в своей нехитрой жизни тех лет.

Рядом резко открылась дверь и пятно света, упавшее на тротуар, оборвало мои мысли. Полный человек неопределенной наружности заслонил свет и начал огибать меня, поглощенный борьбой со своими непослушными ногами.

— Звиняюсь! — дыхнул он пивным перегаром и исчез в полумраке.

Я поднял глаза. На деревянном павильоне — слабо освещенная вывеска «Пивной ларек».

Напротив, на другой стороне улицы, за низким забором, громоздились груды серых домов. Темнота, свойственная началу каждого осеннего вечера, уже таяла и на фоне светлеющего неба фабричная труба выглядела мачтой без флага.

Я завернул в кривой переулок и начал спускаться под гору вдоль тротуара полного выбоин. Переулок кончался тупиком. Только дойдя до его середины я понял, какой, заложенный в моей памяти, уголок странички привел меня сюда.

Пять лет тому назад, в течение нескольких часов я бродил вдоль этого тротуара вместе с одним из школьных друзей. Был тоже нояорь месяц. Я много лет хорошо знал этого человека, и в тот вечер . . .

Я замедляю шаг, сажусь на основание единственной во всем переулке железной решетки и прислоняюсь к холодным прутьям.

Знал ли я действительно этого своего друга?

Например, в тот вечер, пять лет тому назад, говорил, в основном, я. У меня было столько необычного и интересного рассказать. Партизанские похождения, награждение в Кремле, доскональное знание немецкой армии . . . Я не мог быть, конечно, до конца откровенным. Но полунамеки на секретную работу, многозначительные пропуски в самый интересный момент, рассказы о «третьем лице», из которых было совершенно ясно о ком идет речь, — все это доставляло искреннее удовольствие моему юношескому самолюбию, упоенному верой в собственную значимость.

А она? Как она отнеслась к моим рассказам? И потом, как прошла ее жизнь за три года войны?

Я ловлю себя на том, что не помню. Да, она говорила мне что-то скромное и незначительное о своей семье, о самой себе. Но я не могу вспомнить деталей. Только общие тихие и уклончивые фразы всплывают в моей памяти.

Как это было характерно для моей психологии тех лет — жить не присматриваясь по-настоящему к окружающим меня людям!

Но, может быть, я неправ, осуждая себя за невнимательность. Может быть ее образ и ее мышление, даже в то время, когда я встретился с первыми уроками войны, все еще не находили себе места в моем, созданном с детства, мире. Может быть, она просто принадлежит к тем людям, которые одним своим существованием нарушили бы стройность моей «философии».

В сущности, что я знаю о ней? Как о человеке — немного.

Семнадцать лет тому назад мы встретились в первый раз. Я поступил в третий класс школы на Молчановке и она была там ученицей. Потом в течение семи лет, на одной из парт, соседних с моей, сидела сероглазая девочка с каштановыми косами. Сначала эти косы были двумя хвостиками с коричневыми бантами на концах. Во время переменок, я, по неписанным мальчишеским законам, дергал ее за эти хвостики, а она по-девчоночьи умело отбивалась. Потом, по мере того как девочка превращалась в девушку, косы становились длиннее и гуще. Я все реже решался пробовать насколько туго они заплетены. Мой мальчишеский задор постепенно сменился тем тайным почтением, которое все ребята тщательно скрывают, но которое все они одинаково чувствуют по отношению к школьным подругам, обгоняющим их в приобщении к клану взрослых.

Может быть даже, по-своему, по-ребячьему, я немного ухаживал за ней. Но между нами никогда не возникло той настоящей откровенности, которая сопровождает истинное чувство. В моем пестром мире «общественных работ», увлечения театром и кино, фанатической веры в справедливость советской власти не находилось тем, одинаково интересных для нас обоих. Я восхищался Маяковским, хотя не помнил ни одного из его стихотворений наизусть от начала до конца. Она морщилась при звуках стихов о красном паспорте и знала, как знают хороших и старых друзей, все самое красивое, написанное Блоком, Есениным, Ахматовой... Для меня Некрасов был автором «Железной дороги» и «Кому на Руси»... для нее — «Поэмы о русских женщинах»... Я считал свою работу честью и почетом. Она никогда не принимала участия в дискуссиях на общих школьных собраниях. Я жил, в первую очередь, школой, киностудией, принадлежностью к «активному школьному меньшинству». Она жила семьей, книгами, никому неизвестной верой во что-то особое.

У нас не могло быть общих интересов. И все же...

Во время войны мама не раз спрашивала меня: «Где же твоя школьная привязанность? Та самая, с ко-

сами?» Я горячо убеждал маму, что никаких школьных привязанностей у меня не было, и верил в это сам.

С 1940 года, когда мы вместе с ней кончили школу и даже номера наших «золотых аттестатов» шли один за другим, я почти потерял ее из виду. Мы иногда встречались у общих друзей по школе и обменивались незначительными фразами. Я так до конца и не знаю, что заставило меня в 1944 году разыскать ее и пробродить с ней целый вечер по этому переулку. И почему при воспоминании о том вечере у меня возникает в душе хорошее, теплое чувство какой-то тайной надежды . . .

Я подымаюсь с камня и вхожу под высокую арку ворот. Короткий каменный туннель, и передо мной открывается фасад трехэтажного кирпичного дома. Справа от двойного подъезда четыре окна на уровне земли. В одном из них свет. Может быть она дома.

Дряхлые деревянные ступеньки лестницы, уходящей вниз. Полутемный, обычный для московского полуподвала, «вестибюль». Земляной пол и пыльная лампочка в проволочной сетке. Четыре двери — четыре квартиры. На одной из них, обитой черной потрескавшейся клеенкой, — фанерный почтовый ящик. Наверху мелом написано «13» и ниже — медная дощечка, с выгравированными старинным стилем буквами «Тимашкевич». Я почему-то улыбаюсь. Может быть из-за странного совпадения. Тринадцатая квартира и сегодня — тринадцатое ноября.

Я стучу железной скобью для висячего замка о петлю. Дверь сразу открывается. На пороге стоит знакомая мне фигура девушки. Чуть улыбнувшись, она спокойно и тепло говорит: «Здравствуй, Коля. Заходи». Поворачивается и идет вглубь квартиры. У меня появляется странное ощущение, что, несмотря на пребывание столько лет в неизвестности, мой приход в этот дом выглядит логичным и естественным.

Я иду вслед за ней по узкому коридору. У вешалки она помогает мне снять пальто, и мы входим в небольшую комнату. В глубине, на тумбочке — настольная лампа с самодельным абажуром из чертежной бумаги. Вдоль стены — диван. Над ним — окно. Девушка садится на диван, ставит локти на овальный стол, упирает подбородок в ладони и показывает глазами в кресло напротив.

— Садись, Коля. Рассказывай.

Я молча опускаюсь в кресло. Все заготовленные слова и привычные фразы вдруг вылетают из головы. Я смотрю на ее серые глаза, длинные темные ресницы, нежный овал чуть удлиненного лица, на короткие волосы, уложенные в простую прическу и, неожиданно для себя, спрашиваю:

— А где же косы?

— О-о, — смеется она. — Кос уже давно нет.

Она повзрослела и осунулась. Глаза кажутся усталыми и в углах рта — две грустные морщинки.

Я все молчу и смотрю на нее.

Из двери в соседнюю комнату, отодвинув коричневую драпировку, выходит маленькая девочка лет десяти со светлыми волосами, заплетенными в две косички и с любопытством косится на меня.

— Яна, — спрашивает она, не сводя с меня глаз. — Можно я пойду гулять?

— Иди, Машенька, — отвечает Яна и поправляет синий бант на одной из косичек. Потом поворачивает девочку за плечи ко мне.

— Это моя сестра. Ты ведь не видел ее никогда?

— Нет . . . Здравствуй, Маша.

— Здравствуйте . . . — смущенно шепчет Маша, отворачивает голову в сторону и вылетает из комнаты.

Мы оба смеемся. Я окончательно забываю о разведке, о Западе, о своих неразрешимых проблемах и спрашиваю вдруг о том, что еще совсем недавно не показалось бы мне важным.

— Ты замужем, Яна?

— Нет, — отвечает она и добавляет, как что-то не менее существенное: — Чай будешь пить?

— Да, — решительно говорю я. — Спасибо, выпью.

Яна стучит чайником за перегородкой. Слышен шум воды, бьющей сильной струей в металлическое дно. Откуда-то из-за стены невнятно доносится музыка соседского радио. Я рассматриваю маленькую комнату. Низкий, оклеенный бумагой потолок. Коричневые тисненые маленькими кружками обои на стенах. В углу старинный буфет с мраморной доской, белеющей в полутьме. Надгоревший от лампочки бумажный абажур отбрасывает узкий круг света на стол и отражается в

стеклянных дверях небольшого книжного шкафа. Я нагибаюсь к стеклу. Старые тяжелые книги. Черный том Байрона. Желтая серия сочинений Гончарова. Двухтомник Шекспира. Блок, Ахматова. Целая полка Тургенева, Толстого . . .

На шкафу, по бокам резной деревянной шкатулки, две фотокарточки в простых рамках. Я встаю и подхожу ближе. На одной из них, женщина с открытым русским очень красивым лицом облокотилась на ручку кресла. Наверное Янина мама. В нашу последнюю встречу Яна ничего не рассказывала мне о ней. На другой фотографии — молодой человек в кителе необычного, повидимому, польского образца. У него прямые, строгие черты лица. Фотокарточки старые и сняты, наверное, очень давно.

Входит Яна с чашками и сахарницей в руках.

— Это твоя мама?

— Да.

— Она жива? — спрашиваю я и слышу короткий ответ:

— Нет. Она умерла в сорок втором году.

Я подхожу совсем близко к ней.

— Подожди. Твой отец умер, насколько я помню, еще до войны. Значит ты и Маша остались после сорок второго года сиротами?

— Да, — коротко отвечает еще раз Яна.

Я хочу что-то еще сказать, но из кухни доносится дребезжание крышки закипевшего чайника. Яна быстро выходит из комнаты. Я медленно опускаюсь в кресло. А что, собственно, я мог бы сказать? Слова в таких случаях — ни к чему.

Тринадцатая квартира занимает правую четвертушку полуподвала в доме номер пять по Кривоникольскому переулку. Дом был построен еще до революции, и осенью сорок девятого года квартира казалась темной и сырой. В былые времена она отапливалась печками, но самая большая из них, соединявшая стены трех комнат — спальни, столовой и кухни, рухнула незадолго до конца войны. Когда Яна с братом Андреем и несколькими друзьями по институту разобрали груду кирпичей и обгорелой глины, в полу осталась большая дыра.

На ремонт за счет государства, как обычно, рассчитывать было нечего. Дыру забили сами досками, приобретенными у плотника с соседней фабрики за литр водки. Залатанное место особенно в глаза не бросалось, — старый и истертый пол красотою не блистал. Оставшаяся в коридоре печка дымила и чуть ли не чихала всякий раз, когда ее затапливали.

Я привык к своей светлой и просторной квартире на улице Воровского, со стенами, выкрашенными масляной краской и увешанными картинами моего деда-художника. Я свыкся с личным телефоном, ванной комнатой и газовой колонкой с горячей водой. Но я хорошо знал, как и всякий советский гражданин, что моя квартира была редким и счастливым исключением. Кругом меня было столько старых, неремонтированных домов, где в убогих комнатах ютилось по нескольку семей в одном помещении. В этих квартирах передняя называется «проходной комнатой», а возможность ночевать на сундуке в кухне — «углом для одинокого». Шкаф, поставленный поперек или занавеска наискось, отделяют жизнь одной семьи от другой. Такие квадратные метры пола не случайно называются всего-навсего — «жилплощадью».

Однако, при всей ее убогости, «жилплощадь» в Москве является предметом мечтаний тысяч людей, живущих в пригородных мансардах. Они годами копят деньги, чтобы потом, с помощью хитроумных «обменов», приютиться где-нибудь в Москве и начать следующий этап квартирной борьбы «за удобства».

На фоне общего положения москвичей, квартира Яны была неплохой и имела даже ряд «удобств».

Во-первых, она была отдельной. Жили в ней все свои, и была возможность образовать изолированный, замкнутый мирок. Потом, в квартиру, вскоре после войны, провели газ. Искусно воздвигнутые, еще руками Яниного отца, перегородки превратили полуподвал бывшей прачечной в систему небольших комнат. Появилась редкая для московских условий возможность отделить столовую от спальни, коридор от кухни, комнату брата от комнаты сестры.

Район был удобным — много магазинов вокруг и недалеко от метро. Все это и ряд других мелочей облег-

чали Янину жизнь. Она любила свою квартиру. Очень скоро привязался к этому дому и я.

Но по другим причинам.

После вечера тринадцатого ноября прошло несколько дней. Я опять был в гостях у Яны, сидел на диване в одной из комнатушек и рассматривал маленькие подушки, вышитые, наверное, еще ее мамой.

Яна незадолго до того пришла с работы и хлопотала над массой мелких дел, которые так быстро накапливаются в хозяйстве.

Она отставила утюг на зазвеневшую мелодично подставку и начала расправлять небольшие белые манжеты. Манжеты лежали на сером одеяле, закрывавшем овальный стол. Ма́шины манжеты от школьной формы. Яна прогладила их, аккуратно сложила и занялась синими ленточками.

Я смотрел на плавные, уверенные движения ее рук, на аккуратно заштопанный локоть синего заношенного жакета, на бледное лицо, слабо освещенное отсветом настольной лампы и думал, что очень привязался к ней за эти несколько дней.

Инстинктивное чувство осторожности все еще удерживало меня касаться вопроса о моей работе. Яна не расспрашивала меня. Когда-то, во время войны, я рассказал ей полунамеками о своем участии в партизанской борьбе.

С тех пор прошло пять лет. У меня уже не было причин гордиться своим служебным положением. Скорее — наоборот. Я невольно побаивался возможной реакции Яны на мою откровенность. А что, если она заледенеет, как леденели другие мои друзья? Что, если наша дружба, дружба двух людей, хотя и не близких, но давно знающих друг друга, исчезнет при первом упоминании правды?

В конце концов, почему Яна должна оказаться иной? Все, что я знаю о ней, как о человеке, я знаю по догадке, или, как принято называть туманно, — «по интуиции».

Да. Мне известно теперь, что она успела кончить за годы войны Институт Инженеров Коммунального Хозяйства. Я знаю, что она работает инженером-металли-

стом в конструкторском бюро «Промэп» Министерства электростанций. Я знаком даже с тем, как складывается ее каждодневная жизнь. Рано утром она уезжает на край города в Бауманский район и там девять часов подряд проектирует каркасы для гидростанций по всему Советскому Союзу, редактирует строительные альбомы, проверяет производственные чертежи. Вечером Яна едет через всю Москву обратно домой, чтобы, побродив по магазинам, заняться хозяйственными хлопотами. В эти хлопоты входят и заботы о маленькой сестренке, которой надо помочь вырасти, выучиться и, например, выгладить ленточки для кос. Часто, когда Маша укладывается спать и в соседних окнах уже гаснут огни, Яна раскладывает на овальном столе ватманские листы сверхурочной работы, приносящей дополнительный заработок. Лишние деньги очень нужны в хозяйстве советского инженера.

О ее семье мне неизвестно почти ничего. Брат Андрей, инвалид войны, уехал в Мурманск в надежде найти работу на рыбных промыслах. О других родственниках разговора у нас, пока, не было.

Но если я и знаю, примерно, как Яна живет, то мне трудно предположить, как она думает. Точнее — как она могла бы отнестись к моему званию сотрудника советской разведки.

Однако рискнуть, по-видимому, придется. Ведь я столь упорно старался в последнее время найти хоть кого-нибудь, способного разделить мои сомнения и проблемы. Кого-то, кто бы выслушал меня и не испугался, а захотел понять и помочь. Разве не тайная надежда, что именно Яна окажется таким человеком, приводит меня снова и снова в ее дом?

Да, конечно, страх, что эта надежда не оправдается, держит меня и заставляет пока молчать. Но нельзя же затягивать неизбежный шаг до бесконечности. Что я могу потерять, в конце концов? Еще одного иллюзорного друга?

Я набираюсь решимости.

— Яна, ты так ни разу и не спросила меня, где я работаю. Тебе что — неинтересно?

— Интересно. Но я жду пока ты скажешь сам. Я же не знаю, имеешь ли ты на это право.

Я неловко улыбаюсь и стараюсь подобрать правильные слова.

— Не особенно ... Но мне очень хочется тебе сказать ... Знаешь ... Вообще-то я сотрудник разведывательной службы ...

Она поднимает голову и внимательно смотрит на меня.

Я заканчиваю фразу.

— ... разведывательной службы, входящей в состав Министерства государственной безопасности.

По Яниному лицу пробегает тень. Она опускает голову и молча продолжает гладить. Я жду. Мы оба, видимо, не знаем, что говорить дальше. Потом я первый не выдерживаю молчания.

— Может быть лучше было не говорить? Моя откровенность тебе, кажется, не особенно понравилась ...

— Да нет, — Янин голос звучит очень ясно и она пожимает плечами. — Я чувствовала, что с твоей работой связано что-то необычное, но не думала, конечно, что дело так плохо.

Она берет утюг, выходит из комнаты, возвращается с картонной коробкой и начинает собирать Маше завтрак на утро. Мы опять оба молчим.

Я сижу, рассматривая, механически, вышивку на подушках и не могу отделаться от ощущения, что стал лишним в этой комнате. Чувство своеобразной обиды поднимается в моей душе. В конце концов почему я обязан стыдиться моего положения? На моей совести нет никакого преступления. Почему я должен просить кого-то о понимании, совете, помощи? Неожиданно для себя я говорю Яне почти вызывающим тоном:

— По-твоему эта профессия столь позорна?

— Не знаю, — медленно, почти задумчиво отвечает она. — Мне не приходилось сталкиваться с работой МГБ. Только для порядочных людей ...

Она запинается на секунду, но тут же решительно добавляет:

— Для порядочных людей есть много более приличных занятий.

— Спасибо, — горько бросаю я.

— Ты зря обижаешься, — грустно говорит Яна. —

Ты же не можешь требовать, чтобы я лживо обрадовалась твоему несчастью. Хотя, может быть, ты просто любитель острых ощущений. Тогда, конечно, мое сочувствие тебе совсем неуместно . . .

Мне все кажется, что начни я сейчас говорить, мои слова зазвучат, как оправдание. Поэтому я предпочитаю молчать.

Яна садится в кресло напротив, принимает свою любимую позу — локти на стол, подбородок в ладони и внимательно смотрит на меня. Я понимаю, что она ждет объяснений, но заставляю себя встать и медленно говорю:

— Ну, что же. Мне, пожалуй, пора домой . . .

— Как хочешь . . . — отвечает Яна.

В голосе ее звучит все та же грустная нотка. Она подымается и идет в коридор. У самого порога я догоняю ее и поворачиваю к себе. Она откидывается назад, прислоняется спиной к стене и заложив руки назад, чуть приподымает левую бровь. Я наклоняюсь к ней совсем близко.

— Почему ты молчишь?

— А что я могу сказать тебе, Коля? Неужели ты сам не понимаешь . . .

Из-за коридорной стенки внезапно раздаются пьяные голоса, разом и нестройно затягивающие разгульную песню: «Шумел камыш, де-е-ревья гну-у-лись». Потом чей-то визгливый и очень немузыкальный женский голос отчаянно включается: «а-а но-о-чка те-е-мная была . . .»

Я вопросительно смотрю на Яну.

— Дядя Вася, — кивает она головой на стенку, — наш сосед сапожник.

Янина улыбка, относящаяся, наверное, к соседу, вдруг укрощает мое самолюбие. Я думаю, что может быть, все гораздо лучше и гораздо проще, чем нарисовало себе мое усталое воображение. Я беру ее за локоть и тяну обратно в комнату. Она аккуратно высвобождает локоть, но в комнату возвращается.

Мы опять сидим друг против друга и на этот раз я уже не избегаю ее взгляда.

— Яна, ты неправа. Ты очень неправа. Все совсем не так, как ты думаешь. Я числюсь сотрудником МГБ, это правда, но пришел к ним во время войны и по совершенно особым причинам. Самое же главное то, что я твердо решил уйти от них.

Я рассказываю ей о «московском подполье», о партизанских отрядах, о поездке в Румынию, о том, как, в начале, мне незачем было думать и не с чем сравнивать, и о том, как пришло понимание правды и неизбежное решение. Я рассказываю ей о рапорте и о сопротивлении моего начальства. Только о своих страхах, о своей слабости, о колебаниях последних дней я не решаюсь упоминать. И не потому, что мне стыдно за них, а потому, что они не кажутся мне больше столь важными и реальными . . .

Во время моего длинного и откровенного рассказа я боялся только одного, — что Яна не поймет и не поверит. Но случилось иначе. Она поняла и поверила.

Прошло еще несколько недель. Семнадцатого декабря мое начальство решило нарушить затянувшееся молчание. Меня вызвали на конспиративную квартиру. По всей видимости, Судоплатов рассчитывал, что кривая моей капитуляции должна была подойти к сдаче. Но сдачи не произошло. Оказавшись лицом к лицу с Судоплатовым и Коваленко, я, к собственному удивлению, не почувствовал ни колебаний, ни страхов. Я не успел окончательно понять, почему мои старые доводы зазвучали, по-новому, убедительно для меня самого, как чудо уже случилось. Судоплатов покачал головой и улыбнулся углами рта.

— Хорошо, Николай. Сядьте и успокойтесь. Нет смысла столько спорить. Я надеялся, что ваша настойчивость окажется временной. У нас сейчас много работы и каждый сотрудник на вес золота. Но и насильно посылать на такие задания мы не можем . . . Ладно, займитесь учебой, если для вас это так важно. В конце концов, в нашей стране каждый имеет право учиться. Жаль только, что вы решили заняться этим именно сейчас . . . Хорошо, хорошо, я же говорю вам, что согласен. Подберите приличный институт и старайтесь, что-

бы студенты ничего не узнали о вашей истинной профессии. Товарищ Коваленко достанет вам подходящие гражданские документы какого-нибудь научно-исследовательского учреждения.

Коваленко, чувствуя перемену в настроении начальства, разрешил себе понимающе снисходительную улыбку по моему адресу:

— Мы можем дать вам удостоверение научного сотрудника номерного института. Институт помещается в Москве, но он полностью засекречен.

— Ну и прекрасно, — продолжал генерал. — Проверить вас никто не сможет, да и лишних вопросов задавать не будут. Учитесь на здоровье и берегите свои нервы. Они еще пригодятся государству.

Так просто все обошлось? Даже не верится. А шантаж с подпиской, угрозы Эйтингона, призраки ссылки или ликвидации? Неужели действительно отпускают?

— Павел Анатольевич, а может быть не стоит с фальшивыми документами . . .

Коваленко начал было объяснять.

— Документы не фальшивые. В сорок четвертом научно-исследовательском институте в отделе кадров сидят наши люди. Вы будете занесены в особый список и считаться сотрудником института. На работу ходить вам, конечно, не надо, но если кто-либо позвонит за справкой, вашу личность удостоверят. Только и всего.

Я не успокаивался:

— Но зачем все эти фикции. Не лучше ли начать с обычной трудовой книжки. Ведь когда я буду поступать на работу, меня могут спросить . . .

Судоплатов остановил меня жестом подчеркнутого недоумения:

— На какую работу? О какой трудовой книжке вы говорите? Мы, наверное, не понимаем друг друга. Я отпускаю вас на учебу временно, по соответствующему закону и с сохранением денежного содержания. Кончите учиться — вернетесь к своим обязанностям. Нам нужны разведчики с высшим образованием. Вы хотите учиться? Так я вас понял? Чего же вы теперь еще стараетесь добиться?

Я опомнился. Чересчур натягивать струны было нельзя.

Ну, что ж . . . Они отпускают меня на учебу . . . Это уже какое-то начало. Несколько недель тому назад я боялся мечтать даже об этом.

Яна, как всегда, открыла мне дверь сама. Я почти ворвался в квартиру и крикнул:

— Отпустили! Понимаешь? Отпустили!

— Как, совсем? — удивилась Яна.

Я немного замялся:

— Нет, пока не совсем. Только на учебу. Но это не важно. Главное, что пошли на уступки. И ехать никуда не надо . . . А я-то! Я-то боялся, что арестуют, сошлют, всякие ужасы себе рисовал . . .

Чуть ли не восторженным голосом я начинаю описывать свои недавние страхи, колебания, едва не состоявшуюся капитуляцию и неожиданный, совершенно неожиданный успех.

В Яниных глазах теплый свет:

— Не надо, Коля, больше об этих страшных вещах. Ты голодный? Я сейчас что-нибудь скомбинирую и давай ужинать . . .

Потом, поздно вечером, она просит меня рассказать что-нибудь, не имеющее отношения ни к разведке, ни к политике или секретной работе. Мне вспоминается кинофильм Рене Клэра «Моя жена колдунья». Я рассказываю ей, как однажды, четыреста лет тому назад, в Америке, под одним старым дубом было закопано двое колдунов — отец и дочь. Как они пролежали под деревом до наших дней, пока случайная молния не расщепила дуб. Как освободившиеся души колдунов стали бродить по городу в поисках подходящего человеческого обличья. Отец оживил тело старого пьяницы, а дочь сумела стать красивой, обаятельной девушкой.

Я притягиваю Яну к себе. Ее голова у меня на коленях и глаза вблизи кажутся уже не серыми, а зеленоватыми. Ее глаза смеются, когда я рассказываю о приключениях колдунов в современном американском городе, со всей его сегодняшней техникой и сегодняшними предрассудками.

История, как и следовало ожидать, заканчивалась брачным счастьем девушки, отрекшейся от колдовства

и одного американца, попавшего под ее натуральные чары. Мой рассказ обрывается, и мы оба долго молчим.

— Скоро Рождество, — задумчиво начинает Яна. — Давай посчитаем, в воскресенье будет, или нет.

— Ты разве празднуешь католическое? Мне в Румынии приходилось по легенде праздновать 25-го декабря, но здесь, в России?

— А почему же нет? У нас дома всегда праздновали оба Рождества ... И католическое и православное. Между прочим, по метрике — я католичка.

— Ну-у? В первый раз встречаю католичку в Советском Союзе.

Это не совсем точно. Вопрос вероисповедания моих родных и друзей никогда не интересовал меня. Я даже не знаю есть ли у них вообще какое-нибудь.

— Как же это случилось? — любопытствую я.

— Как случилось? Отец мой был белорус и католик. Он пришел в Москву вместе с братьями еще до революции ... Встретился с мамой здесь. Он был из простых крестьян, а мама из известной московской семьи. Блиновы, может быть знаешь? Нет? В общем, маме пришлось уйти из дома, чтобы выйти за него замуж. В маминой семье такие случаи не редкость. Моя двоюродная сестра, например, убежала 17-ти лет из дома во Францию ... Стала потом известной балериной. Говорят, живет сейчас где-то в Швейцарии, замужем за парфюмерным фабрикантом ... Счастлива ... Папа с мамой тоже всю жизнь были счастливы. Я хочу сказать, что они очень любили друг друга и никогда не жалели о том, что встретились. Папа был почти совсем неграмотным. А потом многому научился. В основном из-за мамы, конечно ...

— А чем занимался твой отец?

— Работал по сельскому хозяйству. Знаешь, когда я была еще совсем маленькой, папа заведывал государственным садом. Мы жили прямо в саду. Такой чудесный, большой, заросший, совсем дикий сад. Вот хорошо было! А костел я совсем не помню. Крестили меня там. С папой иногда ходили. Музыку, вот, помню. И статуи... Только статуи меня пугали, казались странными и неприязненными ... Я ведь совсем девчонкой еще была. А потом католических церквей не стало ... По праздни-

кам мы с мамой всегда в православную ходили, в Брюсовский. Или здесь, на Арбате, в сербскую. Мама в католической не бывала. Ах, какая в сущности разница? Вера остается верой. Я всегда одинаково любила и наше Рождество и католическое. Вообще за то, что — праздники. И за то, что все дома . . . И за свечки, за елку, — тоже, конечно.

— Как же так случилось, что твоя мама умерла так рано?

— Врачи говорили от повышенного давления крови. Я думаю, ей просто было очень трудно. Странно . . . Столько мы жили в лесах, в саду . . . Когда в Москве поселились, каждое лето уезжали к родным в деревню, а папа умер от туберкулеза. Маме было очень трудно... Наверное, от усталости . . . Многие так умирали во время войны.

— А как же вы . . . как же ты . . . ведь и сестренка. Она же совсем маленькая была тогда?

— Да, совсем маленькая. Я помню, когда диплом писала, уже позже, в сорок пятом, Маша тогда заболела и все время сильно плакала . . . Приходилось носить ее на руках. Выйдешь в коридор и носишь, пока не заснет. Хорошо, что ребята из института помогали. Чертежей часть сделали, кое-что по диплому переписать помогли. Я без них, может быть, и не закончила бы . . .

— А как же все остальные годы? Брат же твой, наверное, не мог работать?

— Да, Андрей работать почти не мог. У него одно легкое отморожено на финском фронте. Что он мог заработать со своей инвалидной книжкой? Так . . . перебивались, как все . . . Иногда бывало трудно. В ЦК партии было трудно.

— В ЦК партии? — удивляюсь я. — Как ты попала в ЦК партии?

— Да нет, — смеется Яна. — Я не работала, конечно, в самом ЦК. Когда здание разбомбили, стали потом выносить мебель оттуда, вытаскивать несгораемые шкафы, письменные столы, диваны . . .

— И ты таскала все эти вещи?

— Ну, не одна, конечно. Там было много девушек. Связывали все канатами и стаскивали вниз по разбомбленным лестницам. Таскать было тяжело, зато в столо-

вой кормили хорошо. Спецовки выдавали и, главное, хлеба за обедом сколько хочешь. Только с собой нельзя. Проверяли при выходе очень строго. В ЦК было трудно, а вот на хлебозаводе даже очень хорошо. Нас туда деканат в цеха на практику устраивал. Заберешься, бывало, в перерыве наверх под трубы. Тепло, уютно. Хлеба там тоже много давали. С собой брать удавалось. Так что и Маше легче было. Ну, потом футбольными билетами спекулировали, — смеется она. — У нас студенты были со связями на стадионе. По-очереди и давали заработать. В общем, перебивались, как могли. Ели, правда, плохо. Как все тогда, конечно. Дрожжи жарили, котлеты пекли из картофельной шелухи на глицерине, кисель варили из всяких технических крахмальных средств. Ничего, выжили, как видишь...

— Надо бы уже елку доставать, — меняет Яна тему. — В прошлом году я все откладывала до самого Рождества и потом с трудом нашла. Государственные елки неважные. Они, ведь, вырубают плохую, ненужную поросль. А настоящую найти непросто. Надо такую, чтобы минимум две недели простояла.

— Давай поедем вместе к Киевскому вокзалу? — предлагаю я. — Туда колхозники иногда елки привозят.

— Давай, — радуется Яна. — А когда?

— Да хоть завтра. Я встречу тебя у метро после работы. Хорошо?

Я прилаживаю колючую елочку в ведро с мокрым песком и устанавливаю все сооружение на столе. «Тетя Варя», маленькая и очень живая старушка, приносит белую скатерть и начинает заворачивать низ елки и ведро. Я сажусь в кресло, смотрю на эту суетящуюся, удивительно маленькую фигурку и вспоминаю Янины рассказы о том, как «тетя Варя», с незапамятных времен была своим человеком в семье Тимашкевич. Она выносила на руках маленькую Яну, нянчила Андрея и, вообще, относилась всю свою жизнь к Яниной семье, как к своей собственной. А собственной семьи у «тети Вари» нет. Она живет в переулочке неподалеку, в небольшой комнатушке под крышей. К Яне она заходит часто, чтобы помочь по хозяйству, посуетиться в Машенькиной

комнате, заняться накопившейся посудой, мытье которой Яна не любила, или постоять, иногда, в какой-либо особенно длинной очереди, за мукой, например. Себя она называет портнихой. Действительно, «тетя Варя» исчезает порой на целые недели. На это время она поселяется в какой-нибудь семье и шьет там, поденно, все, что нужно по хозяйству: наволочки, пододеяльники, подрубает полотенца, перешивает из отцовских штанов штанишки сыну, кроит, по собственной фантазии, летние сарафаны и, даже, иногда, целые платья, по журналам. Но последнее бывает, наверное, очень редко, хотя тетя Варя и обижается всегда, когда я подтруниваю над ее портновскими способностями.

Яна тащит из соседней комнаты пыльный фанерный ящик, закрытый пожелтевшей газетной бумагой, и с шумом ставит его передо мной.

— Вот! Еще мамины игрушки.

Из-под газеты высовывается кончик серебряной звезды и пропыленный полосатый флажок какой-то фантастической елочной страны.

— А свечки-то, свечки мы забыли, — спохватывается Яна.

— Купили вчера на Петровке, вместе с бахромой, — отвечаю я, поглощенный разбором игрушек.

— Ах, да. Но укреплять их — явно мужское дело.

Я с сожалением подымаюсь из кресла:

— Яна, может быть все же лучше лампочки?

— Что ты... Лампочки чересчур цивилизованно. Ну, ладно. Давай и-и. И то, и другое. Тебе лампочки, а мне — свечки. Ладно?

Так горели на нашей елке, вместе с традиционными белыми рождественскими свечками, разноцветные советские электрические лампочки.

Потом прошел Новый Год, елка начала осыпаться, и однажды вечером тетя Варя, лукаво покосившись на Яну, задала мне коварный вопрос:

— Ну, а за святой водой пойдете?

— А куда за ней ходить нужно и собственно... зачем? — полувозразил я.

Яна засмеялась.

— Эх, ты — иностранец. Крещение же на-днях. Я-то давно уже не ходила за святой водой. Но когда ма-

ма была жива, она всегда приносила. Знаешь, как хорошо, что с каждым праздником связан какой-то обычай, повторяющийся из года в год. Есть в этом что-то постоянное, какая-то вечная частичка настоящей человеческой жизни . . .

— Может быть, сходим в Девичий монастырь. Заодно и музей посмотрим? — предложил я.

— Почему именно в Девичий? — удивилась Яна.

Я не решился сознаться, что никакой другой церкви в Москве не знаю, и просто пожал плечами.

— Ладно, — улыбнулась Яна. — Пойдем в Девичий, если хочешь.

Да, с церквами я был знаком плохо. И не только с московскими. Мне как-то не пришлось побывать ни в одной из них и понять, что же представляет собой церковная служба.

Когда-то, в раннем детстве, еще в Нижнем Новгороде, мы с мамой часто проходили мимо церкви на углу улицы Карла Маркса и Краснофлотской. Я видел на паперти группы нищих с протянутыми за милостыней руками, полуоткрытые остроконечные двери и темную глубину, с дрожащими желтыми пятнами света. Детское любопытство толкало меня к таинственному, немного страшному дому, но мама тянула за руку дальше, мимо, и я так никогда и не зашел туда.

В Москве, когда я подрос, проблемы религии были столь далеки от меня, что все церкви казались мне закрытыми или переделанными в клубы. Я даже не знал, что в городе много открытых церквей.

Потом, во время работы над образом немецкого офицера, мне пришлось заняться католической верой. Я узнал только ее теорию, в пределах достаточных для спешной молитвы в случае «оперативной необходимости». В Румынии, по легенде Левандовского, я считался католиком. Поэтому, в православные церкви не заходил, думая, что это неподходяще для иноверца. Католические же обходил просто потому, что не знал, как вести себя, переступив порог.

Вопрос церквей и церковных служб был несущественным для меня, пока был несущественным вопрос моей собственной веры в Бога. Но, как и всякому челове-

ку, подошедшему к большому перепутью своей жизни, мне предстояло рано или поздно задуматься над этой величайшей проблемой человеческого существования.

Ранней весной Яна устраивала генеральную уборку, окраску полов, переклейку обоев, чистку рам от зимней замазки и прочие ремонтные операции, поддерживающие квартиру в жилом состоянии. Я вызвался помогать ей.

Чтобы передвинуть книжный шкаф, пришлось вынуть из него все книги. Выкладывая стопку за стопкой на разостланные по полу только что содранные со стен обои, я задержал в руке странного вида книжку. Она была в старинной, впитавшей в себя многолетнюю пыль, обложке, с тисненым крестом потемневшего золота. Я открыл ее наугад и прочитал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог . . .» Я присвистнул и с шумом захлопнул переплет.

— Ты что? — отозвалась Яна из коридора.

— Да вот, церковная книжка какая-то попалась, с обрядовыми изречениями. Любишь ты всякие древности.

Яна вошла в комнату, вытерла с рук крахмальный клейстер и подняла книгу с пола.

— Ты никогда не видел Евангелия? Я, между прочим, тоже давно не держала его в руках. Наверное забыла все.

Мне удалось раскрыть Евангелие на том же месте. Яна заглянула в книгу и улыбнулась:

— Конечно, если принимать текст буквально, то поймешь не сразу. Но вот, например, «Слово» обозначало когда-то, по-видимому, идею, мысль . . .

Часа через два Яна позвала меня ужинать. Я пришел за стол с Евангелием в руках.

— Знаешь, Яна, действительно интересно. Главное — многое становится понятным из наших обычаев. Вот, например, о Пасхе я ничего не знал . . .

— А теперь знаешь? Ну, когда Пасха в этом году?

— Ты не поддразнивай. Конечно, я не знаю точно когда ее празднуют, но, судя по твоим разговорам с тетей Варей о необходимости запасаться постным маслом

и по вашим планам ночного стояния за мукой — пост, наверное, скоро.

— А мы с тетей Варей особенно поститься не собираемся. Так, дня два-три в конце Страстной недели. Запасаться же нужно, потому что перед Пасхой масло исчезнет из магазинов на несколько недель. И муку в Советском Союзе дают только перед большими праздниками, включая Пасху.

— Ну, ладно. Зато постятся другие и по целым неделям. Я часто спрашиваю себя почему? Откуда эти традиции из года в год, на протяжении столетий? Должен же быть за всеми этими обычаями какой-то большой смысл, какая-то символика. Вот, например, начиная со Страстного Четверга пост считается обязательным. Не потому ли, что именно в этот день Страстной недели люди совершили когда-то самый тяжкий свой грех — предательство Того, Кто готов был пойти на крест за них?

— Ну, что ты? Разве Иуда означает человечество? Иуда — это крайность, граница, которую переступать нельзя.

— А я не об Иуде. Вот Петр, например. Разве не отрекся он трижды, после своего обещания пойти за веру на любые жертвы?

— Да, возможно ты прав. Может быть Петра и можно принять за символ человечества — слабого и колеблющегося. Но он ведь понял потом свое заблуждение и поборол свою слабость. Чего нельзя сказать о человечестве.

— Значит здесь начинается другая символика. Символика двух путей, предназначенных каждому из нас...

— Не знаю. — сказала Яна. — Что-то слишком сложно. Я, например, когда думаю о Страстном Четверге, вспоминаю, прежде всего, Моление о Чаше. Мне кажется, что в этом молении есть что-то самое благородное, самое достойное Человека. Знать о невыносимой горечи Чаши и все же осушить ее, потому что так нужно . . .

Я был слишком увлечен собственным толкованием Евангелия, чтобы понять истинный смысл нашего беглого разговора. Ощутить глубину и значимость Яниного отношения к вере, я еще не мог. Но образы Высшей

Справедливости, Вечных Заповедей и Единого Бога проникали медленно и непреодолимо в мой духовный мир.

Поздно вечером, в Страстную Субботу 1950 года, мы стояли с Яной среди толпы людей у стен небольшой церкви, в одном из арбатских переулков. Я в первый раз в своей жизни слушал Заутреню. Народу было слишком много, и в церковь мы не попали. Прямо перед нами, метрах в трех, светилось узкое окошко. Железная причудливо перевитая решетка плавала в колеблющемся слабом свете, лившемся в ночной московский сумрак. Отдаленное пение, перемежавшееся с непонятными возгласами, доносилось из глубины церкви. Темные, застывшие фигуры людей почти прижались друг к другу. На фоне белых, призрачных стен церкви, мерцающие язычки свечек вырывали из темноты то ладонь, берегущую пламя от ветра, то шепчущие губы, или сверкающий дрожащим бликом глаз.

Все это снова напомнило мне тот таинственный и влекущий дом детских лет, куда мне так и не удалось никогда зайти.

Летом 1950 года я подал заявление в Московский университет, с просьбой зачислить меня студентом-заочником филологического факультета. Мне удалось восстановить «золотой» аттестат об окончании школы, утерянный во время войны.

В течение зимы 1950 года я разыскал моих старых учителей, достал выписки из выпускной книги школы, где когда-то учился, заручился справками из отделов Народного Образования. Потом, с пачкой накопившегося «материала», пошел на прием к министру просвещения. В конце концов, после длинной волокиты, мне была выдана копия аттестата. Я снова получил право на поступление в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Однако, для Яны и для меня, этим решалась только половина проблемы. Поступление в университет освобождало меня временно от выезда на задания, но не обрывало материальной зависимости от МГБ. Я по-прежнему получал регулярно деньги от советской разведки.

Большие деньги — две с лишним тысячи в месяц. Устроиться на какую-нибудь гражданскую работу и отказаться от этих денег стало моей навязчивой идеей.

В середине августа я позвонил Судоплатову и попросил о встрече. На той же 141-ой квартире я выложил ему и Коваленко свои «соображения»:

... «мое беззаботное существование в качестве обеспеченного студента будет выглядеть подозрительно для коллег по университету, если я не буду работать в самом деле ... Я не могу пользоваться легендой научного сотрудника, потому что научный сотрудник, поступающий заочником на филологический факультет, выглядит довольно странно ... Я подобрал несколько возможностей работы, которую могу взять немедленно, например, место диктора немецкого языка в комитете радиовещания ... Я уже прошел пробы и запись на пленку...»

Судоплатов отрицательно покачал головой и прервал меня:

— Это вы все себе надумали, Николай. В научно-исследовательских институтах работает много сотрудников, выдвинувшихся, как хорошие практики. Им не хватает высшего образования. Большей частью им нужен только диплом. Кое-кто устраивается заочником в гуманитарные институты, учеба в которых не требует столько практической работы, как в технических. Не волнуйтесь. Белой вороной вы выглядеть не будете. Занимайтесь учебой, а проблемы конспирации предоставьте нам. И вообще, ваши предложения нереальны. Учиться и одновременно работать вы не сможете. Да и зачем?

Я хотел было продолжить перечень причин, но генерал не дал мне говорить.

— Оставьте эту тему, Николай. Скажите мне лучше, что это вы там за пьесу пишете?

Я опешил. Неужели уже узнали? Судоплатов как бы угадал мои мысли и иронически улыбнулся:

— Да, как видите, дошло и до нас. Не все, правда. В общих чертах. Остальное, надеюсь, вы расскажете мне сами ...

Я уже взял себя в руки.

— Рассказывать не так уж много. Написал пьесу о Филиппинах и отнес ее ...

Судоплатов высоко поднял брови. Удивление его, наверное, было искренним.

— О ч-е-ем?

— О Филиппинах. Группа островов в Тихом океане...

— Почему вдруг Тихий океан. Насколько я помню, мы вас туда никогда не посылали.

— Ну, так, случайно. Попались материалы на немецком и французском языке о восстании 1898 года. Мне показалось, что можно создать интересную пьесу. Написал как мог, и отнес в Союз Советских Писателей. Они дали консультанта и собираются печатать...

— Подождите, — остановил меня Судоплатов. Как вы можете предполагать, что мы разрешим вам хоть какую-либо публичную известность? Вы же разведчик, Николай! Уж в крайнем случае под литературным псевдонимом и оставаясь совсем в тени... Мы всего лишь отпустили вас на учебу...

Он встал и прошелся по комнате. Это случалось с ним редко. Постояв у окна и помолчав, он вернулся ко мне и заговорил, смотря в упор:

— Что с вами? Чего вы ищете все время? Вы понимаете, что я, пока, отвечаю за вас, как за самого себя? Почему вы мечетесь из стороны в сторону и создаете себе всякие проблемы? Что беспокоит вас? Не лучше ли сказать об этом прямо?

Несмотря на внешнюю строгость слов, тон генерала выдавал какую-то скрытую доброжелательность, не совсем подходящую к существу разговора. Или это была очень тонкая игра с его стороны? Но цели своей он добился. Мне вдруг захотелось на секунду стать хоть в какой-то степени откровенным.

— Я говорил вам, Павел Анатольевич... Жизнь агента-разведчика меня не устраивает. Я ищу себе серьезное, более нормальное занятие. Я не могу все время балансировать на канате. Кроме того, учиться и получать от вашей службы деньги неизвестно за что, кажется мне странным и ненужным.

Судоплатов задумался.

— Может быть, вы правы, Николай. Хорошо, я подумаю. Дайте мне месяц сроку. Не хочу пока ничего обещать и лучше не спрашивайте. Готовьтесь в инсти-

тут. И даже пьесой можете заниматься. Только обязательно возьмите псевдоним. И оставайтесь в тени. Пусть говорят о пьесе, но молчат об авторе.

Нет, не мог все же знать Судоплатов, что мы с Яной задумали как раз обратное — использовать пьесу для компрометации меня, как разведчика.

Начало уже складывалось хорошо. В Доме Литераторов оказалась знакомая по эстраде, сохранившая воспоминания о «московском подполье» четырех горе-разведчиков. Как только я появился на горизонте со своей пьесой, в московском литературном мире стало известно, что автор «Семи тысяч островов» и бывший разведчик-партизан — одно и то же.

— А представляешь себе, — фантазировала Яна, — вдруг, правда поставят в каком-нибудь театре. Или просто напечатают. Очень хорошо, что тебе дали соавтора. Он же все ходы и выходы в Комитете Искусств знает. Правильно, что ты ему основную часть гонорара отдаешь. Он теперь по-настоящему добиваться будет. Могут рецензию написать в какой-нибудь центральной газете. Даже фотографию твою поместить. А что? Мы соавтора подобьем. Ему, как бывшему редактору «Известий», будет нетрудно. По знакомству . . . А газеты и за границу идут. Вот и все. И послать тебя больше не смогут. Да и сколько еще всего устроить можно . . .

Но наши надежды не оправдались. Устроили не мы. Устроил Судоплатов.

Коваленко приехал на мамину квартиру. Мы прошли в дальнюю комнату, где можно было спокойно разговаривать о служебных делах.

— Ну, давайте, выкладывайте ваши хорошие новости, — не терпелось мне.

Он многообещающе улыбнулся:

— Я приехал поздравить вас и передать поздравления товарищей. Приказом министра от третьего сентября вы зачислены в штат сотрудников МГБ на должность старшего оперуполномоченного. Одновременно подано ходатайство о присвоении вам офицерского звания. Мы запросили капитана. В крайнем случае дадут старшего лейтенанта. Это уж — обязательно. Тогда через три года вы, автоматически, — капитан.

Коваленко рассказывал с увлечением. На его круглом, немного детском лице было написано искреннее восхищение всем случившимся.

— Понимаете, Николай. Самым трудным было заставить отдел кадров признать вам стаж работы с 1941 года. Обычно агентурная работа трудовым стажем не считается. Но генерал добился. Видите, он сдержал свое обещание. Ровно месяц ведь прошел. Теперь вы кадровый сотрудник, и за будущее беспокоиться вам нечего. И с учебой все, конечно, по-прежнему. Ну — поздравляю!

Коваленко встал с дивана и торжественно протянул мне руку.

Я сидел неподвижно. В голове моей мелькали обрывки фраз. Судоплатова: — «Дайте мне месяц, я помогу вам» . . . Яны: — «Откуда ты знаешь какую ловушку они тебе готовят . . . зачем тебе их деньги? Уходить надо сейчас и немедленно . . .» Мои собственные опасения: — «Не может Судоплатов ставить мои человеческие интересы выше интересов государства?»

Краем глаза я увидел, как рука Коваленко опустилась, и почувствовал, что надо, наверное, сказать что-нибудь.

— Да . . . удар сильный . . . Ничего не скажешь. И, как говорится, в расцвете надежд . . .

Коваленко остолбенел.

— Удар? Вы это называете ударом? Послушайте, Николай Евгеньевич, вам не кажется, что вы . . . вы . . . теряете чувство реальности?

Он, наверное, чуть не сказал «начинаете забываться», но мне было все равно.

Приказ сорок четвертого года. Я подпадаю теперь под приказ сорок четвертого года, запрещающий офицерам госбезопасности покидать службу по собственному желанию. Теперь Судоплатов, при первом моем слове протеста, может просто послать старшего лейтенанта госбезопасности Н. Хохлова на гауптвахту. И никакой, конечно, легальной работы в других учреждениях. Я фактически посажен на цепь. Теперь вместо «дружеских» бесед пойдут приказы. Краткие и обязательные к исполнению.

Первый такой приказ был передан мне уже через несколько дней: старшему оперуполномоченному Хохлову предлагалось прекратить всякие литературные «опыты».

В октябре 1950 года я был зачислен на отделение журналистики Московского университета. У меня оставалась еще надежда, что зная иностранные языки, сумею закончить университет за два-три года. Если мне удалось бы стать аспирантом филологических наук, можно было бы, на основании существующих законов, драться за демобилизацию из «органов». Я понимал, что надежда эта слабая. Для учреждения, подобного МГБ, законы не писаны.

Тяжело нам было в те дни. Особенно Яне. Она была уверена, что уступка с учебой окажется непродолжительной. Ей казалось, что мое начальство только выжидает удобный момент, чтобы снова послать меня на задание. Мне было легче. Я верил, что учиться мне дадут. Кроме того, я окунулся в студенческую жизнь. Первые же встречи с университетской молодежью показали, что все случившееся со мной было не только уделом нашего с Яной поколения. Своими собственными сложными, но неизбежными, путями советские люди, во время войны бывшие еще детьми, не успевшие побывать ни в школе фронта, ни в «лаборатории» стран народной демократии, пробивались к правде. Проблески истины в их словах и мыслях были еще несовершенны. Понимание происходящего в стране — смутно. Но зато фанатизма или слепой пристрастности к советской власти оказалось еще меньше.

Мои однокурсники собрались у входа в аудиторию. Только что закончилась лекция по марксизму-ленинизму. Сквозь распахнутые двери «Коммунистической» виднелись, между круто подымающихся вверх скамеек и парт, отдельные запоздавшие студенты. Они торопливо собирали листки с записанной только что лекцией.

Аудиторные двери выходили на балюстраду, повисшую над залом первого этажа, как замкнутый в кольцо театральный балкон. Широкая мраморная лестница соединяла это подобие галереи с первым этажом, с разде-

валкой и буфетом. По этим четырем балконным полоскам, обегающим аудиторию, по их серому цементному полу, проходит главный проспект Московского университета. Мраморные перила испещрены инициалами и малопонятными надписями. Здесь — традиционное место свиданий. Одна из дверей, выходящих на «проспект», служит почтовым ящиком. Почти всегда она усеяна записочками, сложенными треугольником или квадратным «замком» и пришпиленными кнопками к дереву. Иногда эти конвертики держатся на уголке, засунутом под стеклянную таблицу «Читальня». На них таинственные надписи, вроде: «Натке Ш.» или «Тата». Никто, кроме Натки Ш. или «Таты» не снимет конверта. Все знают, что это — сугубо личная корреспонденция. Коллективная выглядит совсем иначе. К двери прикрепляется тетрадный листок в клетку с объявлением вроде: «Сеня, Борис, — мы ждали и ушли. Свинство! Позвони Шурке. Ребята». Или по деловому вопросу: «Журналисты с немецкими хвостами по чтению, Жуковская принимает на чердаке у мехмата».

Здесь, и в прилегающих к балюстраде коридорах, фактически формируется общественное мнение студентов Московского университета. В группках, примостившихся у перил или сдвинувших в коридор пару стульев, утащенных в аудитории, обсуждаются самые насущные вопросы и разгораются самые жаркие споры.

Пять-шесть студентов, пристроившихся к белому пачкающемуся мелом пьедесталу статуи Сталина, перед входом в «шестьдесят шестую», что-то горячо обсуждали. Лица их показались мне знакомыми. Наверное однокурсники. Я подошел поближе. Тема спора оказалась очень острой. Имел ли право комитет комсомола вынести общественное порицание студенту Мейтлину за то, что он слушал передачи «Голоса Америки». Спорили долго и смело. Постепенно выяснились два основных мнения. Одни утверждали, что порицание правильное, потому что относилось оно не столько к самому факту слушания передач, сколько к тенденциозным комментариям их Мейтлиным в разговоре с однокурсниками. Другие считали, что запрещать, даже комментарии, смешно и, пожалуй, вредно. Логика их, правда, была своеобразной — передачи, дескать ,в основном настоль-

ко неумны, что убедительных комментариев все равно не подберешь. В доказательство спорщики приводили отдельные факты и даже фразы из конкретных передач. Я подумал, что студенты неплохо осведомлены о существе дела.

С Мейтлиным я встретился немного позже. Меня познакомили.

— Ну, как ваш конфликт с комитетом комсомола? — полушутя спросил я.

— А что комитет? — ответил он, явно позируя. — Я не комсомолец и бояться мне его нечего.

— В таких случаях боятся, обычно, не комитета, а некоторых других организаций ... — резонно заметил хрипловатый бас сзади меня. Я обернулся и увидел рябоватое лицо с очень простыми чертами, а на отвороте коричневого, до лоска заношенного пиджака, полоску орденских планочек.

— Заочник? — спросил я.

— Заочник — усмехнулся он. — А ты?

Так я познакомился с Борисом, бывшим летчиком и фронтовиком, членом партии с 1943 года, моим однокурсником и почти однолеткой. У нас оказалось много общего в биографии. Борис побывал в партизанах. Попал он туда не совсем добровольно. Его сбили над немецкой территорией. Побывал он в Румынии, в авиаполку под Бухарестом. Пытались и его удержать «на службе государству», но в 1949 году он все же демобилизовался. Однако между нами была одна существенная разница: — выводы из всего увиденного и понятого он сделал гораздо раньше меня и гораздо смелее. Он познакомил меня со своими друзьями, среди которых было много таких же «переростков», пришедших в институт из армии. После нескольких встреч и откровенных разговоров я понял, что разница между ними и мной была не случайной.

Я провел войну в составе разведывательной службы, отделенный от своего народа спецификой работы. Борис и его друзья прошли школу фронта и послевоенных лет в обстановке новой для советских людей, — в обстановке настоящей и глубокой дружбы с товарищами по судьбе. Такая дружба заставляла, когда-то, под вражеским огнем, бросаться вместе в воронку и не сра-

зу разобраться, кто кого закрыл своим телом от пули. Эта дружба посылала людей сквозь горящую, мертвую, ничью землю за убитым товарищем, чтобы, привязав его ремнем к ремню, дотащить до своего окопа и похоронить по-человечески. Она же разрешала показать горькие строчки в письме из родной деревни и потом предельно честно обсудить, что же это такое делается. Эта дружба расколола основу советской власти — недоверие человека к человеку — так же, как смерзшиеся капли воды раскалывают камень.

В университете, встретившись с людьми подобными Борису, с его друзьями, с молодежью, жадно прислушивавшейся к их голосу, я понял, что советский народ за время войны перерос советскую власть. Я увидел людей, победивших не только фашистскую армию, но и идеологические путы коммунизма. Воспитать поколение фанатиков и слепцов советской власти не удалось.

Я почувствовал вдруг, как мир вокруг меня и Яны населился миллионами моих сотоварищей, так же как и мы, стосковавшихся по Свободе. Так же, как и мы, они не знали еще пути к ней. Но чувство одиночества, заставившее меня колебаться после возвращения из Румынии, больше никогда не могло повториться. Ощущение «локтя товарища» вернулось ко мне.

Теперь я готов был бороться, в случае необходимости, во имя уверенности, принадлежавшей Яне, Борису, нашим друзьям, большинству нашего народа. Уверенности, что советский король — гол.

Это было очень важно, потому что необходимость борьбы пришла гораздо раньше, чем я ожидал.

Февраль 1951 года выдался холодным. Встретив меня, как всегда на пороге, Яна прижала мои заледеневшие пальцы к своим щекам. В ее глазах, придвинувшихся совсем близко, я увидел тревогу и страх.

— Ну? Что-нибудь плохое?

Я молча кивнул.

— Задание? За границу? А ты? Согласился?

Она прошла вслед за мной в комнату и присела рядом на диван.

— Ты согласился? Говори уж сразу . . .

— У меня не было выбора. Подожди . . . Ты ничего еще не знаешь. Да, я согласился поехать за границу. Но я ни в чем не собираюсь отступать. Наоборот — я еду для того, чтобы покончить с заданиями раз и навсегда.

Она стала недоверчиво вглядываться в меня.

— Коля, что ты придумал? Рассказывай все . . .

— Все рассказать не могу, потому что сам еще не знаю. А принцип такой: они хотят, чтобы я поехал в Европу на пару месяцев с разведывательным заданием второстепенного характера. Так, во всяком случае, они стараются представить дело. Задание, якобы, простое. Но я хочу, чтобы оно было последним. Надо что-то предпринять, Яна. Так больше нельзя. Уже ясно, что ждать аспирантуры все равно, что ждать у моря погоды. Надо поставить точку. Да, я поеду в Европу, чтобы инсценировать какой-нибудь инцидент и скомпрометировать себя, как разведчика. Больше они меня посылать не смогут.

— Ну и убьют они тебя сами где-нибудь из-за угла.

— Зачем? Я сделаю все чисто. Небольшой провал и какие-нибудь сведения обо мне, проникающие в западную печать. Такие вещи случаются часто. Это наша единственная возможность, Яна.

— А если западная полиция посадит тебя?

— Я организую что-нибудь в советской зоне, в Австрии, например. Советская же разведка и вытащит меня из тюрьмы.

— Или пошлет кого-нибудь закрыть тебе рот . . .

— Не думаю . . . Но все равно. Нужно рискнуть. Поверь мне, Яна — нужно!

— Я боюсь. Сорвется что-нибудь и — конец.

— Не сорвется. Задание на редкость подходящее для такой попытки. Понимаешь, если даже и отбрыкаться как-нибудь от этой поездки, завтра могут приказать такую гадость, из которой вообще никакого выхода не будет. Нет, нет, совсем не так опасно, как тебе кажется. Поверь мне, Яна — секрет будет только в том, чтобы выбрать правильное место и правильный момент для срыва задания . . . Да — именно в этом: правильное место и правильный момент . . .

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После конца войны в течение нескольких лет «Бюро номер один» МГБ СССР особо важных заданий от правительства не получало.

Разведывательная работа мирного времени требует хорошего знания западных стран, требует людей, привыкших к действиям в закордонной обстановке. Большинство сотрудников Бюро номер один имели лишь опыт партизанской борьбы на территории оккупированной немцами. Генерал Судоплатов старался воспитать необходимых ему разведчиков в «лаборатории» стран народной демократии. Но тем временем, серьезные государственные задания поручались Главному Разведывательному Управлению МГБ СССР, собравшему у себя большинство бывалых и натренированных специалистов по Европе.

Однако генерал Судоплатов не отчаивался. Он знал, что его небольшой коллектив обладает одним особым качеством. Люди Судоплатова прошли большую школу боевой диверсионной работы в условиях игры со смертью. Это означало не только то, что они готовы были пойти на территорию противника для задания любой опасности. На это были способны и разведчики из Главного Управления. Но боевики бывшей партизанской службы знали уязвимые места военных заводов и артиллерийских складов, умели подобрать в любой аптеке материалы для взрывчатых веществ, были знакомы с теми элементами в психологии масс, ударив по которым

можно вызвать дезорганизацию государственной военной машины. Они умели работать с самодельной радиостанцией, были способны стрелять безошибочно в темноте и драться, как волки — насмерть. Короче — они могли не только запланировать диверсию, но и провести ее сами. Кроме того, люди Судоплатова научились за годы партизанской войны выбирать из массы мирных граждан тех, немногих, кто способен на выполнение «боевого задания». Боевым заданием на языке советской разведки называется особенно рискованное поручение, связанное с саботажем, диверсией, а иногда, даже и с убийством. Такие поручения обычно выходят за пределы международной законности. От людей, организующих такие операции, требуется особая надежность и умение молчать при любых обстоятельствах. Коллектив Судоплатова состоял именно из таких людей. Во всяком случае так, наверное, думал генерал и вряд ли кто-нибудь стал бы с ним спорить.

Судоплатов терпеливо ждал, когда придет его время.

Первые три года после окончания войны советское правительство в заданиях связанных с диверсиями особенно не нуждалось. Оно свободно хозяйничало в большинстве стран Европы и пользовалось неограниченным доверием западных «союзников». Даже для того, чтобы заполучить обратно советских граждан, доверивших свою жизнь Западу, Сталину стоило только попросить об этом «западных друзей». Сотни тысяч русских людей были вытолкнуты английскими и американскими прикладами навстречу расстрелу и смерти в концлагерях. В советской печати появились сообщения о казни «изменников Родины, захваченных советскими войсками на территории Германии».

Но постепенно, часть общественных деятелей западных стран начала понимать, какую опасность готовят свободному миру коммунистические правители.

Началась война, наивно называемая «холодной».

Советской разведке снова понадобились люди, способные организовать «боевую работу». На этот раз уже не против фашистской армии, а против американских укреплений в Европе. Безработица в Бюро номер один прекратилась.

Правительственное задание генералу Судоплатову было кратким: «развернуть боевую деятельность по ослаблению сети военно-опорных пунктов американского командования в Европе . . .»

В переводе на практический язык это означало: уничтожение баз, складов, поджоги судов перевозящих военное снаряжение, акты саботажа на заводах оружия и амуниции, короче — борьба любыми средствами.

Было только одно главное и непременное условие. В любом случае, при успехе или провале операции, в руки противнику не должны попадать доказательства причастности советской разведки ко всему случившемуся.

В начале 1949 года офицерский состав Бюро номер один приступил к разработке оперативного плана.

Помня о главном условии задания, офицеры спецслужбы начали не с планирования диверсий и саботажа, а с разрешения проблемы: «как обеспечить главных «боевых» резидентов, посылаемых в страны Европы, настоящими документами?» Боевые группы могли быть «гастролерами» — приезжать на задание и потом исчезать. Легенде же резидентов предстояло выдержать любую проверку властей.

«Легендой», на языке разведки, называется вымышленная биография. Она дается агенту, которому необходимо играть другое лицо.

Но всякая легенда, в сущности, рассчитана на счастье или мастерство агента и на невнимание полицейских властей. Тщательная проверка всегда, в конце концов, докажет, что легенда — вымысел.

Это не имело права случиться с резидентами Бюро номер один.

Этим разведчикам нужно было дать не вымышленную биографию, а настоящую вторую жизнь. И — подлинные, поддающиеся любой проверке, документы.

Из таких людей предполагалось создать сеть опорных точек вокруг американских укреплений в Европе.

Около года сотрудники Бюро номер один пытались использовать поток беженцев из стран «народной демократии» в Австрию. Почти все агенты Судоплатова, поселенные в эти странах, получили местное гражданство. Предполагалось устроить им побег и затем выждать,

пока западные власти произведут проверку. Довольно скоро выяснились невыгодные стороны такого варианта. Все беженцы попадали в лагерь и проводили там месяцы, а затем, даже будучи выпущенными на относительную свободу, не пользовались правом выезда за границу. Поэтому министр госбезопасности разрешил Бюро номер один в конце 1950 года послать в Австрию специальную оперативную группу. Ей поручалось выяснить нельзя ли получить агентурными путями настоящие, «закрепленные» австрийские документы. «Закрепленные» означало — выданные совершенно легально и зарегистрированные во всех официальных учреждениях, ведающих полицейским учетом. В начале 1951 года группа добилась больших успехов. Удалось найти коммуниста, работающего начальником паспортного стола в секторе Медлинг города Вены. Он был завербован и помог найти дальнейшие связи. Вскоре у Бюро номер один были образцы нужных документов и, что самое главное, свои люди в полицейском аппарате города Сант-Пельтена, недалеко от Вены. Можно было приступить к созданию фиктивного австрийского гражданина.

По плану Судоплатова, советский офицер-разведчик должен был тайно приехать в Австрию, поселиться под видом австрийца в Вене и получить совершенно легальным путем настоящий австрийский заграничный паспорт. Затем, эта «первая ласточка» должна была проехать по странам западной Европы, собрать возможно большее количество виз и точно узнать, на каких условиях эти страны впускают к себе австрийцев. Выяснить полицейский режим и проверки, которым там подвергаются австрийцы. Узнать, есть ли для них возможность устроиться на работу или поместить деньги в банк. Другими словами, этому человеку предстояло проверить на собственном опыте, можно ли строить планы агентурной сети в Европе на австрийских заграничных паспортах.

От его успеха или неуспеха могла зависеть судьба судоплатовской службы.

По иронии судьбы, генерал выбрал для этой роли меня. Мне не был, конечно, объяснен весь объем задуманной работы. Я знал только, что обязан вылететь в

Вену, стать австрийцем, получить заграничный паспорт и поехать с этим документом на руках по странам западной Европы.

В феврале 1951 года на конспиративной квартире в Москве собралось за небольшим столом три человека.

Одним из них была Тамара Николаевна Иванова, капитан госбезопасности и замначальника австрийского отделения Бюро номер один.

Рядом с ней сидел майор госбезопасности Сергей Львович Окунь, замначальника оперативной группы в Австрии.

Третьим был я, новоиспеченный старший лейтенант госбезопасности, Хохлов.

С Ивановой мы были старыми знакомыми.

Впервые я встретился с ней в 1942 году, когда начальство решило превратить меня в офицера немецкой армии.

Тамара Николаевна служила тогда переводчицей в Партизанском Управлении. Попала она туда по партийному набору сразу после окончания Института иностранных языков.

Немецкий она знала превосходно. У нее определенно был талант к иностранным языкам. За годы войны, параллельно с напряженной работой в разведке, она изучила французский язык и взялась за английский. Позже овладела и венгерским. Как большинство некрасивых женщин, Тамара Николаевна была умна и обладала тонким чутьем к людям. Судоплатов сумел оценить ее способности и понять ее амбиции. Сразу после войны он провел ее в штат и переводчица Иванова сделалась офицером Ивановой.

Своей внешностью она поразительно напоминала немку.

Невысокого роста, худая, с длинным непропорциональным лицом и немного впалыми щеками, со светлыми просто причесанными волосами над бледным лбом в ранних морщинах, она запоминалась цепким взглядом своих голубоватых глаз и упрямым выражением тонкого рта.

Я так и не знаю, почему она не была послана во время войны в тыл к немцам. Семейные причины ее

удерживать не могли. Замужем она никогда не была. Из отдельных обрывочных сведений до меня дошло, что детство ее было очень тяжелым и часть его она провела в детском доме. Немногочисленные ее родственники проживали за городом на станции Лосиноостровская и она, иногда, навещала их по воскресеньям. Кто именно у нее жил там, мы почти не знали. Она их всех вместе называла просто: «Лосинка».

Думаю, что Судоплатов понимал, что с нервами у Тамары Николаевны дела обстоят плохо. После войны он попробовал поселить Тамару Николаевну в Венгрии. Иванова была послана туда, как немка-беженка и года два прожила довольно благополучно. Она начала даже изучать маникюрное дело, готовясь к выезду дальше на Запад. Но, в один прекрасный день, мелкая неприятность с местной полицией вызвала, вдруг, кризис. С Тамарой Николаевной случилась настоящая истерика. Она разрыдалась на конспиративной квартире и заявила категорически, что «больше так жить не может».

Ее вернули в Москву и сделали сотрудником Центрального аппарата.

В 1951 году она была капитаном и заместителем начальника отделения.

Ей было уже лет тридцать восемь, но в ее личной жизни никаких особенных изменений не произошло, за исключением того, что морщинки на лице стали глубже, а внутренняя тайная тоска о маленьком женском счастье, наверное, еще острее.

Майор Окунь был полным мужчиной лет тридцати с круглым, холеным лицом и крупным, резко очерченным, ртом.

Его большие черные глаза, длинные, почти мохнатые ресницы, оттопыренные уши и нос, чуть солиднее, чем полагалось бы по-греческим нормам, выдавали его еврейское происхождение. Слово «выдавали» подходит потому, что майор Окунь представлялся новым знакомым, как Сергей Львович, хотя все интимные друзья знали, что он — Саул.

Окунь как бы чувствовал, что его еврейское происхождение может принести ему неприятности в государстве, где все национальности равны. Его предчувствия

оправдались, хотя и немного позже описываемых событий.

С Окунем я встречался до февраля 1951 года несколько раз в Румынии, куда он приезжал, чтобы познакомить меня с маршрутом, по которому мне предстояло «бежать» в Австрию и чтобы наметить план моего прохождения через проверочные чистилища западных властей.

Меня поразило тогда его сходство с Судоплатовым. Я подумал даже, что Окунь его родственник. Только позже я понял, что внешнего сходства не было никакого, а путала манера Окуня говорить и держать себя точно так же, как это делал Судоплатов. Мне трудно было поверить, что серьезный человек, офицер разведки может сознательно копировать своего начальника, но я быстро убедился, что происходило это у Окуня совершенно непроизвольно, так сказать, от слишком большого почтения к начальству.

И в этот раз, Сергей Львович опять растягивал слова на гласных ударных и постукивал по-судоплатовски пальцами по столу.

— Вот, здесь выписано несколько типичных австрийских имен. Выбирайте, какое вам больше по вкусу.

Я выбрал Иосифа Хофбауера.

Тем временем, Окунь разложил на скатерти несколько бланков разной формы и расцветки.

По этим карточкам должна была подтверждаться биография Хофбауера в государственных архивах Австрии.

Материал, лежавший перед нами на столе, был большим. Часть его составляли образцы карточек и формуляров на других лиц. Они были изъяты советской агентурой из австрийских архивов и переправлены в Москву для копирования подписей чиновников, состава чернил, формы печатей и прочих деталей. С ними полагалось обращаться особенно осторожно. Их нужно было отправить обратно и заложить на прежнее место.

Кроме того имелись чистые бланки. Часть из них была сделана в лаборатории МГБ, после анализа бумаги. Часть была доставлена из Австрии. Нам предстояло заполнить в них моим почерком те места, которые когда-то «заполнялись» Хофбауером. От нас бланк должен

был пойти в лабораторию, получить нужные надписи, значки и печати, «состариться» в термостате и вернуться в Австрию. Там, агенты советской разведки, заложат готовые документы в соответствующие картотеки полицейских и гражданских архивов.

Таким путем, в полиции, в магистрате Сант-Пельтена, статистическом бюро, Центральной Полицейской картотеке и других учреждениях, создавались доказательства подлинности Хофбауера.

Сложнее обстояло дело с датой рождения. Австрийцы при рождении записываются в книгу местной церкви. Страница этой книги, по истечении дня, прочеркивается и подписывается священником. Заменить страницу такой книги советская разведка не могла. Но выход, все же, нашелся. Агент в Сант-Пельтене посетил церковь и заинтересовался записями о рождении. После его ухода у книги 1925 года исчезла последняя страница, от 31 декабря. Теперь, если и нельзя было доказать, что на этой странице была запись рождения Хофбауера, то нельзя было также доказать, что ее н е б ы л о.

Зато в местном магистрате имелась отметка в книге, что родителям Хофбауера было выдано свидетельство о его рождении 31-го декабря 1925 года.

После нескольких дней коллективного творчества, жизнь Иосифа Хофбауера начала приобретать более или менее ясный облик.

Для пущей безопасности мы послали его на много лет в Румынию. Проверка румынских архивов западным властям недоступна. Поэтому Хофбауеру пришлось удовлетвориться родителями разных национальностей. Отец его был чехом по рождению, но австрийцем по гражданству. Мать родилась в Трансильвании в то время тоже входившей в состав Австрийской империи.

По семейным соображениям, Хофбауеры переехали в 1928 году из Сант-Пельтена в Бухарест.

Молодой Хофбауер — Иосиф, окончил в Румынии среднюю школу и работал некоторое время радиотехником.

В 1946 году, народно-демократическая власть ему надоела. Он списался с магистратом Сант-Пельтена и восстановил свое австрийское гражданство. Но румын-

ские власти визы на выезд Хофбауеру не давали. Летом 1947 года он бежал через венгерскую границу в Вену.

В октябре того же года он был официально восстановлен в гражданских правах и поселился в Сант-Пельтене.

Здесь наша московская работа по созданию Хофбауера кончилась.

Адрес, по которому он был прописан в Сант-Пельтене, был адресом одного из наших агентов. Домик стоял на отлете и соседи не смогли бы опровергнуть слов хозяина, что у него на квартире четыре года проживал некий молодой человек по имени Иосиф Хофбауер.

Мне предстояло взять судьбу Хофбауера в свои руки, переселиться из Сант-Пельтена в Вену, получить заграничный паспорт и выехать в турне по западноевропейским странам.

В ночь перед отлетом в Австрию спать мне было некогда. Оговаривались последние мелочи, проводились встречи с начальством, принимались последние указания.

В самолете, сразу, как только захлопнули люк и запустили моторы, я набрал несколько меховых пилотских курточек, разложил их на волнистой скамейке, закрылся почтовым брезентом и крепко заснул.

Спать никто не мешал до самой Австрии. Самолет был военным, почтовым. Пассажиров, кроме меня, никого, и летчики были, наверное, только рады, что никто не болтается у них под ногами.

Я проснулся за мгновение до того, как штурман положил мне руку на плечо и прокричал в ухо: «Эй, друг! Садимся. Австрия! Приехали!»

В самолете было холодновато. Не вылезая из-под уютного брезента, я придвинулся к слюдяному окну.

Внизу, у подошвы длинной цепи синих дымных гор виднелись белые и красные полоски. Они качнулись и вместе с горами поплыли, вдруг, мимо самолета вверх, вытесняя небо. Мы поворачивали на посадку.

— А где же Вена?

— Вену проспали — прокричал штурман в ответ. — Это наш аэродром, километров на пятьдесят южнее.

Пока самолет подпрыгивал на аэродромных кочках, я торопливо приводил себя в порядок.

Мой темнозеленый костюм совсем не измялся. Не мудрено. Я только четыре дня тому назад получил его из специального склада МГБ СССР и кладовщик, показывая мне пеструю этикетку над внутренним карманом, гордо разъяснял: «Видите? Американский. Чистая шерсть высшего качества». Костюм и впрямь был не плохим, хотя коротковатые брюки, суживающиеся книзу, все еще приводили меня в некоторое смущение.

Стальную дверь отвинтили и она упруго отскочила, открыв полосу светлой зелени.

Было только самое начало апреля и всего семь часов тому назад, в Москве, я дрожал на морозном ветру, поджидая выруливающий самолет.

А здесь — уже греющее солнце, порыв свежего воздуха с запахом теплой земли, молодой травы и еще какой-то гаммы необъяснимых мотивов, присущих только весне.

На пустынном поле аэродрома несколько низких цементных зданий, развороченных бомбами. Они ощетинились железными балками и обрывками стальной решетки. Из-за одного из них выскочила коричневая машина «Мерцедес».

В ней Окунь и с ним еще один незнакомый мне молодой человек с вьющимися волосами и чуть горбатым носом. На нем кожаная шоферская куртка с бесчисленным количеством молний.

— С приездом, Николай. Укачало? — Тон Окуня приветлив и сердечен. Он чувствует себя хозяином, принимающим гостя.

— Валентин, — протягивает руку молодой человек. Голос его звучит хмуро, но похоже, что это просто в его характере.

Мы уезжаем с аэродрома и попадаем в соседний городок. Первый австрийский городок в моей жизни. Шоссе проходит по главной улице. По краям его — аккуратные, как игрушечные, дома, с острыми почти отвесно спадающими крышами.

В нижних этажах, витрины, яркие и разноцветные. Над витринами витые готические буквы.

Мы проносимся через небольшую круглую площадь с фонтаном посредине и высокой позолоченной колонной.

Прохожие в пальто и костюмах специфического европейского покроя. Мелькают уже весенние яркие цвета. На перекрестке, перед нашей машиной, улицу пересекает мужчина в зеленой куртке с пуговицами из темной кости, широких серых штанах с лампасами и с фетровой зеленой шляпой на голове. На остроконечной шляпе без ленты — пестрое перо.

— Тирольский костюм. Здесь его многие носят, — поясняет Окунь.

Дома так же внезапно обрываются, как появились и мы оказываемся снова на пустынном шоссе. Валентин останавливает машину.

Мы с Окунем уходим вперед, вдоль деревьев, тщательно посаженных по краям дороги.

Он передает мне небольшой конверт. В нем желтая книжечка удостоверения личности, синий листок прописки, свидетельство о гражданстве, метрика.

— Ваши австрийские документы, Николай. Часть из них пока фальшивые. Постепенно будем заменять их настоящими. Положение в Сант-Пельтене хорошее. Наша агентура ждет, когда вы сможете включиться в процесс получения загранпаспорта. Москва, между прочим, думает, что поселяться вам сразу в Вене под именем Хофбауера опасно. Для австрийца вы еще маловато знакомы со своей страной.

— Да. Генерал говорил мне об этом прошлой ночью.

Окунь продолжает.

— Я снял в городке Винер-Нойштадт, недалеко от Вены, две комнаты для себя, на имя инженера советско-австрийской компании Сергеева. Вам стоит поселиться там на несколько недель тоже под видом советского инженера и познакомиться постепенно с местной обстановкой. В Вену вы можете ездить поездом или автобусом. Меньше часа езды. Ну и Валентин, конечно, если нужно, вас подбросит.

— А квартирохозяйка? Соседи? Если потом кто-нибудь из них встретит меня в Вене, как Хофбауера?

— А вы старайтесь с ними особенно не знакомиться. Потом, хозяйка квартиры пожилая женщина, пен-

сионерка, живет там с двумя своими сестрами и никуда, фактически, не выезжает. В общем, ничего не поделаешь. Это, пока, единственная возможность пожить вам между небом и землей.

Я соглашаюсь на эту единственную возможность.

Мы едем в Винер-Нойштадт.

Квартира бывшей директорши женской гимназии, госпожи Хауер, на втором этаже дома номер восемь по Унгаргассе, оказалась моим первым пристанищем в Австрии. Окунь коротко представил меня полной розовощекой, но уже седой австрийке, как своего коллегу, советского инженера, откланялся вполне по-европейски и ушел.

В маленьких комнатках директорской квартиры я еще продолжал оставаться советским гражданином.

Выйдя снова на улицу и покрутившись в переулочках, я приступил к перевоплощению в образ Иосифа Хофбауера.

Прошло уже семь лет, как мне в последний раз пришлось играть роль немца среди немцев. С тех пор забылось многое. И роль австрийца среди австрийцев будет, наверное, более трудной. Нужно начать с проверки языка. Примут ли меня за иностранца?

Парикмахерская. Заходить сюда, вообще-то, невыгодно. Волосы у меня пострижены на тот нейтральный манер, на который способны парикмахеры из специальной парикмахерской МГБ СССР. Но, в сущности, страшного ничего нет. С чего-то надо начинать.

В узкой, длинной, полутемной парикмахерской один посетитель и два мастера. Меня сразу усадили в кресло. На мраморный столик услужливо легла австрийская газета и мастер, ничего не спрашивая, начал щелкать ножницами над моим ухом. Значит, прическа моя слишком явно нуждалась в переделке.

Почему он ничего не спрашивает? Принял за иностранца? Я робко пускаюсь на разведку.

Спрашиваю мастера, где можно купить шляпу в городке.

Он отвечает очень охотно. Разговор о ресторанах. О пиве, конечно.

И, вдруг, неожиданный поворот. Рассказывая о местной пивной, мастер добавляет значительно: — «Что-

что, а пиво у нас в Австрии хорошее. Не хуже, чем у вас в империи».

Он употребляет слово «райх». Я вспоминаю: в разговорах с пленными австрийцами во время войны они, также, называли Германию «райхом» — империей. Вот оно что, мастер уверен, что я немец. Ну и прекрасно. Для начала достаточно.

— Да, — соглашаюсь я, — ваше пиво, конечно, почти такое же, как наше.

— Особенно светлое, — снисходительно улыбаясь моему национальному упрямству, добавляет парикмахер.

Волосы пострижены, уверенность в себе обретена. Теперь надо немецкий язык и немецкий опыт превращать в австрийский диалект и в облик обычного, рядового австрийца.

Сегодня я еще поразведаю Винер-Нойштадт, а завтра можно и в Вену. Мое начальство не особенно спешит, но у меня-то времени мало. Мне надо скорее становиться Хофбауером. Потому, что у меня для Хофбауера особые, собственные планы. Вряд ли мое начальство обрадовалось бы, узнав о них.

Мы сидим с Окунем в небольшом кафе на углу Маргаритенштрассе и обсуждаем результаты моего двухнедельного пребывания в Австрии.

Конец апреля. В Вене уже жарковато. Кругом нас на столиках вазочки с разноцветными шариками, — сезон мороженого открылся.

Народу много и нам приходится разговаривать вполголоса.

За прошедшие четырнадцать дней я познакомился немного и с Веной и с повседневной австрийской жизнью.

Я узнал, что в отличие от немецких «бротхен», булочки называются здесь «семмель», что кружка пива не «молле», а «зайдль», что в магазине ветчину отвешивают не на фунты, а на декаграммы, и что, когда кондуктор трамвая поет протяжно и звучно на весь вагон «цу-у-геш-тие-е-ген», он не валяет дурака, а на чисто венском диалекте приглашает взять билеты.

Я убедился, что для венца кофейная то же, что пивная для немца — и читальня, и клуб, и место для политических дискуссий.

Однако веселится венец в маленьких винных подвальчиках и называет такие вечера счастливого забытья «цум хойриген», что, вообще-то, должно было бы означать «чествование молодого вина». Хозяева подвальчиков многозначительно вывешивают еловый венок над входом в знак того, что получили молодое вино.

Я познакомился и с Мариахильферштрассе, улицей популярных магазинов и кинотеатров, со старинным каменным Бургом в центре города, с карликовой железной дорогой увеселительного сада Пратер и с его гигантским колесом-каруселью.

Я постоял и перед собором святого Стефана, подивился на его побелевшую от времени каменную резьбу, шпиль, самый высокий в Вене, на голубую мозаику косых крыш.

Я побывал и на площади святого Петра, рядом, тоже в центре города. Но не церковь того же имени привела меня туда. Круглая и непомерно широкая для малюсенькой площади, отделенная только узкой полоской улицы от старых, строгих, давно не штукатуренных домов, она не понравилась мне. Я зашел туда из-за кабачка «Ориенталь».

Как раз напротив церкви, под пестрой восточной вывеской, крутая лестница и подвал. Там, в красном полусвете, собираются каждый вечер американские, английские, французские и советские солдаты. Тесно сгрудившись вокруг шестиугольных столиков, они следят с одинаковым интернациональным интересом за танцующими в полутьме обнаженными телами австрийских девушек с восточными псевдонимами.

— Вот туда ходить не надо было, — почти завистливо подбрасывает Окунь, и не выдерживает. — Неужели совсем голые?

— Совсем, — подтверждаю я, и удивляюсь. — Вы что, неужели не были?

— Да нет. Никак не собрался. А вам, правда, туда не надо. Опасное место. Драки бывают часто и облавы полицейские.

Я не могу ответить ему, что именно в поисках такого опасного места и зашел туда, а просто меняю тему.

— В общем, Сергей Львович, в Вену переезжать мне можно. Да и пора. Не хорошо мне больше торчать на глазах у жителей Винер-Нойштадта.

Окунь легко согласился.

— Да, в ближайшие дни начнем организовывать. Некоторые мелочи, еще не выясненные, придется . . .

Он не докончил фразы и перевел взгляд на стеклянную дверь входа в кафе. Я посмотрел туда же. Рядом с дверью стоял, видимо только что вошедший, полный пожилой человек в темносинем, хорошо сшитом костюме. Судя по его внешности, он мог быть или банковским директором, или собственником небольшого, но вполне преуспевающего предприятия. На такую мысль наводила его презентабельная лысина, окаймленная серебристыми остатками волос, его прямоугольные, щеточкой, усики, золотая цепочка часов под отворотом пиджака и внушительный животик, аккуратно перетянутый светлой жилеткой. Он, однако, не был ни тем, ни другим, а полковником государственной безопасности, Героем Советского Союза, Евгением Ивановичем Мирковским, начальником оперативной группы Бюро номер один в Австрии.

Меня всегда удивляла в Евгении Ивановиче его удивительная способность своим умом, почти чутьем, ориентироваться в незнакомой обстановке и приспособляться к ней.

Много наших офицеров-разведчиков годами обучались искусству разыгрывать роль граждан иностранных государств. Евгения Ивановича не обучал никто.

Как мне кажется, родом Евгений Иванович был из крестьян. В 1951 году ему было под пятьдесят. Он был старым коммунистом и лет двадцать служил в пограничных войсках, или, как он любил говорить, «под зеленой фуражкой». Там ему пришлось столкнуться с контрразведкой.

С началом Отечественной войны Мирковский оказался в числе первых командиров партизанских отрядов, образовавшихся на территории оккупированной немцами. С ним установило связь Партизанское Управление и так Евгений Иванович связал свою жизнь с

разведкой. Незадолго до конца войны, он получил звание Героя Советского Союза за боевые дела, совершенные его отрядом. Герой Советского Союза в разведке вещь очень редкая. Разведка очень скупа на награды. И все же Евгений Иванович, со своим боевым опытом партизана, пребывал несколько лет в таком же состоянии полурабочей неизвестности, в каком находилось все Бюро номер один. Его специальностью была Чехословакия и, иногда, Польша.

С разворотом боевой работы «на Европу» Судоплатов назначил Мирковского начальником оперативной группы в Австрии. С искусством талантливого самоучки Евгений Иванович, в течение кратчайшего времени, сумел усвоить не только походку и внешность австрийского «буржуя», но и стал разбираться постепенно в тонкостях разведработы в условиях настоящей заграницы.

Вот и сейчас, лениво скользнув взглядом по столикам, он небрежно улыбнулся в знак того, что заметил нас и развалистой походкой венского завсегдатая взял курс к нашему уголку.

Мороженое заказал ему Сергей Львович. У Окуня, все же, немецкий язык был чище. Все богатство Евгения Ивановича заключалось в понимании сотни-другой немецких слов и в усердном повторении слова «йа», когда к нему обращались. Он мог, правда, и сам заказать кофе, или несложный обед, но в присутствии сотоварищей по работе предпочитал в дебри немецкого языка не пускаться.

— Приветс-с-твую вас-с. Как живете? — Растягивая букву «с» Евгений Иванович наклонил немного голову набок, прищурился, всматриваясь в меня как бы со стороны и чуть поджал нижнюю губу, что создавало впечатление подавленной улыбки. Все вместе означало, что Евгений Иванович в хорошем настроении.

— Живу понемножку, — сказал я. — Брожу по Вене, набираюсь впечатлений.

— Смотрите, не наберитесь чего другого. Ладно, ладно, я, так сказать, на всякий случай. Тут случалось с нашими ребятами. Все мы люди. Как дела с экипировкой?

Экипировкой, на языке разведки, называется закупка одежды и предметов первой необходимости заграничного происхождения для того, чтобы дать разведчику возможность ничем не отличаться от окружающих его людей.

— Закупаю. Не спеша. Успею еще, — ответил я.

— И не спешите. Небось не в Москву обратно едете, чтобы спешить с закупками.

Евгений Иванович имел полное право съязвить по этому поводу. Он принадлежал к числу редких исключений среди советских граждан за границей и не терял голову, попав в среду изобилия товаров, могущих только сниться гражданам государства трудящихся. Он умел выбирать не спеша и покупать действительно нужные вещи. Может быть ему удавалось это потому, что думал он при этом, в первую очередь, о своей семье. В Москве у него была жена и несколько детишек.

Это с его легкой руки сотрудники оперативной группы в Австрии помогли начальнику отдела МГБ СССР Прудникову приобрести прозвище «Изюм».

Полковник Прудников попал в Австрию в конце пятидесятого года. Оказавшись в первый раз в жизни за границей он обалдел, забыл о работе и целыми днями носился по магазинам, выискивая удачные покупки. Он был начальником соседнего отдела МГБ СССР и Евгению Ивановичу не подчинялся, но когда Прудников начал выспрашивать сотрудников, чего бы такого лучше закупить, чтобы спекульнуть, терпение Мирковского кончилось. И Прудникову «совершенно по секрету» рассказали о потрясающей возможности заработать состояние на . . . изюме. Ему дали совершенно точные данные о бесценке, за который можно купить изюм в Австрии и о колоссальном спросе на этот продукт в Москве.

Прудников привез в Москву невероятное количество изюма. Состояния он не заработал. Ему пришлось раздать богатство знакомым и родственникам, а часть скормить перепуганной семье, потому, что в Москве было полно своего, русского, очень дешевого изюма. Но кличку «Изюм» Прудников получил.

Евгению Ивановичу приносят мороженое и, выждав ухода официанта, я переключаю разговор.

— Мы, вот тут, с Сергеем Львовичем обсуждали как раз мой переезд в Вену. Пора бы уже. Не нравится мне мое пребывание в Винер-Нойштадте.

— Ну, что же поделаешь. Не нравится. У нас в разведке почти все время приходится делать, что не нравится. Я вот тоже, может быть, мороженое терпеть не могу. А приходится есть . . .

И Евгений Иванович с сердцем ткнул ложечкой в мерзлый шарик. Мы помолчали. Фраза Евгения Ивановича вовсе не означала, что он с нами не согласен. Просто Мирковский любил поучить и немного поворчать.

Видя, что ему не возражают, Евгений Иванович снова поднял глаза на меня.

— Рано нервничаете. А в Вену поедете. В ближайшее время. Сегодня у нас встреча со «Стариком». Будем вас с ним знакомить. Обсудим, как лучше вам получить загранпаспорт. Получите, и поселяйтесь себе на здоровье в Вене.

«Стариком» на условном языке назывался наш агент в полиции Сант-Пельтена.

Получив в Сант-Пельтене заграничный паспорт на имя Хофбауера, я мог переезжать в Вену.

Дом, в котором мне предстояло поселиться, был выбран во французском секторе. Хозяин посреднической конторы на Мариахильферштрассе предложил мне много адресов свободных комнат. Но Москва разрешила остановиться только на одном — Линиенгассе 2Б, в квартире некой госпожи Ардитти. Соображений было несколько. В советском секторе жило большинство агентуры и венский адрес оттуда мог бросить тень на благонадежность Хофбауера при его путешествии по Европе. Американский был слишком опасным при осложнениях с полицией. Английский — под наблюдением опытной контрразведки этой страны.

Кроме того, госпожа Ардитти не была урожденной австрийкой. Она приехала из Франции лет пятнадцать тому назад и после смерти мужа осталась одна в трехкомнатной квартире. Ей было лет сорок пять, она жила на пенсию мужа и сдачу в наем двух комнат.

Москва считала, что Ардитти будет труднее, чем прирожденному австрийцу, уловить искусственность в моем австрийском диалекте.

Окунь и Мирковский пожелали мне «ни пуха, ни пера» и еще раз предложили посидеть в машине, чтобы прочитать полученные из Москвы письма. Но я отказался. Я хотел скорее остаться один, чтобы не делить ни с кем своих эмоций при чтении строчек из дома.

Такси доставило меня на Линиенгассе. Ключа от лифта я еще не имел и пришлось тащить тяжелый чемодан по крутой, узкой лестнице на третий этаж.

Было уже поздновато и госпожа Ардитти не сняла дверной цепочки.

— Ах, это вы, господин Хофбауер, — дверь прихлопнулась, звякнула цепочка.

— Я уже думала вы сегодня не приедете. Решила, что вас задержало что-нибудь в Сант-Пельтене. Подождите, я покажу, как отпирается верхний замок. Он не простой. Его установил еще мой покойный муж и, чтобы открыть, нужно . . .

Показ квартиры и инструкции о том, как жить в мире с хозяйкой — закончились. Госпожа Ардитти вносит чистые полотенца и принимается за кровать.

— Спасибо. Оставьте так. Я лягу поздно и не люблю вида открытой кровати.

Мне хочется, чтобы она поскорее ушла и легла спать. В кармане у меня пакет с письмами из Москвы.

Госпожа Ардитти желает мне спокойной ночи и исчезает за дверью. Я терпеливо жду, пока затихнут шаги за стеной.

Вот и закончился подготовительный период. Завтра я пропишусь в местном отделении полиции и ничем не буду отличаться от миллионов других австрийцев, проживающих в городе Вене. Впереди целый месяц для вживания в образ Хофбауера, для увеличения дистанции отделяющей меня теперь от Сант-Пельтена и тамошней советской агентуры. Я, фактически, уже вышел в самостоятельное плавание.

Мирковский назвал этот месяц «неделями набирания сил для предстоящего рывка». Для меня же будущие недели означают другое. За это время я должен навсегда покончить с разведкой и вернуться в Москву. До

сегодняшнего дня я проводил планы советской разведки. Теперь настало время для моих собственных.

Я разрываю пакет с письмами, но в дверь стучат.

— Если вам понадобится горячая вода — чайник на плите. Утром будить вас?

Нет, придется уж подождать пока она заснет. Если она неожиданно войдет и увидит письма с русскими буквами, может получиться нехорошо. И, главное, преждевременно.

Я тушу настольную лампу и откидываюсь на спинку кресла.

Да, пора поставить крест на всем этом.

Надо только проверить, чья комендатура будет контролировать международный сектор в июне месяце. Хорошо бы советская. Тогда все будет очень просто. Подходящий кабачек я найду в центре города. Хотя бы тот же «Ориенталь». Как-нибудь поздно ночью, когда голова больше мешает, чем помогает загулявшим посетителям, можно бросить несколько резких слов раздражительному соседу и подогреть спор до нужного градуса. Если повезет, таким соседом может оказаться американский солдат — они легче переходят к физическим аргументам. Потом — американский бокс против советской тренировки в джиу-джитсу. Вывихнутая челюсть господина Хофбауера и вывернутое плечо мистера Смита. Полиция, скандал и обыск. Странное поведение Хофбауера при обыске. Вездесущие репортеры. На следующий день в венских газетах заголовки: «Таинственное происшествие в ночном кабаре. Задержанный австриец пытается уничтожить бумаги с русским шрифтом, найденные при нем. Вмешательство советской комендатуры. Хофбауер исчезает в советском секторе. Опять работа Москвы?» — И фотография господина Хофбауера, которую ищейки-репортеры обязательно достанут в полицейском архиве.

Судоплатов никогда не пойдет на передачу меня австрийским властям для следствия и суда. Он, конечно, немедленно заберет меня из Австрии. Будут создавать впечатление, что я — уголовник, ускользнувший от полиции, но моя работа на Западе закончится. Осечки быть не должно. А если не советская комендатура будет хозяином интернационального сектора, я

смогу устроить то же самое в советском районе. Там тоже есть ночные клубы. Только драться придется уже с австрийцами. Жаль — шума будет меньше.

Кажется Ардитти заснула. Я вынимаю письма и включаю лампу.

Мамино письмо. Дома все в порядке и мама, как всегда в письмах за границу, желает мне успеха в выполнении задания. Она и на этот раз не знает, куда и зачем я выехал. «Долгосрочная командировка по особому заданию . . .» Вот и пишет она в пространство чужим, искалеченным от страха перед цензурой, языком.

В середину маминого письма вложено две странички, исписанные тонким карандашом. От Яны. Я пробегаю скупые на вид строчки. Письмо такое же, как и сама Яна. Его нужно читать внимательно, терпеливо и понимая недосказанное. Тогда все становится ласковым и родным.

Такой же скорлупкой сдержанности и внешней бесстрастности защищала себя Яна много лет от попытки власти подчинить себе личную жизнь своих подданных.

Уйти в себя, замкнуться в узком кругу родных и близких людей, любимых книг, семейных традиций, быть внешне безразлично лояльным, но в глубине души сосредоточить презрение к системе и ее служителям, — таков был путь, благодаря которому миллионы советских людей сумели остаться вне и выше советской действительности. Трудный и мучительный путь. Таких людей иногда называют внутренними эмигрантами. Это выражение неизвестно в Советском Союзе. Я назвал бы их скорее внутренними узниками. Узниками добровольными и самоотверженными. Одни из них живут в одиночных камерах. Тем особенно трудно. Другие сумели найти товарищей по заключению. Так же, как в тюрьмах, перестукиваясь через стенку, умеют обходить тюремную цензуру, так и в Яниных письмах я понимал каждое ее слово обращенное ко мне.

Она считает дни и часы до моего возвращения и уже измучилась ожиданием. Но это не важно. Она будет ждать столько, сколько нужно, сколько угодно, только получилось бы все хорошо. Она очень просит не принимать поспешных решений. Ведь речь идет не

только о нашей будущей жизни. Речь может идти и о моей гибели. Она понимает, что риск нужен и уже согласилась на это еще перед отъездом, но ей кажется, что главная опасность может придти от собственного моего начальства. Если я сразу сорву задание, меня заберут из Австрии. Но вернут ли меня домой? Я много месяцев вел борьбу за уход из разведки. До сих пор начальство не видело правды. Но когда первое же мое задание в самом начале сорвется, не откроются ли у них глаза? Может быть лучше не сразу? Не надо думать о ней. Она выдержит. Но правильно ли начинать с провала? Не лучше ли закончить им? Не стоит ли еще раз хорошо все обдумать?

Я откладываю письмо. Янин голос еще звучит в моих ушах. Я держу спичку в руках и не могу ее зажечь. Меня удерживает ощущение, что прежде чем не решу, как быть с моими планами, я не имею права уничтожить ее письмо.

В самом деле, что же будет более правильным? — Сорвать задание в ближайшее время. Не брать на себя риска поездки по Европе. Использовать свободный месяц для тщательной подготовки и проведения срыва?

Или, — не горячиться, проехать по двум-трем странам и выполнить хоть что-то. Не будет ли выглядеть более логичным, если на обратном пути, в хмелю удачи, я натворю какую-нибудь глупость? Чем я рискую, если поеду? Документы у меня абсолютно надежные. Вести я себя буду осторожно и особенного рвения не проявлять. Зато, когда вернусь в Австрию, Судоплатов сможет доложить министру о выполнении задания. Я сразу отойду на второй план. Если что-то и случится со мной после этого, не будет взрыва, который действительно может открыть кое-кому глаза. Не будет сорванного государственного задания.

А неделю-другую, на празднование благополучного возвращения, мне дадут в Вене. Тогда и будет самое подходящее время для инсценировки.

Да... Пожалуй самое разумное провести срыв на обратном пути. Выдержим лишних месяц-полтора. Мне, конечно, будет легче, чем Яне. Но она права. Провал лучше перенести на заключительную фазу.

Я сгибаю письмо пополам несколько раз и ставлю на пепельницу. Сухая тетрадочная бумага загорается легко.

Так я и оказался в один июньский день 1951 года в купе Арльбергского экспресса, направляясь, под видом австрийского коммерсанта, к австрийско-швейцарской границе.

В купе, кроме меня, был еще один пассажир. Я не знакомился с ним. Да и он большей частью дремал в углу или курил трубку в коридоре у окна, рассматривая проносящийся мимо пейзаж так, как наблюдают за мухой, ползающей по стеклу.

Часов в шесть вечера мы подъехали к пограничному городку Фельдкирх. Поезд задержался на станции несколько минут. Я слышал уже в Вене, что австрийские пограничники производят проверку поезда, переезжая вместе с ним в Швейцарию.

Дверь в купе открылась рывком и властный голос бросил:

— Пограничная проверка. Паспорта, пожалуйста!

Молодой офицер в зеленой форме и высокой альпийской фуражке скользнул взглядом по нашим лицам и внимательно осмотрел верхние полки. Открыв хофбауерский паспорт на фотографии, он смерил меня еще раз своими серыми, внимательными глазами, прижал левой рукой паспортную книжку к краю двери и отцепил печатку от ремня. Удар по страничке и паспорт возвращается мне. Моему соседу офицер уделил значительно больше внимания. Я для него был обычным, примелькавшимся австрийским обывателем. Сосед же протягивал ему темно-синюю книжечку с золотым британским львом.

Вертя в руках заграничную книжечку пограничник учинил англичанину целый допрос. Куда, зачем он едет, сколько времени был в Австрии. Мой невозмутимый сосед вытащил из бумажника еще несколько каких-то листочков и, наконец, печатка пограничника легла и на его паспорт. Офицер щеголевато откозырял и аккуратно закрыл за собой дверь купе.

Теперь нужно было ждать таможенников. Они не замедлили появиться. На пороге стоял маленького рос-

та, симпатичный толстяк в полувоенном сером костюме и разглядывал нас, как бы раздумывая, что бы такое сказать подходящее. Потом он предложил нам самим заявить, не везем ли мы с собой предметов, подлежащих обложению пошлиной. Я ответил, что у меня ничего такого нет.

Пока таможенник изучал наши с англичанином паспорта, мой сосед выложил на серый плюш дивана груду табачных пачек и плоские бутылки с виски. Выписав ему квитанцию, таможенник ткнул пальцем на полку.

— Чей это чемодан?

— Мой, — ответил я.

— Ага, — кивнул таможенник и полез проверять чемодан англичанина. Однако, пощупав вещи сверху и примерившись к тяжести чемодана, он спрыгнул вниз, пожелал нам приятного путешествия и исчез.

Либеральность таможенника меня приятно поразила. Неужели это система? Я вышел в коридор. За стеклом соседней двери, молодая австрийка с красными, горящими пятнами на щеках выкладывала на диван из чемоданчика розовые комбинации, трусики, бюстгальтеры и еще какие-то полупрозрачные детали женского туалета. Таможенник стоял подбоченившись в углу и что-то командовал своей жертве. Я вернулся в купе. Нет, австрийские таможенники, видимо, не так уж либеральны. Мне просто повезло.

Мне нужна была эта неожиданная милость судьбы. Еще в Москве я обратил внимание Ивановой на то, что края замшевой подкладки моего дорожного несессера были запачканы клеем. Мы немедленно вернули кожаный ящичек в отдел «Д» и офицеры этой специальной службы обещали переделать все заново. Но в Вене, рассматривая вместе с Окунем присланный мне вдогонку несессер, мы обнаружили, что на замше остались серые уродливые пятна подсохшего ворса. Времени на скандал уже не было. Я решил рискнуть и взять несессер с собой прямо так.

Колеса вагона застучали по мосту. Я выглянул в окно. Широкая, серая, после горных речек кажущаяся плоской, водная поверхность — Рейн. Мы переезжаем в Швейцарию. Пограничная станция Букс. Мимо поез-

да, по перрону, медленно идет солдат в элегантно сшитом сером мундире и не спеша запирает все вагонные двери. Но это только видимость. Швейцарии безразлично, кто и как едет в страну. Здесь свободное обращение всех денежных валют мира и самая неподдельная традиционная нейтральность. Швейцарский пограничник ставит штампики на паспорта, не задавая никаких вопросов. Двери вагонов отпираются и я выхожу на платформу. Вечерний прохладный воздух. В углах вокзальных стен лежит темнота. А вверху, на фоне угасающего неба, зубцы горных вершин еще светятся красноватым отблеском. Впереди меня горят, по-игрушечному яркие, зеленые неоновые буквы. Контора по обмену валюты. Я иду к этой двери. Мне нужно обменять 900 австрийских шиллингов, которые я имел право по закону вывезти с собой из Австрии. Это составит, примерно, 150 швейцарских франков. На несколько дней хватит. Пока я подберу подходящий момент, чтобы вскрыть свой дорожный несессер.

В Цюрих я приехал поздно вечером. Гостиницы были переполнены. Летом в Швейцарии особенно много туристов. За небольшую взятку мне удалось получить от вокзального агента гостиниц клочок бумаги с надписью: «Отель Лимматкей, комната на одного человека».

Утром, в туристическом бюро, я достал адреса французского и датского посольства. По дороге, рассматривая главный проспект Цюриха — Вокзальную улицу — я искал глазами вывеску банка посолиднее.

В Швейцарии мне предстояло решить две задачи. Положить в банк крупную сумму денег и достать визы в страны моего маршрута.

По особому международному соглашению в некоторые государства австрийцам не требовалось визы для въезда. На эти страны я должен был потратить меньше времени. Москву, в первую очередь, интересовала процедура получения виз во Францию, Бельгию, Данию. Причем, Данию я должен был посетить во что бы то ни стало. Таков был приказ генерала Судоплатова.

— «Дания, это своеобразный трамплин в случае будущей войны, — говорил он мне перед отъездом. — Оттуда до Ленинграда или, даже, до Москвы, — рукой по-

дать. Вот почему американцы так стараются обосновать там свои военные точки. К сожалению, как раз в Дании нам очень трудно с ними бороться. Страна эта тесно связана с Англией и экономически и политически. В Дании исключительно сильно влияние английской контрразведки. Как вам известно, англичане мастера этого дела. Особенно, когда защищают собственные английские интересы. В Дании вас будут подстерегать три опасности. Американская военная контрразведка — наименее страшная из всех других. Потом, датская полиция, зоркая, но, к счастью, сдержанная в действиях. И, наконец, — английский Интеллидженс сервис — самый неприятный противник. От вас требуется на первый взгляд немногое — получить въездную визу в Данию и прожить там несколько недель. Но, попав в Данию, вы обязаны использовать каждый час, каждую минуту для подробнейшего знакомства с внутренним полицейским режимом для иностранцев. В частности для австрийцев. Действуйте очень осторожно. Задержитесь там как можно дольше. Главное, не привлекайте к себе внимания. За вами будут следить очень тренированные глаза. Самые мелкие ваши ошибки могут стóить, позже, жизни вашим товарищам. Не забывайте об этом».

Я помнил указания генерала. Но до Дании еще надо добраться. Пока же стоит попробовать положить деньги в банк. Несмотря на финансовую свободу в Швейцарии, эта операция была в 1951 году для австрийца не простым делом. Австрия была все еще страной дешевых денег. Австрийский Национальный банк был вынужден держаться строжайшей валютной дисциплины. Заграничные торговые операции регистрировались австрийскими властями. Каждый австриец обязан был сообщать своему правительству о суммах, имеющихся у него за пределами Австрии. Практически же, тысячи людей ухитрялись различными способами наживать крупные суммы за границей и утаивать их от австрийского правительства. Некоторые швейцарские банки сотрудничали с австрийским правительством и не принимали вложений от граждан этого государства. Но были другие, которых не интересовали финансовые взаимоотношения австрийцев с их Национальным банком. Совет-

ская разведка знала об этом и поручила мне открыть личный счет в таком банке. Но я не был настоящим австрийцем, у меня не имелось ни связей в Швейцарии, ни поручителей. С другой стороны, без банковского счета поездка по Европе была бы затяжной и трудной . . .

Я медленно шел вдоль Вокзальной улицы.

Из витрин магазинов, с афишных щитов и колонок, с фасадов коренастых, прочных зданий на меня смотрело лицо благоустроенной и зажиточной Швейцарии. Мимо сновали автомобили лучших марок мира. Утреннее, нежаркое солнце играло бликами на их лакированных боках и по-модному оскаленных радиаторах. За зеркальными стеклами витрин синели трубки ламп дневного света. На бархатных стендах сверкали гирлянды часов и драгоценностей. Ступенчатые вереницы фотоаппаратов, биноклей, микроскопов сбегали к вертящимся столикам с пишущими и счетными машинами. Белая эмаль стиральных автоматов отражалась в никеле электрических плит. Все лучшее изо всех стран мира встретилось на прилавках маленькой страны в центре Европы.

Но мне нужно найти банк, а не рассматривать витрины.

Я захожу в первый попавшийся. «Швейцарское Кредитное Общество». Ко мне навстречу по вызову клерка выходит пожилой, уже седеющий человек в безукоризненном темном костюме и с манерами дипломата. Он очень представителен, так представителен, как могут быть лишь банковские чиновники.

— Чем могу служить?

— Я хотел бы положить некоторую сумму в ваш банк.

Представительный чиновник меряет меня медленным взглядом с головы до ног.

— Вы иностранец?

— Да. Австриец.

Чиновник хмурится в той степени, в какой разрешает ему его служебное положение.

— Мне очень жаль. В связи с вашими финансовыми законами . . . У вас найдутся поручители швейцарцы? Нет? Тогда, хотя это и было очень любезно с вашей стороны посетить нас, но . . .

С небольшими вариантами, следующие два-три посещения банков приводят к такому же: «Но . . .»

Мысль о банковском счете придется отложить до французской части Швейцарии. Там, говорят, порядки проще и люди доверчивее . . .

Неудача преследует меня и в посольствах. Французы в визе не отказывают, но просят две-три недели сроку. Они обязаны запросить Вену, не значится ли там в списке нежелательных людей имя Иосифа Хофбауера. Я не могу объяснить им, что у Хофбауера не было еще времени за свою короткую жизнь чем-нибудь провиниться перед Францией и молча ухожу.

В датском посольстве девушка подает мне стопку анкет.

— Можно это сделать дома? — интересуюсь я.

— Да, конечно. Принесите нам, мы пошлем в Копенгаген и через месяц дадим ответ.

— Но как вы думаете, разрешат?

— Этого мы никогда не знаем.

Только что вошедший посетитель восточного вида вздыхает.

— Безнадежно. У меня родственники в Копенгагене. Пытаюсь съездить к ним уже несколько месяцев. Ничего не выходит. И не знаю — почему.

Я уклоняюсь от разговора и выхожу снова на улицу. У меня родственников в Дании нет. Даже знакомых. И потом, ждать месяц совершенно невозможно для меня. Надо ехать во французскую Швейцарию. В три часа дня я уезжаю в Женеву. Попытаем счастья там.

Женева — город света, воздуха и цветов. А может быть она показалась мне такой потому, что я приехал туда летом.

На набережной Густав Адор каждый май устраивается международная выставка роз. Потом, когда победители установлены и премии розданы, тысячи лучших роз высаживаются в клумбы вдоль берега озера. Набережная превращается в цветочную аллею.

Французская Швейцария расположена на рубеже двух народностей: французской и немецкой. Вечером на приозерных улицах Женевы зажигаются цветные фонари и в ночных кабачках поют такие же песни, как

и на Монмартре в Париже. Днем же в деловых конторах и магазинах торговля ведется с истинно немецкой добросовестностью и аккуратностью.

Я остановился в небольшом пансионе на улице Рон. Окна моей большой и светлой комнаты выходили прямо в Английский сад. Свежий ветер с озера шевелил кремовые занавески и ворошил бумаги на письменном столе передо мной. Я писал письмо в Вену.

В сущности это была открытка. На одной стороне — несколько строчек некой Анны с ее дорожными впечатлениями. К истинному содержанию текста ни озеро, ни черный лебедь, конечно, никакого отношения не имели. Но среди банальных слов о красоте природы Швейцарии и о случайных встречах со знакомыми, между фразами приветов и пожеланий, были вкраплены другие слова — условные. Открытка эта, вместе с тысячами других, придет через два дня в Вену на адрес одного из агентов советской разведки. В тот же вечер Окунь будет извещен по телефону и, наверное, ночью же шифровальщик оперативной группы Мирковского составит телеграмму в Москву примерно такого содержания:

«Москва — Терентию.

От Анри получено подтверждение его прибытия в Швейцарию. Переезд границы прошел благополучно. Положение с вкладом денег сложное. Над получением виз работает. Поселился временно в Женеве. Матвей».

Терентий — это Судоплатов. Матвей — Мирковский. Анри — это я.

Наклеиваю марку и тщательно прячу открытку в нагрудный карман. Ее нужно бросить подальше от пансиона и попозже вечером, когда стемнеет.

Взгляд мой останавливается на раскрытом чемодане и желтеющем в нем дорожном несессере. Может быть открыть сразу, сейчас? Я подкидываю кожаный ящичек в руке. Нет, не стоит. Хранить негде. В комнате опасно, горничная может случайно найти. Мне совершенно необходим банк. Но как же быть без рекомендаций?

День был жаркий. Я присел за столик перед небольшим кафе и заказал стакан лимонада.

Сколько банков в Швейцарии, а я не могу открыть личного счета! Вот, например, на одной этой маленькой площади целых два. Один напротив другого. На углу английский «Ллойд Провиншел» и наискосок швейцарский «Кредит Свисс». Не будь я «австрийцем», можно было бы положить сколько угодно денег, хоть сразу в оба! Я резко подымаюсь из-за столика и подзываю официанта, чтобы расплатиться.

У меня мелькнула одна забавная мысль. Попробую взять их, как говорят, не мытьем, так катаньем.

В небольшом приемном зале английского банка «Ллойд Провиншел» было прохладно и полупустынно. Я подошел к узкому столу в середине зала. В коричневых деревянных коробочках аккуратными стопками лежали разные бланки и формуляры. Я выбрал несколько листочков с типографским клише «Ллойд Провиншел» и стал набрасывать деловое письмо. Ручка скользила по бумаге, не выписывая букв. Мешало твердое стекло стола. Пришлось подложить стопочку таких же бланков и чернила сразу стали хорошо ложиться. Но текст не получался. Я никак не мог сосредоточиться. Взгляд на часы подтвердил мне, что я уже опаздываю. Придется отложить это письмо на другой раз. Сунув в карман набросанные черновики я поспешил по своим делам.

Здание, куда я направлялся, помещалось недалеко. На другой стороне площади. Банк «Кредит Свисс».

Снова, после моего короткого разговора с клерком, появился представительный чиновник. После первых же его вопросов я многозначительно оглянулся по сторонам и он понял.

— Пройдемте наверх, в мой кабинет.

Мы поднялись на этаж.

— Так какую же сумму вы хотели бы положить в наш банк? — повторил чиновник стереотипный вопрос.

Я задумался.

— Какую сумму? Я могу сказать вам точно. Одну минуточку.

На стол ложатся черновики моих заметок в Ллойдовском банке и я продолжаю подсчитывать доходы от моих последних торговых операций. Глаза чиновника приковываются к клише Ллойдовского банка. Я пере-

хватываю его взгляд и понимаю, что попался. Выход один — смущенно улыбнуться и повести разговор начистоту.

— Что ж. Не буду от вас скрывать. У меня есть уже банк. Но я австриец. Мне предстоит длительная поездка по Европе. В таких случаях лучше отделять личные средства от коммерческих. Мне нужен банк для оплаты различных торговых сделок в европейских странах. Я решил обратиться к вам.

Чиновник неуверенно молчит. Я подымаюсь из-за стола.

— Если вы не заинтересованы в таком сотрудничестве, я могу, конечно, попробовать в другом месте. Ваш банк напротив моего, поэтому я и зашел к вам сначала. До свидания.

Чиновник останавливает меня.

— Садитесь, пожалуйста. Все в абсолютном порядке. Я сейчас принесу необходимые формуляры и мы все оформим. Когда вы хотели бы положить деньги?

— Завтра. Я не хочу информировать Ллойд о своем втором банке. Их это не касается.

— О, конечно, — подтверждает чиновник.

— Завтра с утра я сниму со счета, ну, скажем, тысячи три франков и положу к вам. А там, посмотрим.

Из банка «Кредит Свисс» я выхожу обладателем счета на котором, пока, лежит всего пятьдесят франков. Последние деньги, что нашлись в моем бумажнике. Теперь можно браться за несессер.

Поздним вечером, когда в пансионе все затихло, я раскладываю на кровати газету, ножницы, бритвенное лезвие и несессер. Сначала глубокий надрез вдоль края подкладки, пока не покажется розовый картон заделки. Кожа режется с трудом. Прочно работают специалисты из отдела «Д»! Мне не хочется больше мучиться с тугими новыми ножницами и я с силой тяну за подкладку. Она с треском отрывается и передо мной плоский конверт, усыпанный мелкой металлической пылью. Пыль прочно прикреплена клеем к картону. Такое покрытие дает надежную защиту от проверки рентгеновскими лучами. Мне смешно. О рентгеновских лучах подумали, а заклеили небрежно. Как часто бывает это в государственных учреждениях...

Бритвой я осторожно разрезаю картонный конверт. Внутри, укрепленные тонкими бумажными полосками, пачки долларовых банкнот. Сто ассигнаций по пятьдесят долларов каждая. Я укладываю деньги в портфель и завертываю разрезанный несессер в газету. Завтра надо будет его незаметно выбросить куда-нибудь. Причем — подкладку в одном месте города, а сам несессер — в другом.

В банке «Ллойд Провиншел» дело обошлось еще проще. Мне уже не нужно было притворяться. В кармане у меня, действительно, лежала чековая книжка «Кредит Свисс». В тот же день я положил все привезенные с собой доллары на банковские счета. На очереди — французская и датская визы.

Я зашел в туристское бюро «Глобус» недалеко от моста Мон Блан.

— Знаете, что можно сделать? — говорит служащий. — Если французское посольство запросит Вену телеграфом, то виза будет получена в несколько дней. Но вам придется уплатить пятнадцать франков за телеграммы.

Я мысленно прикидываю. Телеграфный запрос не может содержать подробных данных. Как раз то, что мне надо. Я подписываю бланки и даю свой адрес в пансионе. Что-то подсказывает мне, что с французской визой будет в порядке. Предлог туризма подходит для Франции. Но для Дании надо придумать что-нибудь другое.

Я брожу по Женеве и стараюсь подобрать приличную причину своего горячего желания посетить Данию. Торговых связей у меня нет. А в паспорте стоит «коммерсант». Что же за коммерсант без связей. Эх, и легендочку подобрали! Теперь уже надо выкручиваться. Что же придумать? Ведь упустили в Москве такой важный момент. Рассчитывали все на туризм. А Дания оказывается австрийских туристов не любит.

А почему Дания не любит австрийских туристов? Неужели датчане приписывают австрийцев к немцам, от которых столько пострадали в фашистские времена? Но ведь австрийцы очень отличны от немцев. Взять, хотя бы, венскую музыку . . . венскую музыку . . .

Предлог, кажется, найден. Остается надеяться, что он понравится датчанам.

Я записываю в графу анкеты датской государственной полиции, где полагается указать цель поездки в Данию, следующую многозначительную фразу: «подбор связей для открытия в Копенгагене центра венской музыки (импорт пластинок, нот, звукозаписи)».

Когда я передаю анкету секретарше датского посольства, мне вдруг кажется только что написанное смешным и несерьезным. Я протягиваю было руку за листком, чтобы взять обратно, но секретарша уже перекидывает его в серый конверт.

— Вы хотели вписать что-нибудь еще?

— Н-нет. Я хотел только узнать нельзя ли оформить все телеграфом. Для скорости.

— Из Женевы в Копенгаген нельзя. Пойдет почтой. А вот из Дании сюда, может быть . . . Я попробую устроить. Мы известим вас.

Жребий брошен. Буду ждать извещения.

Теперь можно немного отдохнуть, посмотреть Женеву и заняться бытовыми мелочами . . .

В Женеве, напротив датского посольства, на другой стороне площади с церквушкой посередине, есть музыкальный магазин. В этот магазин я зашел за патефонными пластинками. Я надеялся, что мое путешествие по Европе — последний контакт с западной цивилизацией. А мы с Яной любили не только русскую музыку, но и западную. Правда, не шум и грохот модернизированного джаза, порубленный на неравные кусочки замудрившимися композиторами. Мы знали, что на Западе есть и мелодичная музыка.

Какими-то, одному Богу известными, путями, в Советский Союз сумели проникнуть пластинки с песенками Тино Росси, романсами Эдит Пиаф, «Голубыми аккордами» Гершвина и, даже, «Караваном» Дюка Эллингтона.

Хорошую западную музыку — вот, что я хотел привезти с собой в Москву из Европы.

Очень быстро я убедился, что подходящих пластинок набирается слишком много. Да и вопрос, как провезти «контрабандные пластинки» через советскую грани-

цу, все еще был для меня неясным. С десяток их я, со своими документами офицера МГБ, еще мог бы захватить где-нибудь в углу чемодана, но мне хотелось большего.

На прилавке стоял небольшой ящичек американского звукозаписывателя. На этом аппарате можно было и слушать пластинки и записывать их на проволоку. Катушка тонкой, как нитка, проволоки вмещала целый час записи. Дюжина пластинок на маленькой катушке, которую можно было уместить в ладони! Именно то, что мне надо. Я купил звукозаписыватель. Смущал немного вес этого небольшого ящичка — 16 килограмм! Я решил, что попрошу хозяйку пансиона поберечь покупку до моего возвращения из Дании в Женеву.

Скоро я оказался обладателем нескольких катушек с записью последних новинок. Но мои музыкальные аппетиты уже разыгрались. Теперь, когда все равно придется оставлять багаж в пансионе, почему не присоединить к нему небольшой аккордеон? Мечта об аккордеоне преследовала меня уже давно, с военных лет.

В литовских лесах, в одном из партизанских отрядов мне подарили маленький трофейный аккордеон марки Хонер. Я начал старательно учиться играть на нем, к ужасу моих соседей по землянке. Недели через три я мог играть одним пальцем «Жди меня» и «Дрались по-геройски, по-русски». При первой же атаке немецких карательных войск аккордеон пришлось зарыть в землю. Мы отходили по болотам и каждый лишний грамм мешал в бою. Но любовь к мелодичному и деликатному инструменту осталась у меня на всю жизнь. В Советском Союзе аккордеон был недоступной роскошью. Цены в комиссионных магазинах были не по моему карману. Здесь же, в Швейцарии, мне нужно было только зайти в магазин и истратить свое жалование за шесть дней. После небольших колебаний я купил аккордеон.

Больше по магазинам ходить было нечего. Часы Яне тоже были выбраны. Маленькие стальные, но автоматические и изящные. Память о поездке будет, а обогащением я, следуя школе Мирковского, заниматься не собирался.

Дни ожидания потекли очень медленно. К счастью их осталось уже немного.

26 июня утром, вместе с традиционной чашкой кофе, горячими булочками и апельсиновым желе, горничная принесла мне длинный твердый конверт со штампом датского посольства. Мне разрешалось посетить Данию и задержаться там на четыре недели для устройства своих коммерческих дел. Привкус венской музыки в анкете явно помог.

Ну, что же, надо немедленно выезжать. Если французская виза не готова, полечу прямо в Копенгаген.

Но, как бы сговорившись с датским посольством, туристское бюро вызвало в то же утро меня к телефону. Париж разрешил господину Хофбауеру провести свой двухнедельный отпуск во Франции. Тщательная подготовка хофбауерских документов в Австрии оправдала себя полностью. Я спешу в посольство и к полудню, обедая в баварском ресторанчике, рассматриваю с удовольствием свежие штампы виз.

Затем визит в Ллойдовский банк и поручение открыть мне кредит на месяц в одном из копенгагенских банков.

Хозяйка пансиона любезно принимает на хранение мой музыкальный багаж и в 10 часов 7 минут вечера я выезжаю с вокзала Корнаван в Париж.

Париж, как цветок табака, по-настоящему распускается только вечером.

Вечером зажигаются огни двух Парижей. Оба они живут один в другом, почти не задевая друг друга. Париж парижан и Париж туристов. Мне был доступен только Париж туристов, поэтому, в первый же вечер, я попал на Монмартр.

В гостиницу я вернулся, наверное, слишком рано для человека в первый раз в жизни приехавшего в Париж. Молоденькая консьержка, выдавая ключ, участливо осведомилась, хорошо ли я себя чувствую и нравится ли мне город. Я не солгал, ответив, что нравится. Но интуиция девушки была правильной. Я действительно внезапно заболел. Тоской по дому.

Трудно рассказать точно, как это случается.

Разве можно объяснить, почему иногда, когда вы любуетесь каким-нибудь очень красивым памятником истории где-нибудь далеко от родины, в вашей памяти

вдруг совершенно ясно возникает угол соседнего с родным домом переулка. Овощной ларек с банкой желтых гигантских огурцов за мутным стеклом, небольшая очередь женщин с авоськами. Лохматые кочаны капусты, облепленная землей «государственная» морковь в фанерных ящиках из-под печенья . . .

Или трамвайная остановка у бульвара, рядом с вашей бывшей школой. Косые кресты деревянной ограды перехвачены ржавой проволокой. На фоне подтаявшего снега чернеют тонкие ветки кустов. Сзади вас, за углом серого забора, что-то равномерно шуршит. Может быть, ветер треплет куски вчерашней «Вечорки», из которой кто-то бритвой вырезал таблицу займа. А, может быть, дворник с соседнего двора, метет размашисто и мерно подчиненный ему участок тротуара . . .

Вы понимаете, что воспоминания эти совершенно ни к чему, даже некстати, и гоните их. Но когда они уходят сердце ваше болезненно сжимается. И почти всегда это чувство застигает вас врасплох.

Так и в тот вечер, в гостинице «Риволи» в Париже, в первый вечер своего знакомства с Францией, я вдруг почувствовал, как мне дико хочется домой.

И яркие впечатления прогулки по Монмартру померкли. Потускнели картинки уютных «бистро» и кабачков с куплетистами, поющими прямо среди столиков. Ушли видения хрустальных люстр в ресторанных залах и белых смокингов джазовых музыкантов. Забылись сверкающие сотнями блесток вечерние туалеты певиц и вызывающие розовые острия у обнаженных грудей танцовщиц с улицы Пигалль.

Все это уступило место сырому полуподвалу вблизи Арбата, в Москве, узкому пятну света от прогоревшего, бумажного абажура, синему жакету с заштопанным локтем и бледному овалу усталого родного лица.

Я не отбыл во Франции срока, разрешенного мне визой.

В конце концов приказ Судоплатова использовать каждый час пребывания в стране, касался только Дании. Там уж придется использовать визу до последнего дня.

30 мая я вылетел из Парижа, через Амстердам в Копенгаген.

На первый взгляд совсем несложно прожить четыре недели в европейской стране ничего не делая, располагая деньгами и не имея никаких других заданий разведки, кроме как внимательно смотреть, слушать и хорошо запоминать.

Я тоже так думал в первые дни своего знакомства с Данией. В отеле «Нордланд» нашелся хороший номер. При отеле — маленький бар с тихой музыкой по вечерам.

Днем я осматривал Копенгаген и окрестности, а вечером отдыхал за стаканом красного вина и шипящей сковородкой ракушек в полусвете уютного бара.

Все шло тихо и гладко, пока мне не привелось оказаться соседом по столику с одним датским фабрикантом стальной проволоки. Датского языка я, конечно, не знал. В Дании очень много людей говорит по-английски, но английский для меня был совершенно неведомой областью, за небольшим исключением «йес», «но» и «плиз». К немецкому языку в Дании относятся плохо. Датчане исключительно вежливые и радушные люди, но стоило мне заговорить по-немецки, как на лице моих случайных собеседников появлялось холодное изучающее выражение. Возможно, что вызвана эта неприязнь еще свежей памятью о фашистской оккупации.

Но в тот вечер сосед по столику сам заговорил со мной по-немецки. Его наметанный глаз сразу определил по моей внешности, что я должен принадлежать к немецкой расе. После того как выяснилось, что я австриец, разговор пошел уже совсем в дружественном плане.

Фабрикант проволоки проявил живой интерес к моей личности. Некоторое время я даже взвешивал возможность, не сотрудник ли он «Интеллидженс Сервис». Но мое подозрение, по мере того как новый знакомый все более увлекался беседой, стало постепенно исчезать. Господин С. оказался очень симпатичным, немного простодушным, но вполне лойяльным коммерсантом. Мне пришлось открыть ему, не без некоторой робости, что я коммерсант тоже. На всякий случай я поспешил добавить, что нахожусь еще в самом начале своей коммер-

ческой карьеры. Тут же я мысленно еще раз проклял Окуня, подобравшего мне легенду коммерсанта. Господин С. немедленно принял героическое решение оказать мне в моих первых шагах на коммерческом поприще максимальную помощь. Обрисовывая возможности торговых взаимоотношений Дании и Австрии, красочно описывая выгоды и недостатки таких связей, фабрикант перешел на довольно громкий тон, что неизбежно привело к включению в разговор следующего столика и столика сзади меня. Уходить было неудобно. Пришлось познакомиться еще с двумя-тремя людьми и среди них даже с одним египтянином и его местной подругой, немкой из Гамбурга, радостно бросившейся в беседу на немецком языке.

Победителем из беседы вышел господин С. Он договорился со мной, что через два дня, в час пополудни, мы встретимся в вестибюле отеля и он приведет несколько друзей, опытнейших коммерсантов. Потом господин С. и его друзья обязательно подберут для меня выгоднейшие торговые операции.

У меня не было оснований сомневаться в искренности намерений господина С. Все последующие события доказали, что он хотел помочь молодому, неопытному австрийскому коммерсанту по самым благородным побуждениям. Среди скандинавских коммерсантов, кстати, такие традиции — обычное явление. Мне же, с моим липовым коммерческим опытом, помощь господина С. могла принести только неприятности. Трудно сказать, что вышло бы из моего нового знакомства, но Судоплатов был прав, когда предупреждал о внимательно следящих глазах.

Прохаживаясь по вестибюлю в ожидании фабриканта и его друзей, я столкнулся носом к носу с египтянином. Из вежливости я спросил о здоровье его немецкой подруги. Оказалось, что со здоровьем очень плохо. Она только что была отправлена в госпиталь после неудачной попытки отравиться. Ошарашенный такой, немного неожиданной, новостью я едва успел заметить в глубине конторки расширенные от удивления глаза портье. У меня осталось ощущение, что в этих глазах светилась и тревога. Времени обдумывать уже не было. На пороге показался господин С. и за ним группа иде-

ально затянутых в темно-синие костюмы безукоризненно официальных датчан.

Обед прошел довольно вяло. Мои новые знакомые не особенно разделяли оптимизма господина С. и, кажется, не очень мне доверяли. Я же, со своей стороны, не старался предпринять ничего такого, что могло бы привести моих гостей к доверию.

Так мы и установили, что разговаривать конкретно пока рано. Фабрикант похлопал меня по плечу и сказал друзьям: «Я ужинаю в том же баре, где и господин Хофбауер. Мы выясним с ним в ближайшее время все детали и тогда сговоримся». Как раз выяснение всех деталей и было мне весьма нежелательным.

Когда я проводил господина С. и вернулся в гостиницу, портье демонстративно помахал листочком бумаги, подзывая меня к своей конторке.

— Господин Хофбауер. Счет, пожалуйста, за вашу комнату.

— Как счет? Я пока не собираюсь уезжать.

— Мне очень жаль. Ваш номер был забронирован уже давно для одной семьи, начиная с сегодняшнего дня.

— Ну, дайте мне другой.

— У меня нет свободных . . .

Приглядевшись к бегающим глазам портье и прислушавшись к его нервному тону я понял, что есть и другие причины. Пришлось втянуть портье в небольшую, но горячую дискуссию. Довольно быстро выяснилось, что мои случайные знакомства в баре, обед с господином С. и даже разговор с египтянином уже заинтересовали кого-то. Мне не нужно было уточнять, кого именно. Кто бы ни были эти зоркие глаза и внимательные уши, я обязан держаться от них подальше. Опытный портье был прав — из гостиницы нужно выезжать. Он соблюдал, конечно, только интересы своих хозяев. Но я чуть не поблагодарил его.

После выезда из гостиницы «Нордланд» встречи с господином С. прекратились сами собой. Он и его друзья, наверное, потом не раз удивлялись невоспитанности молодого австрийца, так неучтиво исчезнувшего, но мне моя жизнь была дороже.

Я поселился в маленьком, дешевом и довольно уютном отеле у самого вокзала.

Так что же теперь делать? Болтаться без дела по городу довольно подозрительно. Все же я коммерсант и должен иметь какие-нибудь дела. Надо найти золотую середину. Создавать хотя бы видимость, что я чем-то занят. Я начал ходить в свой банк, тот самый, который получил письмо от Ллойда из Женевы и открыл мне кредит. Там на столики в приемном кабинете всегда выкладывались брошюрки и проспекты новорожденных фирм, призывающих людей со средствами к выгодным капиталовложениям. Набрав таких адресов, я целыми днями бродил по Копенгагену, околачивая пороги разных контор и терпеливо выслушивая восторженные рассказы секретарш о деловых планах их директоров. Вопросов я почти не задавал, в комбинации не ввязывался и знакомств остерегался, как огня.

Иногда подвертывались разные мелочи, помогавшие убить время. Так, в одном музыкальном магазине я обнаружил звукозаписыватель, похожий на оставленный мною в Женеве. Несколько дней были благополучно затрачены на запись «образцов датской музыки» с подобранных тут же пластинок. Образцы нужны были, конечно, для будущего «центра венской музыки».

Но время все равно тянулось отчаянно медленно. Раньше 30 июля уехать я не мог, хотя материала для Судоплатова накопилось уже достаточно. У меня сложилась довольно ясная картина датского внутреннего режима для австрийцев. Но до срока истечения визы оставалось еще целых две недели.

Помог случай и копенгагенский увеселительный сад «Тиволи».

От венского «Пратера» «Тиволи» отличается неповторимой уютностью. Тысячи цветных лампочек протянулись вдоль экзотических линий увеселительных павильонов. Вечером весь сад превращается в сказочный, горящий разными цветами, пейзаж. Я полюбил этот сад и почти все вечера проводил в нем. Здесь же я разговорился как-то с девушкой, работавшей в павильоне рыбок. В этом павильоне, с помощью длинной удочки с магнитом на конце, можно было выудить железную рыбку и, в зависимости от номера, получить приз. Закинутый мною разговорный магнит принес мне целых четыре рыбки: девушку Грету, ее жениха-норвежца То-

ра, сестру Греты — датскую журналистку и ее мужа Эугена, хозяина паркетной фабрики.

Грета и Тор говорили по-немецки. Отсюда, собственно, и пошло наше знакомство. Так у меня появились друзья и дом, куда я мог приходить как гость, без боязни быть выкинутым из гостиницы или задержанным контрразведкой.

Семья Йоргенсонов радушно и терпеливо знакомила австрийского туриста с Копенгагеном. Я старался демонстрировать им свое восхищение городом и Данией, как мог. Восхищение было бы оправданно — Дания прелестная страна, но приступы моей ностальгии стали хроническими и очень острыми.

Я почувствовал себя почти счастливым в полдень тридцатого июля, когда самолет голландской Королевской Воздушной Линии поднял меня с аэродрома Каструп и развернулся по направлению к Амстердаму.

3 августа, прилетев в Женеву, я закрыл все свои кредиты в европейских странах и получил от Ллойдовского банка «ситуацию» моего личного счета. «Ситуация» состояла из узкой полоски бумаги подтверждающей, что господин Хофбауер имеет в Ллойдовском банке сумму в 11 тысяч швейцарских франков. По правилам конспирации бумагу полагалось уничтожить. Счет был личным и по планам Бюро номер один в будущем должен был контролироваться мною. Но в моих собственных планах поездок по Европе больше не предвиделось. «Ситуация» могла пригодиться для расчетов с финансовым отделом МГБ СССР. Я свернул полоску и заложил ее в дальнее отделение бумажника.

В половине шестого вечера мой чемодан, звукозаписыватель и аккордеон легли в багажную сетку одного из купе поезда, направлявшегося в Вену. Впереди оставалась еще одна граница, последняя перед возвращением в советский сектор Австрии.

Мое задание кончилось. Я начал обратный путь в Москву. Пора было, наверное, подумать о следующем задании: своем собственном.

В ночь с 3-го на 4-ое августа в поезде, остановившемся перед австрийской границей, настроение пасса-

жиров было нервным и напряженным. Еще в Цюрихе вагоны оказались переполненными — редкая вещь для международного экспресса. В купе, обычно прохладных и просторных, стало тесно и душно. От Цюриха до Букса поезд шел медленно и часто останавливался. Опоздание достигало уже двух часов с лишним.

В ту ночь на австро-швейцарской границе таможенные власти обеих стран производили облаву. Один из тайных маршрутов контрабанды немецких марок проходил через Букс, потом через небольшой кусочек австрийской территории и попадал в Западную Германию через горную границу. Об этой истинной причине задержки никто из пассажиров, конечно, не знал.

Поезд в конце концов тронулся и тихо пошел к мосту через Рейн. Швейцарские пограничники и таможенники не появлялись вообще. Вместо них по вагонам пошли австрийские патрули. Пограничники не задавали лишних вопросов, чувствуя, видимо, общую усталость и нервность. Печатка в руках пограничника лихо отстукивала штамп за штампом.

Таможенники оказались более добросовестными. Проверка багажа производилась очень тщательно. Один из таможенников остановился перед багажной сеткой в которой лежали чемодан, коричневый ящик какого-то аппарата и черный футляр аккордеона.

— Чей это багаж?

— Мой, — храбро отозвался я.

— Везете что-нибудь, кроме личных вещей?

— Нет. Только свои.

Таможенник, кажется, удовлетворился ответом и спросил менее официальным тоном, как о чем-то второстепенном.

— Аккордеон где купили?

Я во-время остановил готовое было сорваться с языка слово Швейцария. «Спокойно. Не спеши с ответом. Это может быть ловушка. В самом деле... Как же ты не подумал до сих пор, что у тебя как у австрийца н е   м о г л о быть денег для покупки аккордеона в Швейцарии! Откуда у Иосифа Хофбауера могла появиться иностранная валюта за пределами Австрии? Плохо. Теперь уже поздно. Таможенник ждет ответа. Придется рискнуть. В конце концов не может же он

проверить где я в самом деле купил этот несчастный аккордеон».

— Я купил его в Вене.

— Когда?

— Месяца два тому назад...

— Откройте футляр.

Таможенник бросает рассеянный взгляд на новенький аккордеон, кивает неопределенно головой и отворачивается к следующему пассажиру.

Я облегченно вздыхаю. Кажется — пронесло. Главное в таких случаях, как говорится, не сморгнуть. В купе жарко и душно. Я лезу в сетку за бутылкой воды и бумажным стаканом, но кто-то трогает меня за рукав. Таможенник, тот самый, что интересовался аккордеоном приглашает меня следовать за ним. Мы выходим в тамбур. Там стоит еще один блюститель границы и что-то записывает в книжечку. Наверное результаты проверки вагона. Первый начинает очень дружелюбным тоном.

— Послушайте господин...

— Хофбауер, — вставляю я в паузу.

— Господин Хофбауер, мы позвали вас по поводу аккордеона. Вы купили его за границей. Он же совсем новый.

Я настораживаюсь. Знаем мы этих таможенников. Нет у них, очевидно, возможности уличить меня на основании фактов и они пытаются поймать на доверительный тон. Нет, теперь надо уже держаться одной версии.

— Я мало играл на нем в последнее время.

— А вы играть-то на нем умеете?

— Конечно.

— Принесите, поиграйте.

— Что? Здесь? В тамбуре? Да ведь я...

— Ничего, ничего, принесите. Нам важно знать, говорите ли вы правду.

Немного подавленный поворотом дела я иду обратно в вагон. Стащив тяжелый футляр с полки я волоку его с мрачным видом по направлению к тамбуру. Соседи по купе провожают меня изумленными взглядами. Что же я буду играть таможенникам? Не партизанскую же песню «Дрались по-геройски, по-русски...»? Ожидая дат-

скую визу в Женеве я, кажется, пытался подобрать танго «Палома». Сумею ли вспомнить? Да, что в конце концов! Не концерт же им давать!

Таможенники серьезно и сосредоточенно следят за мной, когда я вытаскиваю аккордеон из ящика и прилаживаю его на плечо. Поезд развил уже порядочную скорость. Вагон сильно качает из стороны в сторону. Прижавшись спиной к острой ручке тормоза, ловя непослушными пальцами ускользающие клавиши, я коекак извлек из инструмента ряд дрожащих звуков. Мои инквизиторы обладали, наверное, безнадежно плохим слухом, потому что один из них вымолвил, как бы с сожалением: «Да-а, играть-то он действительно умеет». К моему великому удивлению, второй с ним согласился.

— Ладно, положите обратно в футляр. Дайте нам ваш паспорт и прочие документы.

Медленно перелистывая страницы хофбауеровского паспорта, таможенник продолжал уговаривающим тоном:

— Зря вы упрямитесь, господин Хофбауер. Ну, ладно, хотели избежать лишних формальностей и немного исказили действительность. Бывает. Не растерзаем мы вас за это. Нам важно, чтобы вы уплатили пошлину. Я забываю все наши предыдущие разговоры и еще раз спрашиваю вас уже совсем официально: где вы купили этот аккордеон? Постарайтесь вспомнить точно на этот раз.

Я колебался. В словах терпеливого чиновника было много правды. Преступления я не совершил. Ну, оштрафуют меня. Даже и попытка обмануть таможню карается только штрафом. А покупки аккордеона за границей теперь все равно не скрыть. Да, и какая мне разница. Может быть они и не сообщат ничего Национальному банку.

Таможенник видел, что я колеблюсь и подливал масла в огонь.

— Вы коммерсант, господин Хофбауер. Едва ли для вашей профессиональной карьеры такая неприятность будет полезна. Нарушение таможенных законов бросит тень на вашу заграничную деятельность . . .

Я поднимаю голову и вглядываюсь в лицо чиновника.

Что это, случайность?

Последние две фразы совершенно точно повторили мои надежды на заключительный эпизод поездки по Европе. На инцидент в Вене, компрометирующий меня как разведчика. А почему в Вене? Почему не здесь? Сейчас, сию минуту. Не сама ли судьба напомнила мне голосом таможенника о главной цели моего путешествия? Я уже на территории Австрии. Преступления не совершал, но попал в переделку, которую можно выгодно развить. С чего начать? Надо уничтожить возможность «мирного договора» с этими слишком вежливыми людьми.

Одним резким ударом ладони я выбиваю из рук таможенника паспорт и бумажник. Голос мой звучит нервно и непримиримо:

— Хватит ерундой заниматься. Кто дал вам право копаться в моем бумажнике?!!

Секундой позже руки мои уже скручены за спину и сам я прочно прижат к вагонной двери. Таможенники сосредоточенно пыхтят, ожидая дальнейших агрессивных действий с моей стороны. Но мой актерский запал уже кончился. Они успевают, даже, заметить беглую улыбку, которую мне не удается подавить и ошеломленно переглядываются. Потом отпускают меня и один говорит безнадежным тоном:

— Будем снимать его с поезда . . .

По голосу слышно, что такой оборот дела ему совсем не по душе.

На первой станции, пограничном городке Фельдкирх, меня ссаживают и препровождают в комнату таможенных властей при вокзале.

На длинном столе раскладываются все мои вещи. Каждый предмет тщательно проверяется. Я все же не произвожу, видимо, впечатления серьезного преступника, потому что в порядке личного обыска мне приказывают снять лишь пиджак и брюки, встряхивают их, ощупывают и немедленно возвращают. Я усаживаюсь на стуле и наблюдаю с удовольствием, как таможенники раскладывают на столе перед собой содержимое моего бумажника. Еще немного перетрясут меня, составят протокол, оштрафуют и я, может быть, успею на утренний поезд. Приеду в Вену нарушителем таможен-

ных законов, человеком, занесенным в черные списки, взятым «на заметку». Советская разведка не любит включать в свою работу таких людей. Для начала, неплохо.

Таможенник вдруг протяжно свистит. В руках у него банковская «ситуация» от Ллойда.

— Интере-е-с-сно! У вас не малые деньги за границей. Национальному банку о них известно? Нет?

Он решительно подымается из-за стола.

— Ну, вот, что. Придется вас задержать пока. Три часа ночи и все мое начальство спит. Оставьте вещи здесь, я отведу вас в другое место для ночевки.

«Другое место» оказалось местным отделением полиции.

Меня сдали по всем правилам дежурному полицейскому. Тот более или менее любезно открыл передо мной дверь камеры, бросил на кровать два серых солдатских одеяла и ушел.

Ключ проскрипел в железной двери — совсем, как в уголовных фильмах, — и я остался один.

В грязную, ржавую раковину сонно капала вода. С желтоватых стен иронически посматривали на меня инициалы, даты и тюремные афоризмы, нацарапанные предыдущими арестантами.

Есть хорошая пословица: «утро вечера мудренее».

В девять часов пришел таможенник и стал составлять протокол. Укладывая копирку между листами бумаги, он спросил, полуулыбаясь:

— Так как же насчет аккордеона? Что писать будем?

Мне тоже стало немного смешно. При ярком утреннем свете все случившееся ночью казалось уже несерьезным и почти обыденным.

— Пишите, в Швейцарии. Чего уж там. Не будем затягивать историю.

Потом мы пошли в здание таможни. Через полчаса инцидент с аккордеоном был разрешен и улажен. Мне установили сумму штрафа, достаточную, чтобы заставить таможенные власти забыть все случившееся и, в то же время, доступную карману Иосифа Хофбауера. Всей суммы у меня с собой, конечно, не оказалось, но

начальник таможни поверил в долг. Вещи остались в камере хранения в качестве залога.

Чувства мои были смешанными. Ночь, проведенная в тюрьме, напомнила об опасности игры. Я находился все еще в американской зоне и американская контрразведка — где-то рядом.

С другой стороны, я видел, что начатый конфликт с австрийскими властями мельчает и сходит на-нет. Даже вопрос денег в Швейцарии потерял в то утро свою остроту. Начальник таможни, изучив полоску бумаги из Ллойдовского банка, объяснил задержавшему меня таможеннику, что банковский счет открыт в июне и с тех пор Хофбауер не возвращался на территорию Австрии. Никто не мог доказать, что Хофбауер не собирался по приезде в Вену заявить Национальному банку о своих деньгах за границей. Все, что таможня обязана была сделать — передать квитанцию и протокол местному полицейскому управлению.

Таким образом, у меня было два пути «хоронить» Хофбауера. Один — привлечь внимание финансовых властей и заставить их назначить следствие. Тогда советская разведка должна будет вывезти Хофбауера из Австрии. Москва не допустит подробного допроса фиктивного австрийца. Второй — представить моему начальству все случившееся в особом свете. Навязать им впечатление, что Хофбауер окончательно и безнадежно скомпрометирован и над ним нависла неминуемая опасность.

Причем, работать по этим двум путям я мог одновременно. Важно было не переиграть. Австрийские власти не должны получить столько информаций, чтобы решиться на захват меня и обвинение в шпионаже. Советская разведка не должна понять истинных мотивов моего поведения.

Выслушав мой отчет о поездке, Мирковский долго молчал. В городском саду Вены в то утро было мало народу и нам никто не мешал. Окунь, с кислым и встревоженным лицом, нетерпеливо ерзал по скамейке, но первым заговорить не решался. Мирковский потянул за край соломенной шляпы и сдвинул ее на лоб.

— Мм-да. Не было, говорят, печали, черти накачали. Все так хорошо шло и вдруг на-тебе. В последний момент . . .

Он глубоко вздохнул, откинулся назад и начал рассматривать листья над головой.

— Надо же так нелепо засыпаться . . . — начал Окунь.

— Засыпаются на воровской малине, а не в разведке, — медленно ответил Мирковский. — Ругать, самое легкое дело. А легкие дела оставляют напоследок.

Он повернулся ко мне в полуоборот, скрестил пальцы рук на коленях и задал вопрос очень обычным, почти совещательным тоном.

— Ну, что же вы теперь собираетесь делать?

Голову он отбросил немного вбок и смотрел на меня прищуренным левым глазом, как бы подчеркивая важность момента.

Момент и был важным. В глазах Мирковского мелькнул огонек недоверия.

Он читал, конечно, мое личное дело и знал о желании уйти из разведки. Мысль о нарочитом срыве поездки могла придти ему в голову. Сейчас важны не только слова, которыми я буду отвечать. Важен и тон моего голоса, взгляд глаз, движение рук . . . Именно сейчас подозрение в душе Мирковского может умереть или вырасти с головокружительной быстротой. Создавать впечатление «гибели» Хофбауера надо фактами. Слова же мои должны говорить о другом.

— Что делать? Не поддаваться панике, наверное. В современной Австрии такие дела не смертельны. Надо затушить возможный скандал и подпорченной репутацией Хофбауера не огорчаться. Коммерсант, с небольшим пятнышком на совести, вещь довольно распространенная. Мы же не будем делать из него святого Иосифа . . .

— Дело не в этом, — нахмурился Мирковский. — Мы не имеем права рисковать нашими людьми. Если к вам серьезно начнут присматриваться австрийские власти, работать вы не сможете. Со всеми вашими закрепленными документами. Настоящим коммерсантам такие дела не страшны. Точно. Но вы-то, не настоящий . . .

— Не бросать же работу при первом препятствии.

Столько времени и энергии затрачено на документы, подготовку, агентурную разработку. Зачем же сразу хоронить Хофбауера . . .

— А никто и не собирается сдаваться.

Мирковский снова очень зорко взглянул на меня и внушительно добавил.

— Вы меня не поняли. Наоборот. Будем спасать Хофбауера и любыми средствами. Я, вот, даже собираюсь послать вас обратно в Фельдкирх. Заплатить долги, наладить теплые отношения с таможенниками и выяснить погоду в полицейском управлении. Как вы к этому относитесь?

— Если нужно, я поеду. Но сначала надо заявить в Национальный банк о деньгах за границей. Иначе ехать бесполезно. А банк может спросить, откуда я получил эти деньги.

Теперь решил вмешаться Окунь.

— Я узнавал сегодня, как это делается. Заполняется вот этот бланк, подается в окошечко и все.

Мирковский изучающе повертел в руках розовую бумажку. Окунь пояснял дальше.

— Здесь, только в одной графе, спрашивается о происхождении денег. Поставим ответ: «в счет наследства». Формулировка гибкая и потом как-нибудь вывернемся.

— Может быть, банк удовлетворится этим? — спросил я.

— Не думаю, — буркнул Мирковский. — Но мы выиграем время.

Наладить «теплые отношения» с таможенниками Фельдкирха удалось легко. Штраф был уплачен, вещи выкуплены. Мой деловой контакт с блюстителями границы закончился.

Начальник таможни снял телефонную трубку и вызвал местное полицейское управление. Мне предоставлялся выбор. Я мог не задерживаясь поехать в Вену. Тогда дело о заграничном счете было бы переслано в Сант-Пельтен. В этом городе я и держал бы ответ перед властями. Был и другой путь. Зайти в местное, Фельдкирховское полицейское управление, предъявить

квитанцию Национального Банка, дать краткое объяснение, подписать протокол и закрыть полицейское дело.

Начальник таможни советовал мне не затягивать формальностей и закрыть дело в Фельдкирхе. Он даже был готов послать со мной своего заместителя, чтобы помочь в разговорах с местной полицией. В таких маленьких городках, как Фельдкирх, представители власти, обычно, знакомы друг с другом.

Будь со мной рядом Окунь или Мирковский, они беспредельно обрадовались бы возможности переслать дело в Сант-Пельтен. Свои люди в полицейском управлении того городка затушевали бы все, как говорят, «без звука». Национальному Банку были бы посланы краткие выводы «следствия», доказывающие абсолютную чистоту гражданской совести Хофбауера.

Но в Фельдкирхе я был один и твердо помнил о первом пути своего спасения от дальнейшей работы: привлечь внимание финансовых властей к делу Хофбауера.

Я пошел вместе с заместителем начальника таможни в местное полицейское управление.

Вопреки оптимистическим предположениям начальника таможни, опрос Хофбауера сильно затянулся. Через час, в одной из комнат полицейского управления, сидели три совершенно запутавшихся человека. Один из них — следователь, господин Шрефенеккер, который, к великому своему недоумению, никак не мог разобраться в личности австрийского коммерсанта. Документы Иосифа Хофбауера были в полном порядке, история его жизни вполне правдоподобна. Конкретных причин не верить ему, на первый взгляд, не было. Но с другой стороны, рассказ о том, как родственники в Дании пожертвовали ему крупную сумму денег, изобиловал неясностями и недомолвками. И потом, никак не удавалось окончательно выяснить, на какие же средства Хофбауер существует. Здесь концы с концами не сходились.

Вторым запутавшимся человеком был я.

Игра со следователем оказалась сложнее, чем я предполагал. Шрефенеккер не захотел ограничиться одним опросом и сухим протоколом. Как только в моем

рассказе появились первые неясности и подозрительные места, он немедленно и решительно ринулся в бой. Опрос превратился в допрос и, даже, перекрестный. Дальнейшее сгущение красок могло стать опасным. Как человек, пошедший вброд по неизведанному месту, я чувствовал, что дно реки становится с каждым шагом все глубже, вода подступает к горлу и каждую минуту может подвернуться омут. Но идти надо, потому что назад пути уже не было.

Третьим, неважно себя чувствующим, оказался заместитель начальника таможни. Он мучался тем, что поручение его шефа осталось не выполненным. Приятного и короткого разговора с местной полицией не получилось. Он никак не мог понять, что происходит и почему Шрефенеккер так долго выматывает душу из Хофбауера. Разве начальник таможни не ознакомился в свое время с документами и личностью этого начинающего коммерсанта? Над чем же бьется еще Шрефенеккер? Ведь и квитанция Национального Банка лежит тут же на столе. Заместитель начальника таможни посматривал на следователя с явной неприязнью.

Прошло еще несколько долгих и нудных минут. Заместитель начальника таможни не выдержал.

— Послушайте, Шрефенеккер, — начал он взывающим тоном. Не достаточно ли? Я привел вам Хофбауера не для следствия, а для записи краткого опроса. У вас же нет полномочий производить столь подробное следствие.

Последнее он сказал зря. Профессиональная гордость господина Шрефенеккера оказалась серьезно задетой.

— Как представитель австрийской полиции, я обязан защищать интересы государства. Личность этого человека мне неясна. Я не собираюсь его арестовывать. Я даже не буду продолжать опроса. Пусть этим занимается Вена. Но одно я обязан сделать.

— Дайте мне ваш паспорт, — обратился Шрефенеккер ко мне.

Он торжественно уложил желтую книжечку паспорта в папку с протоколом, завязал аккуратно тесемками и поднялся из-за стола.

— Теперь вы свободны. Я могу быть спокойным, что за границу от австрийских следственных властей вы не скроетесь.

— Вы не имеете права! — закипятился таможенник. — Это арест!

— Нет, — очень медленно и в полном сознании своего могущества продолжал Шрефенеккер. — Не арест. Речь идет о крупной сумме валюты. Весьма возможно, что по закону эта сумма будет конфискована. Я обязан не допустить, чтобы господин Хофбауер мог уехать за границу и стать недосягаемым для австрийских властей.

Я решил пойти на компромисс.

— Если я дам телеграмму банку в Швейцарии перевести всю сумму в Вену и Вена даст вам подтверждение, вы вернете паспорт?

Шрефенеккер перевел глаза с меня на таможенника и обратно.

— Н-не знаю. Телеграмму дайте в любом случае. Я доложу начальству. Зайдите завтра, посмотрим. Сейчас я должен идти обедать. До свиданья.

И Шрефенеккер покинул комнату. Таможенник смотрел на меня круглыми глазами.

— Ну, знаете. Так давать показания! Зачем вы ему все это наговорили?

Сказать правду я не мог. Пришлось просто промолчать. Таможенник понял, что мне и так тошно.

— Ну, ладно. Теперь ничего не поделаешь. Но он не имеет права держать ваш паспорт. Я советую вам не ехать в Вену сегодня. Здесь есть хорошая гостиница на рыночной площади. Я расскажу своему шефу. Зайдите к нам утром. Мы что-нибудь придумаем.

Я остался в Фельдкирхе. Не из-за желания спасти паспорт. Я был очень рад потерять эту книжечку навсегда. Была причина более серьезная. Между мною и Веной лежала межзональная граница. Через эту границу австрийцы имели право проезжать по внутреннему удостоверению личности. Даже выезжая за пределы Австрии, это удостоверение полагалось иметь с собой. Хофбауеровское удостоверение было сделано советской

разведкой. И потому за границу я его не брал. Его и сейчас не было со мной. Ни Шрефенеккер, ни таможенник не подозревали, что я оказался без документов в американской зоне. Без заграничного паспорта назад мне пути не было.

На следующее утро, возвращаясь с телеграфа, я повстречался с заместителем начальника таможни. Он одобряюще потряс мне руку и начал рассказывать.

— Я искал вас в гостинице. Как ваши дела?

— Да, вот телеграмму отправил в Женеву.

— Не надо уже. Мой шеф, когда узнал, что случилось, позвонил прокурору и попросил его рассудить. Ведь мы вас послали в это полицейское управление. Прокурор уже затребовал ваше дело к себе в суд. Сейчас пойдем туда и все должно уладиться.

Таможенник оказался прав. Я подождал его всего несколько минут в коридоре суда и он вынес мне паспорт.

— Ну, вот, все и обошлось. Прокурор даже возмущался. Как, говорит, они могут отнимать паспорт у австрийского гражданина без наличия состава преступления! Поезжайте с первым поездом в Вену и не поминайте нас лихом.

Странные бывают капризы судьбы. Те же самые таможенники, что сняли меня с поезда несколько дней назад, теперь столь бескорыстно и дружественно помогли мне выбраться из критического положения.

Но я не последовал совету моего нового знакомого и не поехал прямо в Вену. Я опасался обиженного самолюбия Шрефенеккера. Полицейские чиновники часто бывают связаны с контрразведкой. Как знать, не сумеет ли Шрефенеккер доказать в ближайшие часы какому-нибудь мистеру Смиту, что Хофбауер слишком темная личность. И снимут меня с поезда где-нибудь на полустанке американской зоны. Я поехал в Швейцарию, в Цюрих. Утром следующего дня взял билет на самолет английской международной авиалинии и в тот же день благополучно приземлился в английском секторе Вены. Вечером я приехал на нашу конспиративную квартиру в Баден.

Предстоял следующий шаг. Навязать моему руководству впечатление, что Хофбауер, как материал для разведки, гибнет.

Погубить Хофбауера в глазах советской разведки оказалось легче, чем в глазах австрийских властей. Судьба помогла мне. Придирчивость и недоверие Шрефенеккера произвели на Мирковского сильное впечатление. Больше всего он боялся, что Шрефенеккер свяжется с американской контрразведкой и Иосифа Хофбауера схватят, как подозрительную личность. Мирковский потребовал, чтобы я временно, до выяснения обстановки, переселился на конспиративную квартиру в Баден. Для Ардитти была придумана версия, что я еду на месяц в горы для отдыха.

Но Москва все еще рассчитывала вернуть Хофбауера в ближайшее время обратно в нормальную венскую жизнь.

В те дни я почувствовал насколько правы были мы с Яной, решившись на срыв работы. По тому, как требовала Москва реабилитации Хофбауера, видно было, что в центре появились новые планы в отношении этого австрийского коммерсанта. И в эти планы не входил, конечно, мой уход из разведки.

Деньги из Швейцарии пришли в Вену через несколько дней. В телеграмму, которую я отправил из Фельдкирха Ллойду, вкралась ошибка. Вся сумма оказалась переведенной на счет полицейского управления в Фельдкирхе.

Я узнал об этом из таких источников, куда советская разведка вряд ли имела доступ и рискнул заявить начальству, что деньги блокированы властями. Мирковский немедленно заподозрил козни Шрефенеккера.

Последовал приказ Москвы: не сдаваться, взять хорошего адвоката и выяснить состояние дела.

Такого адвоката я нашел в центре Вены, в международном секторе. На адвокатской конторе некоего Антона Ляйтнера мы сошлись с Евгением Ивановичем по немного разным причинам. Мирковский надеялся, что контора не связана с западными разведками и, в силу своей солидности, меня австрийским властям, в любом

случае, не выдаст. Я же чувствовал, что в конторе нет советской агентуры.

Так я и встретился в середине августа месяца с неким адвокатом Фройденшуссом, компаньоном Антона Ляйтнера.

Первая встреча ни Фройденшуссу, ни мне особых сюрпризов не принесла. Но господин Фройденшусс сразу внушил мне доверие.

Уже немолодой, начинающий полнеть, с дружелюбным взглядом больших круглых глаз за толстыми стеклами очков, он производил впечатление больше доктора, чем адвоката. А, может быть, настоящий адвокат и должен смотреть на клиента таким же, заранее понимающим и успокаивающим взглядом, каким опытный доктор встречает пациента.

Фройденшусс резко отличался от мелкой адвокатской рыбешки, которую можно встретить на любом углу, и которая готова торговать не только государственным правом, но и вашим собственным. Отдельные мелочи его поведения, манера ставить вопросы, принципиальный подход к денежным проблемам, угол под которым он выяснял для себя и освещал для вас дело, заставляли верить, что для него понятия чести, морали и человечности слова непустые.

В наше время найти такого адвоката довольно трудно.

Однако в нашу первую встречу, порядочность Фройденшусса меня интересовала мало. Наоборот, я втайне надеялся, что по обычаю большинства адвокатов, он попытается раздуть конфликт в судебное дело подлиннée и посложнée. Я ждал, что тонкую работу сгущения красок Фройденшусс возьмет на себя. А я, получая от него раздутые факты, смогу превращать их в прямую угрозу господину Хофбауеру.

Методы работы Фройденшусса оказались иными. Через несколько дней, на почтовый ящик в горное местечко, где Хофбауер предположительно отдыхал после европейских треволнений, пришло письмо с просьбой приехать в Вену.

Заходя в подъезд адвокатской конторы Ляйтнера, я увидел в стекле двери отражение двух фигур, дежу-

ривших на другой стороне улицы — Валентин и Окунь. Их послал Мирковский. На всякий случай.

По свойственной ему манере, Фройденшусс перешел прямо к делу и голос его звучал довольно весело.

— Ну, дело ваше можно считать улаженным. Ллойд исправил свою телеграфную ошибку. Деньги в вашем распоряжении. Обменены они Национальным Банком по довольно низкому курсу. С этим придется вам примириться. Курс штрафной. Все потому, что ваш рассказ о датском наследстве, честно говоря, не особенно убедителен. Но это и неважно. Вы заявили о деньгах Австрийскому Банку во-время и перевели их в Австрию. Доказывать, что деньги получены честным путем вы совершенно не обязаны. Таких законов нет. Пусть Австрийский Банк попробует доказать вам обратное. Но они и не будут заниматься этим. Нам остается только закрыть следственное дело, начатое Шрефенеккером. И это несложно. Дело, по моему вызову, пришло в Верховный Суд, сюда в Вену. Если мы с вами сейчас туда пойдем, один мой знакомый судья запишет коротко ваши показания, вынесет решение о сдаче дела в архив и мы с вами еще успеем вместе пообедать. Я до трех свободен.

Фройденшусс взглянул на часы и потянулся было к кнопке звонка, чтобы позвать секретаршу.

— Одну минутку, — остановил я его. — К сожалению все не так просто.

Он удивленно откинулся обратно в кресло.

Я медлил. Подобрать правильные слова мне было нелегко. Я почувствовал, что устаю бороться. Неожиданное «воскресение» Хофбауера из полумертвых принесло ощущение отчаяния. Выдержка ускользнула от меня. И я пошел на довольно рискованный шаг.

— Все, что вы мне рассказали, очень для меня плохо, господин Фройденшусс.

— Плохо?

Фройденшусс решил, наверное, что ослышался. Я продолжал:

— Да, очень плохо. Я буду с вами предельно откровенным. Без этого, видно, не обойтись. Вы адвокат и обязаны хранить профессиональную тайну. Дело в том, что я совершенно не заинтересован в ликвидации дела.

У меня исключительно сложное положение. Я связан с группой людей, мешающих мне жить и толкающих меня на преступную дорогу. Вы чувствовали, конечно, что деньги эти не мои. Откуда у меня и могли бы появиться такие деньги. Есть люди, занимающиеся специфическими торговыми операциями с заграницей. Я не могу говорить вам всего. Могу сказать только одно — мне не по-пути с ними. Но они держат меня и привязывают к своим грязным делам. Есть только один путь освободиться от них: напугать и доказать, что Хофбауер больше им не пригоден. Что Хофбауера, вот-вот, могут арестовать. Я скажу им, что вынужден уехать за границу и действительно уеду. Вы знаете о моих знакомых в Дании. Они помогут мне найти там работу и порвать со всеми двусмысленными торговыми делами. Я не был преступником и не стану им ни в каком случае. Помогите мне в этом.

Адвокат сидел глубоко опустившись в кресло и смотрел на меня ошеломленными, неверящими глазами.

— Н-не знаю. Что же я-то могу сделать? И потом, я же адвокат. У меня есть профессиональная дисциплина.

— Я не прошу у вас ничего противоречащего вашей профессии. Вы считаете, что дело мое закончить ничего не стоит. Но ведь это вопрос мнения. А не могли бы вы решить, скажем, что шансов избежать судебного следствия у меня почти нет? Что Банк заинтересуется вопросом происхождения денег и будет преследовать меня. Что мне нужно скрыться за границу. Что мне нельзя появляться в Австрии без доказательств происхождения денег. Что, короче говоря, у меня земля горит под ногами.

— Я не могу сказать подобных нелепостей ни Банку, ни Суду . . .

— Но вы можете сказать их людям, заставляющим меня работать на них. Напишите мне письмо на почтовый ящик. Представьте положение дел так, что единственным правильным выходом для меня был бы немедленный отъезд за границу. Вложите туда намеки на опасность, напоминания о подозрительности дела, коснитесь возможности ареста. Да не мне учить вас, вы

столько раз убеждали власти в невиновности ваших клиентов. Убедите моих хозяев в моей виновности.

Вряд ли Фройденшусс подозревал тогда, что действительность была еще страшнее и опаснее для нас обоих. Но я не ошибся в его порядочности. Он снял очки, почему-то попробовал их согнуть и сказал немного растерянно:

— Н-ну, что уж теперь поделаешь. Хорошо. Напишу. Может быть, прямо сейчас вместе и составим? А завтра я отправлю.

Ошеломленная стенографистка переводила широко открытые глаза с Фройденшусса на Хофбауера, записывая текст письма Фройденшусса к Хофбауеру, где в мрачных красках перечислялись опасности, требовавшие немедленного исчезновения Хофбауера из Австрии.

Прощаясь, мы с Фройденшуссом долго трясли друг другу руки. Он все желал мне счастья, а я благодарил его. Думаю, что мы оба были очень искренни в своих словах.

Грозное письмо Фройденшусса разорвалось как бомба. Адвокат блеснул в нем умением говорить между строчек. Оперативная группа Бюро номер один, уже после элементарного анализа письма, поняла немедленно, что Хофбауер для работы в Австрии погиб. Во всяком случае выводить его нужно было немедленно.

Исчезнуть бесследно Хофбауер не мог. В розыски включилась бы уголовная полиция и под удар могла попасть агентура в Сант-Пельтене.

Нужно было организовать естественный выезд Хофбауера за границу. Для этого предстояло посетить квартиру Ардитти, забрать вещи и поручить ей отписать меня из полиции, как выбывшего в Швейцарию.

Мирковский решил сам сопровождать меня. Окунь не особенно с ним спорил, хотя начальнику группы, ради охраны рядового разведчика, так рисковать собой не разрешалось. Но Окунь был, очевидно, вполне согласен с Мирковским, что шансы на засаду в квартире есть и предпочитал остаться в советском секторе.

Когда я двинулся к своей венской квартире, сзади, метрах в пятидесяти, пошла за мной пузатая фигурка

маленького человечка с «буржуазными» усиками щеточкой и лысиной банковского директора.

Экспедиция к Ардитти прошла вполне благополучно.

Уже в самолете, когда Вена и Австрия остались далеко внизу и позади, я спросил смеясь Евгения Ивановича:

— Ну, а что вы сделали бы, если б там была полиция?

Евгений Иванович недовольно одернул пилотскую курточку, закрывавшую его ноги и нехотя ответил:

— Ну, как, что сделал? Знал бы, что взяли вас. Это во-первых, а там уж, смотря по обстоятельствам. До секторной границы пробились бы вместе. Да, разве в таких случаях заранее можно сказать?

Да, в разведке трудно предсказать заранее, но иногда и можно.

Иосиф Хофбауер уехал за границу, не явившись к судье и не дав ему возможности закрыть дело. — Так поступают только виновные.

Поэтому имя Иосифа Хофбауера рано или поздно попадет в специальный полицейский розыскной лист, так называемый «фандунгсблатт». Это будет означать, что на территории Австрии Хофбауер будет немедленно задержан полицией, если посмеет появиться.

Проходит мимо штурман самолета и бросает:

— «Границу пролетели. Идем над Советским Союзом».

Земля закрыта густым туманом, но я знаю, что лечу уже над Родиной.

Странная вещь случилась со мной в эту поездку. Я везу с собой два выполненных задания — правительственное и наше с Яной.

В первый раз в жизни я использовал свой опыт разведчика против разведки своей страны. Я знаю, что с властью мне не по пути. Но можно, наверное, служить своему народу и несмотря на советскую власть. Можно жить и работать, как все и в то же время не становиться преступником.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Иванова оборвала фразу на полуслове и прислушалась. Я хотел было сказать, что не слышал никакого звонка, но она уже выскочила в коридор. Небольшой шкаф, набитый разноцветными томиками иностранных книг, заслонял от меня входную дверь. По знакомым интонациям мужского голоса в коридоре я понял, что пришел Судоплатов. Он снимал пальто в невидимом мне углу комнаты, приспособленном Ивановой под гардероб.

Хорошо, что генерал, наконец, пришел. Я уже полчаса сидел в квартире Ивановой и так и не узнал от нее ничего о цели предстоящего разговора с Судоплатовым. Она отнекивалась, клялась, что сама ничего не знает и меняла тему. Я понимал, что Иванова лжет. Смутное предчувствие какого-то надвигающегося несчастья становилось все сильней.

Я поднялся из-за стола. Судоплатов подходил ко мне широкими, пружинистыми шагами. Его рука была протянута для приветствия и на лице лучилась дружелюбная улыбка. Наверное, я ему действительно зачем-то очень нужен.

Все втроем мы уселись за небольшой стол накрытый красной плюшевой скатертью.

Год тому назад, тоже в конце зимы, за этим столиком Иванова, Окунь и я решали проблемы создания фиктивного австрийца. Едва ли советская разведка рискнет воспользоваться теперь личностью и документами Хофбауера. Какие же тогда планы могли реять в го-

лове невозмутимого генерала советской разведки, откинувшегося назад к высокой спинке стула и внимательно разглядывавшего меня умным взглядом больших темных глаз?

Судоплатов, как всегда, начал с «чуткого отношения к подчиненным».

— Как ваша жизнь, Николай? Учеба? Я слышал вы сдаете уже экзамены за второй курс? Прекрасно, прекрасно. Как проводите свободное время? Ну, ничего, придет лето появится и свободное время. Кстати...

Он поймал меня своим пристальным взглядом:

— ...Нам нужно, Николай, чтобы вы освободились от университета на несколько недель. Речь идет о небольшой поездке. Работать над заданием будем втроем. Тамара Николаевна, вы и я. Предупреждаю вас, больше никто из наших сотрудников ничего, абсолютно ничего знать не должен. Вы понимаете меня?

Я понял его хорошо. Речь снова шла о поездке. Может быть, в интересах дела, остальные офицеры службы и не должны были знать о таинственном задании. А, может быть, генерал просто хотел включить в игру мое самолюбие. Он думал, наверное, что старшему лейтенанту госбезопасности покажется лестным отчитываться в своей работе прямо перед генералом, но у меня на душе от слов Судоплатова становилось только жутко и тревожно.

Судоплатов и Иванова выжидающе молчали. Полагалось, наверное, преданно откликнуться каким-нибудь бодрым заверением о готовности, радости и прочем.

— Я не совсем понимаю вас, Павел Анатольевич. На советской территории я мало пригоден для каких-либо заданий. А за границу мне ехать пока не совсем...

Судоплатов остановил меня, приподняв кисть руки с плюшевой поверхности скатерти.

— Конечно, за границу, дорогой друг. Вы поедете в Париж. Я знаю, что вас беспокоит, но мы не собираемся возвращаться к хофбауеровским документам. Получите какие-нибудь другие. Думаю, что лучше всего, комплекта два хорошо сделанных, совершенно фальшивых бумаг. Для таких коротких и острых заданий, какое предстоит вам, настоящие документы непригодны. Так

вот, в Париже нужно встретиться с одним человеком. Он наш агент. Давний и проверенный на делах. У него семья, дочь балерина. Вообще он культурный и занятный человек. Русский эмигрант. Познакомьтесь с ним поближе. Передайте ему денег и привет из Москвы. У него давно не было связи с нами. Установите с ним хорошие отношения. Этот человек должен знать только вас. Вы будете связаны с Москвой через Тамару Николаевну. Она поедет тоже. Может быть, как ваша родственница. Но агент, повторяю, будет иметь дело только с вами...

Судоплатов задумчиво барабанил пальцем по столу, подбирая слова. Он смотрел мимо меня, в сторону четвертого пустого стула. Глаза его чуть заметно сощурились и в углах рта появились горькие складки. Хмурая тень легла на лицо. Что-то нерадостное пронеслось, наверное, в его голове и вырвало на секунду из нашего общества. Через мгновение он встрепенулся и вернул в свои глаза лучики улыбки.

— Париж чудесный город, но времени для развлечений у вас не будет. У агента, с которым вы встретитесь, есть один хороший друг. Я сказал бы даже, близкий личный друг. Тоже русский эмигрант. Узнайте все, что сможете об этом друге. Его образ жизни, привычки, места, где он обычно обедает, гуляет... Главное, постарайтесь увидеть этого человека. Пусть агент покажет его вам. Надо узнать о нем, как можно больше.

Судоплатов подобрал со стола круглую пепельницу из зеленого стекла и, взвешивая ее на ладони, медленно проговорил:

— Нам очень мешает этот «друг». Оч-ч-ень мешает...

Как бы решившись, он поднял глаза и отчеканил, бросая пепельницу в сторону.

— Надо убрать его.

Стук упавшей пепельницы заставил вздрогнуть Иванову.

Я ответил Судоплатову таким же взглядом в упор.

— И кому предстоит это сделать?

Генерал вскинул правую руку с вытянутым указательным пальцем и направил ее на меня.

— Вам.

Теперь настала моя очередь смотреть мимо Судоплатова, на четвертый пустой стул. Генерал принял, очевидно, мое молчание за усиленное внимание и продолжал:

— Задание ответственное, но несложное. До Франции вы доедете благополучно. Агент в Париже даст всю необходимую информацию. А что касается самой ликвидации . . . Вы, кажется, привезли из Европы самопишущую ручку «Паркер». Она с собой у вас?

— Что? — очнулся я. — Ручка «Паркер»? Нет, дома. Она нужна?

— Да. Принесите на следующую встречу. Я пошлю ее в специальную лабораторию. Вы не сможете потом ею писать, но зато сможете из нее стрелять. Бесшумно и надежно. Так, что и задание будет выполнено и вы сможете потом безопасно отойти. Нам важно, чтобы не осталось никаких следов. И ваша жизнь нам тоже нужна. Обеспечьте себе отход. Идите на ликвидацию с билетами на поезд в кармане. Когда полиция спохватится, вы должны уже быть за пределами Франции.

— А как же агент? Ведь он сразу поймет, в чем дело. Нужно выводить и его?

— Боюсь, что для спасения агента времени не останется. От него лучше всего избавиться . . . На обратном пути . . . Возьмите с собой еще одну самопишущую ручку, только и всего.

Видимо, в моих глазах что-то мелькнуло, потому что Судоплатов поспешно добавил:

— У него тоже много грехов перед советским государством. Мы работаем с ним по необходимости. Его личный счет вполне достаточен для такого исхода. Да. . . Агента придется ликвидировать тоже.

Судоплатов снова откинулся к спинке стула, скользнул взглядом по кружевным занавескам, горке венгерских стаканов в глубине буфета, кучке заколок, забытой перед трильяжным зеркалом и вернулся к барабанящим пальцам своей руки, задержавшейся на краю стола.

— Прежде всего, решите вместе с Тамарой Николаевной, какую национальность вы оба будете разыгры-

вать. Я думаю, швейцарцы подошли бы. Как вы, Тамара Николаевна?

Иванова задумалась на секунду и потом мотнула неопределенно головой.

— Надо посмотреть. Не знаю. Документы хорошие дадите?

Судоплатов полуулыбнулся.

— Я лично, ничего вам давать не буду. Решим, что нужно и будем доставать вместе. Начните работать над легендами, взвесьте все «за» и «против». Когда придете к какому-нибудь выводу, позвоните мне, я подъеду.

И генерал поднялся из-за стола.

— Подумайте над маршрутом. Через Швейцарию ехать, конечно, нельзя: там сразу установят, что документы фальшивые. Придется, в объезд, через Италию, прямо на юг Франции.

— Одну минуточку, Павел Анатольевич . . .

Голос мой звучал не особенно уверенно. Но другого выхода не было.

— Я не могу решить этот вопрос сегодня . . . Так, сразу . . . Мне нужно подумать . . .

Судоплатов чуть откинул голову назад и смерил меня удивленным взглядом.

— Подумать? Я не понимаю вас . . .

— Задание не кажется мне простым, Павел Анатольевич. Я не могу решиться в течение нескольких минут на такую поездку. И особенно на такое дело . . .

Каким-то боковым зрением я заметил складочку испуга, появившуюся между белесыми бровями Ивановой.

Несколько секунд Судоплатов молча рассматривал перевернутую стеклянную пепельницу. Потом медленно заложил руки в карманы пиджака и негромко вздохнув, обратился к Ивановой.

— Начните работу с завтрашнего дня. Пусть товарищ подумает, если ему это так нужно.

Он еще раз смерил меня искоса, как бы со стороны, прищуренными, но не злыми глазами.

— Пора брать себя в руки, дорогой друг. Нельзя столько копаться в самом себе. Школа давно кончилась.

Надо переходить к серьезным делам. Приведите себя в порядок и приступайте к работе. До свиданья.

В тот вечер Яна вернулась с работы поздно.

Хлопнула входная дверь и волна холодного воздуха докатилась до моих ног.

Яна, не снимая шубы, вошла в кухню, присела рядом на сундук и прижалась замерзшей щекой к моему лицу.

— Ну, что? Опять куда-нибудь ехать?

Я не хотел отвечать, не видя ее глаз. Она поняла, отодвинулась и, откалывая синюю суконную шапочку, повторила нетерпеливо.

— Говори уж сразу. Без подготовки, ладно?

Я все смотрел на нее. Капельки растаявших снежинок блестели на отвороте шубы, на длинных темных ресницах, на непослушном завитке, выбившемся из-под заколки. Над лбом, в набежавших озабоченных морщинках, — каштан волос, чуть подернутый снегом, который никогда уже не растает. Милые, умные глаза, до краев наполнившиеся тревогой. Единственные в мире, смотря в которые я могу говорить обо всем, что на душе.

— Плохо наше дело, Яна. Они посылают меня убить человека.

Яна смотрит несколько секунд прямо перед собой, словно в какую-то внезапно открывшуюся пропасть, медленно подымается с сундука и начинает расстегивать непослушные пуговицы шубы. Глаза ее все еще прикованы к невидимой пропасти.

— И что ты им сказал?

— Пока ничего. У меня есть время до завтра . . .

Железная скобка на входной двери отбила два четких удара — Янина сестренка вернулась из школы. Мне пришлось отложить свой рассказ.

Поздно вечером, когда Маша заснула, будильник был заведен на семь часов утра и Яна свернулась калачиком рядом со мной, обняв одной рукой свою подушку, я передал ей шопотом разговор с Судоплатовым.

Ей принадлежало такое же право решать наш завтрашний день, как и мне. Ради таких моментов люди и становятся близкими.

— Что же ты собираешься делать? — дипломатично вернула мне инициативу Яна.

— Не знаю... Скажу им, наверное, прямо, что не способен на такие вещи. Ну, не гожусь я на роль убийцы, и все. За это не расстреливают. Пусть подберут кого-нибудь другого, в конце концов.

Яна отняла руку от подушки и осторожно положила мне на губы.

— Не надо. Не возмущайся... Давай будем говорить совсем тихо. Знаешь, если бы речь шла только о нас с тобой... Может быть, стоило бы тогда бросить им в лицо все, что мы о них думаем. Но теперь... Неправда, что отцы нужны только взрослым детям. И потом, если она появится на свет где-нибудь на Колыме, ее же немедленно отберут у меня. И вырастят из нее вторую Тамару Николаевну. Нет... Тамару Николаевну, пожалуй, не вырастят. Я не верю во всемогущую силу воспитания. Но жизнь ей изуродуют. Очень страшно, Коля...

— Они не смогут меня репрессировать. За что? За то, что я отказался стрелять в человека? Разные люди бывают... Скажу, что у меня просто не хватает силы воли для убийства.

— Так ты не можешь сказать.

— Почему?

Яна посмотрела на меня внимательно и недоверчиво.

— Неужели не понимаешь? Ведь ты же убил когда-то для них человека. Что изменилось с тех пор?

— Я? Убил человека? Ты что говоришь?

— Конечно. А за что ты получил твой орден?

— Ну, знаешь! Как можно называть партизанскую операцию убийством?

— Я знаю разницу, не беспокойся. Иначе я не была бы вместе с тобой. А ты не думаешь, что для Судоплатова-то нет никакой разницы между приказом убить фашистского гауляйтера и заданием пристрелить мешающего эмигранта. Может быть, этот эмигрант в их глазах даже опаснее, чем фашист Кубе. Война решалась войсками на фронте. Кубе могли повесить и в Нюрнберге. А вот, против эмигрантов войск не пошлешь...

— Но, в конце концов, не я же сам убил Кубе.

— А чего ты оправдываешься? Я же не упрекаю тебя ни в чем. Ну, воевал где-то, помог убить какого-то фашиста. Ну и что же? Было бы хуже, наверное, если бы ты отсиживался в тылу. Дело не в этом. Я боюсь только, что Судоплатов не поверит такому твоему ответу. Когда-то ты был готов выполнить любой его приказ. А сегодня не можешь застрелить врага советской власти. Из-за чего? Совесть не позволяет. . . Рука не подымается . . . Очень неубедительно, Коля. Для Судоплатова, конечно. Да и как ты скажешь ему? Павел Анатольевич, на убийство я не способен . . . Он же просто обидится. Такой почет тебе, такое доверие, а ты вдруг — «убийство». Немного непочтительно, даже. Ну, ладно, я не буду больше язвить. Не сердись, пожалуйста. И не смотри на меня такими чужими глазами. Я же не виновата, что твое начальство не понимает разницы между партизанской операцией и убийством . . .

И Яна спрятала лицо между моим плечом и подушкой. Во-время, иначе она увидела бы невольную улыбку на моем лице.

Странно. В такой, может быть не совсем подходящий момент, на душе у меня стало тепло. Я почувствовал, что на самом-то деле, Яне не было страшно, так же, как и мне. Материнская тревога за будущее еще не появившегося на свет дорогого существа сжимала ее сердце. Но разве можно назвать это страхом?

Страх, как плесень, живет на слабости и неуверенности.

— Мы же были уверены в самом главном — на убийство я не пойду. Здесь не могло быть ни колебаний, ни размышлений. И отсюда рождалась внутренняя сила. Как двое путников в буране, мы прижались друг к другу, не видя куда идти и что делать. Но руки наши уже не разорвать было никакому ветру и мы знали, что не упадем.

Величайший американский новеллист писал когда-то: «Разве есть во всем мире что-нибудь лучшее, чем маленький круг на экране и в нем двое, идущие рядом?»

Он имел в виду «концовку» рассказа. Для Яны и меня такой круг был бы началом настоящей жизни. В течение двух лет мы пытались замкнуть его вокруг нас. Мешала моя профессия, мое прошлое, неопределенность

моего будущего. Мешала, правда, только мне одному. Только я сам нуждался еще в какой-то проверке, искренна ли до конца моя борьба с разведкой. Проверка, которая доказала бы, что в моей душе действительно не осталось никаких колебаний.

Австрийский эпизод оказался такой проверкой.

Когда я затем вернулся в Советский Союз, Яна и я поехали на юг, в отпуск. Нам удалось застать последние солнечные дни октября месяца на Кавказе. Путевок в санаторий мы не взяли, а снимали частные комнаты и питались на туристских базах. Бродили по горным ущельям и пустынным местам побережья. Жарили шашлык на костре в заброшенном песчаном карьере около Гагр. Карабкались по заросшим колючками холмам вокруг Сухуми и разглядывали с их высоты дачи советских вельмож, обычно защищенные от посторонних глаз плотными заборами.

Мы самоотверженно пробовали огненное от перца харчо, купались в ледяном осеннем море, увлекались «чебуреками» — пирогами, жареными между раскаленными булыжниками, ухитрялись пьянеть от красного абхазского вина, охотились на рынках за виноградом и каштанами, — в общем, вели себя, как нормальные советские граждане, дорвавшиеся до курорта.

Но ощущение счастливой свободы пришло к нам, наверное, не столько от близости моря или гор, сколько от радостного понимания, что мы не ошиблись ни в чем и окончательно нашли друг друга.

Нам показалось даже, что тиски разведки были готовы выпустить меня и что мечта о своем собственном мирке, недоступном для советской власти, становится для нас возможной.

Тринадцатого ноября я встретил Яну после работы у Смоленского метро и мы поехали с ней к окраине Москвы, на Можайское шоссе.

Мы не случайно выбрали этот день, чтобы «расписаться». Ровно два года тому назад я забрел в Кривоникольский переулок в поисках верного и незаменимого друга. Пролетевшие месяцы неоспоримо и навсегда доказали, что я его нашел.

Тринадцатого ноября 1951 года ЗАГС Киевского района города Москвы зарегистрировал брак между

Еленой Адамовной Тимашкевич и Николаем Евгеньевичем Хохловым.

Когда мы возвращались к троллейбусной остановке я узнал, почему Янино имя в паспорте было «Елена». Янина — имя католическое и для русского уха звучит необычно. Когда Яне в первый раз выдавали паспорт, районное отделение милиции решило изменить ее имя на более православное. Так и стала она Еленой Адамовной.

На площади у Киевского вокзала я купил букет цветов, последних в сезоне. Вечером мы отпраздновали нашу свадьбу. В соседней комнате спала Маша и тосты пришлось произносить шопотом. Гостей у нас не было. Только бутылка шампанского и мечты вслух. Яна не хотела пока никому рассказывать о том, что мы поженились. Я был согласен с ней. Мне тоже не хотелось, чтобы на нее было немедленно заведено личное дело в МГБ, как на жену офицера разведки. Яна даже не переменила своей девичьей фамилии.

— Если я переменю, то меня будут спрашивать на работе, кто мой муж. А что я им скажу? Что он сотрудник МГБ? Чтобы все стали замолкать, когда я буду входить в комнату? Чтобы перестали рассказывать в моем присутствии антисоветские анекдоты или последние слухи из личной жизни парторга? Ведь, не могу же я им рассказать, какой ты на самом деле. А лгать не хочу. Лучше подожду, когда ты уйдешь из своей организации. А маме скажем под Новый Год. Тогда и повод будет вместе отпраздновать. Ладно?

Немного больше было у нас споров о том, переезжать в мамину квартиру или нет. Я побаивался, что в случае увеличения нашей семьи, дочке будет плохо расти в сыром подвале. У нас не было никакого сомнения, что первым ребенком будет дочка. Уже и имя было подобрано — Надя, в память Яниной мамы.

Но Яна не хотела уезжать из Кривоникольского переулка.

— Я слишком люблю свой подвал, — говорила она. — Здесь каждая мелочь напоминает мне о детстве, о маме, об отце. Ты, вот, смеешься, что в ящиках стола у меня хранится всякое барахло. Тебе трудно понять мою привязанность к какой-нибудь сережке с красными ка-

мешками, которые я все свое детство считала настоящими рубинами. Или — ракушка, например. Я сама нашла ее в Крыму и мама научила меня слушать в ней шум моря. Ты считаешь устаревшим набор для ножей и вилок из простого стекла, а я этот набор помню столько же лет, сколько себя саму. Твоя профессия бросала тебя из одного дома в другой. Вот и кажется тебе смешным, что у меня всего один дом и я не хочу менять его ни на какой другой. Кроме того, сейчас у меня с твоей мамой хорошие отношения. Давай оставим все, как есть. Не будем ничего менять. А подвал можно отремонтировать. Даже стены будут сухими. И линолеум постелим. Думаешь, не справимся своими руками?

В результате, к маме мы переезжать не стали, а занялись ремонтом подвала. Это оказалось действительно возможным делом. Однако, не таким легким, как нам показалось вначале.

В Советском Союзе погоня за стройматериалами, начиная с дверных петель и кончая всякими сухими штукатурками, напоминает игру в крестословицу: либо неизвестно, чем заполнить пустующие клетки, либо найденное слово не подходит по смыслу. Скоро мне пришлось начать визиты на загородные рынки и познакомиться одновременно с особой категорией людей, так называемых «мастеров со своим материалом». Эти люди, обычно, занимали ключевое положение на государственных стройках и имели доступ к казенным материалам. Жить им, как и большинству советских людей, на одно законное жалование было очень трудно. «Захватывая» со стройки лишний водопроводный кран или пачку кафельных плиток, они особенно не мучались совестью. И мы — потребители этих, в сущности, ворованных материалов, не тревожились вопросом, нарушается ли социалистическая законность. Государство грабило нас всех на каждом шагу. Нам не приходила в голову мысль, что нам, в свою очередь, грабить его не полагалось бы. Во всяком случае, ремонт квартиры подвигался вполне приемлемыми темпами. Кроме того, еще одна сторона советского быта открылась передо мной и познакомила с колоритными действующими лицами.

Вообще, по-настоящему окунувшись в повседневную жизнь советского обывателя, я с каждым днем все

больше узнавал подлинные думы и заботы моего народа.

Я возобновил учебу в университете. Борис, бывший фронтовик, познакомил меня с группой своих сверстников, которые несмотря на молодость, были гораздо старше меня по жизненному опыту. Одновременно, освоившись с документами научного сотрудника, я мог разыскивать старых школьных друзей, без риска напугать их упоминанием о МГБ.

Скоро я понял главное, что отличало послевоенные настроения русского народа. Мои друзья не только знали, что советская власть — власть антинародная. Они чувствовали, что большинство народа думает так же. Более того — они как бы ожидали от каждого даже первого встречного, в принципе, таких же взглядов. Мне трудно было сначала поверить, что в государстве, контролируемом органами безопасности и налаженным партийным аппаратом, может существовать такой образ мышления среди широких масс.

Но один за другим факты и личные встречи убеждали меня, что доверие к человеку возродилось в русском народе, наперекор всем тормозам советской системы.

Сначала такими фактами были дискуссии с товарищами по факультету. Собирались мы в университетских коридорах или на квартире у друзей. Почти всегда с разговоров об истории литературы или с вопросов славянской филологии мы переходили на обсуждение политики партии и правительства и положения в стране. Схватки между собеседниками были зачастую горячими. Немало ребят продолжали считать правильными лозунги 1917 года. Только личные методы правления Сталина и его соратников казались им ошибочными и антинародными. Девушки и студенты постарше, обычно старались доказать что общество, где партия превыше всего, неизбежно приходит к диктатурам, и, даже, к таким вещам, как гонениям на евреев. Вопрос правительственного антисемитизма обсуждался особенно часто, потому что среди нас было несколько евреев и их несчастья воспринимались всеми близко к сердцу. Как раз в те годы, гонения на евреев стали достигать очень чувствительной степени.

Слушая подобные разговоры, я удивлялся не столько зрелости их суждений, сколько смелости высказываний. Сам я осведомителей не боялся, потому что уже привык к своей личной борьбе против системы. Мои попытки уйти из разведки были гораздо серьезнее недоносительства. Откровенность студентов-евреев тоже была понятна. Один из них, например, член партии еще с фронта, настолько измучился бесплодными поисками работы и моральной травлей, которой он подвергался, что поговаривал о самоубийстве, как об единственном выходе.

Но почему остальные собеседники не думали о том, что их может выдать какой-нибудь трус или мерзавец — я не понимал. Однако их откровенность заразила и меня. Постепенно я стал рассказывать о своих впечатлениях от заграницы во время «научных командировок». Остатки осторожности заставили меня ограничиться странами народных демократий. Но и к этим, лишь относительным доказательствам безнравственности советского строя, интерес был огромный.

Забегая вперед, стоит отметить, что никакого осведомителя среди нас не нашлось. Годы войны выпрямили душу русского народа, столько лет искривленную тисками страха, и сделали работу осведомителей исключительно трудной. Все меньше людей шло на роль иуд и все быстрее узнавали в коллективах заводов, институтов, учреждений и общих квартир, кто именно «стучит» и в присутствии кого надо держать язык за зубами.

В кругу же семьи и друзей страх исчезал.

Однако во всех наших, по-русски многословных, разносах советской власти был один серьезный недостаток. Мы были способны, в общем, договориться, что дело плохо и жизнь невыносима. Но тут дискуссии затухали. Мы совершенно не знали, есть ли хоть какой-нибудь путь к изменению существующих порядков. И если даже и нашелся бы чудом такой путь, то на что менять? Капитализм для всех нас был мертв и немыслим, как социальная форма. И, главное — кому и как менять? Вопрос был настолько сложен и туманен, что даже и браться за него никто из нас не решался.

Только один раз мне пришлось встретиться с собеседником, который не остановился на критике советской власти. Правда, он был не студентом, а довольно пожилым уже человеком, профессором, преподавателем русской литературы.

Он не успел принять у меня экзамены в университете и попросил, в числе других опоздавших студентов, приехать к нему на квартиру. Через несколько дней я разыскал его дом на одном из бульваров и поднялся на третий этаж. Профессор был один. Я сдал ему зачет и мы разговорились. Он предложил мне чашку кофе. Я согласился — меня заинтересовал этот умный и опытный преподаватель, перед глазами которого каждый день проходили сотни студентов. Он, наверное, хорошо должен был знать, чем живет советская молодежь.

Как-то так получилось, что я рассказал ему вскоре и о своем положении научного сотрудника, выезжающего иногда за границу, и о знакомстве с языками и культурой Запада и даже о том, что стал недавно кандидатом партии. Незаметно разговор перешел на обстановку в нашей стране, трудности жизни, и, в особенности, отсутствие свободы в преподавательском деле. Потом я опомнился и подумал со страхом, что профессор может принять меня за провокатора. Хотя, с другой стороны, провокатор не стал бы рассказывать о своей партийности или принадлежности к привилегированному сословию. Видимо, профессор думал так же, потому, что сказал вдруг:

— Нет, нет, Николай Евгеньевич, мне кажется, вы неправы. Дело не так уж безнадежно. Я стар и моя жизнь мне сил не прибавляет. Но, даже я, надеюсь. Надеюсь увидеть когда-нибудь Россию свободной. Где-то должны быть силы, которые борются против всего этого. Так всегда бывает в истории. Кажется, что все покрыто мраком и безнадежностью, а где-то есть люди, жертвующие всем и знающие что нужно делать. Есть. . . есть . . .

Разговор на этом оборвался. Ответить старику мне было нечего. Я не мог согласиться с ним. Его слова о фантастических «силах» звучали для меня наивной невероятностью. Силы — это значит организация. А кто начнет создавать такую организацию в условиях обще-

го самогипноза, убеждения, что сделать ничего нельзя и, некому? Мне рассказывали во время войны, как фашисты-эсесовцы водили сотни евреев на расстрел под охраной трех-четырех вооруженных конвойных. Казалось, что могло быть проще для евреев, взять и разбежаться, не говоря уж о сопротивлении ?Ну, перестреляли бы с десяток-другой, но остальные ведь спаслись бы от верной смерти. И все же, наперекор всем разумным рассуждениям, кучка конвойных вела без каких-либо приключений сотни обреченных до самого места расстрела. Разгадка объяснима — кто-то должен был начать бунт и пожертвовать собой. Даже в таких колоннах обреченных людей не находилось зачинщиков. Где же им было найтись среди миллионов советских граждан, не знавших не только как начать, но и вообще, к какой цели идти?

Но возражать профессору я не стал. У меня появилось ощущение, что дальнейший разговор только увеличил бы своеобразное сообщничество между нами. К такому сообщничеству я был совсем не подготовлен.

И не над словами профессора о «силах» задумался я потом, а над его неожиданной смелостью. Да, он был знаком с психологией нового, послевоенного советского студенчества. Он, возможно, потому и верил, что его не выдадут.

Но я-то ведь не был рядовым студентом. Профессор знал, что я кандидат партии и что государство даже выпускает меня за границу.

Может быть, он слишком устал от жизни и ему было все равно?

Встречи и разговоры с моими соотечественниками все чаще подтверждали мне, что профессор не был самоубийцей. Его поведение было нормальным следствием общего психологического процесса, развивающегося в массе русского народа. Это было зарождение чувства круговой поруки. Возникновение между людьми доверия в кредит, понимания, что все мы ближе друг к другу, чем к антинародной власти.

Один за другим факты подтверждали мне правильность такой мысли.

Однажды я зашел к коллеге по факультету за конспектами пропущенных лекций. Оказалось, что ее мать

слышала про студента-заочника, который служит в секретном институте и носит костюмы, сшитые по последней европейской моде. Казалось, у этой женщины были все основания побаиваться меня. И все же . . .

Когда мы коснулись вопроса, почему перед организацией студенческого вечера нужно испрашивать разрешения партийной организации, мать моей знакомой вмешалась резко и авторитетно:

— Чего боятся? Правды боятся — вот, чего. Заперся Сталин со своими дружками за кремлевскими стенами и забыл о тех временах, когда народ ему власть дал. Сам царем стал. А за стеной-то, конечно, забоишься . . .

Дочь покраснела и резко оборвала старушку.

— Мама! Как тебе не стыдно. Опять ты со своими разговорами. Николай тебя совсем не знает и может неизвестно что подумать . . .

— А что он может подумать? — мать затянула потуже платок под подбородком и посмотрела на меня в упор. — Человек он взрослый. Сам все понимает. Не то, что вы, попрыгунчики. — Ура, ура, а что «ура», сами не знаете.

Или старик маляр, которого я пригласил зашпаклевать рассохшиеся двери. Он приходил к нам в полуподвал несколько дней подряд. После дверей нашлись другие малярские мелочи.

Я увидел у него на руке вытатуированный якорь. Выяснилось, что мой маляр был когда-то матросом.

— С Балтийского, — подтвердил он. — Служил в свое время. Даже с корабельным отрядом Зимний брал.

Я не выдержал и подшутил.

— Значит, ты, папаша, вроде, как советской власти одним из крестных отцов приходишься? Помогал ее устанавливать?

Старик вдруг потускнел, опустил голову и искренне смутился.

— Да, что там . . . — он даже отмахнулся. — Молод был. Разве ж я мог знать . . . Так . . . По-дурости . . .

У него, видимо, не мелькнуло ни малейшего сомнения, что я мог бы поставить ему в упрек штурм Зимнего дворца, в котором он принял участие «по-дурости» . . .

Или колхозники из подмосковья. Среди Яниной родни по отцу много крестьян. Иногда, приезжая в го-

род с молоком, они заходили к нам в гости, иногда мы сами выезжали в деревню. Сколько грустных рассказов и неспрошенных ответов услышал я при этих встречах. За несколько месяцев я узнал больше о трагедии советского колхозника, чем за все предыдущие годы моей жизни.

Откровенные беседы со знакомыми драматургами, писателями, режиссерами. Наболевшие вопросы о трагедии советского искусства, о том, что, в конечном итоге, принесло социалистическое государство русскому народу.

Я сидел как-то в гостях у писателя, старого члена партии, знавшего, кстати, что я не научный сотрудник, а разведчик.

— Значит студентиком стали? — подтрунивал он. — Хорошо, хорошо. Теперь, ведь, жизнь студенческая: малина. Не то, что мы когда-то . . . Я вот, помню себя в царской порабощенной России. Ну, что нам бедным студентам было делать? Получали мы гроши — какие-нибудь копейки в день. Получишь, например, копеек пятьдесят, зайдешь в бакалейную лавку. Ну, что нам беднякам можно было купить? Фунт чайной колбасы, скажем, четвертушку чаю. Ну, сахару, конечно. Как же бедному студенту без сахара. Жизнь-то горькая. Булку еще захватишь французскую. Не свежую, конечно, утрешнюю. Свежие для благородных. Заберешь всю эту снедь куда-нибудь под крышу в отдельную темную комнатушку и ужинаешь в одиночестве, проклиная эксплуататорскую власть . . .

Он наслаждался своей иронией и хотел, видимо, поразить меня контрастом между бывшей жизнью и советской действительностью. Но я уже не раз слышал подобные рассказы от людей старшего поколения. Элементарная истина, что русскому народу до революции жилось лучше, была хорошо известна и мне. Я думал о другом.

Вот, этот человек знает даже, что я сотрудник МГБ. В чем же дело? Может быть, оно не в пробуждении народа, а в отношении собеседников лично ко мне? Может быть, что-то в моем поведении внушает им особое доверие? Может быть, мне просто везет?

Вечер на концерте Вертинского разбил эту, не совсем скромную, гипотезу. Яна очень любила пластинки Вертинского и знала наизусть почти все его песенки. Когда Вертинский вернулся в СССР, ему давали иногда возможность выступить на эстраде. Однако, для концертов он получал, как правило, неудобные и малоизвестные площадки. Мы с Яной, например, слушали Вертинского в подвальном помещении Клуба глухонемых в одном из переулков, примыкающих к Сретенке. Несмотря на двусмысленное название клуба, аудитория не оказалась ни глухой, ни немой. Наоборот, — самым сильным впечатлением, полученным мною от концерта, было именно поведение слушателей. Билеты на концерт было невероятно трудно достать, но когда певец вышел на сцену, Яна и я почувствовали некоторое разочарование. Так же, как и другие советские люди, мы представляли себе Вертинского по картинкам на его уцелевших нотах. Нам казалось, что он должен был бы сохранить свой образ экзотического певца, с набеленным лицом Арлекина, соболиным мехом на плечах и манерным напевом мелодичного голоса. Вместо этого, мы увидели прислонившегося к роялю усталого старика с морщинистым лицом, потухшими глазами, дребезжащим голосом и высохшими руками, которыми он в первой песенке изображал кое-как прыжки маленькой балерины. Пока продолжались тягучие напевы о пальцах, пахнувших ладаном, на лицах слушателей была, в общем, вежливая скука и некоторое недоумение.

Но потом Вертинский перешел, вдруг, к песням, слова которых зазвучали неожиданным и недвусмысленным осуждением советской действительности.

Аудитория ожила и встрепенулась. Я следил то за певцом, то за лицами слушателей. Вертинский спокойно и, как мне стало казаться, с искренним чувством рассказывал нам о появившихся в его жизни двух дочках. Он пел об отцовской заботе за их будущее и о надежде вырастить этих двух девочек вдали от губительного влияния окружающей жизни.

«Я каких-нибудь добрых старушек специально для них подберу . . .» делился он с нами своим планом и объяснял, почему: «чтобы им детство свое не забыть».

Я не верил своим ушам. Текст песенки явно и откровенно говорил о самом главном, что должно беспокоить каждого отца — как спасти своих детей от советского воспитания.

Слушатели буквально впитывали в себя каждое слово. Мы с Яной только успели многозначительно переглянуться, как песня закончилась и грянули оглушительные аплодисменты. Первые, по-настоящему горячие, аплодисменты за вечер. Аудитория отдала свои симпатии певцу.

Потом Вертинский пел разные песни: о лампаде, зажженной перед ликом Родины, Родины в тяжелых солдатских сапогах, о чужих, далеких городах, о настоящей человеческой жизни, которая была когда-то давно и в мире другом, о последнем ужине и бледной луне.

Но что бы он ни пел, слушатели уже вкладывали свой собственный смысл в слова, звучащие со сцены. Для одних эти слова выражали протест, для других обвинение, для третьих — напоминание о запрещенных властью чувствах. И каждый раз, единодушные, горячие аплодисменты старались показать певцу, что аудитория в с ё понимает и целиком на его стороне. Даже тогда, когда в самом-то деле текст песен был совсем невинным и нейтральным. Это было уже неважно: аудитория слышала именно то, что хотела слышать.

Я разглядывал лица сидящих рядом со мной. Офицер с фронтовыми орденскими планками на груди, отчаянно аплодировал и временами кричал «браво» через руки сложенные рупором. Дальше, две женщины, на лицах которых не было даже губной помады, о чем-то оживленно переговаривались, хлопая в ладоши, поднятые на уровень щек. Пожилой мужчина в синем, до блеска заношенном костюме, не хлопал, но, приподняв голову, смотрел куда-то поверх Вертинского со слабой, немного растерянной улыбкой в углах рта.

Молодежь и взрослые, штатские и военные — рядовые советские люди, они не избегали смотреть друг другу в глаза. Наоборот, — искали и находили взгляд соседа.

Странное, невысказанное, но реальное ощущение своеобразного сообщничества висело в воздухе: сообщничества молниеносно и едино принятого всеми. Сообщ-

ничества, от которого я отказался в разговоре с профессором. Сообщничества, до которого я еще не дорос.

Я понимал, что дело не в Вертинском. Конечно, не на каждом его концерте случалось такое. Очевидно, в тот вечер подобралась аудитория, в которой цепная реакция взаимопонимания могла охватить слушателей. Однако это было гораздо большее, чем случайность.

Такие мысли придавали мне сил и веры в правильность нашей с Яной жизни. Они же напоминали мне, что в моем-то положении ничего не изменилось.

Я по-прежнему числился старшим лейтенантом госбезопасности. Более того, — весной 1951 года, мне пришлось стать кандидатом партии. Прошел уже год и, согласно уставу ВКП(б), я должен был подумывать о поступлении в партию.

Когда-то, стать членом ВКП(б) было моей мечтой. Попав в разведку я, выражаясь фигурально, подписывал заявление в партию на крыле каждого самолета, которому предстояло увезти меня на задание. Однако, устав ВКП(б) требовал прохождения всяких формальностей: общего собрания организации, пленума парткома, райкома и других инстанций. Я находился на строго засекреченном положении нелегального сотрудника-агента. Раскрывать, даже партийной организации НКВД, мою связь с разведкой было нельзя.

Потом, в Румынии, мой интерес к партийности, в том числе и к комсомолу, значительно охладел. Комсомольцем я стал в школе, в 1938 году, и долгое время был горд своей принадлежностью к нему. В Румынии же, незаметно для себя, я перестал заботиться о своих комсомольских делах. Когда я вернулся в СССР, осенью 1949 года, выяснилось скандальное обстоятельство: я выбыл из комсомола из-за неуплаты членских взносов. Судоплатов пришел в ужас. К счастью для меня, он обвинил в невнимательности к моим комсомольским делам майора Коваленко. В ЦК комсомола пошло специальное письмо за подписью министра госбезопасности. В начале 1950 года меня восстановили в комсомоле. Я был уже староват для этой организации. Она охватывает молодежь не старше 28 лет, но для меня было сделано исключение, чтобы облегчить переход в партию. Ге-

нерал заботился о моей партийности, наверное, потому, что будучи беспартийным я выглядел «белой вороной» в его коллективе.

Большинство молодежи приходило в разведку по, так называемому, партнабору с предприятий или из институтов. Беспартийные разведчики — явление редкое.

Весной 1951 года, перед выездом в Австрию, парторганизация поставила вопрос в упор: «сколько времени я собираюсь еще откладывать свое поступление в партию и почему?»

Я решил не дразнить судьбу и написал за несколько дней до отъезда заявление в парторганизацию МГБ СССР, надеясь, что и на этот раз «пронесет». Но на этот раз не «пронесло». Партком МГБ СССР, по специальному разрешению ЦК ВКП(б), утвердил меня в кандидаты партии без каких-либо других инстанций.

Вернувшись в Москву после провала Хофбауера, я отвечал на вопросы парторга одним и тем же: «Не думаю, что я достоин теперь звания члена партии. . .» Он убеждал меня, что, дескать, нечего беспокоиться, раз парторганизация доверяет, но я упорно отнекивался, ссылаясь на свои ошибки в Австрии, погубившие важное государственное задание.

Я надеялся, что уйдя из разведки, затяну свое кандидатство и автоматически потеряю его, согласно уставу партии.

Но, как видно, надеждам на мирный уход не суждено было осуществиться. Принять задание по убийству я не мог, но и как отказаться от него — не знал.

Стоило ли так биться над компрометацией Хофбауера, чтобы всего через полгода придти к такому острому и безвыходному конфликту . . .

Почему мне так не везет? Почему именно я должен попадать в такие необычные, почти фантастические положения? А, может быть, наоборот, — совершенно нормальные для советской действительности?

В конце концов, в чем заключается мой конфликт с разведкой?

Мне приказывают стать убийцей. Убийцей ради интересов советского государства. А я собираюсь отказаться. На каком основании? На основании того, что это

убийство невыгодно для советского государства? Или потому, что у меня есть причины сохранить жизнь этого эмигранта? Нет. Мне совершенно безразлично, будет он жить или нет. Все, что я хочу — это остаться самим собой. Не стать убийцей. Жить так, как диктует мне моя собственная совесть.

А разве я имею право быть самим собой, не тем, что навязывает мне государство? Кто вообще из советских граждан имеет право быть самим собой?

Разве Юрий, например, мой школьный товарищ, получил право жить по своей собственной воле?

Закончив медицинский институт, он хотел задержаться в Москве. Его жена ждала ребенка. Кроме того, она была учительницей французского языка. Ехать на Алтай ей было не к чему. Кому нужен в алтайском селе французский язык? И все же, Юрий должен был уехать — так требовало государство. Через три месяца его жена бросила работу и поехала с дочкой к мужу. Ее мать читала мне потом письма дочери, наполненные отчаянием.

Или ребята, которые призываются в трудовые резервы. Разве они имеют право оставаться детьми, которые нуждаются в том, чтобы хоть время от времени видеть своих родителей? Подростками, которые, окончив школу, хотят поехать домой, а не уезжать на долгие годы «по разверстке» на далекие заводы?

Разве рабочий, который хочет уйти с завода или служащий, желающий переменить место работы, могут сделать это без особого разрешения государства?

Разве крестьяне имеют право работать сами на себя? Разве, собрав урожай, не отдают они большую долю государству, а остатки делят по трудодням, определяемым председателем колхоза и парторгом?

В нашем домоуправлении числится истопником некий Гаврила. Он получает меньше двухсот рублей в месяц и работает, без выходных, то кровельщиком, то слесарем — куда пошлет домоуправ. У него восемь человек детей. В потолке подвального колодца, где они живут, — одно окно. Его лицо — серое, как у загнанного нуждой человека. Я спросил Гаврилу: — Ну, чего ты мучаешься? Ушел бы с этой работы. Ведь и себя и детей губишь.

— А куда? — спросил он. — Обратно в деревню? Там и без меня люди с голоду мрут. А здесь домоуправление мне площадь дает и московскую прописку. Кто меня еще в Москве пропишет, если я не буду в домоуправлении работать?

Гаврила рассказывал о своем бегстве из колхоза, как о счастливой и редкой удаче. Действительно — все граждане в СССР имеют паспорта. Отписываясь и приписываясь, они могут кое-как передвигаться по стране. Колхозникам никаких документов не полагается. Они не имеют права покидать свой колхоз. Только молодежи удается вырваться на учебу в город и получить паспорт. Они, как правило, в колхоз не возвращаются.

Но разве русский крестьянин не хотел бы быть полноценным гражданином своей страны и передвигаться по стране, когда хочет и куда хочет?

Или мой знакомый, Игорь? Получив диплом инженера, он пробовал в течение года содержать на девятьсот рублей жену, дочерей, мать и себя, а потом не выдержал и пошел в артель подработать «на стороне». Но он не имел права терять своей квалификации, потому что его квалификация была нужна государству. Его отдали под суд.

А писатели, журналисты? Разве они могут писать то, что им подсказывает их талант и совесть? Разве драматурги могут выводить на сцену людей, которых видят в жизни?

Почему в разгуле государственного антисемитизма были арестованы даже Маклярский и Эйтингон? Потому, что все, без исключения, интересы советских граждан должны принадлежать государству. Оба разведчика-еврея забыли о том, что верность национальному происхождению опасна для советского государства, если националист занимает такое ответственное положение, какое занимали Маклярский и Эйтингон. Они исчезли осенью 1951 года по смехотворному обвинению в растрате казенных средств.

И вообще, не вдаваясь больше в общеизвестные примеры, разве самый главный, самый чувствительный конфликт всех нас, советских граждан, с государством, не заключается именно в этом — невозможности жить

по собственной совести, в отсутствии права быть самим собой?

Да. Мой конфликт не исключение, а нормальное и логичное следствие, вытекающее из самой сущности советского государства.

Тем хуже. Тем меньше у меня шансов найти выход из него.

Но к чему все эти сложные рассуждения и мысли... Не запутываю ли я сам себя? Стоит ли ломать голову?

Я не знаю, что скажу завтра Судоплатову. Но, если продолжать в таком же духе, к утру я могу просто свихнуться. Лучше попробовать заснуть. Одно ясно — задания я не приму. Может быть по дороге на конспиративную квартиру что-нибудь придет в голову. Утро вечера мудренее.

Я смотрю на Янино лицо, прижавшееся к моему плечу. Спит ли она на самом деле? Если потянуться к часам, я разбужу ее. До выключателя ближе. Осторожно высвободив плечо, я тушу свет и поворачиваюсь к стене. Уже сквозь сон, я чувствую, как Яна тихонько укрывает меня одеялом. Очень кстати, потому что в том месте, где прижималась ее щека, пижама холодит мое плечо мокрым пятном.

Каждому человеку знакомо своеобразное душевное состояние, которое можно назвать раздвоением собственного «я».

Иногда это чувство мелькнет, как что-то мимолетное и тут же унесется прочь. Иногда же, в особо критические моменты жизни, оно овладевает человеком надолго.

Сравнить его можно с ощущением опытного шофера, ведущего машину через забитый движением перекресток и занятого, одновременно, собственными мыслями.

В состоянии душевной раздвоенности, физическое «я» продолжает дышать, двигаться и даже разговаривать несложными, автоматическими фразами. Но где-то, параллельно с ним, возникает второе, критическое и контрольное «я». Оно, как шофер, следит задумчиво за действиями машин, регистрирует работу мотора, слы-

шит звуки гудка, чувствует упругость тормозной педали.

Когда я шел по улице Горького к Ивановой, мое физическое «я» покорно шагало вдоль тротуара, останавливалось у перекрестков при красном свете, сворачивало в переулки, поднималось по лестничным пролетам. Второе «я», притаившееся в глубине души, скользило время от времени равнодушно-контрольным взглядом за всеми этими действиями и возвращалось снова к прежней, неотвязной, неразрешимой проблеме: «Что же я отвечу Судоплатову?»

Иванова открыла мне дверь, очень обыденным тоном пригласила войти и прошла вперед, в комнату.

Я проследил апатично за тем, как мое физическое «я» аккуратно стряхнуло снег с пальто, перекинуло его через руку и вошло немного боком в узкую половину двери.

Иванова остановилась у стола и склонилась над раскрытой папкой с документами.

— Садитесь, Николай, — начала она, выкладывая на плюшевую скатерть пачки документов и образцы анкет. — Может быть, начнем лучше с документов, выясним, какие есть технические возможности, а потом уже будем создавать легенды?

Я молча наблюдал за руками Ивановой, перебиравшими бумаги. Нет, она не забыла вчерашнего инцидента и только делает вид, что нам можно, как ни в чем не бывало, приступить к работе. Она даже волнуется. Это видно по беспорядочным движениям ее худых пальцев и по красным пятнам на тонкой просвечивающей коже кистей. Хотя, может быть, эти пятна просто от холода или недавней стирки. Тамара Николаевна ведь сама ведет свое хозяйство одинокой женщины.

У Ивановой нашлось достаточно выдержки, чтобы не смутиться моим молчанием. Она придвинулась вместе со стулом поближе к столу и положила оба локтя на стол. Наклонив немного вбок голову и окинув образцы документов оценивающим взглядом, Иванова продолжала свои размышления вслух.

— У нас есть хороший комплект швейцарских паспортов. Можно даже устроить что-нибудь вроде двух

путешествующих родственников. Я могла бы стать вашей тетей, например . . .

Оттенок шутки в ее голосе был подчеркнут чуть больше, чем следовало. Весьма возможно, что по собственному убеждению Ивановой, она могла бы еще сойти и за мою сестру. Но проверить мое подозрение трудно. Иванова пока не осмелилась посмотреть мне прямо в глаза.

Я оборвал свое молчание.

— А где же Павел Анатольевич?

Иванова подняла голову, но это по-прежнему еще не был взгляд в упор.

— Его присутствие пока ни к чему, наверное. Вот разработаем общий план, приступим к конкретной работе, тогда и он подъедет. Нам сначала нужно решить, с чего начинать . . .

— С чего начать? Да, с разговора с Павлом Анатольевичем, конечно. Я ведь не дал ему пока никакого ответа . . .

Голос мой звучал не только немного вызывающе, он звучал и немного неестественно. Хотя, может быть, это только казалось моему второму притаившемуся «я».

Локти Тамары Николаевны соскользнули со стола на колени. Она глубоко вздохнула и покачала головой, не то осуждающе, не то безнадежно.

— Опять все сначала . . . я, лично, не могу больше разговаривать на эту тему . . . Всему есть предел. Сколько можно копаться в самом себе? Звоните ему сами, если хотите. У меня язык не повернется . . .

Я кивнул в знак согласия и молча ушел в коридор. Там на стене висит «общий» телефон. Тамара Николаевна занимает только одну комнату в «коммунальной» квартире и телефоном пользуются все жильцы.

Я набрал номер: К 6 46 64. Это прямой провод на стол к генералу, минуя секретаря. Судоплатов снял трубку.

— Я слушаю . . .

— Здравствуйте, Павел Анатольевич. Это Николай говорит. Я . . .

— А-а! Здравствуйте, здравствуйте, — перебивает меня Судоплатов почти восхищенным голосом. — Как живете, дорогой друг? Вы, что — уже у Тамары Нико-

лаевны? Мы обсудили с ней кое-что сегодня утром. Она вам расскажет. Главное, продумайте все хорошенько, прежде чем выбирать окончательный вариант . . .

Я знаю, что обрывать генерала не полагается, но у меня нет другого выхода.

— Простите, Павел Анатольевич, мне совершенно необходимо поговорить сначала с вами . . .

На секунду устанавливается молчание. Потом голос генерала медленно выговаривает с оттенком подчеркнутого недоумения.

— Что там у вас опять? . . Неужели все еще не можете справиться сам с собой? . .

— Как раз об этом мне и нужно поговорить с вами . . .

Судоплатов тяжко вздыхает. Злобы в его голосе нет, скорее, нескрываемая грусть.

— Боже мой, как вы все усложняете . . . Хорошо, я сейчас приеду.

Брошенная генералом трубка отдается в моем ухе резким щелчком.

Судоплатов приехал быстро, буквально через пятнадцать минут. Монотонные рассуждения Ивановой о служебном долге, об обязанности, наконец, контролировать свои эмоции, не успели вывести меня из равновесия.

Генерал вошел в комнату стремительно, небрежно сбросил пальто, коротко и полуслышно поздоровался и, присев немного боком к столу, откинулся выжидательно назад. Видно было, что он подчеркивает всем этим случайность своего визита. На лице его было ясно написано: — «Вы явно пользуетесь тем, что сейчас очень нужны мне . . . Ну, я выполнил ваш каприз . . . И что же дальше?»

После секунды молчания он добавил уже вслух.

— Я слушаю вас . . .

Отсутствие подготовленного решения сказывалось. Я мерно царапал ногтем упругий ворс скатерти. Какие-нибудь убедительные или просто гладкие фразы никак не приходили в голову. Но что-то говорить надо было.

— Понимаете, Павел Анатольевич . . . я не могу решиться на такую ответственную поездку сразу . . .

Судоплатов оборвал меня довольно вежливо.

— Я уже слышал это вчера и дал вам время подумать.

— Да, конечно. Я пытался убедить себя. Ничего не получается.

Генерал нахмурился и мотнул головой.

— Не понимаю. В чем убедить? Что не получается?

Действительно, надо быть конкретнее, говорю я себе, и произношу вслух:

— Я просто не могу принять это задание и все.

— Почему-у-у!?!

Судоплатов потряс перед собой раскрытыми ладонями рук жестом воззвания к высшей справедливости. Наклонившись вперед, как бы стараясь заглянуть в мою душу, он повторил:

— В чем дело? Не сумеете проехать по Европе, что ли? Кому вы говорите! Короткая и несложная поездка.

— Ну, хорошо, Павел Анатольевич. Вы заставляете меня поставить точки над «i». Мне страшно взяться за это дело. Я просто боюсь . . .

Судоплатов на мгновение опешил. Глаза его прищурились. Лицо перекосилось гримасой иронического недоверия.

— Бои-и-тесь?

Он перевел глаза на Иванову, как бы ожидая объяснений.

Та только пожала плечами и покачала головой. Так обычно показывают: — «Бредит, бедный». Судоплатов откинулся назад с полуулыбкой человека, которого не так легко провести.

— Неубедительно, Николай. Если бы я не знал вас десять лет . . . Здесь что-то не то . . . Вы мне чего-то не договариваете . . . И, потом, я рассказал вам уже столько доверительных вещей. Очень доверительных . . . Если бы я только мог понять, что вам мешает. Простое, абсолютно выполнимое дело. Надежное бесшумное оружие. Важное, очень важное задание. Таких заданий люди ждут всю жизнь. Не понимаю, совершенно не понимаю. Вы, конечно, что-то не договариваете . . .

Мне показалось вдруг, что я прижат к краю пропасти. Еще несколько секунд и Судоплатов поймет прав-

ду... Прежде чем мое внутреннее «я» сумело сообразить, что происходит, физическое уже рванулось вперед.

— Но вы не можете . . . не можете послать на такое дело человека, у которого . . . у которого . . . руки и ноги трясутся!

Я затаил дыхание. Поверят ли? Не хватил ли я через край? Бессмысленный довод от повторения выиграть не мог.

Но, возможно, отчаяние человека загнанного в угол, прозвучавшее в моем голосе, так поразило Судоплатова. Он долго молчал, рассматривая меня остановившимся и очень серьезным взглядом. Потом хмуро опустил голову. Прошло несколько минут. Долгих минут. Медленно роняя слова, грустно, почти торжественно генерал повторил, как бы про себя:

— Да . . . наверное не могу . . . вы правы . . .

И не меняя ни позы, ни тона, добавил.

— От задания я вас, конечно, освобождаю . . . о вашей дальнейшей судьбе вам сообщат . . . можете идти . . .

Глаза Судоплатова оставались прикованными к краю стола, но легкий кивок в сторону двери придал последним словам оттенок приказания: «убирайтесь, вон».

Я тяжело поднялся из-за стола, набросил на себя пальто и задержался нерешительно на пороге.

— До свидания.

Сзади, из-за книжного шкафа, донеслось, как эхо, холодное: «До свидания».

Одновременный прощальный ответ их прозвучал по-смешному стройно, совсем не соответствуя обстановке.

Вечером Яна и я срочно навестили одну из наших родственниц. Мы договорились, что она возьмет к себе Машу, когда нам придется двинуться в «дальние края». Дома Яна собрала мне смену чистого белья и несколько самых необходимых вещей для себя. Свертки были положены на сундук в коридоре, чтобы были всегда под рукой.

Мы не сетовали на то, что ждало нас. Рано или поздно, все равно должно было так кончиться. Я только дивился немного самому себе. Жить мне стало, по-

чему-то, сразу легко и просто. Смешно . . . В сорок девятом, по приезде в Москву, когда настоящей опасности никакой не было, я так метался и думал . . . Нет, хватит воспоминаний! Они не нужны мне больше. Возвращаясь все время мысленно в прошлое, я пытался найти в нем поддержку и оправдание своим действиям. Теперь же смысл-то уже не собьет меня с правильного пути. А шагая по этому пути я всегда буду вместе с Яной. Что бы ни случилось . . .

Во имя чего мы оба готовы на все? Трудно сказать... Наверное, прежде всего, во имя собственной совести и любви друг к другу. Может быть, за этим и скрывается что-то более глубокое, но не все ли равно . . .

Стукнув чашкой о блюдце, Яна прервала мои мысли. Подняв глаза, я увидел, что лицо ее было очень бледным и насторожившиеся глаза впились в блик света, заскользивший по оконным занавескам.

— Ты, что? Так быстро они не могут приехать . . . Неужели боишься?

— Конечно, — улыбнулась она. — А что ты думаешь? Как машину во дворе услышу, так сердце начинает колотиться. Что же я могу поделать . . . А ты?

Я протянул ей обе руки через стол: «А я — нет!»

— Врешь, ведь, — засмеялась Яна. — Ну, зачем врешь?

— Ну, так . . . немножко страшно. Но, ведь Сибирь — тоже русская земля.

— Конечно, — кивнула она мне почти радостно. — Сибирь тоже русская земля . . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Карлсхорст — одно из восточных предместий Берлина.

Вскоре после окончания войны несколько кварталов в центре Карлсхорста были отделены от остальных улиц и домов высокой железной решеткой. Кое-где решетка переходила в забор из колючей проволоки. Вдоль забора по ночам бродили патрули немецкой полиции с автоматами через плечо и тренированными овчарками на поводках. Полиции разрешалось дежурить только с внешней стороны ограды. Территория за решеткой принадлежала советскому оккупационному командованию в Германии.

Рядом с приземистым вокзалом городской электрички в решетке был просвет, перечеркнутый полосатым шлагбаумом. Около него — будка для часового и калитка для пешеходов. Большинство жителей советского городка были пешеходами. Жизнь их протекала, в основном, внутри ограды.

В городке помещался штаб главнокомандующего, советская Контрольная комиссия, служба связи, административные и хозяйственные управления. Сотрудники этих учреждений жили вместе с семьями тут же, на территории городка.

В огороженных кварталах было все, что могло дать возможность жителям городка избежать контакта с немецким населением.

В двухэтажном здании «Гастронома» имелись продукты высшего качества в большом выборе. Граждане

Восточной Германии продолжали перебиваться на скудном рационе карточной системы. Обитатели советского городка недостатка в продуктах не знали. Здесь же, в магазинах обуви, одежды, посуды, книг, музыкальных инструментов продавались лучшие изделия восточногерманской промышленности. В ресторане «Волга» готовились русские блюда, а немец-аккордеонист играл советские песни.

Во Дворце Культуры приезжие артисты из СССР давали концерты, каждый вечер демонстрировались кинофильмы, советские и заграничные. В городке был свой парк с танцплощадкой и летним театром, свой стадион, гостиницы и прачечные, закусочные, ателье химчистки, и парикмахерские.

И все же каждый день сквозь калитку городка сотни советских граждан выходили на территорию Германии.

Служащие торгпредства совершали это законным и организованным порядком: утром специальный автобус отвозил их в Берлин, где находилось торгпредство. Как правило, разгуливать по городу не разрешалось. Вечером, после работы, тот же автобус увозил их обратно к железной решетке.

Много пешеходов выскальзывало за ограду по собственному почину.

Жены советских служащих бродили по немецким магазинам в поисках найлоновых чулок или несмывающейся губной помады. Наиболее смелые ездили на электричке в центр восточного сектора, чтобы «побарахолить» в больших универмагах.

Соседние с городком парикмахерские процветали на контрабанде из западного сектора; пошивочные ателье были увешаны вывесками на ломаном русском языке, а в радио и часовых мастерских толпились советские граждане, выжидающие очереди поговорить с хозяином полушопотом. Занимались этими нелегальными махинациями все, и начинать репрессии было некому.

Однако, среди рядовых советских граждан за границей была в Карлсхорсте категория людей, которым работа среди немецкого населения и на немецкой территории вменялась в обязанность. Эти люди редко ходили пешком. Они пользовались самым большим авто-

мобильным парком в Карлсхорсте. У них были особые удостоверения личности, дававшие право выходить за ограду после полуночи. Они могли привести с собой в городок любого человека без проверки его документов и так же свободно вывести обратно. Советские патрули и немецкая полиция были обязаны оказывать им всяческое содействие.

Учреждение, в котором эти люди работали, называлось среди жителей городка безразличным словом «инспекция». На их коричневых удостоверениях было скромно напечатано: «воинская часть, полевая почта номер 62076».

Только немногие знали, что настоящим названием «инспекции» было — «Аппарат уполномоченного МГБ СССР в Германии». Воинская часть, полевая почта номер 62076 являлась форпостом советской власти в Берлине, ее глазами, ушами и щупальцами.

Аппарат уполномоченного МГБ размещался в трехэтажном корпусе бывшего госпиталя. Причудливо изломанное здание занимало несколько кварталов в восточном конце городка. Между плотным деревянным забором и парадным подъездом были посажены сосны и разбиты цветочные клумбы. Сосны разрослись в своеобразный перелесок, а за клумбами систематически ухаживали садовники.

Здание инспекции сильно охранялось, хотя и помещалось внутри общей ограды. Часовые — у проходной будки, часовые — у подъездов, часовые — в коридорах. Документы сотрудников тщательно проверялись. Время от времени на них ставились условные значки резиновыми штампиками, изготовленными тут же — в инспекции.

Причин для усиленной охраны было достаточно. В здании находилась картотека агентуры по всей Германии, хранились личные дела осведомителей и резидентов, компрометирующие материалы на врагов коммунистической власти, шифры прямой связи с Москвой и архивы многих лет работы.

Отсюда велось наблюдение за немецким населением и советскими гражданами, разрабатывались подпольные операции против западных государств, создавалась

и поддерживалась широкая сеть советских агентов в «капиталистических» странах.

Короче говоря, аппарат уполномоченного МГБ представлял собой центр советской разведки и контрразведки в Германии.

С осени 1951 года одна из комнат на первом этаже инспекции была отдана нескольким людям, только что приехавшим из Советского Союза. Они были гостями в Берлине и отчитывались в своей работе непосредственно Москве. Эти люди составляли оперативное отделение судоплатовского Бюро номер один, откомандированное в Германию. Вскоре после провала хофбауеровского путешествия, генерал Судоплатов изменил план засылки боевых групп в Западную Европу. Теперь первыми на территорию противника должны были выезжать агенты-немцы, завербованные в Восточной Германии. Агентов предстояло подобрать из числа наиболее надежных попутчиков советской власти, соединить в группы по три-четыре человека и поставить во главе каждой советского офицера-разведчика. Офицеру полагалось тренировать группу, разрабатывать для ее участников переезд на Запад и руководить связью с агентами после их переброски. После того как его люди прочно обосновывались на западной территории, офицер мог выехать к ним для проведения боевой операции на месте.

Для вербовки подходящих агентов, их инструктажа и переброски на Запад, генерал и послал осенью 1951 года в Берлин своих сотрудников.

В начале 1952 года начальником берлинской группы стал подполковник Коваленко. Он выписал к себе семью, жену и сына, и все свое внимание уделял работе. Внимание, но не рвение. На рвение Коваленко не был способен из-за хронической боязни ответственности. Он обладал неплохим опытом разведработы, усердно занимался немецким языком, был умен и начитан. Но его профессиональные качества сильно обесценивались постоянной внутренней борьбой. Борьбой между необходимостью рапортовать начальству о достижениях и паническим страхом в чем-то ошибиться.

Однако кроме Коваленко в берлинской группе было еще три офицера. Они меньше боялись ответственности.

Их усилиями, к весне 1952 года, было подобрано несколько кандидатов на вербовку. В сейфах группы появились пухлые папки дел на будущих агентов. Объем работы стал расти. В апреле Судоплатов решил послать в помощь Коваленко четвертого офицера.

Этим четвертым офицером оказался я.

Прошло почти два месяца с тех пор, как я отказался ехать в Париж. Как и в сорок девятом году, начальство предоставило меня на несколько недель самому себе. В ответ на мои телефонные звонки, звучал один и тот же ответ: «ждите, вас вызовут . . .» То, что Судоплатов не спешил с репрессиями не означало, конечно, моего прощения. Иванова сообщила однажды по телефону, что генерал отменил свое ходатайство о выдаче мне медали за десятилетнюю службу. Но, по мере того, как день уходил за днем, а меня не арестовывали, я все больше задумывался над положением самого Судоплатова.

Так ли уж просто было ему обрушить на меня свой гнев?

Судоплатов «нашел» меня когда-то, и сделал разведчиком. Он не раз, наверное, ручался за меня перед руководством. Его отношение ко мне выходило за рамки холодного контроля подчиненного ему офицера. Судоплатов часто говорил, что отвечает за меня перед государством. Это не были пустые слова. Для того, чтобы зачеркнуть меня, как сотрудника и лойяльного советского гражданина, Судоплатов должен был сначала признаться самому себе, что не умеет разбираться в людях. С другой стороны, у него не было прямых доказательств, что мой отказ был продиктован не малодушием, а чем-то иным. Почему бы генералу не убедить себя в том, что у меня действительно не нашлось физических сил для рискованного задания.

Я понимал, что мои рассуждения были слишком обыденного, человечного характера. В сочетании с советской разведкой они могли звучать странно. И все же . . .

Я никогда не узнал, что именно думал Судоплатов и какое решение он принял. Но получив приказ выехать в Германию для штабной работы, я понял, что главная опасность миновала.

26 апреля 1952 года я вылетел на самолете гражданской линии «Аэрофлот» через Минск и Варшаву, в Берлин.

Особняк на углу Райнгольдштрассе и Вальдорфаллее в карлсхорстовском городке принадлежал оперативной группе подполковника Коваленко. Дом был двухэтажный, с большим количеством комнат, террасой и гаражом. Когда-то он был окружен садом, за которым тщательно ухаживали. Об этом говорили плиты черного камня, просвечивающие сквозь разросшиеся сорняки, ростки тюльпанов в тени густых кустов сирени и шары можжевельника у остатков гранитного парапета. Весна в 1952 году была очень ранней. В начале мая шеренга яблонь на границе нашего участка покрылась цветами, вдоль проволочного забора появились колонии ландышей, и шофер нашей группы Устиныч перестал носить свой красный шерстяной джемпер.

Я получил угловую комнату на втором этаже. В тихие ночи в мои окна доносился монотонный разговор немецких полицейских, дежуривших в сторожевой будке по другую сторону забора — на территории Германии.

Особняк, так же как и другие дома принадлежавшие нашей группе, назывался «объектом». Наверху жили мы с Устинычем. Внизу, в столовой и гостиной, устраивались встречи с агентами, когда их можно было привезти в городок.

От «объекта» до «аппарата», как мы называли здание инспекции, было семь минут ходьбы.

В северном углу забора, окружавшего инспекцию, была белая бетонная проходная будка. Для работы в Германии я получил еще в Москве документы на имя старшего лейтенанта Николая Евгеньевича Егорова, сотрудника воинской части п. п. 62076.

От проходной будки асфальтовая дорожка вела в гору, к колоннам парадного входа. Опять часовые и проверка документов. По изломанным узким коридорам бывшего госпиталя я проходил в комнату сорок один на первом этаже. Там помещался миниатюрный штаб берлинского отделения судоплатовской службы.

В небольшой комнате было одно широкое окно. Около него стоял наискосок массивный стол начальника группы подполковника Коваленко. На столе теснились три телефона. Один из них, общегородской, 50 12 69. Другой — карлсхорстовского военного коммутатора, поэтично называвшегося «Чайкой». Третий — внутренний, номер 3, собственной подстанции инспекции.

Эти телефоны как бы символизировали, что повседневная работа коваленковского коллектива шла по трем линиям. Через агентуру среди населения Восточной Германии подыскивались кандидаты в боевые группы. Кое-кто из наших агентов наводчиков занимал солидные должности в восточной полиции или, даже, в ЦК Объединенной Социалистической Партии.

Вторая линия работы состояла из нескольких разведчиков, будущих руководителей боевых групп. Эти люди жили в карлсхорстовском городке, в здании инспекции почти не появлялись и встречались с отобранными для них агентами на конспиративных квартирах.

Одновременно, через аппарат инспекции, велась проверка кандидатов в боевики, сбор материалов о них и подготовка вариантов их переброски на Запад.

Материала поступало много, но создание групп подвигалось медленно. Судоплатов напоминал почти в каждом письме: «За количеством не гнаться. Нам важно, в первую очередь, качество людей. Они должны быть абсолютно надежны. Выбирайте лучших из лучших, а из них самых способных». У генерала были серьезные причины для подобного подхода к делу. Боевым группам предстояло выполнять на Западе задания, провал которых мог привести к международному скандалу. Поэтому надежность агентов и их психологическая выносливость имели решающее значение, особенно в случае ареста, допроса, тюремного заключения. С другой стороны, каждый из кандидатов должен был обладать своей собственной легальной возможностью переезда на Запад. Эти требования приводили к тому, что десятки кандидатур просеивались сквозь сито коваленковского штаба, а подходящих людей находилось немного. И если контуры будущей сети боевых групп стали постепенно вырисовываться, то этим берлинское отделе-

ние было обязано, в основном, работоспособности Евгения Савинцева.

Старший лейтенант Савинцев находился в Германии с первых дней возникновения там филиала судоплатовской службы. Начальство менялось, штабные офицеры приезжали и уезжали, а Савинцев тянул свою лямку упорно и бессменно. Постепенно в его руках собрались все нити работы. Женя, как севильский Фигаро, стал ключевой фигурой берлинского штаба.

С первых же дней я понял, что приехал в Берлин, фактически, для помощи Савинцеву, а не Коваленко.

Стол Савинцева и мой были составлены вместе. Карликовый сейф в углу у двери поделен между Женей и мной. К новому, в рост человека, сейфу у окна имел доступ лишь один Коваленко. Там хранились наиболее секретные телеграммы из центра, кодовые таблицы и, наверное, личные дела на каждого из нас.

Савинцев передал мне часть агентурных донесений подлежащих переводу, анкеты и автобиографии для сортировки, фотокопии документов из архивов немецкой компартии для составления сводок по ним, и много других бумаг, давно уже ждавших обработки. Кухня кропотливой работы коваленковского отделения стала разворачиваться передо мной.

Но в этих же материалах мне попались на глаза детали, косвенно касавшиеся самого Савинцева. Между строчками рапортов и заключений я прочитал историю превращения Жени в рабочий мотор группы. До командировки в Германию Савинцев намечался на роль разведчика-нелегала. Так называются в разведке сотрудники, находящиеся на особом положении. На территории своей страны, они живут по гражданским документам и внешне никакого отношения к разведке не имеют. Их работа начинается только после переезда государственной границы. Тогда они разыгрывают граждан другого государства. У службы Судоплатова таких разведчиков в 1952 году было тринадцать человек. В том числе и я. Разведчики-нелегалы особо тщательно засекречиваются, чтобы никакие случайные встречи за границей не могли бы раскрыть их настоящего лица. Вначале был засекречен и Савинцев. В качестве нелегального резидента за кордоном, он мог бы сделать многое. Личных

качеств для этого у него было достаточно. Савинцев хорошо знал немецкий. Он закончил институт иностранных языков. Развитой ум и наблюдательность помогали ему быстро впитывать в себя детали заграничного быта и общей обстановки на Западе. Рыжеватые волосы, бледное лицо с веснушками и светлые глаза приближали его к тому «северному типу», который был когда-то выдуман гитлеровскими расистами. Савинцев, кроме того, был сдержан, почти скуп на слова, выдержан и дисциплинирован, как настоящий немец. Порой Коваленко разговаривал с ним нарочито грубо. Подполковник любил подчеркнуть лишний раз, кто именно хозяин группы. Мы все знали, что самолюбие Савинцева было уязвимо. Губы его белели до синевы, глаза застывали на краю коваленковского уха, но он никогда не терял самообладания.

Однако при всех своих способностях, Савинцев нелегалом не стал. По ходу работы в штабе Коваленко, ему пришлось встретиться с десятками посторонних разведке людей: с техническими работниками инспекции, с тайными осведомителями всех калибров, с немецкими полицейскими и пограничниками, служащими коммунистического партийного аппарата, разными «попутчиками» и прочими. В конце концов, от засекреченности Савинцева мало что осталось. Это поняла и Москва. В длинной и сердитой телеграмме Судоплатов выругал его за потерю «личной конспирации» и приказал рассортировать кандидатов в его боевую группу между другими разведчиками-нелегалами коваленковского отделения. Савинцев окончательно и официально превратился в штабного офицера.

Не было заметно, чтобы он огорчился таким поворотом своей карьеры. К нему вскоре приехали жена и сын. Создавалось впечатление, что с души Савинцева упал камень. Близкими друзьями мы не были. Я не мог открыто поздравить его с удачей, но втайне был рад за него и задумывался, не попробовать ли и мне таким же путем покончить с угрозой нелегальной работы.

Я понимал, что между положением Савинцева и моим была большая разница. Не только потому, что Савинцев всего лишь готовился стать нелегалом, а мне уже пришлось проработать на этом поприще много лет.

Другая мысль беспокоила меня. Не сделал ли генерал для Савинцева исключение из правил только потому, что Савинцев был совершенно необходим, как штабной офицер, для берлинской группы? Подполковник Коваленко был способен только на «руководящие указания» и бесчисленные перепроверки. Третий же штабной офицер, майор Мещеряков, был просто безнадежно глуп.

Я никогда толком не узнал, чем занимался майор в Германии. В аппарате Мещеряков бывал редко. Он, в основном, разъезжал по городам и пограничным пунктам Восточной зоны. Поговаривали о каких-то его планах переброски через межзональную границу целых вооруженных отрядов для разовых боевых операций.

Внешне Мещеряков развивал кипучую деятельность. Встречался с агентами, собирал сведения о тропах через границу и о марках оружия, которое можно закупить в Западной Германии, заказывал в архивах инспекции всякие справки о бывших датских подданных. Почему именно датских, никто из нас не знал. Когда Мещеряков появлялся в аппарате, то шумно входя, почти врываясь, он оглушал всех звуками своего высокого и звонкого голоса. Лицо его было кругло, губы припухлы, а рост, как говорят, «в потолок». На правой стороне штатского костюма он носил ромб какого-то военного института. Трудно сказать, каким образом он сумел закончить этот институт, но разговаривал Мещеряков стандартными, безличными фразами, понадерганными из газетных передовиц, служебных инструкций или речей начальства. Наверное, он и сам чувствовал насколько тусклы его проповеди, потому что пересыпал их после каждого второго слова неприличной руганью. Видимо, он верил, что такая «приправка» даст понять собеседнику, какой, мол, Мещеряков «рубаха-парень» и, если он и говорит «по-простому», то только потому, что у него, дескать, такой стиль. Само собою разумеется, что единственным языком, которым Мещеряков кое-как владел, был русский.

Из кипучей деятельности Мещерякова много не вышло: никаких отрядов он никогда не сформировал. Зато малолетний сын его стал знатоком всех местных футбольных команд, состязания которых он смотрел вместе с отцом.

Да, Савинцев был совершенно необходим берлинской группе. Без него штабная работа отделения оставалась бы кипой бессодержательных бумаг, настроченных Мещеряковым и подписанных Коваленко.

Мне трудно было тягаться с Женей. У меня не было ни его трудоспособности, ни его навыков в штабной работе. И все же я чувствовал, что обязан был попробовать, так же как и он, познакомиться с максимальным количеством людей, посторонних разведке: игра стоила свеч.

Действовать нужно было осторожно, но быстро. Я должен был успеть подпортить как следует свою конспирацию прежде, чем Судоплатов поймет, что происходит, и остановит меня.

Савинцев прижал металлической печаткой дымящийся кружок сургуча на углу пакета и тут же выругался сквозь зубы. Печатка пристала к бумаге.

Я засмеялся.

— Чего же ты не поплевал. Сам же говорил, что если поплевать, не пристанет.

Савинцев огорченно усмехнулся и взглянул на часы.

— До обеда четверть часа. Не буду я ждать начальства. Ты, может, отправишь почту, а я двинусь домой?

Начальством мы называли Коваленко. Было уже около пяти вечера. Приближалось время нашего единственного перерыва за весь рабочий день. Савинцев обычно обедал дома. Все остальные, в том числе и Коваленко, пользовались служебной столовой в здании инспекции. Наши оклады в немецкой валюте были ниже армейских. Каждый экономил марки для вещей более важных, чем продукты. Питание в служебной столовой, по карточкам, было очень дешевым.

Савинцев продолжал мучиться с сургучем. На него это было непохоже. Я чувствовал, что ему сегодня не по себе. Что-то нервировало его.

Я поднялся из-за стола и отцепил от связки ключей свою личную печатку.

— Ладно, Женя, отправлю. Ты только сейф запечатай, чтобы я успел секретаря застать.

Савинцев захлопнул стальную дверь сейфа и смазал пальцем кружки пластелина, перекрыв щель в нескольких местах. Потом аккуратно выдавил на пластелине иероглифы своей печатки. Сейф нельзя было открыть, не разрушив рисунка на вязкой массе.

Савинцев внимательно оглядел свой стол и корзину для мусора: по правилам, не разрешалось оставлять даже обрывков бумаги. Он взял со стола немецкую газету, сунул ее в карман и повернулся к выходу.

— Пока, Николай. Буду в девятом часу.

Я разогрел спичкой сургучные кружки на пакете с почтой, перепечатал их на свой шифр и подписал в особом штампе фамилию «Егоров». Теперь я отвечал за доставку пакета в почтовое отделение инспекции, называвшееся «фельдсвязью». Оттуда наша почта, вместе с другой секретной почтой инспекции, полетит на военном самолете в Москву под охраной двух вооруженных курьеров.

Мне надо спешить с пакетом: в пять часов секретариат инспекции закрывается на обед. Но мои мысли все еще были сосредоточены на том, что могло происходить под залами столовой — в подвале инспекции.

Немецкая газета, которую Савинцев сунул в карман, была западноберлинским «Тагесшпигель»-ем. Савинцев весь день пытался прочитать ее, как следует, но разные дела упорно мешали.

Когда утром Савинцев и я отпирали дверь нашего кабинета, до нас донеслись обрывки разговора. Группа сотрудников инспекции собралась у курительной комнаты. Мы знали их только в лицо. Они работали в контрразведке, в комнатах соседнего коридора.

Резкий поворот головы Савинцева заставил и меня прислушаться. Я не понимал, что так поразило его. Уловить можно было только отдельные слова:

«...всю ночь этого типа кололи... тяжело язык развязывать... ...юрист-то он юрист, а попробует подвала как следует и образумится... вообще-то из этого доктора можно бы богатейший материал выжать...»

Дольше задерживаться было неудобно и мы вошли в кабинет. Подмышкой у Савинцева была пачка западных газет. Нашей группе полагалось по одному экземп-

ляру западных публикаций из личного фонда начальника инспекции.

Савинцев перебросил всю пачку ко мне на стол.

— Читай, читай, Коля. Я потом . . .

Развернув первую газету, я понял, что Савинцев уже просмотрел заголовки. Западная печать сообщала, что доктор Линзе, член Союза Свободных Юристов, активный антикоммунист, бесследно исчез. Предварительное расследование наводило на мысль, что доктор был насильно увезен в восточный сектор советскими агентами. Рядом было напечатано интервью с советским комендантом Берлина. Комендант возмущенно опровергал грязные слухи.

— «Никакого Линзе в восточном секторе нет и не может быть, — заявил он. — Бред о похищении сфабрикован врагами мира и демократии».

Я взглянул на Савинцева. Теперь и мне стало понятно, о ком говорили контрразведчики в коридоре. Линзе был здесь — в подвале инспекции.

Савинцев пожал плечами и сказал уклончиво:

— Что ж . . . Работают, товарищи . . .

Мне и не нужны были точки над «i». Конечно, дело доктора нас не касалось. В таких случаях, вопросы нравственности приобретают относительное значение. У нас с Савинцевым могла быть своя точка зрения, у контрразведчиков — своя. Личное мнение нам лучше было держать при себе. Если Савинцев намекал на это, то он был совершенно прав.

И все же, в течение целого дня мои мысли не раз возвращались к доктору, которого ретивые контрразведчики «кололи» в подвале. Сломают ли они его? Наверное, сломают. Что может он один поделать против целой системы насилия? Один в поле не воин.

Я успел застать секретаря и сдал ему почту. Расписавшись в книге, я спустился в столовую. В залах было много народа. Сотрудники спешили пообедать, чтобы успеть побывать дома во время перерыва. Всем нам предстояло еще работать с восьми до двенадцати ночи. По советским законам такого длинного рабочего дня существовать не может, но для «органов» законы не писаны не только в смысле границ власти. Они не писаны и в смысле эксплуатации сотрудников. В редком совет-

ском учреждении так выжимают соки из служащих, как в МВД и МГБ.

За столом нашей группы в последнем зале уже сидели Мещеряков и шофер Устиныч.

— Егорову, привет, — крикнул Устиныч и шутливо обмел стул. — Борщ очень советую сегодня.

Я послушался Устиныча и заказал борщ.

Вошел Коваленко. Хмурое выражение его лица заставило Мещерякова оборвать двусмысленный анекдот, а Устиныча — подтянуть галстук. Подполковник коротко поздоровался и уткнулся в меню. Он не принадлежал к людям, которых похищение доктора Линзе могло вывести из равновесия. Коваленко заботился больше всего о собственной служебной карьере. Наверное, что-то серьезное и не совсем приятное пришло из центра в утренних телеграммах.

Официантка не спешила нас обслуживать. Она была занята другими столиками. Матовые лампы под низким потолком были окружены дымным ореолом. Приглушенные разговоры обедающих сливались с музыкой, журчавшей внутри дряхлого радиоприемника на тумбочке в углу.

Прошло два с лишним месяца моей работы в берлинском штабе. Лица многих сотрудников «инспекции» были мне уже знакомы. Большей частью, правда, только, как лица.

С двумя девушками за дальним столом, например, я никогда ни о чем не разговаривал, хотя и виделся почти каждый день. Они работали в отделе «А». В залах отдела стояли шкафы с тысячами учетных карточек. Один из залов назывался «учет компрматериалов», другой — «агентурный».

Наша работа над кандидатами в боевые группы начиналась с «проверок». Так назывались небольшие печатные листки, похожие на краткие анкеты. Мы заполняли их сведениями полученными от наводчиков. С двумя листками на каждого кандидата я шел на второй этаж, к девушкам-проверщицам. Разговоров между нами не было. Они забирали листки и я уходил. Через несколько часов кто-нибудь из них звонил, что «заказ выполнен».

Одна из девушек искала нашего человека среди карточек на людей, как-то и когда-то скомпрометировавших себя перед коммунистической властью в Германии. Если наш человек «проходил» по ним, то на обороте «проверки» давалась краткая выписка его провинностей. Обычно, этого было достаточно, чтобы его кандидатура отпала.

Во втором зале, другая девушка проверяла «по учетам» не был ли наш кандидат уже завербован другой службой советской разведки. Вчера, например, девушка вернула мне одну из проверок, написав на обороте: «обратитесь отдел «Ли», тов. Зеленов».

Поискав глазами по обеденному залу я увидел и Зеленова. Он не спеша доедал компот. По медленным движениям ложечки, выуживавшей фрукты из граненого стакана, можно было понять, что товарищ Зеленов цену себе знает. И, все же, на своих агентов он не был скуп. Вчера, когда я показал ему надпись на проверке, он молча достал из сейфа личное дело агента и протянул мне.

— Берите, берите, — выговорил он, пока я писал расписку. — Старик неплохой. А мне зачем связи в Голландии? Мне связи в Голландии не нужны . . .

Такая щедрость встречалась редко. В большинстве случаев отделы старались сохранить агентов для себя.

Из-за одного из соседних столов поднялся высокий человек с волосами соломенного цвета, небрежно спадавшими на лоб, и направился к нам. Костюм его был неважного качества и сильно помят. На рубашке не хватало средней пуговицы. Вместо нее висела нитка. Майор Ветров не особенно заботился не только о своей внешности, но и о материальных благах вообще. Может быть, потому что он был холост, а может быть, потому что его внеслужебные интересы были целиком отданы автомобилям, мотоциклам и рыбалке. Он отвез свой мотоцикл в Москву и часто сокрушался об этом.

— Чего ж . . . — говорил он. — Стоит на чердаке и ржавеет. Бабку соседскую попросил хоть пыль стирать, да разве бабка что понимает в мотоциклах . . . Вот и плачу налоги каждый год ни за что . . .

Зато у майора была солидная компенсация в Германии в виде личного Мерседеса-кабриолета. Автомобиль

был старый, с облупившейся краской, но майор утверждал, что «конь еще с огнем». Ему было лучше знать, он правил сам и ухитрялся выжимать из машины дикую скорость.

Ветров подошел к нашему столу и гаркнул на ходу в мою сторону:

— Жив, брат Егоров? Там тебе донос пришел. Зайди, если хочешь...

И прошагал к выходу.

Коваленко оторвался от обеда и бросил на меня взгляд, полный недовольного удивления.

— Похоже, Николай, что вы тут совсем своим человеком стали... Не уходите после обеда. Поднимитесь в кабинет. Я приду сразу, как меня обслужат. Нам надо поговорить.

Вряд ли шутливая фраза Ветрова шокировала подполковника. Ветров всегда называл «установки» ироническим термином «доносы». В самом же деле, «установки» были полицейскими рапортами об интересующих нас людях.

Если наш кандидат не проходил по компрматериалам и не принадлежал уже какой-нибудь службе советской разведки, мы начинали сбор сведений о нем через немецкую полицию. Майор Ветров получал от нас список, где между тремя-четырьмя подставными лицами, значился и будущий член боевой группы. Ветров был связным инспекции с префектурой восточноберлинской полиции. Он передавал немецким чиновникам заказы на установки и те приступали к сбору сведений. Они опрашивали соседей по дому, коллег по месту работы, или своих осведомителей среди знакомых проверяемого человека. Общий итог возвращался Ветрову и он, обычно, звонил нам с одинаковой фразой: «Ваш донос пришел...»

Нет, нет, ветровская формулировка не могла быть чем-то новым для подполковника. Ему сегодня особенно неприятно лишнее напоминание о моих знакомствах с сотрудниками инспекции. Нет ли в телеграммах из Москвы чего-нибудь на эту тему?

В телеграммах, видимо, весь смысл. По телефону с Москвой Коваленко сегодня не разговаривал.

— Николай Иванович, — обращаюсь я к Коваленко. — Звонил начальник секретариата. ВэЧэ перегружено. Он сможет дать вам провод не раньше полуночи...

Коваленко подымается со стула и идет в другой конец зала, к начальнику секретариата, заканчивающему обед. Начальник секретариата хозяин технического аппарата «инспекции». Он же отвечает за распределение разговоров по «ВэЧэ».

Сокращение «ВэЧэ» означало линию телефона высокой частоты. На втором этаже здания инспекции находилась приемная уполномоченного МГБ в Германии генерал-майора Каверзнева. Трудно было бы придумать более подходящую фамилию для должности генерала. Дверь, обитая войлоком, вела в его личный кабинет. В приемной, за длинным столом у многостворчатого окна, сидел дежурный офицер. Угол зала рядом был отгорожен и образовывал будку. В ней, на небольшой полке стоял обычный телефонный аппарат. Через него человеческая речь поступала в специальную машину и разбивалась на сотни тысяч особых колебаний. Шипящая звуковая смесь посылалась по бронированному кабелю в Москву. В Москве машина-близнец восстанавливала шипение в нормальную речь. По «ВэЧэ» велись секретные телефонные разговоры сотрудников инспекции с начальством в Москве.

Группа Коваленко редко пользовалась этой линией. Наши материалы были слишком секретными. Но иногда, проблемы отпуска, выписки семей, или необходимость услышать личное «да» или «нет» от Судоплатова заставляли нас усаживаться на скамейки вдоль стен приемной вместе с другими, ожидающими очереди по «ВэЧэ».

Немало секретов из работы соседних служб услышал я в эти часы ожидания. Разговаривавшие редко могли удержаться от крика. На их психику, наверное, все время давил подсознательно тот факт, что собеседник находился за тысячи километров. Через тонкие фанерные стенки доносились отчаянные мольбы какого-нибудь начальника отдела о дополнительных ассигнованиях на разведывательную операцию, а на лбу у моего соседа по скамейке появлялись невольные складки напряжения. Видимо, ему очень понятен был надрыв в

голосе коллеги, ведущего совершенно секретный разговор.

Нашей группе категорически запрещалось обсуждать будущие боевые операции по телефону высокой частоты. Наверное, подполковнику нужно срочно поговорить с Москвой о каких-то организационных проблемах нашей работы. Поэтому он и уговаривает так начальника секретариата, но тот только покачивает рассеянно головой и выжидает, пока запал Коваленко истощится.

Я не жду результата их разговора и ухожу в наш кабинет.

На повороте коридора я сталкиваюсь со спешащей фигурой. Фигура извиняется, потом здоровается и уносится дальше вглубь коридора. Это лейтенант Травкин. Я оглядываюсь по сторонам. Странно, на этот раз он один. В руках у него сверток с бутербродами. Он, видимо, сбегал в буфет потихоньку от своей охраны.

Травкин был одним из шифровальщиков радиотелеграфного отдела и находился на особом положении. Знакомство наше было односторонним. Он знал мое лицо лучше, чем я его. Встречаясь с Травкиным по делам службы, я большей частью видел только его глаза, нос и кусок щеки.

Текст радиограмм составлялся нами на особых бланках. Черновиков делать не разрешалось. Под бланк подкладывалась картонка, чтобы не оставлять следов на других листах бумаги. Текст составляли иногда мы с Женей, но подпись должна была быть подполковника. В одном из крыльев здания инспекции, на втором этаже, имелась в закоулке коридора железная дверь с небольшим окошком. В закоулке стоял обычно часовой с винтовкой и примкнутым штыком. Дверь была усеяна красными пятнами сургуча от печатей на ночь. Сбоку торчала кнопка звонка. Травкин или его напарник подымали заслонку окошка и в течение нескольких секунд внимательно изучали позвонившего. Окно было столь маленьким, что видна была только часть лица шифровальщика. Затем он высовывал руку, забирал телеграммы и заслонка с шелестом опускалась. В уединении своей цитадели Травкин и компания зашифровывали телеграммы по кодовой сетке, меняющейся каж-

дый день. Плоды их трудов уходили по эфиру с радиостанции инспекции в Москву. Иногда Травкин звонил нам по внутреннему телефону. Из того же узкого окна, рука лейтенанта выдавала нам телеграммы из центра.

Травкин и его коллеги по отделу вели незавидный образ жизни. Им не разрешалось покидать городок. Их никогда не оставляли одних. Даже завтракали и обедали они, большей частью, у себя в «цитадели». Они понимали, что принадлежат к особой категории людей и старались жить и двигаться, как можно более незаметно. Вот и сейчас Травкин, прижав к боку свои бутерброды, почти убежал за поворот коридора, опустив голову вниз. Едва ли такое поведение шифровальщиков диктовалось правилами: у них, наверное, выработался своеобразный комплекс отчужденности. Я невольно улыбнулся и повернул в наш флигель.

Пока я дочитывал редакционную статью «Берлинер цейтунг», Коваленко вернулся из столовой. Он прошел к сейфу, вынул стопку телеграмм, отобрал одну и положил ко мне на стол.

— Читайте. А потом поговорим . . .

Телеграмма была адресована «Анатолию», то есть Коваленко, копия «Тихону», то есть мне. Звучала она довольно грозно:

«. . . Потеря конспирации негласными сотрудниками вашей группы продолжается . . . приказываю немедленно отвести Тихона от аппаратной работы и поселить его на отдельной квартире . . . мы планируем создание для него агентурной группы, параллельной с группой Никиты и Терека . . . для работы в городе получите Тихону немецкие документы . . . . . . выезд семьи Тихона к нему разрешить в связи с этим не можем . . .»

Подпись «Терентий» означала, что телеграмма пришла лично от Судоплатова. Никитой и Тереком кодировались другие офицеры-разведчики в Берлине, руководители будущих боевых групп.

Я еще обдумывал прочитанное, как сзади зазвучал голос Коваленко.

— Там то, что касается вас. А здесь у меня головомойки еще на три телеграммы. Любит начальство молнии метать . . . Я говорил вам не носиться колбасой по аппарату.

Я попробовал возразить.

— Находясь на общем положении, я считал, что...

Подполковник не дал мне договорить.

— На каком, «на общем»?! Что вы, в самом деле!! Неужели действительно не понимаете положения? Ну, уступил генерал на время вашим капризам. Так всему есть предел. За кого вы его принимаете? Не может же он серьезно перевести вас на аппаратную работу!!

Вот оно что. Значит Коваленко знал с самого начала. Только я один создавал себе какие-то иллюзии. Моя командировка в Берлин была стратегическим маневром Судоплатова, психологическим нажимом на меня.

Избирая такой метод, он, наверное, был прав. Насильно или угрозами послать человека на нелегальную работу трудно. Судоплатов, возможно, решил подождать пока кончится мое терпение. От учебы в университете меня оторвали, на экзамены выезжать запретили, с семьей разлучили, нагрузили уймой бумажных дел и думали, что я быстро запрошусь обратно на вольную жизнь разведчика-гастролера. Получилось иначе. Терпение генерала кончилось раньше.

Коваленко продолжал сокрушающимся тоном.

— Теперь вообще все семьи в Москву приказано отправлять. Придется начать с моей семьи — пример показывать...

На душе стало пусто и тоскливо. Работа с агентами, подготовка групп, а потом прикажут снова на ту сторону...

— Квартиру мы вам подберем, — тянул Коваленко. — В аппарат будете заходить только по оперативным делам вашей группы, а с сотрудниками инспекции никакого больше панибратства. И в городке поосторожнее. Чем меньше людей будут вас знать, как советского гражданина, тем лучше...

Итак, все пойдет теперь по-старому. Конспирация, изоляция, работа для будущих поездок на территорию противника.

Одним росчерком пера генерал вернул меня на прежнюю тропу разведчика-нелегала.

Настоящая работа с агентами начиналась после аппаратной проверки. Тогда, как писали нам руководящие

офицеры сидящие за столами в Москве, мы должны были: «постепенно изучать человека, приблизить его к нашей работе и на личных встречах составить картину его внутреннего «я».

Цветистый язык руководства больших истин нам не открывал. Гораздо больше забот, чем изучение человека, приносила нам партийность нашей агентуры. В принципе, мы не имели права пользоваться для боевой работы за кордоном людьми из братских компартий. Раскрытие группы диверсантов и саботеров на западной территории могло слишком чувствительно ударить по репутации международного коммунизма. Но, в практике, найти надежных агентов совсем не связанных с компартией было очень трудно.

Вскоре служба Судоплатова начала прибегать к одной, весьма примитивной, но все же действенной уловке. Агент подбирался из активных членов партии или комсомола. Затем будущий диверсант переставал посещать партийные собрания, делал вид, что у него нет более желания служить идее коммунизма и вскоре менял место жительства. Старая партийная организация такого ренегата обычно исключала, а в организацию по новому месту жительства он не вступал. Зато его партийный билет хранился в секретном сейфе отдела кадров ЦК партии и тайный коммунист платил членские взносы через офицеров разведки, работавших с ним.

В общем, постепенно, главным наводчиком коваленковской группы стал начальник отдела кадров ЦК СЕПГ Густав Реберлен. Его агентурный псевдоним «Герман» замелькал в наших телеграммах в Москву. В руках «Германа» были сосредоточены тысячи личных дел коммунистов и комсомольцев. Из них коваленковская группа выбирала своих самых перспективных агентов. «Герман» был давним сотрудником советской разведки. В Испании он воевал в чине генерала на стороне Интернациональной бригады. Там же он стал связным генерала Котова (Эйтингона) по организации партизанской войны в тылу фашистских войск. Многих бойцов Интернациональной бригады, в особенности немецких коммунистов, «Герман» знал лично. Таких людей Москва считала особо надежными и пригодными для диверсионной деятельности на Западе. Не всех их

было легко приспособить к нашей работе. Те, которые сумели сохранить связь с Москвой, заняли важные командные посты в восточногерманском государстве. Они были широко известны общественному мнению и на Востоке и на Западе Германии. Для наших заданий, следовательно, уже непригодны. Так, например, мой старый знакомый Карл Кляйнюнг получил звание генерал-майора госбезопасности и пост начальника МГБ по городу Берлину. Незадолго до моего приезда, правда, он попал в какую-то скандальную историю с дракой, на вечеринке молодежи. Скандал подхватила западная пресса. Карлу не помогли ни его прошлые заслуги, ни золотая звезда ордена Отечественной Войны. Его перевели в Хемниц с понижением в должности.

На долю же тех коммунистов, которые вернулись в Германию с Запада, больших карьер в Восточной Германии не выпадало. Новое поколение коммунистических чиновников, рвавшихся к власти, встречало «старую гвардию» недружелюбно, как опасных конкурентов. Западных возвращенцев сажали на незначительные должности в провинциальные полицейские аппараты или хозяйственные управления. Поэтому, например, розыски одного из ветеранов испанской войны, оказавшегося потом наиболее обещающим боевиком коваленковской группы, отняли у Савинцева много времени. Осенью 1951 года Савинцев получил приказ из Москвы найти старого агента советской разведки «Франца», по слухам вернувшегося в Германию после разгрома Гитлера.

«Франц» был известен Эйтингону и его людям еще по довоенной работе во Франции. Настоящее имя «Франца» — Курт Вебер. До прихода Гитлера к власти Вебер работал токарем в одном из городов Рура. Еще совсем молодым вступил в компартию Германии, ушел в подполье после тридцать третьего года и с началом испанской войны попал в Интернациональную бригаду. Контакт с советской разведкой он установил уже во Франции, через «Германа», после поражения республиканской Испании. Сотрудники советского посольства в Париже завербовали Вебера и присвоили ему псевдоним «Франц». Новый агент переехал на юг Франции, женился, неплохо жил на субсидии разведки и о воз-

вращении в Германию особенно не заботился. Приход гитлеровской армии нарушил его налаженную жизнь. Связь с советской разведкой оборвалась. «Франц» ушел в леса, к французским партизанам. Там он встретился с другим немецким коммунистом Гансом Куковичем.

Кукович до войны занимался укладкой кафельных плиток. В компартию он пошел больше по семейной традиции. В городе Линдау на швейцарской границе, где Кукович родился и вырос, у него много близких родственников коммунистов по убеждению.

После прихода фашизма к власти, Кукович эмигрировал, было, в Швейцарию вместе со своими родственниками, но был затем выслан, как активный коммунист и обосновался во Франции.

В «маки», среди французских партизан, между «Францем» и Куковичем завязалась дружба. Каждый из них участвовал в партизанской войне в соответствии со своим характером. Кукович, прирожденный авантюрист и любитель игры ва-банк, стал специалистом по взрывам, поджогам и, в основном, по ликвидации коллаборационистов. «Франц», более уравновешенный и методичный, занялся подпольной типографией, фабрикацией документов для партизан, добычей оружия и прочими организационными проблемами. Иногда друзья «работали» вместе. «Маки» нуждалось в деньгах. Както раз, «Франц» подыскал богатого еврея, жившего на окраине города. Вдвоем с Куковичем они нанесли ему ночной визит и заставили еврея расстаться со своими сбережениями. Затем Кукович еврея «ликвидировал». Вообще, к концу войны на личном счету Куковича набралось уже несколько человеческих жизней. Однажды он чуть не поплатился за свои похождения. Куковича поймали немецкие власти и приговорили к расстрелу. Тут-то и выяснилось, что несмотря на суховатость и сдержанность характера «Франца», он был готов иногда пойти на большой риск. «Франц» установил связь с Куковичем через тюремщика и приговоренному к смерти удалось попасть на несколько часов в госпиталь. Затем, «Франц» в немецкой военной форме, с подложными документами на руках, явился в госпиталь и забрал друга, якобы на допрос. Оба благополучно ушли в партизанский район.

После конца войны друзья решили двинуться назад в Германию. Без документов, пешком, на случайных машинах, они добрались до американской зоны. Там «Франц» и Кукович расстались. «Франц» побрел в Рур. Кукович на юг, в Линдау. Им суждено было встретиться только через пять лет, волею советской разведки и с ее помощью.

В Руре «Францу» не понравилось. Он перебрался на Восток. Пообивав пороги партийных организаций, устроился полицейским чиновником в Копенике, одном из пригородов Берлина. Снова женился и сводя кое-как на скромный заработок концы с концами, стал поджидать улыбки судьбы. Судьба заставила себя ждать до самого конца 1951 года. «Франца» вызвали в отдел кадров ЦК. Из-за письменного стола навстречу «Францу» поднялся старый знакомый, бывший генерал Интернациональной бригады, когда-то сосватавший его советской разведке. На нем уже не было военной формы, и в ответ на упреки «Франца» он только дружелюбно улыбался, приговаривая: «Да, нет, видишь, не забыли же мы тебя . . . А пока все утрясали, да разыскивали друг друга, конечно, прошло время . . .»

После того как вспомнили походные года и старых друзей, начальник отдела кадров перешел к делу. Работы для «Франца» в немецком аппарате у него пока нет. Но вот советские друзья хотели бы с ним повидаться. «Франц» не возражал. Из соседней комнаты пришел молодой человек в штатском костюме. Он говорил на немецком языке почти без акцента. Начальник отдела кадров не сказал «Францу», что это был старший лейтенант Савинцев. Он просто представил советского товарища, как «Алекса». «Франц» выслушал с удовольствием весть о том, что от работы в полиции его освобождают и назначают солидное денежное содержание. На расписке о получении аванса он вывел уже почти полузабытые буквы агентурной подписи: «Франц». И тут же, по свойственной ему прямоте, спросил в упор: — «Что я буду делать?» Савинцев ответил тоже прямо: — «Стараться вернуться в Западную Германию и осесть там».

Только на последующих встречах с Савинцевым, а затем и с Коваленко, «Франц» узнал о цели его пере-

броски на Запад: «диверсионная работа против американских военных баз». Откровенность новых начальников пришлась «Францу» по вкусу. Он не знал, что Коваленко делал для «Франца» исключение. Москва считала, что от старого и проверенного агента нет смысла скрывать конечную цель задания.

«Франц» немедленно выдвинул встречное предложение: разыскать Куковича и включить его в работу. Коваленко сказал, что подумает. Кукович мог находиться в Западной Германии. Тогда найти его трудно, но попробовать можно. Пока же, «Франц» должен работать над своим переездом на Запад.

Перебраться обратно в Западную Германию было для «Франца» не таким уж легким делом. Советской разведке хотелось, чтобы он осел в западной зоне не регистрируясь под своей собственной фамилией. Его коммунистическое прошлое могло принести ему неприятности на первом этапе. «Францу» предстояло перейти зональную границу нелегально и устроиться на временное жительство у знакомых или родственников. Для первой остановки была выбрана сестра «Франца». Она жила на юге, в городке, где никто «Франца» не знал. С сестрой он не виделся более пятнадцати лет, но списавшись с ней, получил теплое приглашение в гости.

Коваленко снабдил «Франца» фальшивыми документами жителя Западной Германии и дал чемодан с двойным дном. Между чемоданными стенками были тщательно запрятаны двенадцать тысяч западных марок. Чтобы заработать такую сумму, среднему западногерманскому служащему нужно около двух лет. Эти деньги предназначались для сестры «Франца». Она работала прачкой в американских казармах. Муж ее погиб на западном фронте незадолго до конца войны. У нее на иждивении был сын, заканчивавший школу.

По плану Судоплатова, «Франц» должен был рассказать сестре, что партия послала его на Запад для работы связным. Он не хочет иметь неприятностей с властями и поэтому будет жить у сестры нелегально. Двенадцать тысяч передаются ей безвозмездно. Все, что она должна сделать, это — открыть свою прачечную и через некоторое время нанять туда рабочим «Франца». Он, конечно, не сказал бы сестре, что двенадцать тысяч

были только началом капиталовложений. Судоплатовская служба возлагала большие надежды на веберовскую прачечную, собираясь построить на ней центр будущей боевой группы Савинцева.

Несколько недель прошло в обсуждении системы связи, метода подброски оружия, проблем последующей легализации и т. д. Затем из Москвы пришло разрешение, и «Франц» двинулся к «зеленой границе».

К сестре он пробрался благополучно. Она приняла его хорошо и осторожный «Франц» в первое время разговора о делах не заводил.

Дня через два, выбрав удобный момент, когда они остались одни в доме, «Франц» изложил свой план и сделал особое ударение на том, что от сестры ничего не требуется, кроме как сделаться собственницей прачечной и повести обеспеченную жизнь. Ответ сестры был твердым и для «Франца» неожиданным.

— Собирай свои вещи и уезжай. Я думала, что за все эти годы ты хоть чему-либо научился. У меня небольшой кусок хлеба, но хлеб чистый . . . И не пытайся сына обрабатывать. Сейчас я ссориться с тобой и твоей партией не буду, а тогда . . .

И не договорив, ушла из комнаты.

Через несколько дней «Франц» вышел в пограничный район восточной зоны, был подхвачен специальной службой, и переправлен в Берлин. Чемодан вернулся к Савинцеву с невскрытым двойным дном. Двенадцать тысяч легли на хранение в сейф, а план прачечной пришлось отменить.

В ожидании следующего варианта работы, «Франц» вел тихую семейную жизнь на новой квартире около Копеника. Савинцев тем временем приступил к розыскам Куковича.

Кукович вначале оказался более удачливым, чем его друг.

Может быть, это было связано с его напористостью и умением устраиваться при любых обстоятельствах. Вскоре после возвращения из Франции, Кукович занял место секретаря коммунистического партийного округа Линдау и повел образ жизни, по его мнению, соответствующий такому служебному положению. У него появился мотоцикл, личная секретарша и многочисленные

враги. Кукович врагов не испугался и, когда завязались склоки, бросился в битву. Однако враги оказались сильнее. Куковича из секретарей уволили и решением местной организации из партии исключили. Тогда он поехал в Берлин, в Центральный Комитет — жаловаться. До Берлина Кукович, по каким-то ему самому неясным причинам, не доехал, а застрял в Потсдаме. В Потсдаме и разыскал его посланный от «Германа» человек. Кукович жил там постояльцем у одной моложавой вдовы и особенных расходов за квартиру и стол не имел. Такое положение, вероятно, давило на его мужскую гордость, потому что когда пригласивший его в ЦК СЕПГ «Герман» завел разговор о «советских друзьях» Кукович даже обрадовался. Появившийся, как обычно из соседней комнаты, Савинцев скрепил новое знакомство распиской на первую сумму восточных марок. Куковичу был присвоен псевдоним «Феликс». Кроме денежного содержания и системы встреч, «Феликс» получил задание обдумать возможность своего переселения на Запад.

О том, что «Франц» был его агентом, Савинцев «Феликсу» не рассказал. Точно также на вопросы «Франца» о Куковиче, Савинцев давал стереотипный ответ, что пока розыски ничего еще не дали. Почему велась такая конспирация, в коваленковской группе толком никто не знал. Но из Москвы распоряжения об установлении контакта между агентами не приходило, а Коваленко сам пойти на это, пока, не решался. Так и ходил Савинцев со встречи с Францем на встречу с Феликсом, а друзьям по-прежнему не было ничего известно друг о друге.

Потом Москва поняла, что Савинцев для роли нелегального резидента больше непригоден, и Франц с Феликсом попали в резерв. Центр считал их опытными боевиками, способными на «разовые, особо ответственные операции». Другими словами, их берегли для прямых и рискованных действий: диверсий, взрывов, поджогов и, вероятно, убийств.

Все эти подробности я вычитал из личных дел обоих агентов. Часть из вошедших туда материалов на немецком языке мне приходилось обрабатывать. С Францем и Феликсом я лично пока не встречался. Ядро моей

будущей боевой группы должны были составить другие люди. После телеграммы из Москвы о переводе меня обратно на положение нелегала, Коваленко передал мне несколько кандидатур для «изучения и разработки задания». Среди них оказались и комсомолец Герхард Тис, дисциплинированный идеалист, продолжавший верить в миф о компартии, и начальник отдела кадров радиодома в Западном Берлине Ганс Отто, человек не признававший ни Бога, ни чорта и, вероятно, редко вспоминавший о Карле Марксе. Была и группа молодых рабочих с Резинового комбината под Берлином, бывших парашютистов гитлеровской армии; преподаватель радиошколы в Грюнау Отто Шауер, работавший много лет с советской разведкой под неслучайным псевдонимом «Адонис»; политическая эмигрантка из Голландии, вышедшая замуж за берлинского скрипача, еврея и коммуниста, и обладавшая связями в Голландии среди ветеранов антинацистского подполья. И многие другие, различные по своему прошлому, по характеру и профессии, но одинаковые в своей готовности служить советской разведке — из-за идей или из-за стяжательства.

Изучал я их кое-как и разрабатывать для них задания не спешил. У меня было подавленное настроение в те дни. Причины к нему были сложные и заключались не в одном только отвращении к работе. На меня давила безвыходность положения. Хотя, например, по мнению Володи Ревенко, одного из наших разведчиков-нелегалов, то сложное положение, в которое я попал, создалось исключительно по моей собственной вине.

Мы иногда встречались с ним в восточном Берлине, где-нибудь в пустынном ресторане, чтобы поговорить по душам. Он был руководителем одной из боевых групп и нам, в принципе, открыто встречаться не разрешалось. Но Ревенко любил такие неофициальные беседы, за кружкой пива. Тогда он переставал быть «Тереком», капитаном советской разведки и становился Володькой Ревенко, генерал Судоплатов превращался в «Павла», а наша служба называлась «конторой».

— Ты чего, Николай, упрямишься? — начинал он обычно. — Зачем ты с Павлом воюешь? Думаешь, надоест ему и отпустит? Мало шансов! Путь не тот. Вот

я, например. Думаешь, я хочу всю жизнь быть у конторы на побегушках? Ничего подобного. Пока мне на нелегалке работать выгодно. Барахла, ты сам знаешь, хватает, денег сколько хочешь и времени девать некуда . . .

Он цокнул камнем толстого кольца по кружке и отпил глоток. Я рассматривал его экзотическую ярко-красную куртку из западного вельвета, вязаный галстук, пришпиленный сапфировой булавкой к голландскому полотну рубашки и выглядывавшие из-под рукава массивные золотые часы «Докса». Володя продолжал убежденным тоном.

— Университет я года через три закончу. Материальных накоплений будет достаточно и можно будет перейти на жизнь по сберкнижке. Дадут мне аспирантуру. Тут-то я и рапорт Павлу на стол. И отпустит, не может не отпустить. Да, очень может быть, что за кордон придется съездить. Так я ведь из кожи лезть не буду, чтобы их задания выполнять. А советских учебников на Западе полно. Подзубрю науки, оденусь, обуюсь на всю жизнь, а потом и уходить можно. И уйду. А ты, чего своим упрямством добился? Учебу забросил, отпуска тебе не дадут и на экзамены не пустят, жалованьице бедненькое и ездят на тебе, как на рабочей лошади. Ну, будешь так вкалывать еще пару лет, а потом Павел полетит из-за какого-нибудь стечения обстоятельств, и упекут тебя куда-нибудь в глушь, начальником уездной охранки. Это только Павел тебе всякие отказы прощает. Другой бы хозяин тебя давно без соли съел. Нет, Коля. Будь ты умным человеком и черкни Павлу письмецо, что, дескать, понял тщетность штабной работы и как, мол, там насчет возврата на нелегалку . . .

Провокатором Ревенко не был. Это я знал точно. Он действительно пытался верить в то, что говорил. Я понимал его хорошо. Ревенко был не одинок в своем отношении к службе. Но он вряд ли был таким циником, каким хотел казаться. В его цинизме звучал надрыв, который Володя не мог скрыть никакой позой в смысле — «эх, наплевать на все, живи для себя!»

Разведчиком он считался способным. Он схватывал знания на лету, быстро и легко. Во время войны получил звание капитана, благодаря личной храбрости и

инициативе в бою. Шутя овладел немецким языком, попав в отделение контрразведки артиллерийского полка. После войны его перевели в берлинский СМЕРШ на опросы военнопленных. У Ревенко всегда был острый интерес к людям. Работа в СМЕРШЕ ему нравилась. Перед его глазами проходили сотни немцев, каждый со своей особой жизнью. Кроме того, немецкий язык Ревенко быстро прогрессировал. Но в СМЕРШЕ он долго не удержался. Характерен эпизод, из-за которого его уволили.

Несколько предприимчивых советских офицеров устроили на окраине Берлина своеобразный обменный пункт. Они приносили туда казенное белье, продукты, бидоны с бензином. «Связные» немцы передавали им корзины с ликером, привезенным какими-то, одним контрабандистам известным, путем из Западной Германии. СМЕРШ устроил облаву, в которой пришлось принять участие и Ревенко. Ни офицеров, ни немцев не поймали, но подобрали брошенные корзины с ликером. «Вещественное доказательство» передали на хранение Ревенко, до вечера. Вечером было намечено всеобщее и торжественное исследование улик.

До обеденного перерыва он хранил корзины под своим столом, но, когда пора было идти в столовую, побоялся оставить их без присмотра из опасений, что «вещественное доказательство» разопьют раньше времени. Ревенко открыл общий для отдела служебный сейф и задумчиво посмотрел в его стальное нутро. Сейф мог бы вместить корзины, но был, как назло, битком забит бумагами с пометкой «совершенно секретно». Это Ревенко не смутило. Он выгреб мешающие пачки бумаг из сейфа, рассовал их кое-как по ящикам столов, запер ликер в сейф и ушел обедать.

Через полчаса генерал Серов, производивший осмотр берлинского СМЕРШ'а, зашел с группой офицеров в комнату со злополучным сейфом. В комнате никого не было, дверь — настежь, и генерала это заинтересовало. Острый глаз Серова заметил торчащую из полузакрытого ящика бумагу с надписью «совершенно секретно». Начальник отдела побелел. Генерал открыл ящик и кипа секретных бумаг полетела на пол. В этот момент вошел ничего не подозревавший Ревенко.

— Это вы храните секретные документы таким образом? — грозно спросил его генерал.

Ревенко оглянулся по сторонам. Он не понимал, почему кругом столько испуганных лиц и изумленных глаз из-за пачки каких-то служебных бумаг, оставленных без присмотра.

— Да, у меня в сейфе места нет! — почти возмутился он.

— Места нет? — повторил генерал. — Ну-ка откройте!

Отступать было поздно. Дверь сейфа открылась и взорам начальства предстали корзинки с ликером.

Кто-то не выдержал и прыснул.

— Интерес-с-сно ... — процедил генерал и смерил Ревенко прищуренными глазами. — Вы арестованы. Следуйте за моим адъютантом.

И ушел в сопровождении растерянных офицеров.

— Ну, а дальше? — спросил я, передохнув от смеха.

— Дальше? Дальше ничего, — невозмутимо ответил Володя. — Просидел сутки в его приемной на диване. Люди приходили и уходили, а я все сидел. Ночью на том же диване и спал. Через сутки вышел адъютант из кабинета и говорит, как ни в чем не бывало: «Герой, вот твои документы. Езжай в Москву. Будешь работать в Губебе». Так и поехал в Губебе ...

Губебе, сокращение от Главного Управного Управления по борьбе с бандитизмом, было создано при МВД СССР вскоре после окончания войны. Почему Ревенко вместо репрессий перевели на должность следователя в этом управлении, никто, наверное, кроме самого Серова, объяснить не мог. Но Володя генерала больше не увидел и вопрос остался невыясненным.

В ГУББ Ревенко проработал больше трех лет. Жил он в Москве в казенном общежитии, потому что после войны остался совсем один, без семьи и без родственников.

Потом ГУББ расформировали и передали его функции отделам угрозыска. Ревенко оказался без работы и встретился случайно в отделе кадров МВД с генералом Судоплатовым. Генералу бездомный, бессемейный и безработный капитан понравился.

Ревенко стал сотрудником Бюро номер один. Совершенствовал немецкий язык, жил некоторое время в Австрии, поступил заочником в Московский университет и, судя по его собственным словам, был вполне доволен своей судьбой.

Разделить оптимистического отношения Ревенко к службе в разведке я не мог. К середине лета 1952 года мне стало окончательно ясно, что я зашел в тупик.

На первый взгляд жизнь моя после прекращения работы в аппарате немного улучшилась. Я перестал приходить рано по утрам в «инспекцию», получил отдельную казенную квартиру с мебелью, располагал временем по своему усмотрению и, вообще, значительно приблизился к той независимости нелегалов, которую так ценил Ревенко.

Судоплатов запрещал нам, сотрудникам берлинской службы, переписываться с семьями по обыкновенной почте и тем более, разговаривать по международному телефону. Вся наша частная переписка шла в Москву к Судоплатову и потом тщательно цензурировалась на предмет сохранения служебных тайн.

Я же, поселившись на квартире, вне контроля Коваленко, завел себе потихоньку личный телефон с городским номером 50-13-32, разговаривал по утрам с Москвой, вел прямую переписку с домом, словом, нарушал дисциплину часто и успешно.

Однако все эти мелкие компенсации не принесли равновесия в мою жизнь. Каждый раз, когда Янин голос в трубке спрашивал: «Ну, как?» — я понимал, о чем она спрашивает и ответить мне ей было нечего.

Чувство прямой и личной ответственности за мое место в жизни, за то, что я делаю и чему практически служу, становилось все острее с каждым днем.

Мысли мои настолько были заняты этим конфликтом, что я стал невероятно рассеян и невнимателен к работе. Дело доходило до вещей, граничивших со служебным преступлением. Однажды Савинцев, вернувшись с перерыва, дотронулся до ручки двери от сейфа и она тут же открылась. Оказалось, что я забыл повернуть замок. Спасли меня пластелиновые печатки, кото-

рые я не забыл поставить. Коваленко великодушно замял неприятный случай. В другой раз, я оставил на столе целый мешок секретнейших документов, предназначенных для сожжения. Во дворе «инспекции» имелась специальная цементная будка на замке. Ключ от нее выдавался дежурным офицером под расписку. В будке была печь, где и полагалось сжигать ненужные бумаги. Я же забыл мешок с такими остатками на столе в незапертой комнате. К счастью тут же пришел другой сотрудник, нашел мешок и вызвал Коваленко по телефону. Когда я вернулся, на моем столе торжественно были рассыпаны мятые бумаги, а вокруг с насупленными лицами сидели Коваленко и товарищи по работе.

Простили и на этот раз ... В следующий раз могли не простить. Однако гораздо важнее опасения, что я когда-нибудь сорвусь, было сознание, что чувство личной ответственности за службу в разведке мучало не одного меня, а большинство сотрудников, которых я мог бы классифицировать, как честных людей.

Я видел это в десятках мелочей, из многих разговоров и встреч. Вообще, у людей, стоящих ближе к власти, чувство личной ответственности за происходящее появляется гораздо скорее и гораздо острее, чем у рядовых граждан. Советские граждане, не включенные прямо в аппарат власти, могут отложить решение проблемы: «с кем я и чему служу?» А сотрудники разведки, к тому же и знали и видели больше, чем другие. Дилемма «с властью или с народом» возникала перед ними раньше, чем, например, перед инженером Днепрогэса или химиком Резинокомбината.

Я видел доказательство этому душевному кризису в зачитанных до ветхости страницах западных газет, где печатались статьи с критикой советской власти. Я думал о нем и тогда, когда заставал наших шоферов за слушанием западных радиостанций на русском языке. Иногда, заслышав шаги начальства по коридору, они быстро выключали приемник, но бросив беглый взгляд на шкалу мы догадывались какая радиостанция только-что слушалась. «Мы» — потому что об этом открыто разговаривали между собой не только младшие офицеры, но и Коваленко обсуждал с нами «слишком частое слушание шоферами западной болтовни».

К последствиям этого же кризиса можно, наверное, отнести и реакцию моих друзей на рассказ об аресте Эйтингона.

Демин, один из новых офицеров назначенный в Берлин, привез с собой недавно выплывшие «на поверхность» детали ареста бывшего заместителя Судоплатова. Эйтингон, так же, как и Маклярский, исчез в конце 1951 года. Всем было ясно, что их арестовали в связи с развернувшейся правительственной антисемитской кампанией. Теперь же Демин рассказывал, что предлогом к аресту Эйтингона послужило то, что генерал якобы хранил у себя в квартире в щели пола две тысячи долларов и подготавливал бегство в Израиль. Почти у всех мелькнула ироническая улыбка. Две тысячи долларов и бегство в Израиль, в сочетании с генералом «Котовым», через руки которого проходили сотни тысяч долларов на агентурную работу и который ездил за границу чаще, чем кто-либо другой из руководителей разведки? Никем из нас не было сказано ни звука в поддержку версии о двух разоблаченных «врагах народа». Только тяжелое и многозначительное молчание. Так же молча и разошлись, каждый думая о своем.

Были и более прямые доказательства этого кризиса.

На одной из вечеринок у друзей в Карлсхорсте, жена офицера-разведчика выпила чуть больше водки чем полагалось. Позже я увидел ее в соседней комнате, спрятавшейся в большом кресле. Она всхлипывала.

— Что с тобой, Шура? — попробовал я ее утешить. — С чего тебе плакать? Муж тебя любит, скоро в отпуск в Союз поедете, дети здоровы. В чем дело?

— Как же, — иронически передразнила она меня. — Не с чего мне плакать . . . Ты скажи, начальство Сеню уважает?

— Уважает, Шура, очень уважает . . . — заторопился я.

Шура опять залилась слезами.

— Вот видишь! Значит, так и будет он всю жизнь работать на этой проклятой службе, а я домой хочу, и чтобы никаких «органов» . . .

Я чувствовал, что несмотря на водку, а может быть, именно из-за нее, Шура высказала мне то, что больше

всего наболело: прочь из «органов», домой, из сытной и богатой «барахлом» Германии, но домой, чтобы добиться жизни по совести, а не той, к которой обязывает служебная дисциплина. Позже я убедился, что настроения Шуры были известны ее мужу. Более того — он их понимал и даже разделял.

Да, кризис и ощущение тупика были не у одного меня в душе. Так же, наверное, мучались и сотни людей, работавших со мной под одной крышей инспекции. И, может быть, даже шире — работавших вместе со мной в МВД. Но каждый из сотрудников этого учреждения, кто ощущал ответственность за свое место в советском государстве, кто прислушивался к голосу своей совести был все же несравненно более изолирован от своих сотоварищей, чем миллионы других советских людей. Нам было пока еще трудно преодолеть барьеры взаимного недоверия. Барьеры, которые были давно преодолены большинством наших сограждан. Мы были даже более одиноки в своих поисках выхода, чем доктор Линзе, брошенный в подвал «инспекции». В первый раз, когда я услышал о нем, у меня мелькнула мысль: «один в поле не воин». Это не так. Линзе не один в поле. За ним стоит организация, идея, единомышленники. Физически ему очень тяжело, но духовно он богат. Богат чувством подвига и осмысленности своей борьбы. Мы же живем в пустоте, без идеи, без ясного пути, по которому можно было бы пойти, если не к подвигу, то хотя бы к бескомпромиссному решению.

День был дождливым и грустным. Миновав вокзал Фридрихштрассе, последний вокзал восточного сектора, поезд подъехал к станции Лертер Банхоф. Шел даже не дождь, а какая-то морось, похожая на водяную пыль. Я внимательно разглядывал перрон, стараясь своевременно выяснить нет ли на нем патруля западноберлинской полиции. В кармане у меня был лишь один документ — удостоверение воинской части полевая почта номер 62076. С таким документом меня даже советской комендатуре сразу не передадут. Потащат, наверное, в какой-нибудь отдел американской или английской разведки и, что может случиться дальше, трудно предсказать.

Два «шупо» в зеленых касках, стояли у киоска с яркими обложками западных журналов. Они стояли спиной к поезду и никаких признаков возможной проверки документов не было. Повидимому, предварительные сведения оказались правильными: съездить в западный Берлин можно было без большой опасности.

Поезд тронулся дальше и обгоревший остов товарного вокзала, казавшийся из-за большого расстояния проволочным, скрылся за домами.

Я впервые в жизни ехал по эстакаде электрички над западным Берлином. За окном проплывали расчищенные и усыпанные песком квадраты улиц, где когда-то стояли жилые дома. Мы выехали на мост через широкий проспект. Из-за плохой погоды по краям мостовой днем горели яркие жемчужные фонари. Сновали блестящие от дождя или от новизны автомобили западных марок. На круглой афишной колонке женщина в ярко-зеленом пальто, нарисованная в человеческий рост, куда-то бежала широкими шагами.

Мне было еще далеко ехать — до вокзала Весткройц, а потом пересадка на окружную линию. Точного адреса я не знал. Я собирался доехать до станции Гогенцоллерндамм, а потом идти искать.

То, что я намеревался искать в центре западного сектора, был газетный киоск.

Несколько дней тому назад, когда я засиделся вечером за своим рабочим столом в здании «инспекции», Савинцев перебросил на мою сторону журнал, раскрытый на второй странице.

— На, посмотри, забавно, — сказал он с усмешкой и ушел домой.

Обе страницы, вторая и третья, заполненные в разворот фотографическим репортажем, оказались действительно необычными для немецкого журнала. К антикоммунистическим статьям, написанным на Западе, я уже привык. Они не производили на меня большого впечатления. О грехах советской власти мы знали больше, чем они. А сколько-нибудь вразумительный ответ на вопрос, что же нам, русским людям, с советской властью делать, эти статьи всегда искусно обходили.

И вообще, я всегда принадлежал к той категории советских людей, которые не ждали никакой помощи

извне и не приняли бы ее. Мы считали, что иностранные государства стремятся только к защите собственных интересов, а судьба русского народа им безразлична. Те немногие из нас, кто слышал об эмиграции, относили и ее к иностранным силам. Статьи в западной печати, подписанные русскими именами, мы не связывали с нашим собственным сопротивлением советской власти. Мне, например, казалось, что эмигранты, давно покинувшие Россию, потерявшие связь с Родиной, ждали или возврата старых порядков и своих имений, или помощи иностранных интервентов, вроде Гитлера.

Но в том западном журнале, который перебросил мне через стол Савинцев, я увидел и прочитал вещи, поразившие меня.

Фоторепортаж рассказывал о деятельности бывших советских граждан, нашедших политическое убежище на территории Западной Германии и объединившихся в организацию со странным названием «НТС». Из немецкого текста я понял, что речь идет о русской подпольной антикоммунистической организации. О смысле борьбы этой организации журнал рассказывал туманно и малопонятно.

На левой странице были изображены люди, пускающие в воздух воздушные шары с листовками. Лица их были перечеркнуты черными полосками, чтобы избежать опознания. На правой стороне приводились в фотографиях образцы листовок. Я взял увеличительное стекло. Шрифт был русским и, хотя очень мелким, я читал его легко.

Сначала я рассмотрел карикатуру. На плечах изможденного колхозника лежал пушечный ствол и на нем балансировал Сталин с кнутом. Вдали, на заднем фоне, наблюдал эту сцену советский солдат с автоматом в руках. Подпись к карикатуре призывала солдата, пока у него есть оружие в руках, помочь отцу стать свободным. Карикатура мне понравилась, хотя прямого ответа, что же солдату делать, не давала. Но, прочитав текст листовки рядом, я почувствовал, как у меня перехватило дух. НТС призывал к вооруженной, нашей собственной, Революции против советской власти и установлению свободного народного государства! Я откинулся назад в кресле. Ну, конечно! Ясно, благородно и

— осуществимо! Мы сами допустили в 1917 году коммунистов к власти и кто же, как не мы сами — русский народ — должен взять у них власть обратно?

Воля к этому у нас есть. Конечно, есть! Должна быть! А организация — вот она. Существует и действует. Я схватил снова увеличительное стекло и стал расшифровывать фотокопии дальше. Листовка была подписана двумя лозунгами: «Несем тиранам смерть!» и «Несем трудящимся свободу!». Может быть из первых букв этих лозунгов составлено слово «НТС»? — подумал я. Тогда это не совсем серьезно. Что-то, вроде ребячьего пиратского клуба: «Смерть бледнолицым!» Но все равно. И пусть, немного по-ребячьему. Зато язык и рассуждения в листовках просты и убедительны. И звучат совсем так же, как их сказал бы кто-нибудь из нас.

Я снова задумался. Вот он — выход. И даже не выход — обязанность. Если только НТС в самом деле наша независимая организация русских революционеров...

Я решил узнать об НТС больше. В немецком тексте упоминалось, что эта организация выпускает свою газету «Посев», которую можно купить в киосках западного Берлина. В одной из листовок я нашел также адрес берлинского штаба НТС. Он помещался в западном секторе на улице Гогенцоллерндамм.

Журнал я вернул Савинцеву без комментариев. Сам же, через своих агентов начал собирать сведения о полицейском режиме, проверках, облавах и т. д. в Западном Берлине. Потом поехал до пограничной станции Гезундбруннен и походил по соседним улицам. В киосках газеты НТС не было. Продавцы переспрашивали меня, не понимая о какой газете идет речь, а я из осторожности не пускался в подробные объяснения. На углу вокзальной площади, у обувного магазина, стоял мужчина с холщевой сумкой через плечо. Он продавал на восточные пфенниги юмористический журнал немецких антикоммунистов «Тарантель». Я захватил «Тарантель» с собой в Карлсхорст. Журнал оказался едким и смешным. Первые его страницы были заполнены карикатурами на возможный надгробный памятник Сталину. Это был конкурс среди читателей. Мусорный ящик с выглядывающими оттуда запорожскими усами «вождя» показался мне вероятным победителем, но искать в «Та-

рантеле» ответа на наши проблемы и искания было, конечно, бессмысленно.

Я подумал, что в газетных киосках, недалеко от Штаба НТС, должен быть «Посев». Значит нужно было доехать до улицы Гогенцоллерндамм и поискать в киосках там. Однако Гогенцоллерндамм была глубоко в центре западного сектора.

Тогда, однажды утром, я сел в поезд городской электрички в Карлсхорсте и поехал через центр Берлина по направлению к западному сектору.

С утра погода была солнечной, но вскоре небо затянулось пеленой и пошла мелкая морось.

Я проехал по эстакаде электрички над туманным от дождевой пыли западным Берлином и на вокзале Весткройц пересел на окружную линию.

Гогенцоллерндамм оказалась широкой улицей с газоном посередине. Рядом со станцией был небольшой магазин с витриной уставленной часами и будильниками. Я постоял у него немного, проверил все ли спокойно за моей спиной и двинулся наугад налево.

На сложной развилке улиц стоял газетный киоск. «Посева» в нем не было и продавец опять покачал недоуменно головой. Я побрел дальше. Снова киоск на углу. Сердце у меня екнуло. На одной из боковин киоска, между немецкими обложками, был пришпилен журнал, похожий по формату, бумаге и раскраске на наш «Крокодил». На нем заголовок русскими буквами «Сатирикон». Значит и «Посев» здесь тоже мог быть. Я собрался было обратиться к продавцу, но слева подошел человек. Мне пришлось отвернуться к немецким журналам и разглядывать пришельца краем глаза.

Это был молодой невысокого роста мужчина в сером хорошо сшитом костюме. Полное, круглое лицо. На верхней губе черные усики полоской. Он не обратил на меня особого внимания и бросил на прилавок стопку газет со словами на немецком языке:

— Это все, что на сегодня.

Продавец кивнул и незнакомец ушел. Когда жена продавца стала перекладывать газеты под прилавок, я увидел, что это был «Посев»!

Я попросил номер свежепринесенной газеты и спросил нет ли и прошлых выпусков. Продавец посмотрел на меня секунду изучающе, потом кивнул головой и подобрал мне пачку старых газет.

Я забрал увесистый пакет и пошел быстрыми шагами назад, к станции.

Слежки за мной не было и до самой секторной границы ничего подозрительного не оказалось. В восточном секторе я вздохнул свободно, но все же пакета не разворачивал до самого Карлсхорста.

Там я заперся в своей квартире и приступил к чтению.

«Сатирикон» мне не понравился. Он издавался не НТС, а какой-то другой организацией, названия и облика которой я не понял. Кроме того меня оттолкнула карикатура на последней странице, изображавшая краснолицего и тупоносого советского солдата, размахивавшего пивной кружкой. Чем-то она напоминала мне немецкие карикатуры военного времени.

«Посев» же оказался именно тем, на что я надеялся. В самом верху первой страницы два лозунга. Один: «За Россию!». Другой: «Не в силе Бог, а в правде (Александр Невский)». Первая страница поделена пополам. С левой стороны передовая. Справа — хроника событий по стране. Прямо так: «по стране». Как будто само собой ясно, что речь идет о нашей стране, о Советском Союзе. Передовые написаны современным живым русским языком. Впечатление, что авторы их живут такими же мыслями и заботами, как и обычные граждане Советского Союза. Нет, не совсем обычные. Вернее, как советские люди, имеющие возможность говорить прямо и открыто. Разбор закулисной трагедии «побед великих строек» мне понятен. Действительно, такие стройки ложатся бременем на народ и цена их в человеческих жизнях невероятно высока. Автор считает, что такие «победы» приближают поражение советской системы. Возможно. Дай Бог . . .

На последних страницах газетных номеров отрывки из книги «Дальневосточный заговор». Я смутно знаю об этом времени. Строчки, описывающие кровавую эпопею тридцать седьмого года усыпаны именами людей, о ко-

торых я слышал и читал в учебниках и газетах. Кто-то был объявлен врагом народа, кто-то беззвучно исчез. Здесь я узнаю о подоплеке их исчезновения... Вот оно, оказывается, как было...

Я разворачиваю газету... Старые еще майские выпуски... Сводка — «Навстречу Революции». Краткий рассказ, как НТС борется против советской власти на территории Восточной Германии. Листовки, личные контакты с солдатами и офицерами советских оккупационных войск. Радиостанция «Свободная Россия». Сводки Российского Информационного Агентства. Революционная работа на территории Восточной Германии... Из других статей я понимаю, что похожая работа идет и на территории СССР. Но об этом почти ничего не пишется прямо...

В комментариях нет ни злобы, ни ненависти к советскому народу. Да, что я... Какая там может быть злоба. Эпитеты «наше», «наша», «наш», одинаково относятся в газете и ко всей стране, и к спортсменам на Олимпиаде, и к стройкам социализма. Люди, пишущие эти строчки, не отделяют себя от русского народа. И понятие народа для них включает в себя всех честных людей, желающих освобождения Родины, вне зависимости от их места службы или партийных документов. В одном из отрывков из «Дальневосточного заговора», где автор рисует картину того, как могло бы произойти восстание против советской власти, он смело пишет о союзниках революционного движения в рядах НКВД. Революционеры в рядах НКВД... Звучит парадоксально... Но разве это не похоже на обращение прямо ко мне? Тем более, что я-то разведчик, а не следователь или каратель...

Статья «Мир — наша победа». НТС считает своей обязанностью бороться за сохранение мира. Долой войну! Революция один из путей сохранения мира! Какая разница по сравнению с теми, потерявшими веру в русский народ, кто подстрекает западные державы к войне, к атомным бомбам на Москву и Ленинград. Очевидно, НТС не собирается въезжать на белом коне в обозе «завоевателей» в разрушенную Россию. НТС видит будущее России в пробуждении освободительных сил самого русского народа.

Резолюция съезда НТС: «мы категорически против расчленения России после свержения советской власти».

Немного дальше очерк о Пикассо. В нем откровенная, честная критика распадающейся буржуазной морали Запада. Значит и преклонения перед Западом тоже нет.

Статья об юбилее пионерской организации . . . Трибуна читателя . . . Письма из советской зоны Германии... Правда о газете «Правда» . . . Теоретические статьи: «Об идее солидаризма», «Наше идеологическое лицо» . . . Сводка Берлинского Комитета . . .

Я откладываю газеты и задумываюсь . . .

«Не в силе Бог, а в правде» . . .

В душе у меня — теплое чувство уважения к этим людям. Понимание справедливости и самоотверженности их борьбы.

Может быть, съездить в западный сектор, зайти в телефонную будку, позвонить в редакцию и сказать что-нибудь хорошее? Что они герои, патриоты . . . А может быть, что-нибудь попроще . . . Что я их еще мало знаю, но все равно, — душой с ними.

Или не надо. Я ведь не один. Вмешается какая-нибудь случайность, гибнем все мы трое. Нет, эмоции лучше контролировать. И письмо в «Посев» тоже нельзя. Я могу проговориться о чем-нибудь между строчек. МВД найдет автора. Но, с другой стороны, это ведь и моя организация. Кто-то должен идти на риск. Я же могу, в конце концов, организовать как-то так, что моя семья не попадет под удар в любом случае. Я обязан установить с ними связь. Пусть не сегодня. Но вообще . . . В каком-то будущем. Да, о солидаризме я знаю мало. Он мне малопонятен и не особенно близок. Но это неважно . . . Важно, что есть наша русская революционная организация. Это путь к выходу, к выходу настоящему и достойному Человека. Путь к точной и ясной ориентации на русскую народную освободительную Революцию.

Да . . . Самое главное из всего случившегося лично для меня это то, что время отчаяния и безнадежности — кончилось.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наша машина пересекла городскую границу Москвы и помчалась по шоссе на север.

— Ты чего же фары не включаешь? Темно ведь уже, — крикнул Мирковский нашему шоферу.

Евгений Иванович сидел на заднем сидении рядом со мной и для разговора с шофером ему приходилось повышать голос. Переднее сиденье было пусто. Мирковский не любил разыгрывать из себя высокомерное начальство и разговаривать с людьми пренебрежительным полуоборотом с переднего сиденья, как это делали многие из «руководителей».

Действительно, уже темнело и контуры, мчащихся нам навстречу грузовиков, постепенно превращались в силуэты.

— Нельзя еще свет включать — отозвался шофер. — Летнее время пока действует. Ничего не поделаешь. ОРУД-у лучше знать, когда темно, когда светло.

— Бюрократы они, твой ОРУД — пробурчал Мирковский.

Однако шофер был прав. До официального конца лета и начала учебного года оставалось еще несколько дней.

Мирковский снова повернулся ко мне и возобновил разговор.

— Так, значит — сын. Только, что же вы его Александром назвали. Теперь какая-то мода на это имя. В

каждой квартире, что ни пискун мужского пола, то — Саша. Вы бы, что-нибудь пооригинальнее.

— Так я ж говорю, что мы ждали дочку, а когда родился сын оказались совершенно неподготовленными. У нас даже все детское приданое — розовое, как для девочки. Медсестра поздравляет меня с сыном, а я хотя и рад, но в какой-то степени растерялся. Так он у нас и был дня два совсем без имени. А решать нужно через записочки. Меня-то в палату не пускают. Я предложил Александра, Яна придумала уменьшительное «Алюшка». Так Алюшкой и остался. Яна пишет, что теперь он с каждым днем вообще становится все больше и больше похожим на настоящего «Алюшку».

— А из родителей-то, на кого похож?

— Трудно еще сказать. Ему ведь всего пять дней. Яна пишет, что подбородок мой. И то хорошо, пока.

Евгений Иванович улыбнулся.

— Все еще раз двадцать переменится. Будет и на вас походить и на жену и на всех тетей и дядей по очереди. А что касается бабушек, то на них, вообще, все внуки похожи. Я знаю, у меня детей вон сколько — лесенкой, от горшка до стола. Так, значит, решили брать их с собой за кордон — и жену и сынишку? Вы это окончательно? За кордон ездить не прогулка. Своей жизнью мы все привыкли рисковать. А жена, да еще такой малыш — ответственность большая . . .

— Я знаю. Но нам вместе будет спокойнее. И Яне и мне. Да и сыну лучше расти, когда и мать и отец рядом . . .

— Это, между прочим, еще вопрос, где ему лучше расти. Нелегко вам будет смотреть как мальчишка растет не зная даже, что он русский. Вот у нас один товарищ тоже поехал за кордон с семьей и с сынишкой. Мальчишке было с год. Пожили за границей лет восемь, приехали обратно. Папа говорит: «Ну вот, сынок, теперь ты знаешь, что мы все русские и тебе тоже надо русский язык учить». А воскресенье подошло, отец собрался было на футбольный матч, а сын ему: «Папа, ты куда? Разве мы в церковь сегодня не идем? Воскресенье, ведь!» — Дело не в одном языке. Дети — они, как губка.

— Ну, а Павел Анатольевич, что думает об этом?

— Да, я пока не знаю, что он думает. Передал ему ваше письмо из Берлина. Так мол и так. Пишет Николай, что согласен вернуться на нелегальную работу, но только в том случае, если ему разрешат поехать за кордон с семьей. Он черкнул короткую резолюцию: «Дать отпуск, потом поговорю с ним лично». Ну, вот, отпуск ваш кончился и я везу вас для личного разговора. Что же еще? Посмотрим . . . Не волнуйтесь раньше времени. Вот, если не разрешит, тогда и будете волноваться . . .

— А удобно ли, в больницу? Может Павел Анатольевич плохо себя чувствует? Доктора не будут возражать?

— Чего же неудобного, когда он сам позвонил и приказал вас привезти. А доктора за то и деньги получают, чтобы возражать . . .

Машина подъехала к высокой каменной ограде, свежевыкрашенной в желтый цвет, и задержалась перед воротами. Шофер погудел. Часовой вышел из калитки, проверил пропуска и открыл ворота. Мы въехали в длинный асфальтированный двор загородной больницы МГБ СССР. Где-то здесь, в этом большом недавно выстроенном здании, находился уже с неделю на положении больного мой начальник, генерал Судоплатов. Его давно мучали головные боли и когда правый глаз стал терять остроту зрения, доктора приказали больничный режим.

Я оказался прав. Доктора категорически воспротивились пустить нас к Судоплатову.

— Но он же нам звонил — попытался я воздействовать логикой.

— Мало ли что звонил, — упрямилась сестра. — Здесь он больной, и я приказы от своего начальства принимаю.

— Чего, вы?! — дернул меня за рукав Мирковский. — Разве ж так действуют? Дайте, я . . .

Он ласково обратился к медсестре.

— Девушка, а вы бы проверили у вашего начальства, как обстоит дело. Мы, конечно, не настаиваем, но прежде чем возвращаться хотелось бы иметь, так сказать, официальный отказ.

Сестра взялась за телефон. Мирковский остановил ее.

— Что вы, по телефону... По телефону он откажет, вроде отговорки. Сходили бы сами. Посетителей пока нет. А мы за вас подежурим.

Сестра засмеялась и махнула рукой.

— Ладно, уж раз вы так красиво просите...

Не успела она скрыться за углом, как Мирковский рванул меня за руку к вешалке с халатами.

— Быстро, Николай. Помогите натянуть. Хватайте, какой поближе.

Мы бросились в лифт.

— Судя по телефонному номеру, на шестом этаже — вымолвил запыхавшийся Евгений Иванович.

Когда мы постучали в дверь, нам ответил знакомый голос генерала: «Войдите». Мирковский взглянул на меня победно: «Что? Разведчики никогда не сдаются», и радуясь, как ребенок, шагнул в комнату.

Судоплатов сидел на краю кровати в пижаме и больничном халате. Увидя нас, он обрадовался.

— А-а, проходите, проходите! Прорвались все же? Ну, вас все равно быстро выгонят. Я лучше оденусь и спущусь к вам. Пройдемся и поговорим. Как дела у вас, Николай? Жена здорова? Я слышал у вас сын. Поздравляю. Как мамины дела? Отпуск хорошо провели? Ага, вот и мои тюремщики...

Действительно, на пороге появилась красная от возмущения медсестра и дежурный врач. Евгений Иванович поднял предостерегающе руку, обращаясь к сестре:

— Все понятно. Мы исчезаем.

И бочком, очень быстро для своей комплекции, выскользнул из комнаты. Судоплатов спустился во двор минут через пятнадцать. На нем была генеральская форма — тяжелая шинель и фуражка с золотой кокардой. Я в первый раз видел его в форме, со времен «московского подполья». Мы пошли по мокрому асфальту, в котором отражались яркие окна больницы. Двор был еще незакончен и в бетонных круглых клумбах не было ни цветов, ни земли.

Евгений Иванович посмотрел на небо.

— Дождик, наверное, надолго. Может отложим разговор, Павел Анатольевич?

— Неважно, — ответил генерал. — Я ведь не простужен. Ну, вымокну, ничего не случится . . .

Он шел медленно, видимо, обдумывая как начать. Потом заговорил негромким голосом и мы невольно придвинулись поближе, чтобы слышать.

— Я прочитал ваш рапорт, Николай. Очень рад, что вы решили вернуться на работу, соответствующую вашей квалификации. Ваше письмо было тем более кстати, что руководство поручило нам создание в ближайшее время нескольких серьезных резидентур в Западной Европе. Одну из них, например, в Швейцарии, мы могли бы поручить вам. Конечно, резидентура, это не разовое задание. Здесь нужно готовиться к длительной и основательной работе, на много лет вперед. Вам придется пройти заново боевую подготовку и познакомиться с принципами руководства агентурными сетями. Понимаете, Николай, до сих пор вы были офицером-исполнителем. Теперь я намерен поручить вам функцию офицера руководителя. Отвечать за других людей несравненно трудней, чем за самого себя. Поверьте мне — я это знаю. Если вы готовы связать свою жизнь с такой ответственной и долголетней задачей, то я ее вам доверю. Только подумайте еще раз крепко обо всем. Решение важное и я не хочу, чтобы вы приняли его наспех . . .

— Но, Павел Анатольевич, вопрос моей семьи для меня важнее, чем . . .

— Да, я помню о вашем «условии» . . .

Судоплатов иронически улыбнулся и сердце у меня екнуло. Он продолжал опять серьезным тоном:

— Если рассматривать его не как ультиматум, а как оперативное предложение, то оно вполне правильное и я с вами согласен.

Будь другая обстановка, я закричал бы «ура». Судоплатов, между тем, уточнил свою мысль.

— Мы часто идем на такие комбинации. Жена и ребенок могут послужить разведчику удобным прикрытием. Человек сразу приобретает другой вид. Плохо, что многие из наших резидентов вынуждены работать в одиночку. Для окружающего их общества, они кажутся слишком непривязанными к жизни. А семья, жена и ребенок, могут придать разведчику солидность и вы-

звать доверие. Надо разработать подходящую легенду, что жена ваша родилась и выросла за границей и сын появился там же. Тогда отношение властей к вам будет иным, чем если бы вы приехали как перекати-поле. Да. Послать с вами семью нам будет выгодно. Но справится ли ваша жена с такой задачей?

— Мне не хотелось бы втягивать ее в какую-нибудь работу по линии разведки . . .

— Я вам этого и не предлагаю. Наоборот, — попрошу вас делать все возможное, чтобы она не принимала никакого участия в делах резидентуры и, вообще, знала бы поменьше государственных секретов. Кстати, что ей известно о вашей работе?

— То, что я работаю в научно-исследовательском институте.

— А вы скажите ей правду. Не всю, конечно. Смысла и деталей вашей работы не касайтесь. Но наше учреждение назовите. Скажите ей о вашем звании. Можете упомянуть о ваших прошлых делах, партизанских, например. Я думаю, мне надо бы повидать вашу жену в ближайшее время и познакомиться . . .

— Она не захочет приехать в здание МГБ — неосторожно вырвалось у меня.

Судоплатов не обиделся.

— Ну, что ж. Так я сам приеду к ней в гости. На это, я надеюсь, она согласится? Евгений Иванович подберет свободный вечер. После того, конечно, как меня выпустят отсюда.

Генерал помолчал и потом вернулся к главному предмету разговора.

— Смогла бы ваша жена овладеть каким-нибудь иностранным языком, чтобы не прибегать к русскому за кордоном?

— Да, вполне. Она с детства знает немецкий. Говорила на нем когда-то совершенно свободно. В последние годы подзабыла, конечно.

Павел Анатольевич кивнул головой.

— Это хорошо. Я думаю, что стоило бы послать ее на несколько месяцев в нашу зону Германии для изучения обстановки и восстановления языка. В общем — садитесь с Евгением Ивановичем за рабочий план.

Судоплатов остановился и бросил тревожный

взгляд в сторону ворот. Они были открыты. Во двор въезжал черный лимузин. Судоплатов стал прощаться и я заметил в его поведении необычную торопливость.

— Это ко мне. До свиданья. Я скоро выйду отсюда. Тогда потолкуем обо всем подробно. Если меня не выпустят — сам убегу. А пока Евгений Иванович расскажет вам остальные детали наших планов по резидентуре... Как ваша мама? Здорова? Передавайте ей привет...

И генерал ушел быстрыми шагами навстречу остановившейся машине. Из нее вышла женщина в черном шелковом пальто и маленький мальчик. Из короткого замечания Мирковского мне стало ясно, что к Судоплатову приехали с визитом жена и сын.

— Так, значит вы все знаете о резидентуре? — спросил я у Евгения Ивановича, когда мы забрались обратно в машину и поехали к Москве. — А говорили, что ничего пока неизвестно...

Он развел руками жестом полушутливого протеста.

— Так вы же о себе спрашивали. А резидентура пока еще не ваша. Генерал вас предложит министру. Если мы с вами умный рабочий план напишем, тот утвердит. Тогда и будет швейцарская резидентура вашей. Со всем почетом, ответственностью и головной болью...

За два с лишним года, со времени первого ремонта, Янина квартира все продолжала улучшаться — в ней установили центральное отопление. К кольцу горячей воды от киевской теплоэлектроцентрали подключили еще несколько домов и, в том числе, наш. Понаехавшие бригады мальчишек-ремесленников взрыли все дворы, пробили в стенах несколько лишних дыр, перессорились друг с другом из-за ошибок, допущенных в плане районным инженером и, в конце концов, понавесили везде звенья новых, но уже ржавых, батарей. Новая отопительная система заработала исправно, если не считать мелочей: температуру регулировать было нельзя. На районном складе не нашлось кранов. В самом начале работ, еще когда сотни жильцов тревожно гадали: «подключат или не подключат», ремесленники торжественно привинтили к стенам на самые видные места красивые коробочки термостатов. В каждой квартире они

подробно и с удовольствием рассказывали, что этот умный прибор — последнее достижение техники — сам регулирует тепло. Потом, когда выяснилось, что не только автоматических, но даже и простых кранов на складе нет и батареи сварили на прямую, коробочки термостатов остались на стенах, напоминая беспомощно растопыренными обрывками проводов, что каждому достижению техники нужна практическая база. Вода в кольце теплоцентрали имела обычно температуру в восемьдесят градусов. Весной и летом мы задыхались от жары, но зимой спали с открытыми форточками. Зато стены быстро высохли и сырость исчезла.

Брату Яны я отдал комнату у Калужской площади, которую Судоплатов выхлопотал для меня весной 1951 года, пока я путешествовал по Европе. Мы с Яной и Машей остались в квартире одни.

В августе 1952 года, когда я приехал в отпуск из Берлина, старые перегородки были сломаны и воздвигнуты новые. Получилось три комнаты: детская, Машина комната и наша с Яной, она же столовая. Кухня была расширена и выложена кафельными плитками в предвидении ежедневных купаний ребенка. Старый дубовый стол мы распилили пополам. Из одной части вышел письменный стол для Маши, из другой — стол для пеленания, в детскую. На пол в детской комнате мы положили линолеум, стену занавесили ковром, специально привезенным из Берлина, и приставили к ней детскую кроватку, купленную в соседнем магазине на Арбате. Столовая получилась такой большой, что в ней свободно уместились и новый рижский шкаф, и пахнущий свежим фабричным клеем обеденный стол, и даже телевизор с этажеркой для грампластинок. Осталось место и для дивана, буфета, чертежного стола и книжного шкафа. Старый гардероб мы поставили в Машину комнату.

Когда же покрасили окна белой масляной краской и повесили кремовые кружевные шторы, полуподвал превратился в светлую, просторную квартиру.

Соседи и знакомые, зачастившие в гости, уверяли, что приходили смотреть на чудесные перемены. Мы с Яной понимали, что интересовал их, в первую очередь, телевизор, но против частых визитов не возражали.

Наши родственники и друзья не знали, что, несмотря на внешние перемены к лучшему, на обилие в квартире хороших вещей, нашу с Яной жизнь нельзя было назвать устроенной.

Вопрос моей службы в разведке продолжал висеть над нашими головами, как Дамоклов меч.

Приехав из Берлина, я не сказал Яне всей правды о своих планах. Мне не хотелось начинать разговоров на острую и тяжелую тему в столь неподходящее для Яны время. Я упомянул только, что возможность выхода, кажется, появилась и все зависит от встречи с Судоплатовым.

Когда Яна вернулась из родильного дома, школьные каникулы кончились. Маши не бывало дома в первую половину дня. Погода была теплой и солнечной. Сынишка спал в своей коляске на дворе перед нашим окном. Мы могли следить за ним не выходя из квартиры. Яна перебирала Алюшкино приданое. Я привинтил заднюю стенку телевизора и придвинул столик обратно к стенке.

— Нашел в чем было дело? — спросила Яна, не подымая головы.

— Да, нужно было переставить поясок переменного сопротивления. Теперь гораздо лучше.

— Надолго ли? — засмеялась Яна. — Завтра опять начнешь что-нибудь улучшать. Оставил бы, как есть. Все равно, смотреть телевизор некогда.

Я бросил отвертку и подсел к ней на диван.

— Знаешь, на днях я разговаривал с Судоплатовым. Он болен, но Мирковский возил меня в больницу. Похоже, что Судоплатов мешать мне не будет.

Она смотрела на меня очень внимательно и глаза ее как бы говорили: «может быть расскажешь, в конце концов, в чем дело?»

Я начал издалека.

— В Берлине стало окончательно ясно, что я зашел в тупик. Судоплатов послал меня туда с точной целью — подавить мой бунт. Учебу в университете, как ты знаешь, пришлось забросить. Пропусти я еще несколько экзаменов, меня могли отчислить. Отпуска не давали умышленно. Я мог просидеть в Германии годами, оторванным от тебя и Алюшки. А ухода из развед-

ки все равно не получалось. Я превращался постепенно в аппаратного работника. Стал бы, в конце концов, присяжным эмгебистом, и тогда, вообще...

— Ты расскажи лучше, что придумал. Я же знаю твои неприятности и так.

— Придумал я, вот что. Протест против нелегальной работы результатов не дал. Значит есть только один выход — вернуться на нелегальную работу!

У Яны удивленно раскрылись глаза.

— И это ты называешь выходом?

Я продолжал, уклоняясь от преждевременного спора.

— Из Берлина я послал Судоплатову письмо. В нем было мое официальное согласие поехать за границу на постоянную работу, но с условием, чтобы вместе со мной ехала моя семья — жена и ребенок. Когда мы разговаривали в больнице, Судоплатов дал свое согласие. Подожди, не протестуй. У такого варианта есть большие выгоды. Для нас, конечно. В разведку я не собираюсь тебя устраивать. Ты поедешь со мной, как моя жена, и к служебным делам отношения иметь не будешь. Немецкий язык восстановишь и будешь считаться, по документам, какой-нибудь немкой из районов отошедших к Польше. Поехать придется, вероятно, в Швейцарию. Я буду жить там под видом австрийского коммерсанта, или богатого туриста-немца. Выгода же заключается в том, что ты, Алюшка и я, выйдем из пределов досягаемости для советской разведки. Во всяком случае, вы не будете заложниками. Я смогу саботировать работу без риска отправить вас в тюрьму.

— И, если положение станет невыносимым или слишком опасным — уйти под крылышко западных властей?

— Как крайняя мера, для спасения жизни — да.

— Это невозможно.

— Но почему? Я ведь говорю только о крайнем случае.

— Долго саботировать работу тебе не удастся. Значит речь идет не об отсрочке кризиса, а о его результате. Бежать за границу — это именно бежать и ничего больше. Жизнь нашу мы спасем. А для чего? Твои рассказы о загранице на меня большого впечатле-

ния не произвели. Да, у нас в Союзе очень плохо, но это же не значит, что на западе хорошо. Если бы там было все человечно, не появился бы на свет коммунизм. Там можно, наверное, красиво одеться и вообще неплохо жить, но какой ценой? И кому хорошо, а кому очень плохо? Всего этого я совсем не знаю. Я слишком русская, чтобы бросаться очертя голову в совершенно чужой мир. Как мы Алюшку будем воспитывать? Без языка, без родины . . .

— Создадим свой собственный мирок. Родина у него есть, а язык выучит в семье.

— Да, нет. Даже не в этом всем дело. Просто решение какое-то трусливое. Миллионы пошли в Сибирь изза менее важных вещей, а мы побежим за границу создавать себе теплую и сытную жизнь. И потом, ты думаешь, власти так просто тебя примут и разрешат остаться? Посадят в тюрьму и будут допрашивать. Выжмут все государственные секреты, а потом выбросят, как тряпку. И будем мы всю жизнь мучиться вопросом, предатели мы или честные люди . . .

— Ну, хорошо. Ты знаешь, какое-нибудь другое решение?

— Не знаю. Но то, что ты предлагаешь похоже больше на сдачу, чем на выход из тупика.

— Что же, лучше если мы сядем в тюрьму, а Алюшка попадет в детский дом?

— Это нечестно. Затрагивать сразу самые больные места. Да, возможно, нам суждено просидеть в какой-то тюрьме лет двадцать, а Алюшке вырасти беспризорным. Можем мы что-нибудь изменить? Мало. Но хотя бы то, что сидеть мы будем не в заграничной тюрьме, а в советской, вместе с другими, такими же как мы. А Алюшка . . . Я не знаю . . . Я совсем запуталась в твоих головоломках . . .

Яна резко отвернула голову в сторону. Но я и так знал, что глаза у нее полны слез. Лучше всего было отложить дальнейший разговор.

С каждым словом из того, что сказала Яна, я был в душе полностью согласен, но рассказать ей о своем настоящем плане я не мог. Я не имел права открыть ей, что намерен вывезти их за границу только для возможности примкнуть самому к революционной органи-

зации. Это означало бы сделать Яну своей сообщницей. При первой же неудаче, она могла попасть под расстрел вместе со мной. Конечно, разница между планами возможного ухода на Запад и решением примкнуть к НТС была, с точки зрения уголовного кодекса, небольшой. Но как раз эта разница могла стоить Яне и Алюшке жизни.

Оставалось ждать пока Яна сама догадается, что мое решение вызвано причинами более важными и более честными, чем трусливое желание убежать на Запад.

В нескольких десятках метров от метро «Крымская» на Метростроевскую улицу выходит Турчаниновский переулок. Он поднимается от Москвы-реки старой булыжной мостовой в размытых дождем ухабах. Там, где переулок встречается с укатанным асфальтом магистральной улицы, на левой стороне расположен небольшой сквер. На углу его приютился деревянный павильон обувного магазина. На тротуаре перед сквером маячит обычно тележка с газированной водой и лоток с папиросами или дешевыми конфетами. На другом углу переулка лотков и тележек не бывает. Пешеходы там не задерживаются. Этот угол огорожен желтым забором, из-за которого виднеются колонны небольшого портала двухэтажного особняка. Ворота, выходящие на Метростроевскую улицу, плотно закрыты. Иногда легковые машины сворачивают в переулок и, задержавшись перед окном особняка, выходящим во внутренний двор, протяжно гудят несколько раз. В окне мелькает фигура. Затем машины выворачивают обратно на улицу. Через несколько минут человек в штатском разводит половинки ворот и впускает машину во двор.

Некоторые посетители приходят в этот особняк пешком. Тогда они спускаются в переулок. Там есть калитка, похожая на врубленные в стену боковые входы испанских домов. Посетители шарят рукой по каменной боковине и находят кнопку звонка. Фигура снова мелькает в окне. Чтобы не ждать на улице, посетитель может войти в небольшой деревянный тамбур, пока дежурный спустится и откроет дверь.

Все эти предосторожности были задуманы как одно

из средств сохранения служебных тайн Бюро номер один МГБ СССР, которому летом 1952 года был передан особняк.

По слухам, в этом доме жил раньше зам. министра госбезопасности Кабулов. Потом, по каким-то неизвестным для простых смертных причинам, дом освободился, и генерал Судоплатов получил его для своей конспиративной штаб-квартиры.

Осенью 1952 года, в одной из комнат этого особняка, я начал работать над планом швейцарской резидентуры.

Дом был большой и в нем работало сразу несколько групп. Нижний этаж был предоставлен библиотеке, фотолаборатории и начальству. Там имелся даже большой зал с колоннами и длинным столом, вокруг которого можно было бы, наверное, усадить всех сотрудников судоплатовской службы. Но зал этот всегда пустовал. Начальство предпочитало устраивать совещания в других помещениях, более уютных. На втором этаже имелось несколько небольших комнат для оперативных сотрудников моего калибра. Туда вела крутая и скрипучая лестница полукругом. В комнатах были установлены стальные сейфы и ободранные письменные столы казенного образца. Конспирация была строгой. Нас проводили в комнаты по указанию дежурного так, чтобы мы не встречались с другими сотрудниками, готовящимися уехать за границу. Но окна моей комнаты, например, выходили во двор. Приезжающие машины останавливались внизу. Мне стоило только скосить глаза, чтобы увидеть, кто приехал. Кроме того, когда начальства не было поблизости, мы наведывались в гости друг к другу, как говорится: «отвести душу в дружеской беседе».

Для такой беседы ко мне вскоре зашел Ревенко. Я удивился его появлению.

— Откуда? И почему? Ты же должен был сидеть в Берлине и работать над группой «Ганса»?

Ревенко многозначительно улыбнулся и, садясь на дряхлый диван, заявил с ноткой удовольствия в голосе.

— Нет больше Ганса. Накрылся Ганс.

Я посмотрел на него внимательно. Наверное, Воло-

дя был доволен не провалом группы, а возможностью поразить меня такой сенсационной новостью.

Он закурил и, радуясь моему изумленному лицу, продолжал:

— «Ганс», он же Отто Серж, он же — бывшая главная надежда Коваленко и компании сидит сейчас в одной из саарских тюрем. Как он себя чувствует, трудно сказать, но можно предположить, что кисло. Подполковнику Коваленко я тоже не завидую. Во-первых, фюрер здорово струхнул. Во-вторых, в ближайшее время в берлинскую деревню едут ревизоры — слон и Тамара. Что они там будут ревизовать — не знаю. Гансу теперь только один Бог поможет.

Непосвященному человеку разобраться в жаргоне Ревенко было нелегко. Но я знал, что «фюрером» Володя называл Коваленко, «слоном» полковника Гудимовича, «Тамарой» майора Иванову и «берлинской деревней» — Карлсхорст.

Одно только обстоятельство мне было неясно.

— Ты говоришь как посторонний наблюдатель. Но разве не спросят и с тебя? Ведь с Гансом работал ты.

Володя бросил едва раскуренную папиросу в угол и прижал ее носком ботинка.

— А что я? Мое дело маленькое. Я Гансу говорил, чтобы он не ездил в Саар. Там полно его бывших компаньонов по советскому лагерю для военнопленных. А Ганс в этом лагере вел себя довольно неприлично. Сначала стучал на дружков по бараку, потом стал, за заслуги, чем-то вроде старосты по лагерю. Начал изуверствовать: выгонял людей на мороз в кальсонах, врагов устраивал в карцер и так далее. В личном его деле таких красноречивых деталей не описывалось, но подозревать можно было. В общем, такое прошлое, по саарским законам, — подсудно. И этого мы тоже не знали. Но все равно, Гансу было запрещено появляться в Сааре. А он взял и поехал. У него там сентиментальные привязанности, родственники, что ли . . . Точно не знаю. Какой-то бывший товарищ по лагерю его опознал. Схватили молодчика и под следствие: за преступление против человечности. Скоро, наверное, открытый процесс будет.

— Значит, то что он приехал в Западную Герма-

нию по поручению советской разведки саарским властям неизвестно?

— Думаю, что нет. Если он сам не ляпнет какую-нибудь глупость. Но, ведь все равно, использовать его, как агента, пока нельзя. По слухам, ему могут вкатить лет восемь. В общем, вся группа Ганса стала бесполезной и Павел отозвал меня из Берлина.

— Что же ты теперь собираешься делать?

— Пока обосновываюсь в Москве. Буду ходить через день-два сюда и усердно работать над очередным «прожектом». А в основном, конечно, буду гнать учебу в университете. Как у тебя с университетом?

У меня с университетом было неважно. Я сдал экзамен за второй курс и на этом остановился. Лекции я посещал изредка, но все время уходило на другие дела: приходилось работать над планом швейцарской резидентуры и готовиться к роли руководителя этой резидентуры.

Над планом резидентуры я работал, в основном, с Мирковским. Иванова помогала советами и сбором информации в соседних разведывательных управлениях по Швейцарии и Западной Европе. Ей же, в частности, была поручена разработка документов и легенды для моей семьи.

Мне был присвоен новый рабочий псевдоним «Петр» и план получил официальное название: «Резидентура Петра».

По мысли руководителей советской разведки, служба Судоплатова должна была создать нелегальный центр для координации работы боевых групп в Западной Европе.

Этот центр, организованный в нейтральной стране, должен был быть изолированным от остальных агентурных сетей. Страна считалась нейтральной в том смысле, что деятельности боевых групп на ее территории не предусматривалось. Такая планировка называлась «системой третьей страны». Штаб разведки помещался в Советском Союзе. Боевая операция развивалась на территории, скажем, Голландии или Франции. Нелегальная резидентура координировала операцию из третьей страны, в данном случае — Швейцарии.

— Боевики, например, не должны знать, что вы

живете в Швейцарии — инструктировал меня Мирковский. — Да и вообще, пожалуй, никто из агентуры. Будете приезжать к ним на встречу в какую-нибудь страну и потом исчезать в неизвестном направлении. Ведь вам, фактически, придется работать со всеми нашими боевыми группами. И теми, что есть и теми, что будут созданы. Если какая-нибудь из них прогорит, вы обязаны удержаться. Вам гореть нельзя. Строим мы ваш терем в Швейцарии солидно, на много лет вперед. Учтите это и не горячитесь. Три раза подумайте, а потом действуйте. Риск, конечно, дело хорошее. Но вы — резидент. Небось в Австрии и Германии не раз крыли начальство последними словами. Что, дескать, Евгений Иванович, да Павел Анатольевич работают со скрипом. А в нашем деле проверка очень нужна. Вот поедете в Швейцарию и вас агенты про себя крыть будут за лишнюю оглядку. Тогда и поймете, почему начальству трудно раскачаться. С другой стороны, дела у вас будут острыми и горячими. Принимайте решения на месте. На нас не оглядывайтесь. Запомните — вы едете не для сбора всякой кислосладкой информации, а для боевой работы. Б-о-е-в-о-й. Взрывы военных складов, диверсии на кораблях, саботаж на оружейных заводах, а если нужно и физическое уничтожение наших врагов. В любом месте и любыми средствами.

Евгений Иванович остановился и на какую-то секунду задумался. Может быть повторил про себя, только что сказанные слова. Потом неловко улыбнулся.

Да-а. Грязная, конечно, наша работа, — промолвил он, как бы извиняясь перед кем-то. — Грязная и неблагодарная. Жечь, взрывать, убивать . . . Звучит весьма и весьма некрасиво. Что ж . . . Мусорщики революции — вот, кто мы. Кто-то должен быть и мусорщиком. Каким словом нас помянут будущие поколения . . . Кто знает? . . Наверное — хорошим. Феликс Эдмундович все это досконально объяснил в свое время. В его время . . .

Евгений Иванович резко остановился и мотнул головой. Когда он снова повернулся ко мне, в глазах его уже лучились обычные хитринки.

— Все правильно, Николай. Делать нужно так, как лучше для государства. А наша работа советскому государству нужна. Тем более, что выполнять ее могут

лишь немногие. Вот почему мы категорически запрещаем привлекать к нашей работе людей с уголовным прошлым. Да, уголовник пойдет легко и на поджог и на убийство. Почему? Потому что у него нет ни принципов, ни веры никакой. Для нас такой человек просто опасен. Мы доверяем нашим агентам важнейшие государственные тайны. Нужно точно знать, что они не продадут наше доверие никому, даже если им гвозди под ногти загонять будут. А уголовник нашу работу сначала загрязнит, а потом продаст первому перекупщику. Подбирайте, Николай, только таких исполнителей, которым можете доверять на высоком уровне. Конечно, есть известный принцип — доверяй и проверяй. Но все равно, сначала узнайте человека, как следует. Если он маленький, мелкий, — лучше и не связываться.

— Ну, а мне, Евгений Иванович, вы доверяете полностью?

Я сам не знал, почему задал такой вопрос. Он вырвался у меня под влиянием, какого-то, полуосознанного, желания поиграть с огнем.

— Вам, что, кто-нибудь уже о партгруппе разболтал?

— Я ничего не знаю ни о какой партгруппе, — искренне ответил я.

Евгений Иванович пожал плечом.

— В конце концов, почему бы вам и не знать... Задали мне на днях как раз такой вопрос на партгруппе. Ну, что ж. Я ответственности не боюсь, сказал, что доверяю. И вам скажу еще раз — доверяю. Иначе не стал бы огород городить со швейцарской резидентурой. Конечно, выкидывали вы всякие штучки и, может быть, еще выкинете. Каждому из нас хочется иногда побрыкаться. Но в большом плане, вы человек наш. В этом я не сомневаюсь. Живете вы, наверняка, не для желудка или карьеры, а для кое-чего повыше и поважнее. И то, во что верите, не побоитесь защищать. А мне этого и достаточно. Так я им, на партгруппе и ответил.

Это было именно так. Вскоре Ревенко подтвердил мне рассказ Мирковского и добавил несколько других важных для меня деталей. Оказывается, на партгруппе был поставлен отдельный вопрос об отношении Хо-

хлова к служебному долгу в связи с поручением ему важного государственного задания.

Ревенко на партгруппе сам не был, но, как обычно, все знал в подробностях. Позиции обсуждающего меня начальства разделились. Кое-кто заявил, что Хохлов человек неустойчивый, отказался в этом году от государственного задания и особенно надеяться на него нельзя. Тогда-то Мирковский и выступил в мою защиту. К нему присоединился Студников, заместитель Судоплатова. Мнение более солидного начальства перевесило и партгруппа возражений руководству против моего назначения посылать не стала.

Вообще же обстановка с моими партийными делами была сложной.

Весной 1951 года я стал кандидатом партии и через год был обязан или перейти в члены партии, или лишиться кандидатской карточки. Мне такая строгость устава была на-руку. Я затягивал свой переход в партию. Но из кандидатов меня все же не исключили. Когда возник проект швейцарской резидентуры, меня снова посетил парторг.

— Сколько времени собираетесь ходить в кандидатах, товарищ Хохлов? Партия сделала для вас исключение и продлила ваш кандидатский стаж. Вас назначают на важную государственную работу. Следует привести в порядок свои партийные дела.

Это означало, другими словами, что я должен подать заявление.

Отказаться было уже нельзя. Не было больше ни причин, ни смысла. Я мог затянуть оформление в надежде, что уеду за границу до того как пройду последние инстанции. Но делать это нужно было осторожно, чтобы не погубить своих планов.

Тем временем моя «переподготовка» развернулась во всю. Мне предстояло вспомнить все то, чему меня учили во время войны, познакомиться с новейшими достижениями разведывательной техники, боевого снаряжения и аппаратуры связи. Кроме того, пользуясь словами Судоплатова, я должен был знать все с точки зрения офицера-руководителя, а не офицера-исполнителя.

Мирковский уточнил этот тезис более скромно:

«раньше учились сами и для себя. Теперь будете учить других. Вот эту разницу и усвойте . . .»

Главным дирижером моей подготовки Судоплатов назначил Годлевского. За те годы, что я не видел Николая Александровича, он стал подполковником, пополнел и потяжелел. Мы встретились как старые знакомые и быстро установили технику и расписание занятий.

Рано утром Годлевский и я выезжали на служебной машине из особняка в Турчаниновском в направлении Горьковского шоссе.

Километрах в двадцати от Москвы наша машина сворачивала вправо, на дорогу к поселку Кучино. Несколько километров мы крутились сквозь смесь дряхлых изб и новых каменных корпусов. Потом, сразу за кирпичным заводом, в небольшом лесу, начиналось «хозяйство Железнова». Когда я приежал в эти же места в начале войны вместе с Егором Пожаровым, там был лишь один бетонный домик и узкие щели в земле. За десять лет хозяйство разрослось. Проволочную изгородь заменил дощатый забор. У ворот выросло здание комендатуры, а в глубине территории появилось несколько корпусов секретных лабораторий. «Хозяйство Железнова» представляло из себя экспериментальную и тренировочную базу МГБ СССР, общую для нескольких служб разведки.

Сам Годлевский занимался со мной теорией и практикой огнестрельного оружия. В первый же день он провел меня в большую комнату длинного одноэтажного барака, недавно отлитого из бетона и, показав на плотно запертые шкафы, проговорил, почти гордо: «Наш музей заграничного огнестрельного оружия. Один из самых полных в Советском Союзе».

В шкафах, на фанерных держателях, обклеенных плюшем, хранились образцы самых разнообразных пистолетов и легких автоматов. Мне пришлось научиться разборке, обращению и стрельбе из чешских, польских, немецких, английских и даже американских марок оружия.

Годлевский проводил со мной целые дни на стрельбище. Он не только отрабатывал мою собственную технику стрельбы. Он настойчиво передавал мне свой

опыт инструктора и учил, как воспитывать грамотных стрелков.

Затем он познакомил меня с сотрудниками лаборатории диверсионной техники.

Их было двое. Младшего, очень юного, с непокорными вихрами на мальчишеской голове, мы нашли в коридоре, сразу у входа в корпус. Он стоял на коленях у листа жести, разложенного на полу перед входом в уборную и капал из пузатой бутылки прозрачную маслянистую смесь на кучку бурого порошка в середине жестяного листа. Мы почтительно остановились в отдалении. «Научный сотрудник по диверсиям» поднялся с колен и стал рассматривать задумчивым взглядом расползающуюся по металлу кашицу. Кашица задымилась, зашипела и вспыхнула пламенем, сначала красным и коптящим, а потом ослепительно ярким.

— Вот, что значит несколько процентов магния! — констатировал «сотрудник» довольным тоном. Мы оставили его созерцать догорающую смесь и пошли знакомиться со старшим по лаборатории. Старший говорил на плохом русском языке. Позже я узнал, что он — испанец. Лицо его было изуродовано шрамами. На руках не хватало пальцев. Мне рассказывали потом, что несчастный случай с испанцем произошел, когда он пытался кристаллизировать перекись ацетона все для тех же опытов по технике диверсий.

Старший показал мне свой музей — набор заграничных консервов, мыла, пакетов сахара, соли, чая и прочих, внешне невинных, предметов, с запрятанными внутрь взрывателями. Начинка и механика были разными: пружинными, химическими, термостатными, контактными, но цель одна и та же — диверсия на складах, в портах, на кораблях, в поездах и грузовиках. От него же я узнал, что кинофильм для пироксилина больше не подходит: за границей стали выпускать невоспламеняющуюся пленку. Зато можно было пользоваться, как сырьем для взрывчатки, охотничьим порохом, капсюлями и даже детскими игрушками. Тут же, на стенах висели схемы взрывателей и зажигателей, которые за границей можно было сделать самому из общедоступных материалов.

Урок закончился. Старший вернулся к куску ан-

глийского мыла, который он тщательно выскабливал скальпелем для устройства в нем хитроумной мины. Мы с Годлевским двинулись дальше — в лабораторию специального оружия.

Для знакомства со специальным оружием, изобретенным в лабораториях МГБ СССР и применявшимся только для особо важных заданий, требовалось разрешение министра. Годлевский получил его для меня и нам принесли в демонстрационную комнату образец бесшумного пистолета.

Пистолет был небольшой, с тройным стволом, напоминавшим волнистый, толстый портсигар, поставленный на ребро. Подполковник, демонстрировавший нам оружие, вынул из кармана своего синего халата несколько стальных блестящих цилиндров, напоминавших короткие и тупоносые сигары. С одной стороны они имели капсюль, как у охотничьих патронов, а с другой выглядывало рыльце пули. Подполковник начал объяснять:

— Секрет оружия в цилиндре. Пистолет ничего особенного из себя не представляет. В нем три камеры для цилиндров и пружинный боек, который по очереди разбивает цилиндровые капсюли. Поскольку секрет заключен в цилиндрах, следует уничтожать их немедленно после использования. Лучше всего их топить в ближайшем канале или реке. Эти цилиндры — демонстрационные. Мы их перезаряжаем. Эффект глушения у них, конечно, не такой, как у новых. Прицельность оружия, между прочим, невелика. Стволом служит короткий отрезок цилиндра. Отклонения пули в полете большие. Так, что рабочей дистанцией мы считаем метров десять-двадцать. Но сила у пули солидная: на двадцать пять метров пробивает четыре дюймовые доски. Доски сосновые, конечно. Вот попробуйте . . .

Он заложил цилиндры в пистолет и протянул мне оружие.

— Стреляйте через окно. Там сзади лес и все равно никого нет.

Пистолет был небольшим, но тяжелым. Я прицелился в стальную боковину пожарной лестницы и нажал спуск. Раздался резкий лязг металла о металл. Это не было ударом пули о лестницу. Мне показалось, что

из пистолета ничего не вылетело, только цилиндр издал протяжный свист, перешедший в шипение. Подполковник смущенно улыбнулся и торопливо пояснил. «Цилиндр старый. Герметичности, наверное, нет. Нажмите еще раз . . .» Я нажал. Лязг повторился, но без свиста, с одним шипением. От лестницы отлетела чешуйка ржавчины. Я подошел поближе к открытому окну. На поверхности боковины осталась чуть заметная вмятина.

— В общем, сила есть, — продолжал полковник. И звук, как видите, негромкий. То, что щелкает — это пружина. Мы сейчас работаем над электрической системой. Там шума будет еще меньше. А шип потому, что цилиндры старые. Новые не шипят.

Звук был действительно тихим, но оружие показалось мне еще несовершенным. Обижать подполковника не хотелось и я высказал свое откровенное мнение только Годлевскому. Он согласился.

— Да, не совсем то, что нужно в боевой обстановке. Но они совершенствуют его беспрерывно. Добьются и качества и простоты. Не беспокойтесь . . .

Говорить ему, что я и не беспокоюсь, было, конечно, бессмысленно.

Потом мы наведались в радиолабораторию, к моему старому знакомому Пете Рябцеву. Оказалось, что за прошедшие годы конструкции секретных радиостанций для разведывательных служб, сильно изменились. Появились приемники с записью на магнитную пленку и передатчики с бумажной перфорированной лентой. По новым правилам, вся работа в эфире не должна была составлять больше одной-двух минут, — время, за которое контрольные пункты противника не успели бы еще обнаружить нелегальную станцию. Рябцев показал мне новейшие американские схемы радиолюбительских передатчиков. Затем, мне пришлось построить один из таких передатчиков самому и связаться в эфире с центральной радиостанцией нашей службы.

Тайнопись тоже шагнула далеко вперед за время, прошедшее с конца войны. Мой «глюкозный» метод уже считался устаревшим. Мне показали носовые платки, шарфы и молитвенники, пропитанные особым составом. Достаточно было приложить их к бумаге, чтобы

написанный водой секретный текст превратился в надежную тайнопись.

Потом я вернулся в кабинет особняка в Турчаниновском и получил для чтения секретные лекции Комитета информации. В этих брошюрках, отпечатанных на пишущей машинке в нумерованных экземплярах, рассказывалось о принципах построения агентурной сети, системах связи с курьерами и центром, о работе методом тайников и о прочей кухне разведывательной работы.

«Переподготовка» отнимала много времени, но я успевал все же заходить в университет. Сдавал понемножку зачеты и контрольные работы и встречался с друзьями по факультету. Когда родился Алюшка, мы с Яной даже удивились, сколько у меня оказалось хороших друзей среди однокурсников. Они заходили в гости, приносили игрушки для новорожденного, доступные скудному студенческому бюджету и тем более поэтому трогательные. Спрашивали не надо ли нам помочь в доме, доставали мне по собственной инициативе записи пропущенных лекций. Для Яны такая студенческая дружба была не новостью, меня же она особенно радовала.

Я старался ответить на их дружбу, как мог. Рассказывал им о своих впечатлениях в Восточной Германии, устраивал прослушивание западных пластинок, привезенных мною в записи на проволоку. В первый раз, когда я завел «Сэ си бон» Луи Армстронга, и зазвучал его до неприличия хриплый голос, Нина, комсорг нашего курса, даже ойкнула: — «Какой распад!» и тут же заявила: «Заведи еще раз, ладно? Уж очень здорово!»

Потом мой проволочный записыватель был принесен в университет. Катушек с западной музыкой было много — на несколько часов. Слушали сначала в аудиториях, а потом на студенческом «капустнике» завели «распад» на весь вечер через мощный трансляционный узел Ленинской аудитории.

После этого со мной стали здороваться в коридорах университета незнакомые люди . . .

Для семьи оставались вечера и ночи. Ночи, потому что Алюшка засыпал плохо и поздно и требовал всеми

средствами, доступными мальчишке его возраста, чтобы перед сном его носил на руках отец. Яна была еще слабой и не могла держать Алюшку на вытянутых руках, на большой подушке, как ему особенно нравилось. Мы знали, что это баловство, но спорить с сыном я не хотел и, делая вид, что не замечаю укоров Яны, уступал малышу.

Спокойная обстановка в квартире водворялась, обычно, часа в два ночи. Тогда мы с Яной садились пить чай в кухне и могли поговорить наедине. За прошедшие недели я так и не сумел найти ничего нового в своей аргументации, что могло бы убедить Яну в правильности швейцарского плана.

— Что же из всего этого будет? — в который раз спрашивала она.

— Не знаю, — отвечал я, очень честно. Пока готовлюсь и планирую. Очередь решать за тобой. Я не вижу никакого другого выхода. Но если ты категорически воспротивишься, я смогу придумать что-нибудь для отказа.

— Но я уже категорически противлюсь! — возразила она, скандируя слово «противлюсь».

— Ты противишься, потому что смотришь на мой план только со своей точки зрения. Представь себе на минутку, что я не могу говорить тебе всего. Просто не могу и все. Разве не сказано в Евангелии, что жена должна слушаться своего мужа?

— Когда писали Евангелие не было советского государства и МГБ, — попробовала отшутиться Яна, но задумалась.

Позже она спросила меня:

— А, может быть, в твоих планах главное как раз то, что ты мне не досказал?

«Сто двадцать первая» была второй конспиративной квартирой Бюро номер один МГБ СССР в доме на углу улицы Горького и площади Пушкина. Она выходила окнами к памятнику. С высоты третьего этажа я мог видеть, как одинокая продавщица эскимо у троллейбусной остановки перебирала свой уже неходкий товар, пытаясь, наверное, подсчитать сколько «палочек» продано за первую половину дня. Свежий ок-

тябрьский ветер развевал пар, клубящийся от сухого льда. Прохожие оглядывались, может быть, думая, что лоток этот с горячими пирожками, но завидев полярного медведя на рекламе, спешили пройти дальше.

Прохладно было и в «сто двадцать первой». Прохладно и неуютно. Полотняные чехлы покрывали мебель. С пианино давно не стирали пыль. Верхний лист стопки бумаги, лежавшей на письменном столе, пожелтел и покоробился. «Сто двадцать первая» предназначалась, в основном, для встреч Судоплатова с нелегальными сотрудниками. Во время болезни генерала квартира пустовала.

Сотрудница, дежурившая в этот день в «сто двадцать первой», прислушалась к шагам по лестнице и открыла дверь прежде, чем зазвенел звонок.

Судоплатов приехал один. Он отпустил сотрудницу, сбросил пальто в коридоре и вошел в комнату своей обычной пружинящей походкой.

— Здравствуйте, здравствуйте, Николай. Давно ждете? . .

Недели болезни на нем не отразились. Он выглядел отдохнувшим и в его обычно бледном лице прибавилось жизненных красок.

— Вчера ночью мы с Евгением Ивановичем штудировали ваш рабочий план, — приступил Судоплатов прямо к делу. Он опустился в кресло у письменного стола, подобрал валявшуюся ручку и аккуратно поставил ее в эбонитовый стакан.

— План, в общих чертах, правильный и с ним я согласен. Есть несколько неправильностей чисто технического порядка: форма некоторых бумаг, небольшие упущения в разделе связи с центром и прочие мелочи. Евгений Иванович расскажет вам о наших поправках. Как только у меня на руках будет окончательный вариант, я подам его министру. Думаю, что особенных возражений у руководства не будет. Пожалуй, вам не стоит терять здесь времени. Поезжайте в Берлин. Займитесь устройством вашей семьи на жительство гденибудь в восточном секторе. Не надо поселять их в Карлсхорсте. Не идите по пути наименьшего сопротивления. Начните прямо со второго этапа — с немецких документов и официальной прописки на частной квар-

тире. Подготовьте базу, а когда министр утвердит план, прилетите сами за вашей семьей и отвезете их в Берлин.

В вопросе кандидатур в вашу агентурную сеть я даю вам карт-бланш. Посмотрите людей, состоящих на связи у группы Коваленко, познакомьтесь с ними лично. С нашими сотрудниками в Берлине рабочих вопросов особенно не обсуждайте. Решите сами, кто из агентуры вам подходит и дайте мне телеграмму. Только присмотритесь сначала к людям как следует. Вообще, всегда помните, что в нашей работе люди — самое главное. Я имею в виду не только Берлин, но и Швейцарию. В Европе вам придется иногда искать и вербовать агентов самому, без помощи аппарата. Я могу посоветовать вам только одно — ищите таких людей, жизнь которых от связи с нами выиграет. Причем, я совершенно не имею в виду материальные блага. Понимаете, Николай, люди от которых мы можем ожидать долгого и верного сотрудничества не должны принадлежать к красивым, богатым, счастливым. Тем хорошо и без нас. От связи с нами они много не выиграют в жизни; наоборот, специфика нашей работы начнет когда-нибудь давить на них. Им может показаться, что они обкрадывают себя, что они теряют время и упускают прелести жизни, на которые имеют полное право от рождения, по способностям. Ищите людей обиженных судьбой или природой: некрасивых, страдающих от своей неполноценности, добивающихся власти и влияния, но по стечению обстоятельств потерпевших поражение. Людей, которые страдали не столько от голода и холода, сколько от унижений, связанных с бедностью. Все они найдут в сотрудничестве с нами своеобразную компенсацию. Компенсацию тайную и, тем более, интересную. Ощущение принадлежности к влиятельной, могущественной организации даст им чувство внутреннего превосходства над окружающими их красивыми и преуспевающими людьми. В первый раз в жизни к ним придет ощущение значительности и тесной связи с властью, границ которой они сами не знают. Это грустно, конечно, и по-человечески мелко, но мы обязаны этим пользоваться.

Судоплатов встал из-за стола, пошел, как бы про-

гуливаясь, по комнате и остановился боком ко мне у подоконника. Он смотрел поверх домов. Потом заговорил снова.

— В Европе будьте максимально осторожны. Отделите семью от резидентуры и территориально и технически. Это мой категорический приказ. Пусть в дом, где они будут жить, никто из ваших агентов не заходит и адреса им не открывайте. В том городе не проводите встреч. Склад оружия, тайники, явки, все должно быть в другом месте, даже в другой стране... А вообще, я очень рад, что семья едет с вами. Не только потому, что это хорошее прикрытие для нашей работы. Прикрытие можно придумать и сфабриковать. Одиночество — вот, что самое страшное для разведчика за кордоном. Я помню самого себя на нелегальной работе во Франции... В чужой стране, и кругом были одни чужие люди. Дни напролет приходилось разговаривать с ними, как ни в чем не бывало, вместе работать, делать вид, что все обстоит хорошо... А вечером я приходил в гостиницу, запирал дверь, бросался на кровать и закусывал подушку зубами. И так много лет подряд... Вы знаете, что такое одиночество для разведчика, Николай... Я действительно очень рад, что семья едет с вами.

Коваленко позвонил под вечер мне в гостиницу.

— Франца привезли на объект для встречи. Хотите на него посмотреть?

— Да-да. Только, как условились, — безучастным наблюдателем, без знакомства.

— Конечно. Устиныч отвезет меня и заедет за вами.

— Не стоит. Я лучше пройдусь пешком.

От гостиницы до особняка на Вальдорфаллее было кварталов пять.

Улицы Карлсхорста казались пустыми. Октябрьская погода в Германии была сухой и не холодной, но жители городка, очевидно, уставшие после рабочего дня, попрятались по квартирам. По-вечернему синие массивы домов горели десятками разноцветных молчаливых окон. Только из приоткрытой двери закусочной на Кенигсвинтерштрассе слышались голоса ужинающих.

На окраине Вальдорфаллее, сквозь проволочную изгородь, виднелись фанерные домики немецких погорельцев. Я медленно шел вдоль изгороди, обдумывая итоги двух недель в Берлине.

По приказу Судоплатова я должен был решить, кто из агентов коваленковской группы подходит для швейцарской резидентуры. Лично мне хотелось, чтобы моя европейская сеть получилась малочисленной, чтобы люди спокойно сидели на местах и не горели особым рвением услужить советской разведке. Время и силы были мне нужны для других целей, чем руководство агентурой. Я собирался взять из коваленковской агентуры двух-трех наиболее безобидных людей, которых я все же мог бы представить Москве как многообещающих кандидатов. Конечно, от состава агентурной сетки могло зависеть утвердит ли руководство план моей резидентуры. Франц и Феликс произвели бы на мое начальство наиболее выгодное и серьезное впечатление, но связываться с обоими молодчиками мне не особенно хотелось. Судя по их прошлым делам, они не любили оставаться без работы. И я шел смотреть Франца не для того, чтобы включать его в свою группу, а для того, чтобы найти удобный предлог от него отказаться.

Встречу с Францем проводили Гудимович и Иванова. Коваленко и Савинцев всего лишь «присутствовали». После ареста в Сааре «Ганса» Москва решила послать в Берлин специальную комиссию для расследования причин провала агента. Комиссия состояла из двух человек: моей старой знакомой — Ивановой и полковника Гудимовича, начальника отдела судоплатовской службы. Как метко предвидел Володя Ревенко, «комиссия» вела себя в Берлине по-ревизорски. Коваленко был оттеснен от руководства и в группе установилось многоначалие. Бедные шоферы совсем перестали понимать от кого принимать приказы: от перепуганного ли и увядшего Коваленко, или от солидного, разговаривавшего гудящим басом и усердно «ревизовавшего» Гудимовича. Несмотря на свою солидность, внушительный голос, беспрерывное протирание толстых стекол роговых очков и манеру всех по-начальственному тыкать, Гудимович был в самом деле человеком недалеким и в

разведке разбирался плохо. Много лет подряд он служил в судоплатовском бюро, главным образом, как секретарь партийной организации. Он тщательно следил за изучением сотрудниками глав «Краткого курса», председательствовал на собраниях и вообще «проводил директивы партии в массы». Понахватавшись в рабочих материалах службы и на оперативных совещаниях руководства кое-каких истин о разведывательной технике, он мыслил себя будущим возглавителем берлинского филиала.

Источником его авторитетности в Берлине была опытность и интуиция талантливой Тамары Николаевны. Она быстро поняла, что для своей карьеры Гудимович нуждается в ее помощи, как в манне небесной и, по цветистому выражению Ревенко, — «поставила свой шанс на карту Гудимовича». Вдвоем они расследовали причины саарского ареста, перетягивали постепенно в свои руки нити управления группой и, продолжая цитировать того же Ревенко, — «копали Коваленко крупную яму».

Колоритность сложившейся обстановки не ускользнула, наверное, от глаз Франца — старого волка в разведке. Он сидел у конца стола небрежно откинувшись на спинку стула и переводил хитрый взгляд с солидно басившего Гудимовича, на раскрасневшуюся в служебном рвении Иванову, на Савинцева, застывшего в официально-иронической позе и на Коваленко, глаза которого, скользя с Ивановой на Гудимовича, выражали попеременно беспокойство и презрение. На меня Франц особенного внимания не обращал. Как потом стало известно, он принял меня за представителя немецкой компартии, то есть, в некотором роде, за своего коллегу. В разговор я почти не вмешивался и только изредка задавал незначительные вопросы по биографии Франца.

Беседу вел Гудимович. Когда я пришел разговор приближался к концу.

— Спросите его, Тамара Николаевна, что же он конкретного сделал за прошедшую неделю, — басил Гудимович, — и пусть не крутит, отвечает прямо и точно.

Иванова перевела первую часть фразы. Франц поднял плечи и усмехнулся углом рта.

— Несколько часов подряд вы пытались выжать из меня, как из лимона, все, что я знаю и не знаю. Теперь вы спрашиваете об итогах. Не было бы правильнее подвести их вместе с вами? Где нет конкретных заданий, трудно добиться конкретных результатов.

Поведение Франца мне нравилось. Я еще раз подумал, как искажаются характеристики людей в материалах агентурных дел. В нем не было заметно ни желания услужить, ни даже особого почтения к присутствующим. Только на Савинцева он, по-моему, взглядывал временами с подчеркнутым уважением и оттенком сообщничества, как бы желая сказать: «Ну, что с них возьмешь. Кабинетные герои. Мы-то с вами знаем, как работать . . .»

Когда Франц встал со стула, чтобы распрощаться, я увидел, что он маленького роста. На небольшом лице с острым подбородком выделялся крупный, крючковатый нос. Волосы неопределенного серого цвета были редки и со лба в них врезались два глубоких облысевших клина. Пожимая всем руки Франц не терял своей полуиронической улыбки. Разговор закончился ничем. Гудимович дал Францу прежнее абстрактное, ничем не подкрепленное, задание — работать над поисками документов для переезда в Западную Германию. Франц имел полное право иронически улыбаться.

— Я думаю, что если вы очень долго будете настаивать на этом задании, мне придется сделаться карманником и поискать на ярмарке рассеянного иностранца — съязвил он, прощаясь с Гудимовичем. Тот хотел было вскипеть, но Иванова прибавила к своему переводу многозначительный, сигнальный взгляд и Гудимович сдержался.

— Ну, как? — спросил меня Коваленко, когда Франц ушел.

Он знал, что я не уважаю «ревизионную комиссию» и продолжаю считать Коваленко начальником группы.

— Н-не знаю. Не знаю еще, — медлил я с ответом.

— Чего, не знаю, да не знаю! — вмешался Гудимович. — Говорите, берете или нет.

— Возьму, пожалуй, — ответил я, обращаясь к Коваленко. — Возьму. Его можно поселить во Франции и держать для ответственных дел. Только ведь без Феликса он ехать не захочет. Что, если дать им встретиться? Я мог бы посмотреть обоих сразу и решить окончательно.

Через несколько дней, в той же гостиной особняка на Вальдорфаллее, Франц и Феликс встретились впервые после многих лет. То есть «впервые» по официальной версии. Они слишком восторженно трясли друг другу руки и вспоминали невпопад старых друзей. Нам с Савинцевым стало ясно, что Франц и Феликс сумели, какими-то путями, разыскать друг друга раньше, чем им это разрешила советская разведка. Но мы не были мелочными людьми и заводить об этом разговора не стали.

Феликс показался мне совсем безобидным для моей резидентуры. Он принадлежал к типу людей, которых французы называют «бон виван», то есть «прожигатели жизни». Вскоре я понял, почему в его агентурном деле мелькало столько историй с женщинами.

Я спросил как-то Иванову, что она думает о Феликсе.

— Мне пока трудно сказать, — ответила она. — Могу лишь угадать главное из того, что он сам думает о себе. Феликс считает себя, в первую очередь, красивым и интересным мужчиной. Причем, вероятно, он прав.

При последних словах Тамара Николаевна даже немного смутилась.

Ее замечание было метким. Феликс не сомневался в том, что природа наградила его качествами необходимыми среднему «пожирателю сердец».

Шляпы он не носил ни в дождь, ни в снег и гордился шевелюрой темных, слегка вьющихся волос, на которых не отразились его сорок лет. В легком плаще с погонами, с цветным шарфом, завязанным клубком у горла, он был похож больше на француза или итальянца, чем на немца. Плотно сбитая фигура, казавшаяся высокой, с горбинкой нос, коричневые глаза и по-южному выразительный рот помогали ему одерживать легкие победы над северными женщинами. Но Феликс был

авантюристом не только в личной жизни. Присмотревшись к нему повнимательнее, я понял, что работал он в разведке, в общем, из-за нежелания, может быть и неспособности, заняться чем-нибудь, требующим усидчивости и усердия. В философии коммунизма и проблемах классовой борьбы он ничего не понимал и не утруждал себя их изучением. Обрывки фраз из коммунистических газет помогали ему, кое-как, поддерживать беседу при встречах с советскими разведчиками, но он всегда стремился поскорее перейти с разговоров о политике к проблемам более «земным». Москва была права: Феликс действительно был готов на все, что угодно по нашему приказу. Следовало, наверное, добавить: «только бы ему хорошо за это заплатили». Дело было не только в самом денежном вознаграждении. Феликс представлял себе работу с разведкой как приятное времяпрепровождение, с карманами полными денег и возможностью жить вне законов общества, не делаясь простым уголовником. Все эти стороны характера Феликса в его личном деле не были достаточно показаны. Я же не спешил информировать Москву об его истинном облике. Савинцев, правда, Феликса не взлюбил с первой встречи и утверждал, что боевой друг Франца всего лишь авантюрист с претензией на идеологию. Но горячие рекомендации Франца и история их похождений во время войны держали центр в своеобразном гипнозе. Феликса считали агентом высокого полета и больших возможностей. Такое сочетание правды и кривды меня устраивало.

— Значит, решили включить в свою сеть обоих дружков, Франца и Феликса? — спросил меня Мирковский, когда, вернувшись из Берлина, я встретился с ним в особняке в Турчаниновском переулке для отчета о поездке.

— Да. Франца, как способного и дисциплинированного агента, а Феликса в качестве принудительного ассортимента. Они настаивают на том, чтобы работать вместе.

Я сказал Мирковскому неправду. В действительности дело обстояло как раз наоборот. Феликс был менее опасным человеком для моих планов. Франц рассматри-

вался мною как принудительный ассортимент. Но рискнуть стоило, комбинация этих двух агентов в одну опорную группу придавала вес «резидентуре Петра».

— Ну, что же. Пусть работают вместе, — согласился Мирковский. Им ведь не в первый раз. А с Феликсом, не беспокойтесь. Франц его будет держать в ежовых рукавицах.

Этого я и сам побаивался. Однако встречи с Францем в Берлине внушили мне некоторую надежду. У него не было никакого почтения к руководству советской разведки, к кабинетным героям, как он их называл. Он был упрям и своенравен. Эти качества можно было обернуть в нужную сторону. Я планировал развить в нем стремление к независимости от указаний Москвы. Открывать ему глаза на правду было слишком рисковано в моем положении. Но я надеялся, что заставлю Франца слушаться только меня и сумею исключить возможность его прямой связи с центром.

Мирковский продолжал читать мой рапорт, делая не спеша отметки карандашом на полях.

— Так, что ж . . . — задумчиво сказал он. — Вместе с другими кандидатами в вашу сеть набирается четыре человека: Франц и Феликс во Франции, остальные в Западной Германии и Австрии. Для начала неплохо. А как устроитесь, еще подбросим. Кстати, почитайте-ка характеристику на «Маргариту». Это Раевская Валентина. Может быть, вы слышали о ней. Старший лейтенант. Она в войну, между прочим, радисткой работала. У меня в отряде . . . Боевая . . . Ездила недавно по нашему поручению в Турцию, с австрийским паспортом. Тоже в Вене через «Старика» получили. У нее диплом маникюристки. Хотим ее вам дать в помощницы. Жить и работать она будет совсем отдельно от вас, но в случае чего, всегда оперативный работник под рукой. Может быть, есть смысл ей взять с собой портативную радиостанцию? Мало ли какие международные осложнения могут быть . . . Подумайте . . . А что вам удалось сделать по устройству вашей семьи в Берлине?

— Не очень много. Деньги на работу ведь еще только на бумаге, но подготовка проведена: у нас есть уже два немецких удостоверения личности из полиции Дрездена на имя Иосифа Ляйтнера, журналиста, и его

жены Янины Ляйтнер. Мы достали также бланк свидетельства о рождении и заполнили данными на моего сына. Савинцев получил из берлинского городского управления разрешение нам троим на поселение в Берлине. Я дал объявление в газету, что ищу квартиру. От имени журналиста Ляйтнера, конечно. Писем пришло немного. Мы выбрали адрес на Зигмундштрассе, недалеко от вокзала Лихтенберг. Неплохая квартира на первом этаже. Некая вдова Вельц. Мы с ней в общем договорились. Пять тысяч марок за все, включая мебель. Нужно было дать задаток, а я не мог. Смета, ведь не утверждена. Может случиться, что пока мы раскачиваемся, она сдаст квартиру кому-нибудь другому.

— Ну, осталось немного. Вот встретимся на днях с вашей женой. Для формы, конечно. А то неудобно включать в резидентуру человека без официального знакомства. Потом отпечатаем план со всеми поправками, отшлифуем все, что надо и подадим министру. А там уж, сами знаете, как . . . Будем ждать. Торопить начальство трудно . . .

Во второй половине ноября Иванова, Гудимович и Мирковский приехали в наш полуподвал знакомиться с Яной. Она усадила их вокруг обеденного стола, но чаю не предложила. На душе у меня стало тревожно. Начало было неважным. Какие бы гости ни приходили, Яна, обычно, старалась накормить их или напоить чаем. То, что она не пошла сразу ставить чайник на газ, недвусмысленно говорило о Янином отношении к моим «коллегам». Но они такой детали не заметили. Меня удивили спокойствие и естественность, с которыми Яна держала себя. Только лицо ее было еще более бледным, чем обычно. Я знал, что это было вызвано не страхом, а отвращением к роли, которую ей приходилось играть.

Разговор завязался вокруг сына, о питании, сне, прогулках и прочих деталях жизни малыша. Его вела, в основном, Тамара Николаевна. Мирковский, время от времени, вставлял авторитетные замечания из собственного жизненного опыта. Потом он перешел к делу:

— Вашего мужа государство посылает за границу. На несколько лет. В одну из европейских стран. Хотели бы вы тоже поехать и взять с собой сына?

— В зависимости от цели поездки. Речь, вероятно, идет не о простой прогулке. А сына, конечно, я не оставлю в любом случае.

— Да, поедете вы, скажем прямо, не для прогулки. Но и страшного тоже ничего нет. Вы к его работе никакого отношения иметь не будете. Семья и только. Вопрос о том, что и ему и вам придется разыгрывать из себя людей другой национальности.

— И сыну, тоже, — вставил, как шутку Гудимович.

Иванова сдержано улыбнулась. Мирковский продолжал, поглядывая на Яну, по своему обычаю, немного искоса.

— Справитесь ли? Не забудьте — несколько лет подряд. И сына в чужой стране растить.

— Но ведь не навсегда же? — полувозразила, полупояснила Яна. — Я надеюсь, что в школу Алюшка сможет пойти уже дома, в России. А потом, что я могу поделать? Выбора у меня никакого нет. Говорят, что жена должна следовать за своим мужем.

Разговор не затянулся. Вкратце обсудили технические детали переезда Яны и Алюшки в Берлин. Договорились, что Иванова будет приезжать к Яне для работы над легендой и документами. Политических вопросов мои коллеги не затрагивали. Ни отношение Яны к партии, ни ее общественная и профсоюзная деятельность не обсуждались. Это было, конечно, большой удачей. Гудимович потребовал было, чтобы Яна написала автобиографию, но Мирковский заявил, что у нее и так дел хватает — бумаги пусть муж пишет.

Я проводил начальство до машины. Гудимович похлопал меня по плечу и прогудел: «Жена у тебя хорошая. Я — за». Мирковский ничего не сказал, но по его поджатой губе и хитрой улыбке видно было, что встречей он доволен. Тамара Николаевна шепнула мне на ходу: «По-моему, все в порядке».

Через несколько дней я подписался на последнем листе стопки бумаг, прошитых тонким шпагатом, с заглавием на первой странице: «Резидентура Петра». С левой стороны стояла подпись майора Ивановой, под ней полковника Мирковского. Я вывел на правой стороне: старший лейтенант Хохлов.

Судоплатов скрепил план своим разрешением и в начале декабря стопка бумаг вернулась ко мне с краткой надписью на углу первой страницы. Мягким синим карандашом было начеркано: «Согласен. С. Игнатьев».

«Резидентура Петра» была рождена пока на бумаге. Через сутки я вылетел в Берлин для превращения ее в реальность.

В эту поездку в Германию я почти не жил в Карлсхорсте. Нужно было «обживать» документы Иосифа Ляйтнера. Под этим именем я поселился в пансионе на Фридрихштрассе и потом переезжал из одной немецкой гостиницы в другую. Переговоры с госпожей Вельц о квартире шли успешно. Я поторговался с ней для приличия и дал, в конце концов, две тысячи марок задатка.

Я запланировал переселение моей семьи в Германию на начало января. Судоплатов подтвердил телеграммой ассигнование мне шести тысяч марок на квартиру и дал согласие на дату приезда Яны в Берлин.

Тем временем я работал над отправкой Франца и Феликса через Австрию во Францию. В том же Дрездене для них были получены немецкие паспорта на фиктивные фамилии. По плану, они должны были вылететь по этим документам на самолете чешской линии через Прагу в Вену. В Австрии обоим друзьям предстояло задержаться на несколько недель для знакомства с диалектом и бытом. Оттуда, через Швейцарию, они направлялись во Францию по австрийским паспортам. Австрийский паспорт Франца уже ждал его в Вене. По странному совпадению Окунь выбрал для него имя Иосифа Ляйтнера. Я взял это имя для своих дрезденских документов потому, что вспомнил фамилию хозяина адвокатской конторы в Вене, где служил оказавший мне когда-то услугу Фройденшусс. Возможно, что та же фамилия запомнилась Окуню по тем же злополучным обстоятельствам.

С документами Феликса тоже все обстояло хорошо. В декабре для него был получен в Вене через «Старика» австрийский паспорт и отправлен для переклейки фотографии в Москву. Незадолго до Нового Года я получил на свой почтовый ящик в Лихтенберге извещение, что и другие мои агенты благополучно устроились

на жительство в Западной Германии. Все было готово для разворачивания резидентуры. 4-го января я вылетел в Москву, за семьей.

Вход в кабинет Судоплатова был не из общего коридора, а из комнаты секретаря. Он был замаскирован под большой книжный шкаф, с ящиками и зелеными шторками за стеклом. Почему все двери, ведущие в кабинеты крупных начальников, были замаскированы под книжные шкафы, вряд ли знал точно сам комендант здания МГБ СССР. «Для конспирации», — возможно, ответил бы он. Но конспирировать было особенно нечего. Достаточно было посидеть несколько минут в приемной, чтобы увидеть, как сквозь книжный шкаф проходят сотрудники на доклад или как, по негромкому звонку, секретарь спешил через ту же дверцу шкафа в кабинет начальства. Когда дверцу распахивали пошире, за ней была видна вторая дверь, плотная и обитая черной звукоизоляцией.

31-го января 1953 года в кабинете, за этой двойной и «законспирированной» дверью, происходило ночное совещание.

За большим письменным столом, поставленным наискось дальнего угла комнаты, сидел генерал Судоплатов. К его столу был приставлен другой — длинный, образовывая комбинацию в виде буквы «Т». За ним расположились Мирковский, Коваленко, Иванова и Гудимович. Обсуждался разворот работы по резидентуре Петра. Я сидел в кресле, рядом с батареей телефонов на судоплатовском столе.

Генерал перелистывал рабочий план резидентуры.

— Да, похоже на то, что у вас действительно все готово. Вот, только некоторые комбинации кажутся чересчур сложными. Например, женитьба Хофбауера. Неужели нет более простой легенды для вашей семьи?

Иванова решила ответить за меня.

— Не выходит проще, Павел Анатольевич. Николай Евгеньевич решил жить в Швейцарии по паспорту Хофбауера, потому что паспорт настоящий и, потом, его уже знают в Европе под этим именем. Но Хофбауеру нельзя показываться в Австрии. С другой стороны, жене Николая Евгеньевича слишком рисковано проби-

раться с ребенком на руках самостоятельно на Запад, для встречи с ним.

— Перевезите ее в Австрию, после того как она освоится с немецким языком в Берлине. Пусть получит какие-нибудь временные документы и выедет в Швейцарию. Там они могут и пожениться.

Тамара Николаевна не сдавалась.

— Нет таких документов для иностранок в Австрии, Павел Анатольевич. Какой бы документ из стран народных демократий мы ей ни дали, она будет рассматриваться как беженка и очень долго не сможет выехать за границу. А так, ей никуда из Германии ехать не нужно. Со своими документами немки из области отошедшей к Польше, она сможет устроиться самостоятельно в Восточном Берлине...

— После того, как несколько месяцев поживет под фамилией Ляйтнер в Лихтенберге, — вставил я.

— Да, да. После того, как привыкнет к роли полунемки, полупольки, — продолжала Тамара Николаевна. — Потом она сможет поехать с сыном в какое-нибудь воскресенье на международную выставку к радиобашне, в Западный сектор. Одновременно, вполне возможно и легко осуществимо, чтобы коммерсант Хофбауер приехал на эту же выставку через Западную Германию. Они встретятся «случайно» у какого-нибудь павильона, познакомятся, влюбятся с первого взгляда и тут же, в Западном Берлине, могут пожениться.

Мирковский решил, что настала его очередь говорить.

— Главное, конечно, чтобы документы с польской территории для невесты были настоящими. Товарищ Иванов едет скоро в Варшаву. Он нам достанет образцы, а может быть, и бланки.

Судоплатов улыбнулся.

— Хорошо. Уговорили. Теперь по вопросу о вашем прикрытии в Швейцарии. Вам отпущено двадцать тысяч долларов. Деньги, несомненно, немаленькие. Здесь написано: «для покупки Петром небольшой гостиницы или пансиона для туристов». Но вы уверены, что в Швейцарии можно купить за такие деньги гостиницу или пансион? И потом, продают ли они сейчас недви-

жимое имущество иностранцам с австрийским паспортом?

— Мы наводили справки через легальную резидентуру Второго Управления в Швейцарии. Цена скромная, но достаточная для начала. А формальности можно обойти через агенства недвижимых имуществ, — ответил я.

— Не раскрывайте агентам вашей сети адреса этой гостиницы, — продолжал генерал. — И вообще, в Швейцарии работы по операциям не ведите. Эта страна ваш дом. Выезжайте почаще в другие страны. Тем более, что район ваших действий все расширяется. У нас появились сейчас интересные возможности по организации групп в Голландии. Не так ли, Николай Иванович?

Коваленко поднял голову. Очевидно он думал о чем-то другом. Но поймать смысл вопроса сумел.

— Да-да. В Амстердаме. В среде голландских журналистов.

— Ну, журналистом вашего знакомого вряд ли можно назвать, — заговорил Гудимович. — Издание полупорнографического журнальчика это еще не журнализм.

Генерал нахмурил немного брови и заговорил, подчеркнуто медленно:

— Возвращаясь к вопросу о вашей резидентуре ... Мы будем систематически добавлять вам людей в агентурную сеть. Как положение с группой Карла?

Вопрос был обращен к Гудимовичу.

Тот снял очки и, протирая их носовым платком, стал авторитетно докладывать:

— Хорошее положение, Павел Анатольевич. Карл к переезду в Западную Германию готов. Ждет нашего разрешения на старт. А напарник его, Курт, уже подыскал себе квартиру в Западном Берлине. У нас был с Куртом небольшой разговор перед моим отъездом сюда. Оказывается, он работал все время вслепую, не зная даже зачем его посылают на Запад. Ну, я поставил точки над «і».

Гудимович покосился краем глаза на Коваленко и добавил:

— Настроение у парня боевое. Поживет в западном секторе и перебросим его дальше.

Судоплатов перевел взгляд на меня.

— Вот, видите. Для особо острых операций, можете рассчитывать и на этот резерв. Ну, что же . . . У меня больше вопросов нет. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь добавить?

Генерал обвел взглядом участников совещания. Добавлений не было.

— Хорошо, — подвел итог Судоплатов. — Тогда, поезжайте. Сначала вы ведь в Берлин, не так ли?

— Да. Подготовлю семью к переезду, закончу коекакие дела . . .

— В том числе и партийные! — прервал меня Гудимович.

— В том числе и партийные, — покорно согласился я.

— Это очень важно, — погрозил мне пальцем генерал. — Вы едете на несколько лет. Устройте обязательно перед отъездом все, что нужно, для оформления вашей партийности. Рекомендации у вас уже есть?

— Есть, — как эхо отозвался я. — Вот они сидят мои рекомендатели.

Я показал по-очереди на Мирковского, Коваленко и Иванову.

Судоплатов опять улыбнулся.

— Поручители хорошие. И они вас хорошо знают и мы их знаем неплохо. Так, оформляйте ваши партийные дела. Тамара Николаевна займется получением пропуска для вашей семьи в Германию. Мы ведь можем послать их по распоряжению министра без ожидания формальностей. Не так ли, Евгений Иванович?

— Сделаем. Пограничники народ упрямый, но сделаем. Задержки не будет. Посадим в почтовый самолет и счастливого пути. Не в первый раз . . .

Я знал, что имеет в виду Евгений Иванович. Почтовым самолетом разведка перебрасывала в Германию и Австрию людей, у которых не было легальных документов для переезда границы. Я сам летал так уже несколько раз, по особому соглашению с авиационным командованием.

Судоплатов положил ладони на край стола.

— Тогда, действуйте. Перед отлетом мы с вами еще побеседуем на прощание. Малыша оденьте потеплее. Наверху сейчас очень холодно. Как ваша жена полеты переносит?

— Не знаю еще — сказал я. — Она никогда не летала.

Судоплатов ответил успокаивающим тоном:

— Думаю, что в самолете никого больше не будет. Она сможет лежать всю дорогу. Пусть попробует поспать. А малыши, как говорят, до года морской болезнью не болеют. Как Франц и Феликс? У них есть какие-нибудь семейные проблемы? Позаботьтесь, чтобы была организована бесперебойная передача денег их семьям. И, кроме того . . .

На столе у Судоплатова зазвонил телефон.

— Простите, — поднял он ладонь и снял трубку. — Слушаю. Берлин? Давайте, Берлин.

Он прикрыл трубку и сказал нам: «Берлин, по «В-Ч». Вероятно, Иванов или Мещеряков опять чего-нибудь не могут решить сами».

Гудимович крякнул. Коваленко порозовел.

Судоплатов вернул трубку к уху.

— Слушаю . . . Алло! . . Да, это я . . . Так . . . Кто? . . Когда? . . Кто сообщил? Вы уверены, что речь идет именно о Курте? Ах, вот как. Понимаю . . . И все эти данные совпадают . . . Так, так, понимаю . . . Ну, вот что, — держите его под наблюдением. Особняк смените. Описание наших людей он тоже дал? Так . . . Никита пусть сидит в городе. И номера у машин смените немедленно . . . Я позвоню вам попозже. Если попытается уйти — живым не выпускать . . .

Судоплатов почти бросил трубку на рычаг и опустил голову, барабаня пальцами по столу. Все молчали. Генерал взглянул на Гудимовича прищуренными глазами.

— Ваш протеже оказался предателем. Двадцать восьмого января, два дня тому назад, явился во французскую разведку в Западном Берлине и все рассказал. Включая, наверное, и те последние данные, которые вы ему так остроумно сообщили . . . Французы связались с американцами и завербовали его в двойники . . .

Коваленко выпустил воздух, зажатый в груди и промолвил:

— Но, может быть, это не Курт?

— Наш человек, в разведке противника, видел личное дело на нового агента. Все данные совпадают с Куртом. Даже описание Никиты, Коваленко, в общем всех вас . . . Прелестная история . . .

Генерал окинул замерший форум взглядом, как бы приглашая разделить его восхищение прелестной историей с Куртом. Потом повернулся ко мне.

— Вот, дорогой друг. Учитесь . . . Видите, как бывает . . . Учитесь.

Мирковский кашлянул и спросил негромко:

— Может быть не стоит сразу арестовывать? Поиграть в кошки-мышки? Затянуть их связных в наш сектор и взять? Можно даже и на их стороне. На встрече с ним . . .

Генерал пожал плечами.

— Теперь надо думать о том, что спасать, а не о выигрыше. Принесите личное дело Курта, товарищ Иванова. Нет, его пока не арестовали. Будем вести наблюдение. Еще на сегодняшней встрече с Куртом, мы ничего не знали. Агент, который сообщил о предательстве Курта, работает с одним из отделов инспекции. Его донесение пришло сегодня днем. Пока распутывали, кто такой «Курт» и кому принадлежит, прошло несколько часов. Да, оскандалились мы сильно . . .

Судоплатов снова обратился ко мне:

— Я очень рад, что вы оказались здесь. Вам полезно все это знать. Учитесь, дорогой друг . . . Видите, как можно обманываться в людях . . .

Иванова принесла папку с личным делом Курта.

Судоплатов начал ее быстро перелистывать.

— Биография . . . был в английском плену . . . интересно . . . может быть, его уже тогда завербовали, а не только сейчас . . . Характеристика . . . «Курт»: боевой, преданный нашему делу человек; с заданием справится и служебную тайну сумеет сохранить . . . прелестно сказано . . . и дальше: после нескольких личных встреч и тщательного изучения «Курта», мы уверены, что он оправдает оказанное ему доверие . . .

Генерал захлопнул папку, швырнул ее вдоль стола в направлении Николая Ивановича и бросил вдогонку, в виде горькой пародии: «С почтением Мещеряков и Коваленко . . .» Потом снова заговорил со мной.

— Да, видите, как бывает, дорогой друг . . . Это меняет наши планы. Трудно пока сказать, что именно этот Курт сообщил противнику. Опасно в такой момент вывозить вашу семью в Берлин. Представьте себе, что по рассказам Курта, разведка противника установит слежку за сотрудниками нашей группы. Через них могут набрести и на вашу семью, сфотографировать жену и малыша. И мы даже не будем этого знать. Собой рисковать мы можем, но включать вашу жену и сына в такой риск, я не хочу. Подготовьте здесь все до самого последнего шага, до отъезда вашей семьи. Потом летите в Берлин один. Давайте подождем, пока выяснится дело с Куртом. Когда мы его возьмем и заставим держать отчет, все станет ясно, что мы можем в дальнейшем делать и от чего придется отказаться. Очень надеюсь, что планам вашей резидентуры предательство Курта не помешает . . .

— Вот видишь! — обрадовалась Яна отсрочке. — Я тебе говорила, что обязательно что-то случится. И вообще, мы никуда не поедем. И ты, и Алюшка, и я. Все останемся дома. Что-нибудь нам помешает в последний момент.

Янины предчувствия не казались мне заслуживающими серьезного внимания. История с Куртом задержала выезд моей семьи, но вряд ли могла помешать созданию резидентуры: ни обо мне, ни о моих агентах Курт ничего не знал.

Чтобы не терять времени, я занялся партийными делами.

Испортив листов десять бумаги на черновики, я написал приемлемую форму заявления о вступлении в партию. Потом, на закрытом партийном собрании, в начале февраля, меня приняли в члены компартии Советского Союза.

На партийном собрании Окунь уже не выступал с критикой по моему адресу, как он это делал на партгруппе. Не потому, что переменил свое мнение, а пото-

му, что его в Москве не было. Он сидел на мелкой должности в райотделе МГБ города Барнаула. Окуня сняли с работы в центральном аппарате и сослали в захолустье в порядке общей кампании репрессий против евреев.

В начале 1953 года закоренелые антисемиты распространяли новый анекдот. Он начинался с вопроса: — «Почему Москва-река обмелела?» и следовал ответ: — «Потому, что все евреи в рот воды набрали».

Горькая же правда заключалась в том, что система чисток, репрессий и инспирированной сверху изоляции еврейского народа довела атмосферу государственного антисемитизма до критической точки. Казалось, что вот-вот начнутся погромы под доброжелательным наблюдением властей.

В царской России, когда народное возмущение несправедливостями достигало слишком высокого градуса, сверху, обычно, поступал секретный правительственный «сигнал» и через несколько часов на улицах было слышно: «бей жидов и студентов». В начале 1953 года дегенерация советской власти зашла так далеко, что перед лицом растущего сопротивления масс, правительство подумало о возрождении черносотенных методов царского режима. Опубликованное в «Правде» правительственное сообщение о раскрытом «заговоре» врачей-евреев поразительно напоминало «высочайшее разрешение бить жидов». Отдельные люди, особенно те, кто близко стоял к власти, поддерживали попытку партии отклонить наростающую волну народного протеста в сторону антисемитизма.

Как-то в кругу близких мне людей, обсуждалась семейная проблема. Девушка, студентка университета, собиралась выйти замуж за сына военного врача, еврея. Мать ее беспокоил вопрос молодости и жизненной неустроенности влюбленных. Но дядя невесты, прокурор республиканского масштаба, старый член партии, человек с высшим образованием и глава большой семьи, категорически запротестовал по другим причинам.

— Ты хочешь замуж за еврея? — цинично заявил он девушке в присутствии юноши, о котором шла речь. — Ты что? Тебе жизнь недорога? Не знаешь, что все жиды враги народа? Любой еврей, хоть и родился в

России, все равно в Израиль глядит. Всех их надо на одну веревочку собрать, да вздернуть. А ты — замуж!

Трагедия была не в этом мерзком заявлении. Прокурор говорил, наверное, не только то, что думал, но и то, что слышал на партбюро. Трагедия была в том, что девушка промолчала, а юноша, глядя в сторону, тихо ответил: «судя по тому, что происходит, вы правы . . .»

Но встречаться они продолжали, хотя и тайно. И если евреям действительно пришлось набрать в рот воды, то народное возмущение преступностью власти не находило своей разрядки в антисемитизме. Ненависть и русских, и евреев, и вообще большинства советских людей сосредоточилась на Сталине, как символе антинародной власти. Одновременно, очень многие понимали, что причина зла лежит глубже, чем личность Сталина. Поэтому вопрос выбора между служением власти или сопротивлением ей становился еще более острым.

В середине февраля я вылетел в Берлин, чтобы сделать этот выбор возможным для меня лично.

После истории с «Куртом» стало ясно, что берлинская карьера Коваленко кончилась. Он был смещен за «близорукость». Конечно, «близорукость Коваленко» была весьма относительной. Начальство в Москве так же как и Коваленко читало рапорты и характеристики о «Гансе», арестованном в Сааре и о «Курте», посетившем французскую разведку. Но, в данном случае, Коваленко оказался «стрелочником» и его перевели обратно в Москву, в центральный аппарат. Вполне возможно, что он после такой перемены вздохнул свободно. Теперь Коваленко, по примеру других смещенных начальников берлинской группы, мог писать руководящие письма в свою бывшую вотчину.

Вина Гудимовича была более явной. Он разрешил себе нарушить указания Судоплатова. Причем, не только в случае с «Куртом».

Когда осенью 1952 года Гудимович приехал в Берлин ревизором, он решил проявить творческую инициативу. Ему не нравился приказ генерала, запрещающий рассказывать агентам, перебрасываемым на Запад, о конечной цели их миссии.

— Пусть знают, на что идут! — гудел Гудимович. — А мы здесь увидим, задрожат они или не задрожат. Задрожат здесь, успеем не послать. А не струсят — работать будут! Так и время и деньги сэкономим.

Свой смелый эксперимент Гудимович начал с человека, посылаемого в Данию. Он откровенно рассказал ему программу действий, включая разнообразные варианты диверсий. Одну только «мелочь» Гудимович забыл упомянуть агенту: что при работе ему категорически запрещается иметь связи с компартиями.

Агент, не особенно сообразительный от природы, попав в Данию, рассудил просто: раз борьба идет против американских империалистов, так от кого же ждать помощи, как не от братских компартий. И он немедленно нанес братский визит в ЦК датской компартии. Там его встретили приветливо и обещали любую помощь. Извинились только, что не могут начать действовать, не запросив более конкретных инструкций от восточногерманской компартии. В Берлин пошло письмо. В нем описывались проекты Гудимовича, пересказанные словами агента и выражалось полное согласие их поддержать. Следовала скромная просьба прислать более конкретные данные. К счастью Судоплатова, письмо попало прямо в руки к Реберлену, в отдел кадров. Не задержи его Реберлен, письмо двинулось бы дальше, вероятно, в Москву и размеры нависавшего скандала трудно предвидеть.

Когда Савинцев рассказывал нам в гостиной объекта о злополучном письме, он пытался смеяться, но все мы понимали, что руководство советской компартии не оставило бы камня на камне от судоплатовской службы, дойди письмо до Кремля.

Тем временем Гудимович успел встретиться с «Куртом». Когда Реберлен толкнул «Курта» в объятия советской разведки, тот подумал, что работать ему придется по сбору военной информации об американских базах или по пропагандной линии. Гудимович открыл «Курту» истинный смысл его будущей поездки на Запад. Недели две «Курт» провел в тяжелом раздумье, а потом двинулся во французскую разведку.

После того как Судоплатову стало известно о переходе «Курта» на сторону противника, сотрудники берлинской группы Бюро номер один несколько недель подряд ходили на встречи с «Куртом» с пистолетами в карманах и взведенными курками. Место встреч охранялось заранее расставленными сотрудниками инспекции. «Курт» ничего не подозревал. Он имел, очевидно, задание от своих новых хозяев заманить советских офицеров в западный сектор. Того же добивались судоплатовцы, только объектом их стремлений были западные разведчики. Игра продолжалась безрезультатно несколько дней. Потом Москва решила, что достаточно. С одной из встреч «Курта» привезли в карлсхорстовский особняк. Как только он вошел в гостиную, «Никита», начальник боевой группы, в которую входил «Курт», скомандовал: «Руки вверх, лицом к стене!»

Потом его допрашивали несколько дней и ночей подряд. Он рассказал все, в том числе и свою реакцию на разговор с Гудимовичем. «Курт» и его семья исчезли вскоре в неизвестном направлении.

Неутомимый Гудимович успел, между тем, рассказать одному из советских разведчиков, которого прислали в Берлин на практику в немецком языке, что его ждет не что иное, как карьера диверсанта и, возможно, убийцы. Юноша, русский, недавно из университета, выслушал внимательно словоохотливого начальника и, ничего не сказав, побрел домой. Жил он в Карлсхорсте, на квартире когда-то принадлежавшей Коваленко. Новоиспеченный «диверсант» запер входную дверь, прицепил к люстре свои подтяжки и повесился. Крюк, на котором висела люстра, не выдержал. Самоубийца свалился с таким шумом, что соседи позвонили в комендатуру. Дверь выломали и нашли на полу молодого человека без сознания, с подтяжками на шее. Савинцев и «Никита» сидели с ним потом всю ночь во избежание рецидива, а утром отправили на самолете в Москву.

— Самое забавное вот что: — рассказывал мне Ревенко, — когда парень прилетел в Москву, то Иванова и Гудимович еще уговаривали его забыть все происшедшее, съездить в дом отдыха для поправки нервов и вернуться на работу в разведку.

Берлинские нововведения Гудимовича кончились тем, что его понизили в должности и посадили в Москве на канцелярскую работу. «Шанс» поставленный Ивановой на его карту — не оправдался.

Тем временем, из допросов «Курта» выяснилось, что планам моей резидентуры он не повредил. Судоплатов дал разрешение на выезд моей семьи в Берлин.

Дорабатывались последние штрихи. Францу и Феликсу были заказаны билеты в Вену на десятое марта. В ту же первую неделю марта должна была прилететь в Берлин моя семья. Судоплатов не советовал мне лететь за ними в Москву. Новый начальник берлинского филиала судоплатовской службы Олег Иванов набирал себе людей из Москвы. Он обещал, что прилетающие сотрудники доставят мне семью в целости и сохранности. Я позвонил Яне в Москву.

— Видишь, Яна, — попробовал пошутить я. — Ничего не случилось. Вы приезжаете сюда в ближайшие дни.

Но все же Яна оказалась права. «Что-то» — случилось.

5 марта умер Сталин. Новый хозяин советской разведки, Берия, занялся ее реорганизацией. Большинство легальных резидентов было отозвано в Москву. О создании новых резидентур, временно, не могло быть и речи.

Когда я, 8 марта, позвонил Яне еще раз и сказал, что завтра буду дома, ликование в ее голосе означало большее, чем радостное ожидание встречи.

И ей, и мне, всем нам, миллионам русских людей показалось в те дни, что смерть Сталина может вызвать перемены в советской системе.

Для меня эти перемены могли открыть возможность ухода из разведки.

Для других — возможность жить так, как диктует собственная совесть.

Вся страна затаила дыхание и ждала. Ждала, что конфликт народа с властью будет разрешен мирным путем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пригородная платформа Белорусского вокзала заполнилась пассажирами с прибывшего из Голицына поезда. Я протиснулся вместе со всеми к выходу на площадь и свернул к станции метро. Был жаркий июльский полдень и кусочки слюды в каменной облицовке вокзала сверкали нестерпимым для глаз блеском. В вестибюле метро было прохладно. После ослепительного солнца, молочные шары ламп казались тусклыми. Я порылся в карманах и нашел пятнадцать копеек. Очередь к телефону-автомату была небольшая. Через несколько минут я уже набирал номер К 6 32 15. Ответил Иван Иванович Карасев.

— Да, вы нужны сегодня, — ответил он своим обычным, как бы запуганным голосом. — Парторг ЦК хочет с вами встретиться.

При парторганизациях крупных учреждений имелись своеобразные связные с высшим партийным руководством. Эти люди навещали собрания, принимали участие в заседаниях бюро и даже встречались иногда с отдельными членами организации. Они назывались парторгами ЦК и давали разъяснения по наиболее запутанным вопросам партийной стратегии. Они же, повидимому, посылали верхам конфиденциальные рапорты о закулисных сторонах жизни и работы парторганизации. Зачем я понадобился парторгу ЦК, Карасев не сказал.

Вагоны метро в это время дня были полупустыми. После станции Маяковская, блеснувшей арками из нержавеющей стали, мой сосед развернул газету.

Первая страница «Правды» повернулась в мою сторону. Передовая была опять посвящена аресту Берии и его сподручных. Рядом, в коротких корреспонденциях с заводов, фабрик и учреждений, воинственным тоном рассказывалось об единодушном требовании советского народа предать заслуженной каре бериевскую банду. Берия, сам в роли разоблаченного врага народа! Вдохновитель допросов с пытками, в результате которых обвиняемые сознавались в любых преступлениях, брошен теперь на дыбу своими бывшими друзьями и сообщниками.

Пересев у площади Свердлова на линию Парка Культуры, я доехал до конечной станции.

Парторг ЦК уже ждал меня в одной из верхних комнат особняка. Я встретился с ним в первый раз. Парторг был одет в элегантный серый костюм из заграничной чесучи, но его грубоватый голос, примитивный подбор слов и манера громко разговаривать короткими фразами не оставляли ни малейшего сомнения в том, что он профессиональный партиец. Мне вспомнились слова Судоплатова о психологии некрасивых и обиженных судьбой. Сколько их, людей, которые в иной обстановке были бы ничтожеством, получив власть именем партии, составляют ее опору и гвардию . . .

Парторг ЦК открыл свой портфель.

— Вот, товарищ Хохлов. Партия поручила мне ознакомить вас с этим документом. Почитайте его внимательно. Решение исторической важности. Мы читаем его на партактиве. Узкому кругу, между прочим. Но, поскольку вы на особом положении . . . В общем, в порядке личного инструктажа . . .

Я взял из его рук небольшую брошюру, переплетенную в красную, плотную бумагу.

В углу обложки косым шрифтом было напечатано: «Совершенно секретно». Потом, заголовок: «Постановление Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза от 10 июля 1953 года».

Постановление было посвящено раскрытию дела Берии и его сообщников.

Начиналось оно с обычного «за здравие» советской системе и ее достижениям в последние несколько лет. Я пробежал глазами перечисление успехов. Через полторы страницы поток самовосхваления заканчивался обычным «НО», в качестве перехода к мелодии «за упокой».

«...Создалось ненормальное, противоестественное положение, — каялось ЦК, — при котором управление государством сосредоточилось в руках одного человека, И. В. Сталина. При этом важнейшие решения принимались через голову Центрального Комитета, уничтожая, таким образом, самый смысл существования этого верховного органа партии...»

В тексте попадались отдельные фразы, которые я уже видел в передовицах «Правды» в последние дни. Однако газетные статьи атаковали одного Берию. В решении же Центрального Комитета говорилось, фактически, что дело Берии было прямым следствием ошибок Сталина, ослепленного культом своей личности. Оказывается, Берия «втерся в доверие И. В. Сталина, чтобы получить контроль над органами госбезопасности». Так, вдвоем, они и правили страной, игнорируя безмолвный протест большинства Центрального Комитета Партии. Почему дальше безмолвного и внутреннего протеста дело не пошло, брошюра не объясняла.

«...после смерти Сталина, во время реорганизации правительства, Л. П. Берия бесцеремонно потребовал себе пост министра внутренних дел...» Бесцеремонное требование было, однако, удовлетворено и брошюра описывала деятельность Берии на захваченном посту.

«...Берия использовал свое положение для организации слежки за руководителями партии и правительства...»

По утверждению брошюры, Берия подготавливал материал, компрометирующий партию. Он требовал от сотрудников МВД сбора фактов, рисующих деятельность партийного аппарата с отрицательной стороны. Этот материал Берия предполагал использовать для оправдания перед народом будущего государственного переворота. Надеясь захватить власть в свои руки, Берия, по сообщению брошюры, собирался затем уничтожить колхозную систему, провести реформы, толкающие

страну обратно к капитализму и, под предлогом установления независимости наций, посеять рознь между народами Советского Союза.

Далее брошюра рассказывала, что враг народа и социализма докатился до открытого призыва, на одном из последних заседаний ЦК, к возрождению буржуазного строя в Восточной Германии. Одновременно, он пытался установить связь с Тито, для координации действий.

Упомянув, что Берия работал с английской разведкой, еще со времени своей связи с Муссаватом, брошюра переходила к решению Центрального Комитета арестовать Берию и предать его суду.

На оставшихся страницах шли путанные рассуждения о том, что должна делать партия, чтобы никогда больше не повторились ошибки, подобные единовластию Сталина и отсутствию бдительности в деле Берии.

— Вопросы есть? — спросил парторг, когда я вернул ему «документ исторической важности».

О чем я мог его спросить? Не кажется ли ему странным заявление ЦК, что в течение тридцати лет они ничего не могли сделать против диктатуры Сталина? Что якобы всего лишь два человека — Сталин и Берия отвечают за потоки крови и слез, пролитые совместными усилиями Центрального Комитета и его подручных?

Вопросов у меня не было. Парторг ушел.

Я вынул из сейфа бумаги, которые не успел перевести на русский язык на прошлой неделе. Рапорты берлинской агентуры об июньском восстании в Германии. ЦК КПСС образовало комиссию для расследования обстоятельств восстания. Все службы разведки собирали материал для комиссии, в том числе и судоплатовская. Я работал над рапортами Реберлена и нескольких агентов помельче.

Однако после чтения брошюры Центрального Комитета, слишком много разных мыслей занимало меня и работать было трудно. Не история Берии произвела на меня впечатление. Обвинения были стандартными и знакомыми по последним газетам. То, что острие брошюры было направлено против Сталина, показалось мне знаменательным.

События войны, опыт послевоенных лет, встреча старшего и нового поколений в трезвой переоценке прошлого привели к тому, что преступность советской системы поняли почти все русские люди. Мифы так же свойственны и необходимы тоталитарным государствам, как секретная полиция и пропагандная ложь. Но эти мифы живут не только в народе, а и в правящих кругах. Под влиянием сильного страха перед пробуждением собственного народа, руководители Советского Союза поверили в миф, что стоит только Сталину умереть, как русский народ не замедлит скинуть с себя оцепенение. Это был миф. Русский народ столько времени был опутан цепями, что когда рука, стягивавшая эти цепи, упала, гигант не решался размять онемевшие члены. У народа еще не было веры в собственные силы.

Однако Центральный Комитет старался предвосхитить возможные действия миллионов порабощенных. Стратегия послесталинского правительства заключалась, очевидно, в попытке снять клеймо антинародности с советской системы.

В кулуарах Кремля, может быть, и шла борьба за наследство диктатора, но на фронте, обращенном к стране, все члены ЦК избрали одинаковую тактику — заискивания перед народом.

Маленков вышел на авансцену с программой подъема жизненного уровня. Другие члены ЦК заговорили о свободе творчества. Даже Берия, профессиональный палач, решил добиться популярности. Став полновластным хозяином МВД, он, в первую очередь, отказался от государственного антисемитизма. Эйтингон был выпущен на свободу и снова занял место заместителя Судоплатова. Вернулся домой и Маклярский. Другие евреи, некоторые с именами известными всему Советскому Союзу, были освобождены и восстановлены в правах. Берия на этом не остановился. Он решил отмежеваться от прошлых преступлений карательных органов и создать видимость либерализации МВД. МГБ было слито с МВД и исчезло с горизонта. Серии правительственных сообщений «разоблачали» преступления бывшего руководства МГБ-МВД и делали почти клятвенные заверения, что ничего такого больше не случится никогда. Началась чистка «органов госбезопасности», внешне

выглядевшая очень жесткой. Сотни бывших сотрудников забродили по учреждениям в поисках работы, и, с санкции правительства, встречали презрительное отношение отдела кадров. Лишь сами кадровые сотрудники МВД знали, что увольняется только людской балласт. Под маской либерализации Берия выковывал гибкое и острое оружие для контроля над страной. Судя по брошюре Центрального Комитета, даже в своей политической программе, подготовленной для переворота, Берия не столько стремился сохранить доктрину советской системы, сколько заручиться поддержкой народных масс.

Мнение народа и его отношение к власти стали главным фактором политической обстановки. Но какими бы методами ни старались сталинские наследники заработать себе популярность, все они с одинаковым ужасом думали о призраке народной Революции. Они, видимо, знали, что этот призрак нельзя развеять ни обещаниями масла и ширпотреба, ни переодеванием МВД в овечью шкуру.

Одновременно перестраивалась советская разведка. В новой структуре служб уделялось еще большее внимание борьбе с заграничными антисоветскими организациями. Для развертывания диверсионных и террористических операций против врагов советского государства, бывшее Бюро номер один было укрупнено, подчинено непосредственно Берии и переименовано в Девятый отдел МВД СССР.

В мае коллектив Девятого отдела стал готовиться к работе по новым методам. Судоплатов и Эйтингон писали проекты и планы, по суткам не выходя из рабочих кабинетов. Большинство сотрудников было отозвано из-за границы в Москву. Мы собирались в комнатах особняка в Турчаниновском, занимаясь подшивкой архивных дел и составлением описи служебных бумаг. В неофициальной беседе с одним из офицеров, я узнал, что Девятый отдел получил от Берии два конкретных задания. Обе «операции» заключались в похищении с территории западных стран руководителей какой-то эмигрантской организации. Офицер знал лишь отрывочные данные.

— К объекту в Западном Берлине есть хороший подход через агентов-немцев. К другому человеку, в

Западной Германии, будет труднее подобраться. Но задания выглядят осуществимыми и наши генералы планируют во всю . . .

В июне грянуло Берлинское восстание, а вслед за ним закатилась звезда Берии.

Если бы причины устранения Берии заключались только в нем самом, вряд ли вся история получила бы такую широкую публикацию. Берия мог просто и скромно умереть от паралича сердца в правительственной больнице и занять свое почетное место у Кремлевской стены. Сваливая шумно и открыто одного из столпов советской системы, человека бывшего в течение многих лет символом террора и принуждения, Центральный Комитет хотел добиться бóльшего, чем только устранения опасного претендента на сталинский престол.

Главной целью этого фарса была попытка убедить советский народ, что новое правительство решило покончить со сталинскими методами правления. Пируэт Центрального Комитета мог быть вызван реакцией народа на события 17 июня в Германии.

Не успели немецкие рабочие объявить стачку и выйти на улицы Берлина с требованием отмены стахановских норм, как пламя антикоммунистического восстания разлилось по всей Восточной Германии. Восстание было народным и справедливым. Опасения советского правительства оправдались. Оккупационная армия, находившаяся в Восточной Германии, поняла, что происходит, и сделала свои выводы. Десятки советских танков, посланных в Берлин, не стали стрелять в восставших рабочих. Среди немецких коммунистов началась паника. Они забились по углам и потеряли управление страной. Некоторые из них даже стали бить себя кулаками в грудь и публично каяться во всех смертных грехах коммунизма.

У многих советских солдат мелькнула тогда мысль: «Вот и у нас в стране может случиться так же . . . Когда-нибудь . . . »

Немецкое восстание было стихийным. Власть упала на землю, но поднять ее было некому. Не нашлось революционного штаба и плана действий для того, чтобы закрепить успехи восстания. Волнения в Германии

затухли так же неожиданно, как начались. Но, когда отрывочные, искаженные и поэтому еще более сенсационные сведения о них докатились до Советского Союза, русский народ был потрясен.

По силе этого шока можно было судить, как много советских людей поверило было, что с уходом Сталина уйдет и насилие, свойственное советской системе, что, не разрушая основ советского государства, новое правительство разрешит народу жить по-человечески так, как диктует ему собственная совесть. Берлинское восстание ударило по этим надеждам.

В июне я сдавал экзамены за третий курс. Столкнувшись в коридоре университета с Борисом, я не узнал его и поспешил дальше. Он остановил меня:

— Ты, куда, Николай? Не узнал? Совсем зазубрился? Погоди. Я тебе кое-что должен сказать. Знаешь, последние дни я хожу, как чумной. Спать не могу и вообще на душе мерзко. Помнишь, ты прошлой осенью нам рассказывал про Восточную Германию. Как там плохо, карточки, нищета, страх и все прочее . . . Честно говоря, я тебе тогда не верил. Заливает, думал, парень, в пылу спора. А сейчас, после сообщений о Берлине, меня одна мысль точит — ведь там рабочие восстали, понимаешь, рабочие. Значит, все правда, что ты говорил. Кто же мы тогда, если против рабочих идем?

Рабочая власть, посылающая танки против рабочих . . . Проблема антинародности советской системы снова возникла во всей своей остроте и тяжести перед миллионами русских людей. Новое правительство показало, что оно так же как и Сталин, не может считаться в своей политике с элементарными правами человека.

В этот момент, когда возникшие было надежды стали гаснуть, и была, верятно, решена в высших партийных кругах инсценировка с «разоблачением» Берии.

По рассказам знакомых офицеров из 7 управления МВД, новоявленный враг народа был арестован в здании МВД на улице Дзержинского. Генерала Никольского, начальника 7 управления, занимающегося контрразведкой, вызвали в ЦК и, видимо, убедили, что арест министра внутренних дел, неминуем.

Когда Берию спустили на лифте в тот самый подвал, куда он сумел отправить за свою жизнь тысячи

русских людей, специальная кавалькада из автомашин помчалась по Можайскому шоссе в Рублево, арестовывать семью неудачливого претендента на сталинский престол.

В Рублеве Берия занимал целое именье, огороженное несколькими кольцами оград с наблюдательными вышками и пулеметными гнездами. Генерал Никольский предусмотрительно захватил с собой из Москвы полковника, начальника личной охраны Берия. Полковника показали через окошко будки дежурному офицеру, ворота открылись и охрана была немедленно обезоружена.

Имение было богатым и до революции. Берия расширил его и усовершенствовал. Он приказал устроить питомник цитрусов, молочную ферму и конный завод. В замке с общей «жилплощадью» в 900 квадратных метров была частная резиденция верного ученика великого Сталина.

Жене Берия, его сыну Семену, инженеру-химику и жене Семена, Маше Пешковой, внучке Максима Горького, пришлось раздлить общую участь родственников «врагов народа». Они были арестованы и исчезли в неизвестность.

Через несколько дней началась правительственная кампания по делу Берия. Все преступления следственных и карательных органов валились оптом на личный счет предателя и иностранного шпиона. Впервые за существование советской власти было разрешено официально совмещать слова «органы безопасности» и «банда преступников». Правительство играло ва-банк.

И на тот случай, если народу покажется неубедительным разгром карательного аппарата, как гарантия чистых риз советской власти, в пропагандной лаборатории Центрального Комитета уже готовился следующий шаг — удар по самому Сталину, по святая-святых советского государства. Все это можно было понять, прочитав секретную брошюру Центрального Комитета КПСС под сухим заглавием «Решение от 10 июля 1953 года».

Я запер рапорты агентуры в сейф, сдал ключ дежурному и пошел к троллейбусной остановке. 15-ый троллейбус довез меня до Арбатской площади. Мне

нужно было взять из дома записи лекций по исторической грамматике, купить продуктов и белого хлеба, чтобы захватить все с собой на дачу.

Летом 1953 года продовольствие было проблемой даже в Москве. Когда слухи о речах Маленкова с обещанием улучшить жизненный уровень докатились до деревень, многие крестьяне поверили, что колхозы будут отменены. Поставки мяса и птицы немедленно сократились. Колхозники, в надежде, что появится возможность обосновать собственное хозяйство, решили поберечь живность. Полки мясных и гастрономических магазинов опустели. Встревожившееся население городов в два счета расхватало завезенные на базы запасы колбас и копченостей. Осторожные руководители торговой сети перевели магазины на скудный рацион. Даже консервы стали появляться по одной марке в день и в ограниченных количествах.

Побродив по магазинам и постояв в очередях, я наполнил свою «авоську» нехитрым набором продуктов, но в количестве достаточном нам четверым на несколько дней. Алюшку можно было уже прикармливать. Я разыскал ему яблочного и овощного пюре.

В пустующем полуподвале воздух был душным от постоянно закрытых окон. Я открыл рамы настежь. Начинало темнеть. К скамейке на другой стороне двора собралась молодежь. В том доме жили две сестры, работавшие швеями на соседней фабрике «Москвошвей». В хорошую погоду на скамейку перед их окнами приходили в гости друзья. Приносили гитару или гармонь, чтобы спеть вполголоса любимую песню или потанцовать на случайно уцелевшем от установки теплоцентрали куске асфальтового покрытия.

В их репертуаре были и «Очи черные». Первый куплет, обычно, не пели, но зато повторяли по несколько раз остальные. Забавно было слушать, как девушки и ребята, никогда, наверное, не видавшие и не слыхавшие ресторанного цыганского хора, знакомые, вероятно, больше с вином или водкой, чем с шампанским, выводили старательно и трогательно: «По обычаю древнерусскому . . . не могу друзья, без шампанского и без пения, без цыганского . . .»

В тот вечер один из куплетов любимой песни развлекающейся молодежи прозвучал неожиданно современно:

«Арестуй меня, потом я тебя,
Потом ты меня, потом я тебя,
Потом снова ты, потом снова я,
Потом оба мы арестуемся...»

Дружный смех показал, что импровизация была понята и одобрена. Другой голос завел частушку:

«Как товарищ Берия потерял доверие,
А товарищ Маленков надавал ему пинков...»

Нужно было слышать интонации исполнителей, чтобы понять, как мало уважения осталось у этой молодежи к властителям советского государства.

Смех убивает страх. Этого не учел Центральный Комитет КПСС.

Инсценировка с Берией была воспринята народом как комедия.

Партия неосторожно обнажила свой страх перед народом. Народ сделал соответствующие выводы. Его вера в собственные силы возросла.

В стремлении предупредить взрыв, партия подготавливала новый, по ее мнению более эффективный, обман — анафему Сталину.

Послушав, как смеется рабочая молодежь с соседней фабрики, я подумал, что снова обмануть народ вряд ли удастся.

«Дача», в которой мы жили летом 1953 года, представляла из себя деревянную лачугу, принадлежавшую нашей родственнице в поселке Горловка. Мы решили поселиться в этой лачуге потому, что она стояла прямо в лесу. Участок, принадлежавший нашей родственнице, был расположен на отлете от поселка, в низине, у самой речки и, в отличие от других московских дачников, мы могли наслаждаться природой в относительном одиночестве. В лачуге, сколоченной из досок, обклеенных белой бумагой, было две «комнаты», печка из едва просохшей глины и кое-какая мебель. Мы наняли грузовик и, как только установилась теплая погода, перевезли

матрацы, столы и стулья в нашу «башню из слоновой кости». Так мы окрестили лачугу потому, что надеялись уединиться в ней, подальше от газет, правительственных сообщений, слухов, толков и всех взбудораженных настроений послесталинского времени.

Прилетев в Москву 9 марта из Берлина, я в первое время пытался воспользоваться начавшейся реорганизацией разведки и получить себе свободу. В начале апреля, когда первая волна чистки прокатилась по «органам госбезопасности», я подал заявление Судоплатову. «...В условиях происходящего сокращения штатов, — писал я, — прошу Вас учесть, что у меня нет желания продолжать работу в разведке и вообще в службе госбезопасности... мне необходимо закончить учебу в университете, после чего я намерен заняться работой по филологии и поступить в аспирантуру...»

Дня через два меня вызвал Мирковский. Мы встретились в кабинете особняка в Турчаниновском переулке. Он хмуро поздоровался со мной и пошел к сейфу.

— Вот здесь материалы, которые нужно срочно перевести и обработать, — Мирковский бросил несколько картонных папок на письменный стол. — Потом, когда разберетесь, напишите мне справку, что вы думаете об этом человеке...

Я раскрыл дело с заглавием «Филипп» на первой странице.

— Печатка есть у вас? — спросил Мирковский. — Нет? Мою я не могу вам оставить. Нате, запечатайте сейф этим. Дом все равно охраняется.

Он протянул мне какую-то восточную монетку и собрался уходить.

— Евгений Иванович, — поторопился я остановить Мирковского.

— А как же с моим рапортом об уходе? Павел Анатольевич вам ничего не говорил?

Евгений Иванович остановился, полуобернулся и, задержав прищуренные глаза на носках моих ботинок, медленно поднял взгляд к моему лицу. Как всегда, когда он был злым, Мирковский тянул слова.

— Говори-ил. Немного, но крепко. Не знаю, стоит ли вам передавать. Генерал ведь редко ругается. Для него это не типично.

— Ну, если крепко ругался, то передавать, пожалуй, не стоит. Но это не ответ. Я подал официальный рапорт...

В глазах Мирковского вспыхнули огоньки. Я понимал, что он с трудом сдерживает себя, но ничего не мог поделать. Подав рапорт, я должен был добиваться ответа на него. Мирковский пошел обратно к письменному столу и оперся руками на его край.

— Значит, удрать задумали? — заговорил он с необычной для него резкостью. — Вроде крыс с тонущего корабля. Так, получается?

Все это было столь непохоже на Евгения Ивановича, что мне стало смешно. Я заговорил, как можно более невинным голосом.

— Почему, как крысы, Евгений Иванович? Разве какой-нибудь корабль тонет?

Молчание длилось несколько секунд. Взгляд Мирковского сдвинулся куда-то в пространство, за мою спину. Потом он повернулся к двери и бросил короткое: «А — ну, вас!..» Я успел услышать, что в голосе уже не было злости. Мирковский обладал чувством юмора. У двери он остановился и сказал совсем спокойно.

— В общем, положение такое: увольняют тех, кто не нужен. Нас с вами уволят последними. Если до этого дело дойдет. Но по всем законам логики, едва ли. А для учебы вам дается два месяца отпуска. Сначала закончите работу по «Филиппу», а потом можете заняться экзаменами. И больше не дурите. Не до ваших штучек сейчас.

И он ушел.

Нервность Мирковского была мне понятна. Шла ревизия дел бывшего Бюро номер один и составлялись списки штатов на случай реорганизации. Ходили слухи, что Мирковского в список штатов пока не включили. Берия намеревался послать Евгения Ивановича советником СССР при Албанском правительстве. Другими словами, консультантом по разведке. Мирковскому такая перспектива почему-то не особенно нравилась, но он хоть знал, что его не сократят. У других сотрудников такой уверенности не было. Их мнение хорошо высказал накануне, в курительной комнате особняка, Годлевский:

— Начальство уверяет, что сократят только лишних. В этом и вопрос, кто окажется лишним. А ты тем временем сиди и переживай. Получается вроде детской считалки: заяц белый, куда бегал . . . Потом ткнут в тебя пальцем и иди на все четыре стороны . . .

Годлевский, ради красного словца, преувеличивал свои страхи. У него был богатый опыт инструктора стрелкового спорта и имя известное всему Советскому Союзу. Но другие кадровые офицеры МГБ имели основания нервничать. Многие из них не имели никакой другой специальности кроме одного-двух десятков лет службы в «органах». Попав под сокращение, им пришлось бы не только ломать голову над проблемой, на что и как жить, но и встретиться с общественным бойкотом, получившим в 1953 году официальную санкцию правительства. Анекдоты, похожие на юмор висельника, ходили в те дни среди сотрудников. Чистка, как обычно, началась сверху и первыми потеряли свои посты заместители бывших министров госбезопасности и внутренних дел. Шутка рассказывала о вымышленном визите уволенного замминистра в отдел кадров гражданского министерства. — «Здравствуйте, товарищи. Меня сократили. Может подыщете какую-нибудь работу?» — «А какая ваша специальность?» — «Замминистра.» — «Замминистра? Это хорошо, нам замминистры нужны». — Свежесокращенный испуганно потряс головой. — «Нет, нет . . . Мне бы какую-нибудь постоянную работу . . . »

На наших офицерских удостоверениях вскоре после первой волны сокращений был поставлен крохотный четырехугольный штамп с тремя буквами «ДЕС». Этот штамп должен был отличать оставленных сотрудников от сокращенных и был, наверное, выбран начальником хозяйственного управления наугад. Через несколько дней, штампик уже «окрестили», расшифровав: «Должны Еще Сокращать . . .»

Конечно, среди общей массы сотрудников были многие с настроениями похожими на мое и ждущие ухода, как избавления. Но внешне, большинство офицеров ходило с потерянным видом, почти ничего не делало из служебных дел и, скопляясь в столовой, буфе-

те или коридорах, обменивалось грустными шутками, напоминавшими разговор о веревке в доме повешенного.

Я же лично спешил разделаться с работой по делу «Филиппа», чтобы получить отпуск.

Дело «Филиппа» было, собственно, не столько делом, сколько десятками листков фотокопий следственных материалов. Они были, вероятно, получены через советскую агентуру в Центральном полицейском управлении Австрии.

Речь шла о некоем Руперте Зигле, усердно и безрезультатно разыскивавшемся австрийской уголовной полицией.

12 декабря 1952 года почтмейстерша одного из городов вблизи Вены, закончив работу, направилась домой. За городом, на пустынном участке шоссе, ее остановили два незнакомца в черных масках. В руках у одного был револьвер старинного образца. Грабители потребовали ключ от почтового отделения и, когда женщина стала сопротивляться, попытались сделать ей укол усыпляющего средства. Почтмейстерша начала кричать. Тогда незнакомец с револьвером стал бить ее рукояткой по голове. Женщина потеряла сознание. Не взяв у нее ничего, даже и связки ключей, грабители вскочили на велосипеды и помчались прочь. Очнувшись от холода почтмейстерша сумела доползти до ближайшего дома. Вскоре приехала полицейская машина. В то время, когда жандармы осматривали место происшествия, на них почти налетел велосипедист. Его задержали. Руки велосипедиста были исцарапаны в кровь и объяснить толком, что ему нужно в этом районе, он не сумел. Доставленный в отделение полиции, велосипедист сознался, что был одним из нападавших и после неудачного налета заблудился в незнакомой местности. Выяснилось, что налетчик был не кто иной, как доктор Хахер, психиатр, располагавший обширной клиентурой в соседнем городе. Ночью полиция приехала на квартиру второго налетчика, Руперта Зигля, совладельца столярной мастерской в том же городе. Зигля дома не оказалось. Была арестована его жена.

Началось следствие. Показания доктора были запутанными и на первый взгляд бессмысленными. Австрийские газеты с отчетами о неудачном налете вышли

под заголовками: «Психиатр спятил?!». Налет выглядел, как попытка грабежа. Но в почтовом отделении городка крупных сумм денег не скапливалось. В последнюю неделю касса была вообще пуста. Доктор Хахер пытался связать свое внезапное помешательство с заданием иностранной разведки выкрасть с почты шифрованное письмо. Он якобы должен был выполнять приказ под угрозой смерти. При этом Хахер утверждал, что Зигль завербовал его для этой «операции». Но Зигль бесследно исчез. Австрийская полиция связалась с полицией соседних стран. Таинственный владелец мастерской, как в воду канул. В течение нескольких месяцев эта история интриговала всю Австрию. Потом состоялся суд. Прокурор объявил абсурдом попытку Хахера спрятаться за фантастические истории о шпионаже. Приговор классифицировал все дело, как обычный грабеж и участники были присуждены к разным срокам тюрьмы. Как обычно, западное общественное мнение отказалось верить «сказкам» о кознях советской разведки. Через несколько недель Австрия забыла о Руперте Зигле и о странном поведении психиатра.

Тем временем, через советскую агентуру в государственном аппарате Австрии, со всех материалов по делу Хахера-Зигля были сняты фотокопии и отправлены в Москву. Руководство советской разведки хотело знать две вещи: какова была роль Зигля в налете, и поняли ли австрийские власти, что Зигль — советский агент.

Эти материалы и приказал мне Мирковский переводить на русский язык. Вскоре, собрав, как кусочки мозаики, отрывочные сведения, разбросанные в следственных материалах, я увидел то, чего не захотели видеть австрийские чиновники: что Зигль был агентом венского филиала судоплатовской службы. Между строчек сбивчивых рассказов Хахера передо мной возникли фигуры Окуня и Мирковского, приходивших к Зиглю на встречи и передававших ему деньги «на работу». Одновременно стал ясным и образ Зигля — бывшего гитлеровца, рвача и проходимца, для которого сотрудничество с советской разведкой было лишь возможностью получить сильного покровителя для своих темных дел.

Я не мог понять только двух вопросов: в чем заключалась история с зашифрованным письмом, и куда девался Зигль.

Однажды Володя Ревенко навестил меня в моем рабочем кабинете и заметив, что я работаю над материалами по «Филиппу», охотно восполнил пробелы в моей характеристике Зигля.

— Не было никакого письма. И задания — тоже. Наши с Зиглем возились с год и считали многообещающим агентом: бывший офицер кроатского полка, смел, дескать, решителен, в общем далеко пойдет. Ну, он и пошел. Только совсем по другой линии. Монеты ему всегда не хватало. Куда он деньги девал, не знаю. Сколько бы Саул ему ни выдавал, он на следующей встрече опять просил. В общем, решил этот Зигель отхватить где-нибудь своими силами кусочек пожирнее. Почему-то ему показалось, что на почте в том городишке бывают крупные суммы денег. Ничего не говоря нашим, Зигль выбрал из своих знакомых несчастного психиатра и вербну́л, в порядке самодеятельности. Взял даже с него какую-то подписку и псевдоним выдал. Потом стянул у своего отца старый револьвер, знаешь, из таких, что с барабаном, и стал обрабатывать доктора: дескать, шифрованное письмо на почте. Нам нужно его выкрасть. Или крышка и тебе и твоей семье. В общем, загипнотизировал психиатра. Женам они сказали, что все — дружеская шутка и те приготовили им своими ручками маски. Ну, а дальше ты знаешь: старуха усыпляться отказалась, начала неприлично орать, и они драпанули. Доктор, как идиот, влип, а Филипп сразу к нашим: «Так, мол, и так. Небольшая самодеятельная репетиция боевой работы, но простите, случайно погорел». Наши обомлели, а делать нечего. Машину Зигля спрятали в гараж, а самого на военном самолете — в Москву. Так он и сидит на сто сорок первой квартире с прошлого года под личным наблюдением Ивана Ивановича. Мне приходится к нему наведываться. Прожекты обдумываем. Что с ним делать хотят? Не знаю. Мое дело маленькое. Тамара, например, считает этого молодчика, инициативным боевиком. Дескать, видите на что способен, и теперь, когда с нами крепко связан, еще на большее может пойти. А по-моему, он просто сволочь. У

почтмейстерши нашли 22 рваные раны на голове. Мы таких Зиглей в Губебе вылавливали. Мирковский тоже считает, что Зигель уголовник и все, но Тамара теперь в блоке с Окунем. Все уши Павлу прожужжали — Филипп, да Филипп. Окунь? Конечно, вернулся. А ты и не знал? Ну, как же. Освободили его от барнаульской повинности, и он теперь опять ходит в начальниках по австрийскому отделению. А Филипп — сволочь и никакие Тамары меня в этом не переубедят.

Вопросы морального облика Филиппа меня не волновали. Я сдал переводы Мирковскому и от характеристики Зигля постарался уклониться. Мне хотелось поскорее в отпуск, к учебе и к семье, подальше от разведки, от дрожащего перед чисткой кадра МВД и от «многообещающих» зиглей.

За время отпуска я успел сдать экзамены за третий курс.

После ареста Берии работа в разведке почти совсем замерзла. Вместе с «разоблаченным» министром внутренних дел исчезло всего лишь несколько его ближайших сотрудников. Однако новый министр, Круглов, в разведке разбирался плохо, а его заместитель Серов только начинал принимать дела.

Жизнь сотрудников разведки в те дни была полна опасений и слухов. Дело Берии находилось в следствии и никто не знал, что может случиться через двадцать четыре часа с той или иной службой, или с тем или иным человеком. Замерла всякая деятельность и в Девятом отделе. Поговаривали, что службу Судоплатова вообще распустят. Один из моих друзей еще со времени партизанства, передав этот слух, тут же сделал мне официальное предложение от имени генерала Питовранова перейти на службу в его отдел и стать легальным сотрудником посольства в Париже. Я посоветовался с Яной. В предложении была выгодная сторона. Уйдя из судоплатовской службы я мог снять с себя марку нелегала и облегчить уход в отставку. Яна не согласилась.

— Не хочется мне ехать за границу. Не хватит ли с нас швейцарского плана? И потом, в посольстве тебе тоже разведкой придется заниматься. Раз идут разговоры о ликвидации вашей службы, не лучше ли подож-

дать? Может быть ты сумеешь уйти совсем легко и просто, без новых планов и проектов.

Я отказался от службы в посольстве.

Потом мой отпуск формально кончился. Я приезжал раза два в неделю в Москву, чтобы позвонить по телефону и услышать, что ничего нового пока нет. В эти короткие посещения города, я узнавал также последние новости и слухи. Некоторые из них были мало достоверными, доходившими до меня в десятой редакции. Так было, например, с разговорами об обмене денег. Людей поверивших в слух нашлось много. Сберкассы переполнились хитрецами, помнившими последнюю денежную реформу, когда суммы по вкладам выплачивались рубль за рубль. В то же время в комиссионных магазинах опустели полки. В Парке Культуры и Отдыха, какие-то сообразительные жулики нацепили на старую будку от газированной воды плакат «Сберкасса», достали откуда-то бланки сберкнижек и до прихода милиции успели принять «вкладов» на несколько десятков тысяч рублей.

Предприимчивые жулики принадлежали, возможно, к волне амнистированных уголовников, нахлынувшей летом 1953 года на центральные города. Этих заключенных выпустили из лагерей по специальному указу Верховного Совета, наверное, чтобы доказать народу гуманность новой власти. Амнистированных быстро окрестили «отпускниками». Среди них политических не было, тех амнистия не касалась. Получив свободу, но не найдя честных возможностей сносно жить, отпускники возвращались к старому ремеслу и вскоре попадали обратно в лагерь.

Брат одной из моих однокурсниц вернулся в Москву после многолетней работы в Магадане. Мы не знали о том, что у нее есть родственник — лейтенант охранных войск МВД, но Митя оказался хорошим человеком, совсем молодым, почти мальчишкой и неиспорченным службой в карательных органах.

Он пришел к ней в гости, когда мы «зубрили» старославянский язык. Принес с собой гитару и четвертинку водки, не дал нам заниматься и стал рассказывать о поездах, в которых «отпускников» возят в запломбированных вагонах, о том, как эти вагоны взламываются

изнутри и бунтующие амнистированные берут приступом целые города. Потом, по карте Советского Союза, мы попытались подсчитать количество лагерей в СССР и число заключенных в них. У Мити были данные в соответствии со служебными бумагами. По самым скромным подсчетам выходило 12 миллионов человек, среди которых уголовники составляли ничтожный процент. В СССР политзаключенных в два раза больше, чем членов коммунистической партии. Это потрясло нас. Митя пытался петь магаданские песенки под гитару, вроде: «Там сопки голые, большой мороз, большие трудности я перенес...», или: «нам электричество устроить жизнь позволит...» Нам было уже не до веселья. Двенадцать миллионов человек за колючей проволокой!

У Киевского метро меня встретил Иван Иванович Карасев. В городе было жарко и пыльно. Мы подождали пока милиционер в полотняном застиранном мундире повернулся к нам боком и двинулись вместе с другими пешеходами через вокзальную площадь. Я рассматривал украдкой Ивана Ивановича. До сих пор мы встречались с ним редко. Ревенко называл Ивана Ивановича «карасиком». В нем, действительно, было что-то от тихой скромности этой рыбы, побаивающейся излишнего к себе внимания. Карасев был маленького роста, со стертыми чертами бледного лица и неуловимым цветом глаз. Даже в августовскую жару на нем был казенный темно-синий костюм. Речь его, как бы замирала на середине каждой фразы: — «Лев Александрович хочет вас видеть... Студников... Его вместо Мирковского назначили... Что с Мирковским? Да, не знаем пока... Все еще ходит по коридорам безработным советником... Нет, до Албании он не доехал... Зачем вы Студникову? А он сейчас всех наших людей смотрит... Возможно, будет работу развертывать... А вообще, кто может знать... Времена-то, видите, какие...»

Лев Александрович Студников ждал меня в 62-ом номере гостиницы «Балчуг». Он поднялся нам навстречу из глубокого кресла. А может быть не столько кресло было глубоким, сколько Студникову, при его отяжелевшей фигуре, подобное движение давалось нелегко. Он резко, каким-то однобоким движением бросил мне

свою руку и заговорил тонким, почти пронзительным голосом: «Здравствуйте, Николай Евгеньевич. Проходите и садитесь. Вы меня не знаете, но я вас знаю давно и хорошо. Ну как, по-прежнему на даче сил набираетесь, купаетесь и грибы да ягоды собираете? Счастливый вы человек. А нам тут в аппаратной работе увязать приходится. Я вот отдел принимаю. Мирковского бывший отдел. Такую неразбериху в делах мне оставили, прямо хоть волком вой. Архива никакого нет, бумаги все перепутаны, сметы неполные и частью даже не утвержденные. А деньги уже потрачены. Да, работы по горло. И с людьми, вот, знакомиться тоже надо . . .»

Суетливость Студникова, его шумное многословие, бегающий взгляд ясно показывали, что в роли руководящего разведчика он чувствовал себя не у места. За свои 45 лет Студников дослужился до полковника, но в действительности был больше партийным чиновником, чем офицером спецслужбы. Партия послала его на работу в Пятый отдел контрразведки НКВД. После войны, когда судоплатовской службе было поручено несколько операций против бендеровских группировок на Украине, Студников был переведен в Бюро номер один, в помощь Судоплатову.

Лев Александрович принадлежал к типу людей, которые заботятся, в первую очередь, о своем продвижении по служебной лестнице и поэтому живут в вечном старании понять, куда дует ветер в руководящих кругах. На свои собственные способности он мог рассчитывать очень мало. Даже внешность Студникова не была импонирующей. Небольшого роста, с непомерно широкими плечами и оплывшим круглым лицом, он дополнял комплекс своей некрасивости белыми выцветшими бровями и лысой, как биллиардный шар, головой. Студников был полуобразован и жадно впитывал в себя чужие мысли, чтобы выстрелить их через некоторое время под видом собственных соображений. Основная же масса его слов состояла из смеси партийных установок и обрывков директив сверху. Зато партия могла быть совершенно уверена, что Лев Александрович Студников предан ей душой и телом. Без партии он потух бы так же, как электрическая лампа тухнет, когда ее отключают от сети.

Тем не менее у Студникова были большие амбиции. Именно потому, что крупные разведчики, вроде Судоплатова, казались ему, вероятно, настоящими самостоятельно живущими людьми, он твердо решил сделать себе карьеру в разведке, и потихоньку подбирался к руководящей работе в службе Судоплатова. За границей Студников никогда не был и ни одного иностранного языка не знал. Но он, по-видимому, метил на место даже самого Судоплатова, веря, что весь секрет такого возвышения заключается в подборе в свое окружение подходящих людей, в создании себе репутации наверху и в своевременном устранении соперников. Может быть, он был и прав стратегически. Он, вероятно, хорошо знал специфику советского государственного аппарата, но камень, брошенный им в сторону Мирковского, мне не понравился и я ответил ему, поэтому, почти колко.

— Но ведь одна бумажная работа погоды не делает, Лев Александрович.

— Конечно, конечно, — заторопился Студников. — Не в одних бумагах дело. Я собираюсь развернуть конкретную работу, как только приму дела. А Сергей Мещеряков, например, уже сейчас посажен мной на разработку немецких военнопленных. Вы слышали, конечно, что наше правительство решило отпустить в Германию остатки пленных немцев. Ну, всякие военные преступники, заложники и прочие. Это выдвигает перед нами задачу. Выпустить мы их должны не просто так, а использовав помаксимальнее: завербовать, дать задания, в общем, заручиться их сотрудничеством. Над этим и работаем. Иванова сейчас в одном из лагерей находится. Перспективы интересные.

— А согласятся ли эти военные преступники, заложники и прочие работать на советскую разведку? — спросил я.

Ответ Студникова был похож на заранее приготовленный.

— Ну, после того, как были столько лет нашими военнопленными, думаю, что согласятся. Если хотят поехать домой.

— И вы думаете, что такие люди, которые согласятся работать с нами, чтобы купить себе такой ценой

свободу, могут быть действительно полезными? Не расскажут ли они обо всем западным властям немедленно по возвращении домой?

— Это еще как сказать. Не всякий легко сознается, что он шпион. Западные власти их по головке за это не погладят. А потом, зависит и от самих людей. Другие настолько интересны, как связи, что просто необходимо рискнуть. Вот, например, есть у нас племянник Круппа. Неплохо звучит, правда? Потом всякие известные генералы, аристократы, в общем, — интересных людей хватает. Я вот о чем хотел вас попросить. Вы знаете агентуру берлинской группы. Напишите-ка мне характеристики на одного-двух совершенно надежных боевиков, которые по вашему мнению подходят для исключительно важного и острого дела. Теоретически, конечно, пока только теоретически. Но, чтобы такие ребята были, которым любое задание можно доверить, чтобы верить, как себе, и чтоб знать, что они ни перед чем не остановятся. Хорошо? А напишете, передайте Ивану Ивановичу для меня. А вообще, отдыхайте. Пока мы тут за вас мозговать будем, а придет время и для вас работа найдется. А характеристики, пока только в теории, не больше.

Приближалась первая годовщина рождения нашего сына. Тетя Варя уверяла, что крестить ребенка надо обязательно до года. У нас с Яной таких сведений не было, но мы понимали, что окунать малыша при крещении лучше летом, чем в другое время года. Решено было крестить Алюшку в самом ближайшем будущем.

За одиннадцать месяцев сынишка здорово подрос и окреп. Днем кроватка малыша стояла в тени между соснами. От насекомых и сосновых шишек его защищали широкие полосы марли, прихваченные бельевыми защепками. На свежем воздухе он спал долго и спокойно. Мы с Яной могли заниматься огородом, окучивать буйно разросшиеся огурцы и даже временами жарить шашлык на самодельной жаровне. Ночи были более трудными. С соседней мелкой и извилистой речки, богатой заводями, налетали тучи комаров. Мы завешивали дверь одеялом и устраивали на них охоту. Делалось это из-за Алюшки. На его чувствительной коже каждый

укус превращался в мучительное, долго зудящее пятно. Потом мы ужинали при свете керосиновой лампы и по очереди развлекали сына, поскольку раньше полуночи он категорически отказывался спать. Тетя Варя иногда приезжала к нам. Тогда мы с Яной могли пойти «купаться» в тех особенно глубоких местах речки, где вода доходила до пояса, или предпринимать походы за малиной или грибами. В ближних лесах бродило много «грибников» и без нас. Мы возвращались с полупустыми корзинками. Но однажды, обнаружили в ста метрах от нашей лачуги серию старых пней в овраге и за какие-нибудь полчаса собрали несколько больших корзин первоклассных мохнатых опят. Яна засолила их и получившейся закуски хватило потом на несколько месяцев и для нас и для родственников.

Приезжала к нам и моя мама. Но от Москвы до нашей дачи было трудно добираться — долго ехать на поезде и далеко идти пешком. Частых гостей у нас не бывало.

Для крещения сына мы выбрали сербскую церковь, в одном из переулков около Гоголевского бульвара. Церковь была скромной, маленькой и близко от нашего дома. В один из теплых дней мы привезли Алюшку в Москву.

Тетя Варя, в качестве крестной матери, купила ему рубашку с голубой лентой. Часам к одиннадцати утра мы подошли к церкви. У поворота за угол тетя Варя остановилась и вымолвила испуганно: «Батюшки, церковь-то никак закрыли!». Действительно, перед входом прохаживался милиционер. Мы осторожно пошли по другой стороне, чтобы взглянуть на двери. Не успели мы поровняться с церковью, как из нее вышла девушка, взяла милиционера за руку и они зашагали по направлению к бульвару. Нам стало смешно. Тетя Варя засеменила вперед, чтобы договориться заранее с дьяконом.

В боковом приделе церкви, несмотря на солнечный день, было полутемно. Разноцветные стекла пропускали мало света. Священник еще заканчивал службу и мы пристроились на деревянной скамье у окна. Тетя Варя шопотом пояснила мне, что в другие дни «народу — пропасть». В тот день дожидавшихся крещенья было

немного. Одна женщина, на вид попроще, держала на руках годовалую девочку. Другая, постарше, укачивала на руках закутанного в байковое одеяло малыша. Третья, в светлой юбке и крепдешиновой блузке старалась утихомирить мальчика лет шести, который все время спрашивал звонким голосом: «Ма-а?», но, что именно его интересовало, договаривал неслышным для нас шопотом.

Дьякон принес в наш придел большую книгу записей. Детей записали, пришел священник и сразу же попросил родителей уйти из церкви. Так полагалось по обряду. Сквозь стекла закрытой двери, отчаянно скосив глаза, мы следили с Яной, как священник водил крестных матерей вокруг купели и потом стал мазать детей миром. Алюшка испугался бороды священника и разревелся. Ему было простительно: он видел бороду в первый раз и отказывался успокоиться. Пришлось сделать исключение из обряда: остаток процедуры крещения Алюшка провел на руках у меня, уже не плача, только всхлипывая. Одев малыша в новую рубашку с голубой лентой, мы доставили его домой, в наш полуподвал и только там он окончательно успокоился.

В сентябре мы привезли свои матрацы и стулья обратно в Москву. У Маши начались школьные занятия. Кроме того, ночи в низине у речки стали слишком холодными.

Учеба на заочном курсе университета начиналась только в октябре. Я готовил материал за седьмой семестр, чтобы приступить к сдаче зачетов и контрольных работ при первой возможности. На службе попрежнему царило затишье. Несколько дней в неделю приходилось заниматься переводами и обработкой архивных материалов, в том числе сводок агентурных рапортов по берлинскому восстанию. Остальное время я мог проводить дома.

Однажды под вечер, когда Яна еще гуляла с сыном на бульваре, а Маша пошла на школьный кружок самодеятельности, в дверь постучали, и я увидел на пороге Володю Ревенко. Как только он заговорил, я понял, что Ревенко пьян.

— Т-ты один дома?

Он тяжело опустился на диван. На лице его было написано выражение какого-то горького отчаяния. Пошарив по карманам, он вытащил мятую пачку папирос, и заговорил убитым голосом:

— Павла сегодня взяли. И Леонида. Всех возьмут. Всем нам конец, Коля.

— Ты хочешь сказать, что Судоплатова арестовали? Но, он же не был связан с бериевским окружением.

— А какая разница, связан не связан. Вот, взяли... И Эйтингона тоже. И как взяли Павла-то... Как уголовника. Я сам в министерстве был, точно знаю. Седьмое управление арестовывало. Двоих поставили к секретарю в комнату, двоих у второго выхода из кабинета Павла, а трое — прямо к нему в кабинет. У Павла начальник отдела сидел с новым сотрудником. Читали новичку нравоучения о трудностях нашей работы, наверное. Тут, как раз, эти трое и явились. У одного — пакет. «Генерал Судоплатов?», — спрашивает. — «Вам письмо». Только Павел руку за пакетом протянул, они его за кисть хвать, и, милицейским вывертом, за спину. Как карманника, какого-нибудь. В таком скрюченном состоянии и вытолкнули Павла в соседнюю комнату. Обыскали, окружили и увели. Накрылся генерал Судоплатов.

— А начальник отдела и новичок, что?

— Ошалели, конечно. Выскочили, как ошпаренные, и прямо к нам. Так, мол, и так. Был крупный разведчик генерал Судоплатов и нету его больше. Новичок сразу все трудности нашей работы понял. А Павел, наверное, знал, что за ним придут. Леонида еще вчера ночью пытались взять, на квартире. Валька Раевская в гостях у его дочки была. Ну, пришли и сразу видно, зачем. А Леонид на даче. На дачу только сегодня утром добрались. Конечно, ему свои сумели стукнуть, а он, ясно, успел Павлу позвонить. А что Павел мог сделать? Раз конец, так конец. И всем нам конец, Коля. Верь моему слову.

Мне было по-своему жаль Судоплатова. Он был наиболее умным и тонким человеком из всех моих начальников. Теперь настала и его очередь быть принесенным в жертву системе. Но я не соглашался с Ревенко. Развитие событий вовсе не означало, что всем нам

конец. Наоборот, если начали лететь головы, подобные судоплатовской, то можно было предположить, что власти приходится туго. Не похож ли арест Судоплатова на отчаянную попытку власти отмежеваться от циничной жестокости системы и убрать лишних свидетелей?

Через несколько дней на собраниях партактива началось чтение обвинительного заключения по делу Берии и его сообщников. Тогда я еще раз подумал, что в моей версии о гибели Судоплатова, есть доля вероятности.

В обвинительном заключении на Берию и узкий круг его «сообщников» валились все смертные грехи советской власти. Оказывается, Берия был виновен не только в умышленном развале сельского хозяйства, но даже и в берлинском восстании. Это он и клика его подручных в Германии, во главе с министром внутренних дел Восточной республики Цейссером, довели немецких рабочих до отчаяния. Подробно, в деталях, достойных порнографических романов, рассказывалось о нравственном падении Берии, о его любовницах, винных подвалах и оргиях на конспиративных квартирах. По поводу генералов Судоплатова и Эйтингона в заключении имелось всего несколько строчек. Их решено было арестовать и предать суду за то, что они выполняли, по личным указаниям Берии, задания, связанные с диверсией и террором. «. . . В то время как Советское правительство, — комментировалось далее в заключении, — подписавшее Женевскую конвенцию о запрещении бесчеловечных методов войны, считает диверсионную и террористическую деятельность преступной и противоречащей элементарным законам человеческого общества . . .»

Такое заявление, теоретически справедливое, возлагало на советское правительство большие обязанности. В истории жизни и гибели Судоплатова главную роль играла проблема права на свою собственную совесть. Вполне возможно, что имея такое право, Судоплатов не стал бы выполнять правительственные задания по диверсии и террору. Его, как и всех нас, заставляли жить по совести государственной, определяемой партийной программой и требованиями правительственной стратегии. Диверсия и террор бесчеловечны. Еще

более бесчеловечна система, где личная совесть людей, отрицающих подобные преступления, должна быть подавлена во имя «государственных интересов». Судоплатов, живший по совести государственной, нес теперь за это наказание. Но, репрессируя судоплатовых, власть была обязана признать за всеми нами право на свою совесть, право отказываться от того, что нам кажется преступным. Если советские правители действительно взвешивали возможность такого шага, они могли вернуть государство на путь, ведущий к свободе и справедливости. В условиях советской власти такая реформа казалась маловероятной.

Но мы, так же как и все люди, умели верить в невозможное.

В начале октября я во второй раз встретился со Студниковым. Его мечта сбывалась. Временно исполняя обязанности начальника Девятого отдела, он занял фактически место Судоплатова. Торжество Льва Александровича было оправданным — он обошел своих соперников. Самый серьезный из них, Мирковский, едва разделался со злополучным назначением в Албанию и, заняв старое место на службе, попал в подчинение Студникову.

В своих очередных мечтах Студников рисовал, наверное, активную и победную деятельность Девятого отдела под его личным руководством и генеральские погоны на своих плечах.

Все вместе, — и торжество и тайные мечты отражались в глазах Студникова, бегающих меньше обычного и в его тоне «крупного начальника», доверяющего подчиненному особо важную государственную тайну.

— В общем так, Николай. Есть одно большое дело. Пришло оно к нам сверху. С самого верху. Вы понимаете, что это значит. Его могут дать нам, а могут и другим. Все зависит от солидности плана и шансов на успех. Ваша докладная записка о Франце и Феликсе, скажем прямо, коротковата. Пишете об их боевом прошлом, а вашего отношения к ним не видно. Может я и сам виноват. Поручил выбрать людей только теоретически. Мы с Тамарой Николаевной просмотрели потом их личные дела. Ребята боевые, ничего не скажешь. Однако для

этого дела нужен еще и подходящий офицер-руководитель. Знающий заграницу так, чтобы на месте самому во всем разобраться. Совещались мы, совещались и выбрали. Вас выбрали. Комплиментов делать не буду. Хочу только подчеркнуть, что доверие большое. Успех дела нужен и государству и вашим товарищам. Да, да, вашим товарищам по коллективу. На днях нас на министерском партбюро опять ругали. Что это, дескать, бывшее Бюро номер один какими-то темными делами занимается и ничего даже проверить нельзя. Деньги государственные тратят, а результатов не видно. Нужны нам результаты, Николай, очень нужны. И как можно скорее. Вам успех дела даст почет, внеочередное звание и орденок солидный получите, а мы, по линии коллектива, сможем доказать руководству, что тратим народные деньги не зря . . .

Студников опять замногословил и чувствовалось, что он волнуется. Он, видимо, ждал взрыва восторга с моей стороны, а взрыва не последовало. Он прошелся к сейфу, поскреб ногтем сургуч, попробовал постоять у окна и вернулся к столу. Но сидеть он не мог и продолжал говорить стоя.

— Да-а . . . Идет из-за этого дела, прямо скажем, ведомственная борьба. И смех и грех. Но я думаю, что если мы поднесем министру такой букет, как Франца, Феликса и вас, то он не устоит. А слово министра в ЦК будет решающим . . .

Студников спохватился. Он сказал что-то, чего не хотел еще раскрывать и посмотрел на меня почти боязливо. Я понял, что пора задать неизбежный вопрос:

— И в чем же заключается дело, Лев Александрович? Согласия моего никто не спрашивал. Прежде чем я смогу что-либо ответить, мне нужно знать хотя бы приблизительно в чем суть.

— А, да, что там согласие! Такого дела разведчики порой всю жизнь ждут. И потом, вы же, в конце концов, офицер, а не агент. Нельзя все на одной психологии. Надо когда-то и дисциплину. Коллектив решил, что причин для отказа у вас не будет, и гордитесь доверием. Да . . . Так о смысле дела . . .

В дверь постучали, вошел Окунь. Он коротко поздоровался и сказал Студникову: «Нас ждут». За время

своей барнаульской ссылки Окунь мало изменился. Лицо его чуть-чуть похудело и линия рта стала упрямее. Держал он себя по-прежнему с подчеркнутым достоинством даже, может быть, с более подчеркнутым, чем прежде. Вероятно, он считал, что после Барнаула ему теперь сам чорт не страшен.

— Да, да, пойдемте, — заторопился Студников и добавил, обращаясь ко мне: — Потом вернемся сюда, я все расскажу обстоятельно.

Я не знал, кто нас ждет и зачем, но пошел вслед за Студниковым и Окунем.

В большой комнате, на первом этаже особняка, где обычно происходили совещания руководства, мебель была особенно тщательно подобрана и на полу лежал толстый ковер. В кожаном кресле у дубового резного письменного стола сидел незнакомый мне человек в костюме стального цвета. При нашем появлении он не потрудился подняться с кресла, а ответил на приветствие Окуня и Студникова небрежным поднятием руки. Можно было понять, что он принадлежал к тому высокому начальству, которое ради подчиненных в излишнюю вежливость не пускается.

Нас не представили друг другу. Как только мы сели, важный незнакомец немедленно задал вопрос, обращаясь прямо ко мне.

— Так вы уверены, что ваши люди справятся с подобным заданием?

Я ответил прямо:

— Не имею никакого понятия, о чем вы говорите. У меня нет никаких людей и я не получил никакого задания.

Брови у незнакомца полезли на лоб. Он посмотрел на Студникова взглядом тревожного недоумения и спросил, как бы сам не веря своим словам:

— Вы действительно ничего ему не говорили?

Студников, подобострастно повернувшийся всем туловищем к начальству, от неожиданности даже передернулся.

— В детали я не входил, не успел еще. Но о масштабах и о важности дела, говорил.

Ответ Студникова прозвучал почти как оправдание. Незнакомец пожал плечами:

— Важность и масштабы, само собой. А в кошки-мышки играть нам нечего. Мы же переслали вам материалы по этой организации. Дайте товарищу, пусть почитает. Зачем разговаривать в потемках.

Я старался уловить детали. Задание было связано с какой-то организацией. Незнакомый начальник был от другой службы, а не от нашей. В общем, готовилась какая-то сложная комбинация, в которую собирались включить и меня. Сгущающиеся краски мне не нравились. Тем временем, чужой начальник снова обратился ко мне.

— Вкратце, речь вот о чем. Можно ли перевезти через зональную границу в Германии человека с той стороны? Сюда, к нам, конечно, силами небольшой, но способной группы. Например, ваши эти немцы. Как их, Франц и Феликс, кажется. Ну, еще два-три человека по нашим связям. И чтобы вы руководили операцией. Возможно такое дело в принципе?

— Зависит, наверное, в первую очередь, от желания вывозимого человека. Если он очень хочет перебраться к нам, то помочь ему, теоретически, можно. Только, зачем . . .

Незнакомец даже поморщился.

— Нет, нет. Вы меня совсем не поняли. Это не добровольный переход. Добровольно пусть ходят сами. Этого человека нужно взять и насильно доставить сюда. Живым или мертвым.

Студников поспешно вставил.

— Мертвым тоже очень хорошо. Только, тогда пусть остается на той стороне.

Он сам первым засмеялся. Другие понимающе улыбнулись. Мне было не до смеха. Я понял все.

— Возможно, наверное. Этот человек не первый и не последний. Через зональную границу и пешком ходят и кофейные зерна на автомашинах возят. Я только не думаю, что мое участие в таком деле необходимо. Франц и Феликс в подобных делах не новички и обойдутся без нянек.

На лбу у Студникова собрались складки. Чужой начальник отрицательно покачал головой.

— Ни в коем случае. Мы вообще хотели без каких-либо немцев, да вот, ваше начальство настаивает.

Он махнул рукой в сторону Студникова и продолжал.

— Немцы уже успели устроить нам коленкор в этом же самом деле. Повторений не требуется. Нет, нет. Посылать немецкую агентуру можно только под строгим наблюдением нашего офицера. Итак, значит, на западную территорию поедете вы. Руководить операцией на месте. О самом деле поговорим потом. Сначала, давайте выясним, как перебросить группу. У вас, говорят, есть настоящий австрийский паспорт.

Я понимал, что в следующую секунду решится вопрос, встану я и уйду или превращусь в их сообщника. Честнее всего было, конечно, сказать им в лицо, что они обыкновенные убийцы и, что убийство в мирное время преступно, какой бы политической подкладкой ни прикрывалось.

Ну, а потом, что? Далеко не уйти. Мне сказано уже слишком много. Моя честность будет оплачена свободой и, может быть, жизнью Алюшки и Яны. Надо еще раз попробовать остаться в стороне.

— Мой австрийский паспорт для работы непригоден. Хофбауэра ищет австрийская полиция.

Тут уж Окунь решил вмешаться.

— Для проезда через Австрию можно использовать какой-нибудь промежуточный документ, а за пределами Австрии ваш паспорт совершенно надежен.

Моя нерешительность почему-то нравилась незнакомцу. Может быть, он принял ее за серьезность. Его голос зазвучал вдруг совсем любезно.

— Да, мы можем дать вам настоящий французский или швейцарский паспорт. У нас их, конечно, не густо, но для такого дела найдется. Общими усилиями и справимся. Давайте, сделаем так. Почитайте-ка сегодня материал, разберитесь конкретно в деле, а потом еще раз встретимся. Чего же разговаривать вокруг, да около. Времени мало, нужно действовать. А я пока поеду. Меня ждут. Желаю вам успеха. До скорого.

Когда мы прощались, Студников шепнул мне: «Идите вперед. Я сейчас подымусь к вам».

Окунь поехал за «материалами», а Студников догнал меня у двери в комнату. Мы вошли вместе. Он был в хорошем настроении, но начал с упреков.

— Чего это вы, при чужом начальстве, меня в конфузное положение ставите. Мы им вас рекомендуем, рекламируем, а вы ломаетесь. Нельзя так, несерьезно.

— Вы же мне не сказали, кто этот человек и вообще все разворачивается столь стремительно, что я . . .

— Как, кто этот человек? Разве вы его не знаете? Грибанов же, заместитель начальника Первого управления. Я у него начальником отдела работал когда-то. А насчет стремительности, вы правы. Спешка большая и ничего тут не поделаешь. Наших планов наверху ждут и нельзя терять ни минуты. Посидите здесь, пока Окунь привезет материал, а я полечу в министерство. Завтра с утра поговорим. А вообще, поздравляю. Вы Грибанову понравились и думаю, что мы теперь найдем с ним общий язык. Пока.

Студников заспешил к двери, охваченный ажиотажем открывающихся перед Девятым отделом перспектив.

Я остался один.

Между рамами окна уже замазанного на зиму билась случайно залетевшая пчела. Я открыл наружную форточку и постучал по стеклу. Пчела поползла было вверх, но на полпути сорвалась. Лапки ее скользнули по стеклу. «Странно, — подумал я. — Мухи могут держаться на стекле, а пчелы нет. Может быть, она просто устала или слишком голодная . . .» Я достал из ящика стола конфету и бросил крошку пчеле. Она даже не обратила внимания. Я присел на узкий подоконник. На деревьях в саду не было больше ни одного листа.

Студников мне ясен. Разговаривать с ним о праве человека на собственную совесть — бесполезно. Он отправил бы меня или к психиатру или к следователю. Но вот Мирковский, например . . . Неужели ему не ясно, что в словах «так, как нужно для государства» заключается не оправдание, а трагедия людей, вынужденных служить советской системе?

Вместо Окуня материалы от Грибанова привезла Иванова. Она постучала ногой в дверь. Руки у нее были заняты четырьмя большими папками оперативных дел.

— Ничего себе материалец, — проговорила она, разминая затекшие руки. — Для него специального тяжелоатлета надо держать.

Я положил одну из папок на угол стола. На ее выцветшей картонной обложке, вперемежку с типографскими стандартными надписями, было выведено фиолетовыми чернилами «НКВД СССР. Агентурно-розыскное дело №. . . Начато 8 января 1939 года. Окончено. . .» В папке лежала другая, поменьше, зеленого цвета.

— Там отдельно сложены последние сведения, — пояснила Тамара Николаевна.

Я перелистал страницы розыскного дела. Они были из тонкой, почти папиросной бумаги и отпечатаны на машинке. Попадались официальные протоколы, стенограммы допросов, копии донесений. От имен, псевдонимов, названий ведомств, званий и чинов сотрудников у меня зарябило в глазах.

— И что же я должен сделать со всем этим? — спросил я Иванову.

Она удивилась.

— Вот, это, да. Что же вам ничего не сказали?

— Главное сказали. Но не назвали имен. Не могу же я гадать о ком идет речь . . .

Тамара Николаевна оглянулась по сторонам. В ее жесте были одновременно и налет заговорщичества и тень колебания. Потом она шепнула, вытянув подбородок по направлению ко мне: «О-ко-ло-вич». Тут же поняв, наверное, что разговор шопотом в охраняемом и изолированном особняке МВД излишен, она улыбнулась. Хорошо скроенное пальто из серого немецкого материала ей шло. Она вынула из сумки пудреницу и села на стул отдохнуть. Я придвинул к себе дела. «Как все же дико, — мелькнула у меня мысль. — Иванова все время помнит, что она женщина. Это нисколько ей не мешает, принимать деятельное участие в подготовке убийств».

Тамара Николаевна попудрилась и ушла. Ее ждала машина. Я стал читать дела. Стоило узнать, что за человек так мешал советскому правительству.

Розыскное дело начиналось копией телеграммы-циркуляра. «Республиканским, краевым и областным управлениям НКВД, погранзаставам и контрольным

пунктам. Объявляется в чрезвычайный всесоюзный розыск террорист Околович, Георгий Сергеевич, нелегально проникший на территорию СССР. Приказываю установить наблюдение на пограничных постах и за местами возможных явок террориста. Материал для опознания и адреса следуют почтой. Начальник секретариата НКВД СССР (подпись)».

К оборотной стороне телеграммы был пришпилен скрепкой лист фотобумаги, состоящий из множества маленьких карточек. С нижнего угла несколько карточек было вырезано. Все карточки были одинаковыми: продолговатое, овальное лицо, темные волосы, гладко зачесанные на боковой пробор. Фотография была мутной, из тех, которые еще можно наклеить на удостоверение личности, но она давала только приблизительное представление о том, как выглядел Околович. Далее в дело были подшиты рапорты, справки и протоколы допросов, из которых складывалась следующая картина возникновения розыскного дела:

Вечером 5 декабря 1938 года на квартиру неких Титовых в Ленинграде позвонил по телефону незнакомый голос и попросил позвать к телефону Ксению Околович, жившую этажом ниже. Ксению позвали. Незнакомец сказал ей, что он хороший знакомый ее родственников в Витебске, попал в Ленинград проездом и хотел бы с ней повидаться. На квартиру к Ксении он придти отказался, а назначил ей свидание через полчаса у ворот соседнего дома.

Через полчаса, при слабом свете уличных фонарей, Ксения увидела, что у ворот ее поджидал брат Георгий. Они не виделись много лет. Георгий эмигрировал за границу еще во время гражданской войны. Было немудрено, что Ксения не узнала голоса брата по телефону. Георгий уклонился от объяснений, где он жил, что делал и как попал в Ленинград. Он, в основном, расспрашивал о родственниках и друзьях. Только в конце разговора Георгий сказал Ксении правду: он перешел нелегально государственную границу по заданию русской организации, ведущей борьбу против советской власти. Имени организации он не открыл, но назвал себя революционером.

Он объяснил сестре, что к своей работе привлекать ее не собирается, а зашел повидаться и узнать о судьбе родственников. Потом Георгий ушел, не сказав когда вернется и вернется ли вообще. В течение целого месяца Ксения хранила секрет встречи с братом. Но потом ее начали мучить сомнения. Не ставит ли она себя и своих близких под удар, скрывая разговор с братом от властей? Ксения работала в госпитале и решила посоветоваться со старшим врачом. Тот приказал ей немедленно идти в НКВД и рассказать все. Дав такой совет, врач немедленно написал свой собственный рапорт наркому внутренних дел. Ночью Ксению пропустили в здание ленинградского управления НКВД, где она все рассказала. На государственных границах ударили тревогу. «Террорист» Георгий Сергеевич Околович был объявлен в чрезвычайный розыск.

После этого, в течение почти года, советская контрразведка пыталась его найти. В розыскном деле следовали бесчисленные рапорты отделов НКВД из разных городов, с докладами о результатах наблюдения за родственниками Околовича, о вербовке агентов среди этих родственников и о создании сети осведомителей вокруг мест его возможных явок. Доклады о подозрительных личностях, выглядевших якобы совсем, как Околович на фотографии розыска, поступали со всех концов Советского Союза. То его видели на Украине сельскохозяйственным поденщиком, то он маскировался в уральском городе под чернорабочего, то, наконец, пытался устроиться бухгалтером в артели под Ростовом. Но в конце концов выяснялось, что все эти люди к Околовичу отношения не имели. Агенты и ловушки вокруг возможных явок тоже не давали никаких результатов. «Террорист» бесследно исчез.

В самом конце розыскного дела две странички дешевой бумаги, исписанные карандашом, раскрывали причины неудачи НКВД. Эти страницы представляли собой протокол, составленный на русском языке польским офицером погранохраны. Протокол был изъят из архивов польской разведки, после того как советская армия заняла восточные районы Польши осенью 1939 года.

В нем содержалась запись опроса человека, задержанного польским пограничным пунктом в середине декабря 1938 года. Человек этот был русским и вышел на территорию Польши со стороны Советского Союза. Фамилия задержанного была — Околович.

Он рассказал польским властям, что является членом организации русских эмигрантов, имевшей свой штаб в Белграде. Организация называлась Национально-Трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП). Образовалась она в начале тридцатых годов из тех русских эмигрантов, кто верил, что русский народ в состоянии сам свергнуть советскую власть.

В качестве первого этапа своей борьбы НТСНП стремился узнать положение в стране, проверить обоснованы ли надежды организации и выяснить силу врага — советской власти. В числе других членов НТСНП для такой стратегической разведки был послан в СССР Околович. Летом 1938 года он вместе со своим напарником Колковым пересек советскую границу из Польши в Белоруссию. В течение почти шести месяцев они вдвоем исколесили западную половину СССР, от Ростова до Ленинграда и от Кавказа до Минска. Они успешно устраивались два-три раза на работу и сумели избежать проверок властей. В начале декабря Околович и Колков решили, что сведений собрано достаточно и можно возвращаться к штабу организации. Посетив в последний раз 5 декабря Ленинград, они вернулись в район Минска и в середине декабря успешно вышли в Польшу.

Запись допроса объясняла, почему надежды НКВД найти Околовича на территории СССР не могли уже оправдаться. Она одновременно доказывала бессмысленность стандартной клички «террорист», применявшейся властью ко всем поголовно людям, проникавшим в СССР из-за границы для антисоветской борьбы.

На этом розыскное дело заканчивалось. Я закрыл картонную обложку и примерился к остальным трем папкам. Вернее, к четырем. Если считать и ту, тонкую, из зеленого картона.

Я придвинул к себе наугад одно из следующих дел. На нем стояло заглавие «Тройка». Перелистывая подшивку служебных бумаг, датированных тридцать пя-

тым, тридцать шестым годами, я не сразу понял, какое отношение они имеют к Околовичу или НТСНП. Речь шла о троих студентах, бежавших из Советского Союза сначала в Польшу, а потом перебравшихся в Чехословакию. К одному из них, Кандину, НКВД решило послать брата. Вариант был несложен. Брата Кандина вербовали, помогали перейти польскую границу и затем ждали обратно вместе с беглецом. На что именно надеялось НКВД, чтобы заполучить Кандина обратно, мне так и не стало ясно. В рапортах встречались все время ссылки на «заранее гарантированное Кандину прощение, если он вернется». Брата благополучно переправили в Польшу. А дальше получилось совсем не так, как рассчитывало НКВД. Брат Кандина задания советской разведки не выполнил и стал невозвращенцем. Своих бывших хозяев из НКВД он отправил, в откровенном письме, куда подальше. Только дойдя почти до конца дела, я встретился с материалами, касающимися Околовича. Братья Кандины стали членами НТСНП. Шли длинные и скучные справки на всю родню «тройки». Иностранный отдел НКВД располагал данными из Праги, что НТСНП может заслать кого-нибудь из Кандиных обратно в Советский Союз. Мелькало раза два имя Околовича, как руководителя одного из участков подпольной работы НТС в СССР. Списки родственников назывались «возможными явками террориста Кандина».

Я отбросил дело в сторону. Совсем не знаю, зачем его мне прислал Грибанов. Может быть, просто по ошибке? На следующей папке, самой пухлой из всех, никакого названия не было. Тысячи страниц папиросной бумаги, исписанных мелким машинным шрифтом. Ни одного официального документа. Одни лишь выписки из показаний членов НТС, попавших теми или иными путями в лапы НКВД-МВД.

При более внимательном анализе материалов становилось понятно, что они были подобраны по некоторой системе. Выписки из опросов, протоколов, обвинительных заключений, стенограмм следствий были сделаны в тех местах, где «источник» касался истории НТС, структуры этой организации, ее руководящего состава и методов борьбы с советской властью. Первые несколько сотен страниц были взяты из показаний чле-

нов НТС, захваченных после окончания войны. То, что я прочитал в них, можно было без большого преувеличения назвать «героической трагедией».

Один из основателей НТС, М. Георгиевский, захваченный в Югославии, рассказывал о довоенной работе этой организации. Я мог проследить за тем, как формировалась идеология НТСНП — «солидаризм», как потом отпали две последние буквы и НТСНП стал окончательно «НТС». Я узнал и о том участке союзной работы, где находился Околович. У НТС были филиалы в Праге, в Париже и в Балканских странах. Околович ездил из одной страны в другую и создавал кадры так называемого «закрытого сектора», то есть сектора работы в Советском Союзе. Используя свой личный опыт и опыт своих товарищей, Околович подготавливал людей к революционной деятельности на Родине. Некоторые из них перешли границу без осложнений и обосновались в глубоком подполье, образуя опорные пункты будущей Революции. Другие погибли. Одна из групп, например, выдержала бой на границе. Когда стало ясно, что пробиться нельзя, один из нтс-овцев взял на себя защиту огнем отходящей группы. Он знал, что погибнет и погиб. Группа ушла обратно.

Рассказы Георгиевского сочетались с показаниями других нтс-овцев. Мне становилось постепенно ясно, почему именно к концу советско-германской войны советская разведка сумела получить такой большой материал об НТС.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, перед руководителями НТС возникла острая и сложная проблема: что делать? Бороться ли против немецкого фашизма вместе с русским народом, или пойти вместе с Гитлером, против советской власти. Основная масса членов НТС быстро поняла, что единственно правильный путь состоит в лозунге: — «Ни с Гитлером, ни со Сталиным». Открытой борьбы против гитлеровского государства НТС решил не вести, но в программе своих действий осуждал фашизм так же бескомпромиссно, как и коммунизм. Путь в Россию во время войны лежал через оккупированную гитлеровцами территорию. Фашистские власти создали ряд марионеточных «русских» организаций из эмигрантов и военнопленных для пропа-

гандных нужд гитлеровской стратегии. Члены НТС проникли в эти организации, сумели добраться до оккупированной территории и организовать там десятки своих собственных революционных ячеек. Тактика НТС предусматривала, что в момент, когда гитлеровское государство и советская власть ослабнут в изнурительной войне, русский народ сумеет поднять голову и освободиться своими силами и от иностранных захватчиков и от советских властителей. Эта тактика себя не оправдала. Гестапо разгадало планы НТС. Десятки его членов попали в немецкие концлагеря. Многие из них были замучены.

В то же время, русский народ, сконцентрировавший свои силы на борьбе с гитлеровскими армиями, не был еще готов принять бой с советской властью. Инертность народных масс, поверивших в грядущие перемены после победу, и слишком уставших от тотальной войны, привела к тому, что революционные ячейки НТС, организованные на оккупированной территории, остались после возвращения советской власти в практической изоляции. Часть их была раскрыта и истреблена органами госбезопасности, часть спаслась, но была обречена на длительное бездействие.

Среди миллионов советских граждан, попытавшихся искать политического убежища у западных союзников, было также много членов НТС. Вместе с другими русскими людьми они были выданы советскому правительству. Слепота и цинизм, свойственные политике западных «демократий», еще раз оказали услугу советской власти.

Совместными усилиями гестапо, советской власти и западных союзников, к концу войны НТС был практически разгромлен. От личного состава этой организации уцелело лишь несколько человек, рассыпанных по послевоенной Европе.

На заключительных страницах выписок мелькали лаконические заметки: «приговорен к высшей мере... приговор приведен в исполнение...», «приговорен к 25 годам ИТЛ... выслан в речной лагерь № 6...», «приговорен к 10 годам ИТЛ... выслан...».

Между листов папиросной бумаги со стандартными заголовками: «из показаний такого-то...» подшито не-

сколько страниц без начала и конца. Какой-то член НТС, сразу после войны задержанный в Берлине, описывает свои встречи с Околовичем. Встречи на конспиративных квартирах в западноевропейских странах, разговоры о будущем России, о стратегии революционной борьбы. И дальше выдержки из показаний соседей Околовича по камере гестаповской тюрьмы. Когда их вызывали из камеры, то никогда не было известно, на допрос или на расстрел. Потом гитлеровская Германия рухнула и двери тюрьмы раскрылись. Околович ушел дальше на Запад.

Я листаю дело. Сведения становятся скудными и отрывочными. Это крохи, выбранные из рассказов перемещенных лиц, возвращающихся в СССР. Но из них все же становится известно, что Околович с группой друзей поселился в городе Лимбурге, в Западной Германии. Живут по квартирам друзей, перебиваясь на крохотные заработки. Собираются ли сдаваться ударам судьбы? Следующие страницы дают мне ответ.

Показания курьеров НТС, снова появившихся на территории СССР. Задержанных курьеров немного, но из показаний ясно, что революционный штаб ожил, как Феникс из пепла. Поселившись в Лимбурге, Околович и его единомышленники стали вновь создавать организацию. Они устанавливали постепенно связь с членами НТС, рассыпавшимися по европейским странам. Искали поддержки и сотрудничества с теми элементами западного мира, которые были способны верить в русский народ, в силу его сопротивления советской власти и в то, что день его окончательного пробуждения — вопрос всего лишь времени.

Розыски товарищей и координация дружественных НТС сил заняла почти четыре года. Потом вышла в свет газета «Посев», в первое время робко, нерегулярно, а потом все чаще и с голосом становившимся все сильнее. По другую сторону Железного занавеса, сначала в среде советских оккупационных войск в Германии, а потом и на Родине появлялось все больше людей, готовых слушать этот голос и способных его понять. Был возрожден и «закрытый сектор» НТС. Он принялся за восстановление связи с опорными пунктами, оставленными НТС на советской территории во вре-

мя войны и приступил к созданию новых революционных ячеек. Из показаний К. К., члена НТС, задержанного на территории СССР в октябре 1952 года, я узнал, что у НТС были уже свои школы для революционеров, готовящихся идти на Родину. Мне стало ясно, что задержанные курьеры составляют лишь небольшую часть нтс-овцев, пошедших, по выражению К. К., «по зеленой дорожке в СССР». Я понимал, что слова «по зеленой дорожке» означали нелегальное проникновение на Родину и революционную работу в условиях игры со смертью.

В материалах, которые я просматривал, стали появляться ссылки на листовки и пропагандные брошюры НТС. Я узнал, что НТС работал по «молекулярной теории». Революционный штаб считал возможным самостоятельное образование в стране, под влиянием революционной пропаганды, небольших групп по два-три человека, максимально доверявших друг другу. Такие группы — «молекулы» — могли слушать передачи радиостанции НТС, находящейся в лесах вблизи от зональной границы Германии. Передачи велись на меняющихся волнах, поскольку радиостанция была и по западным условиям полулегальной. Операторы радиостанции могли поэтому уходить от глушения советских «лягушек». В передачах, кроме информации о положении на Родине, были и практические указания, как включаться в революционную борьбу, как писать самодельные листовки по тексту, передаваемому станцией, распространять их в своем городе, рисовать на стенах и афишах знак НТС — трезуб, для того, чтобы подбодрить своих невидимых и неизвестных друг другу товарищей по борьбе. И, что самое главное, быть готовыми включиться в Революцию при первой же ее вспышке.

Одновременно НТС надеялся поднять революционное настроение народа до необходимого градуса с помощью листовок и разъяснительных брошюр, засылаемых в СССР на воздушных шарах. НТС печатал на папиросной бумаге особый выпуск «Посева» для моряков дальнего плавания и для военных, едущих в отпуск на Родину. Кроме того, НТС располагал прямыми личными контактами с революционными «молекулами» в советских воинских частях за границей. Среди показаний

попадались и ссылки на идеологическую платформу НТС — солидаризм. Так же как и в «Посеве» солидаризм показался мне туманным и сложным. Хотя было ясно, что составители его стремились к справедливому и демократическому государственному строю. Солидаризм был, очевидно, построен на признании личной свободы Человека, его права на Совесть и на полном отрицании тоталитарных методов управления. Мне этого было достаточно. Все равно самое главное в облике НТС это роль революционного штаба, которую он проводит столь решительно, и уверенность нтс-овцев в том, что их работа, сочетаясь с растущим самосознанием русского народа, с растущей силой его отрицания советской власти должна привести в конце концов к Революции . . .

Я дохожу до свежих, почти непомятых, аккуратно перепечатанных страниц. Шрифт синий и четкий. Таким шрифтом размножают копии официальных документов. Материалы кажутся мне знакомыми. Кое-что из них, даже, пожалуй, основную часть, я читал в центральной печати. В сообщении ТАСС об аресте на территории СССР четверых связных «эмигрантской организации» — Лахно, Макова, Ремиги и Горбунова. Сообщение ТАСС появилось в мае этого года. Передо мной лежат материалы, послужившие базой для тассовцев. Здесь они называются «выписки из допроса». Но на настоящие выписки страницы мало похожи. Бросается в глаза тщательная подборка материала по темам, шлифованный и подстриженный язык, обилие комментариев в форме косвенной речи. Создается впечатление, что это скорее фабрикация, чем стенограммы допроса. И еще одна резкая разница по сравнению с настоящими протоколами: эти «показания» пестрят упоминаниями об американской разведке, об американских субсидиях на «шпионскую работу», об американских разведчиках-инструкторах. Задания НТС своим курьерам представлены как задания по шпионажу, убийствам, поджогам и диверсиям. Ни слова о революционной работе. После сотен только что прочитанных мною других страниц, «показания» четверки отдают примитивной и тенденциозной фальшью.

Я отрываюсь от чтения и стараюсь вспомнить . . .

Что же произошло в мае 1953 года? Почему советское правительство решило опубликовать «новость» о задержании курьеров эмигрантской организации и уделило столько внимания фальсификации их показаний? Хотя последнее-то понятно: назвать их настоящим именем революционеров власть не может. Что же касается самого столь раструбленного «сообщения», не было ли оно первым вынужденным признанием власти, что революционная работа НТС развивается успешно? Хотя об НТС в сообщении ТАСС не упоминалось ничего. Значит, боятся называть это имя ... И в те же самые дни, в тех же номерах газет был опубликован закон о введении смертной казни для «изменников Родины». Читай: для лиц, осмелившихся бороться против советской власти. Вот, оно, что ... Попытка предотвратить надвигающийся взрыв обещанием «патронов не жалеть ...» По-моему, это означает, что народ начал просыпаться, а власть дегенерировать. Иначе панику власти не объяснить.

Я придвигаю к себе последнюю папку. На ней чернильным карандашом выведено заглавие «ОКУНЬ». Это, очевидно, оперативное дело. Такие дела, по неписанному правилу, получают заглавия с двумя первыми буквами одинаковыми с именем «объекта»: ОКолович-ОКунь.

Материалы типичные для оперативного дела: агентурные донесения, опросы свидетелей, служебные записки, варианты всяких оперативных планов, отчеты об операциях, удавшихся или провалившихся. В общем, своеобразный архив борьбы советской разведки против Околовича.

На первых страницах варианты использования Ксении Околович. Ее вербуют и придумывают всякие планы «бегства за границу». Но сообщения агентуры, следящей за Ксенией, говорят, что сестра Околовича ненадежна. Поручение разведки она вряд ли выполнит. МВД решает, что арестовывать ее пока невыгодно. Ксения оставляется на свободе, как «приманка» для Околовича на тот случай, если он вторично появится на территории СССР. За Ксенией и за всеми другими родственными связями Околовича ведется строгое наблюдение.

На время войны оперативная разработка Околовича затихает. В дело подшиты два письма Околовича к Ксении в Витебск. Квадратики тетрадной бумаги в клеточку, исписанные карандашом. Он предлагает навестить ее и помочь уйти на Запад. Меня сбивает с толку спокойный тон Околовича. И каким образом он пересылал письма Ксении? Дальше, из стенограммы допроса Ксении, я понимаю, что произошло. Речь идет о том времени, когда Витебск был занят немцами. Ксения осталась в городе и работала медсестрой в немецком госпитале. Но в то же время держала связь с партизанами и помогала им медикаментами. Околович навестил ее в Витебске. Ксения отказалась ехать на Запад. Околович особенно и не настаивал. Когда советская армия вернулась в Витебск, Ксению немедленно арестовали. Письма партизанского штаба, подтверждающие помощь Ксении и ее лояльность Родине были подшиты к делу, но не приняты во внимание. Ксения была осуждена на 10 лет ИТЛ «за сотрудничество с немецкими оккупантами». Сведения о ней после этого обрывались.

В 1948 году, когда начали поступать сведения о том, что Околович живет в Лимбурге, советская разведка послала в этот город агентов с заданием проверить, нет ли возможности похитить Околовича и вывезти его в советскую зону. Самого Околовича агенты не нашли, но сумели встретиться на улице с его женой, Валентиной Константиновной. Агенты докладывали, что по их мнению жена Околовича не догадалась с кем имеет дело, но из ее ответов выяснилось, что Околович в Лимбурге почти не живет и она сама видит его редко и нерегулярно. Офицер, принимавший донесение, приписал свои комментарии: «Наивно. Она, конечно, сразу догадалась». Из дальнейших материалов было видно, что офицер не ошибся.

В 1949 году в СССР вернулся из Западной Германии русский эмигрант. Он был еще совсем мальчишкой, в политике разбирался плохо и не сумел преодолеть тоски по Родине. Советские власти забрали его у восточногерманских пограничников, подробно опросили и потом разрешили поехать к родственникам в Смоленск. Однако вскоре материалы опроса юноши попали в руки советской разведки. Выяснилось, что «возвращенец» в

бытность свою в Западной Германии жил в одном доме с Околовичем и хорошо знал его самого. Юношу вызвали в МГБ, присвоили псевдоним «Минский» и стали выматывать в серии длинных допросов все, что ему было известно об Околовиче. Стенограммы допросов «Минского» были приложены к делу. Я начал читать их очень внимательно. В отличие от однотипных показаний задержанных членов НТС, знавших руководителя «закрытого сектора» лишь по совместной работе в НТС, рассказы «Минского» изобиловали деталями личной жизни Околовича, раскрывавшими его образ, как человека. «Минский» хорошо знал Околовича. Ему было даже известно, что Валентина Константиновна сразу угадала в незнакомцах, встреченных на улице, агентов советской разведки. В течение нескольких лет «Минский» мог следить за образом жизни Околовича с близкого расстояния. Мелочи, рассыпанные между строчками его рассказов, рисовали образ скромного и честного человека, живущего не для себя, а для идеи. «Минский» помнил даже такие вещи, как посылки из США и Канады, приходившие на адрес Околовича. Околович объяснил как-то юноше, что эти посылки приходят от русских эмигрантов, собирающих деньги и вещи для поддержки организации, где работает Околович. Иногда в посылках попадались долларовые бумажки, запрятанные в плитках шоколада или пакетах печенья. «Минский» хорошо знал, что эти деньги Околович передавал организации. Читая страницу за страницей, я понимал, что стяжателем Околовича нельзя было назвать ни в коем случае. Рассказы «Минского» только подкрепляли мое ощущение, что в лице Околовича советская власть имеет противника опасного именно искренностью и самоотверженностью своей борьбы.

Сведения, полученные от «Минского», дали возможность советской разведке развернуть в 1951 году конкретные операции против Околовича. Была сформирована боевая группа из трех немцев, агентов отдела советской контрразведки в Берлине. Группа получила 15 тысяч западных марок, ампулы с морфием, шприцы и задание: оглушить Околовича, вспрыснуть ему морфий и вывезти его в советскую зону. В случае невоз-

можности похищения разрешалось ограничиться ликвидацией.

Группа перешла межзональную границу, купила легковую автомашину и добралась до городка Рункель, рядом с Лимбургом. К делу были подшиты копии условных телеграмм: «прибыли. дяди нет». «Дядю» агенты так и не нашли. Двое из агентов, пораздумав над тем, к чему их толкала советская разведка, решили сдаться властям. Руководитель операции бежал обратно в советскую зону. Шприцы, морфий и деньги попали в руки западной полиции. В довершение всего, 10-летняя дочь одного из сдавшихся исчезла из восточной зоны Германии. Справка берлинской контрразведки сообщала грустно, что «она, по-видимому, вывезена агентами НТС, на запад, к отцу . . .»

Я понял, на что намекал Грибанов, когда говорил о «коленкоре, устроенном немцами».

Тонкий лист папиросной бумаги, подшитый к делу, представлял из себя бюллетень Исполнительного Бюро НТС. В нем рассказывалось о сорвавшейся акции МВД против Околовича, и члены Союза призывались к еще большей осторожности и бдительности.

Вскоре после этого штаб НТС переехал во Франкфурт на Майне. Сведения об Околовиче поступали от агентуры в разных странах. Некий «Азарчук» писал донесение о том, как осенью 1952 года Околович и Бранд читали доклад группе нтс-овцев в Бельгии. Околович только что вернулся из поездки в Америку. Он пытался установить там связь с такими общественными организациями, которые могли бы оказать НТС материальную поддержку, не пытаясь, в то же время, заставить НТС стать орудием американской разведки. Околович подчеркивал, что, конечно, всякая материальная поддержка извне несет с собой опасность потери независимости, но руководство НТС твердо намерено занимать такое место в Западном мире, которое, давая материальную базу, позволит в то же время не продавать себя иностранцам. Были споры. Кто-то заявил, что без иностранной помощи сделать Революцию невозможно. Другие отвечали, что такая Революция, инспирированная извне, может слишком легко превратиться в интервенцию. Тогда конец и антикоммунистической борьбе и

НТС, как революционной организации. Защитники последнего мнения оказались в большинстве. На следующий день Околович и Брандт выехали с докладами для членов бельгийского отдела НТС по городам Бельгии.

Было донесение и из Парижа, подписанное неким «Техником»: «Встреча на конспиративной квартире. Доклад Околовича о стратегии революционной борьбы и о программе НТС . . .» Донесения из Австрии: «Появлялся Околович. Собрания членов НТС. Доклады и встречи . . .» Донесение из Берлина: «Приезжал Околович . . .»

По самому Франкфурту сведений было очень мало. Не приходило агентурных донесений ни о точном местожительстве Околовича, ни о путях, которыми можно было бы подобраться к неуловимому руководителю «закрытого сектора». Наконец, удалось получить примерный адрес его дома: Инхайденер штрассе 3, четвертый или пятый этаж. Оперативное дело заканчивалось на сводке разрозненных донесений о здании типографии «Посев», где работает жена Околовича и о русском прессагентстве РИА, где, по слухам, часто бывает Околович.

На пятой папке, зеленой простой канцелярской, никаких заглавий не было. Содержащиеся в ней документы датировались временем после мая 1953 года, когда в структуре и методах работы советской разведки произошли серьезные изменения. Дело было не только в упразднении МГБ и подчинении разведслужб министру внутренних дел, Берии.

После смерти Сталина положение в стране усложнилось настолько, что основное внимание советской разведки сосредоточилось на зарождающемся революционном движении русского народа. Даже те службы, которые раньше занимались исключительно иностранными государствами, направляя свою деятельность против американских военных укреплений в Европе, вынуждены были теперь заняться вариантами борьбы против зарубежных русских организаций. Практически это означало борьбу против НТС. Других русских организаций, опасных для советской власти, в зарубежье не было.

Власть не решалась бороться с революционной организацией силою слова в свободной дискуссии. Вероятно, КПСС знала, что проиграет. Советской разведке был дан приказ: уничтожить НТС любыми средствами.

Первое управление МВД СССР и Девятый отдел, одновременно, занялись разработкой двух заданий, полученных ими лично от Берии. Одно из заданий предусматривало похищение с вывозом в советскую зону руководителя берлинской группы НТС. Имя его в документах, которые попали ко мне, не раскрывалось. Другое задание требовало устранения Околовича.

Работая над вторым заданием, Первое управление выдвигало вариант, основанный на «Минском». Предполагалось инсценировать его переход обратно на Запад и добиться встречи «Минского» с Околовичем. Юношу, только недавно ставшего совершеннолетним, перевезли на дачу МВД под Москвой и начали ежедневно убеждать, что самая лучшая из его возможностей послужить государству, это убить Околовича.

Руководители Девятого отдела, генералы Судоплатов и Эйтингон базировали свои планы на заброске в Западную Германию немецкой агентуры для выполнения задания. Поскольку папка принадлежала Первому управлению, в ней не было подробных данных о планах Девятого отдела.

Потом Берия был «разоблачен» и работа в органах госбезопасности временно затихла. Только, когда пришло новое, после-бериевское руководство МВД, планы борьбы с НТС были снова извлечены на дневной свет.

Уход Берии не вызвал изменений в линии работы МВД. Начальник Первого управления Федотов и его заместитель Грибанов по-прежнему выдвигали план ликвидации Околовича с помощью «Минского». У них, тем временем, прибавились новые сведения об Околовиче. В папке имелись донесения агента под псевдонимом «Вольф». Настоящего имени агента не упоминалось, но из донесений можно было понять, что работал он с советской разведкой недавно и вступил по ее заданию в НТС. «Вольф» жил в Западной Германии. Его жена, названная в документах своим настоящим именем, Е. Ханиш, перевозила донесения «Вольфа» в восточную зону. В одном из рапортов «Вольф» рассказывал о соб-

рании НТС, на которое ему удалось попасть. Описывал обстановку в организации в той степени, в которой это было ему доступно по разговорам со случайными друзьями.

Затем «Вольф» получил, очевидно, задание проникнуть в закрытый сектор. В донесении, датированном июлем, «Вольф» сообщал, что достал номер служебного телефона Околовича, работающего в агентстве РИА на Кронбергер штрассе 42. Предупреждал, что вызывая Околовича по телефону его нужно спрашивать только по имени-отчеству. «Вольф» затем подтверждал домашний адрес Околовича, Инхайденер штрассе 3, добавлял некоторые детали о расположении квартиры, входах и выходах и о табличке с кнопками на парадном подъезде. Кроме того, «Вольф» приводил номер машины Околовича и ее марку. В конце письма «Вольф» еще раз настойчиво просил своих советских хозяев работать с ним поосторожнее и не торопить с результатами. Он чувствовал, что НТС ему не особенно доверяет. Так, например, указывал «Вольф», на днях ему звонил Околович и подробно расспрашивал, есть ли у его жены брат Вернер Риб в восточной зоне. «Я не знал ,что ему известно, — писал «Вольф», — и поэтому сказал правду». Далее «Вольф» выражал уверенность, что если ему дадут достаточно времени, он сумеет подобраться к Околовичу совсем близко и, может быть, даже проникнуть в закрытый сектор.

В конце донесения была краткая приписка какого-то капитана Никонова: «это донесение было привезено Е. Ханиш в плитке шоколада на встречу в Остербург 7.7.53». Рядом, синим карандашом, кто-то, очевидно старший офицер, добавил: «проверить обстановку с В. Риб. Принять меры по маскировке его окружения». И, наконец, в самом низу, чьим-то размашистым почерком: «Вольфа в прямые действия пока не включать. Нужен для наблюдения за объектом». И вместо подписи инициалы — А. Г.

В папке лежала фотография, присланная «Вольфом» совсем недавно. Я взял ее в руки.

На снимке несколько людей, сидящих вокруг обеденного стола, улыбались в объектив. Над каждым из них карандашом были проставлены стрелочки и номе-

ра. На обороте фотокарточки номера расшифровывались. «Вольф», круглолицый и лысеющий мужчина в рубашке с расстегнутым воротом, сидел у левого угла стола. Дальше была жена Околовича и сам Околович. Остальные люди на снимке меня не интересовали.

Фотография была снята, судя по донесениям «Вольфа», совсем недавно. Околович на ней совсем не походил на человека, изображенного на розыскных карточках тридцать девятого года. Продолговатость лица осталось, но оно похудело, осунулось и сильно постарело. Две глубокие складки, сжимавшие рот с обеих сторон, говорили о тяжести пережитого. Лицо было снято чуть в профиль и нос казался большим. На его горбинку были приспущены сильные очки в роговой оправе. Околович улыбался и его глаза имели добродушное выражение.

Я внимательно вглядывался в фотографию. Этому человеку столько революционеров доверили и доверяют свою жизнь. Теперь его собственная жизнь попала в мои руки. Значит, моя ответственность становится двойной . . .

Я запер дела в сейф и посмотрел на часы. Было уже шесть часов.

Пчела между стеклами все еще делала свои бесконечные попытки подняться к форточке. Я взял из пепельницы веревочку, брошенную Ивановой и привязал к ее концу скрепку потяжелее. Пчела не понимала, что это сооружение спущено к ней для оказания срочной помощи. Она убегала от скрепки и продолжала рваться к форточке по стеклу. Несколько раз она начинала работать крыльями, но это ей не помогало. Я вспомнил, что на ночь пчелы засыпают. Лучше было оставить ее в покое до утра. Сухую конфетную крошку она не трогала. Я капнул на конфету воды через внутреннюю форточку. Пусть подкрепится, а завтра посмотрим . . .

Сдав дежурному ключ от комнаты, я вышел к Крымской площади, остановил такси и поехал домой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Именем совести

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Яна кормила Алюшку тертой морковью. Каждый день в половине седьмого вечера совершалась эта процедура и каждый раз малыш одинаково упрямо мотал головой. Заслышав мои шаги, Яна спросила: — «Коля?» — не отрываясь от сложного занятия. Потом обернулась и, увидев мое лицо, вздрогнула.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, вытирая наспех Алюшкин подбородок.

Я подсел к столу.

— Не знаю, как тебе ответить. И да, и нет. Во всяком случае, новости очень плохие . . .

Алюшка подавал отчаянные сигналы, что хочет ко мне на руки. Я взял было ложку с морковью и придвинул свой стул. Яна отвела мою руку.

— Не надо. Он сегодня хорошо поел. Давай, лучше посадим его в кровать.

Сын попытался протестовать, но Яна дала ему любимую игрушку — алюминиевый дуршлак. Мы смогли присесть на диван и поговорить под аккомпанемент ударов дуршлака о перекладины кровати.

— Мне приказано принять участие в организации убийства, — начал я.

— Опять . . . — с болью вырвалось у Яны.

— Опять . . . Только на этот раз возможностей для прямого отказа нет. Мне слишком многое успели рассказать. И потом, после прошлогодней истории с похожим делом, я обязан быть очень осторожным.

— Что же нам делать?

Я задумался. В водовороте нахлынувших событий я не успел еще задать себе такой вопрос. Я так и ответил Яне:

— Не знаю, пока. Ждать, наверное, что будет дальше. Ясно только одно: наши надежды на то, что все изменится само собой к лучшему были несерьезными. Советская власть не может измениться. Не может.

Яна молчала, опустив подбородок на ладони. Потом спросила, взглянув на меня особенно серьезно:

— Кто он? Этот человек.

Я понял, что подчеркнутая серьезность взгляда была своеобразной просьбой об особой откровенности, но пойти на это я не мог.

— Не надо имен. Могу сказать, что он революционер, русский революционер, и, по-видимому, очень хороший человек.

Яна отозвалась, как эхо:

— Хороший человек или плохой, какая разница. Убийство есть убийство.

Я промолчал. Она продолжала:

— Может быть, я виновата. Нужно было, наверное, принять предложение Питовранова о работе в посольстве.

Я махнул безнадежно рукой:

— Что ты! В Париже тоже могли поручить организацию убийства. А Кутепов? А Мюллер? Разве не посольство разрабатывало и убирало их? Все одно . . . Нам просто очень не везет.

Яна качнула отрицательно головой.

— Дело не в невезении. Видимо, нельзя жить для одной самозащиты.

Я даже рассердился.

— Причем тут самозащита?! Самозащищается здесь только советская власть.

Яна усмехнулась горькой улыбкой.

— Да я не об этом, Коля. Нельзя оставаться в стороне. Вот, в чем дело. Этому, наверное, нас и учат. Всех . . . Только для нас троих это, пожалуй, конец.

Я пожал плечами.

— Ты заговорила, как Володя Ревенко.

Яна тряхнула головой, как бы отгоняя мою неудачную фразу, и возразила.

— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но, если ты не видишь выхода, то я его тем более не могу найти. Помоему остается только одно: сказать твоим начальникам правду и принять, что нам полагается. А что касается Алюшки, то еще неизвестно, что для него лучше, иметь трусливых родителей или . . .

— Подожди, — прервал я ее. — Не спеши с решениями. Время еще есть. Рубить с плеча рано. Посмотрим, как будут развиваться события.

Когда я снова пришел в особняк в Турчаниновском, пчелы между стеклами окна в моей комнате уже не было. Она, наверное, набралась за ночь сил и улетела. Форточки остались открытыми и даже конфетная крошка по-прежнему лежала в углу между рам. Было приятно, что пчела спаслась, но и чуть-чуть обидно, что она так свободно обошлась без моей помощи.

Я вытащил из сейфа материалы по Околовичу, чтобы проверить, не пропустил ли вчера чего-нибудь важного. Вошел Студников. Настроение его улучшалось с каждым часом. Очевидно, дела Девятого отдела шли хорошо.

— Привет, привет! — поздоровался Студников. — Изучаете вашего подопечного? Правильно делаете. Подопечный очень интересный. Между прочим, ваше назначение на руководство операцией — свершившийся факт. Знаете, мы вчера здорово с Первым управлением поспорили. Говорят: «Давайте одного Хохлова, а немцев не надо. Пусть, «Минский» исполняет, а Хохлов руководит». Нам это, конечно, ни к чему. Я им так и сказал: — «Поедут все трое, включая немцев, или — никто». И вопрос остался открытым. В этих делах главное — владеть собой. А сегодня утром они позвонили. Таким маленьким голосом. Согласились на немцев. «Минского» ихнего, мы, конечно, куда-нибудь в план пристроим. Я им обещал.

Я понимал, что происходит, но не удержался от замечания.

— Зачем же связываться с лишним человеком. Он, говорят, иностранными языками не владеет. Чего же включать русского в немецкий вариант?

Студников снисходительно улыбнулся. Ему еще раз стало ясно, что я не разбираюсь в сложной кухне обязанностей настоящего руководителя.

— Ну, что вы, Николай. Разве можно так ставить вопрос. Без «Минского» Первое управление совсем останется в стороне. Зачем же их оттеснять? Они Околовича столько лет разрабатывали, все материалы нам дают, да и в другой раз могут пригодиться. Нет, нет, быть эгоистами нам нельзя. Найдите «Минскому» какую-нибудь, там, рольку. Он же знает Околовича в лицо. Пусть будет вроде опознавателя...

Я решил позондировать почву.

— Столько идет разговоров о важности задания. Мне не совсем ясно. Ну, живет где-то в Западной Германии какой-то эмигрант. Занимается антисоветской пропагандой. Стоит ли связываться и рисковать ценной агентурой? Что такое Околович в конце концов? Пылинка.

Студников покачал головой.

— Пылинки тоже разные бывают. Другая пылинка в горло попадет, человек задохнуться может. Я вижу, вы в деле еще не разобрались. Стоит поговорить об этих вещах именно сейчас. А то будете руководить операцией в смысл которой не верите. Эта организация НТС единственная из эмигрантских, которой удается забрасывать людей на нашу территорию. На днях я читал сводку об одном случае под Краснодаром. Сбросили с неизвестного самолета двоих на парашютах. Они парашюты в лесу закопали и в кустах переночевали. Утром один из них вышел на опушку, а там лесорубы. «Здрасьте, здрасьте, я, мол, человек прохожий. Разрешите с вами перекурить». А потом вынул всякие листовки и попробовал лесорубам мозги туманить. Те сначала растерялись, да комсорг, парнишка потолковее, сообразил в чем дело. Связали провокатора, и парнишка побежал в район. А тот посидел связанным, да говорит: «Ребята, разрешите покурить. Я все равно теперь уже не убегу». Те сдуру ему руки и развязали. А он, вместо папиросы, угол своего воротника хвать, да в рот. Зуба-

ми какую-то ампулу раскусил и все. Милиция пришла, он уже готов: яд какой-то молниеносный. Следы их ночевки в лесу нашли, а второго и след простыл. Поймают, конечно. Но пока бродит где-то. Приятного в этом мало. Когда мертвого обыскали, выяснилось, что он из тех, которых Околович против нас бросает. Видите, какие люди. Фанатики, они. Опаснейшие фанатики. А вы — пылинка. Для них Околович символ.

Я понял многое из рассказа Студникова. Конечно, историю с парашютистами и ампулой не обязательно было принимать на веру, именно так, как передал ее Студников. Она была, по-видимому, смесью правды и сознательных искажений, столь обычных для версий о «заграничных шпионах», распространяемых властью. Но манера, с которой Студников говорил об Околовиче и его людях, раскрывала кое-что другое. Мой начальник без колебаний причислял меня в свою собственную категорию. Категорию людей, для которых интересы и безопасность партии были решающими. С общечеловеческой точки зрения личные качества Околовича и его людей могли заслужить если не одобрения, то во всяком случае уважение. В глазах студниковых эти качества служили гарантией того, что Околовича надо убить. Мой начальник не допускал мысли, что мне — сотруднику разведки, члену партии — личные качества Околовича могли послужить иной гарантией. Гарантией того, что этот человек должен остаться в живых.

Студников об этом не думал и продолжал давать «руководящие указания»:

— Итак, Франц и Феликс. Парни они боевые и с заданием справятся. Между прочим, мы решили привезти их в Москву на несколько недель. Вам удобнее будет работать с ними. Тренировку сумеем провести соответствующую — с первоклассными инструкторами. А потом, пусть почувствуют, какое доверие им оказывается. Увидят столицу, походят по театрам; в общем, приобщатся к нашей жизни. Полезно, перед таким ответственным заданием. Иванов на днях летит в Берлин, Олег Николаевич. Вы его знаете? Он утвержден руководителем нашей берлинской группы. Сейчас для нас самое главное представить руководству толковый план и получить санкцию. Поэтому, отрывать вас от пись-

менного стола не будем. Иванов встретится с обоими молодчиками и привезет их в Москву. В самое ближайшее время.

В комнату вошел Окунь. Завидев его, Студников вопросительно поднял брови и показал пальцем вниз, в пол. На этот жест Окунь коротко ответил: — «Да, пришел. Нижний этаж смотрит». — Студников заторопился.

— Вы работайте, я потом зайду к вам. Начальство пришло объект принимать. Пойду посмотрю, как и что...

Он вышел быстрыми шагами.

После ареста Судоплатова, манеры Окуня немного изменились. Он уже не растягивал слова, подобно бывшему начальнику Девятого отдела, но от обычая делать паузы в разговоре, похожие на усиленное обдумывание последующих слов, он не успел отделаться. Появилось и нечто новое, может быть, его собственное: манера морщить лоб, почти болезненным жестом, как бы в борьбе со сложным комплексом мыслей.

Я ни о чем его не спрашивал, но он сам начал рассказывать, кивнув головой в направлении нижнего этажа.

— Панюшкин пришел посмотреть наш особняк, новый хозяин Второго управления.

Второе управление МВД, со времени послесталинских реформ, объединяло в себе службы разведки. До сих пор Девятый отдел МВД подчинялся непосредственно заместителю министра генералу Серову. Я переспросил Окуня:

— Новый хозяин? Причем же тут мы? Нас включили во Второе?

Окунь беспомощно развел руками, капитулируя перед загадками бюрократии.

— Нет, не включили, наверное. Во всяком случае, приказа пока не было, но Панюшкин держит себя как наш начальник. Между прочим, быть в подчиненных у такого человека, как он, не обидно. Опыт работы у него колоссальный. Он, по-моему, всю жизнь провел на дипломатической службе. Был много лет подряд послом в Америке. Недавно вернулся из Китая. Теперь стал хозяином всей разведки. Человек, который действительно разбирается в нашей работе. Мало у нас профессиональных разведчиков со школой дипломата. Кстати, се-

годня утром он меня вызывал знакомиться. У нас был разговор о задании по Франкфурту. Вы понимаете, какое задание я имею в виду? Оно получило теперь официальное название: «Операция Рейн». Почему именно «Рейн», я не знаю. Конечно, «Майн» было бы лучше, но это прозвище придумал Лев Александрович, и я не стал его расспрашивать о логической связи. Нам-то с вами все одно. Будем готовить операцию «Рейн». А вообще, хочу вас от души поздравить со включением в это дело. О его важности вы можете судить хотя бы по вниманию к нему со стороны высшего руководства. На таком деле можно взлететь высоко, но можно, конечно, и сломать шею. Вы знаете о прошлых попытках и чем они кончились. На этот раз, однако, успех нам, по-моему, обеспечен. Несчастье прошлых попыток заключалось в том, что они проводились местными силами всяких мелких служб. Теперь операция развертывается из центра, с подбором лучших людей и без ограничений в средствах. Это уже очень важно. Заставить же всю операцию сработать как хорошо налаженный механизм, мы сумеем. Иванов поможет вам в Германии, я сделаю все возможное в Австрии. Получите помощь и по другим странам. А самое главное — у нас есть исполнители, которые не подкачают. В боевых способностях Франца и Феликса заложена гарантия нашего успеха.

Окунь с обоими «исполнителями» никогда не встречался. Свое мнение он основывал на чтении их личных дел. Окунь, вероятно, затянул бы свои рассуждения еще надолго, но дверь в нашу комнату открылась и Студников почтительно пропустил вперед высокого худого человека в темносером костюме. Лицо незнакомца было изборождено глубокими морщинами, не по возрасту. Бледный, до серости, цвет лица говорил об очень плохом здоровье. Такие лица бывают у шахтеров или у рабочих свинцовых заводов. Впечатление больного человека создавалось и от сутулой походки незнакомца. Он двигался так, как будто у него не хватало сил держаться прямо. Когда он заговорил, голос его зазвучал тихо и надтреснуто. Он протянул мне руку, осматриваясь одновременно по сторонам.

— Здравствуйте.

И тут же добавил просто, без какой-либо манерности:

— Александр Семенович меня зовут. Что-то душновато у вас здесь. Давайте, пойдем вниз. Поговорим о делах. Вы можете оставить ваше бумажное хозяйство на кого-нибудь? Ладно, запирайте в сейф. Я подожду.

Окунь помог мне перенести папки в стальной шкаф. Я спросил его вполголоса: «Панюшкин?» Он утвердительно кивнул головой.

В большой и светлой комнате на первом этаже было действительно больше воздуха. Массивное кресло за письменным столом осталось пустым. Панюшкин пристроился у окна. Кресло у окна было тоже немаленьким и Панюшкин утонул в нем, несмотря на свой высокий рост. Он как-то свернулся, сжался, пытаясь, вероятно, отдохнуть хотя бы на несколько минут от утомительных хождений по коридорам и лестницам «принимаемых» хозяйств.

Панюшкин показал мне на кресло напротив.

— Садитесь, Николай Евгеньевич. Как работается над заданием?

Ответить, что совсем не работается, было, к сожалению, нельзя. Я завел разговор о другом.

— Австрийские документы для Франца и Феликса готовы еще с прошлого года. Им, вероятно, лучше всего пожить несколько недель в Вене и потом уже ехать в Западную Германию. Феликс с австрийским диалектом знаком, а Франц не пропадет и без диалекта.

Панюшкин кивнул соглашаясь и, в то же время, останавливая меня.

— Хорошо, хорошо. Это все правильно. Но, как люди, они нас не подведут? Есть уверенность, что они не устроят нам какой-нибудь истории в последний момент?

Я понял, на что намекал Панюшкин. Теперь я мог ответить ему искренне.

— До сих пор было похоже, что подобное задание их не испугает и даже не смутит. Но разве в душу им заглянешь?

Панюшкин опять согласился.

— Да, это, к сожалению, верно. В человеческую душу заглянуть трудно. Но я не случайно задал вам такой вопрос. Вы будете ими руководить и вы же за них

отвечаете. Вмешиваться в операцию вам не надо. Это ясно само собой. Мы посылаем нашего кадрового офицера для наблюдения за операцией, а не для того, чтобы он оставил там свою голову. Кроме того, мы обязаны избежать спектакля на международной арене в случае провала. Пусть ругают Восточную Германию, но не советскую разведку. Потому так и важно знать, что за люди Франц и Феликс. Хватит ли у них нервов для подобной работы?

Мне показалось на секунду, что может быть здесь спрятана возможность затормозить дело.

— Не знаю, — сделал я вид, что колеблюсь. — Трудно сказать. Надо с ними поговорить и посмотреть их реакцию.

Мой ответ Панюшкину не понравился.

— Не знаете? Как же так? Вы же их рекомендовали... Только что сказали нам, что задание их не смутит... Не понимаю. Верите вы им или нет?

Я все же не хотел сдаваться и губить один из вариантов будущего отказа от задания.

— Александр Семенович, этих агентов наша служба знает, в основном, по прошлым делам. Я встречался с ними в мирной обстановке. Когда-то они были способны на операцию любой остроты, но с годами люди стареют и тяжелеют. У Франца, например, есть теперь семья, маленькие дети. Конечно, он будет более осторожным. Во Франции и Испании эти агенты шли на все, но с тех пор прошло пятнадцать лет.

Панюшкин грустно покачал головой и даже вздохнул.

— Верно. Стареют и тяжелеют. Везите их в Москву. Посмотрим все вместе, есть ли у них еще огонек. А в Берлине встречайтесь с ними почаще. Попытайтесь понять как следует их настроение.

— Но я не лечу в Берлин, Александр Семенович. За Францем и Феликсом едет Иванов.

Панюшкин повернулся к Студникову в настороженном недоумении. Тот начал объяснять.

— Мы не хотим отрывать Николая Евгеньевича от работы над планом. Операцию надо готовить очень тщательно и предусмотреть все заранее. А времени у нас мало.

Панюшкин пожал плечами.

— Всего заранее нельзя предусмотреть. И тщательная подготовка начинается с людей, а не с бумаг. Пусть он сам летит в Берлин. Посмотрит людей перед вывозом их сюда. Потом, надо бы достать через карлсхорстовскую агентуру новые сведения об объекте. Я смотрел ваши материалы. Рапорт «Вольфа» датирован августом и дает поверхностную картину. Похоже, что больше ничего другого у вас и нет.

Окунь заговорил тоном авторитета.

— Совершенно необходимо послать агентуру для предварительной разведки. Для фотографии дома, где живет объект, подходов к дому, для сбора данных о графике его жизни, об охране и прочем.

Студников вмешался своим тонким голосом.

— Мы планируем сделать это силами боевой группы по прибытии на место. А то пошлем каких-нибудь случайных людей и спугнем объект. Правда, вчера звонил полковник Комаров из Карлсхорста. Похоже, что у них есть возможность послать опытного агента. Журналист «Тэглихер Рундшау» — пронырлив и, говорят, надежен. Поедет во Франкфурт неофициально, в качестве туриста и может сделать несколько фотографий для нашей коллекции. Как вы думаете, стоит рискнуть?

— Трудно ответить, не зная подробностей, — сказал Панюшкин. — Но я позвоню Питовранову, чтобы вам оказали посильную помощь. Комаров ведь его человек?

Генерал Питовранов был совсем недавно назначен уполномоченным МВД СССР в Германии на место генерала Каверзнева. Мой старый знакомый по «московскому подполью» Комаров стал полковником и руководил одним из отделов контрразведки в Карлсхорсте.

— Да, да, Комаров в аппарате Питовранова, — ответил Студников и замялся на секунду. — Есть только одна зацепка в проекте с этим журналистом. Мне, например, кажется, что служба Комарова хочет использовать «Пильца», т. е. этого журналиста, для собственного, самостоятельного плана ликвидации Околовича.

— Ну, это не новость. Околовича все хотят убить, — иронически вставил Окунь, но ядовитую ульбку успел подавить. Панюшкин недовольно дернул углом рта.

— Странного в этом ничего нет. Задание правительственное и касается всех служб в одинаковой степени. Найдется у коллектива Питовранова возможность более перспективная, будут выполнять они.

Студников взглянул на меня многозначительно, как бы напоминая: «Ну, что я вам говорил!?» Панюшкин продолжал.

— Дело, конечно, не в красиво составленном плане. Иногда умелое разрешение технической мелочи может решить многое. Как, например, вы планируете перебросить на западную территорию оружие и деньги?

Мы ничего еще не планировали и даже не обсуждали, но глаза Студникова, буравившие меня, умоляли и приказывали что-нибудь срочно придумать.

Я избрал шаблонную отговорку.

— В дорожных вещах. Приобретем в Западном Берлине конкретные предметы в зависимости от существующих на рынке моделей и привезем в Москву. Здесь посоветуемся со специалистами.

— А оружие, какое? Систему уже установили? — не отставал Панюшкин.

— Бесшумное, наверное, — продолжал я импровизировать. — По многим соображениям. Мастерские в Кучине стали теперь отливать стальные блоки любой формы для этого оружия. Мы можем дать им внешнюю оболочку, скажем, портсигара или бумажника и они вмонтируют многозарядный блок. Для такой операции бесшумность и незаметность выстрела необходима, чтобы избежать ареста исполнителей и последующего международного спектакля.

Панюшкин удовлетворенно кивнул головой. Он заметил, наверное, что я процитировал его собственные слова, и отозвался:

— Да, да, конечно, бесшумное. Пусть люди чувствуют, что им дается возможность отхода. Самоубийц нам не нужно. Съездите перед Берлином в Кучино и договоритесь с мастерами. Должно получиться боевое оружие, а не забавная игрушка. Пусть пристреляют его и точно рассчитают действие. Ну, что ж, приступайте к работе. Мы будем помогать всем, чем можем. Не стесняйтесь просить. Валюта понадобится, дадим любую. Документы берите только самые надежные. И не один

комплект, а резервные — тоже. Личное оружие нужно или легкие автоматы — пишите заказ, достанем. Но все время помните, что работать нужно очень чисто. Авторов дела не должны открывать ни при любых обстоятельствах. Мне рассказывали о ваших прошлых делах и, в особенности о партизанских. Сегодня, конечно, обстановка иная. Но, если будете действовать спокойно и уверенно, все будет хорошо. Это дело должно стать венцом вашей тренировки и вашего опыта. Доведите его до успешного конца, и родина вас не забудет.

Студников поспешил вмешаться.

— Есть одна деталь, Александр Семенович. Я хотел с вами посоветоваться. Относительно звания Николая Евгеньевича.

Панюшкин прервал его, почти недовольным тоном.

— Вернется с задания победителем и присвоим внеочередное. Стоит ли сейчас об этом говорить?

Студников остановил взмахом руки готовое было сорваться мое замечание и продолжал:

— Стоит, Александр Семенович. Тут дело сложнее. В этом месяце Николаю Евгеньевичу подошел срок получить капитана. А знаете, как аттестационные комиссии работают, — собираются раз в год. Останется он старшим лейтенантом до возвращения с задания, что тогда будем делать? Не утвердят майора. Не дадут перескочить через звание.

Панюшкин остановил Студникова.

— Все понятно. Это совсем не проблема. Пусть едет на задание — это главное, а мы сумеем оформить ему срочным порядком капитана в самое ближайшее время. Я поговорю с кадровиками. А вы, Николай Евгеньевич, над такими вещами не задумывайтесь. У нас людей судят по делам. Поезжайте в Берлин, привезите людей и начинайте работу. Будут загвоздки, — не стесняйтесь требовать с нас. Мы-то с вас требуем.

Я хотел было объяснить Панюшкину, что разговор о внеочередном звании не имел никакого отношения к моим собственным мыслям и желаниям, но он уже поднялся с кресла. Может быть, это было и к лучшему. Самого главного я ему не мог сказать, а все остальное не заслуживало даже обсуждения.

Панюшкин аккуратно попрощался со всеми и не спеша вышел из комнаты. Окунь остался со мной. Он кивнул вслед новому хозяину разведки и сказал с уважением в голосе:

— Какой человек, а? И ведь не сегодня-завтра, станет кандидатом в члены ЦК. У него большое будущее.

Я подумал, что, по иронии судьбы, у этого большого человека в числе ступенек на подъеме в ЦК было и правительственное задание по убийству Околовича.

В Берлин я вылетел 19 октября утром гражданским самолетом «Аэрофлота». Яна проводила меня до быковского аэропорта. Вместе с нами был Иван Иванович Карасев, и мы ни о чем настоящем разговаривать не могли. Но Яна и так знала, что свое пребывание в Берлине я намерен использовать для выбора слабого звена, разорвав которое нам всем можно было бы выбраться из ловушки. Ничего другого, более конкретного, мы не могли пока решить. События последних дней развернулись с такой быстротой, что стало окончательно ясно: добровольно и мирным путем разведка не освободит меня от задания. Студников был, видимо, уверен, что мой опыт работы за границей гарантирует мой успех в роли закордонного лоцмана операции «Рейн». Всеми средствами он старался демонстрировать мне, насколько нужен для службы и для него самого успех этой операции. Его рвение граничило со смешным. За несколько дней до отлета в Берлин Студников вызвал меня к себе и заявил торжественным голосом:

— Надо оформлять проездные документы. Пришпиливайте четвертую звездочку к погонам и поезжайте в особняк к Ермолаеву сниматься.

Ермолаев был нашим служебным фотографом. Я не понял Студникова. Он ожидал этого эффекта и, победно улыбаясь, показал официальную командировку МВД СССР в Берлин, выписанную на мое имя. В ней стояло звание «капитан» и подписана она была заместителем министра — Серовым.

— Об остальном не спрашивайте, — усмехнулся таинственно Студников. — Я вам говорил, что все будет в порядке. Слово Панюшкина наверху на вес золота.

Аттестационная комиссия еще не собиралась, но можете уже считать себя капитаном. Кстати, я хотел с вами обсудить срок посылки группы на Запад. Надо бы всю подготовку здесь, в Москве, закончить к первым числам января. Понимаете, у меня жена очень больна. Я взял ей путевку в наш дом отдыха в Озерки на десятое января. Вот и хорошо бы нам разъехаться к тому времени. Вы с группой на операцию, а я временно отдыхать, к семье. Как думаете, успеем?

Я не смог ответить ему ничего определенного. Откуда мне было знать, что произойдет в ближайшие недели . . .

В Берлине, на Шенефельдском аэродроме меня встретил Сергей Мещеряков. Он уже успел отправить часть своих завербованных пленных обратно, на их родину в Западную Германию и сидел теперь в Карлсхорсте, пытаясь установить связь с новой агентурой. Он приветствовал меня своим зычным голосом:

— Привет, привет, Николай. Тебе, между прочим, телеграмма от начальства. Если рассчитываешь тут же лететь обратно, то ничего не выйдет.

Телеграмма, посланная мне вдогонку Студниковым, сообщала, что по распоряжению заместителя министра привозить Франца и Феликса в Москву до ноябрьских праздников запрещается. Вечером по телефону «В.Ч.» Студников объяснил, что руководство считает опасным привозить агентов в столицу в дни, когда она переполнена иностранными гостями. Спорить было не с кем. Вместо нескольких дней мне предстояло теперь провести в Берлине три недели.

На пустыре перед домом зафыркали прогреваемые моторы. Шофер Устиныч, как всегда перед выездом, переключил для пробы дальний и ближний свет фар. В одну из машин сели Иванов и Мещеряков. Несмотря на поздний час, они собирались еще заехать в инспекцию. В другой разместились Савинцев, Франц и Феликс. Савинцев довезет обоих агентов до карлсхорстовского вокзала электрички. Оттуда они доберутся домой сами. Машины развернулись и уехали. Я отошел от окна.

На обеденном столе остались тарелки с недоеденной закуской, бутылки из-под вина, стаканы и чашки.

На блюдечке, напротив стула где сидел Мещеряков, размякли в пролитом чае сигаретные окурки. Другие курильщики заполнили пепельницы горками выкуренных папирос «Казбек». Было принято угощать агентов во время рабочих встреч отечественными папиросами. Завтра с утра придет уборщица и наведет порядок. Когда здесь жил Коваленко, квартира была чистой и аккуратной. Став конспиративной она приобрела запущенный вид. Я посмотрел на потолок. Вокруг крюка, державшего люстру, светлело пятно залатанной штукатурки. Прошел год с лишним с тех пор, как, прицепив к этой люстре петлю, юноша из Москвы пытался найти выход из конфликта между служебным долгом и совестью в самоубийстве. Сегодня под этой же люстрой Францу и Феликсу было сказано, что их пошлют на особо ответственное задание. Точек над «i» не было поставлено. Раскрыть «исполнителям», что речь идет об убийстве, собиралось наше начальство при личной встрече в Москве. Но оба ветерана «боевой работы» понимали, конечно, что поедут на западную территорию не для сбора простой информации. Кроме того, Иванов и Мещеряков плохо замаскированными намеками дали понять Францу и Феликсу приблизительный характер операции. Я не мешал им. Мне тоже было важно проследить реакцию обоих агентов. Иванов и Мещеряков остались довольны. На лицах будущих «исполнителей» отразилась радость. Радость искренняя или хорошо сыгранная. Конечно, было возможно, что они всего лишь обрадовались концу безделья. В то же время за их эмоциями могло скрываться и другое: стремление послужить советской разведке и оправдать «доверие». На основании предыдущих встреч с ними за последние дни, изучив осторожно их настроение, я уже знал, что Франц и Феликс не будут тем слабым звеном, найти которое я надеялся в Берлине.

Я потушил свет в столовой и ушел к себе в комнату. У моей постели на тумбочке лежал пакет, который я привез накануне из западного Берлина. По кремовой оберточной бумаге рассыпались десятки золотых стрел. «Гольдпфайль» — «Золотая стрела» — так назывался магазин в западном секторе на проспекте Тауенцин. Я разрезал голубую бичевку и стал выкладывать содер-

жимое пакета на кровать. Это были вещи предназначенные для заделки оружия и денег. Обтянутые коричневым шевро портсигары для сигаретных пачек. Футляр из черной кожи с набором маникюрных принадлежностей. Дорожные несессеры — мужской и дамский. Портмоне, бумажники, записные книжки, даже игральные карты в сафьяне. Приобретать все это оптом, в одном магазине, было некоторым нарушением правил конспирации, но усердствовать и бегать по западным магазинам мне не хотелось. Чтобы не быть чересчур неосторожным, я сказал продавцу в магазине, что закупаю эти вещи для состоятельных коммунистов из восточного Берлина. Восточногерманская знать, не решавшаяся показываться в западных секторах, довольно часто поручала подобные закупки рядовым немцам.

Вещей набралось много. Московские специалисты будут довольны.

Я взял с кровати коробку для пачки с сигаретами. Крышка на пружине отскочила, сверкнув бронзовой каемкой. Коробка была пока пустой. Я закрыл крышку и снова нажал кнопку. Через несколько недель в этой коробке, за маскировкой из фальшивых сигаретных кончиков, разместятся блоки бесшумного оружия. Палец Франца или Феликса нажмет другую потайную кнопку и из блоков беззвучно вылетят стальные пули.

Есть ли у меня возможность остановить этот выстрел?

Все прошедшие недели я ломал себе голову над этим вопросом. Можно, конечно, отказаться под каким-нибудь предлогом от задания. Полностью обмануть своих начальников мне не удастся. Студников заминать мой отказ не будет. Угрожающих ноток в его разговорах о «доверии и почете» было достаточно. Это не означает, что нас троих, Яну, Алюшку и меня физически уничтожат. Репрессии обрушатся, наверное, только на меня. Переведут в какой-нибудь Барнаул. Могут даже арестовать и сослать. Семью не тронут. Скажут, что я погиб при выполнении государственного задания и прикажут молчать. Но мой личный отказ мало что изменит в судьбе Околовича. В разговорах, например, с офицерами питоврановского аппарата в последнее время все чаще проскальзывали намеки на желание этой

службы использовать «Пильца» в самостоятельном варианте. Сорвись операция «Рейн», Околовича пойдет убивать «Пильц». Не выйдет с «Пильцем», пошлют «Минского», и так далее. Даже, если отправить западным властям откуда-нибудь из Франкфурта письмо о готовящемся убийстве, вряд ли можно достичь многого. Придти к этим властям самому и положить доказательство на стол, я не могу. Уход на Запад для меня неприемлем. А анонимным письмам или телефонным звонкам они не поверят. Вот, например, доктору Хахеру не поверили. Высмеяли и посадили в тюрьму. И, кроме того, если история с письмом или телефонным звонком станет известна советской разведке, она может по мелким деталям добраться до меня. Тогда уже гибнем мы все трое. При безалаберном отношении западных властей к коммунизму это вполне возможно. Риск бессмысленный и бесполезный.

Судя по тому, как складывается обстановка, особенных шансов на помощь Околовичу у меня пока нет.

Для переброски в Москву Франца и Феликса служба Питовранова предоставила нам свой самолет. Снаружи он выглядел обычным почтовым «Дугласом». Внутри же был разделен на две половины. В хвостовой были обычные волнистые скамейки по бокам и алюминиевые решетчатые маты на полу. В половине, примыкающей к пилотской кабине, стояла настоящая мебель: кожаный диван, мягкие кресла и небольшой стол. На полу был ковер и на окнах плотные занавески. Командир самолета был одет не в авиационную форму, а в мундир полковника погранохраны и многозначительно называл свой корабль «птицей особой, специального назначения . . .»

Как только мы поднялись в воздух с берлинского аэродрома, полковник достал бутылку со спиртом, пакеты с колбасой и булками и принялся угощать попутчиков. Феликсу понравилась самая идея выпивки и закуски. Он глотнул с налету спирта, открыл рот, судорожно хватая воздух, и потом выговорил: «Карашо!». Франц пил очень осторожно, разбавляя спирт большим количеством воды. Ему было важнее видеть внимание со стороны старшего офицера, и он завязал с полковни-

ком разговор. Разговор состоял, в основном, из отдельных восклицаний полковника на ломаном немецком, из коверканных русских слов, впитанных памятью Франца за годы его сотрудничества с советской разведкой, и подкреплялся с обоих сторон усиленной жестикуляцией. Запутавшись в лингвистических дебрях, Франц вплел несколько слов по-испански.

— Ты, что, в Испании был? — прицепился к нему полковник и показал на одну из своих орденских планок. — Я тоже. Вот, видишь, Красную Звездочку получил. Но пасаран! Ферштеен?

Спирт успел броситься в голову Францу. Забыв о конспирации, он начал сыпать названиями испанских городов. Четвертый попутчик, незнакомый мне сотрудник инспекции, летевший в Москву в отпуск, бросил тревожный взгляд в мою сторону. Очевидно, он что-то знал об особом положении двух немцев, летящих в Москву. Я пожал в ответ плечами. Останавливать полковника было бесполезно. Он попал уже в то хмельное настроение, когда разговорчивость становится болтливостью, а гостеприимство — навязчивостью. Полковник взмахнул рукой, пытаясь поставить стакан на стол и выплеснул часть спирта на ковер.

— Нев-важно . . . — процедил он презрительно. — Выпить у нас хватает.

Ему удалось пристроить стакан на край стола и он обратился ко мне.

— Капитан, а капитан! Спроси своего дружка, знает он, что это за орден?

Полковник потер пальцем медаль на правой стороне мундира. Она представляла собой серебряный щит. На щите был выгравирован меч, поставленный острием кверху. Это был не орден, а значок почетного чекиста. Франц, внимательно следивший за полковником, понял по жестам, в чем дело и опередил меня, четко выговорив: «Чи-ка?». Полковник захохотал.

— Вот, это да! Знает. Свой, значит.

И подлил Францу спирта. Я ушел в хвостовую половину.

Сквозь слюдяное окошечко были видны далеко внизу хутора и городки восточной Германии. Снег еще не выпал. Было только десятое ноября. Но лесные мас-

сивы уже потеряли листву и темнели островками среди сухих осенних полей. Самолет несся по направлению к Москве. Часов через пять я буду дома.

Сзади меня открылась дверь и в хвостовую половину с шумом ввалились Франц и полковник. Полковник пьяно смеялся и приговаривал: «Нет, нет. Все! Будем меняться. У нас такой обычай». В руках его было по автоматической ручке. Франц старался сохранить веселый вид, но в глазах мелькала растерянность. Он обратился ко мне на ломаном русском языке:

— Товарищ капитан, — и тут же осекся. По выражению моего лица он видимо понял, что делить его веселое настроение я не собираюсь. Тогда он добавил по-немецки: — Скажите ему, пожалуйста, что я не хочу меняться! — Я молча взял одну из ручек, ту, что получше, и вернул ее Францу. Он запрятал ее в карман и выскользнул обратно в среднюю половину. Я попробовал придать своему голосу побольше авторитета, чтобы пробить пьяную пелену, окружавшую мозг полковника.

— Послушайте, полковник. Оставьте моих людей в покое. Мне неудобно вас при них останавливать, но всему есть предел . . .

Полковник мотнул головой.

— Ты это брось, капитан. Столько я всяких немцев в Союз на своей птице вывез, что тебе и не снилось. И каких немцев! Ученых, специалистов! За этим столом я с атомниками пил. С а-том-никами! Вот, с кем.

Он пытался потянуть меня в дверь, чтобы показать стол, но самолет качнуло. Пришедший на подмогу сотрудник удержал полковника за другую руку. Разошедшийся «хозяин самолета» вдруг сразу притих, уронил свою самопишущую ручку и дал себя отвести в пилотскую кабину. По дороге я заметил Феликса мирно храпевшего на кожаном диване. Полковник заснул сравнительно скоро. Франц взял меховую пилотскую куртку и пошел устраиваться на одной из волнистых скамеек. Сотрудник занялся газетами. Я вернулся к своему окошку. Городов внизу стало меньше и лесные острова превратились в клинья. Мы приближались к Польше. Часов через пять прилетим в Москву, но домой я попаду только к вечеру, когда отвезу агентов на

конспиративную квартиру. Яна, наверное, уже знает, что я сегодня прилетаю.

Что же я ей скажу о результатах поездки в Берлин?

Когда мы спустились на военный аэродром в Осташкове было еще светло. В открывшуюся дверь я увидел желтую «Победу», подкатившую к самолету. Вторая «Победа», синяя, стояла в отдалении. У обоих машин работали моторы. Из ближней машины выскочила Иванова в цигейковой шубе нараспашку и замахала нам рукой.

По специальному ходатайству министра внутренних дел пограничные формальности для нас были сведены до минимума. В первой машине устроился Карасев с обоими немцами, во вторую сели Иванова и я. Мы поехали по той же знакомой проселочной дороге, по которой я столько раз возвращался из-за границы в Москву. В полях между замерзшими комьями земли лежали горстки снега. У проплывавших мимо изб на углах крыш успели уже набежать сосульки. За несколько недель, что я провел в Берлине, в Москву пришла зима.

— Ну, как поездка? — спросила Тамара Николаевна.

— Ничего, — ответил я уклончиво. — Куда мы их везем?

— В Новогорск, на нашу дачу — отозвалась Иванова. — Мы ее получили несколько дней назад. Там уже все приготовлено. Даже обед.

Проехав Москву с юго-востока на северо-запад, мы миновали метро «Сокол» и вырвались на шоссе по направлению к речному порту. Километров через пятнадцать, у указателя «Новогорск», мы свернули влево, пролетели деревушку, спустились в крутую низину, тут же поднялись на гору и остановились у съезда с шоссе на узкую колею от автомобильных шин.

Тамара Николаевна высунулась из окна и помахала шоферу передней машины: «Здесь, здесь, поворачивайте!»

Попрыгав по ухабам колеи, мы подъехали к дощатому забору. По верху его тянулась колючая проволока.

За забором залаяли собаки. Карасев выскочил из машины и нажал кнопку звонка. Ворота открылись. Мужчина в ушанке, телогрейке и валенках махнул нам: «въезжайте». В глубине большого участка, засаженного молодыми деревьями, виднелся широкий одноэтажный дом с террасой. Из трубы валил дым. У конур, недалеко от дома, две немецкие овчарки, привязанные на коротких поводках, бешено рвались нам навстречу.

Дача оказалась теплым прочно построенным домом, прекрасно меблированным, с несколькими спальнями, ванной, кухней, электрической плитой, холодильником и с собственной системой центрального отопления. В большой столовой стоял круглый стол, буфет красного дерева и на этажерке у окна мощный радиоприемник «Волга». В отличие от радиоприемников на других казенных квартирах, он прекрасно работал. Терраса была застеклена и уставлена соломенными креслами. Рядом с выходом на террасу, в небольшой комнате, лежали на полу спортивные тюфяки и, у стен, ватные валики. В ответ на вопросительный взгляд Феликса, Иванова объяснила: — «Здесь вы будете проходить тренировку в джиу-джитсу». — Агенты многозначительно переглянулись.

Женщина в белом переднике и наколке спросила, подавать ли обед. Иванова утвердительно кивнула. Я хотел было распрощаться.

— Выпейте хотя бы рюмку с нами за благополучный приезд, — попросила Иванова. Пришлось остаться. Феликс побежал мыться и чиститься. Франц стал рыться в книжном шкафу и победно вытащил несколько немецких книг. Я пошел перегружать мой чемодан в машину Карасева.

Стол, накрытый к обеду, выглядел торжественно. Проголодавшиеся Франц и Феликс накинулись на многочисленные закуски. Я чокнулся с ними по случаю «благополучного прибытия в Москву» и оставил раскрасневшуюся не то от вина, не то от усердного внимания к ней со стороны двух мужчин Иванову устраивать кандидатов в убийцы на жительство в казенной даче.

По пути в Москву я спросил Карасева, откуда к нам попала эта «дача».

— А очень просто, — ответил «карасик». — Жила здесь раньше одна бабенка, любовница Берии. У него тоже в этих местах дача была. Дальше, за Новогорском. По дороге в Москву и наведывался. У бабенки, между прочим, даже ребенок появился. От него, наверное. Потом, когда полетел Лаврентий Павлович, бабенку тоже вымели. Не знаю, что с ней сделалось. В общем, дача эта некоторое время пустовала, а недавно ее нам дали. Ваши ребята как раз и обновят.

Я невольно тряхнул головой, стараясь выбросить из сознания все эти комбинации высокопоставленных любовниц, падших министров, будущих убийц и прочих атрибутов великой догмы «так нужно для государства». От дома, от Яны и Алюшки меня отделяли теперь минуты.

Машина остановилась у арки ворот. Я попрощался с Карасевым, прихлопнул дверцу и потащил свой чемодан сквозь туннель ворот.

Заслышав звук шагов по деревянным ступенькам, Яна открыла дверь. На душе у меня было одновременно и тепло и тревожно. Я не привез с собой никакого решения. Это плохо. Яне будет тяжело услышать о моем бессилии. Как бы сделать так, чтобы она увидела сложность положения, убедилась, что дело не в нерешительности, что я просто хочу действовать в границах здравого смысла, что я . . .

Цепочка моих мыслей прервалась. Янины руки обняли меня и потянули вглубь квартиры.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мама и сестра ушли. Сестра, смотревшая передачу из театра, забыла выключить телевизор. Пустой зеленый экран озарял комнату мягким отблеском. Алюшка спал. Я привез ему из Берлина новую игрушку, заводной мотоцикл, бегающий замысловатыми кругами. Он топал за ним целый вечер, устал и заснул необычно быстро.

Яна щелкнула выключателем в кухне и зашла в спальню, посмотреть на сына. Шелест ее халата показал мне, что она вернулась в столовую. Яна задернула поплотнее половинки портьеры и остановилась у телевизора.

— Выключить?

— Не надо. Пусть погорит. Не хочется свет зажигать.

Она села рядом со мной на диване. Мы молча следили за рваными зигзагами, замелькавшими на экране. Передача кончилась и стали заметны помехи от искрящих троллейбусных дуг на соседнем Арбате. Вспышки озаряли Янины глаза, смотревшие мимо меня. Она уже знала о моей неудаче в Берлине. Но мы не успели поговорить подробно.

— Немцев, по-видимому, убийство не испугает. . . — сказал я.

— Да? . . — машинально отозвалась Яна. Она не знала деталей о Франце и Феликсе, но понимала, что я имел в виду. Я продолжал:

— Обсуждать с ними моральную сторону задания бесполезно. И вряд ли, что даст. Даже если они откажутся, найдутся другие. Вообще, кто бы из нас ни отказался, это уже не изменит самого главного. Может быть, такова судьба Околовича . . .

Яна покачала головой, стараясь остановить ход моих мыслей.

— Дело в нашей собственной судьбе . . .

— О нашей судьбе я и беспокоюсь, — согласился я. — Вернее, о твоей и Алюшкиной. Если я начну воевать с ветряными мельницами, то, в первую очередь, потеряю вас. И ничего существенного, при этом . . .

Яна прервала меня.

— Какие же это ветряные мельницы, Коля. Самые настоящие злые силы, если уж вспоминать Дон-Кихота. Неужели ты не понимаешь, что пытаясь оставаться в стороне, ты нас потеряешь гораздо скорее? Именно сейчас выяснится, были твои попытки уйти из МГБ искренней борьбой или половинчатым самообманом . . .

— Но и рубить с плеча в нашем положении слишком опасно, Яна. У МВД длинные руки.

Яна отмахнулась от моих слов.

— Совсем уж не такие длинные. Ты это знаешь лучше меня. Да и потом, в лагерь мы с тобой готовы попасть еще с прошлого года. Как раз в этом случае, мы друг друга не обязательно потеряем, в настоящем смысле слова. И Алюшка нас. Лучше уж Колыма, чем концлагерь собственной совести. Ведь, если убьют Околовича, ты все равно будешь считаться одним из его убийц. Наша жизнь с тобой рухнет. Рухнет безнадежно и непоправимо. Я не смогу остаться твоей женой. Это совершенно ясно. И Алюшке не смогу рассказать об отце-убийце. Значит, он будет расти без отца . . . Зачем ты заставляешь меня говорить все это вслух?!

Она глубоко вздохнула, как бы пытаясь сбросить тяжесть всего происходящего. Я пошел к телевизору, выключил его, зажег лампу и, наливая в чашку остывший чай, ответил медленно:

— Все это, правильно, Яна. Я и не хотел об этом спорить. Получилось как-то, в пылу разговора. Но ты упрекаешь меня в слабости. Ты не называла слова «слабость», но оно все равно присутствует. Пойми, что когда

я говорю о ветряных мельницах или осторожности, это не отражается на моем стремлении остановить убийство. Да, я не успел еще ничего найти. Но и ты, при всей своей непримиримости, до сих пор не выговорила вслух ни одного практического решения...

Голос Яны зазвучал почти негодующе:

— Я женщина и совершенно гражданский человек. Никогда не работала в разведке. Откуда мне знать тонкости этого учреждения? Да и вообще, причем тут мое решение? Ты и сам его найдешь, если перестанешь на нас оглядываться, на меня и Алюшку. Я готова разделить любой твой риск. И говорила с тобой так резко для того, чтобы ты чувствовал себя свободным в своих действиях.

Я невольно усмехнулся.

— И для того, чтобы напомнить, что в случае убийства Околовича, у меня больше не будет ни жены, ни сына.

Яна почувствовала, что я сказал это без досады и лицо ее посветлело.

— И для этого тоже, — кивнула она. — Ты же сам потом сказал, что все правильно. Давай, не будем спорить по мелочам. Если наш разговор зашел в тупик, отложим его лучше на другой раз.

— Да, нет. Зачем откладывать! — возразил я. — Наоборот. Пожалуй, мы только начинаем выходить из тупика. Я получил твое разрешение, похожее на ультиматум и могу теперь действовать за пределами здравого смысла. Я не иронизирую, не морщься. Я только ставлю точки над «i». Очень нужные точки. Уже ясно, что выход может быть только в каком-то совершенно необычном шаге. Причем, не здесь, а на западной территории. Здесь я винтик. За мной следят десятки глаз. Там я хозяин операции и держу все карты в своих руках.

Чая я так и не отпил и продолжал рассуждать вслух:

— Путь, наверное, только один. Сделать так, чтобы о планируемом убийстве узнала широкая публика. Тогда задание будет отложено надолго, а наше правительство займется опровержениями. Но, как и кому сообщить? Просто некому и все. Полиция словам или ано-

нимным посланиям не поверит: ей нужны люди или факты. Не могу же я посадить немцев в кафе и выдать их полиции заблаговременным телефонным звонком. Мелко и бесполезно.

— И нечестно, — добавила Яна. — Откуда ты знаешь, как немцы в душе относятся к заданию? Может быть, они просто очень хорошо играют роль, и так же как ты, не могут отказаться. Да и вообще, не нам судить их и наказывать.

— Не знаю, Яна. Может быть, и не совсем так. Если окажется абсолютно необходимым посадить их в тюрьму на несколько недель за переход границы с фальшивыми документами, то наша с тобой совесть будет чиста. В этом случае они отделаются легче, чем за убийство Околовича. Ну хорошо, не будем спорить. Все равно, этот вариант не выход. Западные власти не захотят связать арестованную агентуру с фантастическими слухами о планируемом убийстве какого-то русского эмигранта.

Я остановился, потом залпом выпил чай и заговорил так громко, как это можно было делать шопотом:

— Знаю! Нашел!! Как я не подумал об этом с самого начала. Ломаю голову над полицией, западными властями, всякой мурой. А решение, вот оно — правильное и беспроигрышное.

Я пересел на диван и, постукивая ребром ладони по Яниному колену, стал ей рассказывать, как рассказывают таблицу умножения:

— Пойду прямо к Околовичу. Устрою так, что никто о моем приходе не будет знать. Ни до, ни после. Все ему расскажу. Так мол и так. Пути наши скрестились и давайте решать вместе. Что может быть проще? С ними я? — С ними. С этого и надо начинать. Это и есть самое главное.

Яна недоверчиво покачала головой.

— Я не понимаю, серьезно ты или балагуришь? Ведь он снимет телефонную трубку и позвонит в полицию.

— Околович? Позвонит в полицию? Революционер? Подпольщик, к которому пришел один из последователей его организации? Ты, что, Яна! Он обязан верить людям уже в силу своей профессии. Никакой револю-

ции, со страхом и недоверием в собственной душе, не сделаешь. Ты знаешь, когда он был нелегально в СССР, он доверился даже своей сестре, совершенно непосвященному и неподготовленному человеку. И открыл ей, что он революционер, считая, наверное, что, прежде всего, нужно верить людям. Как же иначе? А тут, к нему на квартиру в западной зоне, в безопасное для него место, придет русский человек за советом и помощью. Придет, чтобы включиться в революционную работу. Да он просто не может выдать меня в силу своих убеждений.

Яна не соглашалась.

— Кроме убеждений есть еще обязанности. Откуда ты знаешь, какие у него взаимоотношения с западными властями? Может быть, он по закону не имеет права умолчать о твоем приходе?

Я не сдавался.

— Какие там обязанности? Подпольная организация всегда вынуждена стоять в какой-то степени вне закона. Советскую 58-ую статью они не боятся нарушать, а западного полицейского предписания испугаются? Не может этого быть. В конце концов, НТС не какая-нибудь западная лавочка для перетаскивания советских людей на запад, а независимая русская, понимаешь, русская революционная организация.

Яна посмотрела на меня почти сочувствующе.

— Откуда ты это знаешь?

Я запнулся на секунду. Действительно, почему я так в этом уверен?

— Да, абсолютных гарантий у меня в этом нет. Но, почему-то, я верю в НТС и Георгию Сергеевичу,и что судьба русского человека для них важнее любых стратегических тонкостей.

Я в первый раз назвал Околовича по имени-отчеству. Эта оговорка заставила меня повторить с еще большей силой:

— Верю, что они независимы, свободны и, вообще, настоящие революционеры, а не агенты разведок. Я тебе даже скажу, откуда у меня такое впечатление. Из их газеты, из листовок, из всего их мировоззрения, из отношения к западу и к нашему народу. Да, наконец, следственные дела по НТС говорят, между строчек, о

том же самом. В тени каждой иностранной разведки антисоветских организаций, под русскими вывесками, как грибов полно. Советская власть о них не беспокоится. Знает, что русский народ за иностранными наемниками не пойдет. А вот против НТС советская разведка разворачивает целую тайную войну: по высочайшим указаниям и с применением любых средств. Нет, нет. НТС — русская организация, иначе советская власть не боялась бы ее так сильно.

Яна взглянула на меня искоса и подбросила совсем тихо:

— Или, может быть, ты очень хочешь, чтобы было так?

— Возможно... Конечно... Очень хочу, чтобы было именно так.

Яна поправила завернувшийся обшлаг моей рубашки и сказала, обняв мою руку:

— Ладно, Коля. Делай так, как хочешь и, как веришь. Ты прав. Мы обязаны считать, что Георгий Сергеевич тебя поймет и не выдаст. Выбора у нас нет. Это самое честное, что мы можем сделать. Даже, если нам и суждено ошибиться.

В ночь с десятого на одиннадцатое ноября в Москве выпал снег. Утром механические дворники засуетились на главных улицах и шоссейных магистралях. Широкими, косыми рылами они сталкивали снег к краям дорог и выбрасывали вдогонку струи снежной пыли из-под круглых метел.

В два часа дня, когда мы выехали на шоссе, ведущее к Новогорску, асфальт был уже чистым и зигзаги коричневого песка размяты шинами. Я сидел в заднем углу машины и смотрел на уносившиеся назад, к Москве, ровные горки сметенного снега. Студников обернулся с переднего сиденья.

— Между прочим, Пильц вернулся с той стороны, — сказал он. — Помните Пильца?

Его слова были обращены, вероятно, ко мне, а не к Окуню. Студников, как начальство, мог сам решать, о чем ему говорить в присутствии шофера. Я же предпочел ответить нейтрально:

— Помню. Тот, который предлагал работать самостоятельно.

— Точно, — кивнул Студников. — Насчет самостоятельности у него, конечно, ничего не выйдет. Мы тоже не лыком шиты. А вот сходил он туда неплохо. Бродил по местам для нас интересным. Даже принес несколько удачных фотографий.

Окунь вынул руку из кожаной петли над окном и начал открывать свой портфель.

— Фотографии неплохие, — подтвердил он. — Только жаль, что нужного нам человека Пильц не сумел ни сфотографировать, ни даже увидеть.

— Да, это плоховато, — согласился Студников. — Хорошо бы ребятам показать личность объекта так, чтобы запомнили и, главное, узнали. Кстати, вы помните снимок за столом? Ну тот, единственный, который у нас по этому человеку? Так вот, источник, через который мы этот снимок получили, завалился. Тот самый, который с краю сидит, круглолицый и лысеватый. Ему, между прочим, было приказано не размениваться на мелочи, а он, дурак, взял да полез в какой-то секретный ящик, да еще в тот момент, когда за ним следили. Ну, накрыли, конечно. Обидно. Парень был с перспективой. А Пильц вот принес только снимки дома. Но и то хорошо. Хоть подходы можно изучить...

Я взял из рук Окуня стопку любительских фотографий на тонкой бумаге. На одной из них был вид пятиэтажного дома, снятый, очевидно, с противоположной стороны улицы. Стрелка, сделанная чернильным карандашом показывала на одно из окон пятого этажа. Вероятно, квартира Околовича. На другой карточке был парадный подъезд снятый вблизи. Карандашная стрелка отмечала здесь табличку со звонковыми кнопками рядом с входной дверью. На следующей карточке эта же табличка была снята крупным планом.

Заметив, что я пытаюсь рассмотреть надписи на доске с кнопками, Студников сказал с грустью в голосе:

— Табличку изучаете? Да, с этими звонками проблема. Приедем на дачу, обсудим.

Я вернул карточки Окуню не досмотрев до конца.

— Неудобно рассматривать в машине. Тогда и посмотрю, вместе с вашими объяснениями.

На даче нас ждали с обедом. Студников вкатился быстрыми шагами в столовую и потряс руки обоим агентам с демонстративной сердечностью. Я представил свое начальство:

— Лев Александрович ... Сергей Львович ...

Больше агентам ничего не было сказано и больше им ничего не полагалось знать, но по поведению Студникова нетрудно было понять, что хозяин в этом обществе именно он. Студников деловито осматривался по сторонам, задавал короткие и строгие вопросы о горячей воде, есть ли дрова, подвезли ли достаточно продуктов, почему не поставили до сих пор антенну для радиоприемника и, вволю подчеркнув свою демократичную дотошность в мелочах, вернулся к обоим агентам. Он покровительственно хлопнул Франца по плечу:

— Как спали? Не замерзли? Погодка-то у нас здесь похолоднее берлинской. Это вам не дойтчланд.

Он раскатисто засмеялся. Потом, взглянув на стол, накрытый к обеду, спросил с нарочитой серьезностью:

— А где же водка? Разве можно гостей встречать без водки?

Настя, так звали женщину следившую за хозяйством на «даче», внесла металлический поднос с водкой. Она переливала ее в графин.

— Ну, что же, прошу к столу? — полуспросил, полупригласил Студников.

Ели все довольно усердно. Феликс не скрывал, что после скудного продовольственного режима восточной Германии, он был искренне рад обилию редких и дорогих закусок на столе. Франц делал вид, что интересовался в основном национальными русскими блюдами. Студников, подвигая к Францу тарелки, произносил русские названия блюд «по буквам» и тем искусственно громким голосом, которым недалекие люди разговаривают обычно с иностранцами. Мы с Окунем молча ели и ждали, когда наши переводческие способности понадобятся начальству.

Студников разлил водку по рюмкам.

— Ну, что ж, товарищи ... — Он бережно закрыл графин, скрипнув притертой пробкой. На лице его сияла торжественная улыбка. — Переведите, что пьем за их приезд в Москву. Такие поездки — явление не пов-

седневное. Мы привезли их сюда потому, что хотим подчеркнуть важность задания. Так сказать, наше особое доверие к ним. Так, что пьем и за то, чтобы это доверие оправдалось.

Окунь перевел. На туманный тост Студникова немцы ответили сдержанными жестами благодарности. Но чокнулись и выпили они с энтузиазмом.

Студников продолжал свою роль радушного хозяина.

— Как им Москва понравилась?

— А мы ее еще и не видели, — ответил Феликс, выжимая лимон на бутерброд со шпротами.

Окунь поставил обратно вазочку с зернистой икрой и вмешался на немецком языке.

— Но вы проезжали через город. Видели архитектуру, улицы, общий вид Москвы. Какое ваше первое впечатление?

Франц принял из рук Насти тарелку с борщем, взял было ложку, задумался и заявил авторитетно:

— Много телевизионных антенн на домах. Это знаменательно. Значит, у людей есть деньги для телевизоров и время смотреть программы.

— А у них, в Берлине, есть телевизоры? — поинтересовался Студников.

— Лично у нас? — переспросил Франц и получив ответ, засмеялся. — Что, вы! У нас лично телевизоров нет. Вообще-то в Берлине есть телевизионный центр. Но — две тысячи марок!!! Нам телевизор не по карману. В моем хозяйстве, например, и так много дыр. Не знаю, как у него. Он ведь холостой.

Феликс покачал скептически головой.

— Еще неизвестно, кому жизнь обходится дороже, женатому или холостому. У холостого столько непредвиденных расходов.

Студников вежливо посмеялся и сказал, подняв указательный палец.

— Скажите, что когда вернутся с задания, обязательно подарим им по телевизору. Пусть считают, что им это обещано. И о материальных проблемах не надо им беспокоиться. Устроим все, что надо. Семьям дадим единовременное пособие на несколько месяцев вперед,

а потом придумаем какую-нибудь премию. Так что все заботы об этих делах пусть выбросят из головы.

— Это очень мило, — кивнул Феликс и, показывая на Франца, добавил: — У него жена еще слабая после родов, с сердцем что-то. Осложнение, говорят. Нельзя ли ее на месяц-другой в санаторий?

— Да, да, конечно, — заторопился Студников, — обязательно. Напомните мне позвонить Иванову в Берлин, — обратился он к Окуню. — Пусть устроит через немецкий профсоюз, а мы оплатим.

— Все будет в порядке, — вернулся Студников к Феликсу. — И город посмотрите, как следует. Поводят вас по театрам. На балет надо их, обязательно. Ну, в музей, там. В Третьяковскую, конечно...

— Мав-зо-леум, — выговорил Франц и поднял руку, как бы демонстрируя, что он кандидат на посещение.

Студников сморщился, почти болезненно.

— С мавзолеем трудней. Билеты туда распределяют очень скупо. Из нас, например, никто еще не был. Ну, да ладно. Как получим первые билеты, пойдете. Запишите, Сергей Львович, чтобы не забыть.

Обед продолжался в таком духе еще с полчаса. Окунь записал еще несколько мелочей, связанных с обеспечением семей агентов и развлекательной стороной их визита в Москву.

Потом Настя принесла чай и кофе. Студников и я от кремового пирожного отказались. Студников вынул пачку «Казбека» и положил ее между собой и агентами: — «Курите, товарищи...»

— А, Казбек! — улыбнулся Феликс. Папиросы были ему знакомы еще с конспиративных встреч в Берлине.

Настя убрала со стола и постелила цветную скатерть. Окунь вопросительно взглянул на Студникова. Тот кивнул:

— Да, да. Приступим к делу...

Окунь взял с буфета свой портфель и начал выкладывать карты, конверты, папки. Студников засунул руки в карманы брюк и покачался взад-вперед на стуле, как бы в раздумье. Потом повернулся ко мне.

— Скажите им так: в Западной Германии, в городе Франкфурте, живет один человек. Он очень опасен и для Советского Союза и для их страны, Восточной Германии. Этого человека нужно ликвидировать.

— Что значит, ликвидировать? Это? — спросил Франц.

Он поднял руку, вытянув указательный палец, как дуло пистолета и щелкнул языком.

— В общем, да, — отозвался Студников. — Но дело не в выстреле. Выстрела не будет слышно. Скажите, что мы дадим им бесшумное оружие. Последнее достижение техники. Можно так выполнить задание, что никто и не заметит. Это важно, чтобы суметь уйти. Но вот, как добраться до этого человека, еще вопрос. Как его найти и подойти поближе. А бить — надо наверняка, повторные заходы исключаются. Знаем мы об этом человеке и много и мало. Много, чтобы понять, что он из себя представляет, но мало, чтобы точно решить, где его лучше прижать в угол.

Окунь воспользовался паузой и протянул Францу фотографию Околовича за обеденным столом, присланную «Вольфом».

— Второй слева, ваш человек. Тот, что в очках. Мы знаем его домашний адрес. Он живет вот здесь.

Окунь расправил план Франкфурта, нашел точку, поставленную красным карандашом и положил рядом с ней карточку из тех, что были получены от «Пильца».

— Вот этот дом. Расположен он для нас удобно. В нескольких метрах конечная остановка трамвая номер 15. Фотография подъезда снята как раз с трамвайной остановки. Здесь, на других карточках, разные виды на дом с разных расстояний.

Фотографии пошли по рукам. Франц заметил тоном эксперта:

— На улице, перед домом, не хотелось бы. Трудно задержаться рядом с подъездом на долгое время, чтобы не заметили, а подбегать с остановки невыгодно. У него, ведь, охрана есть, наверное?

— Точно не знаем, — ответил Студников. — Что он осторожен, нам известно. Ездит, между прочим, на своей машине — черный Мерседес. Номер машины у нас имеется. Правит иногда сам, но, говорят, что всегда с

ним кто-нибудь есть. Может быть, и охрана. Будем считать, что к нападению он готов. Значит, нужно выбрать момент, когда он останется один, чтобы уж наверняка.

— Если он ездит на машине, охрана, наверное, не сопровождает его в самый дом, — вмешался Феликс. — Может быть перехватить его на лестнице? В момент приезда или когда он утром уезжает. У него есть какой-нибудь постоянный график жизни?

— График мы не знаем, — ответил Окунь. — Место работы известно. Там он бывает почти каждый день. Но график вам придется выяснить самим. С лестницей, однако, вряд ли выйдет. Парадный подъезд запирается на электрический замок. Знаете, такой, что нужно звонить сначала жильцам, а уже они, с помощью особой кнопки в каждой квартире, открывают вам электрический замок подъезда. Дом населен эмигрантами. Народ пугливый. Так просто не откроют. Спрятаться на лестнице вряд ли удастся. Тем более остаться там на ночь: немедленно обнаружат. Надо что-то другое. Без автомашины вам, наверное, не обойтись.

— Это правильно, — согласился Франц. — Машина очень пригодится.

— А вы ведь профессиональный шофер? — обратился Студников к Феликсу.

— Ну, уж, профессиональный, — отмахнулся тот. — Я работал шофером когда-то, как любитель и не очень долго, но с машиной справлюсь с любой.

— Деньги на машину дадим, а купить ее в Западной Германии, наверное, легко. Не так ли? — обратился Окунь ко мне.

— Зависит от документов, — ответил я. — Но лучше снять. После выполнения задания ее можно быстро вернуть. С купленной будет возня. Продавать не хватит времени, а бросать нельзя. Полиция может набрести на след. Но все это проблемы несложные. Возьмем машину.

— А здесь, в Москве, мы вас потренируем как следует в вождении автомашины и в принципах ее использования для задания, — вернул Окунь к себе нить разговора. — По плану учебы мы даем вам две автомашины и специального инструктора. Отрепетируете разные варианты по использованию автомашины для задания.

Попробуйте, например, догнать второй автомобиль, и произвести учебный выстрел в окно. Или, сбить вторую машину к тротуару, остановить ее и симулировать аварию. В реальной обстановке, оказывая «помощь пострадавшим» от такой аварии, вы сможете, при удобном случае, пустить в ход бесшумное оружие.

— Что это за бесшумное оружие, — поинтересовался Франц. — Как хоть оно выглядит?

Окунь вопросительно взглянул на меня. Форма оружия еще не была разработана. Мне предстояло отвезти в Кучино предметы, закупленные в Западном Берлине, чтобы «техники» могли утвердить окончательный вариант.

— Наверное, это будут портсигары, — ответил я. — С потайной кнопкой под оболочкой. Вы сможете спокойно держать их в руках при любых обстоятельствах. Сам выстрел бесшумен и со стороны не заметен. Главное же, что это оружие внешне совсем не похоже на оружие. Так что вариант с аварией и оказанием «помощи», в общем, реален. Придется только поучиться как следует обращению с этим оружием. Оно бесприцельно и требует навыка в стрельбе.

Студников попросил перевести все сказанное на русский язык. Потом он утвердительно кивнул:

— Учиться им придется много. Так и скажите. Физическую тренировку пройдут. О джиу-джитсе слыхали? Ну вот, у нас для них хороший учитель есть. Чемпион Советского Союза. Потом стрельбе из разного оружия поучим, не только бесшумного. Надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Потом . . . Что там у нас еще?

Окунь поспешил на помощь и стал перелистывать страницы «учебного плана».

— Управление машиной, знакомство с системами связи, тренировка по наружному наблюдению. Знаете, что это такое? Вам покажут, как вести слежку за объектом и как уходить от слежки со стороны противника: пешком и на автомашине. Потом порепетируете несколько вариантов выполнения задания. Подберем похожий дом и разработаем систему вашей сигнализации, работу по часам, когда не видите друг друга, варианты отхода, взаимной помощи и прочее. Поучитесь распа-

ковке дорожных вещей с заделанными в них документами и деньгами и упаковке обратно, на прежнее место. У нас ведь будет наверное не один набор документов.

— Кстати, о документах, — прервал его Франц. — По моему горькому опыту, они отнимают больше всего времени в подготовке. Нельзя ли нам решить поскорее, чем будем пользоваться и не терять времени?

— Не беспокойтесь, — ответил Студников. — На этот раз задержек не будет. А насчет легенд и документов спрашивайте товарища Иосифа. Он будет руководить вами на той стороне.

Все четверо уставились на меня.

— Мы поговорим отдельно на эту тему, — уклонился я от обсуждения — В принципе, будем использовать то, что вы уже хорошо знаете по прошлым вариантам вашей работы и те бумаги, что хранятся для вас в наших сейфах.

— Вообще же, я хочу вас предупредить, — снова вмешался Студников, обращаясь к агентам. — Здесь мы вас тренируем, шлифуем, так сказать, ваши способности. Принимайте в подготовке задания творческое участие. Это хорошо. Мы любим критику, если она помогает делу. Но на той стороне у вас будет командир, которого вы обязаны слушаться, как на фронте. Железная дисциплина, понимаете? Мы даем вам в руководители одного из наших опытнейших разведчиков, и его приказ — наш приказ. До меня дошли слухи о всяких спорах, которые у вас были с нашими офицерами в Берлине. Но Восточный Берлин одно дело, западная территория другое. Конечно, ликвидация поручена лично вам двоим и вы за ее выполнение отвечаете. Но мы отвечаем за вас, не забывайте этого. И еще: планируйте ликвидацию так, чтобы противник ничего не мог захватить — ни вас, ни каких-либо улик. Это очень важно. Самое главное для вас в этом деле: незаметно и удачно подойти, а потом быстро и чисто смотать удочки.

Пока Окунь пытался подобрать подходящее немецкое выражение к русскому «смотать удочки», я думал, что моя собственная цель во всем этом деле, примерно, такая же. Незаметно и удачно добраться до Околовича, и потом, после разговора с ним, быстро уйти обратно.

Сделать это совершенно незаметно для обоих сторон: для западных властей и для советской разведки. И, главное, сделать раньше, чем Франц и Феликс дорвутся до Околовича.

Мебель в служебном кабинете Панюшкина была меньше и проще, чем парадная дубовая мебель особняка в Турчаниновском. Но и здесь, в здании МВД, он казался утонувшим в глубине кожаного кресла. Как обычно, он съежился и сгорбился, и нам со Студниковым была видна лишь верхняя половина его темносерого пиджака. Локти он положил на боковины кресла и, подняв кисти кверху, составил кончики пальцев обеих рук, не спеша их перебирая.

— Так что же все-таки происходит с оружием? — спросил он еще раз.

Мы со Студниковым сидели друг против друга по эту сторону массивного письменного стола и я видел, что выражение глаз полковника было демонстративно безучастно. Он знал, конечно, почему происходит задержка с бесшумным оружием, но хотел, видимо, подчеркнуть, что его личная ответственность касается более высоких сфер.

— Блоки заказаны и их отливают по размеру портсигаров, — начал я отчитываться. — Будет два блока, двухзарядный и четырехзарядный. Кроме того, агенты получат по трехзарядному пистолету с бесшумными гильзами. Чертежи механической части, предохранителей и переключателей уже разработаны. Завтра нам должны показать модели. Но с пулями все застыло на мертвой точке и похоже, что надолго.

— Почему? — коротко бросил Панюшкин. Он чуть повернул голову в сторону и продолжал смотреть на меня полувопросительно, полунедоумевающе.

Я пожал плечами.

— История какая-то темная. Я не специалист и когда они забрасывают меня терминами, приходится верить на слово. По Наумову выходит, что скорость пули слишком велика: пуля может пройти на вылет, тогда он не гарантирует действие яда. Если даже и облегчить пулю и подобрать заряд пороха, то все равно форма стальной болванки по конструкции оружия такова,

что порвет много лишних тканей: массы свернувшейся крови заблокируют пути рассасывания и, прежде чем яд подействует, пулю могут удалить.

— Кто это, Наумов? — обратился Панюшкин, почему-то к Студникову.

— Начальник двенадцатой лаборатории, — ответил тот. — Кандидат химических наук. Я его лично не знаю. Видел, так, несколько раз. Они, из двенадцатой, говорят, даже сами по своей лаборатории ходить боятся. Вообще-то, я их понимаю. Страшное дело. Чуть что лизнешь нечаянно, и поминай, как звали. Но с конспирацией они перебарщивают: даже когда от себя, с Колхозной, к нам сюда едут и то машину меняют.

— Правильно делают. У них работа такая, — отрезал Панюшкин и вернулся ко мне. — Ну, и что же? Разве нельзя подобрать особую конструкцию пули? На то они и экспериментаторы. Делали же наши лаборатории спецпатроны, и не раз.

— В том-то и штука, что делали для обычного оружия, — возразил я. — Сейчас Наумов работает над какой-то особой смесью, которая сможет якобы растворить часть свернувшейся крови. Сколько времени займут его эксперименты, он не знает. С другой стороны, мастерские в Кучине с проблемой начинки таких пуль встречаются впервые. У них тоже всякие «но». Надо, например, подобрать оптимальную полость для яда так, чтобы и смесь не выпала в полете и поверхность соприкосновения была достаточной. Но данных о количестве вещества и об его консистенции они от двенадцатой лаборатории еще не получили. Значит и планировать бесполезно. Кроме того, высверлить полость нужно так, чтобы осталась жесткость пули. Придется ведь, возможно, стрелять и через автомобильное стекло. Они пробовали ряд образцов и часть их, пройдя стекло, рассыпается. Опять таки, форма полости зависит от характера вещества и степени его соединения со сталью. В общем, как говорят, голову вытащат, ноги увязнут.

Панюшкин слушал внимательно, а потом развел руками:

— А зачем соединять пули для пробивки и пули для самой ликвидации в один комплекс? У вас двое боевиков и два портсигара. Да еще пистолеты. Пусть сде-

лают два вида пуль. Нет, что-то эти техники излишне мудрят.

Он снял телефонную трубку и сказал секретарю:

— Соедините меня с двенадцатой лабораторией. С Наумовым . . .

Он ждал, поцарапывая ногтем чернильное пятно на стекле стола. Потом заговорил снова:

— Товарищ Наумов? Панюшкин . . . Может быть зайдете ко мне сегодня часа в три? Надо кое-что обсудить. Прекрасно. Значит, в три.

Он бросил трубку и снова снял ее.

— Вызовите Хотеева или кого-нибудь еще из кучинского хозяйства сегодня на три часа ко мне.

Потом откинулся обратно в кресло.

— Этот вопрос мы решим. Они договорятся. Я вам это гарантирую. Ну, а для себя берете какое-нибудь оружие? И если берете, то как думаете повезти через границы?

— Нет. Для себя ничего не беру. В моем положении мне, пожалуй, лучше вести себя мирно до самого конца. Паспорт у меня будет настоящий, а стрельбой можно только погубить все дело.

Панюшкин спорить не стал.

— Переброску людей и документы для них разработали? — продолжал он расспросы.

— В общем, да, — ответил я. — Легенды подобраны и они их заучивают. Австрийские паспорта у них есть, а комплекты западногерманских документов им готовятся. Схема движения курьеров и общей системы связи группы будет закончена в ближайшие дни.

— Как оба немца себя ведут? — не унимался Панюшкин.

— Ничего, ведут. Учатся. Много и усердно. Порыв у них, видимо, есть. Тренируются во всю.

— Я не о том, — поморщился Панюшкин. — Бог с ним, с порывом. Вы сумели к ним приглядеться? Помните наш разговор? Как они живут, чем дышат, разобрались? Знаю, знаю, в душу им заглянуть нельзя. Но здесь, в Москве, они двадцать четыре часа на виду у наших людей. Какой же вывод?

Я подыскивал слова, и Студников решил вмешаться.

— Николай Евгеньевич много работает над планом. С агентами, в основном, Иванова и Окунь. Кроме того, получаем рапорта от сотрудников, обслуживающих дачу. Все сведения хорошие. Ребята боевые и по-настоящему рады заданию.

Панюшкин задумался. Он смотрел вниз и морщины на его сером лице казались особенно резкими. Потом, постучав кончиками пальцев друг о друга, он поднял глаза:

— Ну, хорошо... Ваши люди, вам виднее. С планом действительно надо спешить. Его ждут наверху. Да и работать будет легче, когда принципиальную базу утвердят. Ориентировку прочитали? Нет? Дайте ему ориентировку, товарищ Студников, пусть ознакомится. Так помните, будут неполадки или задержки — не стесняйтесь, рапортуйте немедленно. До свиданья.

Он протянул мне через стол руку и занялся какими-то папками. Студников и я вышли из кабинета.

— Что за ориентировка? — спросил я.

— По НТС. Зайдите ко мне, я ее вам дам. Только не надолго. Я сам еще не читал.

«Ориентировка» оказалась небольшой брошюрой. Сотрудники нашей группы куда-то разбрелись. Я устроился у пустого стола и перелистал брошюру. На белой меловой бумаге обложки было напечатано черным типографским шрифтом: «Ориентировка по антисоветской организации НТС». В верхнем углу, как обычно, гриф «совершенно секретно», а внизу мелкими буквами: «Типография МВД СССР, ноябрь 1953 года».

Брошюра начиналась приказом министра внутренних дел СССР, Круглова, от 5 ноября 1953 года. Приказ говорил о необходимости усилить борьбу против эмигрантской антисоветской организации «НТС». В первых строчках приказа давалась краткая характеристика этой организации.

«...поставившая своей целью свержение советской власти и реставрацию капиталистического строя...», «...пользующаяся широкой финансовой и технической поддержкой американской разведки...», «...единственная эмигрантская организация, активно действующая на территории Советского Союза...», «...засылающая своих людей для подпольной пропаганды воору-

женного восстания и создания опорных групп среди населения . . .», «. . . пытающаяся проникнуть в государственный аппарат СССР . . .»

Вторая часть приказа была составлена более бледно. Она содержала несколько перенумерованных пунктов, которые, по мнению министра, должны были повысить эффективность борьбы с НТС.

По типичному для бюрократа методу, Круглов начинал с нового принципа оформления служебных бумаг, касающихся НТС. Впредь все сообщения об этой организации должны были снабжаться грифом: «чрезвычайное сообщение: НТС!» и направляться непосредственно в секретариат министра. При аресте людей по подозрению в связи с НТС, об этом полагалось сообщать служебной телеграммой-молнией в центральный аппарат МВД СССР. Управлению разведки министр приказывал повысить внимание к агентуре, работающей против НТС. Отделам контрразведки предлагалось усилить наблюдение за возможными явками НТС на территории Советского Союза. Прибавив еще несколько таких же общих указаний, министр приказывал также издать «ориентировку по НТС» для инструктажа руководящего состава МВД СССР и республик.

Затем шла первая часть самой ориентировки. Она состояла из кратких выдержек, взятых из допросов задержанных членов НТС и донесений заграничной агентуры. Большинство из этих выдержек показались мне знакомыми. Протоколы и показания, послужившие источником для них, я читал уже в материалах Первого управления по Околовичу.

Здесь, в ориентировке, цитаты из материалов были подстрижены, пересыпаны многоточиями и явно подтасованы. Основное внимание составители брошюры уделяли роли американской разведки в деятельности НТС. Подробно рассказывалось о шпионских школах в Западной Германии, руководимых американскими разведчиками, об американских самолетах без опознавательных знаков, с помощью которых агенты НТС перебрасывались в СССР, о кличках американских инструкторов и о техническом материале с маркой «сделано в США», которым снабжались связные НТС. В принципе, те же данные, которые опубликовывались в официаль-

ных сообщениях центральной печати, с той разницей, что в центральной печати имя НТС тщательно обходилось. Здесь же, в ориентировке, американские шпионы и диверсанты оказывались членами НТС. Остальные выдержки из допросов и агентурных донесений были подобраны в рубрики с фамилиями отдельных руководителей НТС. Среди них я нашел и цитатную мозаику об Околовиче. Все человеческое из этой характеристики было тщательно убрано. Из остатков получился образ агента иностранного империализма, врага не только власти, но и русского народа. Прозрачное шулерство авторов брошюры заставило меня невольно улыбнуться. «Портреты» остальных руководителей НТС я даже не стал читать. Перелистав кое-как «инструктаж», я добрался до второй части ориентировки. Это была длинная, на несколько страниц, таблица «возможных явок агентуры НТС».

Она содержала, в основном, адреса и фамилии родственников и друзей членов НТС, задержанных «органами». Было сразу видно, что подавляющее большинство этих явок были «мертвыми», то есть об их провале НТС должно было знать. Я понимал, что «живых» явок в такой таблице и не могло быть. Если МВД засекало действующую явку, то на нее заводилось оперативное дело, которое даже соседним службам не выдавалось без разрешения начальника отдела.

Я отложил брошюру в сторону и задумался. Ни идеологии НТС, ни программы действий этой организации, ни даже настоящего анализа ее структуры в брошюре не было. Методов борьбы ориентировка не подсказывала и никакой особой оперативной ценности для руководящего состава МВД она не представляла. Зачем же МВД издало ее? Я мог только гадать.

Может быть, затем, чтобы показать кадру МВД опасность этой организации и поднять бдительность сотрудников на местах? Одновременно оградить задержанных членов НТС от гибели в руках местных следователей, и обеспечить бесперебойную и быструю доставку материалов допроса в центральный штаб борьбы с НТС? Теперь я уже не сомневался, что подобие такого центрального штаба, что-то похожее на координационную группу, существует в МВД СССР. А вторая часть

ориентировки, с адресами, должна была, наверное, продемонстрировать сотрудникам попроще, что, дескать, несмотря на свою опасность, НТС окружен агентами МВД и ловушки расставлены повсюду. Кое-кто из составителей брошюры понимал, очевидно, что читатели могли сделать «не те выводы». Мне, например, стало ясно, что министерский отзыв об НТС был продиктован, в основном, нарастающим революционным потенциалом в народных массах и соответственно увеличивающемся страхе у власти.

Однако, несмотря на свою тенденциозность, брошюра напоминала, что на два очень важных вопроса у меня нет точного ответа: об истинных взаимоотношениях между НТС и американской разведкой, и о том, в какой степени НТС пронизан советской агентурой.

Я знал, что будь НТС всего лишь ширмой для американской разведки, планируемая мною встреча с Околовичем превращалась в бессмыслицу. Не потому, что убийство Околовича в этом случае стало бы оправданным, но, просто, ответственность за его жизнь переходила к его иностранным хозяевам. Для моей семьи и меня он становился чужим человеком и наши с ним цели, если и могли казаться на каком-то участке пути параллельными, с таким же успехом могли в любой момент стать противоположными и даже враждебными. Связь с иностранными разведками, какими бы внешне «благородными» целями она ни диктовалась, всегда несет в себе семена предательства.

В то же время, искать гарантий, что НТС не контролируется иностранцами, было для меня невозможно. Более того, в моем положении я должен был считать НТС заслуживающим доверия, пока факты не докажут мне противного. Образ НТС, создавшийся в моем представлении, был настолько далек от филиала американской разведки, что я даже и не пытался анализировать «материалы» брошюры. Честность НТС была мне необходима, иначе вся система моей личной борьбы и надежд, с таким трудом найденная, могла рухнуть.

Единственное, что стоило сделать, это просмотреть еще раз архивные дела Первого управления и проверить, не найдутся ли между строчками подлинников допросов и агентурных донесений добавочные доказа-

тельства независимости НТС. Прочитать внимательно эти дела я должен и по другой причине: надо установить основные каналы, по которым советская разведка получает агентурную информацию об НТС. Точных данных в делах я не найду. Копии донесений имеют обычно только псевдоним «источника» и ссылку на офицера, принявшего материалы. Однако профессиональному глазу нетрудно засечь детали, проскальзывающие в рапортах и помогающие определить «координаты» агента. Я могу подобрать такие детали, проанализировать их вместе с Околовичем и попытаться установить, кто эти люди и где они. Сделать это совершенно необходимо. Не только для защиты НТС, но, в первую очередь, для защиты Яны и Алюшки. Объявив войну советской разведке, я должен теперь вести ее до конца.

Вошедшая в комнату Иванова прервала мои мысли.

— Вам подарок от Грибанова, — пошутила она и протянула мне небольшую книжицу в бежевом картонном переплете. Это был швейцарский паспорт на имя Вальтера Еша.

— Здорово они подобрали этот паспорт, — продолжала Иванова, выискивая из связки ключей тот, который подходил к сейфу в стене. — Приметы вам подходят, как две капли воды, и паспорт настоящий. Этот человек их агент. Живет в Цюрихе, художник, коммунист. Они говорят, что полагаться на него можно полностью. Так что остается только переклеить карточку и вы можете по нему ехать, куда угодно. За исключением самой Швейцарии, конечно.

— Что-то слишком много ответственности, — покачал я головой. — Фактически, мне такой паспорт нужен только для выезда из Австрии в Италию. Стоит ли связываться с документом, собственник которого живет в Швейцарии, в то время как я за него езжу через границы? Не проще ли было сделать фальшивку по образцу этого подлинника и изменить фамилию?

Иванова сделала грустный жест, что логика, мол, в моем возражении есть, но дело не так-то просто. И объяснила:

— Скопировать швейцарский паспорт мы пока не можем. Видите, буквы надписей сделаны мелкими точ-

ками. Специальная машина. У нас над такой машиной только еще работают. Говорят, правда, что в некоторых кантонах пишут и от руки. Но мы не знаем, система это или случай, в каком именно кантоне, и как выглядят подписи чиновников. В общем, нет у нас подходящего образца, написанного от руки. А мне кажется, что и лучше вам с настоящим паспортом. Не капризничайте. Настоящий швейцарский паспорт большая редкость. Я даже удивляюсь, как это они из Первого управления так расщедрились . . .

Иванова открыла сейф и стала выкладывать на стол вещи, привезенные мной из Берлина.

— Я с Громушкиным договорилась, — продолжала рассказывать она. — Сейчас понесу ваши вещи на заделку.

Громушкин был одним из офицеров спецотдела, выполнявшего заказы по заделке документов и денег в дорожные вещи. Я удивился:

— Но ведь план еще не утвержден. Даже не закончен начисто . . .

Иванова хитро улыбнулась.

— Вот об этом я с ним и договорилась. Пусть сразу начнут работу. Мы-то с вами уже знаем, что перебрасывать на ту сторону, а министр с нами вряд ли будет спорить.

Иванова разложила вещи по всей ширине стола, достала из папки страницу, исписанную синим карандашом и, сверяя записи с наличными предметами, комментировала:

— Мы вчера уже решили с Громушкиным в принципе, куда что будем прятать. Ваш австрийский паспорт вот в этот маникюрный прибор. Все равно кроме девушки-курьера везти его в Венецию некому, а набор как раз дамский. Они обещают так сделать потайное отделение, что, вынув в Италии паспорт, вы сможете вложить в освободившееся место ваш швейцарский.

Основная сумма денег будет заделана в ваш дорожный несессер: две тысячи долларов в стенки, три тысячи немецких марок в крышку платяной щетки, доллары на первые расходы — в обувную ложку, швейцарские франки в подкладку дорожного зеркала. Для покупки машины Лев Александрович предлагает исполь-

зовать чемодан Франца с двенадцатью тысячами марок. Помните, тот чемодан, с которым он ходил к сестре? Мы запросили чемодан из Берлина. Громушкин хочет его еще раз проверить, не расклеилась ли заделка. Насчет оружия договорились так: поскольку курьер повезет его в Германию на своей машине, то лучше всего использовать для заделки аккумулятор. Они говорят, что аккумулятор будет выглядеть совершенно нормально и даже действовать, но эту заделку можно будет произвести только в Вене, перед самой отправкой, чтобы металл оружия не окислился. Ну, ладно, я понесу это хозяйство Громушкину.

— Одну минуточку, — остановил я Тамару Николаевну. — У вас в сейфе материалы Первого управления. Я поеду сейчас в особняк и хочу их взять с собой. Может быть, вы сразу вынете их, чтобы мне не ждать здесь?

— Вы, что, собираетесь засесть за работу? — испуганно переспросила Иванова. — Сегодня же ваша очередь идти с Францом и Феликсом в театр. Разве вы забыли? Я не пойду ни за что. Я уже неделю дома как следует не была. Столько хозяйственных дел накопилось, что просто позор. И Окунь только на днях ходил с ними на «Евгения Онегина». Потом, пока я работала здесь, он все время заменял меня на их тренировках по самбо и стрельбе. Нет, нет, вам не отвертеться. И не пытайтесь.

Иванова выпалила все одним духом, и я не мог не засмеяться.

— Да я и не пытаюсь отвертеться. Запру дела в своем сейфе в особняке и поеду к ним.

— А вам в Новогорск и не надо ехать. Они сегодня после обеда по Москве бродят. Учатся наружному наблюдению. Инструктор скоро будет звонить. Я его с вами и свяжу.

Иванова вынула из сейфа четыре пухлые папки дел, собрала в охапку дорожные вещи и исчезла. Я вызвал дежурную машину и поехал в особняк в Турчаниновский переулок.

Не успел я разложить материалы и заняться делами по Околовичу, как в мою комнату явился Студников.

Я знал, что он работал в нижнем кабинете, но не ожидал, что начальство нагрянет ко мне с визитом.

Один из томов оперативных дел, лежащих на моем столе, был раскрыт на материалах, описывающих членов Исполнительного Бюро НТС. Я пытался установить, нет ли в этих характеристиках единства деталей и метода описания. Единства, которое могло указать, что источник информации один и тот же. Вопрос советской агентуры в ближайшем окружении Околовича был для меня исключительно важен. Но, судя по материалам дел, агентов советской разведки среди руководства НТС не было. Большинство сведений о членах Исполнительного Бюро исходило от лиц, захваченных на территории, оккупированной советскими войсками к концу войны. Таковы, например, были показания бывшего руководителя НТС Георгиевского, попавшего в руки МВД в Югославии. «Трофейные» копии допросов членов НТС сотрудниками гестапо в концлагерях фашистской Германии тоже имелись в делах. Когда Студников пришел, я читал характеристику Поремского, одного из руководителей НТС, записанную со слов члена НТС, арестованного на территории СССР летом 1953 года.

Лев Александрович появился в моей комнате без стука и, протягивая на ходу руку, громко приговаривал:

— Привет. Работайте, работайте. Я только на минутку. За ориентировкой. Мне уже говорили, что ничего нового в этой брошюрке нет, но приказ есть приказ. Придется прочитать. Где она у вас?

Студников подошел к столу с угла и, повернув свою биллиардную голову как птица, старающаяся рассмотреть червяка, заглянул в страницы раскрытого дела.

— Что изучаете? Коллекцию политических деятелей? Коллекция забавная. Поремский? Знаем, знаем. Тоже кандидат. Следующий после Околовича. Кстати, я вам кое-что хочу сказать . . .

Студников забрал ориентировку, свернул ее в трубку, сунул в боковой карман пиджака и присел на диван, напротив моего стола.

— Знаете, я тут думал . . . — снова заговорил он, с загадочной улыбкой на своем расплывшемся лице. — Что если подгадать ваш визит к Околовичу под какую-нибудь их вечеринку.

Я не ослышался. Студников сказал «визит». Он продолжал, почти мечтательно:

— Ведь собираются же они иногда по вечерам. На праздники, например. Или для совещаний каких-нибудь там, неофициальных. Вот, подобное собрание этих молодчиков и накрыть бы. Всех сразу. Осколочными гранатами. А?

— Ну, а если на вечеринке кроме кандидатов будут и посторонние люди? Осколкам ведь не прикажешь.

— Конечно, — миролюбиво согласился Студников, — посторонние могут быть. А мы, чем виноваты? Зачем эти посторонние с таким народом якшаются? Посторонние, как раз, не проблема. Разногласия с руководством будут по другим вопросам. Я уже вчера почувствовал, в чем дело. Только поднял этот вопрос, как шум начался. Риску, мол, много, люди наши не сумеют уйти. Не зря, дескать, бесшумным оружием приказано действовать. Нельзя, мол, разбрасываться. За двумя зайцами погонишься . . . И так далее и тому подобное. В общем, то же слабоволие из-за которого Бюро номер один столько лет в одних бумажных проектах копалось.

Болтливость Студникова начала действовать мне на нервы.

— Я вас поддерживать не стану, Лев Александрович. Ваши оппоненты правы. Конечно, нельзя разбрасываться. Да и нереален ваш проект. Мы ломаем себе голову, как добраться до Околовича, опознать его и подойти поближе. Честно говоря, все эти вопросы моей группе придется решать самостоятельно уже на той стороне. Многого от центра мы не получим. А вы еще хотите, чтобы мои люди ждали пока у Околовича соберутся гости. Совсем ни к чему. Вообще, мне не нравится излишняя суматоха вокруг операции. До меня дошли даже слухи, что одновременно с моей группой готовится какая-то вторая, для этого же самого дела. А я слышу об этом чуть ли не последним. В чем дело? В полуслепую работать я не буду. Знать, что никто не будет путаться у моей группы под ногами, мое элементарное право.

Студников почесал за ухом и примирительно улыбнулся.

— Ну, чего вы раскипятились? Да, есть вторая группа. Не такая же, как у вас, но по сходной линии. Не сказали вам о ней. Ну и что же? Они и готовиться еще не начали. Пока выяснится, что к чему, пройдут, наверное, месяцы. Чего ж мы будем вам голову забивать всякими планами, которые может сбудутся, может нет.

По тону Студникова можно было понять, что он врет. Но прерывать его я не стал. Он продолжал, как бы подбирая доводы на ходу:

— Вы поймите, что мы, как руководители, обязаны учитывать все. Ваша группа самый первый кандидат на успех. Конечно, мы на вас концентрируем все усилия. Но вдруг сорветесь. Всякое же бывает... Зачем нам давать другим службам возможность сразу перетянуть задание к себе? Пусть будет запасно́й вариант. Да и вообще, работы нам всегда хватает. Сами же видите, сколько там типов нашей опеки ждут.

Студников махнул рукой на оперативные дела по НТС. Я молчал и ему это не нравилось. Он поднялся с дивана и подошел поближе к столу.

— Вот, например, посудите сами. Есть у нас возможность вытащить Околовича в Вену и организовать встречу с нашим человеком. Не будем же мы от такого дела отказываться. Ведь, если его живым взять и вывезти, то могут и Героев Советского Союза дать. Есть у Околовича один друг. Знают они друг друга давно. Лет восемнадцать. Перед войной пошел этот друг к нам через границу с заданием от Околовича осесть здесь и работать на НТС. А мы как раз явку эту раскололи. Дружка и приняли тепленького. Перевербовали. Он, ничего, и стал работать. Но, тут война. Мы его трогать не стали, поселили в глубокий тыл и даже разрешили семью завести. И вот, недавно этот человек списался с Околовичем. Тот, представьте, поверил и отозвался. Наш человек его приглашает на встречу и он соглашается. Представляете себе, какая картинка? Есть, правда, небольшое разногласие. Наш человек зовет его в Вену, а Околович настаивает на Западном Берлине. Но мы надежды не теряем. Вдруг, вытянем в Вену?! Его же там как птенчика взять можно. А вы говорите, не разбрасываться. Какой же это разброс. Это рациональ-

ный подход к делу. И не смущайтесь, что параллельно работа идет. Вам это не должно мешать. Все равно, если первым дело сделаете, то все лавры вам. Я от своих слов никогда не отказываюсь. Ни в коем случае темпа не сбавляйте. Знаете, как говорят, кому синица в руки, а кому журавль в небе. Вы над синицей работайте, а мы по долгу службы обязаны за журавлями в небе посматривать. И не кипятитесь. Вам нервы на той стороне понадобятся. Очень понадобятся. Ну, ладно. Мне пора. Побежал . . . Вы не зарывайтесь особенно в работу. Отдыхать тоже полагается.

— Да. Я скоро уйду. Мне еще немцев вести к Станиславскому на балет.

— Балет? Это им понравится. Иностранцы любят наш балет. Так, бывайте здоровы . . .

И Студников, очень довольный собой, выкатился из комнаты.

Когда закрылась дверь за ним, я вытащил из бокового ящика полоску тонкой бумаги. Она была приготовлена мной для записи нужных мне сведений об НТС. Эту полоску бумаги я намеревался прочитать потом вместе с Околовичем. На ней еще ничего не было отмечено. Я взял ручку и черными, несмывающимися чернилами стал записывать первую историю. Записывал я своим шифром, которым я пользовался когда-то во время войны. Значки, которые ложились на бумагу, рассказывали о друге Околовича, которого он знал восемнадцать лет и послал перед войной на нелегальную работу в Советский Союз. О перевербовке и приглашении в Вену. Если Студников не привирал, вариант с этим человеком казался осуществимым и для Околовича опасным. Обновить им мою бумажную полоску было совсем неплохо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В начале декабря 1953 года милиционер-орудовец, дежуривший на отрезке магистрали напротив метро «Сокол», решил задержать две подозрительные машины. Эти два желтых близнеца марки «Победа» уже несколько дней совершали какие-то странные маневры. Они появлялись по утрам со стороны Речного Порта и начинали ездить наперегонки, прижимать друг друга к тротуару или просто блокировать партнеру дорогу. Вчера, например, они съехались крылом к крылу наискосок и не могли разъехаться. Из машин вышла группа людей и начала что-то горячо обсуждать. Натренированное око орудовца выхватило из этой группы двоих, особенно подозрительных. Один был повыше ростом, другой пониже. У обоих на головах были одинаковые полувоенные шапки-ушанки из голубоватого пушка. Однако одеты они были в демисезонные пальто заграничного покроя, слишком легкие для московской зимы. Машины кое-как расцепились. Странные типы сели за руль и уехали. Милиционер понимал, что настоящие шпионы так себя не ведут и одеваются иначе, но во имя служебного долга, или просто в силу человеческого любопытства, он поднял в это утро свою палочку и преградил обоим машинам дорогу со словами: «Отъезжайте к тротуару и предъявите ваши документы».

Машины послушно свернули к обочине дороги и из первой вышел человек в меховой куртке, отороченной по-пилотски белым барашком. Орудовец видел, что за

рулем этой машины сидел один из подозрительных типов в ушанке и сером пальто в елочку. Тип дружелюбно улыбнулся милиционеру. Это не повлияло на служебную серьезность дежурного. Он еще раз повторил свое требование предъявить документы, но, возможно из уважения к сияющей улыбке ушанки, прибавил: «граждане».

Человек в куртке вынул из бокового кармана красную книжечку 7 управления МВД СССР. Орудовец хорошо знал это удостоверение: оно выдавалось обычно машинам контрразведки и давало право, в случае необходимости, даже нарушать правила уличного движения, — проезжать, например, красный свет. Такие машины вели, в основном, наблюдение за автомобилями дипломатического корпуса. Ни проверять, ни задерживать их ОРУД не имел права. Милиционер отсалютовал и вернулся на свой пост. Человек в куртке показал ушанке подвинуться и сел за руль сам. Дело в том, что тип в ушанке был не кем иным, как Францем. Он правил неважно. Борис, инструктор в кожаной куртке, считал, наверное, что под внимательными взглядами орудовцев и заинтересовавшихся прохожих лучше тронуть машину с места по всем правилам водительского искусства.

Во второй машине за рулем сидел Феликс. Он правил очень хорошо. Сказывалась многолетняя тренировка и особенности его характера: решительность, быстрая реакция, легкость с которой он шел на риск. Феликс ловко вывернул нашу машину и прижал ее к машине Бориса в тот самый момент, когда светофор был перекрыт. Я смог открыть окно и спросить: «Все в порядке?»

— Конечно, — отозвался Борис. — Чего ж . . . Документы железные. Недаром я их так добивался. Куда теперь едем?

Я махнул рукой по направлению к центру города.

— Давайте к дому на Покровке. К тому, что вчера подобрали. Помните, с воротами и проходным двором?

Светофор открыли. Задерживаться было нельзя.

— Помню, — крикнул Борис и рванул машину вперед. — Поезжайте за мной.

Я откинулся вглубь машины. На переднем сиденье рядом с Феликсом сидел шофер. Как бы хорошо наш человек ни правил, опытный шофер обязан был сидеть рядом с ним и держать ноги на педалях двойного управления.

Дом на Покровке, к которому мы ехали, был коечем похож на дом Околовича во Франкфурте. Такая же арка ворот с одной стороны, два подъезда и небольшой внутренний двор со вторым выходом на боковую улицу. Мы решили использовать его для репетиций по блокированию машины Околовича в момент ее выезда из ворот на улицу. По сведениям Пильца, в глубине двора за франкфуртским домом находились небольшие гаражи. Можно было предположить, что в одном из них Околович держал свою машину.

Борис свернул с Покровки в переулок и остановился напротив выбранного нами дома. Я вылез из машины и стал наблюдать за тем, как разворачивается «репетиция». План действий был намечен уже вчера и обоим исполнителям предстояло только отшлифовать свои действия и отработать систему сигнализации между собой. Борис заехал в ворота и увел машину в невидимый для нас угол двора. Через пятнадцать минут он должен был снова появиться в арке ворот, изображая машину Околовича, выезжающую утром из гаража на улицу.

Феликс отъехал за квартал, высадил Франца, развернулся и приглушил мотор. Теперь он ждал, пока Франц дойдет пешком до дерева напротив намеченного дома и займет там свой пост наблюдения.

Когда Франц устроился у дерева, Феликс завел мотор и подъехал к подъезду, ближнему к воротам. Тут он остановился, делая вид, что кого-то поджидает. Мотора он не выключал. Через несколько минут машина Бориса показалась в воротах. По сигналу Франца Феликс подал свою машину назад, как бы намереваясь развернуться и заблокировал выезд. Франц уже шел через улицу к воротам. В следующий момент он должен был по плану поравняться с машиной Околовича и целясь в окно нажать четыре раза потайную кнопку. Боевого портсигара у него в руках пока не было, а всего лишь обычный, безобидный, из которого он вынул на

ходу папиросу. Держать для маскировки в пальцах папиросу Франц должен был и в боевой обстановке. Но, прежде чем он поравнялся с машиной Бориса, тот открыл дверь, пошел к Феликсу и помахал мне, спрашивая помощи в разговоре.

— Неправильно, — начал он объяснять, показывая на багажник машины Феликса. — Заехал слишком далеко назад. Сразу понятно, что блокирует дорогу. Решено ведь было несколько сантиметров. Пусть наметит точку на тротуаре и по ней равняется.

Репетиция началась снова. Пока агенты отрабатывали точность сигналов и движений, я присел невдалеке на чугунную тумбу. Жители дома и редкие прохожие не обращали особенного внимания на нашу группу. За несколько кварталов от этой улицы помещалось Управление автоинспекции Москвы. Инспекторы, принимавшие экзамены на шоферские права, ездили с новичками по одним и тем же местам. Преподаватели шоферских школ, знавшие эти маршруты, тренировали своих учеников на тех же улицах. Почти все ворота этого района были исцарапаны боками учебных машин. И, конечно, никто из москвичей, проходивших мимо, не мог подозревать, что наша группа тренирует людей не для сдачи экзаменов на вождение машины, а для убийства.

Я подумал, что вообще руководство Девятого отдела уделило большое внимание подготовке будущих убийц. Учили их за прошедший месяц много и интенсивно. И на подбор преподавателей они не могли пожаловаться. Например, физическую тренировку и обучение приемам джиу-джитсу проводил с ними чемпион Советского Союза Михаил Рурак. У Михаила Рурака было мальчишеское открытое лицо и рост в потолок. Лет ему было немного. Что-то за двадцать. Он уже три года держал первенство СССР по джиу-джитсу и, судя по его намекам, не собирался это первенство никому отдавать. Рурак не любил слово «джиу-джитсу». Он всегда поправлял: «не джиу-джитсу, а самбо, то есть, самооборона». Но учил обоих немцев не столько обороне, сколько нападению. В комнате, выстланной спортивными матами, Рурак показывал им как, по собственному его выражению, «психологически опережать противни-

ка». Дело не столько в самой технике приема, объяснял он, сколько в умении применить его неожиданно и решительно. Нужно было посмотреть на лицо самого Рурака, когда он проводил прием, чтобы понять, сколько «злости» он вкладывал в этот спорт. Свои захваты и выверты Рурак никогда не доводил до конца, чтобы не искалечить учеников, но, объясняя заключительную точку приема, ударяя по воздуху ребром ладони или выбрасывая в ударе ногу, он так сжимал зубы и по лицу его мелькало выражение такой жестокости, что можно было не сомневаться в его больших шансах остаться чемпионом СССР и в следующем сезоне. В остальное же время Рурак был милым, даже немного застенчивым молодым человеком, умевшим обаятельно улыбаться по поводу мельчайшей шутки. В первое время на занятиях по «самбо» присутствовали переводчики — Окунь, Иванова и, иногда, я. Потом Рурак выработал технику объяснений одними знаками и стал тренировать своих учеников один. Как-то он спросил меня:

— Что это такое «кнохенбрехер»? В последнее время, как прихожу, так они сейчас же: а, кнохенбрехер... Что за слово?

— Костолом, Миша. Они тебя костоломом называют. Ты, случайно, не тренируешься на них к чемпионату?

Он улыбнулся от скулы до скулы:

— Да, нет. Я с ними потихоньку. Но в этом деле надо трудиться как следует. Иначе ничего не выйдет.

Немцы трудились. Трудились прилежно и много. Расписание их дня было загруженным и нелегким. Утро начиналось пятнадцатиминутной зарядкой по специальной программе, выработанной «костоломом». После такой зарядки они накидывались с волчьим аппетитом на завтрак. Настя кормила их плотно и старалась подбирать настоящие русские блюда. Однако оба тренируемых не толстели. Они крепли и, по замечанию Студникова, «набирали веры в свои силы».

Первая половина дня обычно была занята практикой вождения автомашины. Агенты учились править и ориентироваться в напряженном городском движении.

Через день, оба немца тренировались в Кучине по стрельбе из боевого оружия. Ехать нужно было через город. От Новогорска до центра Москвы километров тридцать. Потом через Красную площадь, мимо высотного дома на Котельнической набережной, они выбирались на Горьковское шоссе и вели машину еще километров тридцать до поселка Кучино. Туда и обратно — в день это составляло сто двадцать километров. Большую часть пути они вели машину сами. Когда общая техника вождения была у них отшлифована, Борис перешел к конкретным заданиям. По дороге в город он выбирал какую-нибудь случайную машину и приказывал преследовать ее. Преследование шло по всей Москве, причем ни инструктор, ни ученики не знали, куда свернет машина на следующем перекрестке. Это наблюдение немцы обязаны были вести по всем правилам: так, чтобы преследуемый не мог ничего заметить, оставаясь от него на расстоянии одной-двух машин и не нарушая правил уличного движения. Задание было нелегким и Франц с ним обычно не справлялся. Зато Феликс так наловчился, что стал постепенно угадывать основные направления городского движения и заранее чувствовать, куда может свернуть та или иная машина. Тем более, что тренировка происходила на одних и тех же участках Ленинградского и Горьковского шоссе. На Садовом кольце Борис давал немцам задания иного характера. Появилась вторая машина и Франц и Феликс разделились. Один разыгрывал роль преследуемого, второй — наблюдающего. Первый старался уйти, второй — не упустить. Потом начались репетиции по выполнению задания на машине. Они проводились частично на Садовом кольце, частично около метро «Сокол». Феликс и Франц «работали» в одной машине вместе с Борисом. Шофер другой машины изображал условную жертву. По очереди агенты догоняли вторую машину, блокировали ее и производили «выстрел в окно». Репетировались также варианты с обгоном на перекрестке, прижимание к тротуару и, наконец, с симулированием аварии.

Тренировку в Кучине агенты вели под руководством Годлевского, еще одного чемпиона Советского Союза, приспособленного для шлифовки будущих убийц.

Годлевский работал с ними по своему тщательному и проверенному методу. Образцов того оружия, которым агентам предстояло пользоваться в реальной обстановке, в готовом виде еще не было. Правда, Панюшкин не обманул. После совещания в его кабинете, обе лаборатории — и по яду и по оружию — молниеносно договорились. Отравляющее вещество было составлено, в пулях сделаны спиральные канавки и для пробы залиты смертоносной смесью. Испытания пуль из пистолетов показали, что проблема решена. Однако предстояло еще сделать стальные блоки для портсигаров, усовершенствовать некоторые детали предохранителей и, главное, сделать запасные экземпляры оружия, чтобы дать их агентам для тренировки. На все это мастерские в Кучине просили три недели. Тем временем оба немца стреляли по силуэтам на мишенях из трехзарядных пистолетов. Но дальновидный Годлевский не разрешал им целиться. Они обязаны были держать пистолет в руках так же, как им предстояло держать в будущем портсигары. Несмотря на это, к началу декабря оба немца уже безошибочно попадали в зону на мишени, которая считалась смертельной. Стреляли они на расстоянии нескольких метров, с хода, вынимая оружие из кармана, в общем, максимально приближенно к боевой обстановке.

В те дни, когда стрельбы в Кучине не было, агенты учились после обеда технике наружного наблюдения. Инструктором по этому «предмету» был специально присланный Седьмым управлением офицер. Может быть, потому, что он был чужим в Девятом отделе, сотрудники нашей службы называли его в неофициальных разговорах «лучшим гороховым пальто города Москвы». Это звучало шуткой, но примесь иронии чувствовалась. Сначала инструктор по НН — таково было его официальное название, принимал участие в преследовании по городу незнакомых машин, давая свои профессиональные указания и советы. Потом Франц и Феликс были высажены из автомобилей и начали учиться «топанию». «Гороховое пальто» заставляло их бродить за ним по улицам и переулкам так, чтобы не потерять из виду. В начале инструктор был либерален, но потом стал применять свои уловки и оба немца несколь-

ко раз упускали его. Тогда, по условию, оба ученика-топальщика немедленно останавливались и ждали, когда инструктор снова вынырнет откуда-нибудь. Кроме того, у них были установлены контрольные пункты в таких местах города, как Красная площадь, площадь Пушкина и др. Раскрыв им несколько своих профессиональных секретов, инструктор переменил роли. Теперь агенты пытались ускользнуть, а «гороховое пальто» топал за ними. С каждым разом задания все усложнялись. Любимым местом инструктора были переулки между Калининской улицей и улицей Горького. Они были тихими, спокойными, но запутанными. Потом он повез своих учеников в Серпуховский универмаг и заставил ходить за собой сквозь толпу покупателей. В качестве компенсации он тут же показал, как можно использовать большой магазин для ухода от наблюдения.

Да, работы у обоих агентов хватало. Одновременно они занимались по вечерам изучением Франкфурта, разрабатывали с нами систему явок в Европе, зубрили свои легенды и кодовые выражения для письменной связи, запоминали график своего движения к месту операции и расписание встреч с курьерами.

А теперь вот, с первой недели декабря, приступили к репетициям вариантов убийства Околовича у его дома.

Борис добился в конце концов точности выброса Феликсом машины назад, к воротам. Агенты отработали сигнализацию и координацию своих действий.

Мы забрались обратно в машины и поехали к другому дому, тому, что находился недалеко от Усачевского рынка, в двух кварталах от Пироговской улицы. Там предстояло репетировать следующий вариант убийства рассчитанный на вечер, на время возвращения Околовича домой с работы. Дом около Пироговской улицы был выбран нами из-за сходства местности с обстановкой во Франкфурте. Рядом с ним имелась конечная трамвайная остановка, корпус дома так же, как и во Франкфурте, переходил сначала в небольшой уступ, а потом в улицу, сливающуюся с широким бульваром.

Схема действий агентов в «вечернем» варианте была уже иной. За квартал до дома мы сбрасывали Франца. Феликс прижимал машину к противоположной сто-

роне улицы и там выключал мотор. Затем он тоже шел пешком мимо дома. Таким образом оба агента занимали две полюсовые точки: перед домом и после него. Причем они имели право менять сторону улицы, прогуливаться около трамвайной остановки или в боковом переулке не доходя дома, словом, действовать так, чтобы не бросаться в глаза.

Борис и я подъезжали на второй машине к подъезду дома. Борис изображал «объект». Он вылезал не спеша, прощался со мной, захлопывал дверцу и, подойдя к подъезду, задерживался там на несколько секунд. Эта задержка должна была соответствовать времени, нужному Околовичу для отпирания парадной двери. В этот момент Франц уже проходил мимо него с портсигаром в руках и, щелкая пальцами, делал знак, что выпускает ему в спину все четыре заряда. Одновременно Феликс двигался навстречу Францу по той же стороне улицы. Поскольку выстрел бесшумен, а портсигар в руках прохожего не подозрителен, руководство Девятым отделом надеялось, что на действия Франца никто не обратит особого внимания. Но на всякий случай Франц немедленно передавал портсигар проходящему мимо него Феликсу. Тот в свою очередь, двигаясь мимо Околовича, проверял беглым взглядом обстановку. На случай, если Франц промахнулся, Феликс должен был использовать второй портсигар, двухзарядный, который имел с собой. Затем Феликс пересекал улицу, садился в свою машину и уезжал. Франца он подхватывал через квартал.

«Репетиция» затянулась надолго. Самым трудным было приурочить проход Франца рядом с «Околовичем» в тот самый момент, когда он задерживался перед дверью. Франц должен был привыкнуть так соразмерять свои шаги, чтобы и не вертется вокруг машины и в то же время не возвращаться обратно. Потом «график» более или менее наладился и Борис повез обоих агентов домой. В этот вечер их уже больше никуда не повезут и не поведут. Завтра придется закончить «репетиции» пораньше. Иванова пойдет с ними в Большой театр на «Лебединое озеро». Окунь уехал в Вену и ответственность за «развлечение» обоих тренируемых легла полностью на Иванову.

Мирковский и я спускались по крутой деревянной лестнице особняка в Турчаниновском. Только что снизу позвонил Студников и сказал, что Панюшкин приехал в особняк. Встречи с Панюшкиным мы ждали уже третий день. Здоровье его ухудшилось. Говорили, что окончательно установлена язва желудка и избежать операции не удастся. Но Панюшкин продолжал работать в министерстве и очень редко исчезал на день-другой для краткого отдыха.

Мирковский включился в работу по операции «Рейн» совсем недавно. Он считался заместителем Студникова. Но Студников, в свою очередь, был только временно исполняющим обязанности начальника Девятого отдела. Так что, практически, Евгений Иванович имел что-то вроде должности младшего заместителя у старшего заместителя. Но характер Мирковского от этого понижения не пострадал. Он первым подшучивал над своим служебным положением.

— Итак, репетируют ребята? — переспросил он меня. — Сколько же вариантов проверили?

— Четыре, — ответил я. — Но, что толку? Все равно в боевой обстановке все произойдет иначе. Мне, конечно, судить трудно, я не специалист, но...

— А кто специалист?! — взъерошился Мирковский. В тоне его прозвучала чуть ли не обида. Он вероятно почувствовал это и добавил:

— По такой работе ни учебников, ни дипломов нет.

В моем положении правильнее было возразить:

— Плохо, что нет. Каждый раз приходится изобретать велосипед заново.

— Приходится... — легко согласился Мирковский. — Что ж поделаешь? Когда такое задание удается, его тут же погребают в архивной пыли. И никакой передачи опыта будущим поколениям. А, говоря серьезно, не нравится мне комбинация с портсигарами и сверлеными пулями. Уж если убирать кого-то, так по-партизански. Две-три очереди из крупнокалиберного автомата или парочку гранат. Стесняться нам нечего. Борьба идет на смерть. Но, в общем, ладно... Расхолаживать вас я не буду. Я ведь тоже не специалист. Если эта техника в самом деле придает исполнителям уверенность — пусть будут портсигары.

Панюшкин действительно выглядел совсем больным. Он вяло приподнял руку с налокотника кресла и, как всегда, начал прямо с основной цели разговора:

— Я прочитал ваш план. Хороший план. Но система связи в нем выглядит сложно. На всякий случай растолкуйте мне еще раз, почему столько курьеров будет ездить взад и вперед. Вдруг меня руководство об этом спросит. Чтоб не получился конфуз.

— Рассказывать с деталями? — спросил я.

Панюшкин слегка пожал плечами.

— Как вам удобнее.

Я все еще собирался с мыслями. Панюшкин потребовал объяснить как раз ту часть плана, где мне пришлось потратить особенно много усилий для лавирования между интересами разведки и моими собственными. Условия связи решали степень контроля Москвы над ходом операции во Франкфурте. В интересах разведки было построить связь таким образом, чтобы в любой момент можно было проверить, что происходит с моей группой на западной территории и, в случае необходимости, изменить состав группы или направление работы. Я же, во имя собственных планов, стремился добиться максимальной личной независимости за кордоном и выиграть побольше запасного времени на случай, если моя встреча с Околовичем получится неудачной.

Кроме того мне хотелось сделать так, чтобы Москва не имела точной картины, почему моя группа задерживается с выполнением задания. Тогда шансы, что Студников и компания временно придержат всякие «вторые группы», соответственно увеличивались.

Я начал издалека:

— Конечно, условия связи кажутся сложными. Но сложность началась тогда, когда мы остановились на австрийском паспорте для меня. Паспорт настоящий, получен через наши связи в Вене в 1951 году, но им нельзя пользоваться в самой Австрии. Поэтому он столько времени лежал в сейфе. Однако я уже жил по нему в разных странах, ездил через границы, получал визы. Многие люди знают меня в лицо под этой фамилией. Даже история с таможней косвенно подтверждает лишний раз, что я в самом деле австриец.

Эти доводы были, в основном, описаны в плане. Но Панюшкин слушал внимательно.

— В деле, подобном операции «Рейн», такие качества документа приобретают особое значение, — продолжал я. — И несмотря на подпорченность паспорта, мы решили его использовать. Тут сразу и появились всякие «но». Для выезда из Австрии нужен другой документ. Мы получили швейцарский паспорт, но с ним нельзя пересекать швейцарскую границу. Значит, немедленно после выезда из Австрии мне придется переходить с одного паспорта на другой. Делать это в Западной Германии рискованно. Пришлось бы оставить фальшивые немецкие пограничные отметки. Дотошность немецкой полиции известна и мы предпочли Италию. Так и появились дополнительные курьеры и лишние встречи. Например, только для получения образцов австро-итальянских пограничных отметок придется послать отдельного курьера за несколько дней до моего выезда из Вены. Потом необходим курьер для передачи мне в Италии маникюрного прибора с австрийским паспортом. Отсюда встреча в Венеции. Я меняю паспорта и посылаю швейцарский обратно в Вену. Встреча для этого в Риме. Франц выезжает отдельно от меня прямо из Австрии в Швейцарию и я принимаю его на связь уже там. Встреча в Цюрихе. Потом приезд Феликса в Швейцарию. Опять встречи. А затем работа в Германии. Встречи, явки и пароли. Наконец, переброска оружия. Мы не хотим, чтобы исполнители везли бесшумное оружие с собой. Оно будет доставлено в Германию по моему вызову специальным курьером. Курьер встретится с Францем в городке немного южнее Франкфурта. Опять лишние условия связи. Систему связи утяжеляет и комбинация с «Минским». Первое управление везет его в Берлин, там тренирует и, когда у нас во Франкфурте дело доходит до проблемы опознания Околовича, само перебрасывает Минского на западную территорию. Но на той стороне его принимает Франц. Значит, опять условные извещения, пароли, встречи . . .

— Ладно . . . Дело хозяйское . . . Вам работать, — прервал меня, наконец, Панюшкин. — Меня теперь беспокоит другое обстоятельство. Предположим, нам понадобится по ходу дела посовещаться лично с вами?

Насколько я понял, связь с группой будет вестись только письменно, условными фразами.

— Да. Причем набор этих фраз довольно скуден. Мы просто не можем забивать себе голову длинными кодовыми таблицами. Агентам и так придется слишком много всего запоминать.

Студников вмешался.

— Кроме условных фраз у вас есть же еще система псевдонимов. По ней тоже можно объясняться.

— Есть и система псевдонимов. Но товарищ Панюшкин имеет, очевидно, в виду такое совещание, которое необходимо провести лично, с глазу на глаз. Здесь дело обстоит хуже. Мой приезд в Австрию в принципе возможен, но займет слишком много времени, да и хлопотен. Придется снова вызывать курьеров и менять паспорта. Зато Франца и Феликса я смогу прислать в Вену по первому вашему вызову. Тем не менее, если центру или мне личная встреча станет совершенно необходима, мы предусмотрели явку в Швейцарии. В нужный момент центр или я можем затребовать такую встречу.

Панюшкин вопросительно посмотрел на Мирковского.

— Кто же это из ваших офицеров сумеет подъехать в Швейцарию?

— Старший лейтенант Раевская, если вопросы помельче, майор Иванова, если вопросы поважнее. Мы рассчитываем, в основном, на Иванову, — ответил тот.

— Ну, ладно, — кивнул Панюшкин. — Пусть будет так. Только вот этот паренек... Минский? С ним что-то накручено. Болтается он во всей истории, как фиалка в проруби. Зачем он вам вообще нужен, кроме как для опознания Околовича?

— Ни за чем, — радостно ответил я.

Студников метнул в мою сторону яростный взгляд, но я сделал вид, что ничего не заметил. Тогда он решил вступиться сам.

— Оба немца знакомы с внешностью Околовича только по фотографии, а паренек узнает его в любых обстоятельствах. Мы должны быть уверены, что не произойдет ошибки. А то начинай потом все сначала...

Мирковский решил прекратить свою роль пассивного наблюдателя.

— Наши ребята будут искать Околовича по всяким косвенным признакам. Есть номер машины, место работы, дом, где он живет. Да и Околович не такая уж стертая личность. Очки, горбатый нос, небольшой рост, есть данные об одежде. А Минского его бывшие знакомые по Франкфурту могут опознать раньше, чем он увидит Околовича. Уж если говорить об опознании — овчинка выделки не стоит.

— Да, конечно, — решительно сказал Панюшкин. — Кроме того, он очень молод и, по-видимому, импульсивен. Он ведь, кажется, сам бежал оттуда? Хорошо. Я поговорю с Федотовым. Лишний груз в таком деле не нужен.

Федотов был начальником Первого управления. Панюшкин не обращал внимания на недовольный вид Студникова и продолжал:

— Смета вас удовлетворяет? Вы уверены, что уложитесь в пятьдесят две тысячи долларов?

— Должны уложиться, — ответил я. — Эта сумма включает в себя несколько резервов. В Женеве, например, на случай отхода через Швейцарию. Потом есть резерв в немецких марках для движения к зеленой границе. А если работа затянется, всегда можно послать кого-нибудь из агентов в Вену.

Панюшкин положил с легким стуком ладонь на край стола:

— Тогда, значит, все в принципе готово?

— За исключением оружия, — ответил Мирковский. — Его смогут закончить не раньше первых чисел января.

— Немцев к тому времени уже не будет в Москве, — вмешался Студников. — Мы думаем перебросить их в ближайшие дни в Австрию. Пусть освоятся с обстановкой. А то придется разыгрывать австрийцев, а нужных навыков нет.

— Сколько они уже здесь? — спросил Панюшкин.

— Месяц, — ответил я.

— Месяц и два дня, — поправил Студников.

— Где же вы их будете тренировать обращению с оружием?

— Они, в основном, уже натренированы, — объяснил Студников. — Но, когда портсигары будут готовы, Годлевский полетит в Вену. Отвезет немцев в пригородный лес и отшлифует их работу.

— Значит везете их в Австрию? — повернулся ко мне Панюшкин. — Как они здесь время провели? Довольны поездкой?

— Не сразу в Австрию. Дня через три-четыре полетим в Берлин. Оттуда они уже поедут самостоятельно в Вену. А поездкой довольны. Москву видели. Побывали в театрах. Только билетов в мавзолей все еще ждут. Как раз вчера спрашивали.

— Билеты уже есть, — сказал Студников. — На пятнадцатое число. Из нашего коллектива, между прочим, никто еще в мавзолее не бывал. Вы первые пойдете.

— Хорошо, что вы их сначала в Берлин, — продолжал Панюшкин. — Пусть побудут дома несколько дней. Перед таким заданием это важно.

— Тем более, что Рождество наступает, — заявил Студников. — У немцев это большой праздник. Между прочим, я дам телеграмму Иванову. Он передаст вам четыре тысячи марок. По две тысячи, Францу и Феликсу. В качестве единовременного вознаграждения. Как рождественский подарок.

— Особенно их не балуйте, — веско сказал Панюшкин. — То что нужно для семьи — дайте. Когда уедут на задание, держите связь с их близкими, чтобы не оставались одни. Но подарками не портьте. Платных исполнителей нам не нужно. Мы не западная разведка.

Зазвонил телефон на столе. Панюшкин снял трубку.

— Да, я . . . соединяйте. Слушаю вас, товарищ министр . . . все готово, как раз обсуждали последние детали . . . да, приготовлен к докладу . . . хорошо . . . сейчас приеду . . .

Он положил трубку и поднялся с кресла.

— Министр требует ваш план. Идет, очевидно, в ЦК на доклад. Так что скоро будем уже знать что и как. Но у меня сомнений нет. План утвердят.

Пробили куранты Спасской башни. Я посмотрел на свои часы. Было половина двенадцатого. Франц, Феликс и я стояли в колонне людей, построенных по-четыре. Эта своеобразная очередь тянулась около кремлевской стены, вдоль аллеи Александровского сада. День был пасмурный и от крепкого мороза в воздухе висела тонкая дымка. Впереди, метрах в двадцати, высились ворота сада, выходящие в Исторический проезд. Между заснеженных газонов, справа от меня виднелся серый гранит остроконечного обелиска. Переминаясь с ноги на ногу, я поглядывал на имена теоретиков марксизма, высеченные на граните и пытался вспомнить, кому и зачем воздвигнут этот памятник. Ворота открылись с протяжным скрипом. Очередь двинулась вперед. Наискосок Исторического проезда, отделяя нашу медленно шагающую колонну от Манежной площади, стояла цепь милиционеров в зимних шинелях. Они приговаривали вполголоса: «перестраивайтесь по двое, граждане, перестраивайтесь по двое».

Мы вышли на Красную площадь и наша очередь развернулась гигантскими зигзагами от Александровского сада до входа в мавзолей. В голове колонны виднелась группа людей в светлых пальто. Они держали венки. Кто-то из соседей любезно сообщил, что это делегация восточногерманского правительства. Мы переглянулись. Было забавным совпадением, что в одной колонне с нами находились соотечественники Франца и Феликса, их коллеги по партии.

Куранты пробили двенадцать. От мавзолея донеслись звуки команды. Меняли часовых у входа. Потом очередь дрогнула и снова пошла вперед. Шли очень медленно. Вскоре из боковой двери мавзолея, обращенной к нам, стали появляться первые посетители, успевшие приобщиться к «святыне». Группа иностранцев вышла уже без венков. Франц пытался было разглядеть их лица, но делегация свернула к кремлевской стене, к урнам и могилам «деятелей партии и правительства». Добрели до входа в мавзолей и мы.

Вдоль ступеней перед мавзолеем стояли офицеры МВД. Они не делали никаких подгоняющих жестов, но зорко следили за проходящими. Кого-то остановили и попросили выйти из рядов. В руках у него был порт-

фель. Вход в мавзолей со свертками не разрешался. Мы прошли мимо застывших в каменной стойке часовых и вступили в небольшое квадратное помещение с очень низким потолком. Прямо перед нами была мраморная стена с лампами молочного цвета. Попав в это помещение, посетители снимали шапки, а потом поворачивали влево к лестнице, круто уходящей вниз. Лестница как бы огибала мавзолей и спускалась под него. Внизу, на небольшой площадке, очередь опять резко свернула, на этот раз вправо. Я успел заметить на другой стороне площадки высокую дверь, отделанную бронзой. На ручках двери висели массивные сургучные печати на белых шнурках. «Наверное, подземный ход из Кремля, — подумал я, — по которому в праздники высокопоставленные лица проходят на трибуну».

Затем мы вошли в центр мавзолея. Перед нами снова оказалась гигантская мраморная плита. Привыкнув уже к полумраку, мы разглядели справа лестницу, идущую вверх, мимо черных стен. Поднявшись на несколько ступенек мы поняли, что из-за края гранитного парапета струится розовый свет. Еще несколько шагов вверх и мы увидели оба гроба. Они стояли за парапетом, слева от нас, на широком пьедестале. Мы невольно задержали свой шаг. В ближнем гробу лежал Ленин. Гроб казался колоссальным и основание его растворялось в темноте. Ноги и живот трупа были закрыты черным полотнищем, похожим на просмоленное покрывало. Затем виднелся серый френч, скрещенные кисти рук и острая рыжая борода, приподнятая кверху. Квадратная группа розовых ламп бросала на лицо мертвеца фантастический отблеск. Сзади нас раздался тихий, но внушительный голос: «не задерживайтесь, граждане». В углу маячила фигура охранника. Мы пошли вдоль парапета. Парапет огибал гробы с трех сторон. Рядом с ним молча двигался поток людей. Тишину нарушали только шарканье шагов и шопот охранников, напоминавших, что задерживаться нельзя.

Параллельно с Лениным, во втором гробу, лежал Сталин. Такое же смоляное покрывало до половины туловища и такая же квадратная группа розовых ламп над лицом. Но на военном мундире, рядом с цветными полосами орденских планок, сверкали две золотые

звезды. И если лицо Ленина не казалось мертвым, то лицо Сталина отливало трупной синевой, а щетина усов казалась приклеенной. Мы усердно вертели головами, стараясь запомнить детали, но уже через несколько секунд миновали гроб и, свернув в какую-то дверь, оказались вдруг на улице. Мне показалось, что у обоих агентов вырвался невольный вздох облегчения. И я почувствовал своеобразную радость, что снова попал на свежий воздух, к жизни и свету.

Затем мы пошли вдоль кремлевской стены мимо могил с мраморными бюстами основателей советского государства и черными табличками на кирпичной кладке в тех местах, где замурованы урны с прахом «верных сынов партии».

Выйдя к Спасской башне, мы остановились. Я не мог отделаться от впечатления, что агенты были разочарованы или подавлены. Мне почему-то стало смешно. Чтобы перебить настроение, я предложил:

— Давайте, я свожу вас в собор Василия Блаженного. Как раз рядом. Там музей . . .

Они радостно согласились. Часа полтора мы бродили по церквушкам в куполах собора. Прицепившись к группе школьников, слушали рассказы экскурсовода о прошлом этих миниатюрных часовенок, приделов и келий. Потом я взял такси и повез обоих немцев в Третьяковскую галлерею. Из галлереи их нельзя уже было вытащить до позднего вечера. Галлерею стали закрывать и мы ушли.

Я позвонил в министерство. Через пятнадцать минут Борис подхватил нас в свою «Победу». Меня довезли до угла Молчановки и Кривоникольского. Машина Бориса сверкнула красными огоньками и скрылась за поворотом. Я подумал о том, что теперь визит обоих немцев в Москву можно официально считать законченным.

В Сочельник берлинская погода оказалась совсем не рождественской. Снег еще не выпал. Было тепло, а к вечеру город даже затянуло туманом. Около новых корпусов на Сталин-аллее я отпустил машину и сказал Устинычу, что вернусь в Карлсхорст на электричке. Мне хотелось побродить по городу одному.

Улицы вымерли. Только что миновало шесть часов и каждый уважающий себя немец спешил встретить Рождество в семейном кругу. Сквозь туман, откуда-то издалека, вероятно из Западного Берлина, долетал перезвон праздничных колоколов. Спешит в Кёпеник, наверное, и Франц. Я только что передал ему «рождественское пособие», путевку в санаторий для жены и денежное содержание вперед на три месяца. Да, Франц, конечно, спешил к семье. Когда я в конце встречи вручил ему еще и пакет-подарок с кофе, шоколадом и маслом, он выпалил: — «Здорово! Теперь мне не надо ездить за такими вещами в западный сектор. Полечу прямо домой, а то уже скоро шесть».

Как все же странно могут иногда сочетаться свойства человеческого характера . . . Сегодня Франц встречает Сочельник в семейном кругу, завтра повезет жену в санаторий, детей к бабушке в деревню, а послезавтра поедет убивать Околовича. Он захватит с собой тот самый чемодан, который брал когда-то к сестре в Западную Германию. Образ строгой совести сестры не будет смущать Франца всякий раз, как он притронется к чемодану. Его не будет беспокоить мысль, что дети когда-нибудь узнают о преступлениях отца. Но, возможно, он и не считает свои действия преступлением. Моя совесть, например, и сегодня не протестует против убийства Кубе. Почему бы Францу не считать, что он тоже солдат особой войны. Ведь сказал же ему Студников, что Околович опасен не только для советского правительства, но и для восточногерманского государства. Наверное, так это и есть. Рухни советская власть — от коммунистического режима в Восточной Германии не останется камня на камне. Возможно, что Франц в полных ладах со своей совестью: она разрешает ему убить Околовича. Но в самом-то деле — это абсурд! В логических рассуждениях Франца должна быть где-то передержка! Я не верю, что на свете все относительно. Не может быть, что не существует ничего единого, высшего священного и неизменного, одинакового для всех людей, вне зависимости от их политических убеждений, личных устремлений и даже веры. Ведь встречает же сегодня Франц Рождество так же, как встречает его и Феликс,как встречают немецкие антикоммунисты в

Западном Берлине, как встречает, наверное, его и Околович во Франкфурте. Все они кого-то любят, кого-то жалеют, кому-то стремятся сделать хорошее. Даже Феликс, при всей своей тяге к беспринципности, при всей своей прожженной душе полууголовника, повез в Потсдам подарки детям какой-то вдовы, с которой он живет и о которой заботится. Он тщательно это скрывает, как бы стесняется. Но сегодня утром, передавая ему «рождественское пособие», я узнал случайно, что почти все полученные в связи с выездом на задание деньги он кладет на сберкнижку на имя вдовы.

Нет. Не все относительно на свете. Есть какой-то высший нравственный кодекс, к которому люди инстинктивно стремятся, соблюдение которого абсолютно необходимо, чтобы остаться Человеком.

Не входит ли в этот кодекс и проблема о собственной совести?

Если я скажу все это Францу, он наверное усмехнется и заявит, что право на собственную совесть — фикция. Партия — его совесть, борьба — его нравственный кодекс. Он думает, что можно так жить и оставаться человеком. Но все дело в том, что партийная совесть, именно в силу своей партийности, теряет постепенно связь с человеческой душой, с интуитивным ощущением высших нравственных принципов. Не признавая права на собственную совесть для своих единомышленников, партия приходит к отрицанию этого личного права и для всех других людей. А отрицание права на собственную совесть, абсолютно равного для всех людей, неизбежно приводит человека к нравственной деградации и, рано или поздно, к гибели — моральной или даже физической. История фашистских и коммунистических партий дает ряд таких примеров.

Студников не стал доказывать Францу, что Околович обычный преступник и приговорен к смерти справедливым судом за преступления против общечеловеческой морали. Франц, может быть, даже обиделся бы, если бы ему предложили ремесло рядового палача. Франц прекрасно понимает, что Околовича решено уничтожить за попытку этого русского эмигранта жить по собственной совести, а не по той, которую диктует доктрина коммунистической партии.

Линкольн сказал: «Народ, который угнетает, сам никогда не будет свободным». Возвращаясь к францам и феликсам, можно сказать, что человек, отрицающий за другими людьми право на собственную совесть, сам никогда не получит такого права для себя. До той поры, пока он когда-нибудь не остановится и не скажет: «Стоп. Вот этого я сделать уже не могу. Мне не разрешает мой внутренний голос». И поймет, что без права на собственную совесть — нет Человека.

Но, может быть, я преувеличиваю преданность Франца и Феликса «партийным интересам»? Не исключено, что они чувствуют и понимают конфликт между их собственной человеческой совестью и партийной стратегией. Они же, в конце концов, могут так же бояться за свои семьи, как я боюсь за свою. Правильно сказала Яна: «Откуда нам знать, что они думают на самом деле...» Конечно, их судьба крепко связана с моей на предстоящем нам отрезке пути. Но не стоит ломать голову над тем, что может с ними случиться и почему. Их судьба и их совесть не могут повлиять на мое решение...

На лихтенбергском вокзале я сел в поезд электрички. Мне нужно было ехать назад, к станции Осткройц, чтобы попасть на линию, ведущую к Карлсхорсту. В вагоне не было почти никого. Я вынул из кармана западноберлинский журнал. Рождественский номер с елочными огнями, лучистыми звездами и серебряными колоколами на первой странице. Через всю страницу, наискось, шел снег. Я выглянул в окно вагона. Туман все сгущался.

В середине журнала, разворотом на две страницы, был обширный гороскоп на будущий год с подробными предсказаниями о деловых перспективах, о шансах в любви и о вероятном состоянии здоровья. Я нашел рубрику «Стрелок» для Яны и «Близнецы» для меня. Предсказания были похожими для нас обоих: «...небольшие трудности в начале года, но потом, в конце весны, полное исполнение всех надежд...» Я вырвал страницу. Отвезу Яне. В гороскопы особенно не верили ни она, ни я, но пусть почитает.

Надо бы, между прочим, попасть домой к встрече Нового года и провести этот вечер вместе с семьей. Де-

ло не только в приметах. Яне будет особенно тяжело встречать этот Новый год. И для меня встреча Нового года всегда была самым важным праздником. Может быть, потому что много лет подряд этот вечер заменял мне Рождество.

Я ведь могу сделать так, чтобы прилететь в Москву вовремя. Немцы готовы к выезду в Австрию. На днях Савинцев позвонил «своему человеку» в чешское консульство и им выдали проездную визу без каких-либо затруднений. Разрешения на въезд в советскую зону Австрии у них тоже теперь есть. Наша группа получила их прямо от Советской Контрольной Комиссии. Все это, конечно, не на настоящие фамилии Франца и Феликса, а на фиктивные паспорта, полученные из полицейского управления Дрездена. Собственно, фиктивными называть их неправильно. В этих документах все настоящее, за исключением самих владельцев. Даже билеты в Австрию у обоих агентов уже на руках. Франц едет поездом, а Феликс летит самолетом чешской линии. Я тоже мог бы полететь домой чешским самолетом. У чехов легче будет получить билет. Мой пропуск на обратный переезд границы еще действителен. Если оба немца к утру тридцатого числа будут уже на пути в Австрию, Студников разрешит мне вылет в Москву. Только нашлось бы свободное место на самолете в этот день.

Работа разворачивалась точно по плану. 28 декабря Франц выехал поездом в Австрию. 30 декабря Феликс вылетел из Берлина в Вену. В то же утро самолет чешской линии повез меня с шенефельдского аэродрома в Москву. Получить билет мне помогли проездные документы, подписанные еще в Москве заместителем министра МВД СССР Серовым.

Тридцать первого Окунь позвонил по «ВеЧе» из Австрии. Оба агента благополучно доехали до Вены, были приняты на связь, устроены в гостиницах и приступили к работе. Мастерские в Кучине назначили заключительные испытания оружия на пятое января. В довершение всего, Панюшкин вызвал Студникова и официально информировал его, что ЦК КПСС утвер-

дил оперативный план «Рейн». Обрадованный Студников милостиво дал мне отпуск на целых четыре дня.

Вечером, в полуподвале в Кривоникольском переулке, Яна, Алюшка, моя мама, Маша, тетя Варя и я встречали Новый год. На этот раз елка стояла не на чертежном столе, а на полу и упиралась серебряной звездой в потолок. Рождественских игрушек у нас прибавилось. Помимо «еще маминых» на ветках висели шоколадные фигурки и марципановые зверюшки, которые я привез из Берлина. И, вперемежку с цветными электрическими лампочками, белые стеариновые свечи . . .

В половине двенадцатого погасили свет и зажгли елку. Сказочные блики заиграли на стекле бокалов, на серебряной головке бутылки с шампанским, на покрытой яркой эмалью крышке шоколадного набора, на золотых каемках праздничного сервиза. Зеленый отсвет телевизорного экрана касался края вязаной скатерти и тут же растворялся в радуге елочных огней. Диктор московского телевизионного центра предупредил, что через три минуты — Новый год. Мы откупорили шампанское. Глоток красного вина был налит и Алюшке. Держа бокалы в руках, мы ждали пока часы на Спасской башне отобьют первые шесть ударов. Я знал, что на душе у Яны было так же тоскливо, как и у меня. Диктор поздравил с Новым годом и пожелал нового счастья. Мы чокнулись и выпили. Нам с Яной было очень нужно, чтобы наше счастье в наступающем году оказалось действительно новым . . .

Рабочий кабинет полковника Хотеева помещался на третьем этаже кучинского хозяйства. Комната была небольшой, но в ней все же находились два стола, поставленные в форме буквы «Т». Полковник Хотеев заведывал кучинскими мастерскими сравнительно недавно. Осенью 1953 года он сменил полковника Железнова, командовавшего «лабораторией» с начала Отечественной войны. Хотеева я почти не знал, и разглядеть его как следует смог лишь пятого января, когда Студников, Мирковский, Годлевский и я собрались у него в кабинете для обсуждения готовых комплектов бесшумного оружия.

Совещание началось с монолога Хотеева, жаловавшегося на развал в делах лаборатории, который был оставлен ему Железновым. Хотеев говорил о «запущенной отчетности», о «многолетнем паразитстве на государственные деньги», об «отсутствии системы и тщательности в работе». Я косился на Студникова. Голос Хотеева был значительно ниже, чем у Студникова, но тон его жалоб и набор фраз поразительно напоминал отзывы Льва Александровича о бывшем руководстве Девятым отделом. Когда же Хотеев заговорил о наступающих блестящих перспективах работы лаборатории под его личным руководством, я едва мог удержать улыбку и сделал вид, что усердно рассматриваю свои часы.

— Это у вас автоматические? — негромко спросил меня Мирковский. В глазах его мелькнули хитрые искорки. Он добавил: — Я не особенно доверяю автоматическим часам. Так, на вид все налажено, продумано, а отложи в сторону — остановятся. Вот у меня сколько лет простой «Лонжин», а как ходят. И никаких жалоб...

Хотеев почувствовал, что центр внимания переместился и снял телефонную трубку:

— Дайте мне экспериментальный, — сказал он.

Слово «экспериментальный» прозвучало внушительно. Мы повернули к нему головы.

— Василий? — спросил Хотеев. — Как насчет опытного образца книги? Ну, проверь, проверь . . .

Он прижал трубку ладонью и стал давать нам объяснения:

— У меня здесь появилась одна мысль. Три-четыре заряда для боевого оружия — пустяки. Нужна серия, десять-двенадцать выстрелов. Вот я и разработал конструкцию серийного переключения. Мы сделали модель. Снаружи — обычная книга, внутри — батарея бесшумных камер. Стоит потянуть за ленточку, знаете такие цветные ленточки у книг бывают, и вылетает дюжина пуль. Можно все сразу, можно по частям . . . Алло? Так заряди, чего же ты . . . И принеси сюда, ко мне в кабинет. Заряди боевыми, какая разница.

— О, нет! — запротестовал Мирковский. — Если эксперимент, да еще сюда в комнату, то боевыми не за-

ряжайте. Нам своя жизнь дороже, чем научное любопытство.

— Ладно, — засмеялся Хотеев. — Вася? Заряди холостыми. Только поскорей. У нас времени мало.

Когда он бросил труоку, заговорил Годлевский.

— Книга, там, — книгой... А что же, все-таки, происходит с нашими портсигарами? Что они готовы, мы уже слышали, но вы их испытываете, или как? Может, все на сегодня отложили? Тогда лучше пойдем на стенд. Потому что мы собираемся придираться.

Хотеев пожал плечами почти в негодовании.

— Конечно, испытывали. И не раз. На автомобильном стекле, на мясе, завернутом в драп, на досках. Несколько дней тому назад пробовали на собаках.

— Ну, и как? — поинтересовался Студников.

— Очень неплохо, — категорически ответил Хотеев. — Смерть наступает минут через пять. Конечно, зависит от экземпляра. Мы пробовали разные и послабее, и поздоровее. Но, в общем, можно считать, что в случае приличного попадания объект отправится на тот свет через 10 минут. И без обратного билета.

— Вы имеете в виду пули с начинкой? — спросил Мирковский.

Хотеев кивнул. Студников сделал вид, что размышляет и даже склонил голову набок.

— Подойдет, — вымолвил он, наконец. — Подойдет... Думаю, что даже скорая не успеет приехать. Ну, а что же вы нам сегодня будете показывать?

Хотеев открыл боковой ящик и, выкладывая на стол свертки, начал рассказывать, как бы читая лекцию:

— Мы изготовили для вас две конструкции оружия. Обе сделаны по форме портсигарных коробок, которые мы получили для образцов. Разница между конструкциями в количестве зарядов и в спусковом приспособлении. И в том и в другом случае оружие представляет собой стальной блок, в котором высверлены камеры для бесшумных патронов. В одной конструкции таких камер четыре, в другой — две. Блок с четырьмя зарядами имеет одну кнопку переключателя, помещенную в центре большой грани. Каждое нажатие кнопки выстреливает попеременно по одной камере.

Блок точно соответствует внутреннему объему портсигара. Кожу портсигарной коробки мы утончили в месте соответствующем кнопке. Кнопку можно прощупать через оболочку и нажать, продавливая кожу внутрь. Нажатие небольшое и портсигар не деформируется. Во второй системе, в двухзарядном блоке, каждая камера выстреливается нажатием отдельной пружинной полоски. Полоски тоже скрыты под кожей портсигара и легко прощупываются.

Хотеев передал нам два стальных блока в форме тяжелых кирпичиков. В шлифованную поверхность стали были искусно врезаны куски прозрачной пластмассы. Сквозь пластмассу были видны зубчатые колесики, провода, алюминиевые колпачки контактов и цветные кольца электрических детонаторов. На верхней, короткой грани блоков, соответствующей крышке стандартной пачки западных сигарет, торчали рыльца пуль.

Кожаные портсигары с уже вмонтированными в них блоками оружия остались лежать на столе у Хотеева. Он передал нам лишь по два дубликата стальных кирпичиков без какой-либо камуфлирующей оболочки.

— Осторожно, — предупредил Годлевский. — Не направляйте на людей. Батарей там еще нет, но может скопиться статическое электричество.

Он взял один из блоков, направил его в угол и несколько раз нажал кнопку переключателя. Выстрелов не произошло и щелкания контактов почти не было слышно. Годлевский повертел блок в руках и посмотрел на рыльца пуль.

— Работа чистая, — заметил он. — Пули, помеченные красной краской это те, что с начинкой?

— Да, — ответил Хотеев. — По вашей просьбе мы зарядили несколько камер сплошными, неначиненными пулями. Две сплошных пули в четырехзарядном и одна в другом блоке. Все камеры приводятся в действие электрическими капсюлями. В нижнем торце блоков есть полость для батарейки. Мы работаем с отечественными полуторавольтовыми. По сведениям вашей же службы, батарейки таких размеров есть за границей. Те блоки, которые я вам дал — точная копия боевого

оружия. С той разницей, что начинка пуль в них не настоящая, а из смеси сахара с минеральными солями.

— Надеюсь, что это не означает, что в боевом комплекте снаружи на пулях есть яд, — заметил Мирковский. — А то как бы ребята сами себя не отравили. Мало ли, что бывает... Случайный порез на пальце...

— Нет, нет, — помотал Хотеев головой. — Уровень начинки гораздо ниже линии запрессовки. А в комплекте, предназначенном для тренировки, вместо пуль заряжены свинцовые болванки, чтобы не разбрасывать наших специальных пуль в случайных местах. Вообще же, мы даем вам еще два трехзарядных пистолета и набор бесшумных камер для них. Специально для тренировки людей.

— Но для пистолетов мы тоже заказали боевые камеры, не только учебные, — возразил Студников.

— Да, да, правильно, — вспомнил Хотеев. — Изготовлено шесть боевых гильз и для пистолетов. И там, между прочим, все пули с красной пометкой.

Студников внимательно рассматривал блоки, поворачивая их во все стороны и изучая мелкие детали в глубине прозрачной пластмассы:

— Здорово, — признался он, передавая блок Мирковскому. — Техника на грани фантастики. Ну, а можно считать это оружие надежным?

— Вполне, — ответил Хотеев с оттенком гордости. — Двойная система предохранения. В боевой обстановке предохранителем служит крышка портсигара.

Хотеев взял со стола один из портсигаров, купленных мною в Западном Берлине и нажал на бронзовую защелку. Крыпкка отскочила и мы увидели верх сигаретной пачки «Честерфильд». Серебро было сорвано и из пачки торчали кончики сигарет.

Хотеев потрогал мизинцем табачный волосок, выбившийся из одной сигареты.

— Маскировка получилась неплохой, а? — не то спросил, не то установил Хотеев. — Мы считаем, что перед выстрелом крышку нужно открывать. Сигаретные кончики проклеены хорошо. Пуля пройдет через них легко и особенных следов не оставит. Поэтому мы сделали крышку своеобразным предохранителем. Вы-

стрел произойдет только в том случае, если крышка откинута.

Годлевский покачал головой:

— Ну, а если открывать крышку не выгодно? Выходит, тогда стрелять нельзя?

Хотеев замялся. Было похоже, что об этом техники не подумали.

У меня мелькнула мысль, что проблема крышки может задержать сдачу оружия. Я обязан был помнить о «вторых группах» и предложил:

— Сделайте крышечный предохранитель вынимающимся. Если мы увидим, что лучше посылать людей на задание без него, то просто вынем приспособление.

— Конечно, — согласился Хотеев. — Это очень даже легко. И потом, в системе есть второй предохранитель. Вот видите ушко проволочной петли? Она держит контакты разведенными. Перед употреблением ее нужно вытащить и все. Как у гранат.

— В общем, перед употреблением взбалтывать, — засмеялся Студников. — Но предохранители — это само собой. Я больше насчет возможных помех. Не испортится ваша техника в самый ответственный момент?

— Не должна. Мы сделали все с большими техническими допусками. Капсюли, например, сработают и при напряжении меньше вольта. Камеры герметичны, порох отсыреть не может. Так что оружие надежное.

Как бы перекликаясь с последними словами Хотеева, за дверью в коридоре раздались металлические щелчки и негромкое ойканье. Годлевский распахнул дверь. За ней стоял молодой человек в синем халате. На лице его была написана растерянность. В руках он держал имитацию книги из синего картона.

— Вася?! Что случилось? — воскликнул Хотеев.

— Она чего-то выстрелила . . . — смущенно заявил молодой человек.

Мы покатились с хохота. Один Хотеев не стал веселиться.

— Не донес? — укоряюще покачал он головой и добавил: — Эх, ты, техник!

Хотеев взял «книгу» и раскрыл ее. Мы увидели батарею стальных гильз, соединенных проводами. Из уг-

ла торчала цветная ленточка, привязанная к скользящему переключателю.

— Переключатель закоротился, — глубокомысленно заметил Хотеев. — А звук был громким, потому что гильзы холостые.

— Может отложим эксперименты на другой раз? Нам бы наше оружие попробовать. Оно-то, надеюсь, будет стрелять тогда, когда мы этого захотим? — подчеркнуто вежливо осведомился Годлевский.

— Ну, что вы, — засмеялся на этот раз и Хотеев. — Книга предмет экспериментальный. А ваши портсигары — продукт окончательный.

Испытание портсигаров, или, вернее, сделанных по их форме стальных блоков, прошло гладко. Стреляли через стекло, одежду, доски, баранью ногу, устанавливали специальным прибором скорость пули, измеряли громкость выстрела электронным счетчиком децибелов, разглядывали в увеличительное стекло деформацию пули после пробивки препятствий. В общем, как выразился Студников: «действовали с научным подходом». Приемная комиссия осталась довольна.

В довершение всего, Хотеев рассказал Студникову, в популярном изложении, как устроены бесшумные камеры. На обратном пути в Москву Студников был в веселом настроении и болтал больше обычного.

— Все великое в простом. Стальная гильза. В гильзе — диск. Порох взрывается и толкает диск. Диск выбрасывает пулю и тут же захлопывает отверстие. Весь звук остается внутри. Проще пареной репы. Но ведь надо додуматься. Оружие хорошее. Я, лично, доволен. А вы что-то кислый немного. Может быть, не нравится что-то? Так вы скажите, не стесняйтесь. Оружие в конце концов для вашей операции сделано.

Вторая половина тирады относилась ко мне. Годлевский поехал в другой машине. Мирковский уже давно смотрел отсутствующим взглядом в окно машины на проносящиеся мимо склады и фабрики.

— Оружие выглядит неплохо, — согласился я. — И работает прилично. Во всяком случае, теперь его хоть можно назвать бесшумным. А я, лично, не столько кислый, сколько ошалелый от беспрерывной возни в течение последних недель с десятками мелочей. И даже на-

чинаю подумывать, действительно ли нужна вся эта дотошность.

Мирковский улыбнулся, не поворачивая головы от окна. Студников переспросил, сделав вид, что не верит своим ушам:

— До-то-шность? Нехорошее слово. Что это у вас за настроения? Переутомляться вам рано. Вся операция еще впереди. Вы меня не пугайте. Я за вас перед начальством свою голову положил. Знаете, что? Я созвонюсь с Панюшкиным. Пусть он вас примет и благословит. И потом возьмите себе неделю на устройство домашних дел. Отчитаетесь Панюшкину и выбросите, временно, всякие оперативные заботы из головы. Дело теперь уже пошло само. Вчера ночью как раз Окунь звонил. Те штампики, которые он прислал в конце декабря, не годятся. По случаю смены года изменились и образцы отметок на границе, но все налажено — завтра он посылает еще одного курьера. Новые образцы будут готовы очень быстро. Забавная личность этот курьер. Женат на некой Цеппелин. Соне Цеппелин, кажется. Она не то внучка, не то дочка того самого Цеппелина, что дирижабль изобрел. По-моему, даже аристократка с каким-то титулом, а муж работает на нас. Большие связи и прочная репутация. Франц и Феликс, между прочим, переехали в Баден. Живут, работают, все у них в порядке и о вас часто спрашивают. Когда, мол, приедет Иосиф. К работе рвутся. Хорошие ребята. Мы им в Москве крепкую зарядку дали. Так что, думаю, через недельку и двинетесь в путь. Когда это получается?

— Тринадцатого, — коротко ответил Мирковский и вопросительно взглянул на меня, не боюсь ли плохой приметы. Я кивнул утвердительно.

— Хорошее число. Как-то случалось, что у меня все важные дела в жизни были связаны с цифрой тринадцать. Пусть останется и на этот раз.

— Значит, заметано, — констатировал Студников. — Летите тринадцатого. Я смогу тогда двинуться десятого в Озерки. А то путевка пропадает. У жены моей со здоровьем совсем неважно . . .

Неделю на устройство домашних дел я получил, но Панюшкин принял нас только девятого. Разговор был

очень короткий. Панюшкин внимательно выслушал мой отчет, что все готово, и что даже новые образцы пограничных отметок переданы в отдел Громушкину для изготовления резиновых штампов.

— Когда летите? — спросил он.

— Тринадцатого. В Австрию. Гражданским самолетом «Аэрофлота». Потом, через несколько дней, Годлевский на военно-почтовом самолете привезет в Вену оперативное имущество и приступит к заключительной тренировке агентов. К концу месяца сумеем, наверное, приступить к переброске группы к месту операции.

Панюшкин качнул отрицательно головой.

— К месту операции вы в этом месяце не поедете. Нам приказано придержать боевые дела до окончания Берлинской конференции. Годлевский пусть посидит пока в Москве, а вы поезжайте тринадцатого. Очень хорошо. Посмотрите, как развертывается дело в Австрии и восстановите свою европейскую тренировку. Я договорился с Федотовым. Минский отпадает. Можете вычеркнуть весь вариант с ним из оперативного плана. Вопросы ко мне у вас есть?

Вопросов ни у Студникова, ни у Мирковского, ни у меня не оказалось. Протягивая мне руку, Панюшкин поднялся на этот раз из-за стола:

— Тогда двигайтесь в путь. Увидимся, когда приедете обратно. Нужно будет задержаться в районе операции — задерживайтесь. Помните, что агенты смотрят на вас, как на барометр. Ваше состояние передается им. Они нервничать могут. Вам нельзя. Оружия личного вы все-таки не берете для себя? Нет? Ну, и правильно делаете. Для нас с вами голова важнее, чем пистолет. До свиданья.

В ночь на тринадцатое января я заснул поздно. Тут же налетели смутные, сразу забывающиеся сны. От вереницы полупонятных видений появилось ощущение надвигающейся катастрофы. Тоскливый ужас лег удушающей тяжестью на грудь. Я проснулся одним отчаянным усилием и приподнялся на кровати. В темной спящей квартире тикание будильника казалось особенно громким. Я пошарил рукой по мраморной доске буфета и повернул к себе светящиеся цифры часов. Чет-

верть пятого. В комнате, где спали Яна и Алюшка, было тихо. Я откинулся обратно на подушку.

Никакой надвигающейся катастрофы нет. Бывает, что смысл событий, происходящих наяву, искажается во сне в сторону преувеличения эмоций. В моей душе есть чувство ответственности и неповторимости момента. Есть, возможно, и страх, что сегодняшнее утро — последнее, которое мне суждено провести дома. Но все эти опасения и предчувствия необоснованы. Катастрофы не будет. Я вернусь.

Путь к Околовичу не должен быть трудным. Документы и маршрут разработаны хорошо. Денег на непредвиденные дорожные затруднения достаточно. Для того, чтобы решить, когда и где увидеть Околовича, у меня есть оперативная информация нескольких служб разведки и агентурная сеть, созданная специально для слежки за этим человеком. До Околовича я дойду.

Важно, чтобы он мне поверил с первых минут нашего разговора. Время для последующей тщательной проверки меня у Околовича будет. Я могу задержаться в Германии на месяц-два, посылать агентов в Вену и держать Москву в неведении. Конечно, за такой срок НТС много выяснить не сможет, но связь с советским человеком для них не новость, и какая-то техника проверки вновь приходящих у НТС есть. Однако, как человеку, Околович должен поверить мне сразу. Только тогда он будет действовать максимально осторожно и сумеет уберечь Яну и Алюшку от опасностей моей связи с революционной организацией. С этого я и начну с ним разговор. Предупрежу, что у меня есть семья на советской территории.

У меня будут с собой доказательства, что я действительно «с той стороны» — данные о советской агентуре вокруг НТС. Рассказ об этих людях нужен, одновременно, и как мера защиты моей семьи. Я могу потом привести некоторые факты из операции 1951 года. Факты, которые НТС не опубликовал, вероятно, из стремления защитить интересы лиц, порвавших с советской разведкой. У меня есть в запасе детали показаний — «Минского». Об его встречах с Околовичем, о доме, где они жили по соседству, о мелочах быта, известных только узкому кругу людей. Наконец, на приготовлен-

ных мной полосках бумаги есть много данных, доказывающих, что я имею отношение к службе советской разведки. Это Околович должен понять сразу.

В том случае, если захочет увидеть правду. А если не захочет? Если из каких-то стратегических соображений он отметет в сторону всякую логику и выдаст меня западным властям? Я должен быть готов и к этому. Полоски бумаги я, пожалуй, не повезу в Германию. Оставлю их в Швейцарии, в каком-нибудь банковском сейфе. Попав в руки западных властей, я всегда смогу замкнуться, замолчать и отказаться от моего добровольного прихода к Околовичу. Пытать меня не будут и с западным судопроизводством можно держать себя смело. Это я знаю еще из инструкций Комитета Информации, прочитанных мною в 1952 году. Я заявлю на суде, что был захвачен около квартиры Околовича, когда следил за ним по поручению восточноберлинской разведки. От присяги я могу отказаться под предлогом, что я неверующий. Ну, попаду на несколько лет в тюрьму. Зато Москва не будет знать об истинных причинах срыва операции и моя семья останется на свободе.

Конечно, и в таком крайнем варианте есть риск, но никакого другого пути я не вижу. Только добившись срыва операции «Рейн» я смогу избежать предательства по отношению к своей родине и по отношению к своей совести. Яна права. Нельзя жить одной самозащитой.

Люди, подписавшие план убийства Околовича наверняка понимают, что смерть руководителя закрытого сектора не уничтожит революционной организации, а, наоборот, докажет ее опасность для советской власти. Если ЦК КПСС готов пойти на подобную рекламу для своего врага, то они, очевидно, знают, что терять им нечего. Судить о народных настроениях я могу только интуитивно. У меня нет ни статистических таблиц, ни научного анализа революционных настроений. Но мы с Яной, например, уже знаем, что наш конфликт с властью не разрешить ни ожиданием «у моря погоды», ни компромиссом с собственной совестью. Смешно было бы думать, что мы с ней — исключение. В ближайшее время большинство народа должно разгадать ложь «уступок», «реформ» и «смягчений». Нужна только настоящая революционная организация, сумеющая поста-

вить точки над «i» и повести за собой массы. Организация, независимая от иностранного мира, смелая в борьбе и честная в устремлениях. Мне хочется верить, что такая организация уже есть и называется: НТС.

В материалах МВД по НТС и в «ориентировке» много ссылок на американскую разведку. Однако именно потому, что ссылки эти слишком назойливо и однообразно повторяются, они производят впечатление клеветы. В моем представлении образ Околовича не совмещается с образом иностранного наемника. Через него, через доверие к нему, я вижу и остальную организацию. Кроме того, мне памятны статьи в «Посеве» с критикой иностранного мира, с решительным отрицанием войны, с требованием национальной независимости России, освобожденной от коммунизма. И есть еще одно, самое главное, соображение: идеальная организация, в которую я верю, существует уже в надеждах миллионов людей, подобных мне. Почему же не предположить, что она возникла и в действительности? Я обязан верить НТС. Верить до той поры, пока и если обстоятельства не убедят меня в противном.

Мне надо только быть очень точным в разговоре с Околовичем. Не говорить ничего такого, что может показаться ему неясным или путаным. Например, такая деталь, как мое звание. С точки зрения закона я все еще старший лейтенант. С другой стороны, столько людей уже знает меня, как капитана: сотрудники советских учреждений в Берлине, обслуживающий персонал авиалинии, агенты, включая Франца и Феликса. Это сделали официальные документы, оформленные на такое звание. Даже сестра выпросила у меня вчера карточку в капитанской форме, одну из тех, что я приготовил для пропуска через границу. Что же сказать Околовичу? Объяснять нелепую путаницу не стоит. Заявить, что я старший лейтенант? А может быть у НТС есть возможности проверки в Берлине или Москве, которых я и не подозреваю. Нет, скажу, что капитан. А потом, когда уйдут настороженность и напряженность, связанные с первым знакомством, я объясню ему причины путаницы. В конце концов, это мелкая деталь. Так же, как я верю НТС в кредит, так и Околович обязан верить, что я пришел к нему с искренними намере-

ниями. Верить до той поры, пока и если факты не докажую ему что-то другое. Разве вся работа НТС не направлена на то, чтобы в один прекрасный день на их горизонте появился человек и сказал: «Я пришел к вам, потому что верю в Революцию и хочу служить ей». Такие люди, наверняка, уже не новость для НТС. Я не первый и не последний.

Как сказал Саблин: «Революционером нельзя быть наполовину». Я знаком с этим журналистом уже десять лет. Ведь, вот же, он хорошо знает, что я офицер госбезопасности, а мне не было страшно привозить ему страницы западных журналов со статьями о Советском Союзе, показывать даже «Посев» и рассказывать коечто об НТС. Когда несколько недель назад я зашел к нему в гости, мы разговорились о постановлении ЦК по делу Берии. Полушутя я упрекнул его за хвалебные статьи о Сталине, написанные еще при жизни диктатора. Саблин принял упрек всерьез:

— Да, писал. И самому было противно. Но из меня, Николай, революционера не выйдет. Человеческое достоинство растрачено. Сегодня у меня осталась моя водка, мои книги и, пожалуй, ничего больше. Какой я журналист . . . Черчилля я знаю по карикатурам, а Трумана по бюллетеням ТАСС. Эренбургу легче. Он хоть получает нецензурованную информацию и за границу ездит. А паруса у него все равно по ветру. Дело в том, что революционером нельзя быть наполовину. Нельзя бороться с властью в свободное время, вроде собирания марок. Революции надо отдать всю душу или остаться в стороне и не путаться под ногами. Вы человек молодой. Вам необходимо служить чему-то великому и новому. Можете мне ничего не говорить, но я уже понял, на чьей стороне ваши симпатии. Только не забудьте, что сказав «А», в жизни приходится говорить и «Б». Если вы на это готовы, я могу вас только благословить. А мое время ушло.

Мне кажется, что он прав. Революционером нельзя быть наполовину. Вот почему я обязан пойти к Околовичу.

Яна услышала, что я не сплю и пришла в столовую. Вещи были уже уложены со вчерашнего вечера. Оста-

валось упаковать дорожные мелочи. Мы оба делали это механически, почти ни о чем не разговаривая. Я чувствовал, что Яна боится говорить, чтобы не расплакаться. Мне все обычные слова казались лишними.

Яна разлила чай по чашкам и стала делать мне бутерброды в дорогу. Я вдруг почувствовал, что все, сказанное в следующие несколько минут, останется потом с Яной на долгие недели. Мыслей было слишком много. Хотелось сказать что-нибудь о нас двоих, о том, что нашему чувству теперь ничто не может помешать или ослабить его. Или, может быть, попросить, чтобы, если я не вернусь, она рассказала бы Алюшке что-то очень близкое к правде. Так, чтобы он понял и не стыдился поступка отца. Но в это утро любые такие слова могли оказаться почти кощунством. Мне было страшно, что они прозвучат банальным утешением. Я выбрал поэтому фразы, которые считал необходимыми просто технически:

— Все складывается так, что я должен вернуться месяца через два-три. Может, конечно, случиться и задержка. Тогда я пришлю тебе письмо. Ты все помнишь, как и что?

Яна медленно, почти задумчиво качнула головой. Мне казалось, что она старалась растянуть фразы потому, что можно было говорить о чем-то заученном, а не своем собственном.

— Ты пришлешь письмо из Берлина, якобы от родственницы тети Вари. Подпишешь полевой почтой...

— Пиши мне, пока я буду в Вене, — попросил я. — Тамара Николаевна обещала часто заезжать к тебе за письмами. Я останусь в Австрии до начала февраля, а потом поеду прямо к нему. Задержек в дороге быть не должно. Так что, примерно, в середине февраля мы уже будем с ним обсуждать, что делать дальше. А к апрелю ты будешь знать, возвращаюсь я или задерживаюсь.

Яна опять рассеянно кивнула. Я понимал, что она не хотела ни спорить со мной, ни комментировать мои надежды.

— Часы! — вспомнил я. — Твои часы . . . Где они? Чуть не забыл . . .

Стальные автоматические часы швейцарской марки, которые я привез Яне в 1951 году успели уже ис-

портиться. Вчера я сказал Яне, что возьму часы с собой, отдам опытному часовщику в Вене и захвачу потом на обратном пути в Москву.

Яна подняла на меня глаза и я увидел, сколько противоречия было между их выражением и слабой полуулыбкой на ее лице.

— Оставь, Коля. Стоит ли тебе возиться с ними?

И тут же добавила:

— Зачем? Я и так верю, что ты вернешься.

Полуулыбка исчезла и углы ее рта дрогнули. Я пошел к буфету и разыскал коробочку с часами.

— Нет, я их возьму, Яна. Может быть, это моя последняя поездка за границу. Здесь их не починят.

Я продолжал, укладывая коробочку в карман чемодана:

— Все карты у меня в руках. Я полностью контролирую операцию. В крайнем случае, если увижу, что идти к нему сложно, просто вернусь и все. Никто не будет требовать от меня невозможного.

— Ты не забудь теплый шарф, — сказала Яна. — Я специально не уложила его. Наверху будет, наверное, очень холодно.

В дверь постучали. Яна прикусила губу. Я пошел открывать. На пороге стояла Иванова, кутаясь в свою коричневую цигейку.

— Ну, и мороз, — сказала она, входя в коридор. — Вот ваши документы и билеты.

Иванова протянула мне желтый пакет. Пока я рассматривал командировочное удостоверение, пропуск через границу и билеты на гражданский самолет, она присела на край сундука и продолжала:

— Нам нужно еще заехать в министерство за пакетом для Окуня. До Внукова добираться минут сорок. И приехать туда мы должны за час до отлета.

Иванова скользнула взглядом по моему лицу, увидела краем глаза фигуру Яны за столом и вдруг заспешила:

— Я пойду лучше в машину. У нас печка там включена. Вы не торопитесь. Есть еще в запасе минут пятнадцать-двадцать . . .

Мне показалось, что по ее лицу пролетело что-то похожее на сочувствие. Она отвела взгляд, запахнула цигейку и, сутулясь больше обычного, ушла на улицу.

Дверь захлопнулась за Ивановой. Я обнял Яну, бросившуюся ко мне. Мы пошли к сыну. Молча постояв у его кровати минут пять, мы ушли обратно в столовую. Говорить мы опять ничего не могли. Когда Яна сняла с вешалки мое пальто, я начал вдруг повторять машинально, убеждающим тоном: «Я вернусь . . . я очень скоро вернусь . . .» Она кивала и пыталась улыбаться. Но по щекам у нее уже текли слезы. Мы остановились на пороге. Яна осталась в раме двери. Яркий свет из нашего коридора бил сзади в ее растрепавшиеся волосы. Тусклый отсвет лампы из вестибюля падал на ее мокрые щеки и побелевшие пальцы рук, сжавшие узел халатных завязок. На глазах была тень, но в долю секунды я смог прочитать в них то, что мы не сумели сказать друг другу в это последнее утро. Неужели в самом деле последнее? Я отрицательно мотнул головой и сказал громко: «Два-три месяца, не больше . . .» Она заставила себя еще раз улыбнуться и утвердительно кивнуть.

На дворе было темно. Снег скрипел под ногами. Сквозь туннель ворот маячил призрак машины и доносился шум работающего мотора. Я еще раз оглянулся. Дом был погружен в темноту. Только внизу, слева, у самой земли, светилось наше окно. В нем на холщевой занавеске виднелся силуэт Яны.

Держась рукой за подоконник, она прислушивалась к моим удаляющимся шагам.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дверь в мой номер была полуоткрыта. Пансионная горничная только что закончила убирать комнату. Увидев, что я иду по коридору, она спела протяжное «гутен а-абенд» и ушла в другое крыло этажа. Я повернул внутреннюю задвижку и лег на кровать, не раздеваясь. Сквозь оконные занавески просвечивали первые бледные звезды. Шестой час. Вторые сутки, как я во Франкфурте.

Швейцарский журнал снова лежит на ночном столике. Я купил его вчера в Базеле, привез в кармане пальто в Германию и сегодня утром выбросил в мусорную корзину. Уборщица, очевидно, выложила его обратно на тумбочку. Не осталось ли в нем чего-нибудь непрочитанного?

На последней странице гороскоп на эту неделю. Сегодня четверг, восемнадцатое февраля. Судя по журналу, день безразличный и ничем не примечательный. А для субботы, 20-го числа, в рубрике моего созвездия написано: «день важных решений. Возможный поворот в судьбе». Может быть, пойти к нему в субботу?

Я подымаюсь с кровати и иду к окну. Незамазанные рамы открываются легко. Внизу, слабо освещенный редкими огнями, раскинулся чужой город. Где-то там, на восточной окраине живет Околович. Наши пути скрестились. Нет, ждать не надо. Преодолев тысячи километров, множество границ, преодолев собственную

человеческую слабость, я не должен медлить перед последним рывком...

Уже на углу улицы я оглядываюсь назад на пансионный дом, на темное пятно оставшегося открытым окна, и невольно улыбаюсь своему порыву. Что же это за сила толкает меня столь неумолимо к решительному шагу?

Особенно проверять, нет ли за мной слежки, не стоит. Я еду изучать подходы к его дому. Это может выглядеть и как самостоятельная инициатива при руководстве операцией...

Вагон трамвая сильно качает. Вожатый не уменьшает скорости на поворотах. Сквозь стекло задней площадки я разглядываю проносящиеся мимо улицы, бульвары, огни светофоров. Даже если Околович пройдет мимо меня или я увижу его машину, встречи не произойдет. Я не могу подойти к нему на улице. В городе может быть вторая группа по такому же заданию, ведущая параллельное наблюдение за Околовичем. Идти прямо к нему на квартиру? А дверь и табличка с кнопками? И потом, мне ведь нужно встретиться с ним одним, без свидетелей. Да, что там... Нечего ломать себе голову. До сих пор все шло по плану. Дальнейшее можно отдать случаю. В конце концов, если нам суждено встретиться, то что-нибудь подвернется...

Ярко освещенная площадь Гауптвахе. Мне надо пересаживаться на другой трамвай. Под блистающей разноцветными лампочками рекламой кино толпятся люди. Хорошо бы, вот так же, подойти, бросить марку в окошко кассы и исчезнуть в темной двери зала. Исчезнуть, забыть хотя бы на время ответственность происходящего...

Колеса трамвая визжат на повороте. Огней становится меньше. Я уезжаю от центра города.

Конечная остановка. Все выходят. Конечная остановка и моего длинного и странного пути.

Места более или менее знакомы. Не только по фотографиям и чертежам. Вчера вечером я бродил здесь вместе с Францем, чтобы придать моему приезду во Франкфурт больше естественности. Франц приехал в Германию на сутки раньше меня и многого разузнать не успел. Сегодня он ведет наблюдение за местами ра-

боты Околовича в другом конце города. Феликс приезжает из Швейцарии только завтра днем. Если по близости нет наблюдателей из параллельных групп, мое сегодняшнее появление в этом районе останется неизвестным для Москвы.

За площадкой трамвайной остановки стоит будка с шоколадом, леденцами и напитками. Под ее навесом горит огонек. Рядом, как тень, скамейка. Дальше мокрая мостовая и на ее краю дом. Тот самый дом. В окнах, которые были отмечены на фотографии карандашными стрелками, виден свет. Значит, он уже дома. А, может быть, не он. Кто-нибудь из семьи или знакомых. Площадь и улицы пустынны. Я замечаю, что подошел уже к двери второго подъезда. Она тянет меня к себе, как магнит. Дощечка с кнопками. Мелькает дикая мысль: нажать и помахать ему вверх: «Привет, Георгий Сергеевич!» Как иногда самое простое оказывается абсолютно невозможным. Интересно, закрыта ли уже дверь. Наверняка, закрыта. Я могу нажать на нее и сразу пройти дальше. Сделать вид, что ошибся подъездом или номером дома... Дверь плавно поддается от первого прикосновения руки и застывает на секунду, открыв полоску пустой, заполненной ярким светом, лестницы. Я невольно делаю вперед шаг, другой и, уже начав подыматься по ступенькам, соображаю, что ведь иду прямо к нему на квартиру. Отступать поздно. Теперь вверх, быстрее, пока на лестничных пролетах никого не видно. Пятый этаж по-нашему должен означать по-местному четвертый. Свет здесь совсем не такой яркий, как мне показалось. Не нужно считать этажи. Просто на самом верху. Лестница кончается. На площадке три двери. Какая же из трех? Его окна выходят на улицу... Что-то никак не могу сообразить. Все квартиры подходят... Позвоню в левую. Дверь распахивает человек незнакомого вида. Он без пиджака, рукава белой рубахи закатаны, одна подтяжка упала с плеча.

— Герр Околович? — спрашиваю я, уже чувствуя, что попал не туда.

— Нейн, нейн... — мотает головой незнакомец в рубашке, тыкает несколько раз пальцем в сторону другой квартиры и захлопывает дверь.

Над звонковой кнопкой нет никакой надписи. Я слышу, как дребезжит звонок в глубине квартиры. В полуоткрывшейся двери стоит Околович. Смотрит на меня спокойно и вопросительно. Он старше, чем на фотографии, меньше ростом, волосы реже и светлее, другие глаза. Но это должен быть он. Тот же длинный овал лица, острый подбородок, очки, приспущенные на горбинку носа. Околович молчит, придерживая дверь, и изучает меня с настороженным любопытством. Я стараюсь, чтобы мой голос зазвучал как можно естественнее:

— Георгий Сергеевич?

Он все же слышит, наверное, что я волнуюсь.

— Да . . . я . . . — отвечает Околович, но войти не приглашает.

Итак, мы встретились. Самое трудное, видимо, позади. Все становится сразу обычным и простым. Я облегченно улыбаюсь и спрашиваю уже совсем спокойно:

— Можно к вам на минутку?

— Д-да . . . конечно . . . — говорит он нерешительно, приоткрывает дверь и пропускает меня в квартиру. Я бегло осматриваю переднюю. К ней примыкает небольшая кухня. Через другую дверь видна часть жилой комнаты. Все тихо, никого нет, ничего подозрительного не заметно. Не закрывая входную дверь, Околович продолжает:

— Собственно говоря, я вас не знаю и . . .

Я прерываю его почти веселым голосом:

— Зато я вас знаю очень хорошо. Если вы разрешите мне присесть, я все объясню. Вы один дома?

Последние мои слова звучат больше утвердительно. Околович смотрит на меня пристально с секунду, переводит взгляд на пролет лестницы, где по-прежнему никого нет, пожимает слегка плечами и закрывает входную дверь.

— Да, один . . . — говорит он, наконец, и показывает мне на жилую комнату: — проходите.

Маленькая комната кажется мне набитой старой мебелью. Широкое окно задернуто шторами. Я сажусь на диван. Околович опускается в кресло напротив. Он, вероятно, уже понял, что происходит что-то совсем необычное, глаза его очень серьезны. Он поддался мне

навстречу, как делают люди, желающие подбодрить собеседника, и выжидающе молчит. Я стараюсь найти подходящие слова.

— Георгий Сергеевич . . . Я приехал к вам из Москвы . . . ЦК КПСС постановил вас убить. Выполнение убийства поручено моей группе . . .

Околович все еще молчит. На лице его ничего не дрогнуло и сам он остался неподвижным. Только подбородок чуть опустился книзу, — знак понимания того, что он внимательно слушает. Я продолжаю, стараясь высказать самое главное прежде, чем он примет какое-либо решение:

— Я не могу допустить этого убийства . . . По разным причинам. А положение сложное. Здесь, в Германии находится целая группа. С надежными документами, крупными суммами денег, специальным оружием. Агенты опытные и хорошо подготовлены к этому заданию. Правда, вся операция находится пока под моим контролем. Но я один не сумел найти выхода. Решил придти к вам предупредить и посоветоваться, что же делать дальше. И вам и мне . . . Могу еще добавить, что я капитан советской разведки. У меня в Москве остались жена и сынишка. При первой нашей с вами ошибке они могут погибнуть . . .

Околович задумался, мотнул головой и попробовал улыбнуться:

— Д-да . . . бывает . . .

Он ничего не добавил. Ждал, по-видимому, дальнейших деталей. Рассказывать я мог бы о многом. Но собрать мысли было трудно. Я никак не мог ощутить сам для себя, что же самое важное в нашем разговоре.

— МВД . . . — начал я, чтобы не молчать. — Моя служба входит в состав МВД. МВД знает о вашем образе жизни. Еще в Лимбурге за вами велось наблюдение. И здесь, во Франкфурте, разведка старалась узнать о вас, как можно больше. Мне давали читать оперативные дела. На НТС и на вас. Хочу, кстати, сразу вас кое о чем попросить. Вы ведь ездите на черном Мерседесе?

— Ну, предположим . . . — неопределенно ответил Околович.

— Да, я знаю точно. И номер его такой-то?

Околович склонил голову набок жестом не то раздумья, не то осторожного согласия. Похоже было, что он скажет: «некоторые цифры верны» . . . Но я не стал ждать его ответа.

— Сменили бы вы, если не машину, так номер. Мне легче будет оправдать задержку в выполнении задания. Между прочим, и телефон ваш известен Москве. Вольф сообщил еще в августе. И домашний и служебный в РИА . . .

Между бровями Околовича мелькнула складка. Я подумал, что псевдонима «Вольф» он может не знать и пояснил:

— Хорунжий. Вы раскрыли его недавно. Ну, помните, тот, которому вы звонили и спрашивали про брата жены — Ханиш. Он побаивался ваших проверок. Писал нам тревожные рапорты. Я, между прочим, принес с собой данные о сетке агентов вокруг НТС. Но об этом потом . . . Сейчас главное решить вместе с вами, что же делать дальше . . .

Околович оставил напряженную позу внимательно слушающего человека и откинулся назад. Похоже было, что он принял какое-то решение.

— Ну, что ж . . . — не спеша начал он. — Одно я вам могу сказать уже сейчас. Политическое убежище для вас получить можно. Даже больше . . . совершенно уверен, что добьемся его для вас . . .

Вид у меня был наверное настолько недоумевающим, что Околович тут же поправился:

— Понимаю . . . Это не то, что вас интересует . . . Или, вернее, вам кажется, что это вас не интересует . . . Но в вашем положении . . . Возвращаться домой, не выполнив задания . . . Неужели вы думаете, что это хоть в какой-то степени возможно?

В его тоне прозвучал и призыв к реальному взгляду на вещи и некоторый упрек в легкомыслии.

При мысли, что я отрезал себе путь обратно на Родину, к Яне и Алюшке, у меня екнуло сердце. Нет, сдаваться я не собираюсь. Но вопрос с семьей тем более надо решить немедленно и до конца.

— Дело вовсе не во мне, — решительно возразил я. — Для моего личного возвращения в Советский Союз есть конкретные возможности, которые нетрудно реали-

зовать с вашей помощью. Вы можете заболеть или уехать куда-нибудь. Легко сделать так, чтобы кто-то из агентов попал в руки властей. Да, разные есть варианты. Это все детали. Лично для себя я не боюсь риска. Иначе я не сидел бы здесь... Главное, конечно, в моей семье. Здесь вы, вероятно, правы. Моя встреча с вами может оказаться для них роковой. Значит надо как-то обеспечить их безопасность в любом случае. Может вывезти из Москвы, так, чтобы они жили поближе к границе. В момент крайней опасности вы могли бы помочь мне перебросить их на запад...

Теперь на лице Околовича появилось настороженное недоумение:

— Подождите... Я вас не совсем понимаю. Вы хотите, чтобы мы связались с вашей семьей и вывезли их за границу?!

Его нескрываемое удивление встревожило меня. Неужели у НТС нет реальных возможностей прикрыть отход моей семьи, если со мной что-либо случится? Тогда имею ли я право вообще идти на сотрудничество с ними? Но, с другой стороны, я не должен спешить с выводами. Нельзя требовать от Околовича откровенного разговора на такие темы через пять минут после моего появления в его жизни.

— Георгий Сергеевич, я пока ничего конкретного у вас не прошу. Само собой понятно, что сначала вы должны убедиться в честности моих намерений. Что я действительно тот, за кого себя выдаю. А вот, когда вы мне поверите...

— Я верю... — просто сказал Околович.

Эти два, в общем банальные, слова были сказаны с такой силой искренности, что на душе у меня стало теплее и легче. Я вдруг заторопился:

— Я же знаю из оперативных дел МВД, что ваши люди ходят на ту сторону. Большой помощи мне и не надо. Связаться с семьей я могу сам. Потом, у меня на службе есть доступ к разным образцам пограничных документов. Для семей военнослужащих в Австрии, например. Рисковать мне не впервые и в разведке я тринадцать лет. Конечно, вы имеете полное право бояться за свои опорные точки. Но можно сделать так, что ваша организация до самого последнего момента

ничем особенным рисковать не будет. Семья моя может свободно выехать на долгое время из Москвы. Никто ничего не заподозрит. Впереди весна и лето. Они могут поехать на дачу. Есть и другие возможности. Жена могла бы перевестись на работу куда-нибудь в Среднюю Азию или на Дальний Восток. Или на Шпицберген ... Да и вообще ...

В входной двери послышался звук поворачиваемого ключа. Я поднялся с дивана. Околович успокаивающе махнул рукой:

— Это, наверное, моя жена ...

Из-за открывшейся двери показалась фигура женщины. В руках у нее была сумка, из которой торчали свертки. Она остановилась в передней, не решаясь закрыть дверь и переводя глаза с одного из нас на другого. Околович шагнул вперед:

— Валя, у меня гости ...

Он прижал ладонью планку двери и она захлопнулась. Околович стал нас знакомить:

— Моя жена, Валентина Константиновна ...

Он запнулся. Я вспомнил, что Георгий Сергеевич так и не знает как меня зовут.

— Николай Евгеньевич мое имя, — сказал я.

— Николай Евгеньевич приехал из Советского Союза, Валя, — стал объяснять Околович. — Нам нужно кое о чем поговорить. Ты не согрела бы нам кофе?

Валентина Константиновна еще раз посмотрела на мужа, на меня, расстегнула верхнюю пуговицу пальто, сказала тихо — «Да, да, сейчас» — и ушла в кухню. Мы вернулись на свои места — Околович в кресло, я на диван.

— Да ... так вот ... — возобновил разговор Георгий Сергеевич. — Если у вас есть что-либо, чего вы не хотели бы открыть моей жене, давайте обсудим сейчас.

— Понимаю, — ответил я. — Есть, кое-что ... Например, об агентуре вокруг НТС ...

— А это как раз важно. Я лично, как член организации очень заинтересован в этих сведениях. Хотите поговорить об этом сейчас?

— Да, нет, — решил я. — Сейчас все равно не получится. Точных данных у меня с собой нет. Я оставил

их в Швейцарии. Может быть, только об одном человеке стоит поговорить немедленно.

Я рассказал Околовичу вкратце координаты одного из агентов советской разведки, по-моему наиболее опасного для НТС и моих планов.

— Есть и другие, — сказал я. — О них потом. Кроме того, в операции «Рейн» участвует несколько немецких агентов. Двое из них здесь в городе. Вернее, пока один. Второй приедет завтра. О них мне не хотелось бы много рассказывать и раскрывать их преждевременно. В сущности, они ключ к тому, чтобы мои действия остались неизвестными Москве. Я могу посылать их в Австрию и Восточную Германию совершенно свободно. И с такими донесениями, какие нам понадобятся. Кстати: специальное оружие находится пока в Вене. У моей группы здесь нет никакого оружия, даже простых пистолетов. Как вы думаете, стоит вызвать курьера с оружием сюда, в Германию? Для меня сразу возникает проблема хранения. Передавать его агентам я не хочу. Кто их знает. С виду они меня слушаются, а потом вдруг возьмут, да и убьют вас по собственной инициативе. А оружие вообще интересное: бесшумное, на электрических батареях. Сделано в Москве по последнему слову техники.

— Тогда, может быть, сделаем так . . . — ответил Околович. Вызывайте оружие . . . А хранить его будем там, где едва ли будут его искать: у меня дома. За сохранность я ручаюсь.

— Да, пожалуй, это идея, — согласился я. — Я вызову курьера на будущую неделю и передам вам оружие. Но это все уже детали. О них мы успеем поговорить. Сейчас нам надо бы решить самый главный вопрос. Вопрос о моей семье. Как у вас со временем сегодня?

— Вообще-то мы должны были идти в гости, — ответил Околович. — Но это неважно. Позвоним и скажем, что не можем придти. Или они нам сами позвонят. А вы-то как? Можете еще посидеть у нас?

— Могу . . . Мне надо выйти от вас так, чтобы никто не заметил. Каким-нибудь черным ходом. А время роли не играет. Только, чтоб на трамвай еще успеть.

— Я вас выведу через двор. У нас есть другие ворота. В боковую улицу. И потом, надеюсь, наша сегодняшняя встреча не последняя...

— Я не хочу показаться вам однообразным, Георгий Сергеевич, но и это будет зависеть от того, как мы решим проблему моей семьи.

По лицу Околовича пробежала тень. Его кивок головой был похож на предостерегающий жест:

— Да, эти вопросы лучше уточнить. Что же я могу вам сказать?.. Так, сразу, трудно. Повторяю, политическое убежище не проблема, хотя вы и не хотите об этом разговаривать. Но для меня нет никаких сомнений: возвращаться вам обратно с невыполненным заданием нельзя. Дайте мне договорить. Это мое личное мнение. При серьезном и трезвом взгляде на вещи. Значит, самое главное это решить, как спасать вашу семью. Здесь надо много раз все продумать, прежде чем что-либо начинать. Неудачных попыток быть не может. Если бы ваша семья была где-нибудь в Восточной Германии или какой-нибудь стране народной демократии, можно было бы справиться. А в самой России, да еще в Москве... Тяжеловато. И времени, главное, не хватит. Нам на одну раскачку понадобится месяцев пять-шесть. Вас, ведь, это не устроит.

— Я не могу так ставить вопрос, устроит или не устроит. Я просто хочу передать вашей организации в руки судьбу своих близких и потом...

— Вот я об этом и говорю, — остановил меня Околович. — Об ответственности, которую вы хотите, чтобы мы на себя взяли. А мне кажется, что вы находитесь во власти мифа. Мифа, который создало, наверное, само МВД. Мы вовсе не так уж всемогущи. Наоборот, технически скорее слабы. Зачем мне вас обманывать. Я такими вещами не занимаюсь. С тем, чего вы просите, мы наверное не справимся...

Наступило молчание. Я смотрел вниз, на край вытертого ковра. Вот, оказывается, как обстоит дело. Пусть пока это всего лишь личное мнение Околовича. В отношении моих шансов на возвращение назад он может ошибаться. Но силы и возможности собственной организации Околовичу известны. Он не пытается обма-

нуть меня. Это уже хорошо. Но что же будет с Яной и Алюшкой?

Околович повернул голову в направлении кухни:

— Валя, как насчет кофе?

— Несу, — отозвалась Валентина Константиновна.

Она стала расставлять чашки и кофейник на столе. Я пересел на ближний стул. Околович принял чашку из рук жены и устроился на углу дивана.

— Так, значит, вы оттуда . . . — сказала Валентина Константиновна. На вид она была совершенно спокойна. В голосе ее звучало не любопытство, а скорее какое-то уважение. Может быть, она подумала, что я член организации, вернувшийся из СССР. В оперативных делах по НТС были материалы об одной попытке похищения Околовича, сорвавшейся благодаря присутствию духа его жены. Правильнее было, наверное, предупредить и ее об опасности.

— Оттуда . . . — повторил я. — У меня для вас есть хорошие новости.

Я рассказал ей о ее родственниках, о которых узнал из оперативных дел МВД. За многими из них велась слежка. МВД считало, что связные НТС могли бы использовать этих людей в качестве явок. Я же сумел сообщить Валентине Константиновне о последних событиях в жизни близких ей людей. Все, в основном, были живы и здоровы.

— Между прочим, у меня есть сведения о Ксении Сергеевне, — обратился я к Околовичу.

— Она жива? — встрепенулся он.

— Да. Но не на свободе. Вы, может быть, не знаете, что после вашей встречи с ней в Ленинграде, она примерно через месяц рассказала обо всем старшему врачу поликлиники. Сразу, конечно, узнало и НКВД. В течение многих лет ее пытались приспособить ко всяким вариантам против вас. Она сопротивлялась. Кончилось тем, что вскоре после конца войны ее выслали в лагерь. Последнее, что я нашел о ней в делах был рапорт из Карлага о том, что ваша сестра вместе с другими заключенными объявила голодную забастовку. Рапорт датирован 50-ым годом. Вас, между прочим, после встречи с сестрой разыскивали по всему Советскому Союзу. Только когда захватили архивы польской контрразвед-

ки, узнали, что вы вышли сразу после этого в Польшу. Я читал и ваш рассказ и рассказ Колкова. Вообще, материалы на вас в Москве большие. Даже письма на квадратиках тетрадочной бумаги, которые вы посылали сестре во время войны, тоже подшиты к делу.

Околович иронически покачал головой:

— Ценят, значит...

— Да. И отчаянно ненавидят.

Я повернулся опять к Валентине Константиновне:

— Но я принес вам и плохие новости. Лучше сказать о них сразу. Я офицер-разведчик. Советское правительство послало меня сюда с заданием организовать убийство вашего мужа. Я, конечно, не собираюсь выполнять это задание. Поэтому и пришел к Георгию Сергеевичу. Я предлагаю ему вместе перехитрить советскую разведку и сорвать не только этот план, но и будущие планы. Но я не один. У меня в Москве семья. Когда вы пришли, я как раз просил Георгия Сергеевича помочь мне обеспечить безопасность моей жены и сына...

— И выяснилось, что в Москве нас считают более сильными, чем мы есть на самом деле, — вмешался Георгий Сергеевич. — Но я вот о чем думал... Положение такое, что приходится искать любого выхода... Как бы вы отнеслись к тому, чтобы посоветоваться с иностранцами? У них ведь, наверное, есть такие возможности, которые нам и не снились.

— С властями? Боже упаси! — ответил я. — Они подымут тревогу и могут все погубить. И потом, все, что их будет интересовать, это разведывательные данные в моей голове и покупка меня на иностранную валюту.

Околович поднял руку утихомиривающим меня жестом:

— Я не о властях говорю. Власти, конечно, могут все испортить. Я о других иностранцах. Некоторые наши связи. Больше наши знакомые, чем связи. У этих иностранцев, кажется, есть голова на плечах и чувство порядочности. Во всяком случае, можно посоветоваться, не давая никаких обязательств.

— Ну, что ж... Если не давая никаких обязательств... Только не говорите им обо мне ничего точного.

Околович улыбнулся:

— А я и сам ничего точного о вас не знаю. Имя ваше может быть выдуманное. Документов ваших я не проверял. Что же я им могу сказать?

— Ну, я вообще... Приметы мои не надо им давать. Хорошо бы так все рассказать, чтобы они не разобрались, к какой службе я принадлежу. И об агентах не стоит. Если они всполошат мою сеть, мы можем все потерять... А в принципе...

Да... В принципе... Я понимал, что Околович предоставляет мне свободный выбор. Искренность его поведения подсказывала, что захоти я подняться и уйти, никто не будет останавливать меня силой. Но что тогда? Отойти в сторону и допустить убийство Околовича? Невозможно. Это решено нами еще в Москве раз и навсегда. В то же время переход на Запад, к властям, и публикация всей истории для меня тоже неприемлемы. Это могло бы обезопасить Околовича, но в ответ на мой удар последует удар МВД по семье. Не говоря уже о том, что переход на Запад в моем положении равносилен сдаче всех позиций и расписке в собственном бессилии. Что же тогда делать? Может быть, действительно, помощь иностранцев решит вопрос о прикрытии моей семьи? Это не власти, отдельные люди, друзья НТС. Такую связь можно оборвать, если они захотят взять инициативу в свои руки. Переговоры будет вести Околович. Я могу остаться полностью в тени. В конце концов, мало ли семей на территории Советского Союза, которые НТС по тем или иным соображениям хотел бы обезопасить...

Валентина Константиновна собрала чашки и унесла их в кухню. Звяканье посуды заставило меня очнуться и увидеть, что Околович терпеливо ждет. Я ответил ему решительно:

— Хорошо. Другого выхода, видимо, нет. Давайте попробуем... Но очень прошу вас: выдумайте какого-нибудь теоретического советского офицера. Не обязательно разведчика. Вы же можете им объяснить, что я пришел к вашей организации и их помощь нужна только в отношении семьи.

Околович одобрительно кивнул.

— Согласен. Мы тоже не захотим вас потерять. Я, правда, еще раз могу сказать: по-моему, без иностранной помощи в таком деле не обойтись. Но будем вести переговоры пока на теоретической базе. Есть только еще один вопрос . . . Кого вы предпочитаете: французов, англичан или американцев?

— Англичан не стоит, — попросил я. — Мне кажется, что во имя интересов британской империи они могут нас обмануть или даже выдать . . . Французы не знаю, справятся ли . . .

— Тогда, значит, американцы, — не стал спорить Околович. — А как мы с вами будем держать связь? Я ведь не знаю ни где вы живете, ни как вас искать.

— Давайте, назначим встречу, — предложил я. — До понедельника вы успеете что-нибудь выяснить?

— Думаю, что да, — сказал Околович. — В понедельник . . . Где?

— Назначайте вы. Я Франкфурт плохо знаю.

— Хорошо. Оперу знаете?

— Проходил мимо. Такое полуразрушенное здание и площадь со сквером рядом с ним?

— Да, да. В крайнем случае спросите. Опера здесь одна. Так вот, с правой стороны, если встать лицом к зданию, есть стоянка для автомашин, такие разлинованные полоски асфальта, вы знаете. Я приеду туда на машине, остановлюсь поближе к зданию и буду вас ждать. Машина Опель Олимпия, серая, довольно потрепанного вида. Площадь перед Оперой большая. Вам будет удобно осмотреться как следует и придти прямо в машину. А там поедем куда-нибудь. За город, например. Разговаривать будет удобнее.

— Прекрасно, — согласился я. — А время? Шесть часов вас устраивает?

— Вполне. Как раз после работы. Но тут есть одно обстоятельство . . .

В первый раз за весь разговор Околович замялся и стал подбирать слова. Однако он тут же взял себя в руки и улыбнулся:

— Да, не буду я вокруг да около. Вы с конспирацией знакомы и поймете меня с полуслова. Конечно, я вам доверяю. Так мне и полагается по профессии. Но я член организации и подчиняюсь дисциплине. Не знаю, имею

ли я право ехать совсем один на заранее назначенную встречу с человеком, прибывшим с той стороны при таких драматических обстоятельствах.

— Понимаю, — прервал я его. — Вам придется приехать не одному. Я не буду спрашивать, кому из членов НТС вы расскажете о нашей встрече. Это остается целиком на ваше усмотрение. Но, откровенно говоря, при нашем следующем свидании опасность будет, как минимум, одинакова для нас обоих. Поэтому я должен знать, с кем вы приедете. Не обижайтесь, но иначе к машине я не подойду. У вас организация, а у меня семья.

Околович задумался.

— Наши конспираторы будут меня потом отчаянно ругать, — заговорил он снова, — но обстоятельства столь необычны . . . Ладно . . . Мы будем только вдвоем. Я попрошу Поремского приехать со мной.

— Поремский? — переспросил я. — Я слышал о нем в Москве. По мнению моих начальников он следующий кандидат на устранение. Именно поэтому я лично смогу ему полностью довериться.

— Ну, тогда, значит, договорились, — сказал Околович. В понедельник, у Оперы, в шесть часов . . . Между прочим, я хотел спросить вас . . .

В передней раздался звонок. Я посмотрел на Околовича и помотал многозначительно головой: — «Никто не должен меня у вас видеть . . .» Он прикрыл дверь из комнаты в переднюю. Я проскользнул в пространство между боковиной шкафа и углом комнаты. Околович прислушивался к голосам, доносившимся из передней. Мне показалось, что я различаю чей-то баритон, задающий Валентине Константиновне короткие, невнятные для меня вопросы. Тут только я почувствовал, как были все время натянуты мои нервы. Я понимал, что ничего особенного случиться не может. Вряд ли Околович или его жена позвонили тайно в полицию. Это просто не могло быть. Я не мог так обмануться в людях. Нет, это даже просто исключается. Значит, какие-нибудь знакомые или случайные посетители. Если люди из параллельной группы и заметили меня, то на квартиру к Околовичу они не пойдут. Хотя, кто их знает, что они подумают . . . Скажут себе, что пошел убивать Около-

вича сам и провалился. Вот и пришли «выручать». Да, нет, глупости все это . . . Так советская разведка не работает. Если и заметили, будут сначала докладывать. Потом ждать инструкций . . .

Околович оглянулся и, вероятно, что-то прочитал на моем лице, потому что прошептал успокоительно: — «Ничего страшного. Соседи. Сейчас уйдут. Жена их не пустит в квартиру».

Наружная дверь захлопнулась. Околович вышел в переднюю, перекинулся с женой несколькими словами и вернулся в комнату.

— Все в порядке, — сказал он. — Сосед пришел проведать. У нас это в обычае. Заходим друг к другу время от времени. Так, для проверки. Живем-то на осадном положении.

Равновесие уже вернулось ко мне и я спросил тоном полушутки:

— Кстати об осадном положении. Мы в Москве ломали себе голову, как до вас добраться. Целая разведывательная служба изучала систему вашей охраны, расписание вашей жизни и так далее. А я вот, с первой попытки попал прямо к вам. Да еще застал дома одного. Как же так? А дисциплина организационная? Не ругают вас за такое поведение?

Околович усмехнулся:

— Да вы не иронизируйте. Я вам правду сказал о дисциплине. А насчет вашего прихода . . . Так знайте, что вам исключительно повезло. Я редко бываю дома в это время и тем более один. А вообще-то в ваших словах есть доля правды. Москва, наверное, представляет себе не только нашу организацию, но и каждого из нас в особом свете. Тоже миф. И пусть так думают. Пусть думают, что меня, например, охраняют очень сильно. Охраняют, конечно. Но, видите, не так уж, значит, сильно. А то, что противник так думает, уже хорошо. Тоже метод защиты. Своеобразное психологическое заграждение, если хотите . . .

— Ну, знаете . . . Заграждение заграждением, а вас так когда-нибудь действительно убьют.

Околович пожал плечами:

— Убить, конечно, могут. Но и дрожать от этой мысли я не собираюсь. Некогда мне. И потом все зависит

как смотреть на такие вещи. Я, например, целиком принадлежу организации. Убьют меня, организация мое дело подхватит. А я, может быть, и мертвый сослужу нашему делу неплохую службу. Знаете, политическое убийство это ведь, в некотором роде, признание врагом. Так, что еще вопрос, бояться ли мне убийства . . .

Я внимательно посмотрел на него. Текст был похож на браваду, но интонация и сам человек, сидевший напротив меня, отвергали возможность позы.

— Знаете что? — сказал я очень серьезно. — Как бы мне вас попросить убедительнее, чтобы на время, пока я буду здесь, вы на психологическое заграждение чересчур не рассчитывали. Я за вашу жизнь перед своей семьей головой отвечаю. Если вас убьют, то не знаю, как будет с пользой для организации, но мне лично придется такой ответ держать, что не знаю, сумею ли вообще доказать, что я к вашей смерти непричастен. Нет уж, пожалуйста . . . Я категорически на этом настаиваю из собственных мелких интересов.

Околович засмеялся, но ответить не успел. Пришла Валентина Константиновна. Разговор переключился на Москву, на положение в Советском Союзе и последние новости «оттуда». Мрачные темы операции «Рейн» и планов советской разведки были временно оставлены. Мои рассказы затянулись до половины двенадцатого. Околович уже два раза звонил знакомым, ждавшим его на день рождения и предупреждал, что придет поздно.

Наконец, я спохватился, что могу пропустить последний трамвай.

— Мне ведь придется еще провериться, нет ли слежки, — напомнил я Георгию Сергеевичу. — Лучше уже двигаться. Все равно в один вечер всего не расскажешь. Вы обещали вывести меня черным ходом . . .

— Да, да, обязательно, — ответил ни минуты не раздумывая Околович.

Он снял наши пальто с вешалки. Я посмотрел еще раз на Валентину Константиновну. Она знала, что сейчас ее муж поведет меня черным ходом. Поведет совсем один. Как бы правдоподобно ни звучали мои рассказы, конечно, оставалась возможность, что мой приход был особо тонкой комбинацией МВД. И все же в глазах Ва-

лентины Константиновны, снова отсвечивавших слезами, была вера в меня и в то, что я принес с собой.

— Спасибо, Валентина Константиновна, — сказал я, крепко пожимая ей руку.

— Дай Бог вам удачи, — ответила она и, помедлив секунду, перекрестила меня неловко и наспех, как бы боясь, что ее жест окажется некстати. На какое-то мгновение у меня мелькнуло чувство тоски, что через несколько минут я уйду от этих людей в неизвестность, в одиночество. Валентина Константиновна продолжала негромко:

— Знаете, все случилось так неожиданно . . . Прямо свалилось на нас . . . Это вам спасибо . . . Даже не знаю, что сказать . . .

— Я поведу Николая Евгеньевича, Валя, — проговорил Околович. — Ты не хлопай дверью, чтобы не слышали, что мы ушли. Я вернусь быстро . . .

Перед дверью на лестницу Околович задержался было, чтобы по привычке пропустить гостя вперед и тут же спохватился:

— Я пойду лучше первым. Света ведь не будем зажигать, чтоб с улицы не видели. Вы не споткнетесь в темноте?

Мы вышли на лестницу. Околович спускался в полутемноте, впереди меня на несколько ступенек. Шли мы медленно, осторожно и я думал, какое чувство должно быть сейчас в душе Георгия Сергеевича. Он же не может знать, что у меня с собой нет не только никакого оружия, но даже и просто тяжелого предмета. Наверное, именно сейчас для него решается вопрос: провокатор я или его друг. Это хорошо. Все, что у меня есть дорогого в жизни, держится сейчас на ниточке доверия Георгия Сергеевича ко мне. И чтобы он ни говорил о своей профессии, обязывающей верить людям интуитивно, наш спуск вдвоем по темной лестнице докажет ему многое. Он доказывает и мне кое-что. Что слова Околовича об отношении к своему долгу и к возможности политического убийства не были бравадой.

Мы свернули в боковую дверь и попали на двор. Там было почти так же темно, как и на лестнице. Мы шли рядом друг с другом мимо бетонных гаражей.

— Значит, до понедельника, — сказал негромко Околович. — Через эти ворота вы попадете на бульвар. Я постою здесь немного и проверю, не пойдет ли кто за вами . . .

Мы были уже в каменной арке боковых ворот. Околович протянул мне руку:

— Желаю вам удачи. Будьте осторожны.

— Моя удача или неудача теперь в ваших руках, — сказал я.

— Да, нет, не совсем так, — задумчиво ответил он. — Я попробую, я обязательно попробую. Но дело это далеко не простое. Во всяком случае, держитесь до понедельника. Ни в коем случае не падайте духом. Я сделаю все, что могу.

— До свиданья, — сказал я еще раз.

Он остался стоять в арке. Я начал пересекать улицу быстрыми шагами. Оглядываться не полагалось. Только дойдя до бульвара, я разрешил себе осмотреться. Все было спокойно. Одинокий прохожий показал мне направление к трамвайной остановке.

Сойдя у Гауптвахе, я остановился у кинотеатра. Лампочки рекламы уже погасли. Окошко кассы было закрыто цветной фанеркой. Я побрел по ночным улицам. Похоже, что моя встреча с Околовичем удалась. И все же странное чувство не оставляло меня. Чувство, что в событиях, которые я развязал, моя собственная воля стала второстепенным фактором.

Ночь на пятницу я спал без кошмаров или снов. Сказалось нервное напряжение предыдущих дней. Утром я тщательно проверился, нет ли за мной слежки и переехал в другой пансион. Теперь уже три силы решали нашу судьбу: советская разведка, НТС и какая-то, пока мне неизвестная, американская служба. Осторожность требовалась тройная. Я говорил себе, что Околович прав и без помощи иностранцев не обойтись. Конечно, его предложение застало меня в некотором роде врасплох. Я действительно попал под влияние мифа об НТС. Но все равно . . . Околовичу я доверяю полностью. И правильно сделал, что пришел к нему. В том, что я затеял, ставка должна быть на людей, а не на технические обстоятельства. Околович уже давно живет за

границей. Ему и НТС, наверное, не в первый раз решать такие вопросы. Взаимоотношения с иностранцами для них должны быть обычной и хорошо знакомой проблемой. Плохо только, что Околович не имеет никакой возможности связаться со мной до понедельника. Вдруг начнутся какие-нибудь осложнения с иностранцами... Околович захочет посоветоваться со мной или просто предупредить об опасности. Мало ли какой поворот могут принять переговоры. Эх... Упустили мы с ним это обстоятельство. Хоть бы какую-нибудь контрольную промежуточную встречу назначили. Но, между прочим, контрольную встречу еще не поздно организовать. Звонить ему на работу нельзя. Околович мог уже встретиться с американцами и телефон могут подслушивать. Надо сделать как-то иначе...

Я иду к телефонной будке и нахожу в книге номер издательства «Посев». Женский голос отвечает по-немецки: «Ферлаг Посев. Гутен таг...» Я спрашиваю по-русски: «Можно Валентину Константиновну?» Голос переходит тоже на русский и звучит вдруг совсем, как ответы московских телефонисток:

— Минутку. Я проверю, у себя ли она.

И через несколько секунд:

— Она сегодня на работе не будет. Позвоните, пожалуйста, завтра. Что-нибудь передать?

— Нет, спасибо. Я позвоню завтра.

Можно подождать и до завтра. Завтра еще только суббота.

Тем временем, согласно плану операции «Рейн», в пятницу днем из Швейцарии во Франкфурт приехал Феликс. В шесть вечера я отправил в Вену две условные открытки, а в восемь Франц, Феликс и я встретились в ресторане на Фридрих Эберт штрассе. Мы заказали ужин.

Чтобы избежать лишних разговоров, я сразу же заявил обоим агентам:

— Интересующего нас человека в городе нет. Он уехал на неделю. Сведения точные.

— Это не так уж плохо — отозвался Франц.

Мне показалось, что Франц был даже немного рад отсрочке. Он продолжал:

— Успеем провести подготовку с толком и не спеша. А то ведь люди мы все немного горячие. Был бы объект здесь, могли его случайно поймать где-нибудь в углу и, не долго думая, рискнуть...

— Ну, что ты... — возразил Феликс, навертывая спагетти на вилку. Работать-то нам нечем. Ни оружия, ни машины. Ни даже денег...

Он покосился на меня, и я понял намек.

— Я вам выдам пока по сто марок из моего личного резерва. Дело в том, что перевод из швейцарского банка в местный еще не пришел. Обещают только в понедельник. Тогда я вам дам месячное жалование вперед. А что касается оружия, то за ним, конечно, надо сразу съездить. Я уже отправил сегодня в Австрию вызов курьера. Он будет ждать во вторник в городе Аугсбурге, как условлено. Место и время не забыли?

— Двенадцать дня. И перекресток я знаю какой, — отозвался Франц.

— Тогда, значит, мы встретимся с вами здесь же, в этом ресторане, в пять часов, в понедельник, — продолжал я инструктировать агентов. Получите деньги на билеты и дорожные расходы и сможете в тот же вечер выехать в Аугсбург. С опознанием курьера трудностей не будет?

— Нет, — сказал Франц, — мне его в Вене хорошо показали. Я его из тысячи людей узнаю. Да и Феликс его помнит в лицо...

— Ну, я-то, положим, не особенно, — промычал Феликс, пережевывая шницель. — Что я его видел? Один раз, с другой стороны улицы, на ходу.

— В общем, номер его машины у вас есть и встретиться вы сумеете, — вмешался я. — Теперь так: аккумулятор ни в коем случае не открывайте сами. Это строгий приказ. Привезите его во Франкфурт так, как он есть и сдайте на хранение на вокзал. Квитанция пусть будет у Франца. Деньги из чемодана можете вынуть, если что-нибудь понадобится в дороге. Осторожнее с расходами. Ведите себя поскромнее. Я буду ждать вас три дня подряд на одном и том же месте: в двенадцать часов дня на отрезке улицы напротив этого ресторана. Явки: 24-го, 25-го и 26-го. Если вы или я все три

раза не появляемся на встрече, группа немедленно отходит. Без паники, но немедленно...

— Понятно, — сказал Франц. — Один вопрос: если вы не появитесь, может быть нам стоит произвести какие-нибудь расследования? Мало ли происходит глупых случайностей.

— Нет, нет. Расследований не надо. В крайнем случае приедем сюда еще раз. Сразу отходите в Австрию. Или лучше, Франц — в Австрию, а Феликс через зеленую границу — в Берлин. Пароль для пограничников у вас есть. И еще одно: Франц совершенно прав. Без тщательной подготовки рисковать и пускаться на авантюры мы не имеем права. Поэтому пока ни к месту работы, ни к дому объекта не ходите.

— А я хотел было провести его сегодня вечером мимо дома... — кивнул Франц на Феликса.

— Ну, хорошо, — не стал спорить я. — Один раз пойдите. Для удовлетворения любопытства. Только сделайте это попозже, часов в десять. Никаких наблюдений не производите — успеете в свое время. А завтра и в воскресенье поезжайте куда-нибудь за город. Здесь, во Франкфурте, не болтайтесь. Это тоже приказ...

Утром в субботу я снова позвонил в «Посев». На этот раз меня соединили с Валентиной Константиновной.

— Доброе утро, — сказал я. — Мы познакомились с вами два дня тому назад. При очень необычных обстоятельствах.

Она помолчала секунду, а потом быстро заговорила:

— Ах, да-да. Я понимаю. И голос теперь ваш вспомнила. Я слушаю вас...

— У меня есть к вам большая и очень срочная просьба. Передайте, пожалуйста, вашему мужу, что если я ему внезапно понадоблюсь, он может увидеть меня сегодня на том же месте и в тот же час, как мы условились. Я буду ждать пятнадцать минут и затем уйду. Тогда встреча состоится в условленный день. Так все и передайте. Он поймет...

— Одну минутку, — остановила меня Валентина Константиновна. — Если я правильно поняла, то вы будете ждать моего мужа на условленном месте и в ус-

ловленный час, но — сегодня. Если он не придет, то вы через пятнадцать минут уйдете и придете снова, как уже условились. Правильно?

— Правильно. Спасибо. Вы успеете ему передать до вечера?

— Попробую. Должна успеть.

Я повесил трубку и посмотрел на часы. Десять минут двенадцатого. Еще целых семь часов...

Из витрины рыбного магазина гигантский омар смотрел на меня равнодушными бусинами глаз. Остроносые угри прижались друг к другу бурыми копчеными телами, как бы стараясь согреться от холода, поднимающегося с осколков льда. В зеркальном стекле витрины отражался красный огонек светофора. Было без пяти шесть. Я повернулся спиной к омарам и угрям и зашагал к светофору. За ним виднелась площадь Оперы. Красный свет. Кому? Не мне ли? Сколько порогов приходится мне перешагивать в последние дни...

Красный свет сменился зеленой стрелой. Я пошел наискосок площади к зданию Оперы, зиявшему провалами выгоревших окон и обвалившихся стен. На трамвайной остановке я задержался на секунду. А впрочем, если площадь оцеплена, я это вряд ли замечу. Справа от Оперы стоянка для машин. Там стоит несколько автомобилей. Четыре или пять. Немного на отлете — Опель Олимпия. В ней виднеются два человека. Отсюда не рассмотреть — кто. Площадь пустынна и Околович должен меня видеть. Я решительно направляюсь к машине. Когда подхожу совсем близко, дверца ее открывается. За рулем Околович. В глубине кто-то незнакомый. Наверное, Поремский. Я нагибаюсь в машину:

— Добрый вечер...

Околович приподымает приветственно руку:

— Здравствуйте, Николай Евгеньевич...

Он говорит очень негромко. Я вдруг чувствую напряжение в его голосе. Что-то происходит не так, как хотелось бы Околовичу. Я не захлопываю дверцу, а только прикрываю ее.

— Я должен перед вами извиниться, Николай Евгеньевич, — продолжает Околович. — Случилось так,

что я вынужден был пригласить уже сегодня американцев. Они здесь недалеко . . . Не знаю, устраивает это вас или нет. Если не устраивает, вы скажите . . .

У меня пробегает холодок по сердцу. Глаза Околовича устремлены вперед, на дорогу. Рука его сжимает ручку скоростей, нога поставлена на газовую педаль. Что он будет делать, если я скажу «нет»? И есть ли, действительно, у меня такая возможность? Справа от меня — шорох. Я поворачиваю голову и вижу сквозь окно машины полы клетчатого пиджака и коричневый ремень с бронзовой пряжкой. Человек подошел уже совсем близко к машине. Я понимаю, что это — американец. Вереница мыслей молниеносно проносится через мою голову. Выскакивать из машины? Смешно и бесполезно. Кругом все, конечно, оцеплено. И мое бегство только даст им повод к аресту и бесцеремонному допросу. Сказать Околовичу: «нет!»? Пожалуй, уже поздно. Нужно было реагировать быстрее . . . Я пожимаю плечами и говорю громко:

— Что же теперь поделаешь . . . Раз они уже здесь . . .

Открываю дверь и вылезаю, чтобы дать дорогу американцу. Мы оказываемся рядом. Он небольшого роста, на вид совсем молодой, в очках со светлой роговой оправой. На курносом мальчишеском лице с россыпью веснушек сияет дружелюбнейшая улыбка.

— Здрастфуйте . . . — говорит он и протягивает руку. Я пожимаю ее наскоро, но в глубине души все еще не могу решить, как же мне себя держать с «ними» . . . Американец откидывает переднее сиденье. Я понимаю знак и пробираюсь на заднее сиденье. Американец садится впереди. Околович дает газ и мы вырываемся вперед.

— Как пожифаете? Мое имя Поль, — полуоборачивается ко мне американец. Я молчу, пытаясь сначала понять как следует, что произошло.

— Перфый улица влево . . . — говорит Поль Околовичу. Тот мрачно молчит, тоже что-то, видимо, обдумывая.

— Мы с вами так и не познакомились? — раздается голос рядом со мной. — Моя фамилия Поремский.

Я машинально жму руку Поремскому и успеваю заметить через заднее окошко, как большая американская машина поворачивает с площади вслед за нами. В ней группа людей. Да... Бежать, конечно, было бесполезно. Ну, что ж, Николай... Инцидент, как говорят, исперчен. Попался ты в ловушку и при том довольно бесславно. Но какова же во всем этом роль Околовича? Как бы отвечая на мои мысли, Георгий Сергеевич говорит вдруг очень громко, ни к кому не обращаясь, но с ноткой возмущения в голосе:

— Хочу сказать только одно... Совсем не ожидал, что господа американцы так быстро подойдут. У нас уговор был другой...

Американец отвечает примиряющим тоном:

— Ну, какой разница... энд бесайдс... Мы не можем чересчур рисковать...

Он поворачивается ко мне все с той же добродушной улыбкой:

— Мы едем на наша квартира. Там спокойно. Вы не возражайт?

Говорит он почему-то с мягким немецким акцентом. Мой ответ ему, очевидно, не особенно важен, потому что он тут же возвращается к Околовичу:

— Сюда, сюда... немножечко направо.

Под ложечкой у меня сосет все тот же холодок. Что же вся эта история может из себя представлять? Арест или попытку перетянуть на Запад? Попался я, конечно, по-глупому. Тринадцать лет работать в разведке и потом так снаивничать... Ведь какую карту получают теперь американцы против меня! Ну, и ладно... Пусть везут к себе на квартиру и пусть фотографируют. Работать на них я ведь все равно не буду. Подожди!.. Откуда у тебя это стандартное отношение к иностранцам? Почему, если американцы, так обязательно враги? Может быть, они и не собираются тебя вербовать? В конце концов, ты же сам обратился к ним за помощью... Ну, да, через Околовича. Но ты же видишь, что и сам Околович не был подготовлен к такому обороту. Чересчур рисковать они действительно не могут. Мало ли какие у них трудности и соображения... Ты требуешь доверия. Так попробуй сначала довериться сам. Ничего страшного пока не случилось. Советская разведка не

сумела столкнуть тебя с честного пути. Не столкнут и американцы. Они, может быть, даже и не собираются сталкивать ... Главное — оставить себе путь назад. Да, теперь этот путь более проблематичен, чем час тому назад. Но, с другой стороны, и друзей у тебя может прибавиться. А продавать Родину ты всегда можешь отказаться. Никто не может сделать тебя насильно предателем.

Машина крутит по улицам и останавливается у небольшого дома. Сзади подъезжает вторая, из нее кто-то выскакивает и идет мимо нас к подъезду. Поль поворачивается ко мне:

— Так мы пойдем?

К крыльцу ведут несколько ступенек. Дверь придерживает человек в светлом костюме. Борт пиджака приоткрылся и на белом крахмале рубашки виден холщевый ремешок. Наверное, лямка от пистолетной кобуры. Еще один человек такого же вида прислонился к стене в углу передней. В комнатах скудная казенная обстановка. Пыль и запущенность такая же, что и в конспиративных квартирах советской разведки в Карлсхорсте. В кабинете квартиры нас ждут двое. Очевидно, тоже американцы. Они поднимаются с дивана и здороваются все с теми же, моментально появляющимися и так же легко исчезающими улыбками. Мы рассаживаемся. Поль опускается в кресло на другом конце комнаты и, дернув брючину вверх, высоко закидывает ногу на ногу. Я сажусь на диван, рядом с американцами, и несколько секунд рассеянно разглядываю царапины на подошве ботинка Поля. Наступает общее серьезное молчание. Ждут, очевидно, что заговорю я. А у меня странное, тормозящее ощущение, что говорить будто не о чем. Просить их помощи? На каком основании? Вроде милости? Не хочу ... Предлагать что-то взамен? Что? К какому-либо торгу с иностранцами я совсем не готов ... И разве можно вообще выторговывать человечность и помощь ближнему ...

Из угла, где устроился Поль, раздается вдруг резкое дребезжание. Все нервно оборачиваются. Поль краснеет до ушей и начинает крутить свои ручные часы. Дребезжание прекращается.

— Будильник ... — поясняет Поль и поворачивает к нам запястье с швейцарским будильником миниатюрных размеров. — Забыл выключить будильник.

Все смеются. Невольно улыбаюсь и я. А что мне особенно мудрить. Ни стесняться, ни бояться нечего. Надо попроще и попрямее.

— Наша встреча получилась немного экспромптом, — начинаю я. — Я даже не знаю, что вам обо мне известно ...

— Очень мало, — вмешивается Околович предупреждающим тоном. — Я рассказал, что к нам пришел советский офицер, приехавший по секретному поручению своей службы за границу. Спас фактически мне жизнь. Семья его осталась в Советском Союзе. Теперь надо помогать ему перехитрить свое начальство. Это одно. А второе, самое главное, — надо спасать его семью. Вот и все, что я рассказал. О чем говорить из остального — решайте уж сами.

— Да ... О чем говорить ... — медленно, как эхо, повторяю я. — При такой встрече самое сложное это проблема взаимного доверия. Я понимаю, что имею дело с представителями разведки или контрразведки. Это обстоятельство меня немного тревожит. Лучше сказать с самого начала, кто я такой, чтобы не играть в прятки. Тем более, что вы поняли бы это быстро и сами. Я офицер советской разведки. Приехал сюда на Запад в связи с особым заданием. И попал на эту квартиру только потому, что господин Околович считает вас людьми, на честное слово которых можно положиться. Дело в том, что я пришел к НТС и ничьим агентом становиться не собираюсь .Конечно, ваш ведомственный интерес сосредоточится на том, что я могу знать. Вот тут и будут трудности. Я не могу рассматривать наши переговоры, как торг. И никогда не пришел бы к вам, как к разведчикам. Америку я почти не знаю. Но если судить хотя бы по советской пропаганде, эта страна занимает сегодня ведущее место в борьбе против коммунизма. Поэтому я и верю, что у НТС, как у русской революционной организации, борющейся против советской власти, могут быть искренние союзники среди американцев. Союзники, которые не столько пытаются заполучить выгоду на несчастии русского народа, сколько понимают,

что борьба у нас общая. Когда Георгий Сергеевич заговорил о помощи со стороны иностранцев, я мысленно увидел таких бескорыстных друзей, с которыми не нужно будет торговаться, с которыми можно будет разговаривать, не боясь, что «коготок увяз, всей птичке пропасть».

— Но вы понимаете и наше положение, — вмешался Поль, — у нас есть свое государство, свое начальство. Торговаться мы тоже не намерены. Но если вы просите помощи у нас, то и мы можем просить помощи у вас. Союзники, так с двух сторон.

— Да. Я понимаю. Все зависит от того, как наладятся наши взаимоотношения. Те сведения, которые ваше государство использует не против моей Родины, а против советской власти, я, конечно, могу вложить в общий котел нашей борьбы. Ну, например, сведения об агентуре, которая заслана на Запад с заданиями по диверсиям, саботажу, убийствам. Такие дела и такие агенты русскому народу не нужны и только порочат его имя. Может быть, найдутся и другие данные, раскрытие которых ударит по самой системе. Но это столь ответственный шаг, шаг, который может повлечь за собой такие опасные последствия для моей семьи и для меня, что говорить о таких вещах чересчур рано. Вот, если выяснится, что вы и ваша служба являетесь действительно теми союзниками, о которых я говорил, тогда можно будет заняться и дальнейшими этапами общей борьбы.

Один из американцев, сидевших рядом со мной на диване, решил включиться в разговор. Его русский язык был довольно чистым:

— Как разведчик, вы знаете . . . Прежде, чем давать обещания, мы обязаны хорошо понимать обстановку: что вы именно хотите, кто вы действительно такой, почему мы вам должны помогать? В другом случае нам никто ничего не разрешит.

— Ну, да. Это меня, повторяю, и беспокоит: то, что вы разведчики и я разведчик. На первый взгляд нам полагалось бы цинично и бездушно выложить все «за» и «против» на стол и составить оперативный баланс, но таким путем ничего не получилось бы и не получится. Я не для того начал борьбу с советской разведкой, что-

бы потом запутаться в комбинациях другой разведки. Я могу обращаться к вам только как к людям, как бы наивно и беспредметно это ни звучало в сложившейся обстановке. Моя жена и не согласилась бы, чтобы я помогал ей иным путем. Как бы это объяснить попроще, чтобы не получились одни громкие слова... Я знаю, что в сегодняшнем мире идеализм не пользуется доверием. Но все равно... Дело в том, что, находясь еще в Советском Союзе, я получил задание, направленное против НТС. А мне уже было ясно, что по отношению к русской революционной организации у меня есть определенные обязанности. Я посоветовался со своими близкими. Их это касалось, в первую очередь, по разным причинам. Вместе мы приняли решение сорвать задание. Тогда я и придумал разные планы, как выполнить это наше решение и потом вернуться домой, в Москву. Причем у нас было предусмотрено, что я вообще не буду иметь никакого контакта с американской, английской или какой-нибудь другой разведкой...

— Я вас спросил, хотите ли вы... — перебил меня Околович.

— Да. Это произошло уже здесь. И я собственно имел в виду, что переговоры будут идти без меня. Но события приняли другой оборот. Поэтому мне немного и не по себе. Но, видимо, это уже пройденный этап и говорить снова на эту тему нет смысла. Потом у меня в Москве, честно говоря, было мнение о несколько больших возможностях НТС...

— Что вы переоценили нас, в этом мы уж не виноваты, — сказал Околович.

— Да нет, не переоценил. Я пошел к НТС по другим причинам. В основную цель революционной организации не входит, конечно, спасение семей.

— Здесь я с вами не согласен, — горячо возразил Околович. — Будь ваша семья в Восточной Германии, — мы бы их вывезли. Без колебаний и без всякой иностранной помощи. Но я хочу о другом... Я вам сразу сказал, что у меня, как у человека, из-за которого завязалось это дело, есть теперь две задачи: помочь вам лично и, кроме того, спасти вашу семью. Так я рассуждал просто, как человек, а сейчас скажу, как член НТС: я бы очень хотел, чтобы ваша жена и ребенок были

здесь. Это и политически чрезвычайно важно и для нас, русских, и для американского государства. Политически чрезвычайно важно. Вот, почему, по-моему, ехать вам туда просто нельзя. Вы погибнете сами и этим погубите ваших. Значит, надо оставаться здесь и вместе с нами освобождать вашу семью. Я лично гарантирую от имени НТС, что мы готовы сделать все, что можем, для этого. Но времени слишком мало. Поэтому и пришлось обратиться к иностранцам. И я, между прочим, тоже не рассматриваю наши переговоры с представителями американского государства, как торг.

— У вас есть задание, которое нужно выполнять, а вы хотите его срывать. После этого с вами в Москве разве ничего не сделают? — спросил один из американцев.

— Трудно сказать... Может быть, что-нибудь и сделают. Посадят за халатность... А, может быть, и нет... Если сорвать по-умному... Даже не знаю. Понимаете, сам я лично жив или нет, это полдела. Я не собираюсь бежать от опасности. Да и прыжок на Запад для меня неприемлем, но моей семье помощь может понадобиться в любой момент. У спортсменов есть такое слово: «страховка». Когда человек совершает опасное упражнение, рядом кто-то стоит наготове, чтобы в случае срыва спасти его от увечья. Вот такой страховки для моей семьи я и прошу у вас. Какой-то точный и хорошо продуманный план вашей помощи НТС. План, который в случае моего срыва можно немедленно пустить в ход: перебросить мою семью к границе и вывезти их на Запад.

На несколько секунд установилось молчание. Головы американцев пытались, вероятно, уложить все только что услышанное в рамки привычных восприятий и категорий. Потом один из них, тот, что до сих пор молчал, заговорил, отчаянно коверкая русские слова:

— Я сожалею, но я не понимайт точно, почему вы пришел сюда. Сюда — к Западу. Или, как вы говорит, к НТС.

— Да, это, конечно, непростая и долгая история. Началась она несколько лет тому назад. В двух словах — перелом в психологии моего народа. И мое чувство долга по отношению к народу.

— Вы хотите сказать, что русские настроены против большевиков?

В голосе Поля звучало почти недоверие.

— Конечно. Мне трудно подтвердить это процентами или статистическим анализом. Но по своим друзьям, по моим близким, да и по самому себе я знаю, что произошел сдвиг в психологии масс. Народ начинает поддаваться революционным настроениям.

— Что вы имеете в виду словом «народ»? — продолжал Поль. — Армию? Крестьян?

Разговор перешел на внутреннее положение в Советском Союзе. Я понимал, что их интересует не только сам материал, но и те мелочи советского быта, по которым они могли проверить, действительно ли я только что оттуда. Потом они стали забрасывать меня вопросами. Я старался отвечать как можно осторожнее. Часть вопросов могла быть ловушками.

— По каким документам вы здесь живете?

— По иностранным, не советским.

— А точнее?

— Точнее не могу сказать...

— Какой уровень вашей жизни в Москве? Вы довольны своими материальными условиями?

— Зарабатываю я очень хорошо. Имею в Москве все, что нужно. Жаловаться на материальный уровень не могу. Но это не имеет никакого отношения к моему конфликту с советской властью...

— К Берии вы имели какое-либо отношение? Вам могли грозить репрессии в связи с ликвидацией его группы?

— Нет, с Берией я не был связан и репрессии мне не грозили. При условии, конечно, что я выполняю приказы начальства.

— Вы говорили об агентуре. Есть такие агенты и здесь, во Франкфурте? Если да, могли бы вы нам рассказать о них сегодня?

— Такие люди есть во Франкфурте. Но открыть их вам я пока не могу. По той простой причине, что эти люди могут повлиять на судьбу всех моих планов. Если их тронуть или неосторожно спугнуть, то Москва может понять, что происходит. Тогда все рухнет. И основной удар будет нанесен по моей семье.

— А эти агенты не могут вести за вами наблюдение? Случайно узнать о вашей встрече с нами?

— Нет. Их сегодня и завтра не будет в городе. Я увижу их только на следующей неделе. Я должен передать им деньги и кое-какие инструкции.

Я поймал себя на том, что невольно начинаю входить в детали. Это было липшим. Один из американцев стал развивать затронутую линию:

— Деньги из ваших собственных средств? Или вы получаете их откуда-то?

— Пока из моих. С казенными средствами у меня задержка.

Лицо американца на мгновение прояснилось:

— Может быть, вы нуждаетесь в деньгах? Хотите, чтобы мы помогли?

— О, нет, ни в коем случае . . .

Мой ответ американцу не понравился. Он спросил почти обиженно:

— Чего же вы испугались? Мы дадим вам в долг, а потом вернете. С деньгами нам как раз проще всего.

— Нет, нет. Я вывернусь сам. Я не хочу ни от кого материально зависеть. Не стоит даже об этом разговаривать.

Наступило молчание. Вид у американцев был сосредоточенный. Лица их не выражали ни одобрения, ни воодушевления. Они стали по очереди выходить в соседнюю комнату. Очевидно, посовещаться. В один из таких моментов Околович шепнул мне:

— Сказали бы там, на площади — «нет!», я бы рванул вперед машину. Думаете не ушли б? Ушли. Мы с Поремским так и планировали.

Я пожал плечами:

— Где же мне было разобраться, Георгий Сергеевич. Несколько секунд всего было. И они сразу подошли.

— Ну, да. Это меня и злит. А обещали ждать знака.

— Чего уж теперь счеты сводить, — сказал я.

Один из американцев принес картонки с молоком и хлеб в вощеной бумаге.

Дальнейший разговор не клеился. Мне казалось, что в прошедшие минуты я наговорил много лишнего. Вся эта встреча произошла так неожиданно и так сумбурно . . .

Потом тот американец, который чисто говорил по-русски, подытожил результаты нашей встречи:

— Ничего пока вам не можем ответить. Мы люди маленькие. Нам надо доложить своему начальству. И, кроме того, вся история так запутанна. Но это ничего. Давайте встретимся еще раз. Как насчет завтра? Кстати, как ваше имя? Мы до сих пор его не знаем.

— Мое имя на Западе никому не известно. Говорить его вслух пока не стоит. Как только вы получите от вашего начальства более точные данные о вашей позиции, тогда и я смогу быть более точным.

Американец поморщился и показал головой:

— Понимаю . . . Но все-таки . . . Маловато даже для первой встречи. Но я знаю, что для русского человека связь с иностранцами всегда кажется опасной. Ладно. Будем привыкать друг к другу постепенно. Отложим тогда дальнейший разговор до завтра. Наша машина может ждать вас в семь часов вечера у здания Оперы. Только не сбоку, как сегодня, а сзади. Там темнее. Время для вас хорошо?

Я замялся. Встреча с американской разведкой. Похоже даже на явку. Не превратилось бы это постепенно в рабочую связь. Но делать нечего. Придется рискнуть.

— Да. В семь мне удобно.

Околович и Поремский оставались в квартире. У Околовича был очень серьезный вид. Он хотел было еще что-то сказать мне, но подошедший американец не дал ему заговорить, потянул меня за рукав и сказал: «пойдемте скорее, пока никого нет возле дома». Я успел только махнуть еще рукой Поремскому.

К Опере отвезли меня двое. Машина остановилась у дерева сзади здания и один из американцев сказал: «Завтра в семь. Здесь. О-кей?» Я кивнул и поспешил прочь. Только отойдя несколько кварталов, я почувст-

вовал, что тяжесть упала с моей души. Встреча не была ни арестом, ни ловушкой. Возможность ухода назад еще оставалась. Это было самое главное.

Встреча с американцами в воскресенье не принесла ни положительных, ни просто ясных результатов. Еще накануне вечером мне казалось, что, установив связь с американцами, я не потеряю своей свободы и не должен буду заключать сделку со своей совестью. По мере того, как разворачивалась встреча в воскресенье, у меня в душе все росло ощущение какой-то зыбкой топи, в которую события меня затягивают помимо моей воли, помимо воли Околовича и НТС.

Беседа в этот вечер походила больше на скрытую борьбу. Американцы поставили, очевидно, своей задачей узнать обо мне как можно больше, прежде чем давать какие-либо обещания. Они заявили, что «от начальства пока нет никаких известий» и предложили тем временем «поближе познакомиться». Однако о себе они ничего не говорили и в упорных расспросах вытягивали из меня деталь за деталью. В воскресенье их было четверо. Появился некто новый под именем Леонард. Русского языка он не знал. Говорил сносно по-немецки и заставлял переводить ему все русские фразы. Худощавый, с темным нездоровым лицом, Леонард сначала делал вид, что только «присутствует», но постепенно забрал инициативу в «переговорах» и его манера ставить вопросы стала резкой и требовательной. Мне было неприятно, что я постепенно рассказываю им, в кредит, все больше и больше о себе. Но я как-то не мог решиться оборвать кандидатов в союзники, увлекшихся ролью следователей. Внутренний голос нашептывал мне всякий раз, как я готов был взорваться: «Подожди. Ну, что тебе стоит открыть еще и эту мелочь. Именно потому, что ты попал в такое положение, особенно важно теперь, чтобы американцы помогли семье. Вдруг то, что рассказываешь, как раз и поможет решить баланс в твою сторону». Я тщательно избегал тем, которые могли бы походить на выдачу информации, касающейся обороны моей страны. Я старался обдумывать каждый ответ, который, будучи дан в неточной форме, мог бы быть использован против моего народа. Но именно

поэтому в вопросах, касавшихся меня самого, у меня уже не хватало сил на осторожность. К концу встречи я вдруг понял, что рассказал американцам, в сущности, очень много. Часть своей биографии, партизанские похождения, впечатления от стран «народной демократии», борьбу за уход из разведки в течение многих лет, историю операции «Рейн» и причины моего прихода к НТС. Потом они спросили мое настоящее имя. Я устал от уверток. «Какая разница, — подумал я. — Все равно они могли уже сфотографировать меня через какую-нибудь щель. Имя или не имя, никакого другого офицера, посланного для организации убийства Околовича, с моей внешностью и приметами нет». Я сказал им свое звание и фамилию. Они попросили «посмотреть» мой паспорт. Я показал и паспорт. Краем глаза я увидел, что Околович хмурился, но, очевидно, не хотел делать мне замечаний. Чувство досады и злости на самого себя за собственную уступчивость вдруг нахлынуло на меня. Американцы почувствовали по моему изменившемуся тону, что подошли к границе. Они переменили тему. Каковы мои планы по срыву задания? Я начал было рассказывать вариант с опознанием Куковича. Они слушали вяло и рассеянно. Потом один из них спросил:

— А если вы уйдете обратно, то будете потом поддерживать связь с НТС?

Я ответил, что да, но не в самом Советском Союзе. Буду стараться связываться с НТС при выездах за границу.

— А вы хотели бы получить помощь от наших людей в организации такой связи?

— Ни в коем случае, — категорически отрезал я. — Если будут какие-то общие этапы, НТС сумеет скоординировать с вами здесь, на Западе. На связь с иностранной разведкой я никогда не пойду.

Американцы опять, как и накануне, стали выходить в другую комнату посовещаться. Потом Поль заявил: «Мы просим вас придти завтра. Опять сюда. Может быть, мы уже получим ответ от нашего начальства». Я переглянулся с Околовичем. Он склонил голову набок и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Решайте сами. Я не знаю».

— Хорошо. Я приду и завтра, — ответил я.

— Мы выйдем вместе, да? — спросил меня Околович.

Мы поднялись и Леонард вдруг сказал:

— Я хочу задержать у себя ваш австрийский паспорт. Дайте мне его, пожалуйста.

Я оторопел. Напряжение целого вечера было уже готово вырваться в бурную тираду, выражающую мое мнение о поведении «союзников». Околович опередил меня:

— Здесь я буду категорически протестовать. Паспорт останется у Николая Евгеньевича. Да вы что, господа, в самом деле? Я лично дал ему свое слово. И своих слов я не нарушаю. Не давайте им паспорта, Николай Евгеньевич . . .

Другие американцы заговорили о чем-то по-английски с Леонардом. Он махнул рукой: «Хорошо, хорошо, из-за чего столько шума? Подумаешь, паспорт попросил . . .»

Мы кое-как распрощались и вышли на улицу. Поремский отпер машину и сел за руль. Околович устроился на заднем сидении. Я сел впереди, рядом с Поремским. Когда машина выехала на бульвар, Околович спросил меня:

— Николай Евгеньевич . . . А что, если они семью спасать не будут и обратно вас не выпустят? Что тогда будем делать?

Голос его звучал как предупреждение. Несколько секунд я не мог ничего ответить. Потом собрался с духом:

— Это так страшно то, что вы говорите, что я не могу сразу подобрать ответ. Даже не знаю . . . Или, может быть, сегодняшняя встреча меня так измотала . . . И потом, разве мы можем сейчас что-нибудь изменить? До той поры, пока не выяснится их позиция?

— Да, — согласился Околович. — Сейчас пока многого менять мы не можем. Очевидно, придется и дальше идти на одном доверии. Но не нравится мне, как эти переговоры разворачиваются. Не так мы их задумывали.

— Давайте отвлечемся немного от всех этих проблем, — предложил Поремский. — А то действительно перестанем соображать, что к чему. Вы не хотели бы с нами поужинать, Николай Евгеньевич? Можно отъ-

ехать куда-нибудь за город и там безопасно посидеть с полчаса в ресторане. Как ты насчет ужина, Георгий Сергеевич?

Околович не возражал. Мы поехали за город. Поужинали в небольшом ресторане. К теме об американцах никто больше не вернулся. Хотелось выбросить из головы все проблемы иностранных «союзников». Поремский рассказал как в последние дни войны он попал в гестаповскую тюрьму и потерял было надежду когда-либо увидеть своих. Как потом все обошлось, война кончилась и он благополучно встретился со своей семьей. Я понял намек. Потом Околович рассказывал эпизоды из своей жизни, когда ему тоже казалось, что все рухнуло и потеряно. И как потом, волею судьбы, все же находился выход. Припомнил и я несколько эпизодов из своей партизанской жизни. Потом они отвезли меня обратно во Франкфурт. У вокзала, перед тем как вылезти из машины, я спросил:

— Георгий Сергеевич, в среду агенты привезут оружие. Что же мы решили с ним делать?

— Когда? В среду? Ну, до среды еще есть время. Договоримся о встрече и я заберу оружие к себе на квартиру. Как насчет завтрашней встречи с американцами? Хотите, чтобы мы тоже подъехали к Опере? Сразу уж и посмотрим, не едет или не идет ли кто за вами.

— Да, нет, не стоит. Спасибо. За вами тоже могут следить. Не надо нам всем встречаться в одном месте. А то можем примелькаться кому-нибудь. Мы увидимся уже на квартире американцев.

Они уехали. Я побрел к себе в пансион.

Слова Околовича: «Что же мы будем делать, если и семью спасать откажутся и обратно не пустят?» всплыли в моей памяти сейчас же, как только я проснулся в понедельник. Да. Предупреждение было важным, даже грозным. Действительно, что же я тогда буду делать? Уходить обратно, несмотря ни на что? Да, наверное. Бороться всеми возможными и невозможными средствами. Я мог бы и сейчас пойти обратно. Уже чувствуется, что переговоры могут привести нас к потере собственной инициативы. Но с другой стороны, уйди я сейчас, ничего не будет спасено. Американцы потеряют доверие к

НТС и к моей истории. Они не будут считать себя больше обязанными держать в строгом секрете историю встречи со мной. Вскоре Москва узнает правду. Яна попадет в лагерь, Алюшка в детдом. Нет, пока я не имею права уходить. Придется держаться и выжидать, что же будет дальше. Предчувствие, появившееся в первый же вечер после встречи с Околовичем, не обмануло меня: моя собственная воля играла в разворачивающихся событиях уже второстепенную роль.

Днем я зашел в банк «Американ Экспресс». Перевод из Швейцарии пришел. В пять часов я встретил обоих агентов, передал им деньги на билет и разрешил ехать в Аугсбург. В семь я пересек площадь Оперы и завернул к деревьям сзади здания. Там уже стояла машина американцев. Был слышен шум работающего мотора. Задние фонари бросали на песок площадки смесь красно-белых пятен. За рулем сидел Леонард. Больше в машине никого не было. Леонард поздоровался со мной очень вежливо, почти дружелюбно. Мы поехали по узкой, кривой улице, вдоль трамвайной линии.

— Мы едем сегодня в другое место? — поинтересовался я.

— Нет. На ту же квартиру. Только для осторожности покрутим сначала по улицам.

В квартире никого кроме охранников не было видно. Двери в другие комнаты были закрыты.

— А где же Околович и Поремский, — спросил я, проходя за Леонардом в кабинет.

Он показал мне гостеприимным жестом на диван.

— Садитесь. Лучше, если мы поговорим сначала вдвоем, вы и я. А они подъедут попозже. Дело в том, что решение по вашему делу придется, по всей видимости, принимать мне. Расскажите-ка мне все сначала. А то вчера нас все время прерывали. И коснитесь ваших планов на будущее. Это очень важно.

Как бы предвидя, что возражений с моей стороны не последует, Леонард стал устраиваться для слушания долгого рассказа. Он снял пиджак и бросил его на тумбочку в углу. Галстук-бабочка, серый с черным горошком, резко выделялся на ослепительной белизне рубашки и заставлял Леонарда походить больше на джазово-

го музыканта, чем на сотрудника серьезной службы. Я размышлял, что правильнее сделать. Отказаться говорить и ждать прихода нтс-овцев? С другой стороны, если он правда должен принять решение и хочет выслушать меня внимательно?

— Хорошо, — сказал я. — Только, пожалуй, ничего нового я вам не сумею открыть. Мне придется остаться все в тех же границах.

— Ничего. Я послушаю с удовольствием еще раз...

Леонард сел в кресло, подвинул поближе к себе небольшой столик, покрытый хрустальной плиткой и положил на него вытянутые ноги. Затем он откинулся назад и прикрыл глаза рукой. Все это вместе означало, очевидно, что он готов слушать.

Я тоже снял пиджак, хотя мне и не было жарко и повесил его на спинку дивана. Потом стал рассказывать.

Рассказ мой был недолгим и не очень подробным. Только подойдя к варианту срыва операции «Рейн» путем выдачи Куковича западным властям, я пустился в детали. Потом я замолчал. Леонард тоже оставался с секунду безмолвным. Потом снял руку с глаз, как бы очнувшись, и спросил нейтрально: «Все?»

— Пока — всё, — так же нейтрально ответил я.

— Так, так... Одну минутку, — сказал Леонард и ушел в соседнюю комнату. Я не слышал, чтобы кто-нибудь пришел во время моего рассказа. Может быть, там кто-то уже был, когда мы пришли. Или там просто стоит звукозаписыватель и где-то здесь спрятан микрофон. Не буду оглядываться и искать микрофона. Какая разница... Минут через пять Леонард вернулся. Он тщательно затворил за собой дверь, подошел не спеша ко мне, сел боком на ручку кресла и, наклонившись в мою сторону, проговорил очень четко:

— Ну, вот что... Довольно этой чепухи! Рассказывайте, кто вы в самом деле такой!

Я откинулся назад и взглянул на его лицо, желая проверить не ослышался ли я. В глазах Леонарда горел дикий огонь. Он или был на грани какого-то припадка или пытался изобразить, что его нервы взвинчены и, если я немедленно не опомнюсь, он, дескать, готов на все. Мне казалось мало вероятным, что американская разведка могла поручить судьбу моего дела нервно-

больному. Поэтому я сказал себе, что это — блеф и ответил помедленнее и поспокойнее:

— Я вам только что рассказал довольно подробно, кто я такой.

Леонард стал цедить сквозь зубы, как бы прилагая все усилия, чтобы не броситься на меня:

— Я вам уже сказал... Довольно этой чепухи!!! Говорите, что угодно, но только не то, что вы капитан советской разведки!!!

— Вот это здорово! Кто же я тогда по-вашему?

— Не знаю. Потому и спрашиваю. Может быть, журналист, может быть, сумасшедший.

— Я что-то не вижу логической связи между этими полюсами, — не удержался я, чтобы не съязвить.

Леонард бросился вперед и схватил меня за кисти. Он не говорил, а шипел:

— Если вы не начнете разговаривать, как я требую, я вам руки переломаю!

У меня на секунду мелькнула мысль, что он действительно «того» ... Я стряхнул его руки:

— Бросьте эти штучки. Драться я тоже умею. И руки ломать...

Леонард усмехнулся углом рта, но трогать меня больше не стал. Вместо этого он схватил мой пиджак и стал выворачивать содержимое его карманов на стол. Я сел обратно на диван. Ледяная рука схватила меня за сердце. Что же теперь будет с Яной и Алюшкой? Это, наверное, конец.

Леонард завернул мой бумажник, гребенку и ручку в бумагу, ощупал подкладку пиджака и бросил его обратно на диван. Потом он постучал в дверь. Из-за нее тотчас же появился один из охранников с фотоаппаратом в руках.

— Встаньте! — скомандовал Леонард. Голова моя была так занята мыслями о неожиданном повороте в «переговорах» и о том, что же мне теперь делать, что я механически поднялся с дивана. Сверкнула вспышка.

— Еще раз! — продолжал Леонард. — Повернитесь в профиль!

Я повернулся в профиль. Еще одна вспышка. Леонард подошел ко мне сзади и стал было ощупывать кар-

маны моих брюк. Я опомнился и резко обернулся. Он отскочил:

— Спокойно! Нас здесь больше и драки начинать не советую.

Леонард бросил несколько слов в полуоткрытую дверь и оттуда появился Поль. Он сделал вид, что меня не замечает, прошел к своему креслу в дальний угол и уселся в нем.

— Можете сесть, — заявил Леонард. Я вернулся на диван.

Ощущение, что «переговоры» с американцами кончились, неожиданно помогло мне обрести какое-то равновесие. Я спросил Леонарда с сочувствующей полуулыбкой:

— Ну и что же теперь будет дальше?

Он снова вытянул ноги, откинулся в кресло в позе отдыхающего после трудового дня человека и заявил поучающим тоном:

— Ничего особенного. Вы мне расскажете правду. Расскажете, во что бы то ни стало. И лучше раньше, чем позже. Лучше для вас. Мне-то все равно. Я могу сидеть здесь хоть до утра.

— А я могу и дольше. Теперь уж мне спешить некуда. Но ничего другого, чем то, что я приехал из Советского Союза, вы не услышите.

— Я вам запретил говорить, что вы капитан советской разведки! Не поняли меня, что ли?! — крикнул Леонард.

Я пожал плечами:

— Тогда нам, очевидно, просто не о чем разговаривать. Подожду, пока явится кто-нибудь из ваших начальников и будет вести себя более логично. Мне уже ясно, что Околовича вы сюда не пустили. Устроили, в общем, такое своеобразное похищение, злоупотребив властью. Но вы не учли одного: я действительно разведчик. И все ваши примитивные запугивания только пилят сук, на котором вы устроились. Меня вы не испугаете. А возможность дружественных переговоров вы безнадежно испортили. Мне кажется, что когда вы поймете собственную слепоту, даже ваши сожаления и извинения ничего уже не исправят. Дело не во мне, а в оперативных возможностях, которые гибнут, в то вре-

мя, как вы занимаетесь любительскими экспериментами.

К моему удивлению Леонард не вспыхнул. Наоборот, он спокойно и таинственно улыбнулся. Потом сказал, прислушиваясь к своему голосу не без удовольствия:

— Конечно. Я понимаю, что рискую. Если все, что вы говорили — правда, то моя ставка в службе бита. Но я-то знаю, что ваш рассказ чистая чепуха. Ничего. Я могу разрешить себе небольшую роскошь и рискнуть. Я не в первый раз встречаюсь с идиотскими выдумками русских эмигрантов. У меня острый глаз на мистификации. И, кроме того, вот что: не надейтесь ни на каких начальников. Можете верить или нет, но надо мной никаких начальников нет. И никого, кроме меня, вы не увидите, пока не расскажете правду. Да, да. Сколько бы времени вы ни упирались. Вы подумали, что имеете дело с детьми. А в самом деле залезли в львиную пасть, из которой выбраться назад не так-то просто.

Я внимательно оглядел его. Худощавая, болезненная фигурка с большими ступнями, возложенными на хрустальную плитку стола, джазовая «бабочка», сбившаяся на бок, выступившие на темной коже скул розовые пятна, — все это никак не наводило на мысли о «львиной пасти». Он понял, очевидно, иронию, мелькнувшую в моем взгляде, потому что заговорил быстро и очень зло:

— Послушайте . . . Вы претендуете на какое-то там участие в войне. Ну, предположим . . . Тогда, значит вы слышали о гестапо. Так вот: не думайте, что мы ничему не научились от гестапо. Захотим, чтобы вы говорили — будете говорить. Всякие есть методы.

Теперь уже мне было трудно себя сдерживать:

— Послушайте, господин Леонард . . . То, что вы сказали, настолько глупо и настолько грязно, что я отказываюсь принимать вас больше за американца. Даже хорошо, что вы тут переборщили. Теперь мне окончательно ясно, что с той Америкой, которую я представляю себе, вы не имеете ничего общего. И если еще сто раз будете пытаться опорочить имя американцев в моих глазах, у вас ничего не выйдет. Я вам вообще больше ни в чем не верю и отказываюсь даже слушать вас.

Леонард поймал останавливающее движение бровей Поля и застыл на краю кресла. Я продолжал:

— К сожалению, я вынужден находиться в одной комнате с вами. Но я могу хотя бы лечь спать на этом диване, чтобы вы поняли, как мне дорого ваше присутствие.

Реакции Леонарда я уже не видел, потому что бросил к диванной подушке свой пиджак и действительно улегся. Глаза я закрыл и слышал только непонятный для меня разговор на английском языке между Леонардом и Полем. Они о чем-то спорили. Потом Леонард ушел и хлопнул дверью. Я покосился на Поля. Тот сидел все в той же невозмутимой позе в дальнем углу.

— Ничего себе «переговоры» с союзниками, — бросил я ему горько.

Он глазом не моргнул:

— Вы сам виноват. Почему не говорит правду?

Я махнул рукой и снова повернулся к диванной спинке. Я понимал, что моя поза выглядит нелепо, но именно такой нелепостью я пытался показать леонардам, как мало они сумели повлиять на мою самостоятельность. Больше в моем арсенале не было ничего.

Леонард вернулся и я услышал скрип открываемой двери. Я приоткрыл глаза. Поль и Леонард возились в комнате, которую я еще не видел. До меня доносились звуки перетаскиваемой мебели. Потом пришел один из охранников и стал выносить столы и стулья куда-то в другие комнаты. Еще несколько раз грохнул передвигаемый шкаф и потом появился запыхавшийся, перемазавшийся в пыли Леонард. Он подошел к дивану и скомандовал:

— Вставайте! Если решили спать, так идите в ту комнату. Мне надоело с вами возиться. Завтра я решу, что с вами дальше делать.

— Арестовали, выходит? — спросил я, не глядя на него, забирая свой пиджак и направляясь в указанную Леонардом комнату.

— Конечно, арестовали. А что же вы думали? И это еще только начало, — бросил мне вдогонку Леонард.

В соседней комнате лампы не было. Свет падал через открытую дверь на шкаф и кровать, — единственную мебель. Шкаф стоял дверцами к стене, на низкой

широкой кровати была только одна простыня. Не буду унижаться и что-то просить, — подумал я. Обойдусь без одеяла и без подушки.

Я положил пиджак под голову и сделал вид, что сплю.

Ну, что ж . . . Можно считать, что все рухнуло. От НТС я отрезан и просить, чтобы ко мне допустили Околовича, конечно, бесполезно. Особенно, просить этого у Леонарда. Что же я могу сделать? Ничего, кроме как демонстрировать леонардам, что запугиванием и «моральной обработкой» они от меня ничего не добьются. Тогда, может быть, из собственных ведомственных интересов, они вернутся к человеческой манере разговаривать. И что потом? Потом надо добиваться встречи с Околовичем. Очень плохо, что теряется время. Если я не смогу руководить операцией, Москва скоро поймет, что со мной что-то случилось. Но все же . . . Как это возможно, чтобы леонарды имели такую власть в американской разведке? Ну, хотели проверить, не мистификатор ли я. Потребовали каких-либо данных для проверки. Было бы хоть понятно. А тут: «что такое гестапо, знаете?» Нет, не может быть, чтобы Леонард не отчитывался кому-то в своих действиях. И НТС, наверное, что-то предпринимает. Надо сжать зубы и ждать...

Дверь в соседнюю комнату осталась открытой. Всю ночь между обрывками полуснов-полукошмаров я слышал шаги и скрип кресла. Иногда чья-то фигура подходила к порогу и всматривалась в полутьму моей комнаты. Утром, когда Поль постучал согнутым пальцем по стенке шкафа, чтобы разбудить меня, я не смог бы сказать точно, спал я ночь или нет. Было семь часов.

— Хотите кофе? — спросил Поль, как ни в чем не бывало.

Я только помотал отрицательно головой. Вскоре появился Леонард. На его лице сияло добродушное выражение и он приветствовал меня, как старого друга, возгласом:

— Доброе утро! Как спали?

— Спасибо, плохо.

Леонард сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал все тем же тоном:

— Может, все-таки, выпьете кофе с нами? Завтрак у нас не ахти какой — бутерброды. Но все же . . .

— Да, нет, — ответил я, не возвращая Леонарду его любезного тона. Не буду я пить кофе. Я предпочел бы завтракать на свободе и в компании тех людей, к которым я пришел. Я имею в виду НТС, конечно.

Леонард нахмурился:

— Значит, вы не передумали?

— Нет, не передумал. И еще не пришел к выводу, что я — не я.

Леонард обратился к подошедшему из другой комнаты Полю:

— Везите его в лагерь. Пусть сидит там, пока не одумается.

Он продолжал говорить по-немецки и я понял, что предназначалась эта фраза, в основном, для меня.

Леонард собрался было уходить.

— Одну минутку, — остановил я его. — Есть один очень важный вопрос. Завтра у меня встреча с агентами. Если я не появлюсь, они уйдут обратно и Москва . . .

Леонард не дал мне договорить:

— Бросьте вы это! Я уже сказал, что у вас нет никаких агентов. Ни здесь, ни в каком-либо другом месте. Как вам не надоело нести эту чепуху?

Мне стало даже смешно:

— Так не проще ли придти вместе со мной на встречу и проверить?

Леонард презрительно пожал плечами:

— Не проще. У меня много других дел. Зачем куда-то идти, когда я точно знаю, что вы все лжете.

Он резко повернулся и ушел.

— Тогда поедем в лагерь, — сказал Поль.

Лагерь назывался «Кемп Кинг». На настоящий лагерь для беженцев он был мало похож. За высокой изгородью из колючей проволоки находилось подразделение американской военной контрразведки. На этой территории, кроме каменных бараков для военнослужащих, столовой, офицерского клуба, кино, кафе-бара и лагерной тюрьмы, размещался с десяток небольших домов для беженцев. В Кемп Кинг поселяли тех людей с другой стороны Железного занавеса, которые по тем

или иным причинам были особо интересными для американской разведки. Но мне не стало легче на душе от подчеркнутого комфорта в этом «концлагере высшего класса». Наоборот: отдельная комната с горячей водой; постельное белье, меняемое два раза в неделю; столовая, где кормили, как в советском доме отдыха; библиотека со свежими газетами на разных языках; еженедельные «подарки» с семью пачками сигарет, шоколадом, мылом, зубной пастой и жевательной резинкой; кино, где каждый день шла новая картина; радиоприемник, который по первой просьбе ставили в комнату, — все это, вместе с другими мелочами заботы о лагерниках, только лишний раз напоминало мне, что я в руках могущественной службы, которой нужны мои знания. Поэтому даже тот факт, что в один прекрасный день леонарды должны были убедиться в правдивости моих рассказов, не увеличивал шансов на мое возвращение к НТС. И в то же время каждый потерянный час работал против меня, перетягивая баланс в пользу советской разведки.

Меня зарегистрировали под фамилией «Фогель». Привезшие меня в лагерь разведчики никаких данных обо мне лагерной администрации не сообщили. Лагерный фотограф привесил мне на шею черную доску с белыми буквами «Фогель». Карточка была нужна для лагерного удостоверения. Потом дежурный офицер повел меня к дому, где мне предстояло жить. Комната была под самой крышей. Офицер ушел и я открыл окно. Дом стоял на холме. Мне были хорошо видны вышки по углам внешней ограды. На вышках сидели наблюдатели. В южной стороне забора были ворота. Через них проходили американские военнослужащие, проезжали машины с желтыми номерами американских оккупационных войск. Для меня же эти ворота были закрыты. Недалеко от моего дома, рядом с офицерским клубом, стояла высокая мачта. На ней гордо реял многозвездный флаг. Мне вспомнилась одна из берлинских улиц на секторной границе. Там, на одном из зданий был растянут на стене такой же многозвездный флаг. Под ним висела гигантская надпись на нескольких языках: «Флаг Свободы».

Я стер это воспоминание из своей памяти и закрыл окно.

Рано утром в среду появился американец, который привез меня вместе с Полем в Кемп Кинг.

— Поедем в город, — сказал он. — Возьмем ваши вещи из пансиона.

Он выписал мне пропуск на выход из лагеря и мы поехали с ним вдвоем во Франкфурт. Мой новый «знакомый» оказался разговорчивым собеседником. Я окрестил его мысленно «американским Карасевым». Он владел немецким языком неплохо, но говорил так же, как Карасев, отдельными короткими фразами, придавая своему рассказу оттенок особой доверительности. Кроме того, он, по-видимому, занимал в системе разведки положение аналогичное своему советскому прототипу. Мне не хотелось верить, что сердечный и простой тон «американского Карасева» был лишь искусственным приемом. Тем более, что он тоже не верил в мою версию о советской разведке и операции «Рейн». Но обосновывал он это более деликатно и более умно, чем Леонард:

— Судите сами. Ваше поведение слишком уж нелогично. Мы же знаем, что офицерам советской разведки живется совсем неплохо. И репрессии в связи с делом Берии, как вы сами говорите, вам не грозили. Если даже и было какое-то неприятное задание, вы могли от него отказаться. Ну, имели бы осложнения по службе. Только и всего. Конечно, бывали случаи перехода людей из советской разведки на Запад, но эти люди иначе себя ведут и другого требуют. Не можем же мы серьезно относиться к вашим утверждениям об НТС. Кому опасны эти русские эмигранты и их организация? Советскому правительству? Ни в коем случае. Против танков и пулеметов с голыми руками не ходят, если даже и предположить, что в России есть массовое недовольство правительством. С какой бы стороны ни посмотреть на вашу историю, можно лишь придти к выводу, что выгодны такие сказки только самому НТС. В вашей истории есть, конечно, одно сбивающее с толку обстоятельство: свежие новости из Советского Союза. Нам неясно, откуда НТС могло их заполучить, но с соответствующим терпением и выдержкой мы выясним

и это странное обстоятельство. Скажем прямо, что поведение НТС нам не нравится. Нельзя делать политический капитал на мистификациях. Жаль, что вы лично не хотите понять бессмысленность затеянного фарса. У вас неплохое знание советской действительности. По линии фактов, конечно, а не фантастической версии о революционных настроениях. Но все же . . . Интересно, откуда у вас такие знания?

Он покосился в мою сторону, но я молчал. «Карасев» ловко провел машину через запутанные извилины дороги, прорезающей небольшой городок, и, когда мы снова вылетели на шоссе, продолжал:

— Я бы на вашем месте бросил работу с НТС. Кого они представляют собой? Кучку эмигрантов, которые цепляются за прошлое. Мне кажется, что моя служба нашла бы применение вашим способностям. Как-никак, мы представляем государство. Большое и сильное государство. И действуем во всяком случае умнее и ближе к реальной жизни, чем ваши работодатели.

Я понимал, что спорить с ним бесполезно. Пожалуй, его разговор со мной, при всей возможной искренности его размышлений, отражал не столько личную точку зрения «Карасева», сколько косность и слепоту ведомства, в котором он служил. Да, дистанция между нами слишком большого размера . . . Но хоть что-то становится понятно. Значит, не поверили не только мне. Не поверили, в основном, НТС. Поведение Леонарда стало более ясным.

Мы зашли в пансион, где я жил до злополучного понедельника. Я расплатился с хозяйкой из денег, которые у меня были в чемодане и сказал, что уезжаю из Германии. Потом «Карасев» повез меня обратно в лагерь. По дороге я подумал, что, может быть, есть смысл поговорить с ним, как с разведчиком и обратить внимание на некоторые элементарные истины. Теперь уже я произносил монолог:

— Давайте предположим, что вы правы и все рассказанное мной — мистификация, подстроенная НТС. Но не правильнее ли тогда стараться разоблачить меня при первой возможности? Вот я заявил, что у меня встреча с двумя агентами. Речь идет о Франкфурте. От лагеря пятнадцать минут на автомобиле. Я утверждаю,

что они должны были сегодня придти и принести квитанцию из вокзальной камеры хранения. Я рассказываю вам фантастические сказки об электрическом оружии, запрятанном в аккумуляторе и лежащем в этой вокзальной камере. Не проще ли немедленно доказать мне, что я лгу? Послать каких-то наблюдателей к месту встречи или даже привезти меня туда, чтобы я сам увидел, что никаких агентов нет?

«Карасев» задумался, а потом спросил неуверенно:

— Когда, вы утверждаете, должна быть эта встреча?

— Сегодняшняя встреча уже пропущена. Она намечалась в двенадцать часов дня, на отрезке улицы Фридрих Эберт. Но агенты обязаны придти и завтра. На то же место и в тот же час.

«Карасев» задумался и потом сказал:

— Хорошо. Может быть, есть смысл попробовать. Я доложу начальству. Когда мы приедем в лагерь, дайте мне описание этих людей и условия встречи.

— Я это сделаю с одним условием. Вы предупредите ваше начальство, что если эти люди будут арестованы, советская разведка немедленно поймет, что произошел провал. А ведь, если агенты действительно существуют, то возникает возможность, что и остальное, рассказанное мною — правда. Вашей службе стоит над этим подумать. Я гарантирую, что агенты придут на место встречи и послезавтра. Я мог бы встретиться с ними под вашим наблюдением. Незаметным, конечно. Вы получите оружие и доказательства, что ваши специалисты по Советскому Союзу не стоят ломаного гроша.

Последние слова заставили «Карасева» улыбнуться. Остаток дороги он о чем-то напряженно думал, а когда мы приехали в лагерь, сразу попросил продиктовать ему описание агентов и условия встречи. Потом уехал, обещав дать ответ вечером. Вечером он, действительно, появился, но лицо его было расстроенным:

— Мои коллеги отказываются вам верить. Говорят, что все — выдумка НТС. Я один ничего не могу сделать. Есть только одна небольшая надежда. Я попробую попасть на прием к большому начальнику. Ничего не обещаю, но попробую . . .

Такие действия не были уже похожи на «карасевых». Я подумал, что моя аналогия может быть и не была особенно удачной. Тут же, как бы угадав мои мысли, американец сообщил мне, что его зовут Биллем.

Билл оказался настойчивым и более дальновидным, чем его коллеги. Он добился приема у начальства и торжествующе заявил мне в четверг утром:

— Ура! Едем на встречу с вашими агентами. Но смотрите, если вы меня обманываете, скажите лучше сейчас. Иначе я здорово на этом деле погорю...

Я мог ответить ему только одно:

— Если с агентами ничего не случилось, они будут там.

Ровно в двенадцать часов я подошел к афишной колонке на Фридрих Эберт штрассе. Отсюда начинался кусок улицы, намеченный мною несколько дней тому назад для встречи. В трех метрах от меня маячила фигура незнакомого человека. Я понял, что он — «наблюдатель» из американской разведки. Достаточно было посмотреть на его костюм и манеру держаться. Это было плохо. Американец не отставал от меня и агенты могли заметить, что я не один. Я пошел побыстрее, чтобы оторваться от «наблюдателя», но получилось как раз наоборот. Он удлинил шаги и подошел совсем близко. Единственное спасение было наверное в том, чтобы не обращать на него внимания. Я подошел уже к середине квартала. Агентов не было. Пять минут первого, четверть, двадцать минут. Ни Франца, ни Феликса не было видно. В половине первого я повернул обратно и зашагал к машине Билля. Столько горечи и злости подступило вдруг к моему горлу, что, сев в машину, я высказал Биллу в кратких, но бесцеремонных фразах мое откровенное мнение об американской разведке. Он растерянно молчал. Наверное, не столько грубость и резкость моих слов поразили его, сколько сам факт, что агенты не появились. Очевидно, втайне он мне уже успел поверить и теперь раскаивался. Мы молча сидели в машине еще минут десять. Билл чего-то ждал. Кто-то открыл дверь и сказал Биллу несколько слов по-английски. Он расцвел и радостно обратился ко мне:

— Ваших людей задержали. Они смотрели за вами с другой стороны улицы и не решились подойти. Но мы узнали их по приметам и взяли в нашу машину. Они на квартире у нас.

Так . . . Случилось как раз то, чего я опасался. Франц и Феликс вышли из игры. Теперь я обязан был хотя бы выполнить свою элементарную обязанность по отношению к ним.

— Везите меня на квартиру, — потребовал я. — Я должен с ними поговорить прежде, чем они начнут отпираться. Мне кажется, что они перейдут на Запад добровольно. Вы получите от них сведения, которые вам нужны, а они избегнут тюремного наказания.

— Подождите, — остановил меня Билл. — Зачем вам открывать свою роль агентам? Мало ли что бывает. Вы отдаете им в руки свою жизнь.

— Ну, о своей жизни я уж сам позабочусь. Я требую, чтобы меня немедленно отвезли к агентам . . .

Франца допрашивали в той же самой комнате, где несколько дней назад Леонард старался мне внушить, что никаких агентов не существует. В передней квартиры толпились люди. Среди них мелькнуло лицо Леонарда. Все головы повернулись к Биллу и ко мне. Я инстинктивно почувствовал, что баланс обстановки склонился в мою сторону и спросил по-немецки, ни к кому не обращаясь:

— Что они говорят?

Я понимал, что нельзя терять ни секунды, если хочу дать агентам возможность заявить о своем добровольном переходе на Запад. Я помнил Янины слова о том, что наказывать или осуждать обоих агентов мы сами не имеем права. Кто-то постучал в дверь комнаты и оттуда вышел незнакомый мне человек в сером костюме с усталым, бледным лицом.

— Что они говорят? — повторил я свой вопрос.

Незнакомец ответил по-русски. Значит он знал, кто я.

— Мы говорим сейчас только с одним вашим человеком. Второй сидит пока в другой комнате. Этот же, кто сейчас с нами, по документам Ляйтнер, рассказыва-

ет то, что у него написано в бумагах. Вы хотите его видеть?

— Да. Обязательно. Один только вопрос. Если они согласятся сами все рассказать и попросят политическое убежище, вы гарантируете, что они не будут отданы под суд?

— Думаю, что можно дать такое обещание. Вопрос только в фальшивых документах. Это уже будет решать немецкое правительство.

Я шагнул вперед и толкнул дверь.

Штора на окне была поднята. Яркий солнечный свет рвался в комнату. Стол был выдвинут в середину. На нем лежали паспорт Франца, его бумажник и пачка банкнот. Это были, очевидно, деньги, присланные с курьером. Значит, они все же вынули их из чемодана. У стола сидел на стуле Франц. Слева расположилось несколько человек. Мне было знакомо только лицо Поля. Услышав звук открывшейся двери, Франц поднял голову и увидел меня. Он вздрогнул всем телом и судорожно глотнул воздух. Потом опомнился и отвел глаза в сторону. Я подошел к столу и взял его бумажник.

Найдя квитанцию камеры хранения, я протянул ее человеку в сером костюме. Он передал ее одному из своих коллег и тот исчез. Я повернулся к Францу:

— Послушайте, Курт . . .

Он упрямо мотнул головой и заговорил с наигранным недоумением:

— Кто вы такой? Я вас не знаю и никогда не видел . . .

Голос его звучал неуверенно. Похоже было, что говорил он это не столько для иностранцев, сколько для меня. Может быть, он продолжал по инерции видеть во мне офицера советской разведки. Я попытался вложить в свои слова максимум искренности:

— Не надо, Курт . . . Это все лишнее. Если уж я здесь, то вам скрывать нечего. Я разрешаю вам говорить правду. За все последствия несу ответственность я один. Представители западных властей обещали мне, что если вы заявите о своем желании перейти на Запад и немедленно все расскажете, то они не будут возбуждать против вас судебного дела.

Я вопросительно посмотрел на человека в сером. Он кивнул:

— Да. Мы это можем обещать.

— Поговорите с Гансом, — вернулся я к Францу. Объясните ему положение. Это самое лучшее, что вы можете теперь сделать...

Франц поднял голову. Мне показалось, что в глазах его мелькнуло что-то похожее на облегчение. Он сказал тихо:

— Хорошо... Я поговорю с Гансом... Вы правы...

Я задержался еще на секунду, думая: «Сказать ему до свиданья? — Прозвучит фальшиво...» Я молча повернулся и вышел.

Только теперь я рассмотрел, что соседняя комната была спальней. На широкой кровати лежала раскрытая телефонная книга. Подошел Билл.

— Знаете, мы нашли телефон на вашу фамилию. В московской телефонной книге. К 0 47 57. Правильно?

— Нет, неправильно, — сказал я. Телефон уже давно переменили. Ваша книга старая. И потом, разве не мог НТС подобрать для меня фамилию по той же московской телефонной книге?

Билл смущенно улыбнулся и, ничего не ответив, ушел в переднюю. Все куда-то исчезли. Остался один охранник в углу спальни, около открытой двери в ванную комнату. Вошел Франц и кто-то незнакомый с ним. Незнакомец бросил мне по-русски:

— Он побудет здесь, пока мы приведем через другую дверь второго.

Я усмехнулся про себя: «теперь мне даже дают отчет в том, что происходит...» Мы остались с Францем наедине, не считая охранника. Франц прислонился к выступу стены и избегал моего взгляда.

— Как же так случилось, что вы не подошли ко мне на сегодняшней встрече? — спросил я его.

Он, видимо, не мог еще оправиться от полученного шока и отвечал неловко, как бы нехотя:

— Вас вчера не было. Да еще кто-то, довольно странной наружности, вертелся около вас. Мы решили подождать до завтра. Пошли прочь. Тут эти люди и подошли. Спросили документы. Очень вежливо. А мы как-то по-дурацки ничего не поняли. Ну, и все. Никако-

го джиу-джитсу даже не успели. Не подумали просто... Сообрази я побыстрее, не взяли бы нас так легко . . .

— Ну, а потом что? — спросил я. — Взяли бы вас на границе. Или вернулись вы домой и наша разведка ликвидировала вас, как лишних свидетелей. Или послала с новым заданием на Запад. Так, как случилось, гораздо лучше для вас обоих. Вы действовали по моим приказам. Отказаться от задания не могли. Я думаю, что вы легко вернетесь к нормальной жизни. Если найдете в себе сейчас смелость окончательно порвать с прошлым . . .

Курт, вероятно, понял, что впервые за несколько лет я говорю с ним, как человек с человеком. Глаза его оживились и он хотел что-то сказать, но вернулся американец:

— Ваш друг уже в этой комнате. Пойдемте, — обратился он к Францу.

Франц ушел. Через несколько минут американец снова появился и бросил мне на ходу:

— Все в порядке. Оба переходят на нашу сторону.

«Ну, и прекрасно, — подумал я про себя. — Хотя бы их судьба не ляжет грузом на мою совесть».

В передней послышался шум. Кто-то волочил по полу тяжелый предмет. Показалась группа людей. Двое из них подняли аккумулятор в воздух и бухнули его на кровать. Наступила пауза. Все смотрели на меня. Я снял пиджак и засучил рукава:

— Достаньте мне молоток и зубило. Можно отвертку.

Снять крышку аккумулятора было нелегким делом. Американцы расселись кто на кровати, кто на стульях и сосредоточенно наблюдали за тем, как я откалывал куски смолы и расковыривал отверткой эбонит. Потом крышка вынулась вместе со свинцовыми аккумуляторными пластинками. Я положил ее на пол и заглянул в коробку, наполненную серной кислотой. Там ничего не было видно. Сердце у меня екнуло. Неужели в Вене уже знают о провале операции и нарочно не прислали оружия? Не долго думая, я опустил руки в кислоту и стал шарить по стенкам коробки. Руки жгло, как огнем, но на внутренней стороне стенок я нащупал две выпуклости.

— Здесь, — сказал я. — Выливайте кислоту.

Пока я мыл руки и натирал обожженные места мылом, один из охранников вылил кислоту. Внутри коробки оказалось два пакета из пластической массы. Они были окрашены в черный цвет и плотно приклеены к стенкам. Я оторвал один из них. В нем был двухзарядный портсигар и пистолет. Отдельно были завернуты батарейки. Когда я снял обертку с пистолета, кто-то протяжно свистнул и чей-то голос сказал: «Уэлл, уэлл!» Я поднял пистолет, чтобы посмотреть, есть ли в нем батарея. Все находившиеся в комнате пригнулись. Кое-кто даже бросился на пол. Я засмеялся и кинул пистолет на кровать:

— Остальное открывайте сами. Я пойду руки мыть. Опять все в кислоте . . .

В ванную комнату до меня доносились возгласы американцев, рассматривающих оружие. Потом на пороге появился Билл.

— Капитан, — сказал он, протягивая мне руку. — Можете вы мне простить, что я вам не верил?

Я оглядел свои намыленные кисти.

— А вы не боитесь обжечься серной кислотой? — ответил я ему вопросом на вопрос.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

За местечком Оберурзель дорога на Кенигштейн идет через холмы, покрытые густым лесом. В глубине леса находятся дачи. Одна из них, самая дальняя от шоссе и самая скрытая от посторонних взоров, принадлежала когда-то очень богатому человеку. Она построена в стиле охотничьего домика. Участок в несколько сотен квадратных метров огорожен колючей проволокой. На участке — своя электростанция, бассейн, питающийся водой из родника и миниатюрный парк с аллеями, выложенными тесаным камнем. Двухэтажный дом стоит на холме. В нем много комнат, террас, дверей со стеклянными окнами с изображениями Дианы-охотницы. На стенах, обшитых темным дубом, висят чучела зверей и старинные гравюры. Владелец позаботился о том, чтобы в доме были все удобства, но владеть дачей ему пришлось недолго. После конца войны дача, переменив несколько ведомственных хозяев, попала в руки американской разведки.

В конце февраля 1954 года американская разведка поселила на этой даче меня.

После того, как портсигары и бесшумные пистолеты были вытащены из аккумулятора, «союзники» поняли, что ни НТС, ни я не собирались их мистифицировать. Оставалась, конечно, теоретическая возможность, что мое появление на Западе — тонкая комбинация МВД. Чтобы разрешить эту щекотливую проблему, у американцев был только один путь: положить на одну

чашу весов теоретические возможности агента «дальнего действия», забрасываемого таким сложным путем, а на другую чашу — агентурные сети и профессиональные секреты советской разведки, которые попадали вместе со мной в руки Запада. Если бы спросили моего совета, то я предложил бы американцам еще один путь: проанализировать положение в Советском Союзе и установить, действительно ли наше с Яной чувство долга перед собственной совестью и принятое в связи с этим решение — типичны для русского человека наших дней. Но моего совета никто не спрашивал. Кроме того, понаблюдав за методами работы американской разведки, я понял, что «философские» подходы им чужды.

Проверка меня была поручена крупным специалистам западных разведок. Позже я узнал, что в одном только Вашингтоне над обработкой моего «дела» трудилось около двухсот человек. Появились на горизонте и англичане. По разным деталям я понял, что НТС решил сообщить английским властям о моем приходе тогда, когда выяснилось, что леонарды отказываются принимать меня за кого-либо другого, кроме как за журналиста или за сумасшедшего. Одним фактом своего участия в деле, англичане немного сдерживали стремление американской разведки установить надо мною монопольный контроль. Из Лондона прилетел офицер английской разведывательной службы. Он оказался, между прочим, наиболее душевным и человечным из всех других офицеров западных разведок. В отдельные этапы моей проверки была втянута и французская контрразведка. Детали прошлого Франца и Феликса сверялись с архивами Парижа. Все это совершалось в строжайшем секрете. Западные службы поняли, что они обладают редким шансом для удара по агентурным сетям советской разведки в Европе. Для осуществления этого шанса им нужно было еще убедить меня, что мое включение в революционную работу НТС невозможно и что я должен примириться с идеей перехода на Запад, под крыло разведки. Американцы наверное понимали, что держали меня в своих руках, в общем, нелегально. Ни письменно, ни устно я не обращался к ним с просьбой о политическом убежище или «защите». Наоборот, я все время требовал, чтобы меня передали под опеку

НТС. Но у американской разведки был очень сильный аргумент, с помощью которого ей пока удавалось держать меня в относительном повиновении. Аргумент, что без помощи американцев, мне не удастся спасти семью.

Когда Франц и Феликс были арестованы, стало ясно, что путь назад, в Советский Союз, мне отрезан. Секрет провала операции «Рейн» держался на ниточке. Я понимал, что мало можно было рассчитывать на помощь западных разведок в спасении моей семьи. Но даже самый маленький шанс я обязан был использовать. Не менее важно было и сохранение тайны об обстоятельствах моего появления на Западе. О репрессиях советской разведки направленных лично против меня я не задумывался, но стоило Москве узнать о моей роли в срыве операции, как моя семья автоматически попадала в концлагерь, где дни их были сочтены. Сохранность тайны о моем разрыве с коммунизмом означала сохранность жизни Яны и Алюшки. Идти на обострение конфликта с американской разведкой я, поэтому, не мог. Когда мне предложили переехать из лагеря Кемп Кинг в охотничий домик я сначала заупрямился. Мне не хотелось попадать на «особое» положение. Я надеялся, что смогу раствориться в общей массе беженцев и под каким-нибудь немецким именем устроиться в Германии. НТС обещал мне помочь в этом. Но американцы заявили, что в таком случае никакой речи о помощи моей семье быть не может. Я переехал в охотничий домик. Как-то раз, возвращаясь из Франкфурта с очередной беседы с западными разведчиками, я спросил у американца-охранника, сколько же времени по его мнению меня будут еще держать в изоляции от НТС. В машине кроме нас двоих никого не было. Он усмехнулся многозначительно и сказал:

— Наивные вопросы вы задаете. Такая муха залетела нам в рот. Неужели вы думаете, мы возьмем и выпустим ее?

Циничность американца была мне понятна. Он слышал похожие разговоры от начальства и не задумывался над тем, что мне лично «протекция» американской разведки преподносилась под другим соусом.

Конечно, я мог бы вырваться из власти американских разведчиков объявив им настоящую войну, или бе-

жав. И в том и в другом случае американцы освобождались от обязательств по отношению ко мне и это могло означать конец для Яны и Алюшки. Можно было также, в припадке отчаяния, взять и повеситься. Но Яна ждала меня. Исчезать в небытие я не имел права. Мы обсуждали с Околовичем все это запутанное положение много раз. Время от времени американцы разрешали приезжать ко мне в охотничий домик представителям НТС. Но взвесив все «за» и «против», мы неизменно приходили к выводу, что поднимать из-за меня скандал с американцами НТС пока не должен.

Все это американская разведка понимала и хорошо использовала. Слова: «а что будет с вашей семьей?» падали как магическое заклинание в конце каждого спора. И я покорно замолкал, зная, что не имею права поступать иначе. Одновременно, зная, очевидно, что человеческие нервы не из железа, американцы организовали тщательную охрану охотничьего домика. На окнах моей комнаты были железные решетки витого итальянского стиля, запертые на добротные немецкие замки. Дверь на террасу была заперта, и снаружи, с террасы, заставлена тяжелой мебелью. В доме дежурили день и ночь охранники в три смены по два человека. По ночам с цепи спускали немецкую овчарку. Все это называлось в вольном переводе с английского: «охраной моей жизни».

Американцы, прилетевшие из Вашингтона, сильно отличались от Леонарда. Злополучного «специалиста по русскому вопросу» с гестаповскими замашками я больше никогда не увидел. Люди, которые стали приезжать в охотничий домик, хорошо говорили по-русски, умели быть вежливыми и тонкими собеседниками и обладали большим запасом терпения. Я по-прежнему не рассказывал им ничего, что могло бы повредить моей стране. Но в отношении сведений о советской разведке мне пришлось переступить те границы, которые я первоначально для себя наметил. На самолете меня доставили в Швейцарию и я взял из банка полоски бумаги с записями, сделанными в Москве. Эти записи были сделаны для НТС и, когда мы вернулись во Франкфурт, я потребовал, чтобы пригласили Околовича. Ему и Поремскому я расшифровал свои заметки. Англичане и аме-

риканцы, сидевшие рядом, тщательно записали все в свои блокноты. Потом в течение месяца с лишним западные разведки переваривали то, что им удалось узнать от меня. В начале апреля мне было официально заявлено, что моя «политическая благонадежность» установлена. Количество охранников от этого не уменьшилось и решетки с окон не были сняты. Только, когда я отходил подальше от дома, охранник не следовал уже за мной по пятам, а останавливался где-нибудь на возвышении, стараясь не потерять меня из виду. Кроме того, в разговорах со мной у американских разведчиков появилась некоторая фамильярная откровенность о собственных их делах. Эта откровенность меня и радовала и немного пугала. Пугала потому, что я вовсе не хотел становиться «своим» для американской разведки и узнавать то, что посторонних не касалось. Радовало же потому, что впервые при обсуждении планов спасения моей семьи в голосах американцев звучали серьезные нотки.

Москва по-прежнему ничего не знала о моем переходе на сторону НТС и об истинных причинах задержки операции «Рейн». Моя переписка с ними через Вену продолжалась без особых затруднений. Поскольку Франца и Феликса пока не вызывали на встречу, мне удавалось объяснять медлительность работы моей группы всякими объективными причинами: тем, что были трудности с покупкой машины или тем, что Околовича нет в городе. Окунь настолько ничего не подозревал, что в одном из писем даже поспешил утешить меня следующей фразой: «не смущайтесь тем, что не можете встретиться с объектом. Он был в отъезде и посетил наш город. Вчера выехал обратно. Наверное к вам. Желаю успеха». Когда я перевел эту строчку американцам, они немедленно вызвали Околовича и выяснилось, что Окунь совершенно случайно выдал нам кое-что очень важное.

Околович действительно летал на днях в Вену и его визит туда укладывался в сроки, указанные Окунем. В Австрию Околович ездил для встречи с неким Шмелевым.

Шмелев появился в Австрии в начале 1954 года. Он приехал из Советского Союза, стал работать служа-

щим в одном из австро-советских учреждений и вскоре после своего прибытия в Вену стал искать связи с представителем НТС в Австрии. Такую связь ему, в конце концов, удалось установить. Представителю НТС Шмелев заявил, что узнал о революционной организации еще в Советском Союзе от одного из членов НТС, когда-то заброшенного на советскую территорию, но потом потерявшего связь со штабом. От имени этого члена НТС Шмелев хотел поговорить с Околовичем. Внимательно изучив рассказы Шмелева, Околович понял, что версия о члене НТС, когда-то заброшенном в Россию, не выдумка. Околович вылетел в Вену и встретился со Шмелевым. При встрече были приняты особые меры предосторожности, которые, конечно, не ускользнули от глаз Шмелева. Он понял, что ему особенно пока не доверяют, но держался уверенно и рассказал интересные подробности о члене НТС, оставшемся в СССР. Было условлено, что Околович еще раз встретится со Шмелевым в недалеком будущем. Затем Околович улетел обратно в Германию. О его визите в Вену было известно очень узкому кругу членов НТС. И все же, как выяснилось из письма Окуня, советская разведка немедленно узнала о встрече Околовича и Шмелева. Возникала логичная мысль, что Шмелев — агент советской разведки. Когда же Околович стал анализировать с новой точки зрения личность члена НТС, якобы приславшего Шмелева, он внезапно понял, что это и есть тот его старинный друг, о котором мне рассказывал Студников. Тот, которого взяли на явке, перевербовали и включили в вариант похищения Околовича в Вене. Все кусочки мозаики совпали. План советской разведки стал ясен. Игра со Шмелевым продолжалась, но НТС уже знал, как себя держать.

То обстоятельство, что еще один вариант, направленный против Околовича рушился, и на этот раз по прямой вине самого Окуня, дало американской разведке одну идею. Они решили, что на подполковника в Вене можно нажать и заставить его перейти на Запад. Их расчет был прост: агентурная сеть Окуня находилась под наблюдением западных разведок. Операция «Рейн» была сорвана. Вариант со Шмелевым провален. Американцы имели возможность в любой момент нанести ре-

шающий удар по всем засеченным в Европе боевым группам Девятого отдела. Они считали, что если прямо сообщить об этом Окуню, он может перейти на Запад. Их планы шли даже дальше: они предполагали, что Окунь сумеет вызвать в Австрию свою семью и перейти к американцам с грузом секретных бумаг. У меня не было причин протестовать против их планов. Наоборот, если Окунь действительно перешел бы на Запад, то провал агентурных сетей Девятого отдела, включая операцию «Рейн», автоматически зачислялся Москвой на его счет. С точки зрения МВД я становился «жертвой» и поскольку был твердо намерен хранить в дальнейшем полное молчание, то мог даже приобрести в глазах советской разведки ореол «патриота». Тогда моей семье ничего не угрожало. Я мог бороться за уход из-под американского контроля и добиваться моего возвращения к НТС. «Капитан Егоров» исчезал в тайниках западных разведок, а я под фальшивым именем, изменив свою внешность, имел бы возможность включиться в революционную работу. У американцев были свои планы в отношении меня. Они говорили, что попросят Окуня захватить с собой образцы документов, выдаваемых семьям советских граждан в Австрии для выезда из СССР. По этим образцам американская разведка обещала немедленно вывести мою семью на Запад. Я не возражал, но и не особенно верил. Втайне я надеялся, что когда уйдет «взрывчатость» обстановки с операцией «Рейн», я смогу через несколько месяцев попробовать связаться с моей семьей через НТС.

У меня было только одно категорическое требование, которое западные разведки согласились учесть: даже в случае отказа Окуня переходить на Запад, Москва не должна понять, что я являюсь первопричиной в этой их катастрофе.

При внимательном изучении агентурной сети Окуня, выяснилось, что скрыть мою роль возможно. Л., австрийский инженер-химик, был тем самым курьером, который привез оружие в Аугсбург. Он жил в американском секторе Вены. Личное дело Л. я читал еще в Москве. В 1945 году он вступил в компартию Австрии. Одновременно, одна из крупнейших швейцарских фирм пригласила его к себе консультантом. Личные дела Л.

пошли в гору. Вскоре он обзавелся хорошей квартирой, машиной и пакетом акций в швейцарских фирмах. Связь с коммунистической партией стала ему мешать. Он вернул свой партбилет. Однако, короткая связь с компартией оказалась для Л. роковой. В 1951 году его разыскала советская разведка и заставила работать. Всем было ясно, в том числе и Окуню, что Л. — агент по горькой необходимости. Тем не менее подполковник уважал Л., считался с его мнением и не раз говорил, что у этого инженера исключительная голова на плечах. Я сам Л. никогда не встречал, но связывая в одно целое рассказы Окуня и детали личного дела этого агента, мог без труда предсказать, что в советскую зону он не побежит. Я знал, что в Москве было смешанное мнение о нем. В надежности Л. и его оперативной ценности были уверены только Студников и Окунь. На них, вероятно, производило впечатление общественное положение Л., его манера жить, элегантно одеваться, тратить большие деньги, разъезжать на собственной машине по Европе и «вращаться» в высших кругах австрийской интеллигенции. Но Иванова, например, Л. не доверяла. Она не раз повторяла, что «он слишком богат, солиден и себе на уме». Мне же казалось, кроме того, что у Л. достаточно большой умственный кругозор, чтобы увидеть во вмешательстве американцев в его судьбу вполне приемлемый выход из опасного положения агента советской разведки.

Было нетрудно сделать так, чтобы, в случае отказа Окуня перейти на Запад, ответственность за выдачу агентурных сетей Девятого отдела западным властям падала в глазах Москвы, естественно и правдоподобно, на Л. Поскольку он встречался с Францем и Феликсом и возил им оружие, то его сотрудничество с Западом объяснило бы и провал операции «Рейн».

В начале апреля военным самолетом меня перебросили в Вену и поселили на конспиративной квартире американской разведки. Сделано это было для того, чтобы с первых же этапов связи с Окунем можно было начать работу по выводу моей семьи. За Л. было установлено наблюдение. Выяснилось, что он только что вернулся из Швейцарии. В международном секторе Вены, на одной из встреч с агентурой, был засечен и

Окунь. Он, как оказалось, уже давно был известен западным разведкам под фамилией инженера Сергеева. Затем, в тесном сотрудничестве американских и английских служб, был разработан план действий. Американцы брали на себя вербовку Л. По плану, Л. назначал Окуню встречу в международном секторе, в одном из ресторанов. Английские и американские разведчики в штатском занимали места за отдельными столиками. С первых же слов разговора Л. должен был сказать Окуню, что он давно сотрудничает с западной разведкой. Не давая подполковнику опомниться, он добавлял, что западные власти готовят в самое ближайшее время удар по агентурным сетям подполковника в Австрии и Швейцарии. Однако, Л. считает Окуня человеком с трезвым рассудком и предлагает ему шанс не только остаться в живых, но и хорошо устроиться на Западе, с семьей, конечно. Тут Л. должен был громко заказать кружку пива, и к столику подсаживался представитель западных властей. Он гарантировал Окуню от имени Англии и Америки политическое убежище и всякие материальные блага. Окуню давался короткий срок для вызова своей семьи из Москвы в Вену. В том случае, если Окунь категорически отказывался, его не задерживали. Но, сразу после его ухода, западные власти давали сигнал своей полиции и начинался разгром агентурных сетей Девятого отдела. Я немедленно обрывал переписку с Веной и моя группа исчезала в неизвестность до той поры, пока была бы разработана подходящая версия об аресте в Германии группы агентов во главе с капитаном Егоровым.

В субботу, 10 апреля, американцы приехали к Л. рано утром прямо на квартиру и пригласили его для переговоров. Подробностей их визита я не знал, но днем меня навестил один из американцев. Лицо его сияло. Он поднял вверх большой и указательный пальцы правой руки, сложенные в кольцо. Я уже знал, что по американской системе жестов это означало: «все идет прекрасно». Как бы сомневаясь в моем знакомстве с тонкостями английского языка, американец добавил по-русски:

— Ник?! Все о-кей! Лучше не надо. Л. уже сидит у нас на квартире и очень хочет работать с нами.

«Ник»-ом американцы окрестили меня с тех пор, как Вашингтон принял решение, что я, по всей видимости, не являюсь двойным агентом. Я не возражал против этого сокращения. Я уже много раз думал, что если бы некоторые из моих новых знакомых не были разведчиками, у нас могла бы завязаться неплохая дружба. Но красноречивый жест американца не обрадовал меня. Какая-то странная и необъяснимая интуиция заставила меня спросить с тревогой:

— А его семья? Семья что-нибудь знает?

Американец засмеялся:

— Ну, что вы! Мы так тонко сделали, что никто ничего не заподозрит. А Л. уже на все согласен. Будем встречаться с Окунем.

И он ушел, очень довольный разворотом дела. Однако, неожиданно для самого меня, мой странный вопрос попал в точку. Утром в воскресенье приехал один из старших офицеров американской разведки и хмуро поздоровавшись, бросил на стул утренние газеты.

— Почитайте, Ник . . . Почитайте, как мы опозорились.

Пока я разворачивал газеты вошли и другие американцы. Молча расселись вокруг меня и стали чего-то ждать. Я нашел без труда то, что имел в виду старший офицер. На первых страницах газет был многозначительный заголовок:

«ЧТО НУЖНО АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКЕ ОТ ИНЖЕНЕРА Л.?»

Краткие статьи в газетах были в основном похожи. В них рассказывалось следующее:

Рано утром в субботу к дому, где живет инженер Л. (следовала краткая справка об инженере), подъехал красный лимузин, хорошо известный в Вене как машина принадлежащая американской разведке. Несколько человек в форме австрийской полиции поднялись к Л. на квартиру и пригласили его в районный полицейский участок для дачи некоторых показаний. Л. не стал возражать, оделся и вышел с полицейскими. Жена Л., наблюдавшая за этой сценой, почувствовала что-то неладное: обычные полицейские не приезжают в красных лимузинах. Кроме того, в самом поведении «представи-

телей законности» были детали, выдающие их иностранное происхождение. У жены Л. возникло подозрение, что ее мужа похитили советские агенты, переодетые в полицейскую форму. Она немедленно позвонила в районный участок. Ей подтвердили, что от австрийской полиции никто приехать к Л. не мог. Была поднята тревога. Сметливые газетные репортеры довольно быстро выяснили, что Л. находится в руках американской разведки, а не советской. Инженер был отпущен домой во второй половине дня и отказался дать объяснения газетам.

Затем шли серии вопросов, разные — в зависимости от газеты. Но все они касались одной темы: что нужно американской разведке от Л., и не похожа ли вся эта история на попытку незаконного ареста австрийского гражданина? Некоторые голоса слева спрашивали с возмущением: до каких же пор Вена будет ареной интриг всяких разведок и почему заокеанские соседи считают себя вправе нарушать юридическую неприкосновенность австрийских граждан?

Я отложил газету. Все было ясно. Вариант с Окунем безнадежно провален. И, что самое опасное, роль Л. для Москвы попадает совсем не в тот свет, в который мы хотели. Я огляделся. В комнате царило молчание. На меня глядело несколько пар виноватых глаз. Мне вдруг показалось, что я попал в компанию каких-то взрослых детей, которые натворили что-то нелепое и сами об этом жалеют. Что же я мог им сказать... Начать ругаться или возмущаться? К чему? Они были расстроены и подавлены не меньше меня.

— Везите меня во Франкфурт, — сказал я. — Здесь мне больше нечего делать.

Через день я вылетел на американском военном самолете в Германию. Подполковник Окунь был вызван немедленно в Москву. На его место прилетел Мирковский. Л. забрал семью и уехал в западную зону Австрии. Но все же в самый последний момент судьба мне улыбнулась в неудавшемся деле Окуня. В то самое воскресенье, когда австрийские газеты писали о Л., один из агентов Девятого отдела в Вене перешел на Запад, к американским властям. Этот агент, назовем

его «А», работал с советской разведкой еще со времен гражданской войны в Испании. Он служил в 4-ом Партизанском Управлении НКВД в те годы, когда я в немецкой форме бродил за линией фронта, хорошо знал генералов Эйтингона, Судоплатова и других офицеров нашей службы. Мы часто встречались с «А» в то время, и он даже был знаком с моей семьей. История дела Кубе и моя роль в ней были ему тоже детально известны. В 1945 году, в числе других агентов судоплатовской службы, он был послан в одну из стран «народной демократии» с тем же заданием, что было поручено и мне в Румынии. С тех пор, почти десять лет, мы не виделись и только слышали изредка друг о друге из рассказов общих знакомых. «А» был уже немолод, одинок, в Советском Союзе у него не осталось никого из родственников. Сущность советской системы и отношение к ней русского народа он понял, примерно, в то же время, что и я, и под влиянием тех же факторов. Не было только толчка, который заставил бы его сделать окончательный выбор. Этим толчком оказалась заметка о Л. в австрийских газетах. С Л. «А» встречался по работе в Австрии. Он подумал, что теперь, когда рухнут агентурные сети, связанные с этим австрийским инженером, ему, «А», придется вернуться в Москву. Его могли перевести в аппарат разведки и «закупорить» на территории Советского Союза. «А» установил связь с американской разведкой и в тот же день перешел на Запад. Он не хотел становиться двойным агентом и поэтому, так обставил обстоятельства своего перехода, что Москве было ясно, что сделал он это по собственной инициативе. Американцы привезли «А» ко мне на квартиру. Сюрприз для нас обоих был немалым. «А» никак не ожидал увидеть меня на Западе. Я был поражен совпадением и в то же время обрадован им. Москва теперь могла сделать один, напрашивающийся вывод: «А» с некоторого времени сотрудничал с Западом, он же раскрыл Л. и, поскольку допрос Л. попал в газету, решил уходить на Запад. От «А» через Л. нити провала тянулись к Францу, Феликсу и, значит, ко всей группе по операции «Рейн». А когда капитан Егоров попадал в руки западных властей и ему устраивалась очная ставка с «А», то открывалось имя «Хохлов» и все прошлое, свя-

занное с Москвой, войной и Румынией. Поскольку у капитана Егорова был на руках паспорт на Хофбауера, раскрывалась и моя поездка в 1951 году по Европе. Кроме того, «А» был знаком с кухней нашей службы почти в той же степени, что и я. Другими словами, что бы теперь ни проникло в прессу или просто дошло бумерангом до Москвы, мое «алиби» перед Москвой не попадало под удар. Шансы на то, что моя семья будет спасена, увеличились.

Вернувшись во Франкфурт я нашел на почте письмо из Вены. Мне сообщалось, что группа моя в опасности и я должен немедленно уходить. Причем приказ требовал именно моего ухода, обрывая связь с Францем и Феликсом и бросая их на произвол судьбы. Очевидно, Москва считала, что показания Л. привели западную разведку сначала к обоим агентам, которые, вероятно, уже попали под наблюдение и уйти не смогут. Москва надеялась, что хоть я успею еще выскользнуть из кольца. По тону письма было видно, что лично мне Москва полностью верит. Я понял, что пришло время для «капитана Егорова». Для Москвы пока я исчезал и погружался в неизвестность до той поры, пока не была бы разработана подходящая версия об обстоятельствах моего появления на Западе. С этой версией нужно было спешить. Я попросил американцев созвать срочное совещание представителей НТС, английских и американских властей, чтобы решить, что делать дальше с капитаном Егоровым и его группой. Билл доложил начальству мою просьбу. 14-го апреля ко мне в охотничий домик действительно приехали представители НТС и в их числе Околович, связные от английской разведки и несколько американских офицеров. Однако, приехали они совсем по другому вопросу и завели разговор о совершенно неожиданных для меня вещах.

Мне рассказали, что накануне был похищен и вывезен в советскую зону доктор А. Р. Трушнович — член НТС, председатель Комитета помощи русским беженцам. Он в течение многих лет руководил форпостом революционного штаба, работавшего в самом центре восточной зоны Германии — в Западном Берлине. Я просмотрел газетные сообщения. Отдельные детали похищения подсказывали мне, что это было то самое «вто-

рое дело», которое Берия поручил службам советской разведки летом 1953 года. Мне было ясно, что похищение было проведено агентами 1-го Управления МВД с помощью немецкой службы госбезопасности. По всей видимости, оказавшись оттесненными от операции «Рейн», люди Федотова решили форсировать второе «государственное задание». Я высказал свое мнение. Оно упало как бы в пустоту. Все молчали. Околович стоял у окна, спиной ко мне, и смотрел на моросивший дождь. Другой представитель НТС, сидя за столом, чертил машинально и нервно какие-то линии на листе бумаги. Англичанин изучал рисунок ковра, сгорбившись, как будто ему было холодно. Один из американцев был где-то за моей спиной, — безмолвный и неподвижный. Лишь подполковник американской разведки посмотрел мне прямо в лицо и четко сказал:

— Видите, что они делают . . . Мы не можем больше молчать. Нужно ответить ударом на удар. Мы просим вас выступить перед прессой и рассказать все.

Его слова прозвучали для меня громом с ясного неба. Я даже не понял его сразу:

— Выступить? Перед прессой? Зачем?

Голос американца звучал по-прежнему твердо:

— Мы сделаем пресс-конференцию для вас. Вы расскажете о своем приходе на Запад и о плане убийства господина Околовича. Мы должны это сделать и показать всему миру, кто они такие.

Я прервал его:

— Вы понимаете, что вы говорите? Моя же семья погибнет тогда.

Англичанин выпалил вдруг громко и нервно, не отрывая глаз от пола:

— Да, они могут погибнуть, — он говорил эти слова с каким-то отчаянным задором, как бы стараясь сразу покончить с тем, что было самым тяжелым во всей истории. Его иностранный акцент стал особенно слышным. — Они, очень вероятно, могут погибнуть . . . И мы это знаем . . . Но иначе ничего нельзя сделать. Спасти их мы не можем. Мы не хотим вам лгать. Спасти их не можем . . .

Он остановился так же внезапно, как и заговорил. Глаза его остались прикованными к ковру.

Я вдруг увидел себя со стороны, понял, что мой взгляд бродит недоумевающе с одного из них на другого, и услышал свои полусвязные негромкие фразы:

— ...Но это невозможно... Вы же... Вы же обещали ни в коем случае... Я пришел к вам только потому, .. что...

Внезапно я оборвал себя и заставил собрать все силы. Ни в коем случае не показывать себя слабым! Но и не взрываться тоже. Может быть, они не столько хотят уговорить меня, сколько получить предлог для самостоятельного разглашения всей истории. Я попытался заговорить твердо и спокойно:

— Вот, что, господа... Я вас оставлю на несколько минут.

Они все как бы встрепенулись. Околович обернулся ко мне. В его глазах было внимание и, как мне показалось, подбадривание.

— Мне необходимо сначала поговорить с Георгием Сергеевичем — продолжал я. — Лучше всего, если мы с ним спустимся вниз. Это дело касается прежде всего нас двоих.

Мне казалось, что надо бы еще что-то добавить, но я не мог решить — что именно. Околович взял меня за локоть и потянул к двери:

— Пойдемте, Николай Евгеньевич. Они подождут нас здесь.

Никто из них не двинулся с места. Околович и я спустились в гостиную. Он молча ждал, пока я заговорю первым.

— Георгий Сергеевич!? Все внезапно сошли с ума или как? .. Что происходит? Неужели они серьезно?

Околович тряхнул головой, как бы отмахиваясь от моих сбивчивых вопросов, и заговорил с горечью:

— Вы не соединяйте меня в одно с ними. Я здесь не хозяин. Вы это знаете. Мой друг и я представляем здесь НТС. И это все. Но даже от имени НТС я не мог бы вам сказать ничего окончательного. Похищение доктора очень сильно ударило по нас. Нам всем он был почти как брат. Конечно, мы находимся сейчас во власти эмоций и вы это должны понять. Но никаких решений навязывать вам мы не собираемся. Мы и сами еще не успели ничего решить. И не могли бы сейчас. Со-

стояние наше, честно говоря, не очень вменяемое. Конечно, кое-кто из нас думает, что, если нанести зверю чувствительный удар, то он, может быть, и выпустит жертву. Но я, лично, среди этих мнений и планов только второстепенное действующее лицо. Подождите секунду ... То, что вы хотите от меня узнать, я вам скажу ... Но только, как человек человеку ... Да ... Так, вот ... Будь я на вашем месте, я на выступление перед прессой не пошел бы. Не пошел бы и все. А там уж, как знаете ... Повторяю, — официальных советов я вам дать не могу ...

Я поднялся с дивана:

— А больше мне ничего не надо. Никаких официальных советов я и не хочу. Пойдемте к ним обратно.

Околович отстал от меня на несколько ступенек. Подождав, пока он тоже пришел в комнату, я заговорил, стараясь контролировать каждое слово:

— Так что ж ... Я вам пока ничего не могу ответить. Ваша просьба кажется мне настолько нелогичной и ... даже не знаю, как ее квалифицировать. Сейчас, когда у вас есть еще возможности разыграть Москву самыми разнообразными путями ... И есть «А», который перешел на вашу сторону. Я был совершенно уверен ,что смогу остаться полностью в стороне от какой-либо публикации ... Мне очень важно знать, что именно заставило вас так резко и внезапно переменить позиции. Я прошу каждого объяснить свою точку зрения, чтобы разобраться немного в том, что происходит.

Они не протестовали, но и не начинали говорить. Я взглянул вопросительно на англичанина: — «Может быть, вы?». — Его речь опять зазвучала нервно и русский язык был совсем плох. Он говорил путанно и малопонятно о том, что времени ждать больше нет, что семью спасти нельзя, но нужно оправдать их жертву хотя бы тем, что правда станет известной всему миру. Потом добавлял еще что-то о судьбе, с которой нельзя бороться, о цепи неудач и ошибок, случившихся в моем деле с самого начала, и о том, что на войне, как на войне — жертв не избежать. Его слова летели куда-то мимо меня. У меня была только одна ясная мысль в голове: «пусть выскажутся. Пусть говорят. Все, один за другим. Не важно, что ... Но пусть все скажут это вслух».

Голос англичанина замолк. Стал говорить представитель НТС, друг Околовича. Он пытался показать, что разбирает обстановку методично и объективно, но в середине фраз часто останавливался, напряженно вглядываясь в оконную решетку. Говорил он с трудом, медленно, как бы сам прислушиваясь к своим доводам. Он считал, что долго скрывать секрет моего появления на Западе вряд ли удастся. Совсем ничего не опубликовать — нельзя. Это покажется Москве необычным. Как бы мы ни инсценировали провал операции, в прессу должно что-нибудь попасть. И, конечно, шаг за шагом, мелочь за мелочью МВД доберется, если не до всей правды, то хотя бы до основного: того, что я сотрудничаю с Западом. Такие вещи ведь в практике трудно полностью замаскировать. Тогда, во-первых, МВД начнет вытягивать из моей семьи всякие «признания» и «показания». Во-вторых, моя семья попадет, в конце концов, в какой-то лагерь, где подобно миллионам других заключенных погибнет от голода и непосильной работы. А если я выступлю и расскажу открыто о причинах моего прихода на Запад, то в дело включится мировое общественное мнение. С этим мнением советское правительство считается больше, чем может показаться с первого взгляда. Моя семья сразу станет ценной для МВД. Мало ли какой оборот может принять дело. Вдруг будет широкое обсуждение в прессе, появятся статьи, может выйдет даже книга какая-нибудь об этом. МВД придется организовывать контрудар. Именно так все произошло с Кравченко и его жена была привезена, жива-здорова, в Париж. Если я стану известен всему миру, как антикоммунист, то МВД будет прямо заинтересовано в сохранности моей семьи. Мои родственники становятся заложниками. И уж в захудалый лагерь их не пошлют. Другими словами, шансы, что они выживут — повышаются. Хотя бы это мы выиграем. Не говоря о колоссальном ударе, который можно нанести советской разведке и престижу коммунистической власти. Ведь, вот, они не стесняются похищать наших людей или убивать их. Борьба идет непримиримая. Что ж можно поделать? У него самого родственники погибли в советском концлагере. Нужно как-то отвечать.

В этом месте включился американец:

— Да, да!! — почти воскликнул он. — Ударом на удар! Обязательно. Вы же сами воевали. Вы понимаете... Ударять нужно сейчас. Пока они не ждут этого. Иначе может быть поздно потом. Все и так висит на волоске. Мы должны опередить их!..

Он осекся и отпил глоток воды. Все смотрели на Околовича.

— Мнение Георгия Сергеевича мне известно, — сказал я. — И вообще... Все теперь совершенно ясно...

Нужно было, конечно, сразу сказать им, что я думаю об их доводах. Но на душе у меня была невероятная ледяная тяжесть. Мне даже не хватало дыхания, чтобы говорить громко. И, прежде чем сказать что-то четкое и окончательное, я пытался снять эту тяжесть, размышляя вслух:

— Сегодня четверг вашей католической Страстной недели... я увидел это в газетах... Странное совпадение. Какие разные все же бывают на свете люди... Вы даже не понимаете, кем решили жертвовать... Я не говорил еще о роли Яны во всем деле. Она не захотела бы этого, наверное. Но теперь лучше сказать... Вот, для нее четверг Страстной недели — Моление о Чаше. Может быть она даже чувствовала, что так все случится... Ведь именно она сказала мне, что убийство должно быть остановлено. Именно она. И не просто сказала. А так: если я попытаюсь остаться в стороне, то она моей женой больше не будет. И для сына такого отца не хочет. Да... Моление о Чаше. Но в том же Четверге есть и Петр и потом другой, еще хуже... Конечно, всегда появляются какие-то доводы... Логические рассуждения... Полотенца для вытирания умытых рук...

Наступила пауза на какую-то долю секунды и Околович сказал:

— Я очень боялся, что может придти такой день, когда Николай Евгеньевич пожалеет, что не позволил убить меня. Может быть, этот день и есть сегодня...

Я отрицательно качнул головой:

— Нет... Жалеть о том, что сорвал убийство, я не могу. Дело было не в вашей жизни, а в нашей: Яны, Алюшки, моей. Я же говорю, что она открыла мне глаза на то, что важно по-настоящему, а что — нет. Если уж жалеть, то о другом. Может быть, о том, что пришел

к вам. И поверил, что все, действительно, делалось во имя их спасения . . . А теперь вот, три раза, один за другим, вы все отреклись от этого . . .

Теперь американец заговорил нервно и быстро:

— Именно потому . . . Именно потому, что ваша жена — героиня, она поймет из-за чего все совершается. Мы должны бороться, а не давать им нас шантажировать такими вещами, как семья, любовь, долг. Ваша жена это понимала и говорила вам, что нельзя сдаваться. Мы не имеем права думать, что она слабая, что она не выдержит. Или осудит нас. Если бы она была здесь, она тоже сказала бы, что вам нужно выступить . . .

— Да, но ее здесь нет, — прервал я американца. — И я, может быть, зря заговорил о ней. Ведь если было бы, что обсуждать. А то обсуждать-то нечего . . .

Ледяная тяжесть на моей душе почему-то ослабла. Я подошел к окну. Сквозь завитки железной решетки доносился шелест дождя . . . Не оборачиваясь, я заговорил, неожиданно для себя очень твердо:

— Вот, что я вам скажу: забудьте, что я пришел добровольно. Этого не было.

Я повернулся к ним лицом и повторил по слогам:

— Понимаете: НЕ-БЫ-ЛО. И никто из вас не сможет доказать противного. У вас нет ни клочка бумаги, подписанного мной. Арестовывайте меня и . . . хотя я и так арестован . . . Ну, все равно: передавайте меня немецким властям и пусть они меня судят. Ничего общего с вами я больше иметь не хочу. И с удовольствием сяду в тюрьму. Тогда, хоть — законную.

Поднялся шум. Все заговорили одновременно. Голос американца перекрыл остальные:

— А немцы? Ваши агенты. Они же знают, что вы перешли. Мы тогда обязаны их тоже передать властям. Что они скажут на следствии?

— Ничего они не знают. Вы привели меня на квартиру и я сказал, что мне было приказано. Видел я только Франца и всего несколько секунд. Лгать они не обязаны. Только кое-что подзабыть.

Вмешался представитель НТС:

— Немецкие следователи очень дотошные люди: они все равно поймут, что мы говорим им неправду. И все дело окончательно запутается.

Англичанин убеждал:

— Вы же не можете обманывать суд. Показания даются под присягой. Что, например, скажет господин Околович?

— А я на такой суд, где Николая Евгеньевича будут судить за попытку убийства, просто не пойду, — сказал Околович. — Актер я плохой. Но можно, наверное, обойтись и без меня.

— Ну, вот, видите, — подхватил американец. — Главного свидетеля и не будет. Еще одно подозрение для прессы. Мы хорошо понимаем ваши чувства, но надо смотреть на вещи трезво. Если мы передадим вас немецким властям, то секрет вашего прихода все равно откроется.

— Ну, не знаю, — пожал я плечами. Всяких трудностей можно надумать. Но если даже с судом, действительно, так сложно, то сделайте что-нибудь другое. Все равно, что . . . Но так, чтобы я вышел из игры. Инсценируйте захват моей группы где-нибудь. Хотя бы во дворе у Околовича. Пусть капитана Егорова убьют. Я смогу перейти на какие-либо другие документы. НТС обещал мне помочь в этом.

— А труп? — почти взмолился американец. — Где достать труп?! Вы шутите?! Мы же не в джунглях живем, а в цивилизованном обществе. Знаете, в мировую войну английская разведка сбросила в море мертвеца с фальшивыми таблицами шифров при нем. Так пока они достали труп, то буквально с ног сбились. И это во время войны, когда разведкам все разрешается. Мы же обязаны предъявить вас мертвого полиции. Нет, это совершенно невозможно.

— Все равно . . . Вы меня не переубедите. Ни к кому я не приходил и вообще ничего не знаю. Конечно, вы можете опубликовать все и без меня. Практически я не могу вас остановить. Но я еще раз предупреждаю, что буду все отрицать. Так что единственная возможность избежать крупного скандала — это передать меня властям, судить и сажать. А всякие детали уж обдумывайте сами. Кто, что будет говорить и как быть с присягой. Мне совершенно все равно. И вообще . . . Говорить нам, пожалуй, совсем больше не о чем . . .

Они притихли. Их лиц я не видел. Оборачиваться мне было нельзя. Я чувствовал, что сил мне уже начинает не хватать. Все та же мысль не оставляла меня: Яна и Алюшка гибнут. Значит, выход может быть только один... Сзади меня, в комнате, люди о чем-то совещались в полголоса. Завитки железной решетки дрожали на фоне дождевой мороси. Я слышал, что со мной прощаются. Потом щелкнула дверь. Значит — ушли. Я пошел было к двери, чтобы повернуть ключ, но на лестнице послышались быстрые шаги. Кто-то возвращался бегом. Это был американец. Он почти ворвался в комнату. Я отступил даже назад. Американец застыл на пороге. Подбородок его дрожал. Он заговорил, с трудом владея собой:

— Ник... Послушай... друг... Мы не такие... Ты не думай... Мы, правда, не такие... Ничего не будем делать без тебя... Честное слово... Ничего не будем... Ты только поверь...

Американец прикусил нижнюю губу и углы его рта дернулись. Потом он шагнул вперед, положил мне неловким жестом руку на плечо и выговорил:

— Мы все за тебя... Ты не думай...

Я молчал. Я боялся вымолвить хоть слово и потерять остаток равновесия. Американец тоже не мог больше говорить. Он резко повернулся и ушел, почти убежал, не закрыв за собой дверь. Я захлопнул ее, повернул ключ два раза и вернулся к окну. Снизу доносились голоса спорящих. Потом зафыркали машины.

— Когда они уедут, пойду позову собаку и поднимусь с ней на холм. — думал я. — Можно будет бросать ей палки и одновременно найти удобное место для разрыва колючей проволоки. Затем надо еще как-то открыть дверь на балкон. Уходить лучше всего в субботу вечером, когда только один охранник. Значит у меня есть еще целых двое суток. Сегодня я все осмотрю, как следует, и решу. Уйти, наверное, будет не очень трудно...

Утром в пятницу я ушел с собакой в дальний угол участка. Один из столбов ограды был совсем гнилым и проволока, пересекающая его — хрупкой. Я бросил собаке палку. Она помчалась за ней под гору. Я сел на

траву около столба. Прилетела какая-то птица, села на ближайшую сосну и уставилась на меня бусинами любопытных глаз, как бы спрашивая ехидно: «А что это вы тут собираетесь делать, милостивый государь?»

Мне было уже совершенно ясно — нужно выходить из игры. Наверное, американец искренно верил, что теперь они без меня «ничего не будут делать». Но вряд ли от него это зависит. Приказ о пресс-конференции пришел откуда-то сверху. Из тех сфер, где судьба женщины и ребенка в Москве не может влиять на математическую стратегию так называемой «высшей политики». Завтра может придти второй приказ: устроить пресс-конференцию и никаких гвоздей! Уклониться от выполнения этого приказа местные чиновники не смогут. Будут, конечно, мучаться и переживать. Но права на свою собственную совесть нет, видимо, и у них. Или если есть, то довольно относительное: «от» и «до». Вот и начнут они, как и вчера, кривить душой и уговаривать меня всякими «логическими доводами». А потом, кляня себя в душе за беспомощность, устроят пресс-конференцию без моего согласия и выдадут мою семью МВД. Нет, нет, верить больше я никому не имею права. Нужно исчезать.

Куда? .. Конечно, не к зеленой границе. Возвращение обратно — еще хуже самоубийства. Расстрелять меня не расстреляют: можно придумать подходящую легенду. Но уход назад равносилен позорной сдаче. Он бросит в грязь все то, что уже сделано и все то, что так или иначе придется вынести Яне. Назад мне пути нет.

Надо пробираться в какую-нибудь густо населенную местность Германии и «нырять в подполье». Деньги у меня есть. В щетке несессера еще осталась московская «заделка»: 2 500 западных марок. Они мне теперь очень пригодятся.

Здесь, где-то к западу, проходит автострада на Кельн. Если я выйду в субботу часов в одиннадцать, то до утра наверняка доберусь до магистрали. С собакой мы подружились. Она шума не поднимает. Вчера вечером, когда я поздно вышел гулять, она даже не тявкнула. Только не увязалась бы со мной в лес. Я ее отпугну как-нибудь. Уйду, конечно, уйду. Дверной замок так легко открылся. Может быть, он вообще не запирается

как следует? Поэтому они столько мебели и наставили на террасу. Надо будет еще раз отодвинуть мебель. Щель пока еще мала. А проволочная ограда — не препятствие. Верхняя половина рядов уже перервана и застегнута на крючки. Мне еще работы на полчаса. Перерву нижние ряды и сделаю такие же крючки. Тогда в субботу ночью просто расстегну ограду, как расстегивают шубу, а потом застегну обратно. Крючки вдоль столба и их не сразу заметят. Я спокойно выйду на магистраль и возьму попутную машину в рурскую область. Искать меня будут наверное в направлении советской зоны. А я тем временем достану какие-нибудь документы на первое время и попробую разыграть роль беженца с востока, который не хочет иметь дело с властями. Язык и страну я знаю. Не пропаду.

Что произойдет после того, как обнаружат мой побег? Открытого скандала американцы затевать не будут. В прессу ничего не дадут. Как они объяснят, что офицер советской разведки не принял политического убежища и убежал от них? Провокатором объявить меня они не могут. Поймут, наверное, что я ушел от них из-за того невозможного положения в которое они меня поставили. Пусть задумаются. Давно пора. Могут, конечно, что-то опубликовать. Ну, и что же? Все, что им известно, могло идти от «А». Москва меня не заподозрит, поскольку я исчезну.

Околовичу надо оставить записку. На машинке и без подписи. Объяснить, почему я ушел. Но только намеками. Записка-то попадет сначала в руки к американцам. Напишу я ее лучше всего в последний момент. В субботу вечером. Во избежание случайностей.

О чем же написать? Что-нибудь такое: о приходе к вам, конечно, не жалею. И если сказал, что жалею — то просто так, под горячую руку. Придти к НТС я был должен. В этом отношении все как раз было правильно. А дальше случилась какая-то ошибка. Кто ее допустил — не знаю. Может быть, и я сам. Не нужно было, наверное, сдаваться первым трудностям, а ясно понимать, что в моем положении связь с Западом — гибельна. Теперь я это знаю и поэтому ухожу. Так и оставить: «ухожу, точка». А через полгода, когда все утихнет я могу написать Околовичу письмо и подробно объяснить, почему

вынужден был так сделать. Он, вообще-то, поймет. Может быть, и в революционной борьбе для меня тогда найдется место. Но это в будущем. А сейчас важно так составить записку, чтобы американцы поняли как можно меньше.

Обдумать окончательный текст записки я еще успею. Надо спешить с обрывом проволоки, пока не подошел охранник.

Утром в субботу, тот самый американский офицер, который обещал, что без меня никто ничего не предпримет, привез в охотничий домик «А». «А» отвели комнату на втором этаже, напротив моей. После завтрака он пошел к себе устраиваться, а американец и я задержались внизу в гостиной. Двери на террасу были открыты. После нескольких пасмурных дней установилась ясная погода и чириканье птиц наполняло лес. Американец собрался уходить. Он зацепил пальцем вешалку летнего пальто и закинул его за спину. Я уже знал, что вчера из Вашингтона пришла телеграмма. В ней государственный Департамент США категорически отказывался передать меня немецкому суду по обвинению в покушении на убийство Околовича.

— Это окончательно. Мы не можем обманывать немецкое правительство, — сказал мне американец еще до завтрака.

Я ничего ему не ответил тогда. Это его немного встревожило. Он пытливо всматривался в мое лицо за завтраком, стараясь, наверное, понять, что происходит в моей душе. Выспрашивать меня он не стал. Он мог подумать, что при «А» я не хотел обсуждать, что теперь делать дальше. «А» ушел наверх. Но я так ничего и не сказал. Американец стоял у порога, подергивал вешалку своего пальто и смотрел задумчиво куда-то в угол. Показывать, что мне совсем безразличны дальнейшие планы американцев, было бы неосторожно.

— Что же будем делать дальше? — спросил я.

Американец поправил носком ботинка завернувшийся край ковра.

— Не знаю . . . Пока будем молчать. В конце концов, если вашу группу захватили бы на этих днях и вы стали от всего отказываться, то секретное следствие

могло затянуться на месяцы. На это время ваша семья вне опасности.

— Вероятно ... — согласился я. — А потом?

Американец перевел взгляд на цветные стекла террасы.

— Да ... Потом ... Знаете, я все эти дни ловлю себя на том, что беспрерывно составляю всякие варианты спасения вашей семьи. Да и не я один. Весь наш коллектив только об этом и думает. Друг другу не сознаются, но прямо, как разворошенный муравейник. Вчера, например, приходит ко мне одна из наших секретарш и заявляет: у меня есть план спасения его семьи. Ну, я дал ей рассказать. Фантастика, конечно. Пароход в ленинградском порту, всякие там продырявленные ящики и так далее. Но обижать ее не стал. Сказал, что подумаю. Как кто из Вашингтона приедет, так у каждого тоже свой вариант. А дело ведь не в вариантах. На такую операцию нужна виза высшего начальства. А наверху побаиваются. Конечно, трудностей слишком много. Женщина, да еще с ребенком. Я знаю южные границы СССР. Там нужно по пятьдесят километров делать, чтобы выскочить. Да еще по пустыне. И людей на советской территории у нас по пальцам пересчитать. Каждый на вес золота. Связан с другими делами. Нельзя его отрывать. И никаких других возможностей ... Не можем же мы направить дипломатическую ноту советскому правительству: отпустите, мол, семью советского разведчика на Запад. Хотя ... Постойте ...

Он сбросил пальто на кресло и повернулся ко мне. Ему пришла в голову какая-то идея. Я видел это по огоньку загоревшемуся в его глазах и по торжествующей улыбке, появившейся на лице. Он перебирал мысленно какие-то доводы и кивнул головой, сам с собой согласившись:

— Можно сделать одну вещь ... Как вы думаете, что скажет ваша жена, если в один прекрасный день к ее дому подъедет машина с флагом американского посольства, из машины выйдет наш посол и пригласит вашу жену к себе для беседы? В посольство, конечно ...

— Если он пригласит ее просто так, по неизвестной причине, она, конечно, откажется. Но если у него будет письмо от меня ...

— Вы попали в точку, — прервал меня американец. — Письмо или что-то такое, что убедит ее, что ехать ей в посольство нужно. Затем она рассказывает послу то самое, что вы рассказали нам на днях. Ну, приказ об убийстве, ее слова и остальное. Потом она просит у нашего государства защиты и остается в посольстве. Сразу дается коммюнике от наших пресс-агентств. Разносится по всему свету. Весь мир узнает о женщине, остановившей убийство. Ведь даже в советском уголовном кодексе не найдется закона, по которому она — преступница. Она говорит из посольства в Москве, а вы выступаете здесь и подтверждаете, что все — правда. Представляете себе какая обстановка?! Ну, а если президент США выступит по радио и вступится за вашу жену? Может МВД ее уничтожить?

— Уничтожить — нет. Но и за границу ее не выпустят.

— Это еще неизвестно. Зато в посольстве она будет в безопасности. Ну, поживет там год, другой. Может быть, удастся связаться с ней отсюда по телефону, записать на пленку и дать ее голос в «Последние новости» по радио. Написать ряд статей о ее жизни. В общем, сделать ее известной всему миру. И, кто знает, может быть, в конце концов, ее и выпустят. У нас были такие случаи. Вот в Румынии, например. Румынский гражданин попросил убежища в нашем посольстве. Жил там долго, а потом ему разрешили выезд. Сейчас он в Америке. А был, между прочим, замешан в сложную историю, которую румынское правительство пыталось представить, как шпионские козни. А вот, выпустили. Или вывезем как-нибудь. Тогда хоть времени у нас будет вдоволь . . .

А вдруг он был прав?! Мысль о том, что завтра Яна может оказаться в американском посольстве вместе с Алюшкой, в полной безопасности, что я смогу позвонить ей по телефону и услышать ее голос, надежда на то, что ее выпустят или вывезут, понимание того, что символика ее поступка станет известной всему миру и поможет миллионам других людей понять свою собственную духовную силу — все это показалось мне вдруг настолько реальным и возможным, что у меня защемило сердце.

— Но пойдет ли на это ваше правительство? Президент? Ведь скандал будет колоссальный . . .

— Вы не знаете американцев. Когда всякие там сложные политические проблемы, они могут оставаться равнодушными. У них просто много других дел. И политику американский народ вообще не любит. Но когда речь пойдет о таких ясных вещах, как жизнь женщины и ребенка. Ого! Знаете, что может подняться?! Вот, недавно упала девочка в колодец. Так вся Америка всполошилась. Не знаю, сколько там часов ее откапывали, но все это время миллионы людей принимали участие в ее спасении. Специальные команды были посланы, средства, специалисты из всех мест прилетели. По телевидению и в газетах только об этом и говорили. И спасли. Если правильно рассказать о вашей жене и всю ее историю, так хочет президент или не хочет, а народ потребует, чтобы он выступил. У нас ведь в Америке правительство служит народу, а не наоборот.

— Ну, хорошо. Я все это понимаю. Но разрешение на то, чтобы к моей жене поехал посол, вы будете просить у правительства, а не у народа.

— Конечно. Ну и что же? Наше дело предложить план. А если Вашингтон разрешит, то уже их дело — довести до конца. Знаете, что? Я поеду сейчас в город, чтобы не терять времени. Составлю телеграмму поубедительнее и сразу отправлю. Молнией. Посмотрим, что они скажут. Я лично знаю, что они там, в Вашингтоне очень вам верят и чувствуют ответственность за все, что случилось. При других обстоятельствах могли бы и не пойти на такой риск. А в вашем случае, мне кажется, что пойдут. Ну, что вы скажете? Попробуем? Ведь мы даже должны попробовать!

Я не мог еще окончательно ничего решить. Было очень трудно за несколько секунд перестроиться и из полной безнадежности, из твердого решения уходить, вернуться к каким-то новым планам. Но, с другой стороны, даже если я все равно убегу, лучше сделать вид, что я соглашаюсь. У меня все готово для побега: провока приготовлена, дверь отперта, мебель отодвинута. До вечера у меня еще есть время подумать. Я ничем не рискую, согласившись. Наоборот. Зная, что у меня снова

появилась какая-то надежда, они могут ослабить охрану.

— Давайте, попробуем, — сказал я.

Он схватил пальто в охапку и побежал через террасу к гаражу. Через несколько секунд, взвизгнув тормозами, он осадил машину перед крыльцом и крикнул мне:

— Я сразу обратно приеду!..

И метнув фонтан гравия из-под колес, скрылся за поворотом дороги.

Но обратно он в тот день не приехал. Позвонил через несколько часов и прокричал восторженным голосом, что, дескать, все идет хорошо, что все здесь согласны и телеграмма в Вашингтон послана. Он собирает на воскресенье совещание из специалистов по тому городу, где будет разворачиваться дело. Я понял, что он имеет в виду Москву. Завтра днем они все приедут ко мне. Добавил, что ему нужно ловить всех до того, как они разъедутся на уик-енд и повесил трубку.

Я рассказал «А» о предложении американцев и спросил его мнение.

— Я боюсь давать советы в таких вещах, — честно сказал он. — Да и американцев я совсем не знаю. Но рассуждая логично, трудно предположить, что они какие-нибудь людоеды: возьмут и бросят хладнокровно твою семью в концлагерь или на смерть. Уж если они разрешат взять их в посольство, так думаю, будут драться за это до конца. А у тебя, наверное, ничего другого, кроме как этот шанс и не осталось.

Он не знал о моем плане побега. Но бегство нельзя было считать шансом на спасение семьи. Бегство было только средством предотвратить их гибель.

А, может быть, правда, нужно рискнуть? — подумал я. — Бежать всегда успею. В крайнем случае — в следующую субботу. Мебель можно придвинуть чуть-чуть обратно. А проволочных крючков не заметят. Охранники в тот угол забора совсем не ходят. Вдруг, действительно, они возьмут ее в посольство? Я могу написать ей письмо и объяснить, что ради Алюшки она должна пойти на это. А от посольства до нашего дома — несколько кварталов. Три минуты на машине, не больше. Искать не надо. Дом заметный, на нем телевизион-

ная антена особой формы — другой такой в квартале нет. И кабель — в наше окно. Найдут. Расписание Яниного дня я им дам. Есть часы, когда она кормит Алюшку и в это время — обязательно дома. Да, нужно рискнуть, если они дадут мне гарантии, что к моей жене поедут и возьмут ее в посольство. А если не возьмут? Тогда ничего особенного не будет. Я молчу по-прежнему и при малейшем нажиме на меня — бегу.

Да, этот шанс я обязан использовать.

Тем более, что он, может быть, — последний.

Начались совещания. В воскресенье и понедельник они происходили на основании мнений местных «специалистов». Кое-кто сразу заявил, что Государственный Департамент США не разрешит воспользоваться посольством как местом для политического убежища. Выдвинули было вариант с Клубом Иностранных Корреспондентов в Москве. Мне этот вариант не нравился. Я считал, что в Клуб могут спокойно приехать из МВД и забрать мою семью силой. Споры шли до понедельника. В понедельник появился Чарльз Маламут, один из директоров европейского отдела Голоса Америки. Он был много лет в Москве корреспондентом одной из американских газет, и заявил с места в карьер, что разговоры о Клубе — чушь. Или посольство, или ничего. И нечего огород городить, если не посольство. Это единственное место в Москве, откуда мою семью МВД не сможет вырвать силой. Пошли долгие дискуссии, не оборвутся ли дипломатические отношения между двумя странами, не смогут ли блокировать посольство, и так далее. Но Маламут стоял на своем: «посольство или ничего». Я присоединился к нему. Затем возник вопрос — заезжать ли за Яной домой или бросить ей письмо в форточку? В этом письме я просил бы ее подойти в определенный день и час к Собачьей Площадке. Там должна была стоять машина с таким-то номером. Яна не знала, что машина американская. Когда она садилась в машину, ее везли в посольство и по пути объясняли, в чем дело. Затем в газеты можно было дать сокращенную версию о том, что она села в иностранную машину и попросила политического убежища. Все эти варианты обсуждались с такой страстностью и такими деталями,

что мне все более становилось ясно: они действительно поставили себе задачу — спасти мою семью. Я продиктовал им подробное описание моего дома в Москве, подходов к нему и образа жизни Яны, час за часом. Затем от обсуждения технических проблем перешли к проблемам стратегическим. Возник вопрос: как сделать, чтобы Яну не обвинили в сотрудничестве с иностранными разведками? Как объяснить общественному мнению мира, откуда она узнала об американской машине, или откуда американский посол узнал о существовании Яны. Получается своеобразный заколдованный круг: я не хотел выступать перед прессой до того, как Яна была бы уже в посольстве, а Яну нельзя было брать в посольство до той поры, пока не было официальных сведений о моем появлении на Западе.

Все эти вопросы получили свое окончательное разрешение во вторник. В этот день прилетел из Вашингтона специальный уполномоченный Государственного Департамента мистер X. Он заявил, что приехал в Германию специально для руководства спасением моей семьи и рассказал о плане, разработанном в Вашингтоне.

После согласования с высшими инстанциями американского государства, было официально разрешено пригласить мою жену в американское посольство в Москве, чтобы предложить ей там политическое убежище. Для того, чтобы избежать обвинения моей жены в шпионаже, к ней домой должны были приехать корреспонденты американской прессы в Москве. Для них организовывался специальный предлог для посещения моей квартиры. Делалось это следующим образом: Я записываю на пленку краткое обращение к мировому общественному мнению. В нем обрисовываю в общих чертах моральную проблему возникшую перед Яной и мной. Рассказываю о решении, принятом нами. Причем, вставляю в текст несколько подлинных слов Яны и моих, которые известны только нам обоим. В первые строчки своего обращения я включаю точный адрес нашей московской квартиры.

В четверг, 21 апреля, то есть через два дня, в Бонне созывается пресс-конференция. Созывает ее американский Верховный Комиссар и приглашает всех коррес-

пондентов, аккредитованных в Бонне. Однако причина и тема пресс-конференции хранятся в абсолютном секрете до момента ее открытия. Несмотря на то, что обычно такие пресс-конференции назначаются на утро, в этот раз Госдепартамент решил установить время начала в 14 часов. Причину мистер X. объяснил так: в расписании Яниного дня я указал московское время 16 часов, как час, когда Яна всегда кормит Алюшку обедом. А весь план и заключался именно в том, чтобы в момент начала пресс-конференции Яна была бы дома.

В 13.45 по боннскому времени радиостанции Голоса Америки начинали передавать мое обращение, записанное на пленку. Одновременно, в Москве, в американском посольстве, у радиоаппарата сидели заранее предупрежденные корреспонденты. Как только по радио передавался адрес моей квартиры, а это произошло бы в первые же секунды, корреспонденты получали легальное право ринуться к моей квартире, чтобы «интервьюировать» Яну. Внизу уже стояли бы заведенные машины. Через пять минут они были бы у дверей нашей квартиры в Кривоникольском переулке.

— А если корреспонденты не ринутся? — спросил я.

— Ну, кое-кому из них можно и приказать. Заранее, конечно, — вмешался присутствовавший полковник американской разведки. Он посмотрел вопросительно на англичан, как бы ожидая, что они согласятся с ним, но те промолчали. Мистер X. продолжал развивать план:

Корреспонденты скажут моей жене, что я выступаю по радио. Они предложат ей послушать мой голос в американском посольстве. Можно так составить текст их обращения к моей жене, что она поймет необходимость пойти в посольство. Поскольку Голос Америки будет передавать мою запись на пленке каждые пятнадцать минут в течение нескольких часов, то Яна наверняка услышит мой голос. Слова, известные только нам двоим, докажут ей, что это действительно говорю я. В то же время эти фразы послужат своеобразным сигналом, что она должна рассказать прессе все, что могло бы подтвердить мои слова.

Я же, на всякий случай, проводя пресс-конференцию в Бонне, должен буду обратиться к корреспонден-

там с просьбой позвонить в Москву и попросить своих коллег там, съездить на квартиру к моей жене и взять у нее интервью. Как бы фантастически это ни прозвучало для общественного мнения, мы выигрываем еще один официальный предлог для объяснения, почему иностранные корреспонденты появились у дверей нашей квартиры в Москве.

После этого Яна остается в посольстве и мы начинаем мобилизовывать общественное мнение в ее защиту. Американское государство обязуется держать Яну «до победного» в посольстве.

Мистер X. замолчал, а потом, как бы вспомнив что-то, добавил:

— Все это мы гарантируем вам только в том случае, если корреспонденты застанут вашу жену дома. Они, конечно, будут ждать или искать ее. Но, если какими-нибудь путями секретная полиция Советов уже знает о вашем переходе и арестовала вашу семью, мы уже ничего не сможем сделать. Но и в этом случае лучше привлечь внимание всего мира к вашей жене. Ей это только сможет помочь. В конце концов, ее судьба решает в какой-то степени моральный облик советского правительства. Они должны об этом беспокоиться.

Все звучало довольно логично. И, судя по деталям, в Вашингтоне отнеслись к плану серьезно. Одно обстоятельство смущало меня: что я должен был выступать на пресс-конференции не зная, в посольстве ли уже Яна. Я сказал, что мне нужно посоветоваться об этом с НТС.

— Мы не сумели связаться с ними сегодня. Можно устроить встречу завтра. Но, вообще-то мы все время держим их в курсе того, что происходит с вами.

Я согласился на план, добавив, что резервирую себе право внести поправки в него или даже отказаться после разговора с представителями НТС.

— Это ваше полное право, — сказал мистер X. — Только учтите, что мы уже отправили телеграмму в Москву с подробным планом, включая ваши данные о квартире и доме. Они там все готовят. Ваши поправки и окончательное согласие скажите нам не позже чем в ночь под четверг, чтобы мы успели, в крайнем случае, остановить наших людей в Москве.

Условились, что утром я встречусь с Околовичем, а затем поеду вместе с Маламутом в радиостудию Голоса Америки, для записи обращения по радио. Возник вопрос, что я буду говорить на пресс-конференции.

— Как можно меньше — попросил я.

Американцы согласились и сказали, что будут составлены пресс-релизы, в начале конференции выступит Верховный Комиссар и от его имени будет рассказана моя история. Я же ограничусь только ответами на вопросы.

— Переводить на английский будет господин Маламут, — сказал мистер X. — А по-немецки будете говорить сами?

Я решил отвечать и по-немецки через переводчика, чтобы иметь больше времени для обдумывания.

Потом все разъехались. Я принялся за текст обращения. Под вечер раздался телефонный звонок. Меня позвали к телефону. Я с удивлением узнал голос Околовича. Когда-то я дал ему номер, списанный мною с таблички на телефонном аппарате охотничьего домика, но до сих пор он мне не звонил.

— Николай Евгеньевич? — спросил Околович. — Я вот почему вам звоню. Хочу сказать, что мы не видимся с вами совсем не потому, что мы этого не хотим. Вы меня понимаете? Если мы вам нужны, то требуется нажим с вашей стороны.

— Да, да, — ответил я. — Уже все сделано. Завтра утром они привезут вас сюда.

— Это точно? — переспросил Околович.

— Во всяком случае мне так обещали.

— Тогда возьмите лучше наш номер телефона. Говорить по этому телефону я много не могу.

Я записал. Околович повесил трубку. Он был прав. Если американцы пытаются изолировать меня от НТС, то нам лучше обсудить это при встрече.

Мне не удалось увидеть Околовича ни в среду утром, ни в среду днем. Американцы заявили, что студия у них свободна, в основном, утром, и я должен немедленно туда ехать. Из студии я позвонил Околовичу и перенес встречу на четыре часа. Стали записывать обращение. Потом вдруг перегорела лампа. За ней приш-

лось почему-то ехать в город. Мы с Маламутом ждали в студии. В половина четвертого я позвонил Околовичу о задержке. Он сказал, что ждет и не сдается, будет ждать хоть до поздней ночи. Его шутка оправдалась. Запись была закончена только в десятом часу вечера. Маламут хотел сразу же ехать с текстом обращения в Бонн, но я просил его проехать вместе со мной в охотничий домик и дать мне возможность снять копию для НТС. Без проверки текста Околовичем я не хотел решаться на конференцию. Мы вернулись в домик. Внизу нас уже ждали американцы и англичане. Предстояло обсудить технические детали завтрашней конференции. Я попросил дать мне еще полчаса на снятие копии. Мы поднялись в мою комнату. Маламут стал диктовать, я — печатать. Когда мы дошли до рассказа о поручении мне операции «Рейн», я вдруг остановился. «Взрывчатость» того, что мы собирались делать, вдруг стала мне особенно ясна.

— Чарльз Львович, — спросил я Маламута. — Вы не думаете, что я не должен бы идти на эту конференцию, не получив абсолютных гарантий, что к моей семье в Москве пойдут?

— Мне трудно вам сказать что-либо. Я здесь на официальном положении. Но, совсем между нами, — в ваших словах много правды.

В этот момент в комнату вошел англичанин.

— У вас еще надолго? — спросил он.

— Знаете что, — сказал я, — не могли бы вы сказать американцам, что я даю им свое окончательное согласие, но с одним условием: мне дают абсолютную гарантию, что мою семью в Москве обязательно пригласят в посольство.

— Я не знаю, — сказал он нейтрально и исчез.

Я уже перепечатал обращение, когда англичанин снова пришел.

— Я говорил с ними, — сказал он. — Они звонили в центр. Там сказали, что, конечно, дают гарантию. Не понимают, почему вы беспокоитесь. Вам уже гарантировали это на днях. Только одно невозможно: сообщить из Москвы о разговоре с вашей женой до того, как вы начнете пресс-конференцию. Практически невозможно.

— Этого я не требую. Мне достаточно честного слова американского правительства, — сказал я.

— Там приехали ваши друзья. Господин Околович и другие, — невозмутимо продолжал англичанин. Они ждут вас.

Маламут распрощался и уехал. Внизу, за длинным столом сидели Околович, его друг — представитель НТС, американцы, англичане. Я передал Георгию Сергеевичу текст моего обращения по радио. Он прочитал внимательно и передал своему товарищу.

— Ну, как? Согласны? — спросил я Околовича.

Он пожал плечами:

— По-моему — все в порядке. Но деталей-то я не знаю. Трудно сказать окончательно.

Стали обсуждать план пресс-конференции. Выяснилось, что пресс-релизы уже готовы. Я спросил, почему мне их не показали.

— Да их составляли у нас лучшие специалисты, — ответил полковник американской разведки. — Вы не беспокойтесь. Ошибок не будет.

Но я потребовал, чтобы пресс-релизы мне были показаны. За ними поехали в город. Часа полтора мы обсуждали техническую сторону пресс-конференции. Выступать ли Околовичу, нужно ли заявление НТС, точное время, когда начинать радиопередачи Голоса Америки. Какая может быть реакция в Москве. Американцы говорили обо всем подробно, но только в вопроссе московской операции были несколько сдержаны. Я понимал, что это их личное дело и не настаивал.

В половине второго ночи привезли пресс-релизы. Я открыл первую страницу и прочитал:

— «Н. Е. Хохлов родился в небольшой деревушке под Москвой под названием Горький» . . .

Поднялся громовой хохот. Хохотали мы трое: Околович, его друг и я. Остальные смотрели на нас с недоумевающими улыбками. Я читал дальше:

— «его жена активный враг советской власти . . .»

Мы окаменели. Даже американцам стало неудобно.

— Покажите. Не может быть! — сказал полковник. — Нет, правильно, так и написано. Что за идиоты! Я говорил вам, что ему нужно сначала показать материалы!

Последние слова относились к одному, уже три дня присутствующему на совещаниях, «эксперту». Тот поморщился:

— Да, нехорошо получилось. Но это мы вырежем...

Вырезать, однако, пришлось очень многое. Пробный экземпляр «пресс-релизов» превратился в некрасивую лапшу. Ошибок, несуразностей и заявлений, опасных для моей семьи, в тексте оказалось несметное количество.

— Скажите, — спросил я американцев с серьезной тревогой. — А не могут ли и в Москве так же сработать? Вместо посольства отвезут мою семью куда-нибудь в совсем другое место и все провалят?

Вмешался американец, которого я видел в первый раз. Он несколько часов тому назад прилетел из Вашингтона.

— Нет, нет. В Москве не подведут. Мы им отправили длиннейшую телеграмму со всеми деталями. И сегодня утром еще раз послали напоминание.

— Не хватит ли совещаться? — спросил англичанин. — Завтра Николаю Евгеньевичу держать такой бой . . .

Стали расходиться. Я подошел к Околовичу:

— Ну, как, Георгий Сергеевич, — одобряете?

— А я ведь всех подробностей так и не знаю. Но, по-видимому, у вас никакого другого выхода нет. Что-то надо же делать. Будем надеяться на американцев и на судьбу.

21-го апреля был Великий Четверг православной Страстной недели. Я вспомнил об этом только днем, когда мы уже переезжали Рейн на пароме. Хорошо это или плохо? Четверг Страстной недели. Не знаю. Теперь уже поздно об этом думать. Завертелись колеса гигантской машины. В Бонне десятки корреспондентов получили приглашение на конференцию. В Москве кто-то сидит у радиоаппарата и ждет первых слов моего обращения. Люди Госдепартамента США дежурят у телеграфных аппаратов, чтобы принять первые же вести из Москвы. Так, во всяком случае, видел я все это.

В Бонне была солнечная жаркая погода. Около белых корпусов американского военного городка меня встретил мистер X. с группой незнакомых американцев.

— Ник?! — крикнул он мне и подошел поближе. — В Москве все о-кей.

Он показал мне, традиционным жестом, указательный и большой пальцы левой руки, сложенные в кольцо. Я понял этот жест так, что из Москвы получено подтверждение о готовности провести операцию. На душе у меня стало легче. Значит американцы выполнили свою часть дела. Теперь действительно нужно полагаться только на судьбу.

В два часа открылась конференция. Я ждал в одном из соседних зал. Маламут сидел рядом со мной и пытался скрыть свое волнение. Он протянул мне большую фотографию Яны:

— Напишите свой автограф, Николай.

— Потом, Чарльз Львович, — сказал я. — Лучше потом. Когда получим известие, что они спасены.

Пришел один из американских разведчиков и сказал, что по Голосу Америки уже идет моя пленка. Верховный Комиссар начал говорить. Через полчаса меня позвали в зал. В пустых коридорах у стен стояли часовые в яркой морской форме с позументами и цветными лампасами. Из двери в зал вырвался гул, как из пчелиного улья. Кто-то сказал звонко несколько слов. Может быть, мою фамилию. Настала тишина. Двери открылись. Охранники окружили меня и я шагнул вперед. Вспышки ламп, жужжание кино-камер и щелканье аппаратов понеслись мне навстречу. Зал был небольшим. На длинном столе, отделявшем меня от аудитории, стояли в ряд микрофоны. Верховный Комиссар начал что-то говорить по-английски и я понял, что в зале не было усилителя. Все микрофоны вели к звукозаписывателям. Комиссар замолчал и наступила тишина. Я ждал, что мне будут задавать вопросы. С левой стороны от меня сидел Маламут, справа — немецкий переводчик.

— Начинайте, — шепнул кто-то сзади нас.

Никто ничего не начинал. В первом ряду слева я увидел Околовича, Поремского и их друзей. Фотографы

сидели прямо на полу целясь в меня громадными аппаратами. В углах стоял лес кино-камер и прожекторов.

— Да начинайте же, — взмолился кто-то сзади нас.

— Что начинать? — бросил я через плечо. — Кому начинать?

— Да вам, конечно. Речь начинайте. Вашу речь. Обращение к прессе.

Я повернулся. Сзади смотрели на меня несколько пар незнакомых глаз. Ни мистера X., ни американских разведчиков не было видно. Доказывать этим незнакомцам, что я по плану должен был только отвечать на вопросы было невозможно. На меня смотрели глаза кинокамер, фотоаппаратов, глаза корреспондентов, глаза, практически, всего мира. Я подумал, что придется повторить в краткой форме свое обращение, записанное для Голоса Америки.

Едва я произнес первую фразу, с задних рядов закричали: «громче, громче!». Я стал говорить громче, но сразу потерял естественность. Маламут так волновался, что никак не мог понять в первые несколько секунд, что я именно сказал. Пришлось повторить вполголоса. Немец-переводчик тоже поддался общей нервности и все перепутал. Я остановил его и поправил на немецком языке. В таком духе конференция продолжалась еще полчаса. Кое-как закончив пересказ своего обращения, я попросил, согласно плану, корреспондентов позвонить в Москву их коллегам. Был объявлен перерыв. Снова налетели фотографы. Один из них втиснул мне в руку гигантскую фотографию Яны.

— Подымите выше — попросил он.

Я подумал, что он хочет скопировать фотографию, но когда блеснула вспышка вдруг понял, что меня сняли вместе с карточкой в дешевом театральном жесте.

— Еще раз, — попросил фотограф, — и выше, выше фотографию! Покажите рукой на ее лицо.

Я отрицательно покачал головой и положил фотографию на стол. Потом я должен был произносить на немецком языке, тоже экспромтом, перед кинокамерой и микрофоном обращение к немецкой прессе.

— Несколько слов для радиостанции Свободная Европа, — попросил кто-то сбоку.

— Скажите что-нибудь и сюда, в этот микрофон, — говорили какие-то другие голоса.

Я говорил, перетасовывая фразы из все того же накануне разработанного обращения для Голоса Америки. Потом подошел Околович.

— Пожмите руки, — попросил кто-то.

Мы подали друг другу руку. Опять засверкали вспышки. Мне становилось не по себе. Когда стали фотографировать бесшумное оружие разложенное на соседнем столе, ко мне подошла женщина в простеньком платье и шерстяном платке на голове.

— Я жена доктора Трушновича — сказала она. — Хочу поблагодарить вас за ваш поступок и искренне пожелать, чтобы ваша жена была спасена.

Я отошел с ней в сторону и проговорил весь перерыв. Потом меня позвали обратно за стол. Тут только я заметил, что зал был полупустым. Корреспонденты ушли в фойе звонить своим редакциям. Начались вопросы. Их было немного и оказались они довольно бледными. Видимо, западной прессе было не так уж легко уловить смысл истории с операцией «Рейн».

Конференция закончилась. Меня снова окружили охранники и провели сквозь задние двери к машине.

По дороге во Франкфурт я спросил у американцев, слышно ли что-нибудь из Москвы.

— Ну, что вы, — ответили они. Так быстро не придет. Может быть, только к вечеру.

Но ни к вечеру, ни на следующий день вестей из Москвы не пришло. Газеты многих стран сообщили о моей пресс-конференции на разных языках и в разном освещении. В освещении, соответствующем сообразительности репортеров и политической окраске газет. Фантастических вымыслов обо мне было очень много. Особенно винить корреспондентов было нельзя. Пресс-релизы после «поправок» превратились в такую сумбурную «лапшу», что разобраться в них было нелегко. Да и вся пресс-конференция прошла слишком нервно и слишком путанно. Но газет я особенно не читал. Меня интересовало только одно: что произошло в Москве?

Я знал, что Яна была дома. Одна из английских газет узнав адрес московской квартиры, где жила моя мать, позвонила туда прямо из Лондона. Разговор прои-

зошел типично для невероятной наивности западной прессы, не умеющей делать скидку на особые условия жизни граждан СССР. Телефонистка в Москве, видимо, проверив по списку № Б-3-91-95 и увидев, что телефон принадлежит сотруднику МВД — соединила. Ответила моя мать:

— Я слушаю ...

— Это кто говорит? Мать капитана Хохлова?

Сотрудник лондонской газеты очень чисто говорил на русском языке.

— Да ... я ... — ответила мама. — Но кто это говорит?

— Одна из лондонских газет. Я говорю из Лондона.

— Из Лондона? — удивилась мама. — Что вам нужно?

В голосе ее уже слышалась тревога.

— Ваш сын сделал сегодня заявление на пресс-конференции в Бонне. Он перешел к американцам ...

— Подождите, — прервала его мама. — Я не понимаю, чего вы от меня хотите ...

— Я хочу спросить у вас, что из того, что говорил ваш сын — правда ...

По описанию газеты, в этом месте в голосе моей мамы прозвучало возмущение:

— Я вас не понимаю, не знаю кто вы, и не хочу больше с вами разговаривать.

И трубка в Москве была брошена.

По деталям разговора я понял, что это действительно была моя мать. Значит МВД еще ничего не знало. Мой телефон не был под наблюдением. И значит Яна в своей квартире тоже была дома.

Но из Москвы ничего не приходило. Тем временем западная пресса, опубликовав запутанные отчеты о моей пресс-конференции, стала задавать логический вопрос: почему я рассказал о своей жене и выдал ее тем самым МВД?

В пятницу ко мне в охотничий домик приехали американцы, англичане и представители НТС. Они заяви-

ли, что мне надо дать какое-то объяснение по этому вопросу.

Я сказал было, что надо бы раскрыть правду. Мне возразили: «Ни в коем случае! Ваша жена сидит, наверное, сейчас в американском посольстве в Москве. Одно ваше неосторожное слово и ее могут обвинить в шпионаже. Да, Москва молчит. Но это, может быть, и хороший знак. Советское правительство могло блокировать связь с Москвой из-за вашей жены».

Пришлось составить туманное и неясное «объяснение». Оно было правдой. Но, отражая мое собственное душевное смятение, оно не объясняло истинных причин случившегося.

Я продолжал ждать вестей из Москвы. Меня пригласили в Лондон, чтобы выступить перед общественностью Англии и заставить этим советское правительство оборвать молчание. Я прилетел в Лондон и записал интервью для Би-би-си. Тем временем в Германии Верховный Комиссар США направил советскому правительству дипломатическую ноту с требованием выпустить мою семью за границу. Москва упорно молчала. Шел день за днем. Часами я сидел у радио-монитора слушая не появится ли в московском радио что-либо о Яне. Ночью мне снились тяжелые сны. В них я шел по душной Москве. Несмотря на жару, улицы были покрыты снегом. Я знал, что все это мне снится, но старался так идти, чтобы добраться до нашей квартиры и хотя бы заглянуть в окно. Но за несколько метров до дома всегда просыпался. И потом опять: жара, снег, и мои отчаянные попытки дойти до окна квартиры.

И вот, однажды, пришел американец, тот самый, который прилетел из Вашингтона с заверениями, что в Москве все будет «о-кей». Он старался не смотреть на меня и я понял, что вести плохие.

— К вашей семье в Москве никто не пошел, — очень просто сказал он.

— Что?! — почти вскрикнул я.

— Да, — ответил он с каменным лицом. — Никто не пошел. Не знаю почему. Похоже, что в последний момент они струсили . . .

Я так никогда и не узнал, что произошло в Москве. Было ясно одно: к моей семье никто не пришел. Сотрудникам американского посольства в Москве была настолько безразлична судьба русской женщины и ребенка, что они не только не потрудились пойти к моей квартире, но даже не послали ответную телеграмму, что ничего не могут сделать. Прийди такая телеграмма — мы успели бы еще отменить конференцию. «А» оказался неправ: среди американских чиновников нашлись «людоеды».

Что-то сломалось во мне. Я машинально двигался, что-то говорил, делал, но мне было все безразлично. Безразлично, что со мной будут делать, куда повезут и о чем со мной разговаривают. Один только раз я вышел из апатии. Тогда, когда мне предложили лететь в Америку и поселиться там. Я категорически отказался. Тогда они стали доказывать, что нельзя сдаваться и семью нужно теперь держать в центре общественного внимания, иначе МВД их уничтожит. В Америке я должен принять участие в разворачивающейся кампании по защите моей семьи. Остатками сил я понял, что обязан сделать и это.

6-го мая военный самолет американской авиации был вызван из Франкфурта в Лондон. Он взял меня в Лондоне вместе с немногочисленными спутниками на борт и понес в направлении на Запад.

В самолете было пусто. Лишь одна задняя левая четвертушка гигантской кабины была занята креслами. Вместе со мной летели два охранника и офицер американской разведки.

Офицер отломил банан от гирлянды висевшей в углу и подсел ко мне:

— Послушайте, Ник, — заговорил он. — Я знаю, что вам тяжело. Но и нам тоже. Мы знаем, что виноваты. Но нельзя ни сдаваться, ни падать духом. Ваша жена стала теперь символом. О ней знает целый мир. Борьба за нее только начинается. Уничтожить ее не могут. А то из-за чего вы пришли ведь осталось. Вам нужно только суметь зачеркнуть свое прошлое. Америку называют — «Новым Светом». Попробуйте пред-

ставить себе, что вы летите в Новый Свет. Начните жизнь сначала. Мы вам поможем в этом . . .

Я смотрел на волны облаков под самолетом. Не буду ему возражать . . . Какая мне разница? . . Пусть говорит, что хочет . . . Если бы он сказал, что мы переменили курс и летим не в Америку, а на Огненную Землю, мне было бы также все равно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На серой казенного цвета стене, под портретом Елизаветы Второй, висят гербы канадских провинций. Что-то в деталях их рисунка заставляет вспомнить Джека Лондона: леса, засыпанные снегом... нарты с упряжкой собак... меховые капюшоны над выдубленными морозом лицами золотоискателей...

Сзади меня топчется нетерпеливая очередь пассажиров. На коротком пути от самолета до вестибюля аэропорта нас уже успел проморозить ветер. Я иду дальше, вглубь зала ожидания.

Голубоватый свет флуоресцирующих ламп. Изломанная линия диванов и кресел сверкает никелированными брусьями. Гигантские фотопанели по стенам рассказывают о машинной и транспортной мощи сегодняшней Канады, — Канады тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. На другом конце зала, за белым прилавком бара суетятся официантки. Мне к бару ходить нечего. Свои деньги я обменял при отлете из Нью-Йорка на французские франки. Чаю после морозного ветра я выпил бы, но в Гандере обменной конторы нет. Может быть, потому что в этом канадском аэропорте, расположенном на самом краю северо-американского побережья, самолеты задерживаются не надолго — лишь для того, чтобы набрать горючего.

Над витриной с цветными фотографиями канадских городов висит несколько электрических часов. Время в столицах мира. Я опускаюсь в кресло. По ча-

сам можно проследить, как сюда, к американскому континенту движется по земле новый день — двадцать первое ноября. Здесь половина двенадцатого ночи. В Париже — четыре часа утра. В Москве — половина восьмого. А где-то дальше на восток, в каком-нибудь сибирском городке или селе, дорогие мне люди прожили уже почти половину тысяча триста двадцать третьего дня нашей разлуки . . . Почти три года.

Почти три года прошло с тех пор, как я в последний раз был на родине.

Откуда-то из-под потолка доносится щелчок и голос диспетчера объявляет, что самолет авиалинии «Ти-Даблью-Эй», следующий рейсовым полетом в Париж, задержится на полчаса из-за починки системы отопления кабины. Это мой самолет. Для меня, лично, задержка безразлична. Прилечу в Париж в шесть или семь часов утра — какая разница?

Два с половиной года тому назад я в первый раз прилетел сюда в Гандер, на пути из Англии в США. Тогда этот аэродром не выглядел еще таким благоустроенным и блестящим. А может быть, я просто плохо помню. В те дни мне было не до наблюдательности. Я был раздавлен событиями, уничтожен ими. В Гандере нам пришлось переночевать. Утром шестого мая мы перелетели в США, в Вашингтон.

Я знал, что был приглашен в Америку Федеральным Правительством, и прибывал в США как гость, для дачи показаний по делу моей семьи, оставшейся в руках советского правительства.

И вот прошло два с половиной года. Я снова в Гандере. На пути в Европу. Я лечу туда по собственной воле, и ничто не может удержать меня от этого.

В кармане у меня бумаги, в которых подтверждается, что Конгресс США принял в августе 1956 года специальный закон, дающий мне право постоянного проживания в Америке. Согласно этому закону американское государство предоставляет мне человеческие права, которые составляют основу американской конституции.

Я знаю, что обязан своей свободой и независимостью простым людям Америки. Когда такие слова попадаются в газетах, их читают бегло, как необходи-

мое приложение политической демагогии. Но для меня, действительно, именно поддержка тысяч рядовых американцев дала возможность снова найти смысл в жизни.

Весной 1954 года, после крушения всего и вся, в моей душе остались лишь хаос и боль.

Сотрудники службы американской разведки стремились показать мне, что жизнь моя не кончена, что на Западе для меня есть богатое и светлое будущее, что для этого мне нужно только «окончательно порвать с прошлым» и найти в Америке новую родину. В отношении ко мне офицеров разведки было подчас много искренности и настоящего человеческого участия. Но они не понимали одного: что я не мог «порвать с прошлым», что в отличие от тех, кто «выбрал свободу» ради личного благополучия или безопасности, я «выбрал борьбу» ради свободы родины и моей семьи.

Голос диспетчера аэровокзала обрывает мои воспоминания. Самолет линии «Ти-Даблью-Эй» задержится в Гандере еще на час. Починка отопления, видимо, не ладится. Я устраиваюсь поглубже в кресле и возвращаюсь к своим мыслям.

Да... Вот эта самая проблема: почему и во имя чего я появился на Западе?

Когда сначала в феврале, а потом в апреле 1954 года рухнули одна за другой мои надежды, я готов был осудить многих. Американскую разведку — за близорукость и косность, НТС — за «нерешительность», Запад — за бессилие в борьбе с коммунизмом, прессу, радио и телевидение — за искажение моей «истории»... Но не был ли и я сам виноват во многом из того, что случилось? Сегодня я должен сказать себе трезво и честно: да, вина лежит и на мне самом.

Когда я был уже в руках американской разведки, мои внутренние колебания, приводившие иногда даже к внешней противоречивости отдельных поступков и слов, не могли ли дать окружавшим меня людям возможность подумать, что я мог бы «зачеркнуть прошлое» и заняться поисками «новой родины»?

Сегодня я знаю, что окончательной готовности пойти на это у меня, в действительности, не было. Что-то более сильное, чем любые колебания, приковывало

меня к пути, на который я вступил в Москве тринадцатого января 1954 года.

Тот факт, что с этого пути я не могу свернуть, стал для меня особенно ясным в Америке.

Через несколько дней после прилета в Вашингтон меня вызвали в Сенат. Не удовлетворившись рапортом службы американской разведки, он хотел сам в беседе «с глазу на глаз», спросить у меня: — «Что же в самом деле случилось с вами? Как вы попали сюда и зачем?»

Начались секретные заседания сенатской комиссии, производившей опрос меня. Я рассказал историю своего разрыва с коммунистической идеологией, подчеркнул то обстоятельство, что пришел на Запад не в поисках политического убежища, а с целью примкнуть к русской революционной организации. Сенат решил устроить открытое заседание с прессой и телевидением, чтобы дать мне возможность обратиться к американскому народу с просьбой помочь спасти мою семью.

Однако служба американской разведки вновь настаивала, чтобы я умолчал об истории с посольством. Они считали, что откровенный рассказ о «московском плане» отрежет мне дальнейшие пути по спасению семьи. Я поверил им еще раз. 21 мая, на открытом заседании сенатской комиссии, я снова обратился к американскому народу с просьбой защитить мою семью, и снова миллионы людей задали себе тот же странный, неотвеченный вопрос: — «почему Хохлов рассказывает о своей семье так открыто?»

Именно в те дни я окончательно понял, что нельзя надеяться на широкую помощь общественности моей семье, если не раскрыть историю с посольством.

2 июня 1954 г. мировая пресса сообщила из Москвы, что моя семья исчезла из нашей квартиры в Кривоникольском переулке. Это сообщение никогда не было как следует проверено, но всем было и так ясно, что Яна попала в руки МВД. Теперь судьба моей семьи решалась реакцией общественного мнения мира на нашу с Яной историю.

После боннской пресс-конференции нашлись тысячи людей, которые поверили в Яну. Они поверили потому, что хотели поверить в силу души и совести. На противоположном полюсе оказались другие — те, кто

не смог поверить из-за собственной душевной убогости. Нашлись, конечно, и такие, которым было приказано не поверить. Эти стали усердно бросать камнями и грязью и в Яну, и в меня, и вообще во всех советских людей.

Но между этими полюсами были миллионы читателей западных газет и слушателей западного радио, которые не могли еще разобраться, что именно правдоподобно в моей истории, а что перепутано, искажено или скрыто. В числе этих людей были и советские граждане на территории СССР. Западные радиостанции в течение многих недель передавали на советскую территорию материалы, взятые из моих заявлений прессе в Бонне. Самым непонятным и неправдоподобным для этих людей было то, что я «рассказал о своей жене МВД». И они были правы в своих сомнениях.

Им я был обязан ответить, как можно скорее и как можно точнее.

Летом и осенью 1954 года я работал над статьями для американского еженедельника «Сатердей Ивнинг Пост». Сначала я диктовал их по-русски на магнитофон и сотрудник журнала получал английский перевод. Потом мои знания английского продвинулись и я смог самостоятельно корректировать текст. Из пятисот надиктованных мною страниц, журнал выбрал 160 наиболее, по его мнению, интересных. Мне удалось включить в последнюю статью рассказ о плане спасения моей семьи. Правда, пришлось пойти на компромисс. Слово «посольство» было всюду вычеркнуто и точные формулировки затуманены. Я не отчаивался. Статьи были только началом моей борьбы.

Они вышли в ноябре. Их прочитали миллионы американцев. Потом журналы в Греции, Италии, Бельгии, Швеции, Англии, Франции, Швейцарии, в некоторых странах Азии и Южной Америки перевели эти статьи на свои языки и рассказали читателям в сжатом, но неискаженном на этот раз, виде, историю отмены Яной приказа ЦК КПСС об убийстве.

Статьи принесли изменение и в мою личную жизнь. Поскольку официально я был гостем американского правительства, то в Вашингтоне мне был предоставлен в пользование дом и бесплатный стол. Тогда мои личные расходы были минимальны. Теперь я смог, полу-

чив гонорар от публикаций статей, отказаться от государственной квартиры и стола. Расплатившись с долгами, я переехал в Нью-Йорк.

С ноября этого же года я начал поездки по городам Америки, рассказывая о русском народе и его борьбе против коммунистической власти. Я читал эти лекции без переводчика, по-английски. Несмотря на мой сильный акцент и хромающую грамматику, слушатели понимали меня. Понимали потому, что те самые причины, которые заставили нас с Яной жить по совести, были этим слушателям близки и понятны. Рассказывая о роли Яны во всем происшедшем, я мог немедленно пояснять, как случилось, что эта роль была раскрыта миру.

Неожиданно для меня, эти встречи с тысячами простых людей Америки оказались поворотным пунктом в моей собственной жизни.

Именно эти встречи вылечили меня от шока катастрофы, показали ясно и недвусмысленно, ради кого идет в мире борьба с коммунизмом и кто, в действительности, составляет армию настоящих борцов против этой бесчеловечной системы.

Советская пропаганда утверждает, что правительственные круги и государственные учреждения Америки якобы тверды и бескомпромиссны в своем «безумном желании уничтожить коммунизм». А вот, дескать, «простые люди Америки» душой и сердцем согласны с принципами советской системы.

В действительности же дело обстоит иначе. Некоторые правительственные круги и государственные учреждения, ослабляемые внутренними политическими противоречиями, ведомственными интригами и сталкивающимися интересами всяких группировок, не всегда могут свободно и успешно бороться с коммунизмом. В этой среде распространена «умышленная слепота и глухота». Люди притворяются слепыми и глухими, потому что те или иные интересы не разрешают им смотреть правде в глаза. Многие из тех, кто вообще и хотел бы уничтожения коммунизма, сами слишком близки к материалистическому мировоззрению и не могут занести руку на марксизм. Другие готовы подсчитывать пушки, самолеты и военные базы, но вести разговор о праве на совесть, о голосе души и сердца им не позволя-

ет их слишком солидное и «серьезное» служебное положение. Ведь западный прагматизм, пронизывающий некоторые общественные и правительственные сферы, признает реальным и существующим лишь то, что можно поставить в колонки цифр или назвать «фактом».

И кроме того, — рядом с правительственными кругами и некоторыми государственными учреждениями живет и действует армия «экспертов по русскому вопросу».

Когда лилипутам удалось связать спящего Гулливера веревками, они вытащили содержимое его карманов и тщательно изучили. В числе других вещей оказались и часы. Лилипутские «эксперты» составили подробное и точное описание часового механизма. Было подсчитано число колес и зубцов, установлены размеры стрелок и скорость их вращения. Произведен анализ металла и краски на циферблате. Короче — ничто не укрылось от зоркого и тренированного глаза «ученых». Но в их докладе отсутствовало одно: для чего существуют часы и почему они тикают. Это оказалось недоступным лилипутскому пониманию.

Большая часть армии западных «экспертов по русскому вопросу» удивительно походит на лилипутских ученых. За сорок лет существования советской власти они успели описать все ее зубцы на колесиках, измерить стрелки и установить состав краски на циферблате. Они не могут установить лишь одного: что движет советской властью и почему она продолжает «тикать»?

Многолетняя деятельность таких русских экспертов сказалась и на отношении рядового американца к русскому народу. Однако при личных встречах и беседах с простыми людьми Америки, я убедился, насколько легко рассеиваются эти предрассудки и как просто нам найти общий язык. Для большинства рядовых американцев понятия высших ценностей, нерушимых прав человека, совести и народных традиций оказались не менее вескими и убедительными, чем цифры и факты. Именно поэтому они слушали со вниманием и доверием мои рассказы о борьбе русского народа против коммунизма. Именно поэтому очень многие из них одобряли нашу борьбу и разделяли нашу веру в победу.

И было ли это в университете Аризоны или про-

мышленном городе Питтсбурге, было ли это в известном «пролетариатом» Чикаго или в бастующем против фабрикантов рабочем поселке Колер, было ли это в приморском курорте Флориды или женском клубе Лос-Анжелеса, в городском ли театре Сан-Франциско или студенческом клубе Род-Айланд, в голливудском ресторане «Браун-Дерби» или в рекреационном зале христианского колледжа Колумбии — всюду, среди этих тысяч американцев, находились те, кто сразу, в кредит, всем сердцем и душой, отзывались на трагедию русского народа и верили в его несломленную духовную силу. Эти люди стали для меня символом настоящей Америки. Я понял внезапно, что можно бороться с коммунизмом через головы равнодушных мещан и циничных дельцов, понял, что простые люди России и Америки поразительно одинаковы в своей внутренней решимости отстаивать права и достоинство Человека, те самые права, во имя которых Яна отменила приказ КПСС.

Я увидел ясно и реально, что борьба против советской власти универсальна, общечеловечна и что гарантия ее победы лежит именно в том унисоне душ и сердец простых людей всего мира, который я нашел, встретившись с американским народом.

И это вернуло меня к жизни, придало ей снова смысл и цель, показало, что я обязан занять свое место в революционной борьбе.

Тогда же я начал писать книгу. Я понял, что все случившееся со мной должно было произойти именно так, как произошло. Путь, который привел меня к разрыву с советской властью, был не исключением — он был логичным и естественным для каждого честного человека. Свою книгу я писал для соотечественников — советских граждан, которые неминуемо должны были придти, если уже не пришли к тому же самому перекрестку, перед которым оказались мы с Яной. Встречи с рядовыми американцами дали мне надежду, что наша с Яной трагедия будет понята миллионами простых людей и вне границ Советского Союза.

Летели месяцы. Вернуться в Европу я не мог. Десятки трудностей и технических препятствий тормозили оформление моего иммигрантского статуса. Я про-

должал поездки с лекциями по Америке, писал статьи по анализу положения в Советском Союзе, стараясь лишний раз сказать американскому народу, что в России уже началась духовная антикоммунистическая Революция.

Пришла осень 1956 года грянули венгерские события, насмерть поразившие коммунизм. Волею судьбы, как раз в те недели, я получил на руки свои первые иммигрантские документы. И тут же, немедленно, заказал билет на самолет.

И вот, сегодня я в Гандере, завтра буду во Франции, потом — в Германии на том участке борьбы, который окажется необходимым.

Я остался на том же пути, на который вступил тринадцатого января 1954 года в Москве.

Диспетчер объявляет о посадке на наш самолет. Все тот же резкий, морозный ветер носится по полю. Пригнувшись, держась за трос, мы пробираемся к самолету. Потом нас пересчитывают, завинчивают люк и в кабине водворяется спокойное тепло. Ревут моторы, цветные огни за окном сливаются в полосы и над самой кромкой воды мы отрываемся в воздух.

Призрачной тенью уплывают назад горы и остров. Далеко внизу остаются Гандер, Канада, американский материк. Мы над Атлантическим океаном.

Жаль ли мне покидать Америку? Жаль ли, что эта страна не стала для меня ни второй Родиной, ни мирным пристанищем?

Нет, Родина у меня одна и никакой другой быть не может. Не только потому, что в России сосредоточено все дорогое для меня, но и потому, что Россия сегодня та страна, где идет отчаянная, смертельная борьба Человека с коммунизмом. Миллионы русских уже отдали свою жизнь в этой борьбе. Другие миллионы находятся в концлагерях. Так же, как когда-то гитлеровская государственная машина захлебнулась в русской крови, так и машина советского государства погибнет волею и ценою жертв русских людей.

От такой Родины невозможно отречься. Такую Родину невозможно забыть.

Русский народ уже духовно победил коммунизм, как «философию». Еще немного и он победит коммунизм, как государственную систему. Как именно это случится — не знаю. Вооруженное восстание, стачка, переходящая в уличные бои, или переворот в каких-то правящих кругах, самороспуск компартии или гражданская война — все это будет лишь конечными, заключительными этапами Великой Российской Освободительной Революции. Самое важное в том, что эта Революция уже идет, и фронт ее проходит в сердцах людей. Ничто не может остановить распада бесчеловечной системы. Потому, что рушится она под ударами тех самых факторов, которые коммунисты пытались объявить несуществующими. Под ударами Совести, Чести, Человечности, верности моральным законам Вселенной.

В наш век, когда цинизм моден, эти факторы могут показаться иррациональными, незначительными по сравнению с государственной мощью советской системы. Но именно эти факторы движут миром. И в конечном счете они всегда оказываются сильнее рациональных, «материальных» сил.

Даже в такой холодно и точно рассчитанной операции, как план убийства Околовича, фактор Совести и Чести оказался сильнее всего аппарата советской разведки. Символика Яниного поступка лежит гораздо глубже, чем спасение человеческой жизни. Сегодня мне уже ясно, что масштабы того, что Судьба возложила на Яну, не измерить ни газетными строчками ни страницами книг. Смысл ее жертвы настолько важен для борьбы, охватившей сегодня все человечество, что нет сомнения в предопределенности случившегося. И сила образа Яны, подаренного Судьбой человечеству, именно в типичности и естественности того, что она совершила.

Миллионы других русских женщин принимали и принимают такие же решения, хотя бы и не в таких драматических обстоятельствах. Но цена их жертвы и смысл ее — те же. Тысячи этих женщин пошли на каторгу и даже на смерть по тем же самым причинам, по которым Яна взяла на себя свой крест. Ведь не одна Яна приняла свое решение. Оно было продиктовано ей

ее родителями, передавшими дочери свою духовную силу. Корни этого решения, этой душевной твердости скрыты в книгах Толстого, стихах Ахматовой, поэмах Блока, в Некрасовских образах жен декабристов... Все это, вместе с традициями русской семьи, принципами христианства, лучшими качествами русской души и создало ту силу, которая отменила приказ КПСС.

Да, конечно, важно и то, что весь мир еще раз услышал о том, что революционное движение порабощенных народов — главный враг советской власти. Как говорится в сказках о «кащеевой смерти»: живет злодей Кащей-Бессмертный, а где-то в хрустальном ларце хранится его смерть. И если открыть тот ларец, ничто не спасет Кащея. Знает Кащей про ларец и про смерть и пуще всего на свете боится, чтобы кто-нибудь не узнал его тайну.

Опубликование истории «операции Рейн» показало миру, свидетельством самой советской власти, в каком ларце скрыта смерть коммунистического Кащея. Революционная организация НТС получила еще одно доказательство того, что она на правильном пути.

И все же для миллионов простых, неискушенных в революционной стратегии, людей самым главным и ценным во всем случившемся остается образ Яны — русской женщины, отстоявшей свое право на Совесть.

Право на Совесть... Кто может точно определить, что это такое? А Вдохновение? Разве мы знаем точно, что такое Вдохновение? Или Любовь? И все же, как реальны эти понятия, насколько решающи они в жизни человека...

Есть, несомненно есть Вечные Законы Вселенной. Они включают в себя и законы человеческой морали. Они не менее реальны, чем законы свободного падения тел или притяжения масс. Они отражены и в скрижалях Моисея и в заповедях Христа и в строчках Корана и в «этапах» буддизма. Как блестки золота они сверкают в каждой религии. Пусть мы ощущаем их пока лишь душой и совестью. Все равно на них стоит мир и все наше бытие.

Совесть — ниточка, которая связывает Человека со Вселенной. Советская система пытается захватить эти ниточки и удержать их, как путы марионеток, в

руках государства. Это невозможно, поскольку это противоречит законам Космоса. Именно в силу этого советское государство обречено на гибель.

Ибо люди — дети Вселенной, а не партий или государств . . .

Вдоль кабины самолета проходит стюардесса и тушит огни. Все пассажиры уже спят. Тушу и я свой «светлячок» и нагибаюсь к окну. Целлулоид холоден, как ночь снаружи. Самолет как бы висит неподвижно в воздухе. Лишь лиловые змейки огней из выхлопных труб ползут по крылу. Внизу — океан, бескрайний и безликий. Горизонт пуст и темен. Только там, куда летит самолет, разгорается ореол нового дня.

Я знаю, что там, впереди — Европа, революционная борьба и Освобождение России.

Это Освобождение придет. Придет естественно и неизбежно.

Так же естественно и неизбежно, как рождается свет и приходит Новый День.

О г л а в л е н и е

Часть первая

ИМЕНЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Часть вторая

ИМЕНЕМ НАРОДА

Часть третья

ИМЕНЕМ СОВЕСТИ